Алесь Адамович

Партизаны

Роман-дилогия

Минск
1987

Война под крышами

> У войны не женское лицо. Но ничто на этой войне не запомнилось больше, резче, страшнее и прекраснее, чем лица наших матерей.

Часть первая

Война входит в дом

Настигнутые бурей

Люди в поселке не знали, что все то, о чем они думали и хлопотали, чему радовались и о чем бедовали в это чистое июньское утро, было совсем не таким важным, как им казалось: уже несколько часов шла война.

До полудня в рабочем поселке Лесная Селиба все имело свою обычную цену.

У пропыленной полуторки – мальчишка лет четырнадцати с загоревшей стриженой головой. Щеки у него по-детски округлые, но шея, руки – тонкие и длинные. „Растет”, – говорят про таких в утешение матерям. Мальчишка держит в руках помятый чемоданчик, барабанит коленками по нему и глядит сразу во все стороны. С его лица не сходит улыбка, которая говорит очень откровенно, что человек счастлив видеть всех тут и что он очень удивился бы, если вдруг ему здесь не все были бы рады. Его улыбка заставляет уставших, пробеленных сульфатной мукой женщин, которые идут со смены, припоминать о чем-то, мало интересном для них: „...Это, кажется, докторов младший, Корзуниха зачем-то отправляла его к своему брату”.

Мужчина в мешковатом суконном костюме расплачивается с шофером. Он не торопится. По всему заметно: не он приехал домой, не он вот-вот встретится со своей мамой, и вовсе не ему страшно не терпится увидеть сразу все то, что год назад хотелось поскорее променять на более интересное.

Под нетерпеливо-радостным взглядом мальчишки высокий сутулый мужчина спрятал наконец большой бумажник и принялся стряхивать пыль с рукавов.

– Не ждут нас сегодня, Толя.

Мальчишка заулыбался еще шире: он-то знает, ждут или не ждут его.

Дядя, который идет с чемоданом за Толей, замечает все, что с такой радостью узнавания видит и Толя: отлогие канавы, где трава жадно выщипана гусями, придорожные сосны, серые от пыли, дома вдоль шоссе, лес, подступающий к самым огородам и сараям. Но все это дядя видит не так, как Толя. Он, конечно, не замечает, что все тут стало другим. Больница под красной крышей как-то распласталась, осела; заводская труба, дымящая у леса, сделалась ниже, будто искурилась. Глядя на здание школы, Толя удивляется: и как только за этим рядом окон укладывается тот длинный гулкий коридор?

Хотя нет, не все тут изменилось одинаково. Сделалось меньшим для Толи то, что оставалось на месте. А вот шоссе точно вместе с Толей вернулось в поселок откуда-то издалека. Черная полоса его уютно улеглась между мягкими пыльными обочинами, указывая на восток и на запад: на Москву и на Брест. Вглядишься – видишь: не лежит, а бешено несется вдаль и вдаль асфальтка, втягивая взгляд, точно воронка воду.

Старый екатерининский тракт, только недавно зачерневший асфальтом, охотно отдал поселку под улицу один свой километр: что для „варшавки" этот километр! Сколько их у нее! За поселком, где кончается высокая ограда стеклозавода, на старом бетонном столбе значится с восточной стороны: 669. Это – до Москвы. С западной – 99. Столько до Слуцка. А за Слуцком еще Кобрин, Брест…

Много километров у асфальтки, но этот для Толи – единственный: на нем разместилось его детство.

Толе скоро пятнадцать. Это тот возраст, когда в воспитании, по мнению дяди, нужна подгонка и шлифовка. Дядя Федор – директор школы. У него нет своих детей, и он берет к себе на год, на два то одного, то другого, племянника, если решит, что дома их „засахаривают".

С дядей и у дяди страшно интересно. Приезд его – праздник. Одевается дядя совсем не по-директорски, галстука на нем, по утверждению тети Лены, и на свадьбе не было. И лишь чемоданы у него всегда богатые: скрипящие, кожаные, большие. Он всегда приезжает с подарками. И если он дарит, так не сандалии или штаны, а краски в тюбиках, набор инструментов, а то и фотоаппарат. Дядя

все умеет делать сам, около него и тебе хочется все уметь. Он и Толю брал к себе „работать”:

– У нас там даром хлеб не едят.

Но это не пугало. Толе тогда казалось, что именно серьезного дела ему и не хватает дома.

– Поедешь, сынок? – спросила мама.

– Конечно! Надоело уже! – отозвался сын, да так горячо, что мать удивленно и даже чуть обиженно поглядела на него, а потом засмеялась:

– Мы уже и надоели ему.

– Мале́ча!

Это, конечно, Алексей вставил свои три грошика. Ему что, ему хорошо, он старший. Если у тебя есть брат двумя годами старше, жизнь твоя – сплошные огорчения. Вечно ты до чего-нибудь не дорос, и главное – на каждом шагу тебе об этом напомнят. Можешь сколько угодно переходить из класса в класс, ничего не изменится в твоем положения, точно зарубка над тобой поднимается по мере того, как ты тянешься вверх. Началось это с люльки и штанишек, которые перешли к тебе от старшего брата.

А там и пошло. Все, что достается тебе, мало интересно уже потому, что брату позволено что-то большее, до чего тебе надо еще дорасти. Он может сам заводить патефон, а ты – обожди. Можешь, если угодно, тренькать на балалайке. Потом подпустят и к патефону, а тебе уже интересно было бы самому смазывать велосипед. Но тебе лишь позволяют перетирать в тряпочке дробь шариков, которые брат выковыривает черными пальцами из втулки. А там фотоаппарат, – и вообще конца нет всему этому.

Говорят, что цыган проклинал своего обидчика так: „А чтоб у тебя, батя, моложе, чем ты, никого в семье не было”. Этот цыган знал, как пожелать зла человеку.

Алексей умеет сам находить интересное занятие: навес для дров поставит, тачку сколотит, сарай вычистит. Толе остается лишь помогать ему. Алексея не отрывают от его дела, да он не очень и побежит: знает, что на это Толя есть – фасоль перебирать или к помпе ехать.

Может, потому Толя так рвался из дому: у дяди он избавится от роли младшего. Но брат и тут опередил его. Тамошние хлопцы и знакомились и расставались с Толей, как с Алешиным братом: никем другим для них Толя не стал. Алексей на зависть просто сходится со всеми, у Толи это получается трудно. Приехав к дяде, он вначале был как девочка, не задирался ни с кем, уступал каждому. Но никто,

кажется, этого не оценивал, да и невозможно сдерживать себя без конца. Начнется с пустяка. Гоняются друг за другом с репьем: особенно интересно закатать его в чужие волосы. Потом дойдет до комьев земли и дерна. А там и камни пошли в ход. После одной такой игры захромавший Петька-заика сказал:

– А-алеша был лу-учше тебя.

Что правда, то правда, Алексей ни с кем из ребят никогда не дерется. Но зато как свирепо он схватывается с Толей. И глупая привычка – всегда начинает с ультиматума:

– Отстань – съешь!

Глаза у брата останавливаются:

– Не лезь, говорю, сейчас будешь вопить: „Мама!”

Толя обычно доводил дело до конца и вскоре действительно кричал: „Мама!” Конечно, при этом он и сам, как мог, защищался.

У дяди многое напоминало об Алексее. Особенно в физкабинете. Только и слышишь от дяди: „Это Алексей постарался”. Толя же долгое время побаивался хрупких колб и нескладных электрических машин: у него было предчувствие, что тут недалеко и до беды. И беда не заставила себя ждать. Как-то вечером Толя поставил большую лампу не на металлическую треногу (откуда ему было знать, что воздух в лампу поступает снизу), а прямо на стол. И часа не прошло, как все было готово, аккуратный бархатный слой сажи украшал все, что стояло, лежало и висело в физкабинете. „Да разве ты – Алеша”, – прочел Толя в почужевших дядиных глазах.

Домой тянуло все сильней. Совсем по-детски ему хотелось увидеть маму! Нет, не увидеть. Когда восходит солнце, человек встречает его не одними глазами, он всего себя подставляет солнцу. Увидеть маму – это почувствовать ее взгляд на себе, теплоту ее глаз. Толя любил представлять тот миг, когда оставшиеся до летних каникул месяцы, дни, часы будут уже в прошлом. Он пройдет через двор, вступит в сени, возьмется на ощупь за косо поставленную скобку, от которой еще не отвыкла рука…

И вот он, этот миг. Толя почти бежит через узкий двор. Сразу приметил новую скамейку и курятник – Алексей постарался. Засматривает в окна, заранее улыбаясь, распахивает перед дядей дверь в сени.

– Принимайте своего бурсака, – проговорил в теплый полумрак кухни дядя.

Толя стоял на пороге и напряженно ожидал чуда, И чудо свершилось: откинув марлевую занавеску, из столовой вышла о н а.

В то остановившееся мгновение, пока она стояла у голубой занавески с чем-то темным в руках и не знала, куда девать это темное, Толя впервые увидел мать со стороны. Раньше, когда он привычно видел ее каждый день, его застал бы врасплох вопрос: какая она, его мама, какие у нее глаза, какое лицо? В детстве он говорил: „Моя мама самая красивая". Но он точно так же сказал бы: „Солнце самое солнечное". Она такая, какая есть, другая – это уже не мама. Глазам ее, походке, лицу он мог бы дать лишь одно определение: мамино. Серые, черные, карие глаза – это у других, у мамы они – ласковые или сердитые.

Теперь, *со стороны,* Толя видит, что глаза эти светлые-светлые, как река в жаркий полдень. И мама не только для него, но и для всех красивая, и так хорошо, что она чуть-чуть полная и что она собирает пышные темно-золотистые волосы в простой узел, и ей так идет это белое в дымчатую полосу платье с короткими рукавами. Все это Толя впервые увидел и отметил каким-то новым мгновенным чувством. И напряженный залом бровей, не распрямляющийся даже при улыбке, по-новому видел Толя. Раньше он только ощущал его: в нем как бы собиралось то, что вызывало в нем ответное чувство радости, горечи, обиды или злости. Глупой детской злости!

– Ну что, сынок? Похудел как…

Так засветиться счастьем и так чуть-чуть печально спросить могла лишь мама. Единственный в мире человек, который понимает все и которому совсем не нужно, чтобы Толя был Алексеем.

– Я его не на откорм возил, – сказал дядя, здороваясь с военным, который вышел из боковой двери, скрипя хромовыми сапогами. Военный со шпалой – Толин отец. От него исходит волнующий, хотя и несколько чужой, запах: ремни, сукно. И еще – с детства знакомый запах махорки. Ничего другого отец никогда не курит.

Толе неудобно стоять под тяжелой, обхватившей его голову рукой, но он не уходит от папы. Будь это мама, он не задумывался бы над тем, постоять или отвести руку, отстраниться. Но это отец, и Толя томится в нерешительности. Однажды он получил письмо от матери, из которого понял, что папа обижается на его „здравствуйте" и „до свидания". Оказывается, нужно еще: „дорогие", „целую". Мама понимает, что не в этом дело, а с отцом надо как-то все учитывать. Когда отец уходил на финскую войну, Толя забрался в спальню, лежал в темноте, прислушиваясь к стуку ножей о тарелки, к голосам гостей, и мучился от сознания своей черствости: он не мог плакать. Отец заметил его отсутствие и все истолковал по-своему. И мама потом сердито отчитывала Толю, но он видел, что она все понимает.

– Похудел, значит, учился, – говорит отец, больно прижимая к ремням Толину голову.

Мама, наливая воду в умывальник, отзывается:

– Что вы знаете? Иди умойся.

И, конечно, обязательное:

– Уши тоже.

Значит, Толя действительно дома.

– А это кто? – нарочно спрашивает дядя, с удивлением рассматривая Нину, которая кошкой повисла на ширме.

– Дядя, ну-у, – жалобно стонет сердитая Нинка.

– По матке скучает, – неодобрительно хмыкнула бабушка, – как малая.

– Да и не большая, дети же, – не сдержала раздражения мама и, стараясь сгладить невольную интонацию, начала пространно объяснять, что тетя Катя на курорте, что вернется она числа двадцать пятого.

А бабушка все та же, на все у нее свое особое мнение. Она выходила двенадцать детей без этих теперешних нежностей, восьмерых из них пережила и с неодобрением глядит на матерей, которые дрожат над ребенком.

– Еще бы – одно, – часто бормочет бабушка. – Было б у вас десять их – не до того было бы.

– Ну, а ты что не встречаешь гостя? – Голос дяди уже в спальне.

С Алексеем тоже, кажется, надо здороваться. Будто сговорившись, братья первые мгновения встречи заполняют какими-то посторонними словами, движениями, и вот уже упущен момент, когда обязательно нужно хватать зачем-то друг друга за руку. Алексей затягивает ремень на брюках, старательно отутюженных. На голове – гляди ты – прическа! Волосы у Алексея в мелкое колечко и сухие, чуб сваливается набок, как плохо, неумело завершенный стог.

– А, малеча явился, – произносит он довольно-таки радостно. Вообще-то он хороший парень, и дело совсем не в том, чтобы обниматься и лизаться.

Толя пошел поздороваться с дедушкой. Дедушку слышишь из соседней комнаты: в груди у него бушует астма. Усы совсем проржавели от махорочной копоти, а блеклые глаза все те же – умные, добрые.

Не удержался Толя, чтобы еще раз не пробежаться по дому. Дверей много. Когда переехали сюда, Толя обрадованно говорил матери:

– Ну, теперь не отлупишь: вкруговую бегать можно.

Каждая из комнат встречает Толю знакомым запахом, знакомыми вещами.

В столовой, которая одновременно служит и спальней для стариков, запах застоявшегося тепла, потертых сенников, сухого укропа, смоляков и сильнее всего – кожи (дедушка сапожничает).

В спальне две кровати и шкаф, приторно пахнет чистым бельем.

В большой комнате, которую в доме называют „залом”, пахнет лаком от нового буфета. Тут зелено от фикусов.

И обивка дивана зеленая. Диван в этой обивке почти на всех фотографиях, сделанных Алексеем.

В кухне все упрятано за ширму. Бабушка и мама знают, как отец не любит, если что-нибудь лезет ему под ноги. Оставят на виду грязное ведро, корзину, веник – все это сейчас же летит в угол, как только он войдет в кухню.

– Ко мне больные ходят, а тут хлев сделали! – кричит папа, пиная ногой ведро, корзину, и обедать садится хмурый, будто ему повстречался по дороге лютый ворог.

Папа теперь лишь по воскресеньям наезжает из города (он служит на аэродроме), но корзины, ушат, ведра по-прежнему прячутся за ширму и оттуда трусливо пахнут мытой картошкой и теплым тестом.

Папа, по определению бабушки, „хозяин не в дом”. Он знает лишь свою больницу. Мама, смеясь, рассказала однажды:

– Пришел за лекарством больной, к которому ты вчера ездил, и говорит: „Везу я Ивана Осиповича и показываю на поселковое стадо. Хорошая, говорю, доктор, коровка у вас, вымя по земле. А он: а какая тут наша?”

Толя остановился на пороге, будто исполняя какой-то обряд. В день отъезда он вот так же стоял на этом самом месте, стараясь запомнить себя *еще не уехавшим.* Тогда здесь стоял Толя, который еще не ездил к дяде, теперь тут Толя, который уже побывал там.

Не дожидаясь завтрака, Толя отправился к Миньке Барановскому.

Через полчаса друзья были в своем лесу. Солнце уже высоко, но здесь, под дубами, трава еще росит, щедро обмывает босые ноги. Дубы положили на землю большие тени. Кажется, что вышли из пахучего бора богатыри, остановились у края леса и смотрят на запад, а у ног – щиты.

Не понимая товарища, которому хочется побыть около дубов, Минька идет дальше, на горку, поросшую сосняком. У Миньки там гнезда, которые нужно показать Толе. Маленький, с большим

горбатым носом, за который его прозвали Пилсудским, Минька занимается своим обычным делом: сосредоточенно выстругивает палочку. Минькой же он окрещен по милости младшего братца, умершего год назад, который так и не научился выговаривать правильно Мишка, зато других научил говорить Минь-а.

Откровенно говоря, птичьи гнезда – это не то, что могло бы по-настоящему заинтересовать старых друзей сегодня. Как в жару пить, Толе хочется почитать вслух стихи: чужие, а среди них и свои. Радостно, когда слушают и не догадываются, что стихи-то твои…

Но друзья начинали с того, чем кончили год назад. У Миньки на примете много шмелиных гнезд. Можно создать целую пасеку. Когда-то Толя занимался этим. Улейца на манер скворечен, даже маленькие „колоды" – все было сделано, как у Жигоцкого, у которого всегда можно купить меду. Шмели, перенесенные вместе с сотами в палисадник, выползали на лоток, долго делали зарядку крылышками, нежили на солнце свои черно-оранжевые бархотки, потом легко снимались и улетали.

– За взятком, – радовался Минька.

Одни улетали, другие возвращались, и все шло, как на пасеке. Но когда друзья сняли крышку, осторожно приподняли мох и взглянули на темные, крупные, как орехи, соты, они опешили: все соты, даже те, что прежде были запечатаны, оказались пустыми.

Шмели не захотели быть Толиными пчелами.

– Куда же они летали? – недоумевал Минька.

А Толе тогда подумалось, что шмели летали на свое болотце: там они жили, а к нему являлись только на обед.

С пасекой не вышло. Но к тому времени его захватило другое. Толя взялся приручать скворца и галку. Приручить – это значит подружиться, и Толя подружился со своими птицами, особенно со скворцом.

Галка была хитрая и жадная. Она вечно торчала на базаре, попрошайничала, а однажды стащила у зазевавшейся бабы красную тридцатирублевку. Разбойница примостилась на крыше и, прижав лапкой бумажку, клювом стала отрывать клочки и бросать их вниз. Баба вначале испугалась, а потом озлилась:

– Бачили вы такую нечисть? Гэта ж босóта заводская выучила ее деньги красти.

Хлопцы визжали от. удовольствия. Толя похвастался дома талантами галки. Отец пообещал отдать ее кошке, а Толю заставил разыскать пострадавшую и вернуть ей деньги.

Скворец имел нрав тихий и мягкий. Толя и прозвал его Пушком. Это была ласковая и обидчивая птица. Галка, усевшись на плече, больно клевала в ухо, норовила в глаз: она все пробовала, нельзя ли съесть. Пушок, тот мягко терся головкой о щеку и, как в окошко, заглядывал в Толин глаз черным глазком-бусинкой. Переступая дерматиновыми лапками, волнуясь, спрашивал: „Чуешш? Чуешш?”

– Чую, слышу, – отзывался хозяин.

Но Пушок нервничал, вертел головкой и улетал, видимо, не вполне уверенный, что Толя слышит все, что слышит он, Пушок. Если надо было позвать галку, Толя подражал ее гортанному:”У-гга, у-гга”. Пушок летел на свой зов: „Чшш, чшш”. Галка являлась, только когда была голодна, Пушок – в любое время и лишь на зов хозяина. У Пушка была какая-то своя память на ласку. Толя верил, что скворец помнил, как Толя отнял его, гадкого, голенького, у мальчишек, как поил и кормил его из губ…

И вот однажды душевные отношения с обидчиво-ласковым Пушком испортились. Случилось это, как всякое несчастье, внезапно. Толя из сеней позвал скворца. Черный комочек свалился с дерева и стремительно понесся к дому, почти касаясь земли. Когда комочек проносился над грядками, что-то белое метнулось вверх. Кошка! Толя закричал – Пушок вырвался и улетел. До самого вечера Толя ходил под соснами и все звал скворца. Но Пушок молчал, затаившись. Он, видимо, считал, что Толин зов и то страшное, что встретило его в огороде, как-то связаны одно с другим. И Пушок не отзывался, молчал. Толе казалось – обиженно, страдая. Как сделать, чтобы Пушок снова поверил ему? И Толя звал, звал… А потом стал хватать камни и швырять в своего любимца. Подошли мальчишки-дачники и охотно начали помогать ему. У Толи комок в горле стоял, а он со злобой метил в своего Пушка камнями и бутылками. Скворец перелетал с дерева на дерево и забирался все выше. Но от дома не улетал.

Так и ушел Толя спать, оставив его одного. А к утру все в доме переполошились.

– Что с тобой, сынок, где болит? – слышал Толя испуганный голос мамы. Плакать он начал во сне, да так и не мог остановиться. Наконец разобрались. Алексей оделся и вышел.

– Иди, на крыше уже ждет тебя, – сказал он, вернувшись.

С непросохшими глазами выбежал Толя, позвал. Скворец громко, голодно отозвался. Ниже и ниже, с опаской, бочком спускался он по крыше. Толя взобрался на сени и, все еще всхлипывая, пополз ему навстречу.

А потом Пушка украли дети дачников. Они и землянку завалили, в которой друзья прятались, играя в „красных" и „синих".

Сейчас Толя почти не обращает внимания на лесные секреты, открытые Минькой без него.

– Идем к нашей землянке, – просит он.

Землянка когда-то была их тайной. Рыли ее по вечерам, когда над поселком сгущались теплые влажные сумерки, а с болотца густо тянуло пьянящим запахом багульника. За несколько таких вечеров под деревьями в разных местах выросли желтые кротовые бугорки. На том же месте, где землянка, – ничего подозрительного. Лишь куча хвороста. Друзья вползали через узкую дыру под землю, лежали там на пахнущем шмелиным воском мху и упивались жутковатым чувством отгороженности от всего мира. Лежа в землянке, очень легко было представить мир без себя. На шоссе отдаленно гудят машины, распевно визжит заводская циркулярка. Где-то там, у горячей печи, обжигающей глаза оранжевым пламенем, – стеклодувы. На базаре, возле клуба – везде люди. Ничего не меняется от того, что тебя будто и нет на земле. Именно в эту секунду пропела бы циркулярка, если бы тебя вовсе и не было… Выбравшись наверх, друзья шли в молчании к поселку, связанные каким-то общим настроением.

Теперь на месте землянки лишь небольшое углубление, заросшее неестественно темной, почти синей травой. Видны почерневшие концы досок. Толя потрогал их ногой, и на мгновение неизвестно отчего ему стало тоскливо. Но только на мгновение.

Домой Толя прибежал, когда на заводе прогудел гудок. Одиннадцать часов. Толины глаза внесли в прохладный полумрак кухни яркую желтизну песка, которым был посыпан двор, бурый цвет ограды палисадника, распираемого зеленью, блеклую знойность июньского неба. И тут Толю встретил мамин голос. Это был совсем не тот голос, который он оставил утром, отправляясь к Миньке.

– Где вы все пропадаете? Не доищешься. Нашли время. Папа ждал, ждал и уехал.

И наконец она сказала:

– Война, сынок. С Германией.

Что-то засосало внутри – так бывает, когда качели летят вниз. Война! Вчера еще такое незаметное среди других слов, обращенное в книжное прошлое и неопределенно далекое будущее, слово это вдруг зловеще ожило, оно встало, как плотина, поперек всех мыслей, желаний, чувств. Не зная, что и как сказать матери, бледной и заплаканной (он только теперь увидел это), сын постарался сделать серьезное и даже испуганное лицо и поспешил уйти к мужчинам.

В спальне Алеша возбужденно хлопотал над дядиным чемоданом, а сам дядя переодевался, собирался в дорогу.

Толе не терпелось услышать, что скажет дядя. Но первым заговорить Толя не решался, опасаясь, что в голосе его все еще не будет той серьезности, которой требует слово „война”. Он молча сел на кровать. Посмотрел в окно. Там – залитая солнцем соломенно-желтая дощатая стена сарая, а выше – зеленоватое небо. Рядом с желтым голубое делается зеленоватым. Толя рисует акварелью, и ему это известно. Но не об этом сейчас надо…

– Война, дядя, да?

– Где ты был? Папа уже уехал на аэродром.

– А вы домой?

– К себе в военкомат. Может, и домой забежать удастся.

Дядю проводили к автобусу. Возвращаясь, свернули к радиоузлу, где толпилось много людей. Над приемником, выставленным в окне, – флегматичное и, как всегда, небритое лицо радиотехника Прохорова. Прохоров осторожно притрагивается к рычажкам, как бы опасаясь, что пугающе-торжественный голос, который оповещает о важном сообщении, вдруг пропадет…

Люди слушали, и такое было ощущение, что каждый стоит и подавленно соображает: что потерял он сегодня, что недоделал, не повидал, не успел? Еще никого из стоявших здесь, под, пришоссейными соснами, война не затронула, но уже общая тяжесть легла на плечи каждого.

Полдень, а это лишь первое сообщение о войне, начавшейся в три часа ночи. Не мы на территории врага, а он на нашей, его самолеты над нашими городами. Это озадачивает, но не пугает. Люди все-таки не понимают немца: что заставило его броситься на стену, заведомо несокрушимую? Вот-вот должно быть сообщение, что неожиданный наскок врага отбит. Что такое сообщение будет, верят почти все, его жадно ждет, хочет услышать и тот, кто завтра бросится на восток с детьми на руках, и тот, кто встретит врага на пороге своего дома с непреходящей ненавистью, и даже кое-кто из тех, кто скоро начнет подсчитывать свои обиды или кто через какой-то месяц повяжет на рукав белую тряпку полицая.

И если бы в это время, когда звучал тревожно-торжественный голос диктора, кто-либо сказал бритоголовому завкомовцу Пуговицыну, солидно застывшему у приемника, что через два месяца он добровольно станет полицаем, он искренне оскорбился бы. Пожалуй, не поверили бы в такое же превращение и братья Леоновичи, тощие и хохлатые, как удоды, сидящие рядышком на крыльце радиоузла.

Совершенно не поверил бы и Сенька Важник, что через полтора года он убьет заводной ручкой толстяка Лапова, который жарко дышит ему в затылок. Не об этом думает Сенька. Он выделяется среди окружающих не только удивительно темным загаром и любовно наращенными бицепсами, но и выражением голубых глаз: в них – почти радостное возбуждение. Сенька обдумывает, как быстрее отхватить „кубаря". Если в военное училище податься – засидишься, и война окончится. Надо сразу на фронт.

Совсем другие лица у пожилых рабочих – озабоченные, серьезные.

И у женщин глаза туманятся тревогой и той почти извечной тоской, которая затягивала очи матери и жены, когда приходила весть о неведомо откуда явившемся „черном народе" – татарах, о „пранцузе", идущем по белорусской земле на Москву, о том, что с орудийным громом подходит „герман" и надо сниматься с обжитых мест и ехать куда-то в свет, в беженство.

Сообщений, которых ждали, не было. Но все равно упорно держались ободряющие слухи о первых успехах. В самом оптимизме, жадно-доверчивом, ощущалась большая тревога.

Она стала еще определеннее, когда вечером и в поселок донесся голос войны. У заборов, под соснами, по одному и молчаливыми группками стояли люди, прислушиваясь к упругим и каким-то оголенным стукам в землю: туг-туг, туг-туг-туг. Бомбили город.

– Пшеничка наша сыплется!

Это сказал дедушка. Толя поглядел на него сердито. Если бы это не дедушка сказал, можно было бы решить – враг!

Утром звонил отец, велел приехать в город. Когда выходили к автобусу, Толя немного задержался: затерялась его соломенная тюбетейка. Нашел за кушеткой и выбежал в сени. Все почему-то столпились в дверях. Через головы Толя мог видеть лишь небо, и потому он сразу увидел то, что всех держало в оцепенении: широкий ряд самолетов, неотвратимо и грозно плывущий с запада. Моторов не слышно, кажется, что это сон. И только когда прорвался грозный рев и что-то затрещало, как рвущаяся клеенка (да это же пулеметы!), все стало страшной правдой. Вот оно – война, смерть!

Толя метнулся назад в дом, вбежал в спальню, и таким уютным и безопасным показалось ему место под кроватью. Но он пока лишь сел на пол. Грохнуло в стены, в землю. Дом подскочил, как чернильница от удара по столу. Вместе с домом подскочил и Толя.

Когда он выбежал во двор, первое, кого стали искать его глаза, – маму.

– Беги в лес! – сдавленно крикнула она ему.

Толя даже не заметил, что мама осталась совсем одна, не подумал: а как же она? Теперь для мамы самое главное – его, Толино, спасение, он знал это и соглашался с этим с самым наивным детским эгоизмом. Хотя, пожалуй, он ни о чем и не раздумывал в эти минуты, даже о том, куда и сколько он будет бежать. Что-то беспощадное надвинулось, нависло, и надо бежать, бежать, чтобы быть как можно дальше от того места, где ты сейчас. Обогнав идущих и бегущих женщин, Толя пронесся меж дубов, которые уже подобрали с земли тени-щиты, и ворвался в бор, гулкий и просторный. Людские голоса катились вслед ему, подхлестывали. Но вот они стали глуше: все слышнее мерное, покойное дыхание бора. Толя остановился. В самом деле, куда он бежит? Постоял, потом пошел назад. Опять ожили людские голоса, крики, заглушая шуршащее колыхание сосен, но теперь крики не пугали.

Идя к поселку, Толя думал, как бы найти Алешу. А вот и люди, многие с узлами, у женщин даже подушки. Тех, у кого белое в руках, зло, нервно ругают. Мужчины собираются группками, курят и возбужденно обсуждают: прилетят ли еще и когда прилетят. А вон Алексей в своих выглаженных брюках, рукава синей рубахи засучены. Рядом с ним Янек и Нина. Янек Барановский мало похож на своего младшего брата. Он старше Миньки всего на три года, но в такого детину вытянулся, что хоть ты его складывай, как плотницкий метр. Янек всегда сутулится, видимо, стесняясь своего роста и словно предлагая: можете подойти и сложить меня, если вам хочется.

Янек что-то объясняет женщинам и страшно размахивает длинными руками. Толя живо представляет, как он еще и моргает при этом. У Янека это так получается: зажмурится, как от резкого света, соберет веснушки на переносице, потом широко откроет глаза и глянет, будто только что на свет появился. Повторяет эту процедуру он без конца.

Алексей кого-то ищет, а Нина улыбается и показывает в сторону Толи. Толя нарочно отвернулся, сделав вид, что он тут все время. А если его не замечали раньше, не он виноват в этом.

Ночевать многие ушли в лес, и почему-то не в чистый сухой бор, а на болото, по-видимому считая, что место тем безопаснее, чем оно хуже. Корзуны тоже выбрались. Только дедушка отказался. Он даже разделся, укладываясь спать. Бабушка уговаривала его идти со всеми, ругала громко, как бы оправдываясь за „старого дурня”, но мама почему-то совсем не сердилась на дедушку. А ведь дедушка оставался на верную гибель.

В лесу и ночью совсем неплохо. Пахнет теплой сыростью, подсохшее болотце щедро устлано мягкими моховыми подушками. Когда ночуешь в лесу, хочется смотреть в небо. Правда, и смотреть-то больше некуда.

Там, где город, стукнуло раз и сразу – второй. И вот – слышно – между звездами воровато крадется самолет, он уже над головой. Это он сбросил бомбы. Но почему позволяют ему улететь?

Опять вспыхивают разговоры о фронте. Высказываются веские предположения о наших и немецких стратегических планах. Вполголоса, конечно, ведь о шпионах столько всяких слухов.

Сколько ни слушай эти разговоры, сколько ни ходи в гости к соседям, а спать когда-то надо. И тут начинаешь понимать, как мало приспособлено для ночевки болото, и делаешь открытие, что и в войну нельзя не замечать комаров. Можно подумать, что сам теплый болотный воздух рождает комариные тучи. Будто сетка над головой висит, живая, озвученная. Вот от сетки отрывается вкрадчивый ноющий писк. Точно на паутинке, висит злодей на этом тоненьком писке, то подтягивается вверх, то опускается. Писк все нежнее, все настойчивее. Обрывается – и сразу обжигает руку, или лоб, или затылок. Бьешь по собственному затылку, комариную сетку словно ветром относит. Но лишь на миг. Снова опускается она, и опять вкрадчивый и зудящий писк, от которого кожа покрывается пупырышками, как от холода. Фу-ты, мерзость!.. И трут не помогает, разве весь этот мох поджечь…

Алексей спать не ложится, сосет папиросы. С некоторых пор ему это не запрещается. Тошно смотреть, как небрежно Алексей и Янек держат в губах свои цигарки. А какие важные лица у них при этом! И какие разговоры! Теперь и Толя мог бы задымить, маме не до того. Но ему противно такое ломанье, и он нарочно не станет курить.

И все же он снова завидует брату. Алексей послонялся по болоту, а потом собрался домой, не обращая внимания на мамины сердитые уговоры. Зато стоило об этом заикнуться Толе, как тут же пришлось пожалеть, что у него есть язык. И уйти не удалось, и все, что недослушал старший брат, досталось ему. А мама умеет донять словами.

Так всегда и во всем. Алексей, когда и поменьше был, умел без долгих разговоров на своем поставить. Зато предназначенная ему порция маминой заботы тут же изливалась на Толю. Возможно, потому и говорят женщины (Толе доводилось слышать):

– А младшего вы, Анна Михайловна, больше любите.

– Ох, меньше бы его любили!

А сейчас оставалось брать пример с бабушки. Закутав голову теплым платком, она тихонько сидит под сосенкой, будто и не слышит, что другие расходятся по домам.

К утру болотце почти опустело, хотя теперь-то и можно было ожидать самолетов. Поселковцы, ночевавшие под крышей, шуточками встречали „дачников”.

Алексей уже встал, сидит над дедушкиным ящиком и приколачивает каблук, дедушка давится утренней порцией кашля и дыма, а посреди комнаты стоит Анюта, больничная кухарка, которую в поселке называют „полтавкой”, и рассказывает, как вчера самолет гонял санитарок вокруг морга:

– Мы сюды – вин оттуда, мы туды – вин отсюда. А дивчата вси в билых халатах.

Немцы!

Опять звонил отец. Мама, очень возбужденная, объяснила, что папа советовал быть наготове. Может быть, придется уехать в деревню, кто знает. Но страшного пока ничего нет.

Толя снова умчался к клубу. Там, около трехтонки, много людей собралось. Пока Толя бежал, подошла команда красноармейцев. Черные, потные бойцы свалились под соснами. Их окружили, расспрашивают, но отвечает, и как-то неохотно, лишь молодой лейтенант. Каждое слово его ловят, пересказывают: „Перегруппировка… подтягиваются… разворачивают силы… по железной дороге…”

На машине говорят наперебой:

– Из Бреста.

– Горит все…

– Мой только посадил нас, а сам вернулся туда.

Высокая худая женщина, кутающая девочку в скатерть с бахромой, произнесла это „туда” с откровенной женской завистью и недружелюбно глядя на тех соседок, возле которых скромненько примостились какие-то толстенькие мужчины.

Поселковцы рассматривают беженцев с тревожным недоумением. А женщина с девочкой все приподнимается и смотрит, скоро ли шофер зальет воду в радиатор.

Уехали беженцы, следом потянулась команда красноармейцев.

– А пехота все пешедралом.

На сказавшего дружно набросились:

– Это же в тылу, всех не посадишь на машины.

– Будь уверен, техники там у нас хватит. Я был у брата, на самой границе, знаешь, сколько по железной дороге пушек и танков гнали.

У Миньки на огороде делают бомбоубежище. Их теперь роют все, появились даже специалисты, они переходят со двора во двор и поучают, как класть настил, сколько земли наваливать. Вот и здесь торчит сварливый пенсионер Тит и поругивает работников: это не так, то – тоже не так.

Пришел Алексей, отозвал Толю и сказал, что они едут в деревню.

Дедушка и на этот раз отказался трогаться с места, зато бабушка так заторопилась, словно боялась, что ее могут оставить. Нина вдруг по-бабьи подобрала губы, на глазах слезы. Уезжать, когда вот-вот мама ее приедет с Кавказа! Нина стояла над глуховатым дедушкой и объясняла ему вполголоса, что он должен сказать ее маме. Дедушка не понимал, переспрашивал, но Нина почему-то стеснялась говорить громче.

К вечеру были в деревне – в трех километрах от Лесной Селибы. Остановились у знакомого дорожного мастера Порохневича. Дом у него большой, под черепицей, в сторонке от колхозной улицы. За домом хороший сад.

В деревне слухи о фронте еще глуше, но разговоров больше. Досконально известно, что по другим дорогам войска движутся на запад. А что по „варшавке" идут и едут на восток – не страшно. Это потрепанные части отсылают в тыл, чтобы не мешали. И все же бомбоубежища роют обязательно там, где хлеба наилучшие, как бы подчеркивая, что теперь уже не важно то, что было важно вчера. А хлеба в этом году на редкость хорошие: „Будто к войне!"

Пятый вечер войны был ясный. Остро пахло росистым овсом. На западе – странные красные сполохи. Пронесся даже слух, что это фронт, но в такое никто не может поверить. По радио сообщили, что бои за Барановичами. Вот только наши подтянут силы…

Алексей еще засветло ушел в поселок разузнать, что там делают. Спать ложились без него, а ночью всех поднял радостный голос хозяина:

– Ну, слава богу! Вот когда наши силу двинули. Слышите?

Стекла дребезжали, будто кто тряс хату за углы.

Все, полуодетые, выбежали во двор. Порохневич куда-то пропал. Дрожа от ночной свежести, а еще больше от радостного возбуждения, Толя по-мужски поясняет женщинам:

– Это танки, много…

Тишина опускается с блеклого неба вместе с молочным предутренним светом луны, и в хлебных полях – прислушивающаяся тишина. И лишь там, где шоссе, стоит плотная стена грохота и рева. Эта стена высоко поднимается напротив деревни, а по краям круто спадает: далекое приглушенное гудение уходит куда-то в сторону Слуцка и в сторону Бобруйска.

Потянуло к людям. На колхозной улице тоже слушают шоссе и тоже говорят почему-то вполголоса.

Заметили бегущего человека. Он то ныряет с головой в белые от лунного света хлеба, то выныривает по грудь, выбрасывая руки в стороны. Время от времени его будто волной сносит (видимо, когда в борозду попадает).

При виде этого барахтающегося, тонущего в белых хлебах человека, за спиной которого воет шоссе, какое-то беспокойство охватило людей. Впервые с тревогой подумалось о том, что́ ревело на „варшавке”.

Издали прорвался низкий срывающийся голос:

– Не-е-мцы!

Протяжно, по-бабьи, завыла девочка-подросток и побежала куда-то в огороды.

До самого рассвета сидели в хате. Жалобно дребезжали оконные стекла, неумолимо приходило утро, а с ним вплотную подступало то, что уже свершилось, хотя еще и не вошло в деревню. В который уже раз Порохневич рассказывает:

– Подхожу. Что такое? Движутся с запада. Танки, а меж них мотоциклеты так и вьются. Я и сел, да назад, назад. А по житу бежит женщина, кругом ни души, а она кричит: немцы!

Человек этот не помнит, что и он так же бежал и кричал.

Противная мелкая дрожь переместилась куда-то внутрь, будто Толя льда наглотался. Он все еще с непонятным ожиданием смотрел из угла на застывшую у окна мать. Но именно в эти минуты окончательно рушилась в нем детская вера, что она может отвести любую беду.

Толя знает, что мама, охваченная ужасом, думает об Алеше: он там, где сейчас – немцы. Наконец прозвучал ее голос, глухо, издалека:

– Как же теперь, что теперь?

Порохневич, точно паутину снимая, провел рукой по худому, заостренному лицу и не отозвался. А Толя вдруг ощутил по-настоящему: немцы не только там, где Алеша, они уже здесь, все остается на месте, прежним, а ничто уже не прежнее. Рождалось

жуткое чувство раздвоенности: будто во сне видишь себя мертвым. И хотелось скорее проснуться, чтобы убедиться, что это только сон.

Но *проснуться от немцев* уже невозможно. Скоро появятся они, и ничего ты не можешь сделать, чтобы этого не было.

Солнце, как вчера, всходило из-за гребня далекого леса, и, как вчера, от росы побелела трава. Прозрачно-зеленая рожь, в которой утопают колхозные гумна, дышит тяжело, всей массой.

И даже люди по каким-то своим: делам проходят по улице.

В дальнем конце деревни взревела машина. Вот оно! Ближе, ближе. Большая, с длинным, как рыло худой свиньи, радиатором. Из-под брезента посыпались в зеленом и черном, разбежались по дворам. Снова собрались, повскакивали в кузов, машина развернулась и ушла, черно задымив и застучав так, что эхо понеслось за гумна, к лесу.

Сразу стало известно, что немцы собирали яйца. А больше ничего. Видно, точно так же рассказывали бы о неведомых враждебных существах с другой планеты.

Медлительная и тихая тетя Поля поставила на стол тарелку с белой горкой яиц.

– С Христовым праздничком вас, – нехорошо усмехнулся Порохневич.

Он так и остался с ночи в фуфайке поверх нательного белья и в туфлях на босу ногу. Еще вчера он не решился бы показаться в таком виде перед чужой женщиной, но теперь он этого не замечает и сидит у всех на виду в кальсонах.

– Что ж, живыми в могилу ложиться? – говорит тетя Поля и принимается растапливать печь. – Иди вот оденься.

Хозяин удивленно осматривает себя и уходит в другую комнату.

Толя отправился на улицу. Шоссе не умолкает. Над пышными придорожными березами низко проплывают транспортные самолеты. Высоко в небе еще один этаж – истребители.

Толя видел, как три женщины прошли в сторону шоссе, и сам, осмелев, двинулся следом. Вот уже видны мелькающие между стволов берез белые кресты на темной броне танков.

Неумолчно кричит асфальт под стальными гусеницами, а сверху через каждые несколько минут обрушивают на землю оглушающий рев большущие „транспорты” с ясно видимыми маслянистыми, грязно-желтыми подтеками на широких крыльях.

День солнечный, голубой, нежная зелень заливает все вокруг. Только все это будто онемело, оглохло.

Толя осторожно подступил к канаве, где уже толпилась босоногая ватага мальчишек. Много тут и взрослых, особенно

женщин. Молча смотрят на немцев, которые стоят в люках танков, сидят за пулеметами в колясках мотоциклов, повисли на подножках машин.

Немцы в жестких накидках лягушачьего желто-зеленого или грязного цвета, неподвижные, как истуканы. А многие – совсем голые: трусики, автомат на грязном от пыли животе, на шее – шелковая косынка. Во всем этом столько наглой самоуверенности, что людям за кюветом и обидно и страшно.

Тяжелый броневой клин, внезапно проломивший границу, стремительно и беспощадно врезался в живое тело страны. Люди, которые так неожиданно оказались позади линии фронта, выглядели растерянными и подавленными. Они вчера еще верили в скорую победу, а тут вдруг своими глазами увидели, с какой вселяющей отчаяние стремительностью враг катил на восток. Гнетущее ощущение страшной и непонятной катастрофы сковало людей. Что немец пройдет весь Союз, не думалось. Но катастрофой было уже то, что враг – здесь, а не мы у него, катастрофой были эти танки, эти немцы с кокетливыми шарфиками в трехстах километрах от границы. На голых немцев с автоматами смотрели люди, которых шквал событий не захватил, не стронул с места. И это особенно жутко: еще вчера было одно, с чем сроднились и своим прошлым и будущим своих детей, и вдруг все исчезло, пришло новое, стремящееся зачеркнуть то, что было, отнять то, что ожидало впереди. Люди даже не успели по-настоящему испугаться за свою жизнь.

Возвращаясь назад, Толя увидел, что мать идет, почти бежит навстречу ему. С тревогой подумал об Алексее. Но нет, это из-за Толи мама бежит, из-за него. Толя замедлил шаги, но, видно, никуда не денешься от приготовленных для тебя сердитых слов.

– Ты что это надумал… зачем ты так?

Толя постарался вырваться вперед, но мать, придерживая рукой рассыпавшийся узел волос, шла за ним, след в след.

– Я хотел только…

– У вас все так, а я с ума схожу.

– Ай, мама!

– Что „ай, мама”?

Нет, лучше помолчать. Скажи слово, его тотчас подхватят и затолкают тебе же в рот.

У калитки их поджидал Алексей. Хмурый, гармошка морщин наползает из-под чуба на брови. Мама спешит к нему, а он хоть бы с места сдвинулся.

– Ну что, сынок?..

– Ничего – немцы. Три машины заводские уехали. Успели.

Обедать Алексей отказался, посидел за столом, закурил и вышел во двор. Мама проводила его каким-то странным взглядом. Заторопилась, стала шарить в сумочке. Задержала руку, потом подала Толе что-то завернутое. Смущенно сказала:

– Спрячь, ну что тебе, пусть будет.

Ничего не понимая, сын развернул потертый, пахнущий бумажной пылью пакетик.

– Это крестильный твой. Пускай будет на всякий случай. Вдруг немцы станут… Сделай это, сынок, для меня.

– На черта мне это, – глядя на позеленевший медный крестик, проговорил Толя голосом старшего брата.

Мать все с тем же непривычным смущением перед сыном пригрозила, нехотя улыбаясь:

– Вот поговори мне. Думаешь – большой. Отлуплю – будешь знать.

Она быстро отняла у него пакетик и положила в сумочку.

По улице пронеслись два мотоцикла, потом пошли танки, распирая грохотом улицу. И вновь стало слышно шоссе, к которому, привыкнув, перестали было прислушиваться.

Мать подошла к окну:

– Зачем я потащила вас сюда? Вот люди уехали. Алеша молчит, а я вижу. Что же я могла сделать, детки? И про Москву так говорят…

И она заплакала, убито, беспомощно, как плачут по умершему.

– Детки мои, вот и нет вашей жизни, ничего нет.

– Нигде они не будут, ни в Москве, нигде… Увидишь, как их попрут! – бессвязно заговорил сын, начиная постигать всю беспощадность того, что вломилось в их жизнь.

Стены дома внезапно вздрогнули от тяжелого взрыва. Еще и еще. Быстро вошел хозяин, за ним вскочил в хату Алексей и сообщил:

– Начался бой.

До самых сумерек грохотало за лесом. Деревня, которая недавно так беззащитно лежала перед пришельцами, сразу стала иной: люди перебегают улицу, шепчутся, на лицах тревога и надежда.

У Порохневича собралось несколько соседей. Двоих Толя знает. Высокий – Голуб, который когда-то Толе казался таинственным хозяином уходящей на Москву дороги. Когда этот человек тяжело шел по обочине или возился со щебенкой, Толя подбегал и смотрел. И то, что Голуб всегда молчит, было понятно: он молчит не один, а вдвоем с дорогой. Иногда появлялась другая фигура. Тяжело переломившись, длинный Голуб сдвигал песок к асфальту, а рядом по-воробьиному

прыгал маленький человечек Повидайка и все что-то рассказывал. Лопата у этого человечка не для работы, а чтобы проделывать с нею разные штучки: быстро-быстро ковырнет что-то под ногами, потом обопрется на лопату, затем откинет ее за спину, вскинет на плечо, снова опустит и снова ковырнет песок.

Сегодня Толя впервые рассмотрел Повидайку вблизи. Если на угловатом лице Голуба кожа темная, точно дубленая, то у Повидайки личико как у младенца. Странно видеть на нем седую щетину.

Соседи дымят махоркой и ждут. Говорят, машин на шоссе уже нет, поток их вдруг иссяк. Порохневич уходил куда-то и принес сведения: наши вышли из лесу и оседлали шоссе у моста. Мужчины стали рассуждать, нарочно или не нарочно сюда впустили немца. Еще недавно людям казалось непоправимой катастрофой то, что немцы уже здесь. А теперь радовались снова – каждому взрыву, каждой пулеметной очереди.

– Слышите, слышите? – спрашивают по очереди.

Если человек, счастливый своим завидным здоровьем, вдруг узнает, что он опасно заболел, он испугается, падет духом. Но наступит малейшее улучшение, и человек в этот миг будет более счастлив, чем когда был совершенно здоров. Вот такой короткой, но острой была радость и этих людей, которые еще утром считали, что случилось непоправимое. И ведь не знали они, чьи это пулеметы там беснуются, чьи снаряды рвутся. Радовались уже тому, что идет бой. Главное, чтобы не было тишины, чтобы не думалось: „Вот и все”.

– Вот и все, – именно так и сказал Порохневич, когда бой притих. Лишь шуршит что-то вдали, точно по жести щебенку ссыпают.

– Автоматы, – сказал Алексей.

Последние несколько взрывов, и – тихо, тихо. Опять надвинулось то, что, казалось, отступило.

– А может, наш верх! – не сдавался Толя.

Порохневич проговорил:

– Машины опять идут.

– Все бы так держались, – будто споря с кем-то, отозвался Алексей.

Повидайка подхватил:

– Против русских могут только немцы, они народ техничный. Даже японцы, знаешь-понимаешь, не то. А вот глядите: в одна тысяча девятьсот пятом была война, потом – одна тысяча девятьсот четырнадцатый, а теперь тысяча девятьсот сорок первый. И там и

тут, знаешь-понимаешь, кругом – пятнадцать… А когда еще будет пятнадцать: тысяча… две тысячи…

– Ну ты, „знаешь-понимаешь”, – оборвал его хмурый Голуб, – помолчи.

– А какая польза? – тихо сказала о своем тетя Поля. – Побили их, а у каждого где-то мати.

Заговорил Порохневич:

– Голову сложить – дело не хитрое. Повидайка правду говорит: с немцем надо умеючи воевать. А кому тут воевать! Напекли лейтенантиков, вроде нашего Сашки. Им еще за гусями ходить. Мосты и те не пожгли, а их у нас по два на километре.

– Не трогай Сашу, – строго поглядела на мужа тетя Поля, – ты не знаешь, что с ним сейчас.

Но Порохневич как-то напрягся весь, худые щеки покраснели, он уже кричал:

– А где те, что гражданскую делали и все другое? Черт знает что! Мой начальник – пока сам цел был – говорил на совещании: теперь такое время, что мы должны подбирать кадры не по делу, а по надежности. Такой вот и спрос с них теперь. А шпионы-то настоящие целы, пстрыкают ракетами. Вот вам!..

Ишь ты – „вам”! А ты теперь кто? Думаешь, что всему конец. Вот ты когда раскрылся! А еще говорили, этот Порохневич партизаном был.

Уже с неприязнью глядел Толя на сухолицего человека с жесткими черными волосами, которые будто в самую кость вросли. Он лихорадочно готовил горячие и торжественные, как клятва или проклятие, слова, которые он сейчас скажет этому человеку. Но Толю опередила мама:

– От этого, Лука Никитич, не легче, кто бы там ни был виноват. Учили, учили детей…

Но Порохневича будто подменили. На его костистом лице, перечеркнутом прямыми черными усами, все перекосилось.

– Кричали: мы, мы, у нас – то да се. Где все это?

И этот человек, всегда казавшийся таким сдержанным, свирепо и грязно выругался и ушел, хлопнув дверью.

Голуб крякнул.

– Ну, я это… пойду.

За ним потянулся было Повидайка, но у порога задержался.

– Две тысячи сто девяносто третий.

Никто не понял.

– Тоже, знаешь-понимаешь, пятнадцать.

– Ты хотя эту переживи, – буркнул Голуб, – а то считает…

Перед тем как перебираться в поселок, мама сходила туда сама. Вернувшись, устало рассказывала:

– Зашла в аптеку, там один чемодан поставила, чтобы не держать все дома. Где там! Даже аптеку разграбили. На полу – столько всего. Из города я медикаменты как раз привезла. Начали немцы, а кончить нашлись и наши.

Толя не мог не взглянуть на Порохневича. Ну, конечно же, думает: „Вот вам!” Этот человек как бы присматривается со злорадством к тому, что делается, и можно думать, что он доволен, если подтверждается его какая-то нехорошая мысль.

– Одного даже застала, – продолжает свой рассказ мама, а Толя уже и на нее злится. – Этакий дубина, десятиклассник, ползает по грудам лекарств и пакетики разрывает. Я ему: „Что ты тут потерял? Думаешь, они тебе привезут?” Ухмыляется – дурак дураком…

– А что, немцам оставлять? – не выдержал Толя, заметив противную усмешечку Порохневича.

– Какие же вы все дурные – молодые, – сказала мать. – Теперь-то и насядут болезни. Немцам что? Болейте, помирайте. Не знаю, пригодится ли, а кое-что я отобрала, что отличить можно было.

Это похоже на практичную маму.

В тот же день пошли домой. По шоссе, не сбавляя скорости, непрерывным потоком мчатся машины с удлиненными радиаторами или совсем тупорылые. Эти непривычно безносые вот-вот, кажется, кувыркнутся через голову. Па кабинах и капотах машин – красные полотнища с белым кругом, в который заключен похожий на паука черный крест-свастика. Для своих самолетов, наверное. А наших, выходит, не опасаются. Почему? В кювете лежит наша полуторка, ее, говорят, догнал первый танк и просто столкнул с шоссе. Пугающе желтеет свежий холмик земли. По белым от пыли канавам и между придорожных деревьев идут люди. Их много, они какие-то пришибленные. Кажется, что ночью во время сна чья-то чудовищная рука сгребла людей с огромной территории и швырнула их на землю – и вот те, что уцелели, разбредаются, сами не зная куда. Упоенные успехом, первые немцы не обращают внимания даже на людей в полувоенной одежде. Немцы спешат в Москву.

В поселке

Участники событий, конечно, воспринимали и осмысливали происходящее непосредственно и узко; события несли их в своем

потоке, и каждому видны были лишь ближайшие волны этого потока, хотя каждый жадно стремился заглянуть как можно дальше.

Те, которых мчали моторы к сердцу Советской России – навстречу гибели, верили в своего фюрера, как верят, вынуждены верить разбойники в удачливого, всех подчинившего своей воле атамана, в его везучесть и прозорливость. Пока что фюрер всегда был прав и не правы оказывались те, кто принимали всерьез угрозы авторов мстительного Версальского диктата, те, кто боялись немедленной расплаты за вторжение в Рейнскую область, опасались, что Франция и Англия вступятся за Чехословакию, шептали о неприступности линии Мажино, опасливо косились на Америку, пугали русскими просторами, резервами, дорогами, партизанами. Во всяком случае, спокойнее, если веришь в кого-то самого прозорливого. Далеко заглядывать не стоит: будущее все-таки страшит. А что, если это только начало, а впереди годы и годы войны все более безнадежной, и потом – новый Версаль?.. Нет, все хорошо, русские бегут, Красной Армии уже нет…

– Wolf, wo hast du denn deine Mundharmonika? Spiel nochmal das russische Lied… „Wenn mein Liebster sagt adieu, tut das Herz, mir so weh”…

– Was für eine schöne Bruststimme hat die Kowalowa.

– Oh, Sängerinnen haben immer eine schöne Brust. Sie soll eine Deutsche sein. Es gibt ja viele Deutsche in Russland, irgendwo an der Wolga… Dort herrscht ständig Hunger.

– Wolga, Wolga, Mutter Wol-ga…

– In sechs Wochen sind wir da.

– Ist das im Kaukasus? Ich will mich wenigstens noch rasieren vor Moskau. Als wir in Paris einzogen… Na, du Schwein, schneuz dich mal bischen vorsichtiger.

– Bist selber ein Schwein, mit so 'ner Fresse willst du nach Moskau!

– Kannst dir deine Wut für Amerika aufheben.

– Hinter Moskau fängt Sibirien an. Huh, da ist's kalt.

– Sibirien schenken wir den Gelbhäutigen, den Japanern. Der Führer gibt's ihnen gern. Was anderes ist Indien. In Indien liegt Englands Kraft, hat mal jemand gesagt[1].

---

[1] – Вольф, где твоя губная гармошка? Еще разок эту русскую… "До свидания милый скажет, и на сердце камень ляжет"…

– У этой Ковалевой прекрасный грудной голос.

– О, у настоящих певиц всегда хороший бюст. Говорят, она немка. В России много немцев, на Волге где-то… У них там всегда голод.

– Волга, Волга, мать родная…

– Через шесть недель мы будем на Волге.

У тех, кто тащился по пыльным кюветам, у тех, кто следил за нескончаемой волной нашествия, был свой взгляд на события. Поскольку они были живы, они не верили, что это конец всему. Люди эти не полагались на чью-либо удачливость или интуицию, они только понимали, что на их стороне что-то большее, чем сила техники, и потому в глубине души верили, что дело лишь во времени. Немцы уже здесь – это непонятно, это ошеломляет. Но Россия велика, и она всякое перевидала. Это они тоже помнили, хотя, может быть, некоторые и не думали об этом, а лишь старались не поддаться первой волне, казалось, заботились лишь о том, чтобы уцелеть.

У других были мысли серьезнее: о фронте, о воинском, о партийном долге. Ручейками текли они на восток по лесным и полевым дорогам, уходили на юг, где между двумя немецкими клиньями, охватывающими Полесье, скопилось немало боеспособных советских дивизий.

В поселке – не протиснуться. Улицы, базарная площадь, школьный и больничный дворы – все запружено машинами. Оставлена только полоса асфальта, по ней в одном направлении движется грохочущий поток.

Под ногами вороха пестрых бумажек, жестянки, бутылки. На каждом шагу разделывают свиней, дымят кухни, немцы в одних трусах бреются на подножках машин, на жестяных ящиках от снарядов. И тут же неподалеку несложные сооружения: яма и доска над нею, жердочка для устойчивости. Над ямами сидят немцы уже совсем голые, одна рука на жердочке, в другой журнал с рисунками. Читают. Эти насесты везде, и, как нарочно, на самых открытых местах – прямо в окна людям.

Дико слышать среди всего такого знакомого, своего, чужую речь, которая хочет звучать по-хозяйски, уверенно.

Дедушка встретил домашних, как встречает старожил новоселов. Пояснил, как следует держаться, если *они* заходят и гергечут. Если последовать дедушкиному примеру, немцы будут очень поражены: такая большая семья, и все до единого глухари. Хорошо дедушке, он и в самом деле недослышит, ему и притворяться немного остается. Правда, дедушкина тактика не смутила немцев: они не

– Это на Кавказе? Успеть бы побриться перед Москвой. Когда мы въезжали в Париж... Свинья, знай, куда сморкаешься!
– Сам ты свинья, с такой мордой в Москву захотел.
– Побереги свою злость для Америки.
– За Москвой Сибирь, брр, холодище!
– Ну, Сибирь мы подсунем желтомордым япошкам. Фюрер им охотно подарит. Индия – другое дело. Сила Англии в Индии, сказал кто-то.

получили „яйко”, зато забрали всех несушек. Уцелела лишь наседка, упрятанная под ящик. Утром заглянул дедушка в курятник:

– Ничего не понимаю. Одни головки, а остального нету. Ну, не прохвосты ли? Поотрубили тесаками головки и положили на жердочку, каждую на то место, где курица сидела.

Оказывается, сын соседа Жигоцкого тоже дома. Он появился во дворе с лопатой, шумно поздоровался. Теперь обычное приветствие звучит: „Значит, и вы не уехали?”

На этот косвенный вопрос мама ответила тоже вопросом:

– И вы не уехали, Казик?

– Ой, не говорите, Анна Михайловна. Скорее приехал, да и то нет: притопал. От самого Вильнюса. Все, верите, чемоданы посеял. И велосипед, хороший был – сплошь никель. Как пелось: „Мы сегодня к походу готовы”. Вот оно чем обернулось. Веселого в этом мало, к сожалению.

– Вы учительствовали?

– Инспекторишкой был, Анна Михайловна, ездил туда-сюда.

Когда-то он не так судил о своей должности. Во всяком случае, когда Казик приезжал в отпуск, трудно было даже определить, кем он работает. Каждый имел право догадываться, что у него где-то очень серьезная должность и очень значительная жизнь. На это умел намекнуть и папаша Казака.

Мама не то чтобы недолюбливала Казика, но всегда относилась к нему как-то настороженно. Это потому, что она терпеть не может саму Жигоцкую, у которой Корзуны когда-то снимали комнату. Толе же всегда нравилось видеть и слушать Казика. На нем был отблеск какой-то особенно интересной, нездешней жизни. И все в этом человеке особенное. Даже походка. Идет он наклонясь вперед, но как раз в меру, чтобы свободнее и шире взмахивать руками поперек хода. И этот взмах: вначале двумя руками вправо, потом двумя же – влево, не у всякого еще и получится. Толя пробовал, но от этого его походка делалась не внушительнее, а совсем наоборот: точно он водки выпил и вот-вот песню затянет. К такому взмаху рук и все остальное необходимо: рост, тонкое чистое лицо, хорошо отглаженный костюм, вежливые и при этом умные глаза. Что и говорить, всего этого у Толи не было: коротыш, голова, как большой шар, проклятые щеки, наверное, и сзади из-за ушей видны. Глаза у Толи, положим, тоже не глупые, но чтобы одновременно были вежливыми – не так это просто. Толя даже перед зеркалом тренировался: раскроет глаза широко-широко и выдавливает в них из себя всю доброту и ласковость, как из

тюбика нужную краску. Глаза делаются вежливые-вежливые, но одновременно становятся такие глупые…

У Казика и это и все другое получается красиво: где бы ни остановился, достанет расческу, вскинет левую руку, а правой начесывает волосы. Проведет раз-другой и продует, проведет – продует. От постоянного причесывания, говорит он, волосы закрепляются. И это у него от культуры, а не потому, что голова грязная.

Сегодня Жигоцкий в брюках какого-то ржавого цвета, безрукавка блеклая и помятая, но в голосе, в жестах – прежняя уверенность.

– Готовьтесь, хлопцы. Скоро и вас кликнут.

– Что, куда? – конечно, пугается мама.

– Ничего страшного, – повертывая на плече черенок лопаты, бодро отозвался Казик, – к общежитию. Рабочих выселили, приказано двор подровнять. – Приглушенно предупредил: – Да вот и новое начальство.

За забором остановился коротконогий толстяк Лапов. У него одышка, и потому особенно заметно, как он старается на новой должности. Поздоровался (это директор столовой со знакомыми поздоровался) и тут же прокричал, еле видимый из-за забора (это уже голос старосты):

– Собирайтесь к двухэтажному! С инструментом, да побыстрее. По два раза просить не стану. Отвыкайте. – И уже отходя: – Они к порядку приучат.

– Идем, идем, – почти весело откликнулся Казик и тихо добавил: – Вот она, грязь земли, всплывает.

Около большого здания общежития уже собралось человек двадцать с лопатами. Вновь прибывающие неловко усмехаются, неудачно шутят и стараются побыстрее затеряться среди других.

Появился очкастый офицер, с ним меленький с наползающими на затылок плечами Шумахер – местный немец, который стал или которого сделали переводчиком. Механика Шумахера все знают, вернее, знали как человека смирного, работящего. Но это было до войны – десять дней назад.

Не поднимая глаз и ниже обычного опуская голову, Шумахер объявляет:

– Пан офицер приказал все сровнять, глину и кирпич в яму свалить – туда.

– Пан, а пан! – громко, как глухого, окликает очкастого немца старый Тит, сварливый, как баба, пенсионер. Голос у Тита неожиданно тонкий: немец даже вздрогнул. – Пан, Москва что, а?

Немец махнул рукой:

– Москау капут, – и еще что-то по-своему.

Казик подтолкнул локтем Толю. Когда отошли в сторону, сказал:

– И откуда таких понабралось? Этот старик, говорят, за ящик конфет подрался с какой-то бабой.

Казик шумно и энергично то к носилкам приступает, то за лом хватается, но ничего не делает. Молодец, этот немцам не слуга. Глядя на него, Толя совсем было уселся на груду кирпича, но Алексей поднял его: очкастый смотрит.

Кое-как двор пригладили. Разрешено было расходиться. На базарной площади, заставленной машинами, людей остановил молодой прыщавый немец. Он что-то заорал, стал хвататься за кобуру. По всему видно было: молодец этот пьяно негодует, что есть на земле вот эти люди, на которых он набрел. А люди стояли и переглядывались, некоторые старались обойти его, уйти: перед ними было непонятное существо, которое зачем-то надо видеть здесь, у себя дома. Неизвестно, какие повадки у этого существа, что оно способно сделать в следующий миг.

Разминулись кое-как, но тут же появился другой.

– О, арбайтен, гут, гут! – воскликнул щуплый немчик, чем-то очень довольный. И тут же, точно повстречавшиеся ему люди и на свет родились для того, чтобы выполнить его распоряжения, он стал делить: цвай – сюда, драй – туда и еще драй – туда. Кого – ящики с машин стаскивать, кого – солому сваливать. Заметил и Толю, обрадовался, будто знакомого встретил. – Ком, ком, – и пошел впереди.

Толя вынужден был брести за ним. Немчик указал на старый веник – Толя поднял. В Толе все бушевало: злость, слезы, стыд. Он уже догадывался, куда его ведут, и думал лишь об одном: смотрят ли вслед им? Пришли к дощатой уборной, немчик показал и неодобрительно скривился: не гут! Первое побуждение – побыстрее прикрыть за собой дверь. Но это уже и совсем глупо: знают же, кто за дверью прячется и что делает там. А ведь Толя и не собирается ничего делать. В дверную щель он видит, что к немцу подошел еще один, остановились и уходить не думают. Не сидеть же здесь вечно, а чистить – дудки, сам! Э, да это же двойное помещение, можно перемахнуть через невысокую стенку и выйти в противоположную дверь.

До забора Толя отходил не дыша, сердце стучало где-то в глотке. А скрывшись за заборам, даже присвистнул злорадно. Иди, принимай работу!

Объяснив маме, где задержался Алеша, Толя уселся на завалинке послушать, что рассказывает соседка Надя. Толя знает, что семья начальника гаража уезжала в беженство. И вот, пожалуйста, Надя уже здесь. Она очень похудела, скулы почернели, отчего лицо ее стало совсем мальчишеским. Волосы только что вымыты, косы – короной. Энергичная и решительная в каждом движении, Надя выглядит очень молодой, хотя ей уж под тридцать и у нее двое детей. Скуластое лицо ее грубовато, но при улыбке оно делается даже красивым: у рта неожиданно вспыхивают лучистые ямочки, а темные глава становятся озорными. Но нет улыбки – и лицо ее снова тяжелеет, грубеет.

На вопрос о муже сказала непонятно безразлично:

– В пледу иди в примах. Видела я, как бабы за сало выручают себе примаков. Ищет своего, да и выручит пятерых. Какой-нибудь пригреется. За золото профессора можно в мужья добыть.

Деланная усмешка вдруг сошла с лица женщины, глаза углубились, стали совсем черные.

– Пленные – страшно. Как они могут так с людьми, Анна Михайловна?

– Что я, Наденька, знаю? Знаю только, что в плохое время дети жить начинают. Учились, учились…

– А наши-то? Бегут, а нам вот, бабам, теперь с глазу на глаз с этими. Ну, пусть мой только вернется!

Угроза прозвучала так наивно-серьезно и искренне, что мама рассмеялась:

– Чудная ты, Наденька.

Взбивая густую пыль, на обочину съехало с десяток машин. Пососкакивали немцы и расположились под соснами, густо усыпав серую траву. Один, кажется, направляется сюда. Нет – мимо. В палисаднике тревожно, будто хоря почуяв, закудахтала последняя хохлатка. Немец повернул назад. Надя с выжидательной усмешкой, а мама с напряженно-серьезным лицом (оно у нее теперь постоянно такое) следили за ним.

Скользнув стеклами пенсне по лицам женщин, немец поднял с земли кусок доски и вошел в цветник. Ход мыслей человека в мундире не был, кажется, тайной для хохлатки, возможно; тут действовал какой-то вековой куриный опыт, только хохлатка сразу же забралась

в сиреневую чащобу и затихла, будто и нет её на свете, будто ее уже съели.

Но у человека в блекло-зеленой шкуре был свой опыт. Он присел, вгляделся и начал действовать доской. Немец добился своего, выгнал птицу, и теперь она носилась от забора к стене и обратно.

Вспотевший немец снял пенсне, протер стекла, видимо, тоже вспотевшими пальцами и тайком взглянул на женщин, молча наблюдавших. Снова принялся за дело, но уже как-то нехотя, вынужденно. Другие немцы смотрят сюда, и странно: ни одной шуточки в адрес своего камрада. Их, кажется, интересует только результат. Камрад все более неохотно занимался своим делом, лицо его постепенно темнело, а за стеклами мелькало что-то похожее на смущение. И кажется, человек этот все больше и больше начинал замечать двух женщин, которые с интересом смотрели на него. Видимо, на какой-то миг исчезла в его сознании та пропасть, которую вырыли между ним, немцем, и всеми остальными людьми. Теперь здесь был обыкновенный хозяин велосипедной мастерской, отец троих детей-школьников, приличный немецкий горожанин, который если когда и поднял яблочко под магистратными насаждениями, то лишь для того, чтобы обтереть его и положить на более сухое и видное для садовника место. И вот он на глазах у хозяев ворует их собственность. Немец из-за плеча еще раз взглянул на женщин. Одна из них, белозубая, с косами, поймала его взгляд и улыбнулась нагло и поощрительно: ну, ну, продолжай. Краска смущения сменилась багровостью. Немец заорал что-то, размахивая длинными руками.

– Идите в хату, Толя, Нина, – конечно же не забыла сказать мама.

Надя с той же выжидательной усмешкой на скуластом лице глядела прямо в пенсне немцу.

Тот вдруг швырнул доску и пошел к шоссе.

– Анна Михайловна, по-моему, мы победили? – весело спросила Надя.

„Моральный контакт”

Жизнь в поселке замерла. И каждый день, казалось, что-то обламывалось, рушилось, как это бывает в опустошенной пожаром коробке многоэтажного дома. Людей сковывало тяжелое чувство оторванности от того, что все дальше уходило на восток.

Рабочие теперь каждый день собираются под соснами возле заводского клуба: покурить из десятых губ, словом перекинуться. По шоссе идут и идут машины, хотя уже и не так, как в первые дни.

– Да, – произносит жилистый шофер с удивительно крупным и, наверное, очень твердым кадыком. Это брат Сеньки Важника. Проводив глазами дымную колонну дизелей, выплюнул горящий уголек, оставшийся от цигарки, и поднялся. – Со всего света.

– Не наши полуторки.

Про полуторки сказал заводской слесарь Застенчиков. Он один тут в кепке: опасается показывать немцам свою стриженую „солдатскую" голову. Большой козырек мельчит и без того не крупные черты его бледного, нервного лица.

– Расскажи, Застенчиков, как повоевал, – попросил Сенька, глядя в небо.

Сенька и теперь не теряет спортивного вида, ходит в футболке, белых тапочках. Только все движения у него с какой-то ленцой, на загоревшем лице – апатия. Он всех лениво, но зло поддевает, язвит без конца. Странно, что он так быстро приблизился к взрослым. А когда-то Толя почти дружил с ним. Сенька наведывался за книгами. Признавал лишь Дюма, Жюля Верна и романы, у которых давно потерялись обложки. Он всегда командовал, даже парнями старше его по годам. Те, которые ходили с ним на рыбалку, рассказывали на зависть другим, как „рыбный атаман" ночью устраивал им „Владимирово крещение": загонял палкой в холодную темную воду.

Теперь Сенька просто не замечает таких, как Толя.

– Расскажи, – упрашивает он Застенчикова, усмехаясь прилипчивыми голубыми глазами.

Застенчиков предпочитает отмалчиваться. Но Сенька не скоро отстанет.

– Надолго у командира отпросился?

– Ты бы попробовал, это не акробата в клубе ломать, – не выдержал, отбрехнулся Застенчиков, нервически морща прозрачный, будто из целлулоида, нос.

– Ну, как же, там же стреляют.

Недружелюбный смех взорвал Застенчикова.

– Попробовал бы сам с трехлинейкой против брони. Прет немец, а мы не оборону занимаем, не закапываемся, а навстречу ему – шух, аж до самой Лиды. На дороге он нас и встретил. В обозе нашем снарядов кот наплакал, зато брусья и „кобыла" для таких спортсменов, как этот. – Застенчиков одарил взглядом невозмутимого Сеньку. – Видим, колонна немцев пылит. Лежим в канаве, посоветовались:

помашем, позовем, пускай идут сдаваться. Поднялись: „Ком, ком, товарищи!” Как врезали нам…

Босоногий мальчуган, всаженный в батьковы штаны, как в мешок, авторитетно поддержал Застенчикова:

– Самый главный командир Павлов приказал танки и самолеты разобрать и бензин вылить, всех командиров в гости к себе собрал, а немец взял и напал.

Сенька отметил:

– И этот с Застенчиковым Лиду брал.

– Пшел спать, – щелкнул мальчугана по лишаистой голове Коваленок. Он тоже вернулся „оттуда”, его тоже окружили. Но этого парня с девичьей талией и всегда веселыми глазами не поддевают. „Разванюшу” (так все называют Ивана Коваленка) не смутишь. А может быть, потому не трогают его, что он не оправдывается и не говорит о том, что все и сами хорошо видят: о силе врага.

– А броня у этих не очень, – неожиданно произносит Разванюша, провожая взглядом броневики.

– Пробовал?

– Нет… так.

– Поздно прикидываешь, под Смоленском уже.

Только что пришагавший рыжий грамотей Янек возразил, смущенно моргая:

– Еще только Рогачев взяли. В их газетах пишут.

– Ну, а мало оттяпали? За Днепром уже. Во, сколько отпускников дома загорает!

Угрюмый брат Сеньки Важника сунул свои большие ступни в „трепы” – деревянные рабочие „босоножки” – и сердито закончил:

– Прут, и все тут. Нечего дураков тешить.

В голосе человека звучало злое отчаяние, похожее на неверие тяжелобольного в хороший исход болезни, отчаяние, рождающееся от мучительного напряженного желания и ожидания такого исхода.

Особняком от всех сидят двое с мешками, жуют.

– Откуда, туристы? – переключился на них Сенька.

– Мы, ребятки, из Западной идем, из заключения, – быстро отозвался широкобородый старик и ловко, почти не отрываясь от земли, передвинулся поближе. Молодой остался на месте.

– Освободили вас, значит? – поинтересовался Сенька.

– Выходит, браток.

– От своих вызволили, вот, – издали угрюмо бросил молодой.

– Поздравляем, – сказал Сенькин брат и, стуча „трепами”, потянулся на сигаретный дымок к другой компании.

Будто оправдываясь и одновременно враждебно широкобородый послал вслед ему:

– На пять минут опоздал – судили. Разве это порядок – так делать?

– Ну, а чем вы там занимались?

– В Западной-то? Укрепления строили.

– Ну-ну, – что-то разрешая Сенька Важник.

– А что вы тут язвите? – вдруг вмешался Леонович-младший. – Вот твоего бы туда батьку, посмотрел бы я, как весело тебе было бы.

Тощие хохлатые братья Леоновичи, как обычно, сидят рядышком.

– А кто тебе сказал, что мне теперь весело? – спокойно отозвался голубоглазый Сенька. – Это ты веселись, придет батя.

– Я не про то, – замялся Леонович, вертя больной, вечно забинтованной шеей. Но тут же еще больше вскипел: – До войны ты с нами и знаться не хотел. „Враги народа!"

– И теперь я тебя не желаю знать.

– Хорошо-о мы вас понимаем! – уже с открытой злобой кричал Леонович, хватаясь за грязный бинт. Старший Леонович одернул брата:

– Ладно тебе.

У себя во дозоре Толя столкнулся с Порфиркой. Бывший завхоз больницы ходит теперь с винтовкой. Один глаз под черной повязкой, отчего второй – какой-то подсматривающий. Здоровым оком Порфирка скользнул по окнам, потом что-то холодное проползло поперек Толиного лица. Заметив в окне маму, которая, отстранившись, наблюдает за нам, Порфирка нехорошо усмехнулся и завернул в сени, предоставляя Толе закрывать за ним дверь. Не здороваясь, сообщил:

– Новинского поймали.

Он словно ожидал, что этой вести обрадуются. Но хозяйка даже да поняла.

– А куда он убегал?

– Никуда. Он не мужчина, а баба – тайным агентом был.

– Так ведь все знают, что Новинский – женщина. Вы же работали в больнице, должны помнит. Больной человек. Ваня его… эту женщину лечил. В ту войну она санитаркой была, контузило, вот и осталась мания одеваться мужчиной. – Мама говорила, волнуясь: – Вы объясните им, Порфирий Македонович. Это же ни для кого не тайна.

– Ого, – ухмыльнулся Порфирка.

Казалось, даже повязка на правом глазу чернела издевательски. Повернулся к двери и приказал:

– Всем быть около школы. Ясно?

Порфирка ушел. За окном проплыла вытянутая крысья мордочка. Паскуда! Странно, что этот немецкий шпион и теперь носит черную повязку.. Толю совсем не удивило бы, если б обнаружилось, что у Порфирки цел и второй глаз. А что он был шпионом – об этом все говорят. Старый Жигоцкий вспоминает, что за две, недели до начала войны Порфирка приходил покупать мед – и все заводил разговор о каких-то больших переменах, радость из него так и перла.

Мама пошла, куда приказал Порфирка. Толя сразу шмыгнул следом.

Посреди школьного двора иглой стоит пионерская мачта над трибуной. Еловая жердь снизу вытерта детскими руками до костяной желтизны.

Собравшиеся – это заметно – не понимают по-настоящему, что здесь должно произойти. Хлопцы переглядываются. Новинского все хорошо знают. Толиным однолеткам этот морщинистый чудной человек когда-то казался немного колдуном, особенно когда он выходил из лесу со стадом коз. Козы бегали за ним, как собаки, даже в магазин. Детям Новинский всегда улыбался ласково, по-старушечьи, но они, чувствуя какую-то тайну, сторонились его, поддразнивая издали.

Почувствовав, что толпа зашевелилась, Толя постарался протолкаться к трибуне. При этом он с опаской поглядывал, нет ли поблизости мамы.

Из школьного сарая вывели человека, зябко кутающегося в зеленую плащ-накидку. На морщинистом желтом лице человека – стеснительная, виноватая улыбка. Порфирка толкнул его к ступенькам, ведущим на трибуну. Наверху, опершись о мачту, поджидает их высокий офицер. Бросается в глаза крупный перстень на его тонком пальце. С ним еще двое – в штатском. Пока человека в плащ-накидке подталкивали вверх по ступенькам, офицер достал книжечку и стал что-то вычитывать. Потом повернулся туда, где толпа была гуще. Понимающе улыбаясь и, видимо, рассчитывая на ответные улыбки, он начал:

– Мы будем иметь с вами, как по-русски говорят, – офицер заглянул в книжечку, – мужской разговор. Русские граждане, провидение вложило в руки фюреру меч против большевистских варваров и англосакских плутократов. Некто из вас думает: поживем – увидим. Так по-немецки нельзя. Место в новой Европе будет иметь только тот, кто с нами будет иметь моральный контакт. Мы желаем иметь с вами моральный контакт. Вам надоели большевистские

эксперименты и, – офицер поднял глаза, – агенты. Их вы нам покажете, а пока мы вам одного покажем. Гут? Добре?

Офицер поглядел на толпу, потом на тех в штатском, что стояли рядом с ним, и улыбка сползла с его лица, как кожица с гнилого яблока. Лицо пожелтело, в глазах промелькнула растерянность.

Люди внизу угрюмо молчали.

Офицер потянул к себе женщину, жалкую, безучастную, и стал, выламывая руки, срывать с нее грязную хламиду. Порфирка бросился помогать.

Толпа сжалась, как сжимается от боли тело человека. По глазам ударила желтая нагота дряблого старушечьего тела. Лицо жертвы выражало даже не страх, не боль, а одно лишь огромное непонимание. Офицер оттолкнул старую женщину к Порфирке и торжествующе оглянулся, как фокусник, уверенный в эффекте. Но внизу угрюмо, тяжело молчали. Офицер виновато взглянул на немцев в штатском и с торопливой злобой выхватил из-за широкого голенища резиновую палку. Хлюпнул удар по человеческому телу. Толпа отшатнулась. Отвратительный и страшный звук раздался еще и еще раз в такой тишине, что, казалось, можно было слышать, как вверху по твердой, глянцевой синеве скользят грязные облака.

Офицер злобно и растерянно глядел вниз, будто не эта старая больная женщина, а он сам стоял голый перед сотнями человеческих глаз. Он еще раз ударил свою жертву по дрожащим рукам, крикнул что-то и сбежал вниз. Женщине набросили брезент на плечи, солдат и Порфирка потащили ее по ступенькам вниз. Испуганно таращa на людей злобный глаз, Порфирка тянул женщину за руку к сараю, сзади ее прикладом подталкивал солдат. Женщина бежала за Порфиркой и старалась ступать на пальцы: ногам было колко. Ревматические, с синими венами ноги ступали по земле, как по жаровне.

Вечером стало известно, что женщину расстреляли в лесу. Казик, сообщивший это, сказал:

– На низменных инстинктах стараются играть. Заметьте. На том и хотели бы установить, как тот офицер выразился, моральный контакт.

Казик – учитель истории, он умеет все объяснить. А Надя более по-женски увидела:

– А как отшатнулись люди, когда он ударил. Вы видели, как все вместе отшатнулись от трибуны? Немцы даже растерялись.

– Они дураки, русской истории не знают, – опять перехватил разговор Казик. – Вера Засулич полгода охотилась за градоначальни-

ком Петербурга и стреляла в него за то, что он приказал высечь заключенного. А заключенного она даже не знала.

Мама увидела все совсем просто:

– Несчастная женщина.

То, что произошло на школьном дворе, оказывается, и есть „новый порядок”. За малейшую провинность человека тащат в комендатуру и там бьют „гумой” – проволокой, обтянутой резиной. „Гума” служит не для наведения порядка военного времени. Для этого имеются средства более решительные. В приказах с черным орлом каждый абзац заканчивается словом „расстрел”. „Гума” же, видимо, является чем-то привычным для самих немцев, как надпись „Курить воспрещается” или „Не сорить”.

Немецкие солдаты, которых офицеры били по щекам, сочувствия не вызывали. Этому Толя не удивлялся. Он сам на таких немцев смотрел с мстительным злорадством: вот вам за то, что вы так охотно воюете!

Многое ему передавалось от взрослых. Дума о немце-товарище держалась в людях даже после того, как увидели немца-оккупанта у себя дома, самодовольного, безжалостного. С какой надеждой передавали, что в неразорвавшейся бомбе обнаружили записку: „Чем сможем – поможем”.

Значит, есть те, в кого столько лет верили!

Постепенно ожидание сменилось разочарованием, злой насмешкой и обидой. Потом остались лишь ненависть и презрение – круг сомкнулся, как зеленый глазок в радиоприемнике, когда он настроен на одну волну. Но временами, и как-то очень легко, в этом глазке снова образовывался разрыв, и в него прорывались иные звуки. Довоенная, казавшаяся теперь наивной, простецкой, надежда на немца-рабочего, оказывается, не умирала: она жила где-то глубже, как внутреннее чувство. И хотя это чувство вроде бы не излучало ни тепла, ни света, оно сохранялось, как уголек под пеплом. Малейший повод – и оно снова и снова вспыхивало.

Отец Казика рассказал однажды:

– Старуха моя – не вам про нее говорить, пожили с ней, знаете, стала большевиков ругать. Поддобриться к нашему немцу захотела, холера ее знает? Немец слушал – он немного разумеет по-польски, – слушал, а потом – хвать газету, порвал и сует всем по клочку. Соседка как раз сидела у нас – и ей. И кричит: „Коммунист, Москва, форштейн?” Всем, дескать. Потом вырвал бумажки из рук – бабы даже перепугались, – сгреб к себе: „Фашист, капиталист, розумешь,

пан?” Да за манатки свои и дверью – хлоп. Не знаем, что и думать. Может, проверял, а может, и по-другому надо понимать.

Вот он, *тот* немец! Толя восторженно глядел на всех, на просветлевшие лица, и ему почему-то хотелось сказать: „Ага, что я говорил!”

– Да, но что из того? – как бы стремясь зачеркнуть Толину радость, промолвил Жигоцкий. – Во-он они где уже. А этот сгоряча брякнул, а теперь, понятно, жалеет, боится.

Еще бы, перед кем бисер метал! Разве Жигоцкие поймут? А та старая ведьма – ох, как в эти минуты ненавидел ее Толя! Он вдруг почувствовал стыд перед *тем* немцем, хотя никогда в глаза его не видел. Каково было немцу, сохранившему в таких испытаниях свою веру в Советский Союз, слушать все это здесь!

В знойный пыльный день во двор к Корзунам завернул старик с тощим мешком за плечами – из тех, которые все еще куда-то бредут по дорогам. В окно Толя видел, как тяжело ступает босыми ногами уставший дед. Он весь пропылился, мешок измаслен пóтом. Старик вошел в сени и пропал: не заходит в дом и не выходит назад. Мама открыла дверь:

– Заходите, дедушка, как раз картофельные драники заделала.

Мама теперь готовит завтраки и обеды в больших чугунах и кастрюлях: и на таких, как этот дед.

Дед все не входит, в темных сенях по-молодому блестят веселые глаза. Мама, раскрасневшаяся у печки, встревоженно обрадованно всматривается в лицо незнакомца.

– Входите, никого чужого.

– А она гостеприимна, как всегда. Все еще не узнаете? А я не раз переступал этот порог.

И вот незнакомец уже сидит на диване, и видно, что отдыхает не только ногами и спиной, но и лицом: складки тупой усталости и безразличия, которые так старили его, когда он шел через двор, разгладились. Несмотря на черную, окладистую бороду, лицо его, оказывается, совсем под стать молодым веселым глазам.

Бородач поднялся и стал рассматривать фотографию отца. Ему известно, что отец успел эвакуироваться из Бобруйска, а потом из Гомеля вместе с аэродромом. Почему не уехал, как остался: он сам – не говорит.

Мама поведала незнакомцу тревожную семейную тайну:

– Тут прошел слух, что Ваню немцы казнили. Есть такой Пуговицын, так ему его шурин сказал – он из плена прибежал, – что

сам видел, как... Я ходила к тому Захарке. Будто бы Ваня немецких офицеров отравил, они его и... Но я не верю этому Захарке.

– Да, в голод намрутся, а в войну наврутся.

И Толя не верит. Но когда пошли разговоры, и мама по ночам тихонько плакала, он тоже глотал слезы, отвернувшись к стенке, чтобы брат не слышал.

Чернобородый вдруг спросил:

– Захарка – это фамилия? Помнится мне такая. А тот – Пуговицын? Гм...

– Захарка на спиртзаводе фельдшером работал, а Пуговицын был тут в поселке заведующим заводским складом, а теперь в полиции.

Чернобородый незнакомец промолчал, потом промолвил:

– Время, что и говорить. Знаю только, что Иван из тех, кто крошатся, но не гнутся.

Такие разговоры про отца заставляют Толю внутренне дрожать от гордости за него и от какой-то запоздалой, виноватой нежности к отцу. Но слухам про отравленных офицеров и про расправу над отцом и он не верит. Не верит потому, что вообще не может представить его в плену – опустившимся, жадно-голодным, избиваемым. Нет, у него сразу бы вспыхнули бешенством глаза, и все было бы кончено. Как мог бы он войти в доверие к тем офицерам: ни ловчить, ни приспосабливаться он никогда не умел! И в большом и в малом отец всегда был одинаков.

В Толино воспоминание прорвался голос незнакомца:

– Помню я этого Захарку и, кажется, Пуговицына. Не верьте ни единому их слову. Ваня знал... Помните, у него были неприятности. Я тогда еще в райисполкоме работал, и у меня про Ваню спрашивали.

– Вот оно что! – протяжно проговорила мама. – Ваня мне и говорил, что заявление писали двое. А кто – не сказал.

Папа был очень мягок с людьми: „голубка", „голубчик". Но он мог быть и неожиданно резким. Однажды Толя повстречался ему на базарной площади. Папе нравилось бывать на людях с Алексеем или Толей. Маме он говорил:

– Ты посмотри на них – догоняют уже батьку!

Дома это было еще терпимо. Но не на базаре же мериться! Толя, смущенный и сердитый, вывернулся из-под руки отца и постарался поскорее отойти с ним от товарищей. Как всегда при врачебном обходе поселка, в руке у отца была глянцевитая палка, которую он в такт ходьбе перекидывал через руку, будто дорогу вымеривая. У сельмага отца остановил бритоголовый Пуговицын. Было заметно, что

он сильно угостился: круглые глаза его выражали попеременно то пьяное умиление, то беспричинную обиду. Насаженная на тонкую шею, по-птичьи вынесенная вперед голова его описывала весьма заметный круг, но ноги стояли крепко. Пуговицын стал невразумительно благодарить отца за то, что он, Пуговицын, ходит по земле, хотя мог бы удобрять ее собой, не будь в поселке такого врача. (Пуговицын перед этим тяжело болел.) Морщась, отец сказал:

– Хорошо, голубчик, живи здоровенький. Поспи пойди.

И повернулся уходить.

– А-а, я, значит, пьяница? А ты? Женушка кто у тебя? Из кулачков… То-то же! Думаешь, не знают… люди?

Отец круто обернулся, глаза у него страшно остановились. Пуговицын, сразу протрезвевший, отшатнулся от поднятой палки. Забыв про Толю, отец быстро пошел прочь.

Женщины, которые толпились у базарных рядов, не поняли, что произошло, но они знали врача и потому дружно набросились на Пуговицына:

– Залил очи.

– Надо же, до того человека довел, что палкой, как от собаки…

– Мало доктор к тебе бегал?

Но женщины тоже были смущены. Чтобы Корзун, который к больному чуть ли не в белье среди ночи спешит, мог вот так, палкой?

– Подумаешь, цаца! – отбиваясь от слов женщин, крикнул Пуговицын. Но лицо его выражало совершенно трезвую растерянность.

Все это промелькнуло у Толи перед глазами, пока незнакомец изучал фотографии, а мама готовила ему поесть. Меньше всего Толя мог думать, что именно в этой комнате он еще увидит Пуговицына, вот так же рассматривающего папин портрет.

Слушая веселого незнакомца, мама и сама будто вернулась в довоенное. Как-то очень молодо улыбается, в голосе звучит чистая, звонкая струна. Кажется, вот-вот откроется дверь и войдет приехавший на воскресенье отец…

Но Толя хорошо помнит, какое теперь время, и не отходит от окна. Чернобородый заметил это и понимающе подмигнул Толе, заставив его покраснеть от удовольствия. Толя был уверен, что он охраняет не совсем обычного окруженца. За последнее время пришлось ему видеть немало людей, напоминавших о довоенном, о том, что ушло, отступило на восток. Однако те люди были лишь осколками чего-то дорогого, но растоптанного. А в этом незнакомце все было иным, и сам он будто прямо пришел из прежней жизни, и

все в нем говорило о довоенном, как о чем-то существующем, и не только там, на востоке, существующем, но и здесь, везде, где есть наши люди. Человек не произносил ободряющих слов, но его спокойное и слегка ироническое отношение к немцам, которые столько дней обдавали его пылью, весело-синие глаза, в которых таился намек на то, о чем говорить нельзя и нет нужды, – все это возбуждало восторг и чувство влюбленности, которое Толя легко дарит людям волевым, сильным и обязательно замкнутым.

Прощаясь, гость сказал маме:

– Не будем терять из виду друг друга. Я еще надеюсь посидеть за этим столом с Иваном Иосифовичем. О медикаментах договорились. Берегите себя и детей.

Мама вышла за ним в сени. Вернувшись, увидела сияющее лицо младшего и многозначительное, нахмуренное – Алексея. Сказала, как о чем-то совершившемся:

– Ну, вот…

– Я его помню, – вдруг заявил Алексей. – На машине из города все приезжал. Денисов? Он?

Семья растет

В один из летних дней появилась мамина младшая сестра с Павлом – мужем. Она росла вместе с Толей и Алексеем, и потому они всегда называли ее просто Маней.

Переступив порог, Маня беззвучно заплакала, худенькое веснушчатое личико ее по-детски беспомощно перекосилось.

– Оленька утонула.

– Ой, что вы! – испуганно воскликнула мама. – Как же это вы?

– Мост был подпилен, а наша подвода первой шла, пока добежали, достали… – объяснял Павел.

– Это он все, эвакуироваться, ехать…

– Ну побили бы нас дома, – быковато насупившись, отстаивал свою правоту муж.

– Мы все живем, а Оленька…

– Еще неизвестно, что будет, – с ненужной настойчивостью продолжал возражать муж. Подвижные желваки и крючковатый нос выдают в нем упрямца.

Мама с упреком оборвала его:

– Перестань, Павел.

Потом тихо сказала, видимо, про свое, затаенное:

– Неизвестно, где убережешь.

– Правду говорите, милочка,– подхватила соседка Любовь Карповна, которая первая увидела гостей и зашла вместе с ними. В каком-то горестном упоении она пропела: – Еще, может, мертвым завидовать придется, как в старых книгах сказано. Бог знает, где мой Витя теперь. Сколько этих эрапланов сгорело!

Слеза повисла на щеке у женщины, прозрачная, крупная, похожая на ее граненые стеклянные бусы.

– Сходила и я два разика в город, – продолжала в какой-то лишь ей понятной связи Любовь Карповна,– думала, возьму что на этих складах. Люди же целый месяц тянули. Семечек только и принесла, да сахарку немножко, мокрого, с песком. Там такого наслышалась и навиделась, не доведи господь…

Маня и Павел поместились в зале. Семья собиралась, росла. И так было не только у Корзунов. Многие семьи стали больше, чем до войны. Люди гибли, но и крыш становилось меньше.

Мама, казалось, вся ушла в заботы о том, как прокормить восемь человек. Сразу увидели, какое это богатство для семьи – корова. В лесу теперь столько пастухов, сколько в поселке коров, каждый за своей ходит. Домашним пастухом сделался и Толя. Они вдвоем с Минькой хозяйничают в лесу. Тут им и прежде не было скучно, а теперь в лесу не только гнезда и грибы. На каждом шагу можно набрести на снаряд, мину, промасленную накидку, патронные подсумки. Глазастый грибник Минька и тут удачливее: обе винтовки – его находка. Толя слишком уходит в себя, как только остается наедине с лесом. Он начинает вслушиваться в тревожное гудение затерянной в лесу асфальтки, рисует радостные картины: вот он подходит к дороге, а там уже наши танки, его останавливают красноармейцы, расспрашивают про поселок, про немцев…

И теперь, как прежде, у Толи с Минькой все тайны общие. Все, что они подобрали около шоссе и в лесной чаще, на таком же точном учете, как когда-то гнезда. Скажет один: „около болотца”, „под выворотнем”, „в дупле” – другой уже знает, где это и о чем идет речь. Самая большая и опасная их тайна – шесть цинковых коробок с патронами от русской винтовки. Коробки эти целую неделю валялись в кювете на виду у всех. Это было время, когда пацанов захватила горячка изучения всего, чем замусорила землю война. Пустив коров в березовый молодняк, они без конца ковырялись в гранатах, жгли желтый, мылоподобный тол, крутили головки у снарядов, а из патронов „делали” порох и тоже жгли его. Непонятной и потому пугающей была беспечность немцев, которые оставили неприбранными цинки с патронами. Пастухи рассуждали: это они нарочно,

хотят проверить, нуждаются ли жители в таких вещах. И если это было действительно так, то их опыт удался: цинки внезапно исчезли. Заросшая синей травой яма, где когда-то была землянка, приняла их.

Самая бесполезная вещь – мины и снаряды. И как поганок всегда больше, чем боровиков, так и этой дряни в лесу больше всего. Даже болотце мостили ими: весело это – ступать по снарядам. Пробовали бросать снаряды в старый пришоссейный колодец – не взрываются. Но скоро и им нашли полезное применение. Если разложить большой костер и пристроить на нем такую чушку – здорово бахает. Только успевай убегать. Не раз жители, да, пожалуй, и немцы вздрагивали от непонятно близких взрывов. Пастухи научились палить „беглым": для этого нужно столько костров, сколько есть снарядов. У Толи возникла мысль, которой он тут же поделился с Минькой: вот бы под мостом такой костер разложить! В кустах возле моста, как нарочно, две бомбы лежат.

Видимо, подозревая, что в лесу Толя не одни грибы и ягоды собирает, мама старательно передавала ему все слухи о деревенских ребятах, которые что-то там ковыряли и остались без пальцев, без глаз.

Ну что ж, уметь надо, а не умеешь – не берись!

Взрывы в лесу очень тревожат маму. Всякий раз она встречает Толю так, будто они бог знает сколько не виделись, и обязательно говорит:

– Да пропади она, корова эта! Не пущу больше тебя. Так неспокойно.

Немало усилий приходится затратить, чтобы убедить маму, что в лесу не опаснее, чем в поселке. И утром опять собирает она своего „пастушка". Жара стоит, а она: „Надень еще одни штаны, роса такая, возьми галоши". Она готова и шарф предложить, хотя знает, что Толя отмахнется от всего. Но не повторять этого каждое утро мама не может: она будто виноватой чувствует себя перед Толей. Как же, она сама посылает его туда, где стреляют! Толя все это отлично понимает. Но он тоже не может удержаться, чтобы не буркнуть что-либо Алексеево:

– А ну его! Ай, отстань, мама!

То, что у Толи постоянное и, по мнению других, небезопасное дело, уравнивает его с Алексеем. Толя рад, что он наконец перестал быть лишь тенью старшего брата. Но ему немного совестно, что его веселые прогулки в лес считают работой и награждают за них такой виноватой лаской.

В лесу хорошо. Особенно любит Толя, когда набегает короткий и щедрый августовский дождь. Вздрогнут вдруг вершины, точно они

первые увидели что-то вдали. Старые ели сразу нахмурятся, как-то приспустят тяжелые лапы. У них шапки-шлемы, им за ворот не нальет. Береза, та иначе встречает дождь: зашумит вся и давай закидывать голову-вершину, пьяно раскачиваться. Любо видеть буйную радость березы, усевшись под смирной, домовитой елью, где так сухо, что повернешься – обязательно сучок треснет. По иглам скатываются тяжелые светлые капли и оставляют за собой прозрачный гребенек. Проведешь по холодной цепочке капелек губами – горьковатый вкус хвои.

Но вот дождевые потоки начинают пробивать хвойный шалаш. Натягиваешь на голову немецкую накидку. По бумаге звучно ударило. Раз и еще раз. Снизу сквозь провощенную бумагу видишь, как упруго отскакивают от тебя водяные шарики, оставляя значки. Капель все больше, ты уже начинаешь звучать, как барабан. Просто невозможно не выскочить на открытое место. На тебя льет, ты уже – целый оркестр. Что-то заставляет человека горланить, подбрасывать ноги как можно выше. А коротыш Минька грибом сидит под елкой и беззвучно смеется, морща свой „пилсудский” нос.

Тем временем коровы обязательно забредут в чащу. Хлюпаешь раскисшими ботинками по теплым травянистым лужам и, не видя еще коров, орешь на весь лес:

– Ку-уды!

В таком лесу и про немцев забудешь.

Жигоцкие

Часто стал наведываться отец Казика. В Толином представлении он какой-то не стареющий. Белые аккуратные усы, улыбка бывалого человека, чуть нависающая фигура заботливого хозяина – „пчелиного бога” – таким Толя помнит его, сколько помнит самого себя. Жигоцкий – неотделимая частица мира, с которым Толя сжился именно в ту пору, когда предметы и люди окружают тебя вплотную и потому навсегда остаются в памяти. Белоусый Жигоцкий, его большой дом, кубики-ульи под старыми щедро-рукастыми яблонями, высокая рожь (она желтела и там, где потом построили больницу), маленькая лужайка, весной желтая, а потом прозрачно-белая от одуванчиков, и над всем – толстенный дуб, с которого озирает окрестности домовитый сухоногий аист, – все это часть Толиного детства.

Жигоцкий – человек не пьющий и не курящий. „Пчела не любит пахучих”, – говорит он, но соседи считают более существенным то, что „пахучих” не любит „пани Жигоцкая”.

Тем не менее у Жигоцкого есть своя страсть. Когда еще Корзуны жили у него за стеной, старик засиживался у них в комнате до полуночи: говорить он может часами, были бы охотники слушать. Задолго до того, как Толя читать выучился, человек этот был для него живой книгой. Рассказы, небылицы и были Жигоцкого так врезались в сознание, что сделались как бы собственным воспоминанием Толи. Иногда Толе представлялось, что он сам помнит здешнего помещика с острыми тараканьими усами, видел его дворец в сосновой глухомани (место это и назвали „Лесная Селиба") и даже красавиц, которых усатый таракан привозил и увозил в закрытой коляске. Толе почему-то очень жалко было красавиц. „Помнит" Толя и бородатого купца-старовера, который пришел пешком и откупил у пана Горецкого его рессорную коляску, землю, лес и дворец с красавицами. В придачу он получил лесника. Этим лесником был Жигоцкий. Купец понаставил лесопилок, пустил стекольный заводик. Мастеров-стеклодувов выписал из Польши. Леса поредели, и тогда стали загораться лесопилки. Когда пожар вспыхнул на самой большой – с тремя станками, надо же было оказаться поблизости леснику Жигоцкому. Он собрал рабочих, пообещал им от имени хозяина благодарность. Все три станка были спасены. Явились какие-то людишки, долго лазили по пожарищу вместе с хозяином. На чем-то не сошлись, и страховки хозяин не получил. Лесника Жигоцкого погнали со службы.

Тут, бывало, в разговор вмешивалась сама Жигоцкая.

– Так тебе, дурню, и надо, лез, куда тебя не просили. Вот и пошел в батраки.

– К тебе, матушка.

Это звучало чуть-чуть горько. Жигоцкий в самом деле батрачил у своего будущего тестя, да так, кажется, и перешел в батраки к собственной жене. Выдали за пего „паненку Анелю" потому только, что даже ладный хутор не приманивал женихов к плосколицей невесте, которой словно позабыли нос приставить, а когда спохватились, кроме стручка фасоли, ничего под рукой не оказалось.

Недавно Казик позвал хлопцев к себе. Толя испытал странное ощущение, точно заглянул в музей своего детства. Все тут сохранилось таким, каким осталось в его памяти. А дом Жигоцких действительно чем-то напоминает музей: старинный черный комод, стеклянные колпаки над белыми фигурками святых, высокий сундук в углу. Когда-то Толю очень занимали все эти картины в аккуратных рамках: люди с острыми, будто приклеенными усами целятся в тетерева, а у ног их – странные собаки с подтянутыми к самой спине животами. И люди, и собаки, и даже тетерев, в которого стреляют, – все такие

спокойные, довольные, позы такие красивые. Вдоль стен нерушимым рядком стоят старинные стулья с гнутыми ножками и подозрительными дырочками в сиденьях. Сколько Толя помнит, никто никогда на них не сидел. Для этого есть „из магазина” – дубовые.

Даже на Жигоцкую в этот раз Толя смотрел с удовольствием.

Как медведица, сползла она с печи и подарила гостям улыбку. Улыбка у нее такая: края широкого рта, желтые морщинки около ушей и даже дырочки в носу-стручке – все дружно устремляется к глазам, но маленькие глазки смотрят по-прежнему внимательно и подозрительно. Старуха Жигоцкая сделалась еще более квадратной, и ее сильно пригнуло к земле. Ходит она полусогнутой, так и кажется, что человек носит свою спину, как дверь, которую зачем-то взвалили на него.

Толя знал, что мама не любит эту женщину. Но на сей раз он не испытывал к ней никакого враждебного чувства. Все-таки эта старуха – тоже частица его детства. Медовым голосом она поинтересовалась, как живет дядя и в каком классе Толя (это теперь-то!). Таким же сладким голосом Жигоцкая, бывало, кричала с крыльца: „А хай вас, миленькие, совсем уже вынесут, как вы носитесь, курам садиться не даете”. – Это чужим детям. „Не нажретесь вы никак, миленькие мои”. – Это уже своим.

Тем же голосом, нараспев, она и мужу кричала, да так, чтобы квартиранты слышали! „Не выпалила маланка[2] очи тебе, как ты уже познал дорогу к ним...”

Пожалуй, нет такого слова, из которого она не смогла бы сочинить ругательства.

После того как Корзуны выбрались на казенную квартиру, Жигоцкий почти не заглядывал к ним. Старуха отучила. Да и каждый был занят своим. Жигоцкий с утра уходил на пасеку. Он работал в колхозе, хотя жил в поселке. Толе запомнилось лишь одно его посещение. Жигоцкий побывал на выставке в Москве, и тут он уже не мог обойтись без слушателей. Толю радовали восторги Жигоцкого, словно это он показал Жигоцкому и выставку, и Москву, и метро, показал и заставил его поверить во что-то, в чем этот белоусый говорун в глубине души очень сомневался.

В последнее время Жигоцкий является к Корзунам каждое утро, как на службу. Еще бы, столько новостей! Вначале его приглашали завтракать, но он всегда отказывался. Привыкли, что все за столом, а у печки сидит белоусый человек и нескончаемо повествует:

---

[2] Молния *(бел.)*.

– Гумно вчера раскрыли у меня. Солома нужна, а в колхоз поехать далеко им. Жито скосили на корм. И немцы уже не хозяева. Вот помню в ту войну. Приглянулась им коровка, кругленькая, как линек. Попрыгали около, гер, гер, но пастухи сказали им, что стельная, – не забрали. Взяли бычка. А это что? Что ты хлеб глумишь, ни себе ни людям? Жито пожелтело совсем, кони и не взяли его, я ходил смотреть: притоптали, испоганили. Разве по-хозяйски это? Помню, перед войной, – продолжает Жигоцкий без всякого перехода, – с председателем я поспорил. Привез инструкцию: овец доить. Когда это было, чтобы у нас тут молоко отбирали у сосунков? Вымудрила там чья-то голова. Нет, так не пойдет! Хозяйство – это хозяйство, крестьянин есть крестьянин, как ты его ни называй. Земля хозяина, души требует, а потом все остальное. Товарищи это понимать не хотели.

Павел, выскребая из чугунка остатки каши, не смолчал:

– Эти не нравятся, товарищи тоже плохи были.

Тут поспешил вмешаться Казик.

Когда Казик и его папаша вместе, начинаешь понимать, в кого удался говорун Казик. Старый Жигоцкий больше видел, но Жигоцкий-младший – более тонкий дипломат.

Вот и теперь Казик умело отвел разговор:

– Слышал про встречу Лесуна с комендантом? Пошел он в комендатуру, дескать, я единственный тут единоличник, а потому мне налог следует меньший.

– Что правда, то правда, жулик один такой на весь сельсовет, – весело сказал Жигоцкий-старший. (О Лесуне всегда говорят с улыбкой.)

– Комендант ему и говорит, – продолжал Казик, – ты прежней власти не слушался, а теперь наши законы нарушать хочешь? Приказал дать „гумы” и выгнал.

Павел засмеялся злорадно:

– Эти его сагитируют, если нам не удалось.

Мама строго поглядела на него и, с трудом сдерживая раздражение, сказала:

– Не наше это дело. Еще неизвестно, кто какой. Лапов и Пуговицын какими активистами были, а теперь? До войны на каком-то собрании Ваня наш стал говорить, что вот двор возле столовой захламлен, а Лапов вскакивает: „Надо раньше очистить наши ряды...” Главное, чтобы человеком был. Да и ни к чему разговоры такие теперь, Павел.

Маме (Толя видит) очень не нравится, что Павел слишком сблизился с Казиком. Она как-то добивалась у Павла:

– Ты, может, сказал и про то, что член партии и откуда пришел?

Павел возмутился, даже плечи сердито вздернул, но заметно было, что если он и не рассказал, то готов был рассказать.

– А он тебе признался, что тоже в партии... кандидат или как это? Я уверена, что и не заикнулся.

Может быть, под влиянием мамы, но Толя тоже настороженно относится к Жигоцким. Не нравится ему, как белоусый старик произносит: „А товарищи Смоленск сдали". Или: „Опять товарищи целую армию отдали". И снова: „Да, не рассчитали силенок своих товарищи". Для этого человека „товарищи" – что-то постороннее. Толя иногда начинает верить, что больничная стряпуха Анюта не сочиняла, когда рассказывала, как Жигоцкие встречали первых немцев:

– Вин попереду, а тая ступа за ним переваливается. Хлиб и силь на рушнику: „То вам от нас".

А потом старуха кричала через больничный забор:

– Очистилось солнце! Не будет этих ваших больниц на моей делянке. Понасели, понаставили па-аскудства! Это все Корзун лез не на свое. Подохнете теперь!

Правда, немцы не спешили возвращать землю старухе. Они приспособили больницу под комендатуру, а поскольку сарай бывших хозяев этой земли был рядом, туда они раньше всего и заглянули. И довольно удачно: там их поджидало двенадцать пудов стонущей от жары свинины. И даже солома нашлась, чтобы осмолить ее. Об этом в поселке говорили с веселым злорадством.

Странные они все-таки люди, во всяком случае, старуха. До войны и старая Жигоцкая любила напомнить, продавая медок или сметанку, что все сыновья ее вышли в люди:

– Ах, милочка, Михась мой писал, что не может приехать. И у Казика, и у Кастуся – все не выходит приехать. За большую службу им отвечать надо. А так разве я понесла б на базар, и к своему столу пришлось бы.

И вот теперь она точно позабыла про сыновей, судьба, будущее их ее не волнуют: кусок земли, что под больничным двором, для нее роднее всего. Впрочем, соседи давно знают, что такое эта Жигоцкая. Старик не раз жаловался им:

– Вы думаете, почему Кастусь уехал в тот же день, как приехал? Не было дома этой заразы, я взял и принес молоко из погреба. Влетает – не поздоровалась, ничего – сразу к гладышу: „Ты какое взял? Я отстаивать его поставила". И пошло. Сын хлопнул дверью, он у меня

хлопец горячий, майор, и – бывайте здоровы. Только деньги шлет и ни слова письма.

Говорили, что один Казик умеет ужиться со старухой.

Павел

Конечно, мама преувеличивает, но и так, как Павел, тоже нельзя. Он готов довериться всякому, кто только ругает немцев. Интересный он, Павел, все у него просто и ясно. Послушать его, так ничего страшного нет в том, что немцы уже под Москвой. И о том, как война начиналась, у него какие-то свои представления. Правда, у них на Полесье немцев сдерживали долго. Однако вот и Маня тоже там была, а видела она совсем другое. Павел без конца может рассказывать о том, как крепко держались кавалерийские дивизии усача Оки Городовикова[3], сколько немцев „накрошили" бронепоезда, про пулеметчика, который сорок тысяч патронов выстрочил из „максима", пока добрались до него немцы, про мальчишку, который бросил гранату в офицерский автобус. И не столько словам, сколько лицу рассказчика веришь: глаза поблескивают каким-то внутренним огнем, крепкие желваки ходят, как рычаги. Павла слушать радостно. Но маму его рассказы раздражают. Происходящее кажется ей куда более серьезным и тревожным. И, главное, в этих рассказах, настойчиво упрощающих события, – весь Павел. Вот так же легко относится он и к тому, что сейчас делается вокруг. Подведет всю семью под виселицу и даже не заметит.

Маня в тон старшей сестре тоже учит осторожности своего мужа. Но слова ее от Павла отскакивают, и тогда стеснительная со всеми Маня ругает мужа „дурнем".

Хорошо еще, что Павел не принимает ее слова всерьез.

У Мани свои, не похожие на Павловы, впечатления.

– Жара, наши измучены... Раненых не успеваем осмотреть, черви, мухи...

– Мухи, – усмехнулся Павел.

– А у тебя всегда хорошо, – отмахивается Маня с доброй своей улыбкой, но тут же с неожиданной злостью кончает: – Было бы все потвоему, не дошли бы они вон куда.

---

[3] Городовиков О. И. (1879–1960) – генерал-полковник, Герой Советского Союза; в гражданскую войну командовал 2-й Конной армией; в годы Великой Отечественной войны участвовал в боях на Западном и Сталинградском фронтах.

Павел только хмыкает в ответ. Вера у этого человека простая и твердая: мы – это мы, и следовательно, мы их бьем и побьем, что бы они там ни брехали.

Войну он принял без особенной растерянности, принял такой, как она началась. Работая в сельпо, снабжал красноармейцев заготовленными по колхозам продуктами, а когда немцы двинулись в глубь Полесья, вошел в истребительную группу, жег на мосту немецкие танки. Послали его вывозить семьи – поехал. Гомель уже пал, но Павел не хотел верить слухам. И только после того, как сам убедился, что ни выехать, ни выйти уже невозможно и когда так страшно погибла его девочка, Павел подчинился обезумевшей от горя жене. И тогда они пришли в Лесную Селибу.

Сам не густо зачерпнувший грамоты – он из тех, кого называют „выдвиженцами", – Павел легко проникается уважением ко всякому, кто может поразить его широкими знаниями. Конечно, если этот человек тоже ненавидит немцев и готов что-то делать. Маме не нравится его шушуканье с Казиком, Павлу приходится оправдываться. Но он не умеет скрыть, что считает все это бабьими капризами. А может, и впрямь мама незаслуженно переносит на Казика свою женскую неприязнь к старой Жигоцкой?

Бой

В полном снаряжении пастуха Толя стоит у окна и ждет, когда Минька подгонит свою корову. Что это? Согнувшись, оглядываясь, по канаве бежит немец в белых штанах сапера. Во всей фигуре бегущего такой бабий испуг, что Толя даже хихикнул от удовольствия.

– Что там? – из-за ширмы высунулась взлохмаченная голова любопытной бабушки.

– Немца кто-то спугнул.

Подошла мама, потребовала на всякий случай:

– Отойди, еще выстрелят.

Из другой комнаты донесся веселый голос Павла:

– Пулемет на радиоузел тащат, к бою готовятся, что ли.

И тут, словно жуки, выпущенные из большой коробки, по канаве поползли разноштанные немцы: белые, зеленые, черные. Все это выглядело довольно забавно, но сердце у Толи стучало где-то у самой ключицы: подступает то страшное и таинственное, что скрывается за словом „бой".

Оттого, что самоуверенные и наглые немцы так заметались, забегали с рогулями-пулеметами, оттого, что все они так насторожи-

лись, казалось, что из лесу должен выйти кто-то нечеловечески сильный и бесстрашный. На другой стороне шоссе немцы втаскивают пулемет на аптеку. Вот передний немец встал на верхнюю перекладину лестницы и, держась за крышу, ударил сапогом в чердачное окно. В тот же миг прозвучал орудийный выстрел. Немец пригнулся, а второй, что подавал ему пулемет, испуганно припал к лестнице.

К Толе подбежала мать, дернула его за рукав.

– Садись на пол, за печку. Алеша, Павел, с ума вы посходили!

Отодвинули кровать, чтобы всем уместиться за печкой, на окно Алексей навалил бабушкин сенник. От чего солома может защитить – неизвестно, но опасность как бы сразу отодвинулась.

И вдруг загрохотало, забушевало, точно прорвало плотину. Казалось, весь грохот навалился на стены дома. Временами он отступает, но тут же обрушивается с еще большей яростью. Бабушка, которая раньше других нашла место за печкой и сидит в самом уголке, забеспокоилась, что-то судорожно тащит из-под себя. И вот – над головой у нее эмалированный таз, бабушка поддерживает его за края, бескровные изжеванные губы ее растянулись в чудную какую-то улыбку.

– Бронеколпак, – первый не выдержал Толя.

– Мати, а мати, – отозвался сидящий на кровати дедушка (он один не на полу), – гляди, а то немец в окно за красного посчитает.

– Оставьте. – Мама попыталась оборвать охватившее всех нервное веселье. Но даже Маня, у которой вот-вот посыплются веснушки с побелевшего лица, и та улыбается.

Стрельба постепенно отступала от стен дома, стало слышно, где стреляют: около больницы, возле клуба, в лесу.

Взрывы какие-то проламывающие, а короткие пулеметные очереди очень похожи на звук, будто отрывают доску с большим ржавым гвоздем.

Кто-то, показалось, очень грузный, пробежал за стеной. С невольным уважением Толя подумал о тех, кто сейчас на улице, кто способен бегать, стрелять, тогда как ему и за толстой печкой не по себе.

Бой длился неизвестно сколько, это определить было так же невозможно, как только что открывший глаза человек не может сказать, сколько он проспал: пять минут или пять часов. Время слилось в одно бесконечное мгновение. Но вот стрельба затихла и не вскипела снова, лишь отдельные выстрелы потрескивают. Павел поднялся и, не обращая внимания на шипение Мани, пошел на кухню.

– Немцы ходят.

Значит – все-таки немцы. Они уже выползли из канав, толкутся около аптеки, ходят по шоссе. Пожар! Пылает двухэтажное общежитие. Пламя лижет черные плотные клубы дыма, обжигает им брюхо, они судорожно перекатываются, как от боли, рвутся вверх.

Минуту назад всем хотелось одного: увидеть своих, красноармейцев. Но теперь подумалось: а что будет с нами?

– Спалят, – еле слышно сказала Маня, – они у нас и людей, всех…

И вот теперь, когда бой кончился, пришел настоящий страх. Что вздумают делать эти чужие люди, от которых хорошего ждать не приходится?

Много потом было дней и часов, когда над поселком, над жителями нависала мстительная жестокость врага, но никогда поселок не был так беззащитен и беспомощен.

Приказано было собраться на базарной площади. Оповещал Лапов. Теперь он, толстый, весь в поту, всунулся в хату и не поздоровался. То, что ходили не сами немцы, немного успокаивало. Хотел отправиться Павел, но мама решила, что женщине безопасней. Она вышла за калитку и остановилась, напряженно всматриваясь в сторону аптеки. Подбежав к окну, обращенному к шоссе, Толя сначала почувствовал что-то до боли знакомое в людях, которых он увидел, а уже потом дошло до его сознания: это же красноармейцы! На поле четверо в пашем обмундировании. Стоят, будто связанные друг с другом, напряженно повернутые к чему-то, чего отсюда не видно: загорожено аптекой.

– Расстреливают! – громко крикнул Алексей.

Внезапно с людьми что-то сделалось: крайний широко взмахнул руками и отвалился назад, а второй обхватил живот и боком, боком пошел вперед, тихонько опустился на колени, потом так же тихонько прилег. Третий уже лежал. А автоматы все трещали. Последний, самый высокий, падал долго. Он ступил вперед, потом назад, точно накренилась у него под ногами вся земля. Мучительно медленно, тяжело, как подпиленное дерево, он повернулся и упал лицом вниз.

Вбежала мама.

– Никуда не выходите, боже…

Из-за аптеки показались немцы, встали около убитых. Потом привели мужчин с лопатами. Убитых понесли к лесу. Снова никого не стало видно.

В дом вскочила Анюта.

– Ой, милые, и Прохорова, что на радиве, забили. Там за хливом лежит. Ох, лишенько, чего я дочекаюсь со своим сухоруким несчастьем.

Так Анютка всегда называла своего второго мужа Мовшу. Но жили они душа в душу. Дома у них всегда все орут: Леник – малыш от первого мужа, Мовша, а больше всех сама Анютка. Но в этой шумной, крикливой семье всегда весело. Толе нравилось у них бывать.

– Кому, Анютка, твой Мовша нужен? – неуверенно успокаивает женщину мама, не отрывая взгляда от окна.

Анютка ожила еще больше, как печка, в которую плеснули керосином:

– Любушки, так приходил уже одноглазый черт. Они с моим, когда работали в больнице, четвертушки все распивали. А тут влез в хату, поводил бельмом, ничего не сказал и ушел. Чует мое сердце! Вчера Мовша без этой звезды ихней вышел, так немец до самого дома гнал его и все кулаком по голове бил.

– Уйти бы ему, – поведя плечами, как от холода, сказала мама. – Правда, уговори его, Анюта. Нельзя же ждать.

– А куда, а где спрячешься? И кому он шо сделал, над ким начальником был, это сухорукое несчастье? Надо мною только и начальник.

Когда Анюта лопочет, не поймешь, плакать или смеяться ей хочется больше. У нее все вместе. Вот и теперь в слезе смешинка блеснула: кому-кому, а ей-то хорошо известно, кто у них в доме начальство.

– Ты не ходи, Аня, – сказал Павел, – лучше я.

– Не выходите, – только и ответила мама и ушла.

Явился рослый, плечистый фельдшер Грабовский. У Корзунов он прост – Владик. Взрослую профессию он приобрел перед самой войной, а друзья у него остались прежние: Алексей, Янек, даже Толя.

– Слышали, что Генка отколол?

Это он про радиста Прохорова. Оказывается, во время боя Прохоров вышел из дому и прямо на улице стал перевязывать раненого красноармейца. Его и схватили. Владик говорит о Прохорове с неподдельной лаской и любованием. Но кажется, что для Владика самое важное и интересное в поступке радиста то, что Прохоров был „как земля”.

– Ночью мы первача хватили, я только под утро домой добрался. Генка на карачках выполз к раненому.

Рассказчик напирал на это. Возможно, Прохоров и его поступок так понятней ему были, а может, хотелось ему хоть через это приобщиться к тому, что сделал радист.

Мама вернулась скоро. Разговор с жителями у немцев на этот раз был „профилактический”. Сначала они все ждали кого-то. Шумахер с ног сбился, бегая за прибывающим из города начальством. Наконец было объявлено: если бы раздался хоть один выстрел в спину немцам, поселок был бы сожжен, а все жители расстреляны. Это было невероятно свирепо, но все сразу поверили, что немцы так и сделали бы. Стало известно, что случай с Прохоровым они готовы были использовать как предлог для такой расправы. И если этого не случилось, то лишь потому, что кому-то из них не захотелось уничтожать такой удобный для войск пункт на шоссе. Людей и поселок спасла асфальтка.

В комендатуру забрали хозяйку, у которой Прохоров квартировал. Соседки хотели увести к себе ее девочек-близнецов, по им не разрешили. Пятилетние девочки в одинаковых пальтишках бежали между конвоиров, ухватившись за платье матери, которая одной рукой несла узелок, а другой все искала то одну, то другую головку. Останавливалась, ее толкали, заставляли идти, девочки громко плакали, женщина опять и опять останавливалась. Их провожали сотни глаз. Вечером женщину с девочками увезли в Большие Дороги. Там – жандармерия, СД.

Несчастье на этот раз миновало остальных. Но теперь каждый видел перед собой зловещую черточку: переступишь – смерть тебе и твоим близким. Другой переступил – ты тоже в ответе. Те, которые провели эту черту, были, видимо, убеждены, что она заставит людей окаменеть в неподвижности.

Толя нашел случай ускользнуть к Миньке. Говорят, около клуба есть что посмотреть: заложили немецкое кладбище. От боя и еще что-нибудь должно остаться. Указав на винтовку с разбитым прикладом, Толя прошептал:

– Это наши, чтобы немцам не досталась.

Но Минька трезво возразил ему:

– Сами немцы. Они так делают. Об землю – и все.

– Идем за аптечный сарай, там красноармейцы были, – предложил Толя. – Гранатами через крышу перебрасывались. По одну сторону немцы, по другую – наши.

У сарая, пропахшего лекарствами, друзья и дышать перестали от волнения. Глядя на расщепленные гранатами бревна, на побитую

пулями крышу, Толя ясно представил, как стоял у этого угла красноармеец. И пустые гильзы валяются.

Вот тут одного ранило, он полз к лесу. Песок смочен чем-то густым. Кровь!

– Второй тут стоял, – шепотом сказал Минька.

– Он гранаты кидал. Владик рассказывал. Давай туда, где их закопали, пойдем.

Но Минька состорожничал:

– От комендатуры увидят.

Толя смотрел на пятно, желтеющее возле леса, и ему не хотелось верить, что человек, который час назад стоял вот на этом следу, теперь там, под песком. Начал прикидывать, где тут можно спрятаться. На поле – нет: картофельная ботва низко сжата коровам на корм. Разве только в сарае – там много ящиков, до самой крыши. Или в зарослях одичалых колючих слив, что около сапожной.

– Гляди, Толя, шинель.

Толя вздрогнул: вот она! Заглянул в сарай: ни одного ящика. Шинель – наша. Похоже, что ее кто-то уже поднимал и бросил у самого входа. Вся в бурых пятнах.

– От дыма. Видишь, полы обгорели, – отметил Минька.

Толя даже задрожал от восторга.

– Видишь, бой какой был.

– При чем тут бой? Ночевал и дневал человек у костра – вот и все.

Минька всегда прав.

– Идем туда, – почему-то шепотом позвал Толя.

Начали продираться в колючую сливовую рощицу. Скоро Минька отстал, не понимая, чего ради он должен обдирать лицо и руки. Толя полез один, ища глазами старый полузасыпанный колодец. Сруба над ним нет, не зная, можно и ввалиться в яму. Совсем не рассчитывая увидеть кого-то, а просто, чтобы убедиться, что все это лишь его фантазия, Толя заглянул в яму… Ему захотелось сесть на землю. В яме пучится зеленая человеческая спина. Там, где у человека шея, все затекло кровью, стриженая, в коричневых пятнах голова вяло прислонилась к черной стенке.

– Ну, что? Вылазь! – где-то очень далеко голос Миньки.

Толе захотелось поскорее выбежать туда, где Минька, на солнце, и там все обдумать. Он стал выдираться из кустов.

– Оцарапался как, – удивленно уставился на него Минька, – ты что?

Близко стучат по асфальту сапоги немцев, а там, за спиной у Толи, беспомощно лежит на стенке неглубокого колодца стриженая голова. Пройдя вперед, чтобы не видно было его лица, Толя глухо отозвался:

– Да ну его, только обдерешься.

От волнения и тревоги Толя даже не заметил, что он совершает предательство по отношению к другу, с которым у него все тайны общие. Кое-как отделавшись от товарища, который теперь уже стеснял его, Толя заспешил домой.

– Мама, – позвал он ту, кого всегда звал в критические минуты, и сам удивился своему сиплому голосу.

– Чего тебе? – спросила мать, выходя из зала. Увидев восторженно-таинственное лицо сына, испугалась. Прикрыв дверь в комнату, где слышен голос Казика, спросила: – Что случилось?

– В колодце за аптекой человек.

– В каком колодце, какой человек?

– Раненый, наш.

– Ты с ума сошел. Где ты там лазишь, нашли время…

И еще что-то мало относящееся к делу шептала мама, заталкивая Толю за ширму, в угол. Потом приказала:

– Не ходи в комнату, у тебя все на лице. Никому – ни-ни. Слышишь?

Толя пошел в столовую.

Бабушка, уткнувшись в угол кровати, дремлет. Ей очень неудобно лежать поперек кровати, но положить голову на подушку – это значит спать. И хотя бабушка все равно проспит часа два-три, но проспит их как можно неудобнее. И во всем она так.

– Норов такой, – говорит дедушка.

Бабушка и всю жизнь свою прожила вот так – „ногами к подушке”. До переезда к сыну ни сама она, ни дедушка никогда не съели и не выпили того, что еще свежее и вкусное.

– Обязательно дождется, чтобы скисло или сплесневело, – весело вспоминает дедушка. – Все деньги копила. Из „миколаевок” мыши труху сделали за печкой, „керенки” сами пропали.

Но и у дедушки под сенником покоится сберегательная книжка. (У бабушки – отдельная.) Пять тысяч дедушкиных и пять бабушкиных, вырученные за дом и постройки, „ляснули”[4], по определению дедушки.

---

[4] То есть пропали (от белорусского *ляснуть).*

Втиснувшись за стол, Толя уселся на кушетку и от нечего делать стал смотреть, как дедушка вощит дратву.

– Может, скинем в подкидного? – предлагает Толе дедушка, откладывая работу на кровать. Не может не зацепить и бабку: – Бабушка-старушка, у тебя денег кадушка.

– Без карт своих и часину не выдержит, – доносится откуда-то из-за кровати, куда завалилась бабушкина голова.

– Яна уже тут! – восклицает дедушка. – Как же без яе? Гэта баба и в гробу не улежит. Заиграет музыка – сразу выглянет. Ей до всего дело.

Бабка приподнимает помятое, с прилипшими седыми волосами лицо и говорит:

– И то правда, помру скоро, здоровья нету.

При любом разговоре у бабушки главный козырь: „помру”.

– Помрешь – закопают, – говорит дедушка, тасуя самодельные карты (теперь все самодельное), – думаешь, наверху оставят тебя, людям под нос.

– Эт, старый дурень, – не очень сердито завершает бабка очередную перепалку с дедом и идет в кухню.

Синеватый и словно шашелем источенный дедушкин нос окунается в поднявшиеся ему навстречу прокуренные усы – дедушка смеется. И тут же начинает кашлять. Всего ему, даже смеха, отпущено в ограниченной дозе. Но о смерти он никогда не говорит. Куда интереснее вспоминать о том, как когда-то у него под кроватью стояла аптечная бутыль со спиртом.

– Дай же, боже, не забыться, перед смертью похмелиться, – торжественно провозглашал дедушка всякий раз, когда протягивал руку за бутылью.

Хотя дедушка только отчим папе, но всем в семье он ближе, чем бабушка. Мама всегда любила его, а с бабкой не ладила.

На дне аптечной бутыли теперь сухие мухи, но дедушка все держит ее под своей кроватью.

Проиграв дедушке раз-другой, Толя все же пошел в зал. Тут все в сборе. За столом сидит медноволосый Янек, на диване Казик с гитарой на коленях и с неизменной расческой в руке, посреди комнаты стоит Павел.

– Э, что там! – Павел машет рукой. – По-фронтовому тут ничего уже не сделаешь. У нас на Полесье…

Сердитый взгляд Мани помешал ему высказаться.

– Женщины их в лесу встретили, – заговорил Казик, продувая расческу, – один красноармеец крикнул: „Не горюй, мамаша, сделаем

теперь ему крышку". А их всего-то человек двести. Когда по деревням проходили, жители дивились: сухари грызут, а в дом зайти, попросить – нельзя. И где фронт, ничего не знают.

– Может, потому у них и планы такие смелые были. – Это вымолвил Янек, краснея и зажмуриваясь. Завел привычку моргать, как курица. – А знаете, – проморгавшись, решается продолжить свою мысль Янек, – наши крепко бы воевали, если бы не так все пошло с самого начала. Эти не знали, где фронт, и, видите, шли, чтобы отрезать целую армию. Если бы на самой границе… это самое…

Тем он и кончил. Когда Янек берется длинно говорить, он напоминает человека, впервые севшего на велосипед: человек, может быть, и дальше ехал бы, но не верит сам, что он едет, а не падает, и потому побыстрее старается упасть. Воспользовавшись падением Янека, на велосипед уверенно вскочил Казик и покатил, поблескивая спицами.

– А здорово все начиналось, я из окна наблюдал. – Это было сказано так, будто человек по меньшей мере снаряды подносил. – От комендатуры немцы попятились даже, но потом из города машины подошли, а то неизвестно еще, чем бы кончилось…

В который раз уже через комнату проходит мама. Никто, кроме Толи, не придает значения тревоге, напряженно суживающей ее глаза. Мать чувствует его понимающий взгляд, хмурится, а когда до нее доходит наконец, кто это так назойливо напоминает о себе, она приказывает:

– Иди… воды там наноси в бочку… или куда.

Напросился? Топай!

Когда легли спать, Толя все-таки вышептал брату свою тайну. А тот, наглец, тут же поднялся и пошел и другую комнату шептаться с мамой и Павлом. Пойти б и Толе туда, но, чего доброго, придется ночью за водой ехать.

Утром его разбудил деревянный стук и смех в столовой: Павел и Алексей толкут просо. Интересно, что было ночью? В спальню вошла мама. Толю, как щенка под колесо, опять потянуло на многозначительные взгляды.

– Что ты лодыря корчишь, – наконец нашла на ком разрядить нервы мама, – работников полная хата, а корове скоро в хлев не влезть.

От Алексея тоже ничего не добился: строит из себя конспиратора.

Днем, валяясь с книгой на кушетке, Толя услышал разговор мамы с Павлом. Раз все они такие, Толя вправе и прислушаться.

– До сих пор не опомнюсь, – шепчет мама, – ночью передумала все и в ужас пришла. Могли всю семью загубить. Никто тебя не видел с ним? Никто? Смотри же, ни слова никому. Умоляю тебя! Особенно Казику твоему.

– При чем тут мой? – обиделся Павел.

– Твой или не твой… я прокляну тебя, если ты детей погубишь. И свою семью тоже.

– Ну брось, Аня, я не маленький.

– Что брось, это не шуточки…

Толя даже посочувствовал Павлу. Когда мама такая, с ней просто невозможно разговаривать.

„Толики"

Немцы все ленивее сообщали о своих успехах, будто их победа – дело уже окончательно решенное. Это особенно подавляло. Жители поселка (не только они!) не знали, конечно, что именно в эти дни в событиях наметился поворот, который обрекал армию оккупантов на истощающую, затяжную войну, а следовательно – на неизбежное поражение.

Страшными усилиями, большой кровью немецкие танковые дивизии были приостановлены на центральном направлении. Смоленск явился тем рубежом, где сама немецкая техника, сильно потрепанная и поизносившаяся, где немецкий солдат, встретившийся с первым широко организованным сопротивлением, где натренированный на европейских блицкригах мозг немецкого штабиста вдруг остановились перед задачами, которые нельзя было решить немедленно.

Восточную кампанию Германия начала проигрывать еще тогда, когда на Западе высчитывали – одни с отчаянием, другие с политиканской тупостью, – сколько еще недель и дней продержатся Советы.

Окончательный перелом в ходе мировой войны наступит гораздо позже – на берегах Волги. Но перелом этот станет возможным потому, что вопреки всему советский воин сорвал блицкриг Гитлера кровавым летом 1941 года, когда русская земля, казалось, тесной стала для русского солдата, когда она, казалось, широко лежала перед танками врага.

Немецкое командование еще располагало глубинными резервами, чтобы через некоторое время возобновить и продолжить наступление, оно сохраняло стратегическую инициативу, но эта инициатива уже не являлась безраздельно господствующей, как это было в Польше, во Франции, на Балканах. Немцы впервые по-настоящему

ощутили встречную стратегию. И это было больше, нежели стратегия военного командования. Казалось, немцам навязывало свою стратегию все: территория, настроения многонационального народа, советская идеология, сама русская история. Кошмаром нависала русская история над теми, кто пошел путем Наполеона. На каждом шагу она бесстрастно напоминала: двунадесять языков – было, отступление русских армий в глубь страны – было, Смоленск – было и даже Москва – тоже было, но потом был пожар Москвы, кружащая где-то в морозных просторах армия Кутузова, партизаны, устланная трупами голодная Смоленская дорога, страшная переправа через Березину, а там – разгром в собственной стране. Книга мемуаров благоразумного маркиза Коленкура, когда-то предрекавшего Наполеону поражение в России, небрежно всунутая в багаж в Берлине, уже в Смоленске побывала в руках у немецкого генерала, а под Москвой она стала его апокалипсисом.

Может быть, инстинктивно, но Гитлер пытался бороться с русской историей, он стремился обойти ее глубокую колею. Отчасти потому он не хотел делать Москву первоочередной целью наступательного плана 1941 года, считая, что нужно нацеливать армии прежде всего на захват Украины, Крыма, Кавказа. Москва вызывала в нем тайный страх. Мстя за него, кровавый маньяк грозился уничтожить, сровнять с землей столицу русского народа после ее окружения. Гитлер надеялся, что техника двадцатого столетия позволит ему обойти колею, проложенную Наполеоном, совладать и с русской территорией, и с русскими резервами.

И после Смоленска инициатива все еще была за немцами, но за успехами германских армий вдруг стали обнаруживаться крупнейшие стратегические и морально-политические просчеты, тревожная мысль о затяжной позиционной войне, о катастрофе проникла даже в холодные мозги прусских штабных и нештабных генералов. Беспокойство, неуверенность немецкого сухопутного командования выразились в стремлении некоторых генералов убедить Гитлера отойти от его первоначального плана. План этот предусматривал, что группы армий „Центр" после взятия Смоленска, прежде чем возобновить наступление на Москву, должны помочь другим группировкам выйти на оперативный простор и решить основную экономическую цель войны: включить в экономику рейха богатства советского Юга. Браухичу, Гальдеру, Гудериану все еще казалось, что хороший план определит желательный для них исход войны, что все дело в том, чей план окажется лучшим, чей план будет принят к исполнению. Ефрейтор обязал генералов выполнять его план, и война оказалась

проигранной. Но она точно так же была бы проиграна, если бы действовал план генералов, если бы ослабленная центральная группировка с невероятно растянутыми и обнаженными флангами „шильным” наступлением сразу же ринулась на Москву.

Война могла быть иной по планам, по тактическим и даже стратегическим успехам, по жертвам с той или другой стороны, по занятым или незанятым городам, но она не могла быть иной по исходу. Встретились не просто две армии и даже не два народа, в жесточайшей схватке столкнулись два мира. И победить мог лишь тот мир, который открывал людям путь в будущее, достойное Человека.

После боя жители Лесной Селибы яснее ощутили, что борьба продолжается и здесь, далеко от фронта. Правда, в лесах все меньше оставалось окруженцев. Люди уходили на восток, многие погибали. Некоторые осели по деревням – таких называют примаками. Даже в поселке они есть.

Но уже в первые месяцы войны выявилась совсем особенная разновидность окруженцев. В ближайшие от стеклозавода деревни стали наведываться трое парней. Самого заметного из них, веселого золотозубого ленинградца, зовут Анатолием. С этого и пошло: „Толики”.

– А „Толики” опять в Покрова приходили. У каждого вещмешок гранат, как яблок! Разгуливают.

– Явятся в хату: „Эсминец „Керчь” эскадры топить не будет!” Это у них такая поговорка. „Покорми, бабка, на вечеринку опаздываем”.

О „Толиках” говорят с удовольствием, осторожно выспрашивают о них у деревенских. Трое парней уходят куда-то, пропадают по неделям. Ну, кажется, и до этих немцы добрались. Но нет, ребята снова появляются – веселые, беззаботные, словно и не висит над ними вся немецкая армия.

Все, что ни делают они, вызывает у поселковцев лишь одобрение. В Покрова заявились на вечеринку, потанцевали, веселя деревенских франтов разбитыми сапогами, а потом вынесли в круг скамью и предложили садиться на нее тем женихам, кому понравились их „кирзы” и у кого сапоги покрепче. Покровские женихи сконфуженно натянули их „отопки” и быстренько по домам: как бы не предложили им и оружие в придачу.

Девчат пошли провожать „Толики”. Об этом за клубом говорят с веселым одобрением. Вдруг как бы ожила старая неприязнь к покровцам: „Шляхтюки!”

„Толики” ничего такого и не сделали еще, они лишь приходили и уходили куда-то. Они не рвались за фронт, не шли в плен, не оседали

в теплых вдовьих углах и при этом всем поведением своим как бы говорили: „А нам и так неплохо”.

Сами того не сознавая, парни эти, так беззаботно живущие на виду у немецкой армии, обнаруживали и демонстрировали людям слабинку врага. Ведь на глазах у жителей гибли организованные воинские части, многим могло казаться: до тебя, только пошевелись, немцы дотянутся мигом. А тут открыто расхаживают трое вооруженных красноармейцев и, похоже, не чувствуют себя обреченными. У них даже девчата на уме. Во всех рассказах о „Толиках”, сознательно или бессознательно, но выпячивалось именно это: беззаботность и даже безалаберность их.

Толе всегда нравилось его имя. Почему оно хорошее, он никогда не задумывался. И вдруг понял: человеку нравится собственное имя, если хоть один человек на земле произносит его ласково. А тут весь поселок бредит „Толиками”. Это не имеет отношения к Толе? В Толиных мечтаниях – имеет. „Толики”, видно, и не подозревают, что их четверо, что их всегда сопровождает скромный, но смелый парень – тоже Толик.

Трое парней, о которых так много всяких разговоров, не убили ни одного немца (во всяком случае, не было слышно), но они одним своим беззаботным существованием делали нечто большее: они убивали страх перед всесилием врага, помогали людям избавиться от первого оцепенения.

Жителей забавляла война местного коменданта с „Толиками”. Узнав об их появлении, комендант аккуратно наведывался в эту же деревню, но почему-то лишь назавтра.

Оказывается, не так уж трудно быть неуловимым, особенно если тебя боятся ловить.

Однажды, прикатив тачку с ушатом в больничный двор, Толя наблюдал такую сцену. К коменданту, сидевшему на раскладном стуле на крыльце, Шумахер подвел Хвойницкого – человека с неестественно белым и уныло длинным лицом.

Когда-то он был пожарником в Лесной Селибе. У пацанов он имел кличку: „Сорок это”. За каждым словом у него – „это”: „Эй, вы, это, кто тут курит, штраф, это”. С детьми у Хвойницкого велась настоящая война, и у каждой стороны была своя тактика, свои приемы защиты и мести. За высокой заводской оградой – старый прудок. До речки от поселка три километра, поэтому хлопцы, которые поменьше, не брезгали и тинистой ямой, где чего только нет – и битые бутылки, и мазут. Заводская охрана гоняла купальщиков, поэтому раздевались они перед оградой, чтобы не оставлять преследователям

трофеев. Хвойницкий гонялся за детьми с особенным остервенением. Он всегда появлялся из-за белой слесарной внезапно, с явным намерением не просто прогнать, а поймать. Случилось, что он чуть не утопил семилетнего мальчугана. Купальщики, светя мокрыми задами, улизнули через заранее приготовленный лаз, а один не успел и спрятался под деревянный настил. Хвойницкий выковырял его оттуда прутом, мальчишка отплыл, сколько мог, а Хвойницкий все стоял и не выпускал его на берег. Неумелый пловец начал захлебываться. Хорошо, что подручный кузнеца вышел как раз по своему делу и увидел это. Он в сапогах вскочил в воду, вытащил мальчишку, потом подошел к старательному охраннику и огрел его так, что тот сам оказался в воде. Судить вначале взялись подручного кузнеца, но сняли с работы Хвойницкого. Вспомнили тогда и про то, что Хвойницкий когда-то был „культурным хозяином" и платил „твердый налог".

Этот враг Толиных сверстников стоял теперь перед сонным комендантом, переминаясь с ноги на ногу. Ему очень не хотелось говорить в присутствии рабочих, которых пригнали пилить дрова. Но комендант не считал нужным уходить в душные комнаты. Рыхлое и широкое книзу, точно давшее осадку, лицо коменданта было недружелюбным, сердитые глаза выражали раздражение безвольного человека, которому вое надоело. Комендант уставился в усыпанную ядовито-зелеными прыщами физиономию Хвойницкого и требовательно ждал. Хвойницкий сообщил, что трое „большевиков" ночевали в Покровах, а теперь завтракают. Комендант с грозным неудовольствием выслушал его, что-то сказал молодому офицеру с франтоватыми усиками (говорили, офицер этот из тех русских, что бежали когда-то от революции). Немецкий русский скучающе извлек портсигар и дал доносчику две сигареты. Подумал и добавил еще одну, видимо, сообразил, что большевиков было все же трое.

Шумахер сказал:

– Можете идти…

– Куда… это… идти? – тупо спросил Хвойницкий.

Он, видимо, рассчитывал, что, как только пан комендант узнает про тех большевиков, их сметет с лица земли какая-то беспощадная сила. А тут, выходит, плохо будет не „Толикам", а ему, доносчику, – это он прочитал и в ухмылках рабочих.

В Покрова немцы поехали, но, конечно, только назавтра. С ними отправился и Хвойницкий, чтобы забрать в поселок семью. Когда экспедиция возвращалась, нагрузившись всякой живностью и прихватив двух колхозников, на которых донес Хвойницкий, немцев

обстреляли. И, как нарочно, поплатился лишь комендант. Его ранили в живот.

Оказывается, он имел все основания не искать встречи с „Толиками”.

Схваченных в Покровах колхозников поместили во внутренней больничной уборной. Приезжая к помпе за водой, Толя слышал рвущиеся из оплетенного колючей проволокой окошечка крики и страшную возню. С людьми что-то делали.

На другой день Толю послали на чердак снять белье. Сверху он увидел, как вдруг распахнулась дверь комендатуры, два немца сволокли с крыльца бородатого человека, совсем голого. Следом вышли еще немцы, самый последний выбежал, как бы боясь опоздать. Человека швырнули на траву, он вскочил на колени, но его притянули за голову к земле. Немец ударил его палкой, второй замахнулся, но никак не может приноровиться, чтобы не задеть тех, что сидят у человека на руках, на ногах, на голове. Наконец и второй опустил палку. Ритмично и звучно, как выбивают вальками мокрый холст, били человека. Это было так страшно, и это страшное совершалось с такой деловитостью, что все казалось диким сном. И тут человек закричал. Он словно не сразу понял, что с ним делают. А тут понял, понял, что его убивают, и закричал. И будто само тело его поняло это, и оно, убиваемое человеческое тело, кричало протяжно, на одной ноте. Тошнота сдавила горло, Толя привалился к лестнице, чтобы не упасть вниз. По карнизу пробрался к нему соседский кот и мягко потерся о руку. Толю будто обожгло это ласковое прикосновение.

Не отрываясь, он смотрел на белую человеческую спину, слышал замирающий, всхлипывающий крик. Ужасным и непонятным было то, что солнце по-прежнему широко разбрасывало теплые лучи, небо нежно голубело, береза доверчиво касалась ветвями красной крыши комендатуры. Все было прежним, но в нем, в Толе, что-то изменилось в те минуты, пока кричал убиваемый человек: будто вошел кто-то в большую, ярко освещенную комнату, щелкнул выключателем и погасил часть лампочек.

Человека убивали бесконечно, и вот эта бесконечность вдруг оборвалась. Резче стали слышны удары, крик пропал.

Немцы взошли на крыльцо, закурили. Неподвижное тело страшно белело на траве.

А второй убежал. Его повели расстреливать в лес.

Когда после залпа Порфирка направился с лопатой к яме, из нее пружиной взметнулось что-то белое и исчезло в ельнике.

Человек, видимо, упал в яму за какое-то мгновение до залпа. И когда он вскочил на ноги, растерявшиеся немцы даже не сразу начали стрелять.

Через несколько дней опять появились „Толики”. Их было уже четверо.

За клубом говорили:

– Опять кто-то поплатится.

– Ну, теперь „Толики” хитрее стали. Прошли по всем хатам, ни одной не миновали. У одних – попить, у других – огонька.

– Попробуй кто донеси: у тебя тоже были. А не были, значит, ты и есть самый подозрительный.

– Смекалка. Партизаны.

Так услышал Толя слово, пришедшее на смену „окруженцам”, „примакам”, „Толикам”, слово, которое давно носилось в воздухе, – *партизаны!*

Часть вторая
Дом мой – крепость моя

„Приехал” Виктор

В конце сентября „приехал” Виктор. Так по привычке и сказала Любовь Карповна, испуганная и счастливая. Теперь слова живут как-то по-другому, с иным значением и точно цена им другая. Выплыли откуда-то из дедушкиного прошлого „волость”, „пан”, „бургомистр”, „господин”, „полицейский”. Слова эти вязли в ушах, в памяти оживало: „У бурмистра Власа бабушка Ненила...” Казалось, среди живых стали бродить покойники. Оттого, что жизнь загрязняли слова мертвые, враждебные, нужнее и теплее сделались те слова, которые когда-то употребляли, может быть, недостаточно бережливо, как праздничную одежду в будни. Теперь „товарищ”, „советский”, „коммунист” – это надежда на самое малое и на самое большое: на то, что жизнь не кончилась.

И будничные слова звучат ныне по-другому и означают совсем не то, что означали до войны. Раньше, услышав, что приехал Виктор, Толя бежал к Петреням помогать Виктору разбирать чемодан с красками и альбомами. Теперь „приехал Виктор” означает вот что.

– Я тонко сплю, – рассказывает Любовь Карповна. – Сдается мне, на завалинке кто-то ползает, стену царапает, по окну достанет и опять по стене. „Мама, мама”, – будто зовут меня. Не проснусь никак, все забыла, где я, что я. Толкаю локтем в стенку и кричу: „Романыч, проснись, Витик наш на дворе, Витика в кроватке нету”. А сама руками лапаю, кроватку хочу найти. Это же надо, чтобы такое причудилось, сколько лет тому. Проснулась, страшно-страшно мне сделалось, к окну – ничего не видно. Когда посветлело, вышла, глядь – боже! Человек под окном, черный, оборванный. Порфирка по шоссе бежал, чуть не кликнула его.

– Этого еще недоставало, – сердито сказала мама, а Толе подумалось, что Любовь Карповна была лучше, пока она не проснулась.

– Я ж не знала, кто это, – оправдывается женщина с нелепыми стеклянными бусами на худой шее, – а как разглядела: о боже, сыночек! Тяну в хату, как неживого, а сама дрожу, чтоб не увидели. Надо доктора, а я боюсь, к вам прибежала.

– Отнесите бургомистру что-нибудь, – сразу распорядилась практичная мама, – а я приду с Владиком. Скажите там в волости,

что он из Витебска добирался, в армии не был. Не пожадничайте только, а то я вас знаю.

Последние слова прозвучали ненужно резко, но мама редко когда разговаривает по-иному с людьми, которых мало уважает. И тем не менее Любовь Карповна бежит к ней по всякому делу.

Любовь Карповна заохала:

– Нету ничего такого. Что и придумать, не знаю. Часы у меня есть, еще Романыча. Он же так любил Витю, хотя и не родной был. – И тут же стала уверять зачем-то: – Да он, милочка, и не был в армии, авиаклуба своего он и не окончил, пришел в цивильном, невоенном.

– Хорошо, все равно несите, – бесцеремонно оборвала ее мама, – о сыне речь идет.

Любовь Карповна согласно закивала головой и убежала.

– Верь ей, – раздумчиво проговорила мама, – занесет какую ломачину, только разозлит того бургомистра.

Порывшись в шкафу, она вытащила новое золотисто-белое покрывало.

Несколько раз мама уже хотела снести его в деревню, обменять на продукты, но все откладывала.

– Отнеси к Петреням, – сказала она Толе, – во что только завернуть?

Толя – с готовностью. Это же к Виктору! Мимо комендатуры, через шоссе – вот и дом Любови Карповны. Дом очень старый, но большой. Вся вторая половина приспособлена под кладовую. Забор завалился, но чего только нет во дворе: дырявая канистра, корзины, ящики (вот они где – аптечные!) и даже жестяные подставки-гнезда для мин и снарядов. Толя невольно присмотрелся: не притащила ли хозяйственная Любовь Карповна и парочку мин к себе во двор?

Без стука вскочил в кухню. Любовь Карповна колдует над раскрытым сундуком, оклеенным изнутри старыми медицинскими плакатами.

– Вот, – подал сверток Толя и заглянул за дощатую перегородку.

На высокой (хоть лестницу подставляй) кровати – одни подушки. Но дальше, на лежанке, есть кто-то под ворохом постилок[5] и одежды.

– Спасибо твоей мамке, – пела Любовь Карповна, – не знаю, как можно и отблагодарить за такую вещь. Ты, Толенька, побудь с Витиком, холодит его, бедненького.

И она убежала. Сколько ее помнит Толя, всегда она жила вот так – все на ногах.

---

[5] Домотканое одеяло *(бел.)*.

Побыть с Виктором? С трудом верилось, что Виктор сейчас здесь. Толя подошел к лежанке, приподнял край фуфайки. Сделал он это с таким чувством, словно совершал что-то нехорошее, пользуясь беспомощностью больного. Заглянул в лицо и поразился: как похож этот чужой, заросший, темный, как земля, человек на Виктора! Над правым глазом глубокая складка, широкие ноздри напряжены, как бывало у Виктора, когда он сосредоточен, и волосы тоже Виктора – черные досиня. Только с одной стороны какие-то ржавые, вроде огнем схваченные. Сухие губы быстро-быстро шевелятся. Толя почти испугался, когда человек вдруг открыл темные, внимательные – совсем как у Виктора! – глаза и, спокойно глядя Толе в лицо, сказал:

– Правый тоже барахлит, до поля не дотянем.

– Что, что? – заспрашивал Толя.

Но глаза закрылись. С колотящимся сердцем Толя отошел от лежанки, сам не понимая, почему его так испугали открывшиеся глаза. Сел на застланную домотканой постилкой кушетку.

Все тут знакомо. Слева, у двери, плита, свежепобеленная, потолок еще больше провис, стены оклеены выцветшими медицинскими плакатами и старыми газетами. На перегородке ходики с рисунком: вверху малец в большой шапке, лаптях и с книжкой, хата с надписью: „Школа", внизу смешной трактор с самоварной трубой и бородачи с красным флагом. Эти ходики, наверное, отсчитали часов больше, чем Толя их прожил. В углу, рядом с иконами, – портрет Любови Карповны. Этот портрет Виктор сделал с фотографии, еще когда начинал учиться в художественном техникуме. Нескладная фигурой, но молодая и даже красивая, белолицая и круглолицая Любовь Карповна стоит, опершись на круглый столик, – такой она была, когда первый раз овдовела. По требованию заказчицы Виктор ярко размалевал и платье и ланиты женщины на портрете, потом хохотал, довольный своей работой. Мамаша его притворно сердилась, но заметно было, что именно такой она себе нравилась – ярко раскрашенной.

Ниже, в сторонке, – нарисованный углем портрет человека в старой, еще „царской", армейской форме. Отчим. Он умер от туберкулеза. А вот таким был в детстве Виктор: глазастый, с оголенными ноздренками, сердито-серьезный. Хорошая дружба была у Виктора с отчимом – старым лекарем. С Любовью Карповной такой близости у Виктора не было. Между ними постоянно шла непонятная Толе война. Виктор грубил, зло подсмеивался над Любовью Карповной, язвил над ее скупостью, она же ругала его всегда во

множественном числе: „абибоки"[6], „объедалы". Виктор приезжал домой только на каникулы. Вначале Любовь Карповна разговаривала с ним ласково, голосом больного и слабого человека. Но сын не принимал этого тона, и тогда начиналось обычное. Мать ругала „бездельников", которые только и умеют „жрать", а сын весело интересовался:

– Кстати, что там в духовке у тебя? Каша?

В день отъезда сына Любовь Карповна снова превращалась в больного и тихого человека, стараясь не замечать иронических взглядов сына. Собираться Виктору недолго.

И привозил и увозил он плоский деревянный ящик с красками да чемодан с альбомами. Все остальное было на нем, и все серого цвета: костюм, пальто, кепка. Серое, оказывается, тем удобно, что подходит для любой поры года. Белья у Виктора никогда не водилось: трусы и летом и в мороз.

Независимость и умение Виктора легко обходиться самым малым, всегдашняя его веселость и одновременно какая-то сосредоточенность – все это очень нравилось Толе. И мысли у Виктора всегда такие смелые. Он уверен, что все зависит только от самого человека, от его „силы воли" – любимое его выражение. Это было ново для Толи, „как в книгах", а потому особенно восхищало его. Когда Виктор рассказывал про Рахметова, казалось, что этот удивительный человек, заставлявший себя спать на гвоздях, такой же хороший и близкий его знакомый, как те веселые и почему-то всегда голодные студенты, с которыми он жил в одной комнате. От худощавого, но кряжистого сына Любови Карповны всегда веяло здоровьем и силой. В одних трусах, босой, он нырял в сугробы, с ног до шеи растирался сухим снегом, а потом брал колун и, не одеваясь, шел разбивать крепкие, как сам он, сосновые комли. Виктор всерьез доказывал, что всякая болезнь – самовнушение и саморасслабление:

– Древние говорили: „В здоровом тело – здоровый дух". А еще лучше: „Сила воли, здоровый дух делают здоровым и мое тело".

Больше всего восхищала Толю легкость и простота, с какой Виктор умел расставаться с вещами, нужными ему самому, хотя доставались ему они совсем не легко: за счет студенческих завтраков и ужинов. Научил Толю играть на мандолине, а так как у Толи не было инструмента, отдал ему свой; начал учить Толю рисовать и тут же подарил набор масляных красок и пачку бумаги – „александрийки". Но однажды мама дала Любови Карповне кусок материи на белье

---

[6] *Абибок* – лежебока, лентяй *(бел.)*.

Виктору. Толя увидел, какими холодными могут быть у Виктора глаза и каким жестким голос.

– Это что, за мандолину заплачено? – спросил он, сведя брови.

Любови Карповне удалось убедить его, что материю она сама купила.

А потом Виктора внезапно исключили из техникума. Но он остался в городе – работать. Приезжал еще реже и сразу как-то повзрослел.

Хотя Виктор был на пять лет старше – это не обижало. Алексей, бывало, только и думает о том, как бы отвязаться от младшего братца, будто ему на горбу приходилось его таскать. Виктор же шел с шестиклассником Толей не куда-нибудь, а к девушке. Странные это были посещения. В доме Леоноры тесно от согнутых под потолком фикусов, на огороде, под окнами – везде цветы. Пол прогибается, но крашеный, даже широкие щели в полу чистые, как на кухонном столе у хорошей хозяйки. Толя входил в этот дом, прячась за друга, и всегда старался побыстрее добраться до своего места. Место это – в уголке дивана, и он стремился к нему, как человек, не умеющий плавать, стремится к берегу: не думая о том, хорошо ли он это делает, с каким лицом. Про лицо лучше и не говорить, какое уж там лицо у человека, который вот-вот захлебнется. Но и доплыв до дивана, Толя не обретал уверенности. Он занимался тем, что беспрестанно краснел. Толя не всегда даже догадывался поздороваться со строгой иконоподобной Леонориной мамашей. Когда белолицая и большеглазая чернявка Леонора из приличия обращала внимание и на друга Виктора, тот жался в угол, испуганно прятал глаза. Леонора очень нравилась Толе, впрочем, ему нравились все девушки, которые были старше его. И он боялся этих девушек постарше: их улыбчивые и всепонимающие глаза читают тебя, как букварь. Быть рядом с этими существами неловко и жутковато, но это такая радость – тайком смотреть на продолговатое и словно светящееся личико Леоноры. Толя боится смотреть, но глаза его опять и опять замечают, что черный джемпер очень натянут, даже разрежен на груди. Толя уверен, что Леонора обо всем догадывается, и глаза его по-мышиному мечутся, жмутся, когда их настигает взгляд девушки. Как только в его сторону обращаются царственно невозмутимые очи Леоноры и при этом в них загорается легкий интерес („Что этот мальчик так вспотел?"), Толины руки начинают хватать все, что лежит или стоит поблизости: книгу, пепельницу, бахрому скатерти. Но где-то, очень-очень глубоко, вспыхивает мысль, что девушка неспроста так внимательно посмотрела на него. Он даже старается слегка приоткрывать рот и напрягать подбородок, чтобы

лицо не было таким отвратительно круглым. То, что в эти минуты он становился на пути своего друга, который так доверчиво брал его с собой, Толю мало смущало. Куда там! В эти минуты он желал своему другу самого плохого: чтобы тот был и рябой, и глупый, и вообще неприятен Леоноре. Кстати, Виктор и сам вовсю старался быть неприятным девушке: дерзил, хватал ее за руки так, что даже больно ей делал. Толя чуть не в рот смотрел своему смелому другу, словно видел перед собой укротителя змей. Сам он умер бы раньше, чем осмелился прикоснуться к руке Леоноры. А Виктор будто сознательно старался прогнать спокойствие и холодную приветливость с красивого лица девушки. И когда это удавалось ему, когда краска (Толя с удивлением догадывался, что это цвет удовольствия, а не гнева) ложилась на нежные девичьи щеки, Виктор смотрел на нее каким-то другим, вспыхивающим взглядом.

Такой вспыхивающий взгляд у него, когда Виктор доволен положенными на холст красками: отстранится и любуется. Хлопцам, Янеку и Алексею, он говорил про Леонору:

– Это же античное лицо. Линии какие! И такое же спокойствие. И вдруг оно оживает: линии те же, а свет изнутри иной, точь-в-точь – деревенская девушка, стыдливо держащая фартук у рта. Сочетание, а?

Как он теперь встретится с Леонорой? Она ведь здесь и стала какой-то вызывающе красивой. Наряжается будто назло всей той бедности и грязи, что заполняет теперь все вокруг. Рядом с Леонорой легко было представлять того, вчерашнего Виктора. А вот этот Виктор, обросший, постаревший, беспомощный?.. Да он ли это там за перегородкой?

В Толином сознании Виктор неотделим от всего, что осталось в довоенном. В теперешнюю жизнь Виктор не вошел еще ни словом, ни осмысленным взглядом, ни поступком, и совершенно невозможно представить, как вчерашний Виктор возможен в сегодняшнем. О чем бы заговорил он, выйдя из-за перегородки? Толя даже посмотрел с непонятной тревогой за перегородку.

Он почувствовал облегчение, когда увидел наконец бегущую через двор Любовь Карповну. Вбежала и затараторила. Все уладилось, бургомистр взял покрывало. Любовь Карповна поставила греть воду, разобрала свою высокую постель. Казалось, она только теперь поверила, что сын дома.

Толе вспомнилось, как однажды он все же видел Виктора жалующимся. С неожиданно свежей обидой он рассказал маме про

то, как „мамаша” после смерти отца „сплавила” его к дальней родне, чтобы он не мешал ей „быть молодой”. Толя даже помнит слова его:

– Я никогда не знал матери, а только неискреннюю чужую женщину.

Возможно, если бы Виктор увидел вот эту суетящуюся счастливую Любовь Карповну, что-то могло бы измениться в этой странной семье.

Вошла мама, за ней в низкую дверь влез Владик и сразу направился к больному с лицом озабоченным и строгим. Спустя какое-то время Толя услышал слово „тиф”, по-разному повторенное Владиком, мамой, Любовью Карповной.

– У него кризис на исходе, как мог добраться он в таком состоянии? – удивился Владик.

Вспомнилось: „сила воли”.

Мама предупредила Любовь Карповну:

– Не проговоритесь никому. Они тифозные дома сжигают вместе с больными.

– Сохрани и помилуй, боже!

Толя пишет стихи

Толя был поэт – об этом знал лишь он сам. И если у Толи не всегда ладилось с друзьями, это можно было понять: они не знали, что он поэт, и относились к нему так, как если бы он не писал стихов. Сам же Толя легко шел на ссору: ему и с самим собой не скучно.

Начинал учиться в школе он несколько странно: уже в первом классе ему разбили голову, во втором – два раза. Обстригая ранку и безжалостно обрывая Толин скулеж, папа всякий раз интересовался: что будет в десятом? А Толе просто не везло. Станут перебрасываться камнями через крышу – кому попадет? Толе, конечно. Один старшеклассник, который уже изучал законы физики, рассудил:

– Это у него голова большая – притягивает.

Читать Толя не любил до четвертого класса, с тяжелым смирением брался он за книжку. Миньке объяснял: научиться хорошо читать можно по любой книге. И показал другу брошюру о картофеле, которую он пытался осилить. Прыщеватая и красневшая даже перед школьниками молоденькая учительница русского языка, которая все ходила к маме за мазями для лица, подарила Толе однотомник Пушкина. Толя прежде всего взвесил его в руке: какие есть книги толстые! Брошюра о картофеле куда-то затерялась, и Толя взялся за Пушкина. Стихи заучивать он не любил. Но очень скоро обнаружил,

что среди обычных слов в голове у него поют удивительно звучные, круглые, праздничные слова:

Мимо острова Буяна
В царство славного Салтана.

Будто „уши отложило” ему. Толя вдруг уловил, что все слова живут не сами по себе, что они ударяются друг о дружку и звенят, как весенние сосульки: *он – Купидон, грезы – слезы, мама – упрямо…*

А однажды проснулся он каким-то удивительно легким, счастливым, как просыпаются только в детстве. Солнце колышет прозрачные, словно из лучей, шторы, в кухне голоса, и среди них – мамин, за окном кричат мальчишки: весь мир уже проснулся и ожидает лишь тебя…

Я лежу, гляжу в окно –
Все мне очень мило.
Над страной взошло давно
Дневное светило.

Что это? Да это же стихи, *его* стихи! Толя повторил, правда – стихи!

Вошла мама, взглянула на счастливое лицо сына и так хорошо сказала:

– Полежи, сынок, помечтай.

Как она угадала?

Жил с тех пор Толя в постоянной работе, будто нашел удивительный механизм и занят тем, что беспрестанно проверяет: действует ли?.. „Звезды смотрят вниз – кот полез на карниз”, „Мне не спится – земля вертится”…

Когда-то Толя любил рассматривать все предметы снизу, изучать то, что скрыто от глаз взрослых: залезал под кушетку или кровать, под стол и лежал там, пока мама не выгонит. По ее мнению, он занимался тем, что спиной вытирал пол.

А тут на него новое нашло. Ему нравилось теперь ко всякой вещи сызнова примеривать ее название. „Хле-еб”. Почему это – „хлеб”, а если – „стол” или „чернильница”? Почему хлеб обязательно – „хлеб”? А если про дерево сказать – „человек”?

В голове у него был страшный кавардак.

– Толя, ставь стулья и зови обедать.

– Почему – „стулья”?

– Что почему? Обедать надо, папа сейчас придет, некогда ему вас ждать.

Все в мире приходилось называть наново. Деревья – „зеленые”. А если сказать – „красные”? Нет, само слово „зеленый” будто окрашено в цвет деревьев.

Но когда Толя читал Пушкина, вещи и их наименования не вызывали сомнений: все тут на месте, кажется, что это Пушкин первый назвал небо – „небом”, соловья – „соловьем”, шатер – „шатром”. С этого и началось удивление, а потом и то, что нельзя назвать иначе, как любовью. Толя влюбился в Пушкина, как влюбляются в живых: стыдливо, мечтательно. Он даже на свидания ходил к Пушкину.

В одном из классов (дядя жил в школьном здании) висел портрет. Этот Пушкин был по-особенному приветливый, черты лица не резкие, бакенбарды мягкие. Случалось, что после уроков, когда уже начинали густиться по углам вечерние тени, Толя *шел к Пушкину.* Как полагается для свидания, брал с собой книгу. Заглянет кто-либо в класс – что скажешь? Приходил к Пушкину? А так – читал.

Толя садился за парту, смотрел в порывистое и светлое лицо на стене и даже что-то говорил:

– Вот, опять я…

И было ему печально и сладко в эти мгновения. И еще было ощущение чего-то жутковатого, запретного, ему самому непонятного. Уходя, он прощался с глазами Пушкина, а потом из коридора засматривал еще раз, зная, что снова и снова встретится с провожающим и приглашающим взглядом.

Пушкин – тот, что в строчках, и тот, что на портрете, – отвечал на всякое Толино чувство: с ним одинаково полно можно быть и счастливым, и грустным, и спокойным, и неспокойным. Когда Толя был еще в пятом классе, Пушкин подсказал ему, что печально-сладкое томление, которое мучило, это не что-то запретно-постыдное, а, наоборот, очень красивое. Оно называется: „любовь”, „нега”, „печаль”. Через Пушкина он узнавал самого себя, у поэта он находил слова, называющие Толины переживания. Названия были самые неожиданные, но лишь такие и устраивали Толю; в своих стихах Толя именовал беленькую, глазастую Лялю „коварной”, „жестокой девой”, себя величал „пустынником одиноким”, лоб свой – „челом”, встречу во втором классе с Лялей называл „роковой”. „Коварство” же беленькой девочки заключалось в том, что она не догадывалась о настоящих Толиных чувствах, когда он, угрюмо опустив глаза и упрятав подбородок в воротник, старался прошмыгнуть мимо. Правда, прятал глаза он от страха перед приветливой девочкой, а бычился, наклонял голову, чтобы лицо не казалось таким круглым. Но Ляле, видимо, было

все равно. Она бегала и смеялась с теми, у кого на „челе” не имелось „печати рока”.

Раньше, когда маме говорили, что у нее красивый мальчик, „совсем как девочка”, Толя буркал из-под маминой руки:

– Сама ты красивая.

А тут он стал часто смотреться в зеркало. И огорчался: не лицо – одни щеки, так и хочется ткнуть пальцем. Очень кстати ему сделали кубанку, удлиняющую лицо. Толе она так полюбилась, что он даже на печи в ней сидел. Но и в кубанке Толя готов был два километра крюка задать, только бы не встретиться с Лялей. Глаза у нее такие дружелюбные, словно выкатываются тебе навстречу, вот-вот что-то скажет. А заговори она с ним, Толя провалился бы сквозь землю. Вот он и шмыгал мимо, злобно хмурясь. Девочка провожала его удивленным взглядом, приветливая улыбка на всегда бледном личике ее иногда сменялась тревогой, обидой. Толя не знал, что живущая без матери и отца девочка очень чувствительна ко всякому злому взгляду, слову. Но и Ляля тоже не знала, как ласково и жадно смотрел в ее сторону Толя, когда она его не могла видеть. В темном клубном зале, когда механик кинопередвижки заряжал новую часть, Толя вскакивал и смотрел, смотрел туда, где сидела Ляля, вспыхивал экран – он прилипал к стулу. Иногда движок долго не заводился. Публика стучала, мальчишки свистели, один Толя был доволен. Кино часто кончалось тем, что механик подходил к экрану и объяснял, что было бы в картине дальше. А Толя спешил к выходу, чтобы, притаившись на веранде, увидеть хотя бы Лялину тень.

Однажды произошло ужасное. К празднику возле клуба фотографировали пионеров. Волосатый фотограф долго прикидывал так и этак. Потом вывел из группы Лялю и стал высматривать еще кого-либо. От мысли, что могут приметить и вызвать его, Толя вспотел, налился краской. И, может, потому его и заметили. Дальше все происходило, как в страшном сне. Фотограф велел Ляле и Толе лечь перед группой „голубками” – голова к голове. Оправив каким-то очень взрослым движением белое платьице, Ляля опустилась на траву. Толя не мог шевельнуться, уши его пылали. Волосатый требовательно надавил на плечо. А все смотрят и, конечно, смеются. Правда, Толя ничего не слышал и не видел, он лишь помнил, что возле его ног – Ляля. Пришлось сесть, пришлось и лечь на локоть, но все это Толя делал под нажимом, словно все суставы у него проржавели: не выпрямили ему левую ногу, она и осталась поджатой. В этой судорожно поджатой ноге, казалось, собралось все его внутреннее напряжение.

– Головками поближе – не уколешься, – потребовал безжалостный фотограф.

Лялины волосы коснулись щеки, Толя испуганно дернулся. Так и на карточке получилось: он – темен лицом, смотрит исподлобья, ковыряет стеклышком землю, а головкой к нему – доверчиво спокойная Ляля.

А потом уехала Ляля с братом и теткой-учительницей. Толя тосковал, и ему противно было видеть других шестиклассниц. Особенно не полюбилась ему худющая черноволосая Валя. А она, как нарочно, все попадалась ему на глаза. У Ляли самое заметное – доверчивые глаза да бледное личико. У этой сразу бросались в глаза широко расставленные, наивно-бесстыжие бугорки под платьем. Ходила она как ветер, разговаривала громко, смеялась так, что в другом конце коридора услышишь, и всегда распевала свое „Сулико”. И еще любила задавать учителю вопросы, тоже наивно-бесстыжие. Услышит от хлопцев слово и просит пояснить. А бедный учитель не знает: выгнать ее из класса или в самом деле объяснять. У хлопцев Валя ходила в героях: вот это девка, казак!

И вдруг Толя почувствовал, что влюбляется и в эту. Как почувствовал? Вот он уже перестал замечать, что Валя уродливо худая (оказывается, она гибкая, подвижная), лицо у нее не вытянутое, как еловая шишка, а тонкое и чертовски умное, она не нахальная, а смелая и веселая. Толя теперь сознательно старался приблизиться к Вале, даже подружиться с нею до того, как Валя станет для него пугающе-недоступной. Он уже понимал, что, если заранее не сумеет приблизиться к девочке, чтобы хоть не бояться разговаривать с нею, смотреть ей в лицо, потом он не сможет этого сделать и опять будет мучиться издали. Толя искал случая заговорить с Валей, но, поскольку у него уже была тайная цель, он терялся и вел себя так, что потом стонал, как от зубной боли: „Глупо, глупо...” Все это лишь ускорило приход уже знакомого ему страха перед девочкой. Валя заметила, что этот головастый чудак ее за что-то невзлюбил: сторонится, не глядит! Ну и пусть!

Все повторилось, но на этот раз Толя тосковал острее и мечтал слаще.

И тут возвратилась Ляля. Увидев Толю возле школы, она подбежала, засмеялась, Видимо, она обрадовалась ему так же, как школьному двору, липкам, знакомом пионерской мачте, но все же ее первое движение, такое непосредственное, на какой-то миг разрушило стену мучительного отчуждения, воздвигнутого Толиной трусостью. Теперь все от Толи зависело.

– Уже приехала? Скоро.
– Мы с тетей в Пятигорске были. Как там хорошо!
– Горы…
– На Машуке были, где убили Лермонтова.

Толя промолчал. Но промолчать для него было так же опасно, как для человека, идущего по узенькой кладке, сбиться с ноги.

– А что у нас тут? – помогла ему девочка.
– Ничего.

Толины глаза, как от режущего света, болели от доверчивого взгляда простеньких голубеньких глаз девочки. С этим „ничего" он и поспешил сбежать.

Но с того момента Толя понял, что любить – радостно. А Валя? О ней он думал уже с неприязнью, как бы мстя ей за свою несмелость, за свою тоску. Он уже не помнил, что то же самое он пережил и „по вине" Ляли.

Прошло несколько дней, и Толя уже не понимал, кого ему хочется видеть больше: Лялю или Валю. Он слонялся по поселку, каждый вечер убегал в клуб, даже вечером выходил на шоссе, где шаркают подметками хлопцы постарше. Если ему удавалось издали видеть смуглянку Валю, он думал и про беленькую девочку с добрыми глазами. Он и во сне видел, чувствовал их как что-то одно.

Потом Ляля уехала насовсем, а следом и Валя. А Толя писал о них в своем тайном дневнике. И когда у дяди жил. В тетрадке у него все меньше было „роковых страстей", „коварства", хотелось писать о дожде, о дороге…

Сырое небо без конца
Водой сочилось. И сам воздух
От влаги весь разбух, казалось,
Отяжелел и вязким стал.
Казалось мне, что вся земля,
Тоскливо-серая, как небо,
Сплывет через края куда-то…

Это были невеселые стихи, по они принадлежали ему, и оттого, что, по его убеждению, стихи хороши, Толе было очень радостно, когда он их писал, а потом без конца читал самому себе. Он был в том возрасте, когда сама грусть по ушедшему, неосуществленному живет в человеке как обещание чего-то еще более радостного, нужного, большого. Впереди было столько всего: там была жизнь!

Пришли немцы – и это все тоже стало „довоенным", как бы осталось за чертой.

Толя любит вот так сесть над открытым сундучком, смотреть на книги, на свой дневник, на школьную тетрадку стихов и думать. Когда-нибудь Толя будет вспоминать о происходящем теперь, как о прошлом. И вот этот миг тоже будет тогда в прошлом: *Толя сидит над своими книгами, в соседней комнате стучит молотком дедушка, мамин и бабушкин голоса на кухне, а за стенами дома – немцы.* С усилием попробовал представить, что комендатура, волость, полицаи, неизвестно чем и для чего живущие люди – все это осталось бы навсегда. Даже представить не смог: перед глазами сразу встала стена.

Толю позвали. Опять за водой? Нет, песок понадобился ножи чистить. Война войной, а у мамы в голове еще и это. Захватив старое ведро и лопату, Толя побрел к шоссе: там, под соснами, есть специальная яма. Вот тебе и раз, кто-то умный свалил сюда мусор! Толя направился к другой яме. Тут в холодном песке ковыряется Надина девочка. Над нею висит соседский пузан, сопит сопливо и глядит на красные, как гусиные лапки, Инкины ручки, а свои зябко прячет в длинные рукава фуфайки.

– Ну, дайте мне, – сказал Толя.

Он не умеет разговаривать с малышами, и ему всегда кажется смешным лицо брата, когда тот возится с „лупатенькой” (так он Инку называет) и даже целуется с ней. А вообще-то Инка забавная а, правда, лупоглазая: когда смотришь в большие, верящие и такие ожидающие глазенки этого человечка, невольно и сам начинаешь широко открывать глаза, округлять их навстречу Инке. Вот так же нестерпимо хочется зевнуть, когда видишь, как рядом кто-нибудь ртом ловит сон.

Инка выбралась из ямки и ссыпает Толе под лопату черный песок, да еще глядит так, будто Толя за тем и пришел, чтобы играть с нею.

– Инка, немец твоего котика забрал.

Соседка Надя рассказала, что ее Инка прячет за печкой от немцев котят. Она, конечно, убеждена, что раз кур взяли и поросеночка, так уж котят, тепленьких, с пушистыми хвостиками, схватят сразу. Толины слова зажгли тревогу в черных глазенках. А Толя продолжал:

– Во-он пошел.

Действительно, через Надин двор шел немец. Тревожным женским взглядом проводила его Инка, личико ее такое озабоченное, точно дома у нее – куча детей. Толе стало жалко ее.

– А ты сбегай, погляди.

Инка с опаской потопала к дому. Ее товарищ, путаясь босыми ногами в фуфайке, последовал за ней. Отбежав, остановился и грозно глянул на Толю, а потом еще быстрее замелькали его чистые клубничного цвета пятки.

Толя набрал полное ведро желтого песка и вылез наверх. По шоссе, как заводные, шагают в ногу два немца. Инка и ее товарищ громко кричат у себя во дворе:

– Ладуга, ладуга, не пей нашей воды!

А красиво встала радуга над лесом: точно ободок зеркала, в которое смотрится желтая осенняя земля. Какая поздняя радуга! Толя прикинул, как про это можно сказать в стихах. Стоя над ямой, разжал ладонь и выпустил лопату: насколько войдет в песок? Железо звякнуло. Доставая лопату, Толя ковырнул землю. Удивился – мешковина! Он соскочил вниз и стал тащить из-под тяжелого песка тряпку…

По шоссе идет караул с моста, напротив комендатуры часовой потрошит корзины женщин.

Толя сел на край ямы и, беззаботно помахивая ногой, проводил невинным взглядом немцев. А самого дрожь бьет. Немцы свернули к комендатуре, в Надином дворе нарочито громко („наперегонки”) смеются дети. Толя опять соскользнул вниз. Хорошо бы пересчитать, но и так видно, что гранат больше десятка. Новенькие, зеленые. Кто мог зарыть их? Или это немцы собрали, что осталось после боя? Первое побуждение – присыпать находку песком и уходить подальше – исчезло и не возвращалось. Будь тут одна или две гранаты, Толя просто отнес бы найденное к Миньке, они разобрали бы их – и на том конец. Но тут целый склад. То, что гранат много, что даже знать о них – опасно, направило Толину мысль в еще более опасное русло: гранаты необходимо перепрятать. В сарай? Надо с Павлом посоветоваться.

Толя перешел к другой яме, расковырял мусор, сделал лунку поглубже, потом вернулся к ведру, высыпал из него песок и торопливо сунул в ведро тяжелый влажный мешочек, сверху присыпал песком. Он чувствовал, что делает много лишних и подозрительных движений и переходов с места на место. Но он как-то отупел, думал лишь о том, чтобы поскорее все окончить. И опять пошел к приготовленной ямке, опрокинул ведро, привалил гранаты песком и мусором. Все это он проделывал, удивительно ясно сознавая, что спрятал плохо и слишком неосторожно, но думал об этом с непонятным безразличием.

– Где ты пропадал столько времени? – встретила его мать. – Еле ноги переставляют, слоняются, как мертвые. Когда я вас научу!

Ну, пошло! Мама теперь так только и разговаривает, сердится. Постоянное раздраженно резче обычного ломит ее брови. На высоком неспокойном лбу морщины, раньше их Толя не замечал.

Толя смолчал, чувствуя свою вину за то, что так глупо возился со своей опасной находкой, и за то, что он не скажет о ней маме. Скажешь – совсем разнервничается, а Толя будет в ответе за все: и что война, и что немцы, и что гранаты ему под лопату попадаются.

– Мусора навалили там, – оправдывался он.

– Все у вас так.

– Ай, мама!

– Что ты айкаешь? С ума скоро сойдешь, а они еще тут…

„Они" – это обо всех, но прежде всего о Павле. Мамино постоянное раздражение все чаще наталкивается на встречную обиду и раздражение Павла и бабушки. Даже Маня дуется. Чем чаще и злее она ругает мужа, тем реже заговаривает со своей старшей сестрой.

Толя все это замечает, и, хотя он не любит видеть маму такой, какая она сейчас, он на ее стороне. Он всегда на ее стороне.

Когда Толя сообщил о находке Павлу, у того глаза загорелись.

– Запалов не видел? Желтые такие карандашики.

– Нет, не видно там.

Оказывается, не такая это ценность, если без запалов. Толя не выдержал, сказал и про две винтовки, и про цинки с патронами.

– У нас все есть.

– У кого это?

– Ну, у нас с Минькой.

Павел вдруг погас, точно вспомнил о чем-то.

– Не лезьте вы в дела эти.

Что это он, от мамы научился?

– А где у вас? Забрать надо, а то попадетесь еще.

– Я скажу Миньке.

– Нет, нельзя. Не говори.

Толя колебался. Но товарищеская солидарность и общая тайна мало значили там, где кончалась игра и начиналось настоящее. А тут было уже настоящее.

С немцами по-немецки

Жизнь в Лесной Селибе шла своим чередом. В домах, которые поближе к шоссе, разместились на постой офицеры. Павлу с Маней пришлось перебраться в комнату к старикам. В зале засел немец в черной форме. Его сразу так и прозвали: „черный". На кухне

сделалось тесно от необычайно подвижного переводчика-познанца. Он день-деньской варил и кипятил что-то черному немцу и его овчарке. С поваром-переводчиком бабушка скоро поладила. Дедушка над ней посмеивался:

– Шляхта моя застенковая хоть наговорится с паном. А то век с мужиком промаялась.

– И правда, что мужик, – отмахивалась бабушка, – эт!

– Как ты промахнулась так, мати, что за мужиком свековала?

– Бо молодая, дурная была.

У бабушки уже было двенадцать детей, когда, овдовев, она выходила за „мужика", но это в расчет не берется.

– Поучись у этого, как панам готовить, и нам слаще чего сделаешь, – советует дедушка.

А любопытного много. Пока „черный" сидит, запершись с собакой (хоть бы урчали там, а то – ни звука), денщик-познанец разливает очередную порцию еды хозяевам, а чтобы не слишком обжигало им нутро, он воровато помешивает пальцем в тарелках.

– Цо пан роби? – поражается бабушка.

Ловкий повар, бойко смахнув с пальца горячую жижу, скороговоркой поясняет:

– Э, вшистко едно![7]

„Черный" и его овчарка едят очень часто, но все одну и ту же горохово-бобовую тюрю. На второе им носят чай. Ни „яйко", ни „млеко", кажется, не интересуют хозяев повара-познанца.

Ровно в полдень черный немец и овчарка выходят „на шпацир". „Черный" идет впереди, подтягивая левую ногу, за ним – овчарка, сзади марширует познанец. Хотя у „черного" нет никаких знаков отличия, встречные немцы, завидев его, деревянно стучат каблуками. Но, миновав опасность, некоторые переглядываются с денщиком, и тогда познанец тоже начинает подтягивать ногу и ковылять.

Однажды „черный" заметил это. Он подозвал познанца и начал, как парикмахер, спокойно обрабатывать его физиономию оплеухами. Овчарка по долгу собачьей службы беззвучно оголяла клыки, но в глазах у нее чисто собачье удивление: перед нею было существо, которое не огрызается и не убегает, когда его бьют.

Дома „черный" все время сидит „у себя" и, кажется, никого не замечает. И его старались не замечать. Но пока он не уехал в Большие Дороги, где, по слухам, возглавил СД, у всех в доме было такое чувство, как если бы в соседней комнате поселился хищный зверь. Его

---

[7] Э, все равно! *(польск.)*

не слышно, но, может быть, в эту минуту он уже стоит у двери, сейчас толкнет ее мордой и войдет…

Наведывались и другие немцы. Но их умело выпроваживал познанец, пугая своим шефом. Непонятен этот носатый, с напомаженным пробором человек. Хочется почему-то верить, что за маской франта и шута кроется что-то. Павел и тут верен себе: пытается распропагандировать его, заговаривает о фронте, Москве. Познанец делает шутовские глаза и машет пальцем перед носом у Павла.

Интересный разговор с одним немцем произошел у Нины. Ома мыла кухню, когда кто-то сильно рванул дверь.

– Матка, мильх!

Из столовой Толе все было видно.

„Матка” Нинка, раскидав косички, с тряпкой в руке стоит перед большим немцем, замурованным в смолисто-черную накидку. У немца офицерская фуражка с высокой тульей. Вздернув топкие плечики к ушам, как она это умеет делать, Нинка очень серьезно говорит:

– Не форштейн.

Офицер вытащил из кармана перчатку и „доит” ее за пальцы.

– Ферштейн?

– Форштейн, – радостно взмахивает косичками Нина.

– Гиб мильх.

– Не форштейн.

Тогда офицер снял фуражку, сделал у лба „рога” и промычал очень даже похоже. Спросил:

– Ферштейн?

– Форштейн.

– Гиб мильх.

Нина даже лопатки свела от непонимания, а рукой, в которой мокрая тряпка, для вящей выразительности взмахнула перед лицом гостя:

– Нихт форштейн.

„Нихт” у нее получилось даже здорово, не хуже мычания немца. Лакированный козырек офицерской фуражки звонко опустился на несообразительную Нинкину голову.

В дом быстро вошла мама.

– Что тут? Чего он хочет?

– Мо-ло-ка, – сквозь плач сердито пропела Нина.

Из соседней комнаты донесся голос познанца:

– А, зрозумяла, поняла!

– Иди принеси кувшин, – приказала мама.

Всхлипывая, Нина осторожно обошла большого немца, долго не возвращалась из кладовой, принесла молоко и, обойдя немца, подала маме.

А когда сели обедать, бабушка пожаловалась:

– Нехта всю кладовую молоком залил.

– И надо же, – догадалась мама, – сплеснула все же сливки на пол.

Вечером в столовую заглянул познанец, как всегда прилизанный, с неопределенной усмешкой в шалопутных глазах. Пощупал Нинкину голову:

– Ферштейн?

Нина сердито сбросила его руку и полезла на печь.

– Пенкна паненка, хорошая, – совсем развеселился познанец и удалился, легкий и шумный, как пузырь с горошинками.

Скоро в зале поселился другой офицер. В первый же вечер он вошел в столовую, где при коптилке играли в карты. На него старались не глядеть, и он тут же удалился, показалось, даже смущенный. Он какой-то неловкий в движениях, лицо в оспинах.

Утром явился Казик. Увидев немца (тот вышел в кухню с бритвенным прибором), Казик громко провозгласил и даже руку вознес:

– Ес лебе геноссе Сталин! Няхай жыве!

Немец от неожиданности даже голову вздернул, как испуганная лошадь, и тут же покраснел густо-густо. Он внимательно и подозрительно смотрит на Казика, у того лицо самое невинное и беззаботное. Весь вид Казика говорит: „Все это не серьезно. Иначе разве стал бы я в присутствии немецкого офицера произносить такие слова. Вы же человек интеллигентный, понимаете шутку – я это вижу".

Встречная вынужденная улыбка вместе с потом выступила на бугристом лице немца: „Да, конечно, я понял, почему вы осмелились произнести такое. Но..." Немец тут же нахмурился и ушел в комнату, забыв сполоснуть помазок.

В столовой уже балуются подкидным. Янек старательно прячет карты в колени и за каждым ходом приговаривает бабушкино: „Эт, такой бяды!" Страшно доволен он и бабушкиной фразой, и самой игрой. Выиграет – доволен, проиграет – тоже. В полный восторг приводит его дедушкино слово „говяда".

– Говяда ты, брат, а не игрок.

Дедушкино „говяда" означает корову, но какую-то особенно дурную, как сало без хлеба, ту, о которой говорят: „волчье мясо".

– Говяда? – переспрашивает Янек.

– Говяда, брат, хочешь – обижайся, хочешь – не.

Казик шумно поздоровался, переглянулся с Павлом и подсел к играющим. Толю мама отправила за дровами. Вернувшись, он застал всех в столовой. И немец тут. Он чертит на карте линию фронта. Павел смотрит на его карандаш спокойно: он заранее знает, что будет врать немец. Мама стоит в сторонке. Бабушка подступила к самому столу и, как прилежная ученица, даже головой кивает: все понимает. Она чувствует на себе веселый взгляд деда и хмурится, вот-вот скажет: „Эт, старый дурень”. Казик повис над картой, егозит, поддакивает немцу, явно стараясь выудить у него как можно больше. И все переглядывается с Павлом. А немец клонит к тому, что к зиме „Москау капут”, намекает на японцев.

– Рано, пташечка, запела, гляди, как бы кошечка не съела.

Глухой дедушка только и услышал про „Москау”, и ему кажется, что он сказал тихо, но по укоряющему взгляду невестки понял, что провинился. Он засопел и взялся свертывать цигарку.

А тем временем Толя повыспрашивал у Янека нужные немецкие слова. Краснея от смущения и радуясь возможности просветить немца, Толя торопливо выложил:

– Наполеон взял Москву, а ему сделали капут.

Немец не поднял головы, из-за его спины мама грозит Толе кулаком, но и улыбается почему-то. Казик вставил что-то спасительное, но офицер встал и, ни на кого не глядя, вышел. Не успел Толя получить нагоняй, как немец вернулся. Со словарем. Поискал и торжественно указал Янеку. Тот проспрягал:

– Повесим, повесят…

– Ничего не скажешь – тоже аргумент, – скороговоркой согласился Казик.

Немец нашел и существительное.

– Осторожность, – прочел Янек.

Через несколько минут немец вышел из зала с чемоданом. На прощание больно постучал согнутым пальцем Толю по лбу, сделал взмах рукой и ушел.

Толя небрежно заметил:

– Он, наверное, совсем из поселка уезжает.

– Испугался? – набросилась на Толю мать. – И ты что-то понимаешь! Вот пойдет и заявит в комендатуру.

Но почему-то опять улыбается. А за ужином вернулась к этому.

– Казик хитрый. Скажет – и не поймешь, серьезно он или нет. А вы, дурни, так и влопаетесь.

Павел принял это на себя.

– Когда я что говорю?

– А мало ты с ним шепчешься? Как баба! – вступила в дело Маня.

– Вот что, Павел, – серьезно заговорила мама, – я их лучше знаю. Жигоцкие – это особые люди, поверь моему опыту. Ты же не один, пойми наконец. Я не могу объяснить, но меня никогда не обманывает чутье.

Это даже для Толи прозвучало неубедительно. Вмешался Алексей. Подобные разговоры о людях вызывают у него что-то похожее на зубную боль. Он морщится и просит:

– Ну что ты, мама, зачем заранее говорить на человека!

Мама сдается.

– Да что вы на меня все, – смеется она, – я же только советую осторожней быть, а то вам все шуточки…

Виктор поправился

Виктор поднялся очень скоро. С остриженной ножницами, нелепо полосатой головой, в застиранной неопределенного цвета рубахе с большими белыми пуговицами, очень худой – совсем неузнаваем. Толю встретил кривой усмешкой, хотя и не к нему относящейся, но неприятной.

– А, Толя! Ну, что у вас тут? Слава богу, стало тихо, как говорит моя мамаша. А вот и она, к слову.

Вбежала Любовь Карповна.

– Полежал бы, Витик.

– Ну, что там, говори уж? – поморщился Виктор.

Его догадливость немного смутила Любовь Карповну.

– Это можно и завтра. В сарае работа есть.

– Закурить не раздобыла?

– О хлебе теперь думать надо.

– Я у дедушки попрошу, – обрадовался возможности услужить Виктору Толя. Правда, он несколько удивлен, что Виктор курит. До войны курение у него входило в разряд „лишних привычек”, которые порабощают человека, связывают.

И еще наведывался Толя к своему бывшему другу, но теперь даже странно, что у них были когда-то общие дела, интересы. И не то чтобы Виктор слишком повзрослел, просто он стал совершенно другим, а с этим другим Толя никогда не дружил. Виктор неприятно безразличен ко всему. О чем ни рассказывай ему, все молчит, только и забота у него, как бы покурить. А потом взялся наводить порядок возле дома, в сарае. И хотя Любовь Карповна страшно довольна его неожиданной домовитостью, он не перестает язвить над нею, но уже

не весело, как прежде, а как-то мрачно, зло. Толя рассказал об этом маме, как о чем-то очень забавном. Она нахмурилась:

– Что это он, кажется, и не дурак. И ты там выучишься так с матерью разговаривать.

Скажет ведь: то – она, а то – Любовь Карповна!

– Леонору, гречанку нашу, встретил, – сообщил однажды Виктор, – постояли, помолчали, повыкали. Похорошела и живет как бы в укор людям: у меня нос с горбинкой, нужно мне знать про ваш там фронт!

Правду говорит Виктор, она и Толю совсем не замечает, словно и не бывал у нее дома, не сидел на диване…

Виктор стал приходить к Толе домой: закурить у дедушки, поиграть в карты, помолчать. Он редко вступает в разговоры. Павел попытался было выяснить с ним некоторые вопросы немецкой политики, но с Виктором серьезный разговор трудно вести: он слушает без особого интереса. Заметно, что Надю этот молчальник раздражает, а Казик точно смущается при нем, сникает, слова у него как-то перестают вязаться. Надя не умеет и не желает скрывать свои чувства. В дом она всегда врывается, как с мороза, энергично и шумно.

– О, вижу мужчин! Учителя, художники… – удивилась она. За столом – картежники: Казик, Павел, Толя и Виктор Петреня. – А я думала, – продолжает Надя, – все они или в плену, или в бобиках.

– Или на фронте, – поправил ее Казик.

– Там не вы.

– Или в лесу.

– Там настоящие. А вы…

– „Молодые девушки немцам улыбаются, – затянул Казик, – позабыли девушки…”

– И правильно вас позабыли.

Как бы извиняя Надю и прося других извинить ее, Казик кричит весело:

– Надя такая!

– Ай верно! – сказал Виктор. – До войны мы себя ого какими видели!

– Ругают теперь довоенное, чтобы себя оправдать… кому это необходимо, – глядя в карты, произносит Павел.

– А если уж про то… – вспыхивает Виктор, – многого не было бы сегодня, если бы не было вчера.

– Жду, когда полетит шерсть, – довольная, говорит Надя и садится на табурет.

– Моего тестя раскулачили, – Павел уже глядит прямо в лицо Виктору, – значит, нам куда теперь? Кому охота – пожалуйста. Справимся. И с чужими и со своими.

Павел видит, что в проеме двери, на кухне стоит Анна Михайловна и смотрит на него. Сердито дернул плечами, но замолчал.

Казик, держа карты на столе, объясняет Виктору обстоятельно и чуть-чуть снисходительно:

– И вчера и сегодня происходил и происходит отбор человеческого материала…

– Не цитируйте мне немецкие газеты! – резко оборвал его Виктор.

Казик даже растерялся. Переглянулся с Павлом. Но тот молчит.

Надя пошевелилась, как бы получше усаживаясь:

– Мне начинает нравиться!

– Не о материале, а о людях пора думать, – говорит Виктор. – „Братья и сестры!”… Вот то-то же! Спохватились. Что сто́ят анкеты, мы уже убедились. Писали, писали, а нужной оказалась графа, которой-то и не было: человек ли? Ее-то потруднее заполнить!

Помолчав, Виктор уже спокойнее проговорил:

– На самом острие война идет между политическими целями. Но есть в этой мировой войне и более широкий фронт, проходит он между человеком и тем, что фашизм хотел бы из человека сделать. Тут каждый втянут…

Вошла из кухни Анна Михайловна:

– Обедайте с нами. В городе Любовь Карповна?

– Да, побежала в город. В церковь, к богу. Все ищет покупателей на ковры, которые я должен мазать.

– Натурщица не нужна? – поинтересовалась Надя. – Нет, не я. Во, скулы. А вот Леонора – с нее и красавицу и лебедя. Все полицаи без ума. А они здесь – самые мужчины.

Давно уже все замечали, как Казик откровенно ухаживал за Надей, часто они уходили от Корзунов вместе, и хотя Надя говорит Казику одни резкости, но и резкости такие говорят лишь человеку, которого уже не стесняются.

И вдруг как бы оборвалось что-то. Однажды пришел Казик и невразумительно рассказал, что были они с Надей в деревне и чуть партизан не встретили. Как это „чуть” – никто не понял. Появилась Надя и сразу прошла к маме. Не поздоровалась даже, но это никого не удивило: ей все можно. Удивил Казик. Он виновато пытался перехватить взгляд Нади, но глаза Казика скользнули по не узнавшим его глазам женщины, как по холодному стеклу.

Непривычно жалким выглядел Казик в этот миг.

Ночью взвыли вдруг пулеметы у комендатуры. Когда пальба спадала, было слышно: по асфальту звонко цокают подковы. Цокот ровный, неторопливый, будто и не беснуются пулеметы. Не галоп, а бег трусцой. Очевидно, это и наводило ужас на тех, кто стрелял. А когда небо посветлело, жители поселка увидели, что шоссе, канавы завалены трупами лошадей. Одна лошадь стоит на асфальте, широко расставив передние ноги, и слегка покачивается, около десятка больших тяжеловозов с куцыми заячьими хвостами скучают на огородах. Но нигде не видно трупов тех, что конно атаковали комендатуру.

Скоро все выяснилось. В совхозе убили управляющего, охрану тоже перебили. Лошади, поставленные на поправку, были выпущены из-за ограды. Белоногие бельгийские тяжеловозы вышли на шоссе и лениво потрусили на запад… Их-то и приняли за советских казаков.

Толя убежал к Петреням.

На вопрос о Викторе Любовь Карповна заголосила:

– Спит, что ему! Перебрался на чердак, и холод ему нипочем, лишь бы не мешали валяться до дня. Что ему до того, что скоро рот нечем будет заткнуть. Сушенков Сергей техникумов его не кончал, а на коврах столько картошки и крупы зарабатывает. За один ковер три стакана соли дают, я узнавала.

Любовь Карповна уже и покупателей нашла, дело только за Виктором. А Виктор как раз начал свой утренний спуск. Усевшись на лестнице на уровне окна, принялся закуривать, не заботясь о том, что его широкая спина кого-то раздражает. Любовь Карповна забарабанила в окно, не боясь и стекло разбить:

– Ви-иктор! Где там, над ним не каплет.

Толя вышел во двор. Кривясь от вонючего дыма (теперь около курильщиков пахнет чем угодно: сухим навозом, горелыми листьями, хвоей и меньше всего – табаком), Виктор с любопытством глядит на шоссе. Любовь Карповну встретил удивленно:

– Ты уже встала?

Будто горячими углями осыпали женщину, она даже руками всплеснула:

– О божечка, что ты мне дал! Он думает, что свет из одних лежебоков?

– Почему лежебоков? Во как поработали ночью!

– Всех сгоняли коней на машины грузить, – уже весело говорила Любовь Карповна, как бы смиряясь с тем, что бог дал ей Виктора. – Этого лайдака я пожалела, сказала, что уже на шоссе. А он вот что!

И снова рассказала Любовь Карповна про то, как зарабатывает Сушенков хлопец на коврах.

– Какая польза, что я тебя… – Любовь Карповна поправилась, – государство учило тебя.

– Иконы, что ли, начать мазать?

– А не отвалились бы руки. В церковке столько людей теперь бывает, купили бы. Не надорвался бы, если б и намалевал.

– С тебя разве?

Любовь Карловна не выдержала, сердито рассмеялась:

– А чтоб тебя, вот научился на собак брехать.

У Толи Виктор спросил:

– Что у вас там? Казик все Надьку охмуряет? Да ты, собственно, ничего не знаешь. Ладно.

Но потом, уже серьезно, сказал:

– Даже когда у человека огромное несчастье, когда, кажется, конец всему, человек продолжает дышать, ходить, даже есть, спать и все другое. Но разве он не противен себе за это? Противно других видеть, а себя еще больше гадко. Но уже совсем мерзость, если человек и в этом положении остается этаким гусем, который страшно гордится тем, что его подают на стол с яблоками. Как этот ваш Казик. Сел еще до войны на слова и слезать не хочет. И совесть спокойная, и жизнь спокойная. – И совсем неожиданно: – Надя не рассказала, какая у них встреча была с партизанами? Нет?

Но и сам Виктор не рассказал, а что-то знает.

К вечеру, будто дым в сырую погоду, пополз по поселку слух: немцы согнали жителей совхоза в гумно и теперь жгут. В удушливом молчании смотрели люди на дымное зарево. Там люди задыхаются, корчатся от боли и беспредельного ужаса, страшно кричат, а тут тишина. И это может быть, и такое – правда… Никогда потом Толя не видел мать такой раздавленной. Его неприятно покоробило, когда уже в хате она с раздражением заговорила о тех, что убили пятерых немцев и тем самым подвели под лютую смерть столько людей, обрушили на них злую силу, чужую жестокость. Мертвая скала спокойно раздавит и ребенка, а повинен в этом будет тот, кто ее стронул с места, – так звучало это. Толя понимал, что мать не права в чем-то главном, но когда заговорил Казик и сказал именно то, что нужно, слушать его было неприятно. С каким-то противным спокойствием и чувством превосходства Казик возразил маме:

– Победит в этой беспощадной схватке тот, кто готов пойти на большие жертвы. Это – война на истощение не только крови, но и нервов.

И тут заговорил Виктор, нервно, зло:

– Может, и так. Но чтобы иметь право так умно говорить про судороги детей, заживо сжигаемых, надо самому всем жертвовать, по крайней мере жизнью. Что за поганая привычка у нас пошла: героически голодать чужим желудком, мужественно переносить чужие страдания. Если свою кровь не проливаешь – помолчи уж лучше. Полицай и тот собой рискует.

– Что-то часто вы об этом! Никому туда дорога не заказана, – вырвалось у Казика, покрасневшего до кончика носа, отчего вдруг стали заметны на нем длинные белые волосики.

Так выйти из себя – совсем на Казика не похоже! Оказывается, они здорово невзлюбили друг друга. Вот и сейчас: Виктор жестко сузил глаза, побледневшее лицо сделалось неприятно злым.

– А если я и вправду, как ты сказал, возьму полицейскую винтовку, – вдруг заговорил он, впервые обращаясь к Жигоцкому на „ты”. – Да приду к тебе. Любопытно, как ты станешь со мной разговаривать. И как смотреть. Ласково смотреть будешь, ей-богу! Забудешь обо всем, что болтал здесь.

Толя с удивлением глядел на друга: что за дурацкий разговорчик завел! Павел даже со стула поднялся.

Алексей удивлен и смущен: как только поблизости запахнет подлостью, он сразу теряется.

Что-то неожиданное, нешуточное послышалось всем в словах Виктора.

Казик вдруг стал бледнеть, но, как бы сам почувствовав это, встрепенулся и все-таки сказал:

– Ну, знаете, всему предел есть. И шуточкам.

– А я вовсе не шучу, – медленно проговорил Виктор.

Поднялся и ушел.

Как о чем-то вполне выяснившемся, Павел сказал:

– Субчик этот мне давно не нравился.

Гонят пленных

Скоро седьмое ноября. Хотя нет уже растерянности первых дней и недель войны, но будто только теперь пришла к людям настоящая, до конца осознанная тревога за исход событий. Враг замахнулся на Москву, и люди, казалось, перестали дышать от мучительного, нестерпимого напряжения…

А из Бобруйска привозили рассказы о виселицах в городском сквере, о заживо заливаемых известью еврейских детях, о страшных лагерях для военнопленных.

К Корзунам изредка захаживал невероятно худой учитель Лис. Жена сумела выкупить его из лагеря. Мама давала ему какие-то порошки сразу от всех болезней. После пережитого у этого человека появилась склонность надо всем невесело подшучивать. („Юмор покойника” – по его же определению.)

– Никогда не чувствовал, что у меня сердце, желудок, селезенка, ребра есть. А вот отбили, и теперь каждый свой винтик будто в пальцах держу. Грудную клетку, как доспехи, могу взять руками снизу и снять через голову.

Как о чем-то не самом страшном из того, что ему довелось видеть, рассказывал:

– Нас было сорок тысяч, а воды привозили на одну. С вечера ложилась очередь к бочке. Встать с земли ночью нельзя – стреляли. Утром, кто живой, поднимали. Ровно в девять, перед тем как привозили воду, приходил начальник охраны Битнер. Всякий раз он проделывал одно и то же. Подойдет к первому в очереди (вертись не вертись, а первый кто-то будет), спрашивает: „Вы почему первый?” И стреляет в человека. Потом идет в конец очереди и то же самое: „Вы почему последний?”

Лис приходил за лекарствами по нескольку раз в неделю и набирал их много: у него и болезней много.

Немцы взялись и в поселке решать „еврейский вопрос”. В дом к Анютке опять пришел Порфирка:

– Ну, Мовша, хватит тебе сидеть.

И ничто не помогло – ни просьбы, ни слезы. Несколько дней обросший черной бородой сухорукий Мовша чистил уборную во дворе комендатуры. Анютка пыталась переговариваться с ним издали, передавать еду. Потом Мовше разрешили идти домой. Он отошел шагов двадцать по полю, оглянулся и увидел, что из раскрытых окон комендатуры смотрят веселые, улыбающиеся немцы, а один целится в него из винтовки.

– Не надо, я сейчас… – крикнул человек.

Гулко прозвучал выстрел, человек страшно завертелся на месте…

„Новый порядок” действовал. Особенно забесновались завоеватели после речи своего фюрера, которую он прокричал 3 октября в берлинском „шпортпаласте”.

Гитлер признал, что резервы русских были недооценены, но при этом старался убедить себя и других, что поражение Советской России неизбежно. Правда, фанатизм „недочеловеков" потребует лишней арийской крови.

Заранее разработанная программа очищения территорий от целых народов все более приобретала характер мести. Советским людям фашисты мстили за то, что они оказались сильнее и тверже, чем хотелось бы тем, кто пришел их уничтожить, мстили за вспыхнувший в подвалах палаческих душ страх перед возможной расплатой. На бескрайних русских просторах проигрывалась и битва за Англию, и война против Америки – все из-за того, что „эти русские" и не думают соглашаться с тем, что положение их безнадежно, что они разбиты, повержены, наоборот, с каждым днем они усиливают свое „бессмысленное" сопротивление. Мстительность и страх передавались от главного фюрера меньшим фюрерам, и по всей оккупированной территории убийства советских людей принимали все более массовый и садистский характер.

Утром седьмого ноября стало известно: в городе немцы расстреляли двадцать тысяч пленных. Подожгли бараки и дома в крепости и хлестали из пулеметов по мечущейся, красной от зарева толпе. На много километров вокруг повис удушающий запах горелого. От Сеньки Важника, который приехал из города на заводской машине, узнали, что по шоссе гонят пленных. Отстающих пристреливают: на каждом километре – убитые.

Стала собираться толпа, она быстро росла. Много женщин из деревень – в кожухах, больших платках. В тряпицах, в корзинах люди принесли кто что мог. У некоторых женщин даже чугунки с вареной картошкой.

Тихо опускаются большие хлопья снега. Коснувшись земли, снег сразу тает. Под ногами черно, хлюпко. Люди разговаривают почему-то вполголоса, лица нервно бледные, глаза тревожные. Все смотрят в сторону города, там уже что-то чернеет. Можно разглядеть, что эта чернота живет, шевелится, от нее отрываются какие-то точки и снова сливаются с нею. Скоро забелели и человеческие лица, а отскакивающие точки стали конвоирами.

Издали человеческие лица белели, но, когда колонна надвинулась, набухла, все увидели, что лица у пленных черные.

Ожидали самого ужасного, но то, что увидели, смяло, раздавило людей. Заметались женщины с узелками, запричитали. Взгляд выхватывает одинаково истощенные, темные лица, нестерпимо блестящие голодные глаза. Идущие молчат, лишь шуршат по мокрому

от снега асфальту тысячи босых или в тряпье ног, но тем, кто видит эти ноги, кажется, что над дорогой висит ни на секунду не прерывающийся крик. И люди, ошалело смотрящие на страшную колонну полутрупов, сами начинают кричать, мечутся, бегут куда-то, увлекаемые колонной.

У конвоиров, одетых в смоляно-черные плащи, в руках палки, вспотевшие морды красны от ожесточения. Орут, набегают на пленных и бьют, бьют, бьют по головам, по плечам, по лицам. Кто-нибудь из конвоиров берет круглую березовую дубину в две руки и методически опускает тяжелые удары на головы проходящих. Удары, удары, удары. А люди, иссушенные лагерным голодом, уже не имеют силы даже на то, чтобы отстраниться. На одинаково черных лицах, в запавших глазах тупое безразличие, за которым – страшное, последнее напряжение оставшихся сил, оставшейся жизни, которую нужно донести, не расплескать на этом километре, на этих двадцати метрах, на этом шагу…

– Смотрите, родные! На погибель нас…

Это кричит самый высокий пленный, непокрытая голова его видна над толпой.

Жители, сгрудившиеся на обочинах, между сосен, словно запамятовали о припасенных свертках и краюхах хлеба: разве поможешь крохами этой массе убиваемых голодных людей? Но вот кто-то первый, опомнившись, бросил хлеб через головы конвоиров. Жадно замелькали худые руки, а по ним, по спинам, по головам – удары, удары…

Толя бросил свое. Женщина передала ему свежий рыхлый сыр. Не швырять же и его. Толя попытался пробиться поближе. К нему потянулось много рук. И крики: „паренек”, „паренек”… Точно в горячем тумане, нес Толя свой жалкий сырок навстречу этим торопливым рукам и крикам. И тут сбоку на него налетело что-то тяжелое, сбило с ног. Как щенок, выскользнул он из-под занесенного над головой сапога, отбежал и еще раз упал, уже в канаву, заполненную желтой снежной жижей. Отбежав к соснам, он привычно подумал: не видела ли мама? В этом опасении был какой-то стыд: ему не хотелось, чтобы мать видела его в таком собачьем положении – под сапогом.

Женщины с растрепанными волосами, с распухшими лицами кричат у самой колонны, уже зелено-черная двойная цепь конвоиров потерялась среди ватников и кожухов.

И тогда в разных местах коротко и зло рванули автоматные очереди, взвыли овчарки и эсэсовцы. Толпа отхлынула к канаве. А

конвоиры вдруг начали выхватывать из толпы мужчин и заталкивать их в колонну. Толя видел, как схватили брата Сеньки Важника. Жена его, молодая женщина, бежала вдоль канавы с мальчонкой на руках и звала:

– Антон, Антек…

Важник-старший, по-бычьи наклонив голову, рванулся к ней, плечом легко оттолкнув конвоира. Немец, отскочив в сторону, снизу вверх перечеркнул его автоматной очередью. Человек боком, боком вернулся назад к колонне и там опустился под ноги идущим.

Уже многие поселковцы, растерянные, брели рядом с пленными, некоторые снова и снова набегали на конвоиров, как бы не веря, что им уже нельзя туда, к соснам, где плачут, кричат их близкие. Людей били, загоняли назад в колонну. А им все не хотелось окончательно поверить, что так внезапно и ужасно могло что-то перемениться в их судьбе только потому, что они не успели отскочить за канаву, где толпятся остальные. Сразу и без всякой причины они вдруг оказались в положении убиваемых, гонимых на погибель, в положении тех, на кого пять минут назад смотрели со стороны с ужасом и состраданием. А на них самих уже глядят со стороны с еще большим ужасом в глазах, как глядят на того, кто мгновение назад был крепким, здоровым, а тут внезапно настигнут смертью.

Те же, которые успели отбежать, остро ощутили, что лишь эта заполненная холодной снежной жижей канава отделяет их от гонимых на смерть. Дойдет очередь, и тебя вот так же погонят.

Мама и Грабовская

На Лесную Селибу легла ночь. Толпа голодных, убиваемых людей ушла дальше на запад, но то, что делалось на шоссе днем, теперь как бы переместилось под крыши домов и там все еще продолжалось в душах людей.

Наде страшно сидеть у себя дома, она привела девочек к Корзунам. Втиснулась в угол дивана и сидит с заплаканным и злым лицом. Инка не отходит от нее. Держит свою маму за руку и глядит на всех сердито. Старшая, Галка, уселась с Ниной на кровати. Поджимая губы от подавляемого желания улыбнуться во все ямочки сестренке, она ловит взгляд ее, но Инка держит руку обиженной кем-то мамы и не принимает улыбок старшей сестры.

С улицы постучали. Бабушка испуганно заспрашивала:

– Кто там? Кто?

– Я это, я…

По стонущему голосу, похожему на глухой крик заблудившейся в ночи птицы, все сразу узнают Грабовскую, мать фельдшера Владика. Уже в кухне она запричитала:

– И что это за свет настал, боже, боже!

В мешковатом старом ватнике женщина выглядит неестественно маленькой, кажется не выше Нинки. Лет семь назад Толя спрашивал у тогда еще говорливой, веселой „тети Грабовской": „Вы вниз уже растете, да?"

– Что за свет, боже милостивый!

Эти стоны Грабовская носит в себе все последние годы.

– Говорят, что это финны были. Звери, не люди теперь.

Мама подняла голову, сквозь нервный огонек коптилки как-то издалека, отчужденно посмотрела на Грабовскую.

– Бросьте вы, какие там финны. – Мама не возразила, а сердито оборвала Грабовскую. Так она разговаривает обычно с Любовью Карповной.

– Какого добра ждать от этих, – продолжала причитать маленькая женщина, покачиваясь на стуле и сгибаясь чуть ли не до колен, – чего хотеть от врагов, когда свои своих не жалели? Что мой Андрей кому сделал, мухи не обидел!

Так знакомо это: бесконечные припоминания, как пришли ночью, как ее Андрей натягивал на ноги пиджак вместо брюк. И безнадежные, до поздней ночи, рассказы про то, как ездила, как стояла в огромных, тихих очередях… А то вдруг – про случай: не ждали уже, а человек – чье-то счастье – стучит в окно, вернулся. Рассуждения о том, что Сталин не знает. Про это – неуверенно, но порой – с какой-то отчаянной надеждой, с теплотой в голосе, в которой – мольба, чтобы „он" наконец посмотрел, что творится, разобрался.

Сидел как-то в доме старик из деревни, дожидался Толиного отца, чтобы везти его к больному. Услышал, как женщины вполголоса то беседуют, то несмело радуются своим надеждам, и вдруг сказал:

– В сапогах. Ленин тот в ботиночках, аккуратненько, где яма – обойдет. Жалел народ.

А однажды Грабовская принесла кусочек папиросной коробки, исписанный синим карандашом, – письмо от мужа. Переслали люди: нашли у железной дороги и прислали по указанному адресу. И свой написали: „Если будете в Ленинграде, заходите, улица, дом". Толю, помнится, поразило, как открытие: оказывается, люди воспринимают происходящее как общую беду.

А тут еще ночью подслушал Толя, как плакала мать, боясь, что и папу заберут. Отец успокаивал ее, даже сердился на мамины слезы, а потом вдруг попросил:

– А если что, прошу тебя, не езди, не изводи себя, о детях думай. Я не вернусь, если это правда, что пишет Грабовский. Бить себя я не позволю… Схвачу, что под руку…

Все это было. И все знают, что было. Но вот пришли немцы, и о том, что такое было, не хочется помнить.

Всякий разговор Грабовская сводит к одному, всем это уже привычно. Но сегодня в словах ее, в голосе чувствуется какая-то мстительность, и на маленькую женщину глядят не сочувственно, а настороженно, Надя – с откровенной злостью.

Но Грабовская будто и не замечает этого. Все в этой рано постаревшей женщине, без остатка отдавшей себя семейному несчастью, говорит: „Большое горе пришло, но теперь все поймут, что значит страдать безвинно”. Ей уже кажется, что ее беде никто не сочувствовал, что все сторонились ее, как прокаженной. Даже Анну Михайловну она не выделяет, хотя именно к ней всегда несла свои слезы. Толя помнит, как отец подшучивал над мамой:

– Тебе бы игуменьей быть, все несчастненькие к тебе льнут.

Из-за того чуть не вышло что-то нехорошее. В каком-то заявлении дружба мамы с Грабовской объяснялась тем, что и маминого отца выслали. Узнав об этом, мама плакала, но дружить с Грабовской не переставала.

– Она мне детей помогала растить, – говорила она, словно споря с кем-то.

Толя помнит, как года за три до войны приходил к отцу толстяк Лапов. Из соседней комнаты Толя слышал: „тебя мы уважаем”, „надо выдвигаться”. Отец отшучивался:

– Некогда за работой. А тут еще жинка оставила. Когда-то своего батьки не слушалась, а теперь мужа. Вздумалось ей на фармацевта учиться. Будто я один не могу семью содержать.

Лапов хмыкал, дакал, а потом вдруг:

– Да, не та жена у тебя, честно скажу, не та мать, какая твоим детям нужна бы. Неприятно, конечно. Неужели ты, Иван Иосифович, не понимаешь, что ее биография и на тебя пятном ложится? Ошибся – исправь. Ошибки надо честно исправлять.

Тогда наступило молчание. И тут Лапов заговорил на „вы”, торопливо, испуганно:

– Я по-дружески, я добра вам желаю, Иван Иосифович. Знаете, какое время… врагов сколько…

– Вот что, голубчик, – Толя не ожидал, что услышит такой спокойный голос отца, – иди-ка ты из этого дома. Придешь, когда поумнеешь.

Про раскулаченного деда мама никогда не рассказывала, но от Мани Толя знает, что мама ушла от него задолго до его высылки. Дед хотел выдать ее за хуторянина-вдовца и никак не мог примириться с тем, что у дочки – тоже крепкий характер. Мама ушла из дому. В Могилеве, работая на швейной фабрике, мама и познакомилась со студентом-медиком – это, значит, с папой.

Толя помнит, как собирались посылки с луком и чесноком. И с копченостями.

Потом стали приходить посылки „из Алдана". Старший мамин брат работал на приисках бригадиром и на какие-то чудодейственные „боны" мог покупать шерсть и хорошую обувь.

– Вот и ваших стариков, – напоминает Грабовская. – За то, что работали с утра до ночи, не жалея ни себя, ни детей.

Мама, отчужденно нахмурившись, молчит.

– Свет такой, – опять тянет свое маленькая женщина. – Сколько той жизни человеку, и ту не проживет.

Но мама уже и не смотрит в ее сторону, заговорила с Надей о другом.

Женщина одиноко сидела в сторонке и словно укачивала свою большую бесформенную тень на стене. Потом поднялась и ушла с теми же причитаниями. Толя со злостью подумал, что звучат они назойливо и фальшиво.

У Нади вырвалось:

– Не переношу эту божью коровку. Не зря говорят, что у этих маленьких невинных козявок кровь ядовитая. И как вы можете с ней, Анна Михайловна?

Мама задумчиво возразила:

– Нет, она неплохая женщина и много помогла мне, когда я училась. Но, кроме обиды своей, ничего знать не способна.

И вдруг, уж сердито, добавила:

– Нашла время!

Первая зима

После того злого разговора с Казиком Виктор почти не заглядывал. Чтобы показать, что он не принимает всерьез его нелепые слова о „полицейской винтовке", Толя несколько раз бывал у Виктора, но всякий раз уходил с ощущением, что Виктор становится и в самом

деле все более странным и чужим. Говорить с ним не о чем, даже фронт его, кажется, мало интересует. А однажды Толя застал его за холстом. Виктор накладывал грунт, деловито насвистывая.

У Любови Карповны на лице торжество и беспокойная радость. Она ходит по комнате почти на цыпочках, словно опасаясь спугнуть удачу.

– Что ты ходишь, как возле горячей плиты? – не сдержался сын.

С деланным безразличием Любовь Карповна отозвалась:

– Да вот смотрю – потолок бы побелить.

– Самое время.

Во дворе залаял Дезик.

– О боже, немцы!

В сенях – чужие резкие голоса, мерзлый стук сапог.

Даже не взглянув на гостей, Виктор продолжал заниматься своим делом. У немцев одинаково яркие носы, у одних на головах что-то вроде женских платков, у других – кроме зеленых пилоток еще черные наушники из бархата, щеки подперты жесткими, побелевшими от дыхания воротниками. Кажется, что от металла автоматов, гранат, круглых противогазных коробок им да и в мире еще холоднее.

– Кальт, – входят, сообщают они по очереди.

Последним порог переступает немец без наушников, моложе остальных. Он не лезет к печке, подходит к Виктору. С жесткой веселостью в помаргивающих глазах он смотрит на сосредоточенно мажущего холст хозяина. У молодого немца руки, покрытые золотистой шерстью, так и играют на вороненой стали автомата, а в светлых глазах что-то переливается. Он очень напоминает молодого звереныша, у которого все чешется: зубы, когти, бока.

– Почему здесь, почему не там? – спрашивает он, кивнув головой, видимо, в сторону Москвы.

Виктор словно и не слышит его.

– Мужчина не зольдат – плёхо, – с искренним презрением произносит звереныш.

– Плёхо, – соглашается Виктор.

Звереныш надвинулся, спросил угрожающе:

– Партизан?

– Пан, пан, никс партизан, – горячо заговорила Любовь Карповна, – цивильный, он есть цивильный, художник. Краски… рисует… Что ты дразнишься, зараза. – Последнее – Виктору.

– Никс партизан, – повторил Виктор, нагло показывая немцу глаза. В его глазах тоже что-то играет.

– Рус! – крикнул немец. Упершись автоматом Виктору в грудь, левой рукой коротко ударил его по лицу. Остальные немцы, услыхав слово „партизан”, зашевелились, надвинулись.

Виктор стоит у холста какой-то одеревенелый, на вороте его сорочки повисла тягучая красная капля.

– Документы, – деловито потребовал молодой немец, как-то очень быстро успокоившись.

Виктор подал ему потертую бумажку. Нос Виктора заплывает кровью, он втягивает ее и от этого выглядит непривычно беспомощным. А странно побелевшие глаза смотрят прямо и не мигая, точно у мертвого. Немцы заговорили между собой, в их разговор старается вбиться Любовь Карповна, искажая русские и польские слова, чтобы было понятней. Потом гости гурьбой вытолкались за дверь. Молодой на прощание издевательски усмехнулся и сказал:

– Мужчина не зольдат есть нихт гут.

Любовь Карповна хотела что-то укоряюще сказать сыну, но смолчала, поняв, что он не услышит ее. Поднесла помойное ведро, кружку воды. Обмыв лицо, Виктор снял с перегородки полотенце.

– Обожди, другое дам: закровянишь.

Виктор с полотенцем в руках подошел и внимательно стал смотреть на полотно.

Толя и оставил его таким, а когда забежал назавтра, понял, что Виктору его приход неприятен. Ему словно неловко за что-то, и он злится.

Пожалуй, никогда столько не говорили о морозах, как в этом – сорок первом. Теперь старик Жигоцкий целыми днями сидит у Корзунов. Слово „товарищ” звучит у него уже по-другому.

– Нажимать стали товарищи. Говорят, немцы в лед превращаются за пулеметами. День и ночь наступают наши. Сибиряки взялись за немца.

Волостная управа объявила о сборе теплых вещей. Каждая семья обязана что-либо сдать, чтобы утеплить непобедимую германскую армию. Из-за печки извлекли старые валенки, источенные молью, дедушка подлатал их. Правда, чтобы приняли такую помощь, пришлось приложить пол-литра самогона для Пуговицына, который ведает всем этим.

Впервые на солдат Гитлера посматривали с удовольствием: очень уж весело видеть, как „руссише винтер”[8] превращает их в сборище не то беженцев, не то ряженых. В тесных полушубках поверх

---

[8] Русская зима.

длинных шинелей, в теплых бабьих платках, окутанные банным паром, топчутся они у своих машин, словно поджидая, когда уже их отвезут домой, в теплую Германию. На зимнюю форму одежды немцы переходили по-разному. Белоусому говоруну Жигоцкому удается видеть самое интересное:

– Вчера мотоциклист обогнал подводу, потом назад завернул. Встал со своего мотоцикла, подошел к возу, а там баба ни жива ни мертва; поворочал ее, как барана, и достал кинжал. Баба обомлела, а он вытряхивает ее из кожуха. Потом давай овчину кромсать. Отхватил рукава, сделал наголени, похлопал себя по коленям и укатил. Бабе жилетку оставил.

Утром к Корзунам ворвался немец. Опрокинулся на стул и тащит с ноги окаменевший сапог. И тогда увидели, что это просто мальчишка и что лицо у него плачет. Сорвал сапог, другой, схватился окоченевшими руками за холодные ступни и скулит, никого не замечая. Солдат лет семнадцати, только-только из дому, видимо.

Толя со злорадным торжеством смотрел на немецкого молокососа в солдатском обмундировании. С возмущением и протестом он глянул на мать, когда она вернулась из столовой с какой-то тряпкой в руках. Немца пожалела! А тот послушно взял тряпку, разорвал и неумело стал навертывать поверх носков. Мороз уже отпустил пальцы его, реветь вояка перестал, попросил воды и вымыл носик. Попрощался с мамой и ушел.

– Еще давать ему…

Мать растерянно и виновато сказала:

– Дитя какое-то.

По-прежнему шли на восток машины, но шоссе уже не пульсировало непрерывно. Хотелось верить, что силы Германии иссякают.

Колонна выкрашенных в белое машин остановилась возле комендатуры. Немцы сползли на асфальт и барабанят мерзлым по мерзлому, хватаясь за уши, носы. Они с завистью смотрят на часового, у которого на каждой ноге по одеялу, а снизу подвязаны дощечки. Часовой, как петух, высоко поднимает ногу, дощечка отвисает, а потом звонко, с двойным звуком хлопает по асфальту. И солдаты и часовой с ужасом и удивлением уставились на старого Тита, который остановился с парящими от мороза ведрами передохнуть. У Тита из-под расстегнутого ватника видна голая худая грудь, на босых узловатых ногах – побелевшие, потрескавшиеся от времени галоши. Титу тоже не жарко, но он не может не покалякать с людьми, которые так им заинтересовались.

– Э, и ты уже воюешь? – вороватой скороговоркой сыплет Тит.

Пожилой немец-часовой сквозь большие обмерзшие очки смотрит то на босые ноги Тита, то в щербатый его рот, стараясь уразуметь смысл сказанного.

– Хорошая обувка, в самый раз, когда побежишь, – кивает Тит на одеяла. – Бёг бы ты уже до дому, твои тебя догонят.

Часовой согласно кивает головой.

– Я, я.

– И ты, а как же, – строго говорит Тит и берется за ведра.

Немцы почтительными взглядами провожают его голые потрескавшиеся пятки.

Посветлели лица у жителей поселка. Не вышло у немцев с „блицем”, а теперь уже наверняка не выйдет. Если в первые недели войны расстояния измеряли от границы и в глубь страны, то теперь как-то незаметно отсчет стали вести по-другому: от Москвы до своей местности и дальше до границы... Еще не свершилось под Москвой, люди не услышали еще о первом разгроме немцев, но уже готовы были услышать как о чем-то задуманном ими самими, задуманном всеми. На немцев уже смотрели с издевкой: „Ну, поняли, что такое Россия?”

В один из таких морозных дней, полных тревоги и нетерпеливого ожидания, прибежала Любовь Карповна.

– Виктора, о боже, хотят взять. Бургомистр сказал: или в полицию, или в лагерь. А на что нам теперь ихняя полиция? Я продала картину – и мука и крупа. И еще будет. На что нам? Что же мне теперь? Он такой, ничего не скажет и сделает.

– Вам тоже куда-то надо уехать. У вас, кажется, сестра за Слуцком была?

Женщина непонимающе и с открытой неприязнью поглядела на маму:

– А дом, а все?

Любовь Карповна лишь заохала и убежала. А назавтра услышали: Виктор сделался „бобиком”.

Казик сказал:

– Я почти ожидал этого.

Неприятно, что Казика точно обрадовала чужая подлость, хотя он и встревожен. Но тот, студент, „сила воли”, – вот чем кончил!

К Петреням, конечно, Толя не ходил больше. Он и на улице старался не встречаться со своим бывшим другом. Лишь глазами провожал коренастую фигуру в нелепой желтой шинели, и столько детской обиды и взрослой злобы было в его взгляде, что спина, прикрытая итальянским сукном, должна была ощущать это. Но

Виктор, кажется, ничего не замечает и не ощущает. Любовь Карповна тоже никого теперь не видит, за пайками все бегает в волость.

Все же пришлось Толе встретиться с Виктором. Случилось это около помпы. Толя качал воду в будке, в окошечко, что над трубой, ему видно лишь ведро. Кто-то подошел и поздоровался с Алексеем, который наливает бочку. И тут Толя узнал голос: кровь прилила к щекам, запершило в горле. Толя крутил колесо и не знал, как ему быть дальше.

– Все! – услышал он Алексея, и вдруг, на месте снятого, в окошечке появилось чужое ведро. Толя повис на ручке, чтобы задержать колесо, но урчащая труба продолжала выплескивать струю. В *его* ведро. Еще подумает, что Толя ему воду качает. Сам потрудись, пан полицай!

С глупо красным лицом (он это чувствовал), а оттого еще более сердитый, Толя вышел из будки. Со злостью увидел, что Алексей страшно смущен. Братец всегда за подлецов старается – смущается за них. Пусть *этому* стыдно будет. Полюбуйтесь на него – стоит и сквозь землю не проваливается!

– Здравствуй, Толя.

– Поехали, – сказал Толя отчаянно злым голосом.

А когда пришла далекая, но, как первый гром, всеми услышанная весть об отступлении немцев, о разгроме их под Москвой, Толя не мог не вспомнить о Викторе. Злорадно, как о самом большом своем обидчике. Интересно бы встретиться с ним и засмеяться прямо в лицо. Но полицаи куда-то все пропали. Зато жителей словно больше стало.

Собирались всей семьей у грубки по вечерам и говорили о том, что будет через месяц-два. Алексей и Павел, конечно, в армию пойдут. Они чувствуют себя так, будто уже гонят немцев к границе и дальше. И мама стала другой. Впервые за эти месяцы с лица ее сошел серый налет постоянного раздражения. Она даже улыбается. И залом бровей не такой крутой. Исчезло то глухое напряжение, которое незаметно возникло в доме и которое так мучило добрую Маню и Алексея. Бескровное, веснушчатое личико Мани лучится лаской, часть которой достается даже ее мужу.

Казалось, снова всходило большое солнце, и то, что вчера, в темноте, выглядело сложным, запутанным и отталкивало людей друг от друга, при солнечном свете оказывалось простым и ясным.

Не пройдет и двух месяцев – в этом все уверены, – вернется то, что было утрачено (как-то даже забывалось, что не все можно вернуть). А многое станет лучше, чем до войны: после пережитого,

выстраданного, передуманного людям захочется жить умнее и лучше. А как будут ценить то, что раньше порой и не замечалось! Только бы поскорее вернулась жизнь, так широко, так светло распахнутая в завтрашний день!

Толя даже во сне видел, как срывает он со стены комендатуры доску с немецкой надписью. Часовой, мимо которого каждое утро Толя ползет с санками к помпе, не подозревает, сколько раз уже срывалась и разбивалась об угол эта доска и сколько раз „убивали” и его самого. Не поднимая глаз, Толя волочит свои санки, а сам напряженно ловит момент, примеривается. Немец отвернулся – теперь в самый раз. Шух! – автоматная очередь, летят клочья бабьего кожуха, в который завернут часовой. А теперь – гранату коменданту в комнату. Ага, вы уже зарешетили окна! Ну, тогда получайте в бункер!

Вот и сегодня с грохотом подъехал Толя к помпе, „перестреляв” по дороге всех встречных немцев, а заодно и лагерных полицаев, которые пригнали пленных пилить дрова. Один из „убитых” Толиной гранатой полицаев внимательно смотрит вслед ему: значит, это пленный стучит там помпой. Поравнявшись с будкой, Толя покосился на дверь. Так и есть, Петро.

– Здравствуй, – первым отзывается пленный. – Вешай ведерко, сейчас переключу воду.

– Я сам, – говорит Толя, перехватывая ручку и показывая на свой карман. Толя крутит колесо, а Петро привычно быстро опорожняет карманы его пальто.

– Там и махры немного.

– Спасибо, браток. Ого, махорка!

Толе неловко смотреть в глаза пленному: его всегда смущает и злит какое-то нелепое чувство превосходства над взрослым скуластым человеком, превосходство неголодного над тем, кто дрожащими руками хватает картофелину, кусок хлеба. Чтобы побороть в себе и это чувство и смущение за это чувство, Толя сообщает то, что, конечно, не новость для Петра:

– Немцев прут от Москвы.

– Знаем, браток, – откликается Петро, но Толя видит, что радость этого черного от голода и грязи человека какая-то несмелая, будто говорят о празднике, на который его не позовут.

– Скоро и для вас кончится, – подбадривает его Толя.

– Да, да.

Но почему такие загнанные и покорно печальные глаза у человека даже теперь?

– Говорят, наши не прощают за плен.

Толю прожигают глаза, требующие, чтобы он не соглашался, опроверг.

– Ну, что вы! – убежденно протестует Толя. – Разве своей волей вы?

– Всяко, кто и сам, а больше потому, что выхода не было. А кто станет разбираться?

– Это вас пугают.

– А как же, запугивают. Эх, сызнова бы все, или теперь туда, умер бы, а до такого не допустил бы себя. Ничего, доживу, если те вон не замордуют. Отъелись, а сами дрожат и нам мстят, что мы не поддались, не купили жизнь предательством. Идет уже, пес собачий, уезжай, браток.

Протащив свои сани мимо красномордого полицая, Толя увильнул от его подозрительного взгляда, но потом обернулся и – „бах" ему в желтую спину! Хватит с этого и пистолетной пули.

Заспешил домой. Вернулась ли мама из деревни? Последнее время она уже редко ходит менять: нечего, да и бабы сами к ней приходят за мазями. По их словам, вши и короста – от тоски. Сегодня мама почему-то опять отправилась с корзиной.

Она уже дома: приглушенно слышен ее голос в зале. Посвежевшая от мороза, прислонилась спиной к печке и рассказывает о ком-то Павлу. „Он", „не советовал", а кто – не поймешь. И только когда сказала: „А бороду он сбрил", Толя заподозрил, что это Денисов – тот самый дед с молодыми глазами, который заходил в дом в первые дни войны. У мамы даже прорвалось: „Борис Николаевич". Значит, его величают Борисом Николаевичем.

Вечером Павел, прислушиваясь к голосу мамы в кухне, показал Толе листок. Листовка! Толя успел лишь рассмотреть плохо отпечатанный, но знакомый портрет и первые слова, непривычные, поразившие: „Братья и сестры!"

Мама работает

Играть в карты приходит и Владик Грабовский. Пока идет игра в шестьдесят шесть или в подкидного – скучает. Сразу оживляется, когда появляются охотники на „очко". Владик почти всегда проигрывает, он не умеет рассчитывать, с мрачной горячностью без конца бьет „по банку". При этом все знают, что в руке у него плохая карта, а в кармане уже и полмарки нет. Всем неловко становится от такой игры. Наконец Владик, не прощаясь, уходит с тысячным

долгом. Через день-два появляется снова с деньгами и потому – в хорошем настроении.

– Маленький банчок соорудим, варяги?

О долге забыто: ни он, ни другие не напоминают. Несмотря на все это, Владик больше нравится Толе в игре, чем Казик. Жигоцкий-младший – если удается уговорить его сыграть – колдует над картой, фукает на нее и сверху и снизу, много говорит, много смеется, деньги у него влажные.

Мама как-то совсем безразлична к тому, что в доме играют на деньги и что в этом участвует Толя. А Толя уже основательно втянулся. Когда он сел впервые и остался с выигрышем, ему сделалось тоскливо и чего-то жалко, будто он непоправимо испортил что-то, потерял навсегда. Он даже попытался вернуть Владику свой выигрыш, но Владик так мрачно посмотрел на него, что пришлось заткнуться. Теперь Толя проигрывает и выигрывает без особых угрызений совести. Ему нравится сам процесс игры. Берешь карту, не глядя, как можно небрежнее, – вторую, вскользь проводишь глазами и, хотя у тебя только тринадцать очков, спокойно говоришь, как Владик или Алексей:

– Попробуй набери.

Как-то в столовую вошла мама и сказала:

– Была в деревне. Неохотно уже меняют, да и нечего носить туда. Надо, Владичек, добиться, чтобы медпункт открыли и аптеку. Все какой-то паек.

– Хорошо бы, – согласился Владик, протягивая ладонь со слепой картой банкомету Янеку.

– На сколько?

– Давай, – сердится Владик, – на все.

Янек конфузится: он знает, что у Владика нечем покрыть банк. А Владик уже загорелся живым интересом к маминому предложению:

– Я тоже думал, Анна Михайловна, и даже с Хвойницким говорил.

Владик не прочь намекнуть на знакомство с помощником Порфирки, и похоже, что он на самом деле знается с Хвойницким.

– Надо поехать в город, там у меня остались знакомые, – практически решает мама.

– Пишите записку – поеду.

Мама увела Владика в соседнюю комнату. Через пять минут он вышел в столовую с лицом значительным и веселым. Не выдержал и показал толстую пачку денег.

– Ва-банк! – но тут же успокоил банкомета: – Эсминец „Керчь” эскадры топить не будет!

Восклицание веселых „Толиков” сделалось ходким в поселке.

Скоро в здании аптеки открылось лечебное заведение. Через черный ход больные попадают на прием к Владику, через „парадный” стеклянный коридорчик – в аптеку. Маме помогает Надя, которую оформили уборщицей. Бывшая заводская лаборантка Надя очень довольна своей новой профессией. Из медикаментов удалось раздобыть самую малость. Мама не устает ездить в город, везет туда сало, мед, самогон, на аптечном складе у нее завелись знакомые из военнопленных.

Но пропуск в город получить не просто. Одной-двух поездок в месяц мало: аптека почти пустая. И тогда заболел Алексей, даже „городская” справка имеется со страшными словами: „каверны”, „очаги”. Мама берет в комендатуре пропуска, чтобы возить его к городским специалистам. Постоянный румянец на худых щеках старшего брата вполне может сойти за туберкулезный. Младшему остается лишь ненавидеть свою хотя и не очень теперь румяную, но по-прежнему круглую физиономию. Когда старший, очень довольный своей болезнью, возвращается из Бобруйска, младший завистливо шипит: „Туберкулезник!”

Мама это услышала и почему-то разгневалась, будто Толя и в самом деле накликает беду на брата. Мама боится названия болезни, которую сама же придумала для Алексея.

Единственную заводскую машину, обслуживающую электростанцию, водит теперь Сенька Важник. Он часто и охотно берет маму и Алексея в город, привозит назад.

В конце месяца Владик доставляет из города паек: мешок липкого, как замазка, черного хлеба, а в качестве деликатеса – несколько буханочек серого немецкого, сухого, как опилки. Но это хлеб, и делят его весело. На торжество Надя обычно является со всем своим семейством.

Аптечный дворик сделался самым людным в поселке местом. Кто только за день тут не перебывает: и поговорить можно, и, главное, затянуться чужим табачком. Про табачок больше всего и разговору.

– Я с бабой поцапался, повел речь про самосад, куда там, весь огород хочет под бульбу. А я мучиться больше не согласен.

– Махорочки бы сорокакопеечной, хоть бы перед смертью в пальцах подержать желтую пачечку, пухленькую, кругленькую, – сладострастно стонет еще один курильщик.

– Добре вам – деревенским.

– И нам, как вам. Все до войны махоркой баловались. Свой и у нас вывелся. Редко у какого старика под крышей цибук-другой отыскался. Вот и скоблим корешки.

– Вас хлопцы угощают, – осторожно заводит кто-либо разговор.

– Придите, и вас угостят.

– А много их?

– Кого?

– А которые прикурить дают...

Но маме эти мужские разговоры почему-то не нравятся. Несколько раз она выпроваживала говорунов из коридорчика.

– Это не клуб, тут больным повернуться негде, – сердито говорит она.

И уж, конечно, Толя за все в ответе.

– Что ты торчишь тут с утра до ночи? Шел бы, дома помог что-нибудь.

И даже с аптечного двора говорунов выпроводила. Вышел из медпункта Владик, такой внушительный в своем белом, хотя и коротковатом, докторском халате, и словами мамы хмуро попросил „не устраивать тут клуба".

Каждый вторник в медпункт приводили пленных.

Лагерь в поселке создан был в самые морозы. Вначале высоко огородили колючей проволокой поле. Пленные долбили мерзлую землю – делали землянки. Другие были заняты рытьем траншей около леса. Траншею с одного конца продолжали рыть, в то же время другой конец заполняли трупами своих товарищей и засыпали землей и снегом.

По утрам, только-только прорежутся светлые полоски в ставнях, стучит густая дробь деревянных колодок: пленных гонят расчищать шоссе. Поздно вечером серая колонна возвращается. Люди движутся как-то всей массой, разведи их по одному – упадут. Хотя при лагере имеются лошади, воду – обмерзшие ледяными глыбами бочки – возят на пленных. Десяток полуодетых, высохших людей, вцепившись в оглобли, тащат телегу по скользкой бугристой обочине. По асфальту шпацируют конвоиры, выдыхая плотные лошадиные клубы пара, а те, которые, как лошади, напрягаются, кажется, и вдыхают и выдыхают одинаково холодный воздух – настолько их высушил голод. Пленных избивают привычно и даже без особенной злобы, как бьют ненужную, надоевшую скотину. Толя видел, как от приклада пленный упал под колеса. По приказу конвоира его положили на телегу. Глаза человека жили, смотрели, моргали, а их заливала, выплескиваясь из обмерзших бочек, вода и стекала по щекам ледяными слезами.

И вот этих людей, обреченных на умирание, гонимых к уже приготовленным для них могилам, аккуратно, каждый вторник, приводили к медпункту – лечить.

Перед стеклянной аптечной стойкой и в коридорчике толпится столько грязных, обовшивевших людей, что конвоиры предпочитают дежурить на улице, прохаживаться под окнами.

А в это время из кухни кружками носят соль, наделяют пленных хлебом, сыром, картошкой – всем, что скопилось в погребе за неделю. Стойка ходуном ходит, люди не верят, что приготовлено на всех, стараются протолкаться вперед. Мама молчит, лишь тревожно посматривает на окна.

– Не напирайте, – уговаривают передние задних, хватая сухими длинными пальцами хлеб и тут же отправляя его в рот.

Толя бегает из аптеки на кухню, получает от Алексея, сидящего под полом, новые и новые ломти и куски и передает это Наде, а та – маме. Постепенно устанавливается кой-какой порядок, голодные люди, поверив, что никого не обойдут, ждут своего куска с терпеливостью, видя которую хочется плакать. Одного, в разбитых очках, Толя приметил. Этот становится у стеклянной двери и помогает маме. И все приговаривает виновато:

– Ничего, дорогая, мы аккуратно, не беспокойтесь, мамаша.

Свою порцию он берет в числе последних. Первое время мама наделяла их тем, что могла взять из дома. Потом (само собой так получилось) ей стали приносить продукты поселковые женщины и даже из деревень. Чем лечат пленных – об этом знали почти все, кроме тех, кому знать не следовало. Пленные получали и порошки. Они их медленно разворачивали на виду у конвоиров и, смакуя, глотали. В бумажках была та же соль, а иногда и глюкоза.

Рано или поздно немцы-конвоиры должны были сообразить, почему так долго пленные задерживаются в аптеке и отчего некоторые стараются протолкнуться туда еще и еще раз. И это случилось. У молодого с отекшим лицом парня конвоир заметил в рукаве хлеб: бедняга боялся его выпустить из рук. Как собака бросился на него конвоир, ударил автоматом в грудь и ринулся с куском хлеба в аптеку. Мать все видела в окно, лицо ее было бледно, а руки спокойно занимались аптечным делом: отсчитывали капли какого-то лекарства. Но Толя заметил, как панически метнулись глаза ее в сторону кухни. Он спрятался за дверью и показал брату: „Прячься, молчи!”

Немец заорал, поднеся хлеб к маминому лицу, замахнулся автоматом, но задел при этом вертушку. Зазвенело стекло. Это

сдвинуло какой-то рычажок в голове у конвоира, и он ударил не женщину, а по той же вертушке.

Все произошло так стремительно, что Алексей даже из погреба не успел выскочить. Но на кухню конвоир не заглянул и потому не обнаружил, как широко было поставлено дело.

Пленных увели. Маму вызвали в волость. Все сидели дома и ждали ее возвращения. Можно было только ждать. Вернулась мама неожиданно веселая. Разговор в волости шел о том, что аптека – не столовая и не должна ею быть, иначе и аптеки и аптекарей не станет. Бургомистр Лапов научился объясняться на немецкий лад. Мама (Толя хорошо представил, как это происходило) удивленно, всего лишь удивленно смотрела на брызжущего слюной Лапова.

– Как вам не стыдно, Григорий Григорьевич?

Перед вчерашним директором столовой стояла жена врача Корзуна, которой дела нет до новой должности Лапова и которая лишь видит, что ей, женщине, грубят. И Лапов осекся, стал заверять, что он лишь добра желает Анне Михайловне, как хороший знакомый ее мужа…

– Ох и артистка ты у нас, мама – воскликнул Толя, и все засмеялись, и сама мать засмеялась.

Пленных перестали приводить. А жители все несли продукты.

– Вы как-нибудь, дорогая Анна Михайловна. Может, по-другому сможете передать.

Теперь уже нельзя было отступать. Люди искали возможность что-то делать для пленных и вообще что-то делать, их стремление, желание требовательно давило на мать, заставляло действовать. Она уговорила Владика сходить с ней к Лапову. Когда вернулись, Владик сделал было осторожное замечание: дескать, хорошо то, что благополучно сходит с рук, и не стоит рисковать еще раз. Мама умеет не задевать самолюбия Владика, она серьезно и просто относится к его врачебной практике, хотя часто меняет дозы в его рецептах, а потом необидно объясняет, где он ошибся. Но на этот раз она даже не дослушала его, нахмурилась и ушла в другую комнату. Однако у Владика, кажется, созрело свое решение. Через неделю его приемный кабинет переместился в помещение бывшего радиоузла. Мама этому только обрадовалась: освободилась задняя половина аптеки, дело можно было поставить еще шире. Правда, Толе и Алексею запретила приходить в аптеку по вторникам. На протесты она умеет не обращать внимания. Если очень приставать, мама сразу чужой делается, нарочно перестает понимать самые простые слова:

– Что – „пойду”? Куда ты пойдешь? Ума скоро лишусь, а еще вы тут!

Но иногда она разговаривает по-другому:

– Когда тот немец вбежал, я увидела – пропали! Помнишь, я крикнула: уходите! – Толя хорошо помнит, что крикнули лишь глаза мамины. – Вот тогда я решила: никогда... пока можно, не втягивать вас в это. Я и одна сделаю все, что надо, больше сделаю, если не так буду за вас бояться.

Толя все же ухитрялся проникать в аптеку через кухню. Видя его, мама почему-то не гнала прочь, а тут же приказывала:

– Ну что стоишь, помогай Наде. Да двигайтесь вы!

Толя приметил одного высокого пленного – горбоносого, из кавказцев. Особенно видишь глаза его: они пылают, кажется, что остаток жизни в этом неимоверно исхудавшем человеке вот-вот перегорит. Получив свое, он проходит на кухню и зовет маму. Из-под шинели вытаскивает грязный узел тряпок, медленно извлекает из них большие ручные часы.

– Можно на сало обмен сделать? – спрашивает он, не выпуская часов из рук. – Кило можно?

Шепчет жарко, задыхаясь от слабости, запавшие глаза смотрят с безумной пристальностью и недоверием.

Часы – это последнее, на чем держится надежда человека выжить, переступить через общую могилу, уже вырытую за лагерем около леса. Часы можно обменять, но мама упрашивает спрятать их и дает ему вторую порцию хлеба и сыра.

Так повторялось уже несколько раз, об этом узнали в поселке. Маме приносили кирпичики сала, граммов по сто, двести: людям не хотелось, чтобы человек расстался со своей последней надеждой.

Казик тоже принес завернутое в тряпку.

– Батьке в Покровах дали. Просили поменять. Можно взвесить – точно кило. Надо помочь человеку.

Говорил это Казик торопливо, но с глазами чистыми и честными. Однако Толя заметил, как мучительно покраснел Алексей. А раз Алексей краснеет, значит, кто-то поблизости сподличал.

Взгляд у мамы сразу сделался отсутствующим, далеким. Она сухо объяснила, что часы пленный уже продал.

Через два дня его убили.

Двое пленных скрылись в лесу, а он только и успел перебежать канаву. Бежать он бросился с опозданием, видимо, он не сговаривался с теми двумя. Часы оказались при нем. Говорили, что потом их пытался сбыть за самогон полицай.

„Хлопцы”

Зима кончилась. Снова и раньше всего прорезалась каучуковая полоса асфальта, потом зачернели на огородах залысины-бугорки, зажелтели завалинки. И опять загудело шоссе, распираемое колоннами машин – уже с черными кузовами. В газетках заговорили о начале нового и решающего наступления: „когда решит фюрер”, „когда дороги просохнут”. И все чувствовали, что немцы действительно будут наступать, но теперь это не пугало. Часть огромного тела страны была придавлена чугунной плитой оккупации, но и в этой часть пульсировала та же кровь, что омывала и страшную рану фронта, и далекие просторы Урала и Сибири. Первый шок проходил, люди на подмятых врагом территориях уже не чувствовали страшного разрыва с тем, что внезапно отхлынуло на восток. Кровь пульсировала, у всей страны по-прежнему было одно сердце, одно дыхание.

И тут немцы обнаружили, что Красная Армия имеет большие резервы не только у себя за спиной, но и за спиной у немцев.

Против партизан двинулись карательные батальоны: обозы с артиллерией и минометами, легкие танки. Немалая армия шла против партизан, но не ощущалось, чтобы впереди ее бежал вестник силы – страх. По обочинам асфальтки движутся каратели, а за лесом буднично постреливают одиночки-партизаны. Эти постоянные выстрелы и автоматные очереди стали привычными для жителей поселка: ими как бы пунктирно и все более настойчиво очерчивается граница, где немецкая власть кончается. Границу эту немцы и полицаи переходить малыми силами уже не решаются. Один Порфирка до самого последнего времени пробовал таскаться по деревням. Одноглазый столь люто ненавидел „этих большевиков”, что не хотел верить в самое их существование. Но ему пришлось еще раз их увидеть. Порфирка отправился в ближайшую от поселка деревню Зорьку напомнить, что мясо и молоко все же придется сдать новой власти. Он был в хате, когда по улице пронеслись конники, и почти поверил, что они не вернутся, как снова застучали копыта. Он сунул винтовку под печь, схватил топор и принялся щепать лучину.

– Примачок прибился? – спросил один из партизан у хозяйки, ослепляя полицая золотозубой улыбкой. А другой, проследив за глазами женщины, тут же нашел и винтовку.

Посиневшего, с закушенным языком, погнали Порфирку к лесу. Среди снежного поля велели раздеваться. Тут только вернулся к нему

голос. Порфирка хватал всадников за сапоги, обещал вступить в „банду” (привычка!) и плакал одним глазом. Ему велели бежать. Босые ноги отпечатали на мокром снегу два десятка шагов…

В поселке вздохнули с облегчением. Анютку больше всего радовало, что одноглазый получил такую же смерть, какой одарил ее мужа. С неделю она только про это и говорила.

Много неожиданного, такого, о чем когда-то и не думалось, принесла война. Вот хотя бы эти полицаи – их уже немало в поселке – к „своим” и „беглые” (из деревень). Порфирка – старый шпион, этот, по крайней мере, понятен. Ну, а другие: бритоголовый завскладом Пуговицын, коротконогий грузчик Фомка, вахлаковатый „золотарь” Ещик? Значит, какой-нибудь директор столовой Лапов – не задушила тебя твоя одышка! – сидел рядом в кино, а на демонстрации даже где-то впереди шел, а сам он вот кто! Ведь это он, Лапов, приходил, уговаривал папу „выдвигаться”, „исправлять ошибку”. Очень озабочен был, что у Толи „не та мать”.

Толя ненавидел в предателях все: и их настоящее, и их прошлое. Всегда они гады были: и эти дохлые братцы Леоновичи, которые вечно вдвоем бегают (добегаетесь!), и франт с усиками – Коваленок. Удрал с фронта, парикмахером заделался, на вечеринках „Кирпичики” пиликал, выжидал своего часа. Ходит теперь петухом, „разванюшей” по поселку и еще, сволочь, „здравствуй” говорит, будто ничего не изменилось, будто он всего лишь Коваленок, а не гад!

На полицаев, старост, бургомистров, переводчиков люди смотрят с открытой ненавистью и гадливостью. И еще – с тем удивлением и холодком на сердце, с каким хозяин, войдя в свой дом, глядел бы на большую кучу грязи, навоза, неизвестно как появившуюся посредине чистой комнаты: „Откуда? Что это?”

Ну, а Виктор – с этого самый большой спрос!

Кое-кто из полицаев уже не прочь юркнуть в кусты, особенно после истории с Порфиркой. Сказывают, что какой-то родственник Лапова отделался от винтовки, прикинувшись больным. Ага, не сладко? Не то еще будет! До всех до вас доберутся партизаны.

О партизанах разговоров в поселке много. Давно растворились в общей массе лесных солдат „Толики”. Слишком много теперь партизан, чтобы кто-нибудь из них был на виду у всех жителей. Теперь одни знают „храпковцев”, другие – „денисовцев”, третьи – „митьковцев”. Удобней же всего называть их просто: „хлопцы”.

„В городе хлопцы электростанцию рванули”.

„Ну-ну, езжайте, вас там встретят хлопцы”.

„Хлопцы примака в Дичкове пристукнули. Лейтенант, а от них в бочке прятался”.

Для Толи партизаны – люди особенные, бесстрашные и справедливо-беспощадные. Все они, конечно, с автоматами, и все у них обязательно кожаное: сапоги, брюки, пальто, шапка. А как же иначе! Тайная Толина тетрадка наполовину была исписана стихами о партизанах. Он прятал ее за балкой на чердаке, но прятал не от полицаев или немцев, а от Алексея. Тот найдет и начнет: „По-эт!” От немцев можно было бы и не прятать. Нет, он не зашифровывал свои гимны партизанам. Он писал, как получалось. Само уж так выходило в стихах, что партизаны – это „рыцари огня и мести”, „легенда наших дней”, а их оружие – „меч Кутузова”, „стрела горячая”. Не очень-то догадаешься, что это о тех, кого немцы называют „сталинскими бандитами”, а жители дружески – „хлопцами”.

Грабовская по секрету поведала, что ее Клара (младшая сестра Владика) ходила в Зорьку и там видела партизан. И сразу сама Клара сделалась для Толи существом не совсем обыкновенным, никогда раньше он не смотрел на эту сонную толстуху так внимательно. Жадно старался он увидеть хоть бы отсвет того, с чем встретилась Клара. Но она, кажется, и не понимает, как ей повезло.

– Ну, зашли, воды попросили. „Откуда эта девка?” – один говорит. Я испугалась так! Кожанки? Какие кожанки? Не, кожанок не было. В поддевках двое, на одном полушубок. Автоматы? Не помню.

Пришлось самому дорисовывать картину.

Входят, в дверях наклоняются, оружие сурово звякает. Хозяйка подносит большой медный ковш воды, пьют по очереди. Их не может не заинтересовать парень, что скромно сидит в сторонке, хотя по всему заметно, что он сидит и не заговаривает первым лишь из уважения к ним. И видно по лицу его, что парень готов сделать все, пойти на смерть, если ему дадут задание. Вот только бы семью из поселка забрать, маму, а потом он готов. Один из партизан, в папахе с ленточкой, весь в гранатах, пулеметных лентах, садится, закуривает, спрашивает: кто, как, откуда? Толя рассказывает про немцев, где посты у них, про Виктора, которого он ух как ненавидит! Выходит с партизанами во двор, и там идет разговор уже не для ушей хозяйки. Толя даже песни для них пел, стихи читал…

Многое в людях Толе совсем не понятно. Хотя бы тот же лейтенант, который прятался от партизан в бочке. Он не шел к немцам на службу, значит, не ихний, но тогда почему он не хотел идти в партизаны? Это же такое счастье – быть с ними! А он – в бочку. Застрелили – значит, заслужил.

Пришла к маме за мазью от коросты старуха из деревни. Сидела битый час и на все жаловалась: на войну, на немцев, на „тых яшчэ партызан”.

– Гэта ж пришли и забрали у сына боты. Такие ж боты, такие боты! Крепкие, солдатские.

Бабушка слушала, сочувственно поджимала губы, согласно кивала головой, а Толя и на ту и на другую глядел со злостью. Сапоги у них забрали! И кому пожалели!

Толино чувство восхищения всем партизанским выходило незапятнанным из любых испытаний. Полицаи привезли из деревни нескольких женщин. Их отправляли в Германию.

Мама попросила Хвойницкого, чтобы женщине с ребеночком позволили побыть в доме. Хиленькая, чем-то похожая на Маню женщина кормила распеленатую девочку и, не переставая, плакала, кляла „сгубителя”. Будто наждачной бумагой царапало где-то внутри – так жалко ее было Толе. Но сочувствие его перешло в восторг, едва Толя разобрался, что у него в доме – мать партизанского ребеночка.

Однако как может она так ругать партизана?

В конце мая Лесун (тот, что был „единоличником на весь сельсовет”) приехал с плугом сажать картошку. Коняка у него маленькая, вислоухая, грива и хвост сбились в войлок, сбруя вся в узлах. Когда кончали обедать, раскрасневшийся Лесун вдруг похвастался:

– Хлопцы дали, отсеюсь, а там – бог батька.

Вот оно что? Конь-то – партизанский! Толя совершенно опешил: рядом с таким вислоухим существом никак не становилась фигура партизана, созданного Толиным воображением. Толя не пошел, а побежал к сараю. Мохнатенький коник дремал над сеном, с отвисшей губы тянулась стеклянная ниточка слюны. „Так, значит, ты партизанский? Такой обыкновенный, а вот кто!”

Толя уже любовно смотрел на коротконогое существо.

Оттого что коник этот здесь, вид у немцев и полицаев, проходивших по шоссе, самый дурацкий. Знали бы они, кто сажает картошку Толе!

О партизанах Толя любит говорить с Казиком. Казик Жигоцкий тоже считает, что они – люди особенные. Мама недолюбливает его – это известно. Но какой Казик ни есть, а к немцам на службу не пойдет, и это уже не мало. В Казике нет той внутренней сосредоточенности, замкнутости, суровости, которую так любит в людях Толя. Он скорее схитрит, ускользнет от нажима, чем встанет

открыто против него. Как уж выскользнет, но бобиком все же никогда не сделается, как сделался *тот.*

Второе лето

Близилось лето – второе лето войны. Не рады ему люди. Черным, зловещим крылом фронт загибается на юге. Тыловые немцы по вечерам пиликают на губных гармониках, распевают про „мутер Волгу”, в газетках ошеломляюще вспыхивает: Кавказ, Сталинград… Опять большая тревога придавила людей.

И все же это не сорок первый. Нет уже наивных надежд на скорый, решительный поворот событий, но нет и прежней растерянности перед каждой сводкой.

Враждебный немцам тыл жадно ловил хоть сколько-нибудь ободряющие новости с фронта, жил, дышал ими, но у людей были уже и свои, местные победы и поражения, которые тоже радовали или угнетали.

Чем больше обживали немцы завоеванные земли, тем менее прочно чувствовали себя. Горбун с редкими изъеденными зубами был четвертым по счету комендантом. Первый пробыл в поселке недолго. Он больше всего заботился о снабжении своей резиденции колхозным салом, „яйками” и занимался этим, пока „Толики” не отправили его на излечение. Второй занялся укреплениями вокруг комендатуры. И начал он почему-то с вышки-каланчи для часового. С неделю часовой маячил на новой вышке, обзор у него был хороший, но и его видели издалека. По нему стреляли. Вышка пошла на слом. Третий, „зимний комендант”, все превращал в дрова: гумно Жигоцких, дубы, пришоссейные сосны. При этом убиралось все, что могло укрыть партизан от обстрела. Еще не наступили холода, а комендатура уже дымила всеми трубами. Говорили, что полицай Ещик выволок во двор два десятка вьюшек. В них немцы не нуждались: печки топились день и ночь. Если его предшественник стремился вверх, то „зимний комендант” полез в землю: на месте сломанной вышки взгорбился дзот, два других оскалились амбразурами в сторону шоссе. А комендант-горбун и вовсе кротом заделался: прямо из комендатуры к дзотам прорыл подземные ходы. Особенную любовь этот комендант питал к колючей проволоке. Мало ему показалось одного ряда колючки, приказал еще один ряд кольев оплести. Все окна зарешетил металлической сеткой.

Целыми днями горбун ползал среди рабочих, которых пригоняли пилить дрова и строить заграждения, выискивая, кому бы дать „гумы”

за саботаж. Доставалось многим, но особенно невзлюбил он старого Тита. Горбун так и висел над чернозубым стариком, а того просто распирало от злых слов. Злюка на злюку нарвался.

Тит без конца поучает тех, кто с ним работает, но при этом не забывает встречать всякий взгляд коменданта спрашивающей, даже подобострастной улыбкой.

– Как довбежку держишь, по рукам скоро дашь! Стукни заодно этого, – Тит льстиво смотрит на обернувшегося коменданта, – может, не такой злой сделается. Ну, хватит колотить, ветром не повалит, идем дальше. Крал и горб нарвал. Как гадаешь, где его берлинская фраву карточки своего горбатенького держит? В книге нельзя: не закроется…

Не закончив своих фортификаций, комендант вдруг собрался в отпуск. Полицаи бегом таскали на машину ящики и мешки с копченостями. Горбун в последний раз прогулялся по двору, погрозил и даже улыбнулся Титу. Навстречу его желтым зубам Тит обнажил в улыбке свои, черные. Пользуясь хорошим расположением духа коменданта, даже по плечу его похлопал:

– Пан в Берлин? До фраву, спрашиваю? Да-алекая дорога…

Тит как в воду глядел. Не прошло и десяти минут после отбытия коменданта, как в той стороне, куда ушли машины, грохнул взрыв, второй, застучали пулеметы. Смолисто-черный столб вполз на голубой глянец неба. Так горят резиновые колеса – это уже известно селябовцам.

Были у людей и поражения, тоже своих местных масштабов, но переживались они остро.

В Зорьке, куда утречком уехали немцы и полицаи, поднялась пальба. Селибовцы, довольные, переглядывались: попались бобики хлопцам на вертел. Но люди сразу сникли, как только увидели первых полицаев: возвращались они победителями, такие важные, у некоторых лишнее оружие, одежонка в руках.

– Перецокали бандитов, – сообщает упругий, как сарделька, коротконогий полицай Фомка, раздувая и без того раздутые младенческие щеки.

На двух телегах тяжело белеют тела убитых. Партизаны!..

Толя старался идти рядом с телегой, как можно ближе к ней, он не просто шел, он сопровождал мертвых партизан. В нем бились, плакали, недоумевали очень бессвязные и очень горячие слова. Как могли они, партизаны, позволить убить себя! Нет, он не смел их упрекать, но он горько недоумевал.

Где-то среди убитых – Никита Гром. Это его десятизарядкой форсит Пуговицын, жестяно стучит полами его кожанки. Никиту запоздало и ненужно укоряют: эх, не надо было в открытую бросаться на засевших в деревне немцев и полицаев! Что Никита сделал именно так, Толю не удивляет. Они такие – партизаны. Но как могли их, партизан, побить?

С машины, прибывшей из города, сполз Хвойницкий и подбежал к телеге.

– Бандиты, бандиты, – загундосил он, схватил с земли лопату и замахнулся на мертвых.

– У-у-х! – застонал кто-то из толпы так, будто ему вырывали зубы. Немец-шофер, который до этого с любопытством смотрел из кабины на мертвых партизан, стал заводить мотор.

Мама не подходит к убитым. Она стоит возле дома. Толя видит, какое у нее лицо. Пошел к ней. Хотел что-то другое сказать, но неожиданно и глупо пожаловался:

– Одного немца ранили, а самих – вот…

Мать поняла по-своему:

– Ничего вы не смыслите, хотя и считаете себя большими. Одного ранили, двоих ранили… От этого не легче тем, кто собирал и провожал из дому сыновей. Только отвели от дома и тут же под пули подставили. Безоружных. Мальчишек.

Толя уже слышал, что четверо из семерых погибших – новички. Они только шли в партизаны. Но Толю не может не возмущать, что мама судит, как те бабы.

– Подставили, заставили? А как же иначе вооружаться новичкам? А знаешь, как здорово они наступали. Без звука. Говорят, полицаи от страха в погреба полезли, если бы не немцы, крышка бы им. Никита до гумна добежал уже. А когда его ранили, часы о десятизарядку разбил.

– Зачем? – не поняла мама.

– Как зачем? Чтобы им не достались.

– Вы все какие-то помешанные, и Павел и вы.

– Мама, ты Никиту знала, видела?

Вопрос у Толи вырвался сам собой. И, может быть, оттого, что Никита Гром был тут, на глазах, мертвый, мать ответила:

– Да.

Сказала и тревожно, предупреждающе поглядела на сына. Как запело все в Толе! Этим простым „да” мать приобщала его к очень многому, о чем он уже догадывался, о чем почти знал. Догадывался, для кого опустошены были чемоданы и бельевая корзина, которые

вначале едва закрывались от медикаментов, догадывался, где мама взяла столько марок, когда нужно было подкупить аптечное начальство. Правда, теперь мама не ходит в деревни. Но это только олухи-полицаи не понимают, кто такой Кричевец – ветеринар из Зорьки, каждую неделю появляющийся в поселке. А даже по тому, как ходит он по поселку сторонкой, по тому, какое замкнуто-безразличное лицо у этого человека с тонкими женскими бровями, можно догадаться, что не только в волость приходит Кричевец. Очень незаметно, мимоходом умеет он проскользнуть в дом. Мама сразу подыщет Толе занятие, он послушно уходит, но вовсе не для того, чтобы делать наспех придуманную работу. Мать не знала, что, пока она с Павлом и Кричевцем сидит в хате, Толя занят тем, что Павел называет „держать глаз на противнике”.

После того „да” мама уже не выпроваживает Толю. И Кричевец конечно же заметил его, заинтересовался:

– Это младший ваш?

Мама тут же высказала постоянную тревогу свою:

– В Германию хватают, голова кругом идет, не знаю, что и предпринять.

– А почему бы старшему в полицию не вступить?

– Не хочу! – резко возразила мать. – Даже просто так не хочу.

– А почему бы и нет? – загорелся Алексей. – И винтовка будет.

– Замолчи! – почти крикнула мать. – Не понимаешь, так молчи лучше. Я больше жила, знаю. Война окончится, а потом объясняй каждому. И чтобы бабы проклинали тебя – не хочу. Лучше я их на шоссе к Порохневичу устрою. Что надо, я сама…

– К Порохневичу тоже выход, – согласился Кричевец. – Шоссейных они пока не берут. Да, встретил я на базаре Захарку нашего. С Пуговицыным.

– Они родня какая-то, – заметила мать.

– Родня? Кажется, опасный он тип, этот Захарка. Всегда улыбается, а гад, по-моему. А посмотрели бы вы, чем он у нас в Зорьке баб лечит. Нальет в аптечные бутылочки бурачного сока и еще какой бурды – и давай, баба, сало, самогон.

– Приходил он ко мне, еще когда про Ваню, что казнили его, придумал. Все дознавался, что у меня есть. Кое-что уступила ему, думаю, все же людей лечит.

– Зря.

– Меня, правда, Борис Николаевич предупреждал… Я вам рассказывала, каким Борис Николаевич появился у нас в начале войны? Вот в этой комнате был. С бородой, вы бы не узнали.

– А теперь он побрился? – вырвалось у Толи.

– Ты что это? – нахмурилась мать.

– Побрился, – засмеялся Кричевец, и лишь это выручило Толю: не пришлось ему за водой ехать.

Кричевец поинтересовался:

– Вы давно его знаете?

– Еще до того, как он в городе стал работать. Директором совхоза был тут у нас. С моим Ваней очень дружили.

Мать важные дела не откладывает. Через три дня хлопцы уже работали на шоссе. Заодно и Янек пристроился. Казик тоже побывал у Порохневича, и вот Жигоцкий-младший каждое утро заходит к Корзунам с лопатой. С Минькой Толя теперь видится редко: сразу обнаружилось, что Минька помоложе Толи, ему еще не надо бояться Германии.

У Порохневича штат немалый, почти как до войны, и все молодые хлопцы. Из „дедов", как тут их величают, неразлучные Голуб и Повидайка да еще человека четыре. Помощник у Порохневича тоже из довоенных – Шабрук. Этот чем-то напоминает голодного отощавшего кота, который уже ничего не боится, снова и снова, рискуя попасть под помои или палку, пакостит. Он тут, кажется, всем в кости въелся. Поддерживая штаны, подвязанные какой-то женской тряпкой, одаряя всех улыбкой, он беспрестанно зудит:

– Наработались? Отдыхаем? (Полоска желтых зубов.) Шефа давно не видели? (Уже частокол зубов, узких, длинных.) Гумы захотелось, н-нтеллигенция! Напекли вас, портфельщиков! (Тут уже и синие десны полезли наружу.)

Тип этот хорошо знает, что его терпеть не могут, но ему, кажется, доставляет особое удовольствие видеть это, напоминать про шефа, про „гуму". Сам он больше, чем кто-либо другой, боится очкастого красномордого шефа, который носится на „оппеле" по дорожным участкам, проверяя работы. Все это знают и плюют на угрозы Шабрука. Пасуют перед Шабруком разве только Голуб да Повидайка.

Правда, к начальству тянется „дед" Кулик – назло „молокососам", которые без устали изводят его. Кулик недавно молодой женой обзавелся и до заикания обижается, когда его называют дедом. Даже жалко этого человека с морщинистым, похожим на печеное яблоко лицом, который всякую минуту ожидает, что его вот-вот ударят по самому больному месту. День-два его не трогают, он уже поверит, что о нем забыли, всех называет „хлопчиками", табачком наделяет – тут-то его и подденут на крючок. Особенный на это мастак младший из

трех братьев Михолапов. Размякнет Кулик, разговорчивым сделается, улыбается, открыт весь, как медуза. Михолап-младший и подаст голос:

– Дед, а дед, гляди, молодка твоя бежит.

Будто вилку под ребра сунут человеку – Кулик так и взовьется.

– Т-эт, т-эт, плямкаешь, щенок чертов, научились, мелкозубые, некому вас отучить.

Братья Михолапы – все они черные, словно из одного куска смолы, – хохочут, довольные и „дедом”, и своим Мишкой.

– В старой печи черти палят, – поддает жару Михолап-старший.

Голуб и Повидайка, как всегда, маячат на шоссе друг возле друга. Голуб, точно полураспрямленная дуга, висит над лопатой, а сбоку воробьем прыгает Повидайка и все что-то толкует. Голуб тоже какое-то начальство, хотя и – поменьше Шабрука. Он один за всех торчит на шоссе, опасаясь, что шеф нагрянет. И держит возле себя Повидайку, которому ох как хочется на травку, где с самого утра валяются остальные „работнички”. В душе Повидайка чуть-чуть лентяй. Хотя он всю жизнь с мозоли хлеб ест, но он давно и твердо решил, что всей работы не переделаешь. Тем более немецкой.

Весело наблюдать, как страдает Повидайка и как он мало-помалу и Голуба совращает на саботаж. Голуб размеренно сдвигает песок к асфальту и то ли прислушивается к россказням Повидайки, то ли свою думу думает. А Повидайка ковырнет землю и станет перед лопатой у работающего, как машина, Голуба. И все рассказывает что-то. Несколько раз приходится ему отступать. Наконец Голуб распрямляется. Глянув в один, в другой конец шоссе, медленно направляется к кустам.

– Что, обедать время? – интересуется Казик. – Главное, все делать вовремя.

– А почему бы и нет, сильно потрудились, – добродушно ворчит Голуб и, подавая жестянку из-под монпансье Повидайке, говорит всегда одно и то же: – На, закури, чтобы баба крепче любила.

Но его товарищ не курит.

– Вот чарку бы, а то что, – лепечет он.

– Ишь, теленочек, жиденького ему.

От шефа страховал Голуб. С Шабруком сложнее, он появляется неожиданно, как с дерева соскочит.

– Что, студентики, спим? – начинает Шабрук демонстрировать свои зубы и десны. – Перевыполнили план, стахановцы? С портфельчиком лучше было?

Черноволосые крепыши Михолапы откровенно игнорируют начальство, даже глаз не открывают. Янек и Алексей смущаются, а Казик бойко оправдывается:

– Только лопаты положили.

Злой на зубоскалов Кулик поощряет Шабрука:

– Дай им в кости, дай.

– А ты сам что? – законно интересуется Шабрук. – Хоть бы ты уже, старый человек…

– Что ты привязался, зараза? „Старый", „старый", раззявился!

Михолапы хохочут с закрытыми от солнца глазами. Потом Мишка поднимает голову:

– Закурить принесли, дядька Шабрук?

– У шефа закуришь, он тебе место найдет. В машину – и в Германию. Как на том участке. Прохлаждались в кустиках, он налетел, в машину и – прощай, мама!.. С шефом не с Голубом, шутки плохи.

– Ну и черти его дери, – поднимается Михолап-старший, – ты вот чего бегаешь? Какие есть штаны и те скоро потеряешь.

В разговор вклинивается Казик:

– Ничего, Сидор Илларионович, посидим, поработаем, солнце еще вон где.

Казик – единственный, кого Шабрук считает тут стоящим человеком. Шабрук закуривает. Потом все же идет на шоссе распекать Голуба.

– Надо как-то умнее делать, – говорит Алексей, – а то мы все на Голуба сваливаем.

– Не лезть же и нам из кожи, – громко возражает Казик. – Ничего, не съест его.

Приезжало на велосипеде и начальство покрупнее – Порохневич; с непроницаемо серьезным лицом выслушивало Шабрука, поравнявшись с работниками, дружно шаркающими железом по песку, здоровалось и уезжало.

Когда привезли камнедробилку, Шабрук, кажется, решил, что пришло время отыграться:

– Закрылась малина. Машина – это вам не Голуб, нажмет.

И правда – нажала. И тут можно бы тарахтеть жерновами вхолостую, но моторист оказался под стать Шабруку. Молодой, а злости на Советскую власть больше, чем у десяти Шабруков. Откуда только? Кончится камень – выключает машину. Это уже сигнал, Шабрук тут как тут.

– Ну, кончайте радикулит лечить, – говорит Михолап-средний, – несет уже штаны в руках.

Неохотно все поднимаются с нагретых солнцем валунов и берутся за молоты. Работа кипит, а камнедробилка молчит. Моторист и руки сложил: „Вот, мол, сижу, не подают камня”.

– Старый ты человек, – обращается Шабрук к совести Голуба, – не хотят работать, докладывай – кто. Не то своими боками отдуваться будешь.

Голуб что-то бормочет заикаясь. Не по себе ему. Его, трудягу, обвиняют в безделии, и вроде по праву, но разве его это вина, что так все обернулось теперь, и он не может осуждать хлопцев. Все наблюдают за ним с чувством вины, даже молоты опустили. Один Повидайка самозабвенно гакает. Но удар у него короткий, тюкающий, слышно, что лупит не по шву. Когда по шву – удар похрустывающий. Кто-кто, а Шабрук в этом понимает. Он подходит к Повидайке и любуется им. На детски розовых щечках Повидайки мокро.

– Молот собрался расколоть? – спрашивает Шабрук, ласково выворачивая свои синие десны.

– Как бы ручка подлиньше была.

– Дай.

Шабрук берет молот, перекатывает валун и начинает отсекать боковину. Хруст – и каменный ломоть отваливается в сторону.

Повидайка смущенно крякает.

Шабрук отшвыривает молот и, довольный, что есть чем порадовать, сообщает:

– Завтра машины подойдут, камни с восьмидесятого километра возить будете. С пленными за компанию.

– Те камни только краном поднимать.

– Ничего, шеф из тебя кран сделает. Даст гумы – угол дома поднимешь. Н-нтеллигенция!

Уходя домой, договорились, кто и что должен принести для пленных. Пришли к девяти. Пленные уже на работе. Валят лес, дым от костров ползет по шоссе. Человек десять около машины, накатывают по доскам в кузов большущие камни, от которых в канаве остаются глубокие вмятины. Вся охрана в лесу, около машины лишь немец-шофер и переводчик. Разгрузив карманы в пилотки пленных, предусмотрительно разложенные в канаве, Толя поднялся с колен. Над ним стоят лагерный переводчик. В глазах переводчика, расплывающихся за стеклами толстых очков, издевка.

– А вам известно, что с пленными нельзя общаться?

– Я не общаюсь, – ответил Толя и оттого, что получилось глупо, озлился, посмотрел прямо в очки переводчику и неожиданно для самого себя сказал: – Ну так и что? Сам же ты наелся.

– Я вам не грублю, почему вы мне грубите?

Толя ушел к своим.

– О чем он с тобой? – с интересом спросил Павел и решил почему-то: – Ловкий парень этот Шелков.

– Сволочь просто, – возмутился Толя.

А тут еще Казик, тоже хорош гусь! Договорились же, а он только и принес на две цигарки самосада, да и тот у дедушки взял утром. Отдал щепотку пленному, теперь театрально хлопает по карманам и врет:

– По дороге роздал, ребятки, все начисто. Я не умею понемногу. Что есть – сразу.

Пленные извиняются, виновато ежатся. Сегодня Толя просто ненавидел Казика. И работу свою он всегда умеет на других переложить. Отошел к Шабруку и завел разговорчик на час. Шабрук светит деснами и, похоже, доволен, что другие злятся и на него и на Казика. И не скажешь ничего: на немцев ведь работа. Но камни все равно погрузят, не ты, так пленные, а у них и без того ноги подкашиваются. И не потому это Казик, что для немцев. Просто любит за других прятаться.

Когда машина с пленными ушла, Толя громко спросил:

– Почему ты ничего не взял из дому? Ты же хоть свеклы собирался принести.

Казик вдруг выпалил горячо и почти убежденно:

– Надо было не бросать винтовки, есть там, где давали.

И прилившая к щекам кровь, и дрожь в пальцах, и пафос-то весь – все из-за какой-то ботвы и моркови, которую он обещал принести, но, видимо, не смог выклянчить у старой Жигоцкой! Всем стало неловко. Когда снова подошла машина, Казик энергично, с прибаутками взялся за работу. Толя не раз ощущал на себе его взгляд – внимательный, настороженный. Стоило Толе произнести слово – Казик сразу отзывался, как бы даже заискивающе.

С этого дня Толя начал ловить себя на том, что он присматривается к Казику, словно ищет подтверждения какому-то еще не вполне ясному чувству.

Как-то вечером за столом собралось особенно много людей. Даже Афанасия – сына бежавшего из деревни старосты – зачем-то притащил Владик.

Вообще Владик Грабовский становится все более сомнительным типом: очень уж странные у него знакомства. Заметно, что его распирает от удовольствия быть „фигурой” в поселке: начинающий фельдшер, а все называют, как врача, доктором; совсем недавно был несмелый маменькин сынок, который пугливо обходил шумные, драчливые компании сверстников, а тут вдруг выгнало его в настоящего мужчину, и густой бас проломился.

Оказывается, человек глупеет, когда его начинают называть „мужчиной”. На Владике это, во всяком случае, подтверждается.

Если тебе так уж невтерпеж побыть „фигурой” – мол, до войны не пришлось, – мог бы, по крайней мере, без полицаев обойтись. А то и в волостной управе его видят, и с Хвойницким.

Такой начальник медпункта, как Владик, – удобная вывеска для разных аптечных и не только аптечных дел, которыми озабочена мама. Возможно, потому она и не против этих картежных сборищ в доме. Мама лишь предупредила, чтобы никаких „опасных” разговоров при Грабовском не вели.

Тем более что по поселку прополз совсем уж неприятный слушок. Первым принес его Казик.

– Знаете, Лина Михайловна, что поговаривают? Этот Грабовский, фельдшер, каким-то значком за клубом хвастал. Говорят – гестаповский. Остерегаться нам следует его.

Хвастаться шпионским значком, да еще за клубом, где теперь собираются заводские курцы и говоруны, – что-то невероятное! Но на Владика и это похоже.

С Грабовским – ясно. А вот Казик? Вовсю стал остерегаться Грабовского. Правильно, конечно. Но очень уж противно видеть, как он это делает. Вроде даже заискивать начал, смеется одобрительно, что бы ни сморозил Грабовский, поддакивает на каждом слове.

Вот и сегодня лезет Владику чуть не в рот. А потом произошло совсем непонятное.

Играли в карты и разговаривали с Надиной Инкой. Кто-либо брал ее под свою опеку и требовал:

– Скажи: Толя – говяда.

Инка послушно говорила, блестя круглыми глазенками. Но стоило Толе притянуть ее за тонкие плечики, и она охотно поносила недавних своих покровителей:

– Янек – говяда, Ликсей – говяда.

– Споем, Иннок, – предлагает Янек и начинает гнусаво: – „Молодые девушки немцам улыбаются, позабыли девушки про парней своих…”

Ему вторит старательный детский голосишко: „Пло палней”.

– Тише – стучат, – прервала их мама.

Открыла дверь бабушка, не разобрав толком, кто стучит. Услышав мужской голос в кухне, мама встревоженно свела заломленные брови. На кровати сидела Надя, она как-то вытянулась, напряглась вся. Виктор! Отведя рукой занавеску, он окинул всех безразличным взглядом и сказал:

– Почему ставни открыты? Светомаскировку не соблюдаете.

Толя не мог не отметить, что Виктор еще больше окреп и как-то огрубел. У рта складки, тугие, как веревки. И выглядит картинно, несмотря на мешковатый немецкий мундир: на плече винтовка, подсумки с патронами на бедре. И граната с длинной деревянной ручкой за поясом. Вот бы отвинтить ее да потянуть за шнур прямо на пузе у тебя, поганый бобик!

– Ну, что там, давай банкуй, – прервал общее оцепенение Толик. Мол, обращать еще внимание на всякого полицая. Глаза б хоть опускал, а то смотрит, будто и он человек!

Но всем явно не по себе. И у Толи внутри щемит что-то. А Казик даже побледнел. Боится он, что ли, этого бобика? Павел – молодец, спокойнее всех, усмехается.

– Да вот в картишки балуемся, – проговорил наконец Казик, но таким бодреньким голосом, что лучше бы уж помолчал.

Виктор опустил занавеску. Мама вышла следом за ним на улицу – закрыть ставню.

– Начальство, – послал вслед полицаю сын беглого старосты Афанасий.

Трудно сказать, насколько искренне, но румянолицый этот парень на каждом шагу демонстрирует свою непричастность и даже враждебность к тому, чему так преданно служит его бородатый батя.

– Еще неизвестно, что за птица этот Виктор, – произносит вдруг Казик.

Толя уставился на него: кому он говорит? Афанасию? Владику? Что значит: „птица”? Не тот, дескать, за кого выдает себя? Ерунда, конечно, но если так думать, тогда разве можно болтать об этих своих догадках при Владике и сыне полицая? И сказал-то как: „пти-ица”!

Видимо, от растерянности Казик не соображает, что говорит.

Надя так и сжигает Казика злым, презрительным взглядом. Но другие, кажется, не придают значения его оговорке.

Да и в самом деле, стоит ли выбирать слова, когда говоришь о предателе.

Вошла мама и приказала:

– Алексей, Толя, кончайте, дышать уже нечем от вашей коптилки. И вставать рано.

Павел поднялся первый.

– Хватит на сегодня.

Он-то чего старается? Толя взбунтовался:

– Доиграем.

– Перестань! – прикрикнула мать. – Нашли занятие.

Смущенные хлопцы стали прощаться.

Толя идет по шоссе

Толя, Павел, Казик Жигоцкий (все с лопатами) стоят во дворе.

– Ну где там Алексей? – сердится Толя, который знает точно, что его, младшего, Алексей дожидаться не стал бы.

У калитки появляется худой, остролицый человек с кошелкой в руке.

– Добрый день! – первый здоровается Толя. Еще бы – его бывший учитель!

– А мои ученики растут, – сказал Лис, подавая руку. – С чего-то начнем первый урок, когда это кончится? Как считает инспектор облоно?

– Районо, – беззаботно, но все же поправил Казик. – Только бы дожить. А там все взойдет на круги своя.

– На свои места? Боюсь, что отличников среди нас не оказалось. Вот разве они?..

И показал на Толю и выходящего из сеней Алексея.

– А где ваша мама? – спросил Лис и переглянулся с Павлом.

Павел показал глазами через шоссе, на аптеку.

Шоссейные работнички Толя, Алексей, Павел и Казик идут по обочине асфальтки, а мимо них проносятся машины.

– Не пиликают уже на гармониках, – отметил Казик, провожая взглядом машину с немцами. И тут же посмотрел на Павла. Что ни скажет – на кого-нибудь посмотрит: не хочет, чтобы какое-то слово его пропало, осталось неуслышанным.

Поселок кончается. Слева за оградой, подгнившей, завалившейся, безлюдный двор завода, выбитые, слепые окна, высокая мертвая труба. Шоссе тут падает вниз, и все на нем видно на целый километр. Фигуры, а чем дальше и ниже – все меньше фигурки людей с винтовками и автоматами, медленно бредущих. Будто расставила их чья-то рука и пустила догонять друг дружку.

– Смена на мост пошла, – отметил Павел.

– Научили их партизаны ходить! – злорадно хихикнул Толя.

Нагнали двух, самых задних. Оба пожилые, грузные, оба в очках. За лесом постреливают. Пулемет протатакал. Ох как неуютно бауэрам среди мертвого леса! И их даже радует, что русские с лопатами идут рядом.

– Дрожат коленки? – спрашивает Толя, невинно улыбаясь.

Немцы не поняли, но дружно машут головами.

– Заткнись, – требует старший брат.

Обогнали стариков, поравнялись с новой парой немцев. Эти помоложе, смотрят подозрительно, держатся за автоматы.

Немцы все парами идут. А дальше впереди, по одному, – полицаи.

– Нажмем еще, – предлагает Толя, – может, и художник наш тут.

– А я все-таки не думал, что он всерьез, – говорит Казик.

– Пошли быстрее! – не терпится Толе.

– Иди, если тебе надо, – говорит Алексей.

– Ты только опять не покрасней, – советует Толя, а сам в сторонку, подальше от лопаты старшего брата. Верь им, этим старшим, огреет, и свезешь.

– Теперь жди, – говорит Казик, – пакости. Ходил, слушал. Права Анна Михайловна, да, да, Павел, осторожней следовало. Я не удивлюсь, если произойдет какая-то неожиданность.

Поравнялись с толстым полицаем, потным от ходьбы и страха. Круглое лицо – как у неумелого пловца, оказавшегося слишком далеко от берега.

– Кха! – кашлянул Толя, точно выстрелил. Толстяк вздрогнул.

Следующий – Пуговицын. Невольно заспешили, чтобы обогнать его.

– Смотрит, как присосался, – сообщил Толя, оглядываясь.

– Вот кого первого… – проговорил Павел.

– Эй, Разванюша, бобик! – Павел просто так и окликнул Разванюшу, который впереди вышагивает. Полицай оглянулся: усмешливая, с шутовскими усиками физиономия, да еще под шляпой.

– Кот в сапогах, – тихо отметил Толя.

– Поздно что-то, работнички, – заметил Разванюша. – А того узнаете?

И показал на Виктора, знакомо плотного, коренастого.

Алексей сразу отстал, зато Толя вперед вырвался.

– А, ты! – обрадовался Виктор.

– А если отвернуть это и дернуть? – спрашивает Толя, касаясь алюминиевого колпачка гранаты, которая за поясом у Виктора. Толю

распирает от желания все и немедленно высказать этому бобику, отомстить и за предательства, и за прошлую дружбу.

– От нее только звук, – говорит Виктор, кажется, не замечая Толиного состояния. – Вот наша лимонка жахнет – дом разнесет! Даже такой, как комендатура.

Достал из кармана лимонку, тяжелую, рубчатую, держит в руке. А Толя все тянется к немецкой.

– А если так, на брюхе дернуть? – спрашивает Толя.

– Убери руку! – Виктор сразу погас, помрачнел. Оглянулся, увидел остальных знакомых. Вот Павел с ним поравнялся. Шагают рядом, чем-то похожие, одинаково упрямые.

– Привет! – беззаботно поздоровался Казик.

Виктор не услышал его.

Толя, ушедший вперед, остановился, смотрит: Павел, Казик, потом Виктор, а сзади, так и не решившийся посмотреть в глаза Виктору, тащится Алексей. Дальше виднеется шляпа Разванюши…

Молча свернули на полевую дорогу, оставив полицаев на шоссе. Улица деревушки – грязная, пустынная.

– Смотри – курица! – удивился Толя.

Выбежал на улицу босоногий пацан – хозяин, очень сердитый на вид, – стал загонять курицу.

– Где батька? – спросил Толя.

Пацан не ответил, убежал.

– Пойду позову Голуба, – говорит Толя.

– Начальство спит, а мы посидим. – Казик усаживается на бревно под деревом. – Спеши медленно, советовал мудрец. Особенно когда на немца работаешь.

Чудной немец

– Опять Шмаус выполз комаров кормить.

– Сейчас закурим.

Кто-нибудь из ребят, кто помоложе, а потому понахальнее, поднимается с земли навстречу немцу в коротких кожаных штанах-трусиках. Ободренный сугубо штатским видом немецкого офицера, вступает в разговор. Произносит лишь бы что:

– Былындыры.

Мирный немец с отвислым носом и черносливовыми глазами грека внимательно вслушивается в незнакомую ему речь и как-то отзывается.

– Ва-ас? – требует пояснения длинноштанный сопляк у коротконштанного немца. Шмаус охотно поясняет. Мальчуган, выслушав его, предлагает с самым почтительным видом:

– Давай сошьем футбольный мяч из твоих штанишек. Фарен, тьфу, форштейн?

Шмаус отзывается, видимо, поверив в немецкую речь собеседника. И снова в ответ ему глубокомысленное и требовательное:

– Ва-ас? Ладно тебе, давай закурим.

Теперь уже Шмаус спрашивает:

– Вас?

– Сигаретен, ферштейн? Айн, цвай, драй. Вирбавенмоторен, вирбавентракторен…

И пацан получает сигарету, одну на всю компанию.

Шмауса в поселке знают. Никто никогда не видел, чтобы этот немец замахнулся или прикрикнул на пленного. Когда тащат воду, он слегка подталкивает телегу на подъемах. Воспринимается это как чудачество, не более: слишком ненавидят жители каждого немца, чтобы кто-либо из них мог завоевать симпатию так дешево. И все же Шмауса выделяют.

Мальчуганы наведываются к Шмаусу под окно. Живет он в большом бараке, выстроенном пленными. И Толя там побывал. Шмаус дал сигарету, одну на четверых. Повиснув на подоконнике, стали интересоваться, что за бандура висит у Шмауса над кроватью.

– Цитра, – первым догадался всезнающий Минька.

Шмаус погасил сигарету о пепельницу и снял со стены свою музыку. Дрогнули струны – звук какой-то стеклянный. Мягкими движениями пальцев Шмаус заиграл, на лице у него – близорукая, слабовольная улыбка. Яично-желтый деревянный инструмент ожил, задышал. Толя не сразу поверил, уставился на немца. А лицо у Шмауса уже какое-то другое, глаза у самого детские. Маленький тихий инструмент, кажется, звучит все громче, хотя пальцы движутся еле-еле. Оглушенные стоят мальчишки. Чудится, что мелодия звучит где-то далеко-далеко, но там, далеко, она гремит празднично сильно, как гремела когда-то в заводском клубе. Немец играет „Интернационал”.

– Еще… Шмаус, – вырывается у Толи. („Пан” он сказать почему-то не хочет.) Шмаус берет его за волосы, легонько подергивает и говорит по-русски:

– Нельзя, три года концлагеря или фронт. Ферштейн?

Совсем растерявшиеся мальцы даже от окна отпрянули, видимо вспомнив про кожаные штанишки и футбольный мяч.

Потом Толя никак не мог понять, что заставило человека, видимо не один год молчавшего, так раскрыться перед детьми. Может, человеку хочется, чтобы люди знали о нем больше. И он решил, что безопасней начинать с детьми. Толя рассказал о происшедшем дома.

И тут же получил выговор. От мамы, конечно.

– И где только тебя носит? Надумался к немцу в гости бегать!

Маня вспомнила:

– Не зря говорят, что он тайный еврей. Нос, глаза…

– Нос, – передразнил ее Павел. – Думаешь, среди немцев нет коммунистов?

– Ты с самого начала это говорил!

– Увидите еще, – заявил Павел.

Для него самого и теперь все было ясно.

Обновилось начальство

Прибежала Анютка:

– Людцы, бургомистра вешать будут.

Не поймешь, напугана или рада.

Оказывается, какой-то заезжий зондерфюрер упрекнул бургомистра, что у него много партизан. А Лапов возьми и брякни:

– Вот вы приехали – теперь их не станет.

Русскому следовало указать его место. Лапова вывели на крыльцо комендатуры. У рта две темные полоски крови. Фомка уже балансирует на приставленной к сосне лестнице, прилаживая веревку на суку, вытертом до глянца детскими штанишками. На этой вытянутой руке добродушной старухи сосны любил когда-то посидеть, помечтать и Толя.

– Ой, напротив окна! – испугалась Маня.

Так, кажется, относятся к происходящему и другие. То, что повесят человека, – жутко, хотя самого Лапова не жалко. Видя мешковатого бургомистра, тяжело дышащего и оттого будто спешащего к сосне, глядя на мрачно-деловитых эсэсовцев, люди ощутили, как совсем рядом начал работать безжалостный механизм.

На этот раз под зубья страшной машины попал один из тех, кто ее обслуживал. Но он попал в нее случайно. Машина – для таких, как ты. Вот почему будто пеплом посыпаны лица у людей.

Лапова подвели к дереву. Полицай Ещик с идиотской услужливостью подставил своему начальству табурет и почтительно

отступил в сторонку. Челюсть у Лапова перекосилась, короткие ноги не держат тушу, которую они всегда так легко носили.

Напряжение разрядил переводчик Шумахер. Он только что приехал из города и сразу забегал, замахал руками, наседая на немцев. Несколько офицеров пошли с ним в комендатуру. Лапов безразлично, уже ничего не соображая, смотрел им вслед. Вернулись они – и вот кинолента завертелась в обратном направлении: бургомистра повели назад, Фомка вскочил на лестницу снимать веревку.

А Шумахер верен себе: спасает всех, кого может.

После случившегося Лапов заболел. Нового бургомистра подыскать оказалось делом не легким. Тут – немецкая петля, а там – партизанская пуля – самый большой негодяй задумается. И все же нашелся. Полицай из „примаков", хлюст с черными усиками и неуловимым взглядом – Баранчик.

– Брандахлыст, – определил эту личность дедушка.

„Брандахлыст" развернул самую кипучую деятельность. Никто никогда не видел его не бегущим, не вопящим, не выкатывающим глаза. Какой-то бешеный!

И вдруг исчез, будто сорвался. Удивил Баранчик всех: и немцев, и жителей. С ним исчезли пулемет, печати, бланки. Сразу заговорили о нем с веселым одобрением.

В полиции – переполох. Комендант, сменивший злого горбуна, пообещал отправить бобиков в Большие Дороги в СД. И тут всплыл Хвойницкий. У этого длинного сутулого полицая с меловым, усыпанным ядовитыми прыщами лицом, кажется, имелись все качества, необходимые для должности бургомистра.

Место начальника полиции, которое после Порфирки занимал Хвойницкий, отдали какому-то Зотову, присланному из города. Говорят – бывший лейтенант. Сразу начал вводить в полиции военные порядки. Выдворил из больничной прачечной Анютку и еще одну семью и устроил там караульное помещение. Теперь бобики должны ночевать все вместе. Каждое утро их выводят во двор для муштры. Хлюповатенький начальник полиции бегает перед строем, далеко слышен его пронзительный голос. Привязался за что-то к вахлаковатому Ещику и к бородачу Емельяненко. Жители с удовольствием наблюдали, как ползают по земле два мешка, судорожно подтягивая вслед за собой винтовки.

– Ну, эти навоюют немцу.

– Хоть на лопату их бери.

Новое начальство решило партизан посмотреть и себя показать. Как всегда перед вылазкой в деревню, полицаи долго толкались около комендатуры. Наконец двинулись мимо завода к лесу. И тут произошло неожиданное. Потом стало известно, что двое партизан подошли к заводу по какому-то своему делу, а тут полиция на них, ну, они и пальнули. А в ту минуту все казалось ловко подстроенным. Когда из-за ближайшего к лесу дома застучали выстрелы, с полицейским воинством произошел полный конфуз. До этого случая жители еще не видели „своих” полицаев в деле. А тут налюбовались всласть. Ни одного выстрела в ответ. Три десятка бобиков точно испарились. Только и видели, как полз по грязной канавке длинный Хвойницкий – „живая ужака”. Через три минуты полицейские были в противоположном конце поселка, за комендатурой. Спрятались за немцев. Но это было грубым нарушением стратегии тыловых немцев: бобики должны быть не позади, а впереди. Их собрали и цепью двинули к лесу. Долго, очень долго шли они туда. Со стороны казалось, что все они одной веревкой связаны – каждый тянет остальных назад. Партизан в лесу не оказалось. Тогда из-за колючей проволоки вышли немцы и тоже прошлись по опушке.

Новый начальник полиции спешил, кажется, во всем. В поселке уже знали, что он набивается в женихи к Леоноре. У таких „женихов” теперь очень влиятельный сват – Германия. Полицейская любовь означает: „Либо я, либо Германия”.

Дела ночные и дневные

Ночью поселок встряхнуло тяжелым взрывом, совсем близким. Перед уходом на работу Толя заметил, хотя и не придал этому значения, что пиджак у Павла сырой, точно его отмывали от грязи.

На шоссе около аптеки всех уже поджидал Голуб.

– Приказано идти к бетонному мосту. Подняли его хлопцы. Посмотреть, как они его…

Голуб на радостях даже разговорчивым сделался.

Возле моста много начальства. Грузный немец в толстых цейсовских очках все пробует ногой взгорбившийся асфальт, точно желая втиснуть его назад. Порохневич с серьезным лицом слушает ругательства шефа. Взрывом лишь вскинуло и раскололо бетонную плиту, подняло асфальт. Эх, не знали они про бомбы, которые когда-то приметил тут Толя! Перейдя канаву, Толя незаметно скосил глазом за куст. Да нет же, подобрали! Лишь два нежно-зеленых пролежня

светлеют в траве. Ольшаник положило веером, забросало грязью, везде валяются березовые плахи и обгоревшие дрова.

– Трубу под мостом закладывали, чтобы сильно рвануло, – тихо пояснил Павел.

– Тут бомбы две лежали, помнишь, я тебе говорил, что можно костер разложить... – шептал Толя, явно примазываясь к чужому делу.

– Маловато твоих бомб, видишь.

Павел непонятно усмехнулся и отошел к Порохневичу, который, проводив шефа, сам теперь неодобрительно пробовал ногой асфальтовый горб. Порохневич сбрил свои жесткие черные усы, но стал от этого не моложе, а почему-то совсем стариком.

– Срезать это надо, – чуть шепеляво говорит он. Наклонившись, переводит рукой педаль велосипеда и добавляет не то раздраженно, не то с насмешкой, обращаясь почему-то к Павлу: – Работайте, раз не умеете работать.

Бедный Голуб принимает это на свой счет, смущается:

– Мы ничего... мы заделаем...

– Нажми на этих бездельников, Голуб, пусть почувствуют, – говорит Порохневич и уезжает.

А через два дня новое событие.

– Слышали? – заговорил Казик, догоняя всех на шоссе. – Шмауса украли. Одного немца придушили, а Шмауса с собой забрали. Мы спим, а хлопцы разгуливают рядом. Даже гусей офицерских прихватили. Не спасли немцев гуси.

Встречные селибовцы переглядываются заговорщицки: все уже знают. Толе не терпится увидеть знакомый барак. Ведь там побывали *они.* Вот за этим деревом или у этого угла ночью стоял партизан!

В деревне известно больше. Оказывается, дверь открыл лагерный переводчик Шелков, которого Толя тогда на шоссе называл сволочью. Он же и немца убил. А девушка, работавшая судомойкой, ушла с партизанами. Мишка Михолап видел, как они шли через деревню.

– К утру уже. Двое впереди, с ними переводчик, машет руками и все смеется. И девка в ботах, штанах...

– Гляди – снарядилась. Загодя, знать, собралась, – прикинул Повидайка.

– А за ними человек весь в гусях. Я и не раскумекал поначалу, что за чудо. Аж это немец под гусями. Шеи им связали и понавешали на Шмауса...

– Только двое партизан и было? – не поверил Казик.

– Потом еще шли, из этих или не этих.

А Павел все молчит, и так, словно знает еще что-то. Играет желваками да улыбается.

Подъехал на своем велосипеде Порохневич.

– На дробилку не пойдете.

– Ну какая там работа сегодня! – весело соглашается Казик. – Слышали, Лука Никитич?

– Я не о том. Моториста убили. Партизаны.

Шабрук, который подбежал как раз под это слово, издал икающий звук. Черные Михолапы все вместе улыбнулись какой-то одной улыбкой.

– Не хотел идти с ними, ругаться еще стал. Дурак, конечно. А убивать все же не за что, – добавил Порохневич.

– Оно так, – неопределенно заговорил Повидайка, – хлопцы с оружием, ну и стреляют.

– Собака же был, – возразил Порохневичу Михолап-старший, – обрадовались некоторые (взгляд в сторону Шабрука), думают, что всё уже. Нет, голубчики, рано на шею людям полезли. Отстрел хлопцы делают.

Ушли к песчаным карьерам и там валялись целый день. Шабрук не показывался.

Павел и Казик, а с ними и Толя решили пройти дальше, где пленные расчищают трехсотметровую полосу вдоль шоссе. Дым от костров уходит в лес и там повисает на елях, а на вырубках непривычно голо, как в доме, из которого внезапно вынесли знакомые вещи. Завернули к костру, у которого на плащ-палатке полулежит „доброволец” – так окрестили немцы полицаев из военнопленных. Он занят тем, что сует ногу в огонь, не боясь сжечь сапог. Сырые концы обгоревших еловых палок едко дымят, глаза у него слезятся. Поздоровавшись, Казик завел речь о куреве. „Доброволец” достал пачку сигарет и подал. Все это не глядя, насупившись. Многозначительно, но так, что при желании можно и не придавать этому значения, Казик отметил:

– Немецкие.

– Немецкие, а какие еще, – сердито проговорил человек.

Лицо у него широкое, веснушчатое и, пожалуй, добродушное. И глаза голубые, но взгляд темный, тяжелый. Увидев человека в таком же, как на нем, желто-зеленом мундире, „доброволец” снова полез сапогом в костер. Подошедший спросил:

– Кто такие?

– Люди – кто ж еще! – отозвался тот, что лежал.

– Да вот дорогу асфальтируем, – охотно пояснил Казик. – Говорю, ловко придумано – лес рубить. Попробуй теперь партизаны подойти к шоссе – все на ладони.

В Казика уперлись выпученные изучающие глаза. У этого „добровольца” вместо лица то, что называют рылом: красное, тупое.

– Какие еще партизаны? Бандиты.

Потом произнес начальственно:

– Плохо работают.

– Кто, бандиты? – лениво спросил лежащий.

Глаза у откормленного тупицы точно еще больше раздулись.

– Непонятлив, Иванов, стал. Смотри!

И пошел в сторону леса.

– Начальство? – полюбопытствовал Казик.

– Собака, дурак набитый. И сытый.

Казик опять поинтересовался:

– Не опасаетесь, что из лесу выйдут?

– Да где они тут, не слышно.

Человек прячет глаза, но видно, что напрягся, ждет ответа.

– Два километра вот сюда – и сколько хочешь партизан, – без всякой дипломатии, как про грибы, сказанул Павел.

– Не доверяют они таким, как мы. Хотя кто же мы и есть?

– Думаете, не понимают люди, не видят, как немцы загоняют пленных в „добровольцы”, – в открытую агитирует и Казик.

А Казик все же молодцом может быть, глаза вон какие хитрые, и сказать умеет как надо. И про лагерного переводчика Толя плохо подумал тогда на шоссе, а как все обернулось.

Когда уходили, „доброволец” поинтересовался:

– Вы всегда тут работаете? Этому не лезьте на глаза.

А когда через два дня пришли на то же место, поняли, что имел в виду Иванов. Красномордый вынырнул из-за кустов, глаза пьяно-негодующие, навыкате, в руке пистолет. Вид не то угрожающий, не то испуганный, во всяком случае, картинный.

– Не встречали того?

– Кого? – спросил Казик.

– А что? – неосторожно заинтересовался Павел.

Но дурень с пистолетом явно не был психологом.

– В банду сбежал.

– Кто? – с неуловимо наглой интонацией еще раз спросил Казик.

– Иванов, что с вами тогда сидел.

Собственные слова, кажется, натолкнули полицая на догадку.

– О чем он с вами тогда говорил?

– Ни о чем. Попросили закурить, и все.

Казик заметно начал нервничать. А красномордый продолжал возмущаться:

– Понес пулемет в ремонт и не вернулся. И чего не хватало, жрал и пил, как свинья.

„Как ты”, – мысленно произнес Толя.

– Ну, попадись он мне!

„Как бы ты теперь ему не попался. То-то пистолет из рук не выпускаешь”.

А в Лесной Селибе еще новость. Мама очень встревожена. Сенька Важник убил Лапова. Бывшего бургомистра по выздоровлении сделали начальником гаража. Он, казалось, уже притих совершенно. А тут на тебе, тайком полез к Сеньке в машину и вытащил какой-то пакет из-под сиденья. Сенька и пристукнул его заводной ручкой. Потом выехал из гаража, подрулил к дому, погрузил стариков и семью старшего брата и был таков. Вечером мама сказала:

– Он там медикаменты прятал. Я давно боялась. Вы же все такие неосторожные.

Толя бежит к Лесуну

Прямо в сенях Толя столкнулся с Виктором. Опять приходил маскировку наводить? Виктор поздоровался. Толя не ответил. Мама очень взволнована.

– Где Алексей, Павел?

Ну конечно, если кого-то нет, виноват Толя.

– Вечно вы где-то пропадаете. Иди сюда. Нина, пойди поиграй.

Ага, его уже отличают от Нинки.

Мама медлила, посматривала в окно. Ожидает, что придет Алексей или Павел. Толя, красный от обиды, глядел в угол.

– Ну, не дуйся. Это не шуточки.

И тут мать заговорила иначе, будто прощения просила за что-то. А сын ждал со счастливым нетерпением.

– Не хотела я, детки, втягивать вас во все это. Боюсь я, вы такие глупые еще. И Павел не лучше, как маленький. Ну, хорошо, хорошо…

– Зачем он приходил? – замирая от готовности услышать что-то совсем неожиданное, спросил Толя. – Виктор – тоже?

Спросил и тут же почувствовал, что не удивится, если мать скажет „да”. Вдруг оказалось, что в нем осталась какая-то необорвавшаяся нить, которая все это время связывала его с тем, кого он так страстно хотел возненавидеть.

Мать сказала:

– Да, тоже. Надо, Толик, бежать к Лесуну в Старцы. Ты не заблудишься в лесу?

При других обстоятельствах можно было бы подумать, что мама нарочно это…

– Хорошо, хорошо! По поселку не беги. И в лесу осторожно. Не дай бог остановят – скажи, коня просить. А может, лучше не надо, сынок?

– Что сказать?

Толя старался быть спокойным, а все в нем так и пело. Мать сразу разглядела это.

– У тебя все на лице. Нельзя так. Скажи Артему: немцы и полиция идут в Дичково, узнали, что там днюют партизаны. Запомни хорошенько: впереди будут идти свои… Виктор и еще с ним. Этих пропустить надо. Они тоже будут стрелять по немцам. Повернутся и будут стрелять. Ну, ты понял?

Объяснение боевой ситуации – чисто женское, но Толя поспешно закивал головой.

– Все понял? Виктора не называй ему. Свои, и все.

Толя выскочил за порог. В окно застучали. Ага, не бежать. Толя шел вдоль забора к школе и косился на комендатуру. Там целое стадо полицаев.

Потом мчался по лесу, пропуская упругие сосенки между ног. Оттого, что в памяти он нес слова боевого поручения – так он называл это, – Толя чувствовал над собой такую же опасность, как если бы карманы его были набиты патронами и листовками. (Память услужливо и пугливо оживляла протяжный крик убиваемого во дворе комендатуры голого человека.) Но ведь слова только в нем, их знает одна лишь мама, и, значит, все от него одного зависит.

Вот и поле проблеснуло. Казалось, вместе с Толей на открытое место выбежала сосенка и от растерянности присела перед самой пашней. Толя оставил сосенку одну и побежал по убранному картофельному полю. Под старыми березами – постройки Лесуна. Удивительно, зачем человеку такое большое и под такой дырявой крышей гумно? Толя с опаской кашлянул: где-то здесь собака. Лесун всегда хвастался: не собака – зверь. Хотя у него все особенное: не конь – трактор, не корова – маслозавод, не баба – сатана.

Из гумна вышел старик с обсыпанными мякиной густыми бровями, рыжебородый. Из-за обильной растительности все на лицо кажется мелким: не глаза – два хитрых зверька, не нос – бородавка. Впрочем, Толя уже привык к этому не то страшному, не то смешному

лицу. Лесун – такая же часть Толиного детства, как старик Жигоцкий. С ним связаны представления Толи о всех хозяйственных заботах, которые касались всегда лишь мамы. Как-то само собой разумелось, что, если надо привезти сено или дрова, на это есть Артем Лесун, он один в округе еще имел коня. Самому председателю поселкового Совета Артем тайно смолил свиней. „Сало без шкурки – не сало, а мыло", – поучал Артем, угощаясь свежиной в доме председателя.

– Где ваша собака? – беспокойно спросил Толя.

– Волки украли.

Глазки хитро засветились. Толя понял: собака мешала ночным гостям. Трудно понять, что сделало Лесуна партизанским связным. Когда только пришли немцы, он явился в поселок и прошествовал мимо клуба с какой-то очень торжественной миной. Но важничанье его вызвало лишь веселые замечания: Артема никогда всерьез не принимали.

– Лесун, тебя разыскивают, повезут в Германию, чтобы научил их хозяйство ладить.

– А вот брови сбреют – киндеры пугаться будут.

После того разговора с комендантом, о котором рассказывал Казик („Старой власти не слушался и наши законы нарушать хочешь"), Лесун засел у себя на хуторе, как медведь. И вот – связной. Возможно, ему, хитрому хуторянину, выгодней и безопасней дружить с ночными гостями, чем с дневными. А может быть, главное и не расчет, а, наоборот, свойственная Лесуну склонность к рискованным комбинациям. Или прав комендант: не умеет Лесун с властями уживаться.

Спокойно выслушав очень горячую и не очень связную Толину речь, Артем снял с изгороди ватник (в нем он и зимой и летом), накинул на плечи. Прикрыл скрипучие ворота гумна. Уже сделав несколько шагов со двора, не оборачиваясь, сказал:

– Иди в хату, там – баба.

„Баба" встретила Толю в сенях. Она уже давно следила за тем, что делалось во дворе, но спросить Лесуна, куда он отправляется, не решилась. Услужливый для чужих, Лесун дома – настоящий черт. Мама уже его отчитывала за то, что он снова взялся бить свою старуху. Бьет и приговаривает: „Это тебе не при Советах". Толя знает, что перед войной шестнадцатилетний сын Лесуна съехал куда-то и даже писем не слал. Когда глядишь на жену Лесуна – почти онемевшую женщину с черными руками, не верится, что и она когда-то была молодая, смеялась, может быть, пела.

Вот так, видимо, жил и дед, от которого ушла Толина мама.

– Молочка попей.

Это обращались к Толе, к партизанскому связному.

– Я и воды могу, – неискренне отозвался Толя.

Ему не поверили и вынесли молока в тяжелой медной кружке. От кружки, что ли, но молоко невероятно холодное и вкусное.

Толя уловил какой-то непонятный, беспокойный взгляд женщины, и ему сделалось не по себе. Отошел к сараю, сел на жердь изгороди так, чтобы видеть лес и поле.

Скоро будут стрелять. Успеет или не успеет Артем? А если немцы завернут на хутор? Или перехватили Лесуна и ведут сюда? Толе же не сказано дожидаться возвращения Артема. И мама волнуется. Обдумывая все это, Толя уже перенес ноги через изгородь.

В лесу ощущение опасности прошло, но не стало и того чувства тревожной радости, с каким Толя бежал на хутор. Ведь он струсил. Он не ушел, а убежал, даже Артемиху не предупредил. Но чем ближе к дому, тем больше росла в нем новая радость, радость от мысли, что сейчас его увидит мама. Толя не спеша прогулялся по шоссе против окон аптеки, зная, что она уже видит его. И только тогда пошел в дом. Он смотрел, как мать переходила шоссе: в белом халате, с лицом озабоченным, серьезным. Озабоченность не сошла с ее лица и после того, как она вошла в кухню и увидела, что сын жив-здоров.

– Ну что? Успеет он?

С непонятной ему самому обидой сын ответил:

– Конечно. А я побыл, а потом домой ушел. Чтобы не думали тут чего…

Но и теперь мать, казалось, не обратила внимания на то, что сын вернулся благополучно.

– Боже, что будет! Виктора не впереди, а сзади поставили. Места себе не нахожу. А тут еще Любовь Карповна. Павел ходил предупредить, чтобы ушла из дому, так она обругала его. Сумасшедшая! Теперь бойся: если что случится – выдаст, ничего же не понимает.

Мать ушла в аптеку. На душе у Толи пакостно. Еще ничего не кончилось, а ты радости захотел. Партизан!

Вот – далекие выстрелы. Несколько. И снова тихо. Опять приходила мать. Шепталась с Павлом. Она страшно нервничает:

– Может, уйти вам из дому?

Боя так и не услышали.

Возвращались: полицаи впереди, немцы позади. У Виктора голова забинтована. Ходят разговоры о какой-то стычке его с Пуговицыным.

Толе повезло. Он сидел в аптеке, когда вдруг заглянул Виктор за бинтом. Больных не было. В ответ на смущенную улыбку старого друга Виктор весело засверкал крепкими зубами:

– Здравствуй, Толя.

Теперь Толя ответил. И покраснел от счастья. Он глядел на Виктора во все глаза, будто давно не видел его. Кстати, не у одного Толи такие глаза. У Нади – тоже. Мама спросила:

– Что там случилось у вас? Он что, догадался?

– Пожалуй – нет. Все шло, как надо. За поселок вышли – нас, как положено, вперед.

– Мне показалось, что ты побледнел и так посмотрел на меня. Ну, думаю, несчастье.

– Правда? Нет, я знал, что они только здесь храбрятся. Вышли за поселок – перестроились. Подходим к кладбищу. Если есть засада – здесь. Говорю офицеру, в разведку, мол, пустите, впереди пойдем. А Пуговицын и пристроился к нам. Трус же, но еще больше выслужиться ему хочется, я все вперед его пропускаю, а он норовит быть позади нас. Мы тоже напряжены: вот-вот начнется. Это ему передалось, совсем взбесился со страха, за затвор хватается. И бабахнул. Меня и опрокинуло, хотя только чиркнуло по виску. Вскакиваю – вижу: Пуговицын на земле, морда в крови, а Коваленок еще замахивается прикладом. Сзади паника, залегли немцы. Мы тоже, но задом к кладбищу. Взвел я пулемет и думаю... Но тем и кончилось. Партизан не оказалось. Их-то и было в Дичкове всего несколько человек. Не знаю, видел или не видел Пуговицын, как мы изготовились к бою? Думаю только, у него в голове все наоборот пошло от Ванюшкиного приклада.

– Я Павла к Любови Карповне посылала. Не поверила.

Виктор все понял. Помрачнел.

– Спасибо, Анна Михайловна. Когда я думал, что началось, страшно мне стало за нее. А сказать ей ничего нельзя. Вот теперь она будет знать что-то, но меня это не радует, а пугает. Могу и вас подвести.

– Это хорошо, Витя, что ты подумал о ней. Ты умнее, должен понимать, чего от нее можно требовать. Павел ей только посоветовал уйти из дому, а почему – не сказал.

– Верите, Анна Михайловна, я всегда завидовал вашим хлопцам, а теперь особенно. Ведь до чего у нас доходило. Первое время она ожидала, что я тащить буду из деревень, как Фомка или Пуговицын. Сказать боялась, но и скрыть не могла.

– Она, Витя, своеобразный человек. Её только пожалеть можно.

– А знаете, Коваленок редкий парень, – перевел разговор Виктор. – Как он Пуговицына под ноги положил! Вначале, хоть и говорил мне Борис Николаевич, кто такой Разванюша, не очень я в него верил. Какой-то франт хуторской, усики дурацкие, ночи напролет самогон с полицаями хлещет. Думаю, послали его в полицию дело делать, а ему там и без дела нравится. А тут именно такой нужен, всех их в лапти обует. Во мне они чужака чуют, как я ни прикидываюсь, пи подделываюсь. Без Разванюши, не знаю, как бы я и смог? Крепкий, дружный народ эти староверы, по-моему.

– В полиции их сколько, обрадовались, что попа им вернули, – не согласился Толя.

– Всякие есть, – нахмурясь, оборвала его мать и тут же с тихим оживлением рассказала: – Когда-то у моего Вани с ними история произошла. Алеша только родился, а тут приехали Ваню к роженице брать в Буду. Там одни старообрядцы жили. Привезли и говорят: если она умрет, отсюда тебе не уехать. А тогда они такими словами не швырялись. Ваня тоже горячий. Хорошо, говорит, а теперь убирайтесь все вон. Они послушно оставили хату и два дня под окнами дежурили. Подавали, что нужно. На счастье, роженица выжила и даже двойню подарила. Везут Ваню домой, а сзади еще подводы. Ваня в дом, а за ним кадку меду и мешки тащат. Обругал он их, выгнал со двора. А утром дверь не открывается: привалили мешками.

Толя знает Коваленков. С младшим братом Разванюши они когда-то делали из трубок пистолеты. Толе нравилось бывать в этой семье. У них все грубо, с руганью, но и какая-то завидная спаянность чувствуется. Единственный, кого в доме Коваленков слушаются, кому не отвечают на крепкое слово еще более крепким, – это сам батя. Черный от въевшейся в кожу сажи, с загнутой к острому кадыку бородкой, Коваленок поспевал везде – и в заводской кузнице, и в домашней. Дома ему помогали сыновья. При этом без конца или смеялись, или дрались. Веселая семья!

– Держитесь его, Анна Михайловна, в случае чего.

Мама удивленно и протестующе смотрит на Виктора.

– Все может случиться. Душа с телом в человеке не очень скреплены. Да ладно, расскажу лучше веселое. Вхожу в одну избу, старуха встречает и жалуется: „Пришел человек сено торговать, а ваш к нему привязался”. Смотрю, а это Коваленок перед каким-то дедом петушится. Подзывает: „Полюбуйся на этого, шашни с партизанами пришел разводить, а мне про сено поет”. И кого, вы думаете, припирает Ванюша? Артема… Лесуна. Умора, как изворачивался

бедный дед: „Да что вы, хлопчики, господины полицейские, вот вам крест”. А Коваленок не верит: „Сена у тебя на болоте стога стоят. Скоро заглянем с подводами”. – „Где вы видели! Бандиты, хай им, приглядели, все забрали, только под себя подложить и осталось”. – „Вот мы тебе подложим кое-куда, партизанский дед”. Совсем сбил с толку Лесуна. Он подозревает, что именно ради нас с Ванюшей бежал. Но боится промахнуться. Да и Ванюша такого оболтуса из себя строит, ни дать ни взять Фомка.

– Бедный Артем, – расхохоталась Надя.

– Поглядели бы вы на него. Глазки хитрые-хитрые, так и просят: „Ну, не путайте меня, хлопчики, я же все знаю”. А языком лепечет: „Бандиты эти, житья не стало”. Жалко мне деда. Тяну Ваню, а он и с порога грозит: доберемся, дескать.

– Ну зачем вы его так? – смеется мама. – Прибежит завтра, приставать будет, чтобы сказала про вас.

– Идут больные, – предупредила стоявшая у окна Надя.

Виктор собрался уходить.

– С лекарствами и особенно с перевязочным осторожны будьте. Кажется мне, присматриваться к аптеке начали.

– То, что я по документам получаю, все рецептами обеспечено.

– У вас, Анна Михайловна, крепкий защитник. Чем вы нового бургомистра, Хвойницкого, так купили? „Чтобы мадам Корзун, это, с бандитами дело имела, такого не может быть”. К счастью, этот дурак с причудами.

– Кто его знает? Он уверен, что раз человек из раскулаченной семьи, значит, такой, как сам он. А потом Ваня его дочку от менингита вылечил. Может, это?

Больные уже на крыльце. Виктор пробежал мимо посторонившихся женщин, поправил повязку на голове и зашагал в сторону комендатуры.

Подарочек

Проснулся Толя ночью оттого, что в зале громко шептались.

– Алексей, ну что за ерунда, это же не игрушечки!

– Правда, Алеша, не надо.

Мать и Павел от чего-то отговаривают Алексея, а он помалкивает и скрипит стулом, – видимо, обувается.

Не началось ли то „завтра”, о котором Толя разговаривал с Лисом?

– Ты хоть оденься хорошенько, – вынуждена сдаться мать.

Помешать брату, заявить, что и он, Толя, пойдет? Мама сразу рассердится и не пустит никого – это будет справедливо, по крайней мере. Но куда они собираются? Толя вскочил с кровати.

– Лошадь подгонят из лесу хлопцы. Лис корзину яиц и самогон приготовил, – непонятно сказал Павел и засмеялся. Его не видно в темноте, но легко представить, как играют, перекатываются желваки на его щеках, как ястребится его крючковатый нос.

– Смотрите только, дети, – шепчет мама.

И Павел уже – „дети”. Куда уж там Толе лезть!

– Вы куда? – спросил Толя, выйдя в зал.

– Завтра узнаешь, – нахально отозвался старший брат.

Павел сказал:

– Подарочек готовим.

Ушли они, тогда мать объяснила:

– К Порохневичу. Туда партизаны придут. Только бы все хорошо.

Маня молчала, когда они уходили, и теперь молчит. Но не ложится. Мама подсела к ней на кровать. Скажут слово и долго сидят молча.

– Мама! – позвал Толя, когда она вошла в спальню.

– Что тебе?

– А мы скоро уйдем? В партизаны.

– Спи вот.

– Эх, были бы партизанами!

– Что это с вами сегодня? Ты думаешь, обрадуются там, если мы сегодня придем? Меня все время просят, чтобы поработала еще.

– Тебе хорошо! А мне?

– „Хорошо”! Глупые вы.

– В войну надо одному жить. Тогда – что хочешь!

– Ничего, детки, придет время – уйдем.

Часы пробили. Потом еще раз.

И вот на шоссе что-то застучало, послышалось: „Хальт!”, „Хальт!”

В окно видно: голубоватый, струящийся свет прожектора, установленного над бункером, мечется по темным, как бы вдруг вырастающим крышам домов, по стволам сосен, устремляется вдоль шоссе и опять возвращается к возу, стоящему на обочине. Лошадь пугается яркого света, выворачивает оглобли, вот-вот опрокинет телегу, высоко нагруженную мешками.

Павел и Алексей возвратились не скоро. Тотчас разделись до белья и только тогда заговорили.

Павел сообщил:

– Стоит возле бункера.

– Мы видели, – подтвердил Толя.

– А знаешь, Аня, кого мы встретили! – вспомнил вдруг Павел. – Красноармейца, которого я тогда у Порохневича спрятал. В колодце которого нашли.

Сказал бы: Толя нашел.

– Группа шоссейку переходила, когда мы с подводой своей возились. Порохневича он по голосу узнал, а то никак не могли свои своих признать.

– А коня мы самогонкой напоили, – заговорил наконец и Алексей.

– Зачем? – удивилась мама.

Это может и Толя пояснить: чтобы веселее было. Толя возбужден больше всех, хотя ходил-то на дело не он. Счастливо похохатывая, он интересуется:

– А немцам оставили?

– Знаешь, оставили. У тебя была бутылка, Алексей?

– Я Лису отдал, а он в корзину всунул и говорит: „На поминки".

– Шмауса вы там не встретили? – спросил Толя, намекая на то, что ему многое известно.

Сегодня уже нет смысла скрывать от Толи некоторые вещи, и Павел говорит:

– А Шмаус – живой. Порохневич видел его. В деревню приводили. Нальют ему стакан самогонки: „Пей, Шмаус, ты хороший парень!" Пьет.

– Бедняга, вот, наверное, морщится. – Толя все же рад за Шмауса.

– Спрашивают у Шмауса: „Дадим автомат – будешь немцев бить?" – „Нет, не буду, у меня три брата в армии". – „А полицаев?" – „Полицаев – буду". Он все просит, чтобы в Москву его отправили.

– А цитру он захватил с собой? – любопытствует Толя.

– Не до музыки нам было, когда забирали его.

Утречком явилась всезнающая Анютка и сообщила:

– Ой, любочки, в комендантском двори партизанский кинь стоит. Хвойницкий дундит: „Бандиты награбили, пьяные прямо на комендатуру наехали и убежали".

Толя незаметно вышел из дома. Телега уже за колючей оградой. Лошадь выпряжена, скучает под стеной. А по шоссе прогуливаются жители – их многовато для такого раннего часа – и засматривают во двор комендатуры. Около подводы толпятся полицаи, немец-часовой держится в сторонке.

Чтобы лучше видеть, Толя полез на чердак.

Осмотревшись, отыскал в доске дырочку от выпавшего сучка и припал к ней глазом. Полицаи отошли от подводы подальше, уступив Фомке право исследовать ее. Коротконогий Фомка, как бес, вертится возле телеги: то снизу заглянет, то на цыпочки встанет, то корзинку тронет пальцем. Полицаи и немцы (немцев уже трое – выползли из бункера) поощрительно хохочут, но сами пятятся. Наконец Фомка осторожно, пальцами обеих рук поднял корзинку, и… ничего. Полицаи загалдели, а Фомка прижал добычу к животу, отскочил подальше и, смеясь, показывает: мое, не отдам! Даже бутылку извлек, похвастался. Полицаи сразу заспешили. Бородач из деревенских полез на воз, второй подставил спину, готовый принять мешок.

Толя пригнулся, все в нем сжалось от ожидания.

Ему показалось, что крыша с оглушительным грохотом взлетела вверх. На голову посыпалось. И сделалось тихо-тихо. Тишину, испуганную, какую-то очень пустую, не может заполнить тонкий, протяжный, будто улетающее эхо, крик:

– Э-э-э-э…

Толя выглянул в распахнутую дверь чердака. Воза нет, и полицаев нет.

Ага, поднимаются с земли: один, другой… А поближе к тому месту, где стояла телега, на земле дергается что-то красное и жутко, не переставая, тянет:

– Э-э-э…

Кубарем, как заяц, Толя скатился вниз, вбежал в дом.

– Где ты пропадал? Не выходите, – распоряжается взволнованная мама. Лицо ее так непохоже на глуповато восторженные лица Павла и Алексея, да, видимо, и Толино.

– Еще хватать начнут, – говорит мать.

А бабушка, как курица, над которой распластал крылья коршун, то присядет, то к окну бросится. Из окна тянет холодом: вывалилось несколько стекол.

– Слышите – стреляют. Или это показалось мне? – доносится голос дедушки.

– Э, глухая тетеря, – сердится бабка.

А Толя все пытается рассказать свое:

– Я думал – крыша на меня…

На работе сегодня есть о чем поговорить. Больше всех судят-рядят Повидайка и Казик.

– Ловко, знаешь-понимаешь, хлопцы это самое…

– Работают ребята, и не лопатами, как мы.

Младший из братьев Михолапов начал потешаться над бородачами („Из троих одного не собрали!”), а Порохневич вдруг сказал:

– Немцам это и надо.

И снова та же противная ухмылочка на безусом уже лице, которая так злила Толю в первые дни, когда только пришли немцы. А кажется, сам же собирал „подарочек” для полицаев!

Когда все ушли к машине сгружать щебенку, Порохневич сказал Павлу при Толе:

– Разрядили мину у своих на горбу. А немца – ни одного.

– Какие они свои, Лука Никитич? – возразил Павел.

– Бобики, – вставил Толя.

– Ну, конечно, теперь ничего не остается. Когда собака взбесится, ее, не раздумывая, убивают. Но разве обязательно, чтобы их столько было? Молодые – почему они? Хотя бы эти Леоновичи, два брата! Я их батьку знал, не большого ума человек, но безобидный, как теленок. Никакой он не враг был, а из детей его вот кого сделали…

– Ничто их не оправдывает, – не согласился Павел.

– Да я не о том.

Репетиция

В воскресное утро около комендатуры выстроилась большая колонна крытых машин. Загадочно и зловеще чернели их пустые чрева. Эсэсовцы в черных накидках поверх шинелей чего-то ждали, скучившись под соснами. Это настораживало. Мама решила:

– Уходите к Артему. Переждете там.

– А ты, мама? – протестующе отозвался Алексей.

– Ну что ты спрашиваешь? Куда мне со стариками? И Маня…

У Мани лицо в коричневых пятнах.

– Опаснее для мужчин, а мы как-нибудь, потом, – заключила мама.

Павел распорядился:

– Надо топоры взять, будто в лес.

Выходили вчетвером. Янек тут как тут: он только что не ночует у Корзунов. Янек, кажется, подозревает, что к этому дому тянутся какие-то нити. Он не осмеливается ничего узнавать, но старается быть начеку, чтобы не прозевать, не пропустить.

И теперь Янек доволен, что оказался на месте в нужный момент, первый шагает к лесу, откуда, возможно, уже не придется возвращаться.

Когда уходили, мать поцеловала Алексея, потом – дрогнувшими губами Толю.

– Ты, Павел, старше, смотри, как лучше. Не приходите, пока все точно не разузнаете через Артема. – С трудом сказала: – А если что, ты знаешь, куда идти.

Охватившее всех возбуждение мешает до конца понять, уяснить страшный смысл этих ее последних, тихо оказанных слов.

За школой их догнала Нина. В пальтишке, из которого она давно выросла, в больших ботинках, она на себя не похожа.

И только бледное широкое личико и серьезные глаза – Нинкины.

– Меня тетя Аня – с вами.

– А сами они? – все-таки спросил Алексей.

– Не знаю. Тетя сказала: уходи и ты.

За поселком Павел совсем преобразился: походка стала пружинистой, нос горбится по-особому хищно и радостно. В лесу облегченно заговорили все сразу.

Но тут же притихли. В поселке что-то началось: крики, женский плач. Пошли быстрее, Теперь говорит один лишь Павел:

– Партизаан должен идти и все примечать. Ямка, пень – тут можно залечь в случае чего. Прошел ямку – намечай следующий рубеж…

На опушке встретили Лесуна с топором и жердью на плече. Тут же под дубами оставались до вечера. „Баба" принесла два кувшина молока и большую ковригу.

Артем ушел к поселку.

Вернулся он только под вечер. Ничего не говоря, сел на пень, который ему почтительно уступили, и начал сворачивать цигарку.

Толя с ненавистью смотрел на волосатые руки, занятые табаком, точно это они мешали человеку говорить.

– Что там? – не выдержал Алексей.

– Надрожались. Согнали всех за проволоку. Табор целый: дети, бабы. И я подсунулся, хотел сблизку разглядеть, а этот завкомовец Пуговицын – цап меня. Матка ваша испугалась, подумала, что и у меня побывали. Твоей женке, – он повернулся к Павлу, – плохо было, а теперь ничего. До притемков держали. Шумахер все бегал за немцами, уговаривал. А человечек он полезный. Понаехали из города какие-то. Документы давай проверять. Не бумажки, а молодые вам нужны! Ищи-свищи. Разбежались, а которые под завод, в трубы позаползали. Домой пойдете завтра, мати приказала. Перин у меня на вас не припасено, снопы под гумном стоят. Распустил – и канапа тебе, хочешь – спи, хочешь – мышей гоняй. Не заскучаешь.

Ужинали при лучине.

– Вот когда-то, – вспоминал Артем, дуя на горячую картофелину, – над корытом с водой защемишь лучину в светец, и хорошо. Как-то свелось все. И сделать руки не доходят. А вот так навалом – смоляков много надо, но набраться.

– Скажите вы мне, – продолжал философствовать Артем, – людям хватало и лучины, потом керосина показалась нехороша, лампочки эти придумали. А вот в ту войну немцы были другие, чем эти, не такие звери. Как это понимать: люди умнее, а злее сделались. Или тут фашизма эта виновата?

– Фашизм, дед! – серьезно поправил его Павел.

На соломе спать одна роскошь. В этом столько партизанского!

А Лесун про них, про партизан:

– Спрашивает: ну, хуторянин, понял, что к чему? А я его, бороду, и до войны знал: приезжал, распоряжался. Я-то, говорю, свое понял. А вы свое поняли? Или и потом будете…

Кто-то прошел по двору, осторожно постучал в дверь. Сердце у Толи забилось в сладком страхе: они!

Артем вскочил, долго всматривался в окно, потом вышел в сени. С кем-то переговаривается, стукнула щеколда.

– Янек, – неожиданно раздается у порога. Это батька Янека.

– Что вам? – не очень ласково отзывается сын, хотя и на „вы".

– Янек, где ты тут? Что это ты делаешь? Хочешь всех загубить? Иди домой, пока не знают.

Сын молчит.

– Янек!

– Не пойду сегодня. Вы что, в Германию хотите меня сплавить?

– Побойся бога, Янек! У нас уже все спокойно.

– Ну и спите спокойно, я приду завтра.

– А если проверят? И матку и брата губишь.

Барановский, видимо, боится, что Янек собрался уйти в лес.

– Хлопцев вот никто домой не тащит.

– Кто как хочет, а ты иди.

Сын молчит.

– Янек! – снова и снова звучит в темноте. Толя живо представляет озабоченное лицо Барановского, высокого работяги-печника, всегда такого молчаливого. – Янек, у тебя к матке и брату сердца нету.

– Завтра!

– Я-я-нек!

Ушел. Артем закрыл дверь. Сказал почему-то со вздохом:

– Дитя плачет, пока поперек лавы[9] ложится, а как вдоль, от него плачут.

– Ты всплакнешь, как же.

Это „баба” голос подала откуда-то с печи. От удивления Лесун и кряхтеть перестал.

Утром все уже выглядело по-иному. Вместо с ночью как бы отступила и опасность.

Дома хлопцев встретили так, точно это они пережили самое страшное.

Маня стыдливо улыбается им из постели. Она вся как-то обуглилась за эти сутки.

– Думали, детки, конец уже нам, – говорит мать и виновато улыбается, – думали, не свидимся больше. Собрались и мы, а уже поздно, хватают всех, гонят. Рада была, что хоть Нинку догадалась отослать. За проволокой плач, крик, дети, женщины… А они все приезжают, все что-то готовят. Потом пришло какое-то безразличие, кто лежит, кто сидит. Жутко так. Говорят, они хотели молодежь забрать, а остальных… Ужас-то какой! Сжечь в школе хотели. Но увидели, что молодые все убежали.

Вечером заглянул Казик и сразу же начал жаловаться:

– Подумайте, до чего дошло! Я за доски забрался, потом хотел переползти в лучшее место, а она увидела и кричит из-за проволоки: „Казю, идь тутай!” Это она и сына за проволоку зовет. Как будто ей легче будет, если и меня туда же?

Никто не спрашивает, о ком он говорит. На такое способна только Жигоцкая. Мама почему-то не уговаривает Казика „понять” свою мамашу.

Наконец Толя снова побывал у Виктора дома. Двор у Любови Карповны совсем запущен, калитка без завес: приставляется, как печная заслонка. В доме что-то гнетущее, как в семьях, где люди подолгу не разговаривают друг с другом.

И запах новый, солдатский.

– А, Толя…

Виктор занят тем, что перебирает тюбики в измазанном красками ящике. Выжатые, пустые кладет на откинутую крышку. Отобрал „сухие”, а потом ссыпал их назад в ящик. Толю, конечно, заинтересовала винтовка, он осторожно положил ее на колени, стал открывать и закрывать затвор.

---

[9] Широкая скамья, стоящая вдоль стены в белорусской хате *(бел.)*.

– Вот в город ехать завтра, – думая о чем-то своем, сказал Виктор.

– Соли купил бы, на деревне обменять можно хорошо, – ухватилась за его слова Любовь Карповна. – Одной мне все надо.

Виктор не отозвался, он будто и не слышал ее.

– Стыд за тебя принимаю только. Нужна тебе была эта полиция. Как ели нищимницу, так и едим. Если такой, в лес лучше бы убегал.

И теперь Виктор смолчал: в глазах – ни прежней иронии, ни сердитых искорок, а лишь тяжелая озабоченность и какая-то тоска.

Любовь Карповна вышла, застучала ведрами в сенях.

– А почему ты не кончил техникум свой художественный? – спрашивает Толя.

– Исключили.

– Виктор, а за что?

– За отчима... Откуда мне знать? Написали, что он был царский офицер. Да что ты спрашиваешь у меня? Я сам спросил бы. Кто-то наверх выбирался. Или спасался. По спинам, по головам. Вроде этого Казика.

Виктор закурил. В комнате почти темно. Свет папиросы выхватывает из темноты то щеку, то руку Виктора.

– Топор рубит, а силу ему топорище дает. Цыган байку баял, он у нас в подвале сидит. Пришел человек в лес. Испугались деревья, задрожали: в руке у человека – топор. Но старый дуб сказал: „Не пугайтесь, топор-то без топорища”. Второй раз появился человек, деревья уже не дрожали. Говорит человек дереву, самому замшелому: „Кто ты сейчас, кто знает, что ты есть в этом лесу? А вот стань моим топорищем”. И стало дерево топорищем. И не стало леса.

Виктор курит некоторое время молча.

– Хитрый цыганюга. Рассказал и смотрит, здорово ли уел меня, полицая.

– Виктор, а какие они, партизаны?

– Какие? Ты же каждый день видишь Анну Михайловну, свою маму.

– Я про настоящих.

– Про настоя-ящих! Шли мы как-то ночью в деревню. Подумалось: кончится война, живые останутся жить. И будут рассуждать о мере пережитого и сделанного. А по-моему, самое тяжелое в теперешней войне – вот это: мать и дети. – Виктор курит. Лицо его на миг бронзовеет в темноте от глубоких затяжек. – Каково было бы даже солдату, если бы в окоп подсадили еще и детишек его! Таких вот, как Надины девочки. Мина, падающая на его окоп, падает

и на них, ползут танки, а снизу на того солдата смотрят дочуркины глаза. Я бы боялся смотреть на этого солдата.

Помолчали.

– Видимо, только мать и способна вынести то, что на нее обрушила эта война.

– Гляди – снег повалил, – сказал Толя. – Завтра шоссе чистить попрут.

– А мне в город. Бургомистр и Пуговицын едут обмундирование получать. И я напросился. Надо.

Назавтра в такую же пору прибежала Анютка:

– Ой, Любовь Карповну повели в комендатуру. Хвойницкий бьет ее по голове, а она так вот закрывается а все лицом к нему поворачивается... Ее сын что-то сделал в городе.

Глаза у мамы стали тоскливыми-тоскливыми.

– Вот, я так и знала...

Часть третья
О матерях можно рассказывать бесконечно

Один в поле

Случилось это недалеко от города. Но никто не знал, как Виктор оказался среди поля, почему он бежал к лесу, когда мог спокойно выйти из города и даже выехать на немецкой машине.

Как всякое большое несчастье, произошло это неожиданно.

Виктор возвращался от знакомого сторожа аптечного склада. Оставил у него сверток с салом. Чувствовал тяжесть в правом кармане мундира: бутылка сухого йода для Анны Михайловны и еще какие-то лекарства в коробочках. Оставалось купить сапоги. Время уже думать о крепком партизанском обмундировании. Виктор подходил к базарной площади, зажатой приземистыми, еще купеческими лабазами с проржавевшими жалюзи и воротами. Где-то здесь ожидает машина. Хвойницкий утром объявил: „Кто до четырех не придет, может топать на своих двоих в Лесную… это… Селибу".

Бухнул выстрел, еще один. Вслушиваясь в многоголосый крик, Виктор шел вдоль старой кирпичной стены, отгораживающей базар от улицы. Мимо пробегали женщины с корзинами и узелками, испуганно шарахались от его желтой шинели подростки, прячась в подъездах, под мостиками. Очередная вербовка в Германию – знакомо. Чуть не на голову ему со стены соскочил человек без шапки, в ватнике. Заметно было, что он перемахнул через стену, не думая о том, куда и как упадет. Шмякнулся так, что даже у Виктора внутри заныло: казалось, в человеке все оборвалось. Однако он сразу вскочил на ноги и ткнул навстречу Виктору пистолетом. Глаза признали раньше, чем он успел нажать на спуск.

– Ты?

– Сеня?

Сенька Важник прямо над головой у Виктора выстрелил. Виктор лишь заметил, как соскользнула со стены чья-то рука. Сенька нажал еще раз, пистолет не стрелял. Растерянно оглянулся, лапнул по карману. Глаза его и прощались и просили помочь. Повернулся и бросился бежать. Виктор, не раздумывая, побежал следом. Домчавшись до угла, Сенька выглянул и рванулся назад в подъезд. Виктор встал на его место. За углом гулко прострочил автомат, выбежал немец. Испуганно и со злым недоумением взглянул он на полицейского, который стоял у стены с пистолетом. Но присутствие этого полицейского придало ему смелости. Виктор знал, что он сделает

в следующее мгновение, все сжалось в нем, как перед прыжком в холодный водоворот. Быстро вскинул руки с наганом и выстрелил в отдернувшееся лицо остроносого немца. Немец взмахнул руками, будто его неожиданно толкнули в спину, автомат ударился о стену и упал с дребезжащим стуком на камни.

И тут метрах в ста Виктор увидел Хвойницкого. Сразу узнав высокого в черном длинном тулупе селибовского бургомистра, Виктор заметил и человека с втянутой головой – Пуговицына. Схватили в руки винтовки, испуганно смотрят в сторону Виктора. Наверно, глазам своим не поверили. Виктор заскочил за угол и тоже сдернул с плеча винтовку. Узнали! Мысль эта будто ударила, но сразу все в мире стало проще: назад дороги нет, все решится сейчас, сегодня. Выглянул на улицу: Хвойницкого и Пуговицына уже нет. Убежали.

Из подъезда выбежал Сенька, жадно протянул руку к автомату. Глаза его не упустили и зажигалку, выпавшую у немца из шинели, – поднял.

– Уходи теперь.

Виктор и сам лихорадочно соображал: как дальше? Узнали его или это ему показалось? Но если и показалось, он не может оставить Сеньку одного, хотя бы за город его проведет, а там будет видно.

Они бежали по глухим, пустынным улочкам и слышали своих преследователей. Стрельба и крики все усиливались. Вот уже ввязались мотоциклисты, зловеще тарахтят где-то сбоку. Сенька с маху бросается через заборы, всем телом сбивает с крючков калитки. В одном из дворов Виктор скинул на землю шинель. Вот уже и окраина, впереди на снежном поле несколько домиков, а километрах в двух – лес. Взрывая сапогами глубокий снег, Сенька поворачивает к новому, еще не огороженному домику, который дальше других выступил в поле. Добежали до него, и тут по черепице звонко хлестнуло пулеметной очередью. Если еще осталась возможность вырваться, то это сейчас, ни секунды не медля, прикрываясь стенами крайнего домика. Пробегая мимо последнего человеческого жилья, Виктор невольно заглянул в окно, и в нем на мгновение вспыхнула неожиданная тоскливая зависть к мирному спокойствию, которое он ощутил в аккуратно расставленных вокруг стола стульях.

Чем ближе были они к лесу, все еще недосягаемо далекому, тем больше открывали себя пулемету. Он уже строчил взахлеб с короткими перехватами. Злобно-торжествующе неслись к лесу светлые искры трассирующих пуль. Снег стал глубже. Вбежали в ложбину, большую снежную чашу. Тут густится забытый клочок березовых кустиков. Пули идут над головой, они точно собираются

там, впереди, на краю снежной чаши, поджидают. И когда выбежали из низинки, тесно сделалось от злого роя пуль. Наперебой строчило уже несколько пулеметов. А кто-то стрелял из винтовки из-за крайнего, из-за „их” домика, стрелял, хорошо прицеливаясь. Теперь они не обращали внимания на пулеметы, а чувствовали только того, кто стрелял из винтовки. Ныряли в снег, поднимались и не могли не ощущать на себе этой единственной винтовки. Виктору обожгло шею, Задыхаясь от усталости и бессильной злобы, он повернулся и стал стрелять в чернеющую возле домика фигуру. Сенька тоже дал очередь. Но оба чувствовали, что тот, кто их вот-вот убьет, – жив. Долго так продолжаться не могло, беглецы видели немцев и полицаев, которые, уже не прячась, стреляли им вслед. А та винтовка все била по ним, точно и размеренно, прижимала к земле. Сенька вдруг странно поглядел на свою руку, и сразу лицо его исказилось страданием и почти детским испугом. Из его перебитой кисти на белый-белый снег упали необычайно яркие розовые капли. Первые капли *их крови* – так это и ощутил Виктор. И тут Сеньку опрокинуло навзничь. Точно острой пилой протянули по его ватнику, клочья ваты забелели и тут же взмокли красным. Виктор схватился ногтями за ворот Сенькиной фуфайки и стал тащить его назад, в ложбину, другой рукой волоча винтовку. Отупляющий тикающий ритм зарождался в нем где-то внутри, стучал в висках и тут же срывался. И когда этот отупляющий ритм начинался в нем, Виктор переставал слышать ноющий свист пуль, переставал сознавать близкую опасность, он двигался и что-то делал почти автоматически. Ритм в висках звучал все настойчивее, срывался все реже. Со странной деловитостью Виктор заглянул в лицо Сеньке и только удивился, какое оно молчащее среди грохота и воя, какое отсутствующее. И еще заметил, как бы без всякого чувства, что у мертвого Сеньки нижняя губа вспухла совсем по-детски, а на побелевшем подбородке – ямочка, которую у живого Сеньки он, кажется, никогда не видел. Стрельба как-то притихла, это заставило Виктора стряхнуть с себя оцепенение: стягиваются, подходят! Он уже знал, что конец скоро, что спастись невозможно. Вспомнил про автомат: остался где-то там в снегу. Но все равно запасных дисков нет. Ладонью взвесил свою сумку. К винтовке патронов много. Погружая голову в снег, он пополз, но не к лесу, а ниже в ложбину, к редким кустикам. Осмотрелся: с одной стороны почти до труб срезанные крыши домов, с другой – гребенка леса, такого далекого. Теперь важно только одно: первым увидеть врага (они уже не стреляют – подходят!), все учесть в какую-то долю секунды, переползать, зарываться в снег, не даваться пулям как

можно дольше и бить, бить по тому, что зачернеет на краю снежной чаши.

Вспомнилось, как в сорок первом, выбросившись из горящего самолета, два месяца прятался в лесу, обидно беспомощный перед теми, что ехали по дорогам. Теперь положение его куда более безвыходное, но чувства беспомощности нет. Он знает тех, в кого будет стрелять, и он будет стрелять, сколько сможет. Виктор напряженно следил за краем ложбины. Вот на границе белого и голубого появилось черное и тут же пропало. Опять появилось – он выстрелил. Зачернело правее, левее, оттуда застреляли. Но его не видели, а он видел. И он бил и бил в черное, пока не приходила уверенность: этот тоже мертв. Лицу жарко, царапина на шее саднит, от рук и винтовки парит, кисло пахнет копотью и мокрым железом. Виктор не может не думать, что коленям мокро, старается ложиться на бок. Что-то мешает под ногой, но некогда вспомнить – что. Наконец сообразил: бутылка, коробочки – аптечное что-то. Надо отбросить подальше, чтобы не стали додумываться, откуда и для кого. Отшвырнул и подумал про женщину, которой все это предназначалось. Хорошо, что останутся люди, которые не будут думать о нем как о предателе. Анна Михайловна ни на миг не усомнилась в нем. Когда она увидела его впервые с винтовкой, подошла и так по-матерински открыто спросила:

– Что ты это, Витик, надумался?

И он, нарушая все правила конспирации, тоже прямо сказал:

– Что там ходить далеко, если оружие выдают здесь, на месте. А зачем я его взял, вы знаете.

Она ответила:

– Я знаю.

И не удивилась нисколько, когда неделю спустя встретились у Денисова…

И тут Виктор подумал про свою мать, с тоской и с чувством вины. Ее увезут, будут бить, а она будет проклинать сына. А если вот так – гранату к лицу, чтобы не опознали. Нет, Хвойницкий все равно видел, узнал. Или не узнал? Рано, еще рано!.. Бесконечный внутренний ритм оборвался, Виктор точно очнулся: *так это правда, что он здесь, среди поля, а они ползут, ползут и скоро убьют его…*

Сколько это уже длится?.. Опять ползет… Куда девались патроны? Неужели он столько стрелял? Осталось две… три… четыре обоймы. С последней надеждой посмотрел на лес: солнце, точно уколовшись о его гребенку, остановилось. Додержаться бы, пока

стемнеет. Стреляют, кажется, и на шоссе. Оттуда несутся струйки трассирующих, обгоняя запоздалый стук пулемета.

На шоссе скопилось много машин. Отсюда не видна ложбина, где затаились партизаны. На поле маленькие нерасторопные фигурки людей. Они толкутся около домиков, наползают на белое полотно поля, но точно не в силах переползти какую-то невидимую черту. И не верится, что это они делают столько грохота. С шоссе все это кажется шумной и непонятной игрой. Немцы, толпящиеся возле машин, понимают, что партизанам не уйти, они возбуждены, смеются, некоторые установили пулеметы на кабинах, развлекаются стрельбой. Уже трудно понять, где там, на открытом поле, могут прятаться партизаны. И все же они живут, и ничего с ними не могут поделать зеленые и черные фигурки, ползающие по полю.

Весь город, казалось, притаился, замер. Вначале прошел слух, что партизаны проникли в город и начали бой. Многие из тех, кого схватили на базаре, воспользовались сумятицей и убежали. Скоро стало известно, что всего лишь один или двое партизан залегли среди поля и отстреливаются. Люди думали о смельчаках с восхищением и с чувством вины: они там одни. Прошел час, второй, они все жили. Солнце осторожно опускалось на колкие вершины леса. Хотелось верить, что ночь поможет смельчакам уйти. Где-то в направлении деревообрабатывающего комбината взметнулся клубистый столб дыма, запоздало прогрохотал взрыв и эхом повторился в лесу. Немцы на шоссе зашевелились, стали рассаживаться по машинам. Фигурки у домов занервничали, заметались. Там к чему-то готовились. И вдруг среди поля вскинулся снег, сухо прозвучали взрывы. Немцы наконец сообразили установить минометы.

Все было кончено. По колено в снегу немцы и полицейские вначале нерешительно, а потом все смелее двинулись через невидимую черту, которую вот уже два часа никак не могли переступить. Не дойдя шагов пятнадцати до убитого, передний полицейский выстрелил, перезарядил и еще раз выстрелил. Видно было, как пуля толкнула тело, припавшее к почерневшему снегу. На партизане – окровавленные клочья одежды, на обнаженном теле – угольно-черные пятна.

Но крупица жизни все еще теплилась в иссеченном и обожженном минами человеке. Она собралась в скрюченной руке, сжавшей гранату под грудью. Кто знает, может быть, ее и не было уже, этой крупицы сознания, воли, может быть, лишь тяжесть тела удерживала пальцы на стальной пластине, затаившей взрыв? И

сколько бы теперь ни вбивали пуль в растерзанное тело, оно ждало того мгновения, когда его осмелятся оторвать от земли.

Партизана окружили. Офицер в высокой фуражке с брезгливостью живого к мертвому врагу ковырнул сапогом откинутую в сторону свободную руку. Молодой полицай нагнулся, чтобы повернуть убитого лицом кверху. Застывшие открытые глаза партизана встретились с глазами врагов, и тут же гулкий взрыв разметал всех. Офицерская фуражка отлетела далеко в сторону и легла около ног протяжно стонущего бородача…

Столб дыма мягко выгибался на другом конце города, теперь уже там потрескивали выстрелы.

…Никто в доме Корзунов не знал, что назревают события еще более грозные. События эти вызревали за стенами дома и в стенах дома. Они созревали в душах людей, которые окружали Толю. И, конечно, Толя не все видел, он не знал об окружавших его людях того, что знали о себе они сами.

За здоровье Бориса Николаевича

О Викторе и Сеньке Важнике много говорят в поселке, особенно в доме Корзунов. Жалеют Любовь Карповну: ее, избитую, заперли в подвале, а утром, когда жители еще спали, расстреляли в лесу. В разговорах не участвуют лишь мама и Надя. У них какая-то своя, молчаливая память о Викторе. У Нади взгляд требовательно-злой. Казик начал однажды:

– Я всегда подозревал, что этот парень не тот…

Надя прервала его:

– Вы себя неправым можете почувствовать? Хоть раз в жизни? Или чуть-чуть растеряться и помолчать? Хотя что я – можешь! Еще как!

– Надя самому богу спуску не даст! – почти восторженно закричал Казик.

Надя только плечами передернула и ушла к маме. Казик занялся гитарой. Лицо его странно отяжелело, что-то злое и мстительное затаилось в уголках рта.

С некоторых пор Казик ненавидит эту женщину с требовательными, нахально-смелыми глазами. О, он хорошо помнит случай, на который она намекает: „можешь!” Тогда эта женщина, быстроглазая, скорая и на улыбку, и на резкое слово, нравилась ему. Может быть, потому нравилась, что он замечал в ее глазах интерес к себе, что в ее присутствии он самому себе казался сложнее, богаче,

ярче. Начиналось хорошо. Он уже провожал ее до порога и был уверен, что скоро переступит его. Правда, с ней всегда надо быть настороже: на слове ловит, о себе лучше и не начинать разговор – сразу наколешься на иронический взгляд. Зато какой заразительный смех у нее, когда ей что-то по душе! И надо же было ему напроситься в провожатые, когда она собралась в деревню к своей тетке.

Всю дорогу им было весело. Казик был в ударе. Потом Надя побежала в дом, а Казик, довольный и прогулкой, и самим собой, уселся на почерневшее от времени бревно под тенистой ветлою. Надя вдруг вернулась и сообщила обрадованно:

– В Зорьке партизаны. Еще застанем. Только быстрее, тут близко…

Это было так неожиданно. Казик сам почувствовал, что на лице у него – испуг. Но он думал о главном, все остальное было в ту минуту безразлично для него. Они могут и сюда прийти! А среди них – всякие. Привяжется какой… Если кто-то уже в лесу, ему кажется, что все там должны быть. Придет время, не сразу же… В конце концов он сам знает, как ему поступать. Вот так сразу, очертя голову, рисковать? И немцы, если узнают, не помилуют. В конце концов глупо!

– Пойдем напрямик, я тут все знаю.

О чем это она? Глупости! Детская бравада! Кому от этого польза?

Казик повернулся и быстро пошел к шоссе, заботясь лишь о том, как бы побыстрее выйти туда, где машины. Конечно, не следовало бессмысленно рисковать, но как-то иначе нужно было вести себя – это Казик понял позже. Но тогда он ни о чем не думал: только выйти на шоссе!

– Не сюда.

Надя схватила его за рукав. Она не поняла. А он бормотал:

– Надо разумно, специально прийти, это дело серьезное…

Он почти бежал, Надя не поспевала за ним. Его слова не убеждали Надю – это он сам понимал. Но все это потом, потом… Только бы на шоссе!

И лишь когда он увидел шоссе, машины, он остановился, обождал Надю. Но она, поравнявшись, не остановилась, прошла вперед. Теперь уже она бежала, точно стараясь как можно скорее добраться до места, где можно разойтись. Казик что-то говорил вслед ей, догнал, начал шутить. Но теперь ему не удавалось удержать взглядом ее глаза: вскинет их на миг, пристальные и одновременно какие-то застекленевшие, и тут же отведет в сторону.

Уже тогда это возмутило его. Какое всем дело до того, как он поступает? Он не идет и не пойдет к немцам, и это отлично знают,

остальное никого не касается. Что за дурацкий контроль за всяким шагом, поступком человека? Кто они такие, чтобы давать оценку его поведению? Привыкли своими примитивными мерками людей измерять. И та, аптекарка, все кислится, это она настраивает всех. Еще не известно, кто каким покажет себя.

С того дня с Надей все расстроилось. Разговаривает с ним она всегда с издевкой, не скрывая своего пренебрежения. Теперь в ее присутствии он уже не чувствует себя ни ярким, ни интересным. И он уже почти ненавидит эту капризную бабенку. Злость на нее, на всех, кто заранее не прощает ему проступков, которые он не совершил еще и, конечно, не совершит, поднималась в нем. Неприязнь росла и к Павлу, хотя он, кажется, не с ними. Но Казик чувствовал, что этот может стать его самым опасным, самым прямолинейным недругом, если усомнится в нем, в Казике. Это неясное для него самого опасение даже в снах присутствует, и там оно определеннее, а неприязнь к Павлу острее. Его преследует один и тот же сон. Будто они вдвоем где-то высоко-высоко. Ступни ног едва помещаются на маленьком скользком пятачке скалы, а кругом пропасть, доверху налитая холодным туманом. Все тело напряжено, чтобы не соскользнуть. И пока стоишь одеревенело, пока не скользят ноги к краю – это такое блаженство! Хоть бы и век стоять вот так, не шевелясь, ничего не желая, только бы не скользить, не сорваться, не падать вниз. Но рядом еще кто-то (смутно чувствовалось, что это Павел), он без конца вертится: то повернется боком, то присядет и вниз посмотрит. Вот-вот столкнет! И все спрашивает: про Повидайку, про Шмауса…

Мама не только жалела Виктора, она словно ждала нового удара. Лицо всегда серое; утром, не завтракая, уходит на работу, и лучше не заговаривать с нею.

И правда, беда не ходит одна. Схватили ветеринара Кричевца. Мама стала как тень. Из Больших Дорог, где жандармерия, передали: „Пусть не беспокоится, хотя спрашивают и про нее, но я все отрицаю. Выдал Захарка".

Иначе он и не мог поступить: Толя верил в замкнутое с тонкими женскими бровями лицо Кричевца. А Захарка снова всплыл.

Приходила сухая, похожая на бабушкину икону, мамаша Леоноры приглашать „мадам Корзунову" на свадьбу. Видно было, что она искренне просит „не обидеть": очень ей хочется, чтобы у дочери на свадьбе побольше было обыкновенных гостей, чтобы все было обыкновенно, хотя жених – полицейский. Мама обещала прийти. Оказывается, Надю тоже звали. Она прибежала посоветоваться. Мама сказала:

– Сходим, Надюша. Говорят, бросишь за собой – найдешь перед собой.

Это теперь любимая фраза мамы.

Под вечер Надя явилась шумная, глаза блестят.

– Какая ты! – одобрила мама ее зеленое платье, когда Надя сбросила пальто.

– Это ничего, что я так вырядилась? Что нам прибедняться перед ними, правда?

Интересно у этих женщин, подумал Толя, надела хорошее платье и сама стала какой-то новой. И стройная, как девочка, и глаза другие – как бы чуть-чуть застенчивые, что для Нади совсем необычно.

– Ужинайте, – сказала мать и увела Надю в спальню. Слышно, как там открывают шкаф, сладкий запах нафталина перебивает даже аромат тертого конопляного семени, в которое все макают горячую картошку. А за стеной самый что ни есть женский разговор:

– Поотносила в деревню все свои тряпки. А это пожалела. В нем я была, когда Ваня уходил, сын тогда приехал. Кажется, сто лет уже с того дня.

– Наденьте, Анна Михайловна, ну я прошу вас.

– Выдумщица ты, Надя. Оно же не для зимы. Да и широкое теперь будет.

Потом послышалось восторженное Надино причмокивание:

– Вот бы вам в нем!

– Ну что мне? Это ты уже старайся невесту затмить.

– Почему Виктор считал ее красивой? Ломака, и все.

– Ах, вот что! Некому вас будет сегодня сравнивать, Наденька.

– Не надо так, Анна Михайловна. Я все же иду, будто он там и она там. Нет, не то. Просто хочу этим обалдуям сделать перед носом вот так.

– Не пересоли только.

– Не бойтесь. И потом… (Надин голос растерся в шепот).

– Ну, туда это не обязательно.

– А для меня это как на самый большой праздник. И хорошо, что я так оделась. Думаете, отчего мне и весело так сегодня? Не от их же свадьбы. А не опоздаем потом?..

– Надо не опоздать. А что молодым в подарок отнести? Самовар понесешь ты, а я вот этот материал. Самое лучшее, что осталось. Будем, Наденька, политику делать по-нашему, по-бабьи.

– Потехи там будет!

– Ты смотри у меня, не забывай, что я начальство.

Надя в ответ звучно чмокнула свое „начальство” и выскочила в столовую.

– Какая мама ваша сегодня! Идемте покажу.

Все гурьбой ввалились в спальню.

– С ума ты сошла, – встретила мама ее выходку, по неудовольствие на ее лице борется с каким-то стыдливо-радостным, несмелым румянцем. Надя хлопочет около маминых медово-светлых, по-прежнему густых волос.

– Ну что за смотрины? Идите за стол, – говорит мама.

Но никто не уходит. Бабушка с любопытством смотрит из столовой.

– Доброе платье, – соглашается и она.

– Ой, бабушка! – закричала Надя под общий смех. – А разве невестка ваша – нет?

– Чаму ж не? – торопливо поправляется бабушка, но на лице ее написано: „Моему сыну и не такая подошла бы”.

И сразу тень легла на лицо мамы, складка над бровями глубже прорезалась. Уже без всякого интереса она заглянула в зеркальную половину шкафа.

– Идите, я переоденусь.

Встречала гостей мать Леоноры. В кухне жарко от ламп, от немецких плошек и все же темно – так тут накурено. Анну Михайловну и Надю мать молодой приняла особенно предупредительно. Анна Михайловна была спокойно-вежлива, Надя выжидательно и неопределенно улыбалась. В двух передних комнатах толкутся жены полицаев. Лица торжественные, говорят шепотом, как в доме, где есть покойник. Из комнаты, где стоят столы, вышел Хвойницкий. Поцеловал руку у Анны Михайловны. Остальных не заметил.

– Моя там, с молодой. Я проведу вас к ним.

Хвойницкая, занявшая полдивана, сидит под фикусом с темными листьями, странно похожими на развешанные зачем-то галоши. Энергично обмахивается платочком и радостно жалуется невесте:

– Я никогда такой не была, милочка, не могу дышать!

Легкий белый наряд идет Леоноре, даже уродливая высокая прическа не мешает ей быть красивой. Но глаза заплаканные, недобрые. Она выходит за начальника полиции – коротышку с резким голосом, чтобы не ехать в Германию. Знает, что ее еще более невзлюбят. (И старая Вечериха и Леонора уверены, что все завидуют их умению жить „чисто”, „культурно” и потому не любят их.) Но в

конце концов Зотов все же получше тех молокососов, что остались в поселке. Можно было бы заключить с кем-либо из них фиктивный брак – некоторые спасаются так от вербовки. Но теперь уже поздно, а раньше ее оскорбляла даже мысль, что кто-то из этих сопляков будет играть роль ее мужа, хотя бы и не настоящего. Еще хорошо и то, что не Фомка какой-нибудь принудил выйти за себя.

Были когда-то совсем другие надежды, ничем не похожие на случившееся. Но разве мало переменилось? Сама та жизнь, которая учила ее чему-то другому, так много обещала, не устояла, отступила.

Леонора проплакала не одну ночь, она даже пугала свою мамашу лесом. Она знала, что никуда не уйдет, но и за это почему-то злилась на нее же, на свою мать.

Гостей Леонора отказалась встречать. Все равно они или завидуют ей, или ненавидят. „Что нужно этой объевшейся корове?” – думает она, глядя на Хвойницкую.

– Физкультурой займитесь, – вырывается у нее откровенно злое.

– Физкульту-урой? – оскорбилась тяжелая, как печка, Хвойницкая. – Это вас, комсомолок, научили разным гадостям.

Но тут же, сообразив, что негоже так разговаривать с женой начальника полиции, изменила тон:

– Это вам, молодым, а мы так.

Надя с грубоватым любопытством рассматривала молодую, ее наряд. Леонора глухо ответила на поздравления, поджала губы и поднялась со стула. В дверях стоял Коваленок. Звонким голосом спросил:

– Молодую уже целовали?

И, разгладив свои ниточки-усики, сочно поцеловал. Леонора лениво отстранилась, поправила фату.

– Оставьте свои полицейские галантности.

– Некультурный ты, Разванюша.

Это произносит, и вполне серьезно, Ещик. Он давно уже трется около столов, не в силах совладать со своим бесформенным носом, который, как стрелка компаса к магниту, все время повернут к бутылкам.

– Это тебе не с кацапками твоими, там ты все руками. Комендант говорил, что у нас в фатерланде…

– О, там у нас все культурно! – подхватил Разванюша. – Я знал одного камрада, так он, прежде чем прирезать пацана какого, всегда нож нюхал: не пахнет ли селедкой.

– Это ты про что? – повернулся Хвойницкий.

– Учу, господин бургомистр, Ещика нашего селедкой закусывать. Начинать бы, господин бургомистр, а то Ещик от слюны опьянеет.

Уныло длиннолицый Хвойницкий смотрит на Коваленка с одобрением: горит все на парне, столкни, говорят, такого в прорубь – выскочит с ершом в зубах. Он и пану коменданту по душе, не зря комендант доверяет ему брить себя каждое утро.

Любуется Разванюшей и Надя: вошел он, и как-то посвежело в комнатах, словно впустили с улицы морозец. Коваленок заглянул в смеющиеся Надины глаза, слегка подмигнул, как бы одними зрачками, и вот голос его уже в кухне. От нечего делать Надя и Анна Михайловна пошли следом.

Дверь в сени почти не закрывается. Вошли Жигоцкие. Старуха сразу полезла целоваться к Вечерихе.

– Мы так рады за нашу Леонору! А где хотя наш молодой, наш Петенька?

Похоже, что старуха по-соседски набивается к зятю Вечерихи в родные тетки. Согнутая, будто под тяжестью собственной широкой, как дверь, спины, Жигоцкая ласково тянулась губами, узеньким носом, всеми морщинами широкого желтого лица к теще начальника полиции. В эту минуту она удивительно походила на тяжелую черепаху, которая жалко вытягивает голову вперед, как бы не в силах сдвинуть с места свой панцирь.

– Петр Кузьмич пошел пана коменданта приглашать. Раздевайтесь, пани Жигоцкая.

Сказано это было не очень тепло: Вечериха, кажется, не расположена делиться с соседями своим влиятельным зятем. Но Жигоцкая будто и не замечает этого.

– Мы так рады…

Старик Жигоцкий, как вошел, сразу заговорил про то, какой мороз был тридцать лет назад. А Казик, едва сняв с головы шапку, взялся скоблить голову и продувать на свет расческу. Надя сегодня усмехается всем, но Казик принял это на свой счет и, обрадованный, подошел к ней. Полунамеками стал издеваться над „полицейским балом”.

В кухню, уже забитую шинелями, полушубками, пальто, ввалилось еще несколько человек.

– Часовых через час менять. Начальник приказал.

Это Пуговицын командует от чужого имени. Он в кожанке, летный шлем плотно облегает его голову: ни дать ни взять – футбольный мяч. Немигающими дырочками глаз он оглядел всех и ни

с кем не поздоровался. Казик невольно поежился от этого взгляда. Темные, точно в маске прорезанные, дырочки угрожали: „Хотя ты мне сейчас не интересен, но я о тебе не забыл, знай это”. Рядом с Пуговицыным стоит с ушанкой в руке и как-то чудно, торопливо улыбается (есть такие, что улыбаются как бы „скороговоркой”) лысоватый человек в белом полушубке. Анна Михайловна увидела его, и брови у нее напряженно сошлись, а человек еще поспешнее заулыбался, и теперь именно ей.

– Вы не знакомы, Анна Михайловна? – с неожиданной услужливостью представил его Пуговицын. – Мой швагер. От бандитов чуть ноги унес. Пришли, а он говорит: с женой прощусь. Да в другую комнату, да в раму головой. Стреляли по нему. Давно я ему говорил. Думал, отсидится от них.

– Мы с Анной Михайловной коллеги, – сказал лысоватый человек, ослепляя женщину коротенькими улыбками. Брови у него так и носятся вверх, вниз.

– С Захаркой мы давно знакомы, – подтвердила женщина и как бы объяснила этим свою невнимательность: она тут же отвернулась к Хвойницкому, не заметив протянутой руки Захарки.

– Парочку ламп можно задуть! – весело закричал Разванюша, когда Пуговицын обнажил бритую, очень круглую, отливающую глянцем голову. – Глядите, как подмолодил я нашего Пуговицына, – жених, и все.

Пуговицын не сдержал довольной улыбки:

– За мной не пропадет, сказал – поставлю чемергесу.

Молодого все не было. Полицаи толкались по комнатам, жадно оценивая снедь, выставленную на столах. По военному времени она богатейшая. А питво – запотевшие бутылки самогона, заткнутые тряпицами или просто сеном, и лишь там, где будет сидеть комендант, – вино. Лампы со всей улицы собраны, и видно, что на бензине: хотя и соли понасыпано, все время вспыхивают.

И вот все засуетились, зашептались. Вначале в спальню пронесли – и очень торжественно – шинель и офицерскую фуражку, потом в комнату вступил высокий немец, у которого все удивительно узкое: плечи, голова, носок сапога. На голове белая, будто марлевая, и тоже узкая полоса лысины. Это комендант. За ним еще несколько немцев. Из-за спины коменданта, словно игрушечный, выскочил жених. Поправляя в кармане кителя бумажный цветок, подвел коменданта к молодой. Под восторженное полицейское „ах!” у невесты была поцелована рука. В горячке коменданта усадили на место жениха. „Узкий” немец что-то сказал Шумахеру.

– Пап комендант вдовец и не собирается снова иметь семейное счастье, – перевел Шумахер без тени улыбки на лице.

Полицаи дружно, но в меру хохотнули. Комендант опустился на стул. Вечериха рядом с ним посадила Надю и „мадам Корзунову” – это „чтобы пану коменданту культурнее было”. Вначале трудились в полной тишине, полицаи и их жены слушали торжественные тосты с набитыми до отказа ртами. Скоро все осмелели, стало так шумно, что только Разванюшино „горько” и можно было расслышать.

Комендант пьянел. А Надя совсем обнаглела: пристала, чтобы он объяснил ей слово „блицкриг”. Анна Михайловна решила вмешаться. Она предложила коменданту выпить за его детей. Соседи вынуждены были состроить умильные рожи. Комендант, вдруг как бы протрезвевший, достал блокнот и показал фото двух девочек. Анна Михайловна посочувствовала детям, у которых нет матери. И все это говорилось так просто, по-женски, без тени заискивания, что комендант сначала удивился, а потом поднялся и предложил выпить „за умную и культурную женщину справа”. Шумахер перевел как-то особенно охотно. Бургомистр просто-таки прослезился, полез целовать ручку у „мадам Корзун”.

– Я им всегда говорил, мадам Корзун, я знаю, такая семья с... это... бандитами не будет знаться... Если бы муж ваш... это... вернулся, я бы и за него...

Через стол потянулся чокнуться и Шумахер, смущенный и радостный. Воротник у него совсем на голову наползает.

Комендант вдруг уставился на старуху Жигоцкую.

– Партизан! – показывает пальцем комендант.

– Уйдите, – приказал бургомистр, – пану коменданту некультурно от вас.

И Казику:

– И ты тоже. Кто их сюда посадил?

А Надя опять завладела комендантом, она уже поила его самогоном, немец удивленно смотрел в стакан, кривился; но пил. Марлево-белая лысина мертвит узкое лицо коменданта. Он что-то выкрикивает, но Шумахер уже стесняется переводить. Надя вдруг начала что-то втолковывать коменданту. Тот словно сам из себя вывинтился: угрожающе навис над столом. Пьяные голоса приутихли. Шумахер перевел:

– Пан комендант говорит, чтобы все выпили за здоровье отца его соседки. Как?

– Бориса Николаевича, – подсказала Надя.

„Она – Александровна, почему Бориса?” – мелькнуло в голове у Анны Михайловны, а когда поняла, строго поглядела на Надю, а Надя озорно блеснула ей очами и поднялась, приготовившись чокаться. Над столами уже властвовал голос Разванюши:

– За Бориса Николаевича, слышали, что сказано вам!

Полицаи гурьбой повалили к Наде, а она уже взобралась на стул и, кажется, вот-вот пройдет по столу, швыряя грязные тарелки им в лица.

Весело было ей сверху глядеть на полицейскую и немецкую свору, пьющую за здоровье партизанского командира, которого она сегодня увидит. И особенно хорошо, что и Анну Михайловну захватило ее мстительное озорство: она улыбается Наде и глазами показывает на часы.

Скоро идти, а комендант, как назло, опять начал трезветь. Пришлось Наде заняться им. Когда немцы и молодой увели коменданта, в доме началось такое, что в самый раз было незаметно ускользнуть. С трудом оделись. Казик помогал Наде. Но тут подоспел Разванюша, сказал ему „спасибо” и увел Надю следом за Анной Михайловной.

Чистый, морозный воздух сладостью налипает в горле. Анна Михайловна и Надя свернули в темную улочку, отставший было Коваленок догнал их. Снег аж кричит, свистит у него под сапогами, полушубок тонко перетянут в поясе. Схватил Надю в охапку и поцеловал. Она пьяно припала к нему и тотчас со смехом оттолкнула:

– Анна Михайловна смотрит.

Пока шли по обычной дороге к дому, смеялись, разговаривали как можно громче.

– Хальт! – глухо окликнули их из бункера.

– Коваленок! – звонко и немного хвастаясь перед женщинами, отозвался Разванюша. Но его голос на самом деле признали.

– О, Ванья, гут, гут…

Потом молча пошли к лесу.

Толя проснулся и, хотя почувствовал руку на лице, не испугался. Эту руку он узнавал и во сне. В детстве он всегда спал, крепко обхватив ее, а когда отец подсовывал свою, чтобы дать маме отдохнуть, просыпался и протестовал плачем:

– А-а, большая, не мамина!

Толя беззвучно, чтобы не услышал брат, поцеловал пахнущую хвоей и талой водой ладонь. Она чуть-чуть задрожала у него на губах.

– Спите, детки, скоро утро.

– Мама…

– Что тебе?
– Ты сегодня видела их?
– Спите, детки, потом.
А утром мама подозвала Толю к окну, показала:
– Видишь – женщина, вот, что под деревом. В белом платке.
– Вижу, вижу.
– Это жена Кричевца. Тебе удобней, чем кому. Подойди, будто случайно. Она ожидает. Скажи, что его убили. Ты понял?
У мамы текли слезы.
– Скажи, повесили.
Женщина стояла лицом к шоссе, прижимая к дереву пустую корзинку. Думая лишь о том, что вот он, связной, несет человеку важную новость, Толя подошел к женщине, как убийца, сзади и обрушил на нее:
– Передали, что Кричевца повесили…
И сразу Толя утонул в испуганных женских глазах. Беспомощно барахтаясь в них, он пояснял шепотом:
– Из Больших Дорог сообщили. Это точно.
Женщина медленно пошла в сторону завода.
– Сказал? – спросили его дома.
– Да, – отозвался Толя. Но у него было такое чувство, будто он сделал что-то нехорошее. „Это точно" – ух, дурак набитый! Правду мама говорит, будто игра все это для него. А у женщины какие страшные глаза сделались…

Поселок из окна комендатуры

В поселок привозили и бесплатно раздавали газетки на белорусском языке, в котором, однако, многие слова наспех перелицованы по образцу немецких. Танк, например, именуется: „баявы панцырны ваз". Хозяева („спадары") газеток утверждали, что это именно тот язык, на котором мыслят настоящие („щырые") белорусы. Белорусы весело удивлялись.
В газетках много всяких слов о довоенной жизни. Вначале обругивались и революция и Ленин, но потом писаки, будто поняв, что такое „не срабатывает", занялись больше рисованием человека с усами, да еще колхозами.
Из номера в номер какой-то „Дед-всевед" упражнялся насчет „бандитов", баял про земельную реформу, „общины", про райскую жизнь в Германии и в плену, про доброту фюрера. Особенно убедительными были рисунки и надписи о раздолье плена и о

душевности Адольфа Гитлера. Фотография: фюрер осторожно переступает неловкого утенка. И надпись очень трогательная: „Фюреру можно доверить свою жизнь”.

Еще фотография: чистые, лазаретного типа комнаты, под белыми простынями отдыхают военнопленные. Но пленным, оказывается, приходится иногда и потрудиться, это подтверждается снимком: человек в солдатском обмундировании ходит с лопатой вокруг цветочных клумб и криво как-то улыбается (видимо, ему неловко только и делать, что спать, есть да с цветочками возиться). Вот и соответствующая надпись: „После сытного обеда и сна хорошо и потрудиться. Через труд к свободе!”

По-другому рассказывают газетки про „бандитов”. Встают они поздно, злые с похмелья, лохматые, вшивые. С помощью крепких ругательств сговариваются, какую деревню ограбить. Через полчаса в ближайшем селе – это село неразумно отказывается сдавать молоко и мясо „законным немецким властям” – визг, стрельба. Но вот на дороге появляются грозные „баявыя панцырныя вазы”, „бандиты” бегут, бросая награбленное. Немецкий офицер берет на руки ребенка и грозит им вслед.

Даже непонятно, для кого все это пишется. Нет, кажется, есть люди, которые на происходящее смотрят именно так. Тот же Хвойницкий. Он вполне убежден, что вместе с немцами борется за высшую западную культуру против варварства, насаждаемого большевиками. О, культура – слабость бургомистра! В волостной управе стоит большой кованый сундук. И не с чем-нибудь, а с книгами. Книги сельсоветские, их каким-то чудом не сожгли, хотя из библиотечных и школьных Порфирка устроил костер.

Переступит волостной порог баба и застынет, пораженная: как замурованный, сидит бургомистр за столом, обложенный стопками книг, только макушка и уши торчат, а за ушами темные оглобельки очков. На корешках книг есть и „большевистские” названия: „Тихий Дон”, „Разгром”, „Янка Купала”, но этого бургомистр еще не разглядел (он подбирал книги по толщине и по цвету). Баба терпеливо ждет.

– Ну, это, чего надо? – доносится наконец из-за книжной стены. – Если про налог – выметайся.

– Раз сдали, а то и еще раз. Где ж тут наберешься?

– А для бандитов есть? Для партизан, это, находишь? Для своих бандитов, говорю.

– Где мне, бабе дурной, разобраться, которые бандиты, которые не.

– Оружия много?

– У кого?

– Закогокала. У бандитов, спрашивают тебя. Какое оружие?

– А дуже я разумею. Все больше талерки.

– Большие? Ну, тарелки, это, твои, большие или маленькие?

– А почему маленькие? – обижается баба. – Вот такие большие.

– Что это тебе – решето? Таких не бывает. Пулеметы, значит.

– Пулеметы, батюхна[10], и я говорю, что пулеметы.

– Все вы бандиты, – гундосит бургомистр, – убирайся. Скоро в гости приедем, научим вас, это. Ты что там бормочешь?

Хвойницкий знал, что он и минуты бы не протянул, съешь он то, чего ему такая вот баба нажелает. Он и полицейским своим не верил. Все они, если даже и не снюхались с партизанами, готовы сжить со света его, Хвойницкого. Такой вот Пуговицын слопает и не моргнет. Щука, зубастая щука! Может быть, поэтому Хвойницкий способен ценить и даже защищать тех немногих из людей, в ком он уверен, особенно если это „тоже культурные люди", которым мешали жить. Например, мадам Корзун. Ей несладко доводилось, хотя и докторша. А как раскулаченные любят Советы – это он по себе знает. Ей можно доверять. И ее нельзя не уважать: она никогда ни о чем не просит, разговаривает просто, без всякой хитрости и без скрытой враждебности, которую он, Хвойницкий, ох как умеет угадывать. Вот почему, когда схватили ветеринара Кричевца и хотели заодно прибрать семью докторши, он воспротивился. И это был, пожалуй, единственный случай, когда его мнение совпало с тем, на чем настаивал и Шумахер – этот слюнтяй и заступник всех бандитов. Комендант же своего понятия не имеет, его можно куда угодно повернуть.

Такого мнения о коменданте был бургомистр. А у коменданта было свое суждение о тех, кто окружал его.

Комендант считал себя более опытным и тонким политиком, чем те начальники гарнизонов, которые в страхе перед партизанами так взмутят вокруг себя воду, что сами уже не в состоянии разобраться, где свой, а где действительно враг. Таких-то и подрывают в их собственной спальне, и как раз те, кому они особенно доверяют.

Вода должна быть прозрачной – это его правило, немецкий комендант должен видеть жизнь местного населения, как в аквариуме – со всех сторон и насквозь. Вслепую действуют только эти тупицы эсэсовцы, которые умение подменяют старательностью и трусливой жестокостью, опасно озлобляющей местное население.

---

[10] Батюшка *(бел.).*

Эти выскочки-эсэсовцы, считал комендант, не хотят знать, что история началась не с них, что они лишь продолжают начатое без них и до них. Они не хотят знать про опыт истории и полагаются лишь на силу и свою преданность фюреру. И в большом и в малом они действуют только силой и жестокостью. Да, он сам – всего лишь начальник гарнизона в каком-то селении. Его оттерли. Но на любом посту он обязан исправлять то, что портят они, – это его долг перед Германией. Нужно так поставить дело, чтобы русских (здесь они почему-то называют себя „бело-русскими") постепенно становилось все меньше, но при этом нельзя разгонять их по лесам. Надо так осуществлять политику очищения территорий от „неполноценных", чтобы живые оставались на месте. Даже мирные коровы, почуяв кровь своей сестры, могут взбеситься, сделаться опасными. А тут люди – и скольких уже загнали в партизаны. Теперь попробуй достань их! Нет, их следует извлекать по одному: тысячи, десятки тысяч, но всех по одному, чтобы у оставшихся сохранялась вера в то, что карают только за вину, надо, чтобы общую для всех их опасность они осознали лишь тогда, когда уже поздно будет, когда Германия выиграет войну и все можно будет делать по окончательному большому плану. Как выразился близкий к фюреру руководитель: потом можете котлет наделать из этих украинцев и белорусов.

Комендант способен был ценить нужных ему людей за те качества, которыми они могли быть наиболее полезны. Он не требовал фанатизма от Шумахера, хотя он и немец, не заставлял его делать грязную работу: бить, расстреливать. У него имелись люди, которые только это и умели делать, – бургомистр, Пуговицын... Переводчик Шумахер незаменим в другом: он немец, неглуп и знает местные условия, он не имеет здесь личных врагов и потому не преувеличивает опасность, не видит в каждом жителе партизана. Когда он рядом, как-то спокойнее и, главное, можно здраво разбираться в степени влияния партизан, оценивать обстановку. О Шумахере имеется и другое суждение, но им приходится пока пренебречь. Шумахер слишком долго жил среди этих советских и не избежал, к сожалению, их влияния. У коменданта имеется специальная инструкция, где о таких „разложившихся" немцах сказано, что они, даже не являясь коммунистами, имеют совершенно неправильное представление о взаимоотношениях внутри рейха, а также о национал-социалистских лидерах. Им непонятно чувство дискриминации.

Ненавидящий всех и везде подозревающий бандитов бургомистр, с одной стороны, и переводчик Шумахер – с другой, помогают коменданту (так ему кажется) ориентироваться, находить

нужную середину. И комендант уверен, что он не плывет по течению, а делает небольшую, но свою активную политику.

И лишь когда и бургомистр и переводчик в один голос принялись защищать женщину-аптекаря, которую в профилактических целях следовало послать в концлагерь, комендант усомнился в точности своих ориентиров. Никогда такого не случалось, чтобы эти двое о ком-либо говорили одинаково. А тут на тебе: почти головой ручаются! Что там за женщина такая? Комендант согласился, что пока можно и не трогать эту семью. Отпустив бургомистра и переводчика, он позвал к себе Пуговицына, которого давно выделял среди полицейских. Его всегда поражали глаза этого человека. Как мог, мешая русские и польские слова, объяснил ему: следить за аптекой, за семьей Корзунов. Круглые дырочки-глазки смотрели на коменданта с такой жабьей, почти завораживающей внимательностью, что хотелось встряхнуть головой, чтобы *отклеиться* от этого взгляда. Круглая голова полицая, вынесенная вперед на длинной птичьей шее, поворачивалась туда, где находился расхаживающий по комнате комендант. „Ну, этот не выпустит!" – подумал немец.

Комендант не знал, что женщина, которая чем-то понравилась ему на свадьбе у начальника полиции, когда заговорила о его детях, – и есть та самая Корзун.

Семейное событие

Двое суток в доме творится что-то необычное. В зале надрывается, кричит кто-то чужой, ничем не похожий на тихую, стеснительную Маню, а все домашние ходят с лицами, на которых не разберешь, чего больше: сочувствия или удовольствия. У мамы на глазах слезы, а на губах нет-нет да и проскользнет улыбка. Толю гоняют то за Владиком, то за водой. Вернулся, а тут уже полный дом улыбок. И нет того страшного крика. Почти торжественно мама разрешила всем войти. Толя втиснулся последним и прежде всего увидел белое-белое лицо на подушке, от этой белизны подушка кажется желтой. Рот не то радостно, не то обиженно кривится.

Алексей уже повис над чем-то там, причмокивает. За ним лезет и Нинка со стеснительностью барышни, но от детского любопытства у нее даже язык на губах. Павел гладит руку Мани. Из кухни выглядывает бабушка: ей и тут некогда.

Мама, перекладывая кугукающий сверток с руки на руку, сказала:

– Посмотрите, ну разве плохие мы, некрасивые? Не бойтесь, на вечеринках у порога не будем стоять.

Все засмеялись. Оказывается, Маня, когда увидела девочку, заплакала обиженно, точно ей подменили:

– Некрасивая какая!

Толя поглядел на сморщенное красное личико, на широкий, ловящий воздух рот и в душе согласился с Маней.

Но это, конечно, не его дело.

Вечером пили за здоровье нового члена семьи, подбирали имя, которое через полтора десятка лет для кого-нибудь, возможно, будет самым красивым.

Я так и знала

– Мы сделаем у вас обыск.

Толя и Павел в спальне. Как гром звучал для них чужой голос, а Павел все еще держал в руках пачку листовок. Скулы у него забелели, будто обмороженные. Толя быстро приподнял одеяло. Павел сунул туда листовки – это все, что они сообразили сделать…

Среди зала Пуговицын, за ним, заткнув собой дверь из кухни, бесстрастный немец с винтовкой на плече. Не глядя на Алексея, который стоит у окна, на Маню, застывшую над детской кроваткой, на Казика, который сидит на диване, Толя как-то видит их сразу всех и себя среди них – бледных, оцепеневших. Глядит Толя на одну маму: она спасет, она не может не спасти! Лицо у матери серьезное, а глаза чуть удивленные, она стоит против Пуговицына, не то заслоняя что-то, не то удивленно приглашая: „Пожалуйста, хотя и странно, что вам именно нас захотелось обыскивать”.

– Мы информированы, что в вашем доме есть оружие и листовки.

Пуговицын говорит медленно, явно наслаждаясь общим оцепенением.

– А вы, товарищ Жигоцкий, – слово „товарищ” он произносит с растяжкой, – что здесь делаете?

Казик вскочил так, что гитара гулко стукнулась о стол, и выбежал.

– Вот так, – растягивает слова Пуговицын, – значит, ваш товарищ по работе сообщил нам, что ваш шурин собирается в банду. Я должен сделать у вас, мадам Корзун, обыск, осмотреть дом.

Заговорила мама. Она заговорила почти спокойно. Единственное, что очень огорчает и удивляет ее – это людская несправедливость:

– Конечно, есть люди, которым завидно, что мы такой семьей не пухнем с голоду, – вот и топят нас. Разве могу я вам что-либо доказать? Был бы Иван Иосифович, может быть, постеснялись бы так, он всем столько делал.

Голос матери точно обволакивает того, перед кем она стоит, мешает ему приступить к делу, ради которого он явился:

– Вы человек подчиненный, господин Пуговицын. – При этих словах полицай протестующе откинул голову, а мама продолжала: – Я не могу на вас быть в обиде. Но все это так незаслуженно…

Пуговицын словно вырвался из-под связывающих, виснущих на нем слов, сделал шаг в сторону и оказался лицом к фотографиям. Нога его – рядом с бельевой корзиной, куда Павел вчера положил две гранаты.

– Где сейчас доктор, ваш муж? Не думает он, что все вот так.

Мать вдруг упала локтями на стол и зарыдала. Это уже не страх, не хитрость, а только обида, горькая обида на жизнь, которая так беспощадна.

– Мама, не надо, ну, – хочет оторвать мамино лицо от стола Алексей, а она больно сжимает лицо руками и рыдает страшно, рыдает вся.

Улыбка проступила на лице Пуговицына, крепко стянутом летным шлемом. Так проступает болотная вода под тяжестью ноги. И так улыбается человек – из глубины, мечтательно, – слушая музыку. Плач женщины – о, в этом Пуговицын знаток! И он умеет растянуть удовольствие.

Полицай ходил по комнате, ни к чему не прикасаясь.

Перед ним, Пуговицыным, плачет жена доктора Корзуна – это не каждый день бывает. „Ну, как тебе нравится такое, товарищ Корзун? Смотришь с портрета и улыбаешься. Улыбайся, улыбайся – заплачешь! Ты грозился Захарку под суд отдать: привязался, что не так чье-то дите померло у Захарки. Завидовал, что он фельдшер, а лучше тебя, доктора, жить умел. То-то ж! А я вот, что захочу, сделаю с твоими”.

Но Пуговицын колебался.

Из-за этой семьи он наживет себе опасных врагов. Он может много неприятностей причинить Шумахеру и бургомистру, которые, он знает, ручались за эту семью. Но он их не свалит этим. А они, если объединятся, сделают с ним, что пожелают.

Но Пуговицыну надо было оставаться хозяином положения, хозяином своих решений.

– Тяжело вам, мадам Корзун, без поддержки, – заговорил он. – Был бы ваш муж, его тут уважали. Не будь такого доктора, и я не стоял бы перед вами сейчас. – Пуговицын, кажется, уверен, что его тут счастливы видеть. – Я тут решаю. Сказал – что подписал! Я не буду наносить такого оскорбления семье доктора. Пока я верю вам – будьте спокойны. Только нужно знакомых выбирать лучше.

Нерешительно и с некоторым сожалением Пуговицын повернулся уходить.

– Вы не куркули, вот за что вас уважаю. А то лезут… Ах, раскулачили, ах, мы ученые, образованные!

Наткнулся на истукана-немца в дверях и, точно очнувшись, со злостью сказал:

– Если еще одно заявление, не спасут вас никакие защитники.

Ох, как охотно он возвратился бы и перевернул тут все вверх дном. А женщина, идя за ним до самого порога, говорила и говорила, не давая ему передумать:

– Как же так, господин Пуговицын? Не могу же я запретить кому-то не любить нас. Если кто решил ни за что погубить, он и дальше будет это делать.

Ну и мама, она уже на будущее страхуется!

– Друзей выбирайте, вот что вам скажу. Куркули – они всегда куркули, – непонятно отозвался Пуговицын уже в сенях. Будто мяч пронесли – проплыла в окне его круглая в летном шлеме голова, потом – голова немца в наушниках.

– Сейчас же в печку, – распорядилась мама.

Бабушка удивлена: прямо на сковородку нашвыряли каких-то бумажек и ворошат их кочергой.

А если впрямь вернутся? Почему Павел ничего не делает с гранатами? Толя показал глазами на корзину.

– Ночью отнес, – прошептал Павел.

– Сгорело? – спросила мама, опускаясь на стул. Пот сразу облил ее виски, даже шею.

– Тебе плохо, Аня? – виновато спросил Павел.

– Боже, боже, как я только выдержала!

– А ты, мама, правда, артистка! – восхищается Толя. – Какая у него голова круглая была, когда уходил.

– Какая голова? – не поняла мать. Обессилевшая от пережитого ужаса, в отчаянии от того, что могло случиться и что еще может случиться, мать заговорила:

– Ну вот, видели, как легко можно пропасть? И надо было тебе, Павел, приносить их в дом. Сколько раз я говорила, так вы все злитесь. Видите как.

– А что это за товарищ по работе? И куркули какие-то? – вслух подумал Алексей.

Перебирали всех, даже Разванюшу. В словах Пуговицына искали иносказания, намека. Не мог же он так просто и брякнуть: „товарищ по работе", имея в виду кого-то из работающих на шоссе.

– Казик тоже работает с вами, – говорит Маня. Но это она говорит назло Павлу, в отместку за пережитый страх. В такое и мама не может поверить. И все же, на кого он намекал?

Забыв про завтрак, пошли на работу.

Казик уже сбрасывает в канаву снег красивыми широкими взмахами. Воткнул лопату, но тут же взял ее и пошел навстречу. Чем ближе подходил, тем больше радости было на его лице.

– Все благополучно?

– Кто-то донес, – ответил Павел. – Не я буду, если не дознаюсь. Пол-литра этому Пуговицыну, выпьет – все скажет.

Казик – очень как-то безразлично – отозвался:

– Может и не сказать или скажет, но не на того.

„Почему он так говорит?" – невольно подумал Толя, не придавая, однако, большого значения ни сказанному, ни своему недоумению.

– Я не говорил дедам. – Казик кивнул в сторону Голуба и Повидайки.

Все выяснилось неожиданно скоро. Пришли на обед. На пороге встретила мама:

– Говорила я тебе, Павел, а вам казалось: дурная баба. Вот вам Жигоцкие, учитель и все. Я так и знала…

– Ага, вот почему он говорил, что на другого Пуговицын может сказать! – Но никто не понял Толиного восклицания.

– Остановила меня хозяйка Шумахера и говорит: „Остерегайтесь сына Жигоцких, он нечестный человек". И Коваленок передал, что утром приходила в полицию старуха.

– Она от него, – первый высказал Павел то, о чем подумали все. – Сидел на диване и уже знал.

– Поцелуйся иди с ним, – шипит плачущая Маня, – лучший друг тебе, дурню, был.

И правда, нашел с кем откровенничать! Толя поглядел на Павла почти неприязненно. И не узнал Павла: кожа на лице как бы огрубела, подергивается, а глаза сощурились, жесткие.

После обеда Казика на работе не было. Увидев, что Алексей рад этому, Толя рассердился. Пусть Жигоцкий теперь боится встречи!

Утром Казик пришел, как будто и не произошло ничего. Похвалил морозец. Закурил у дедушки, очень громко и с подробностями рассказал бабушке про то, как вчера в обед отравила его мамаша какой-то тухлятиной.

– А где хлопцы ваши? – спросил с плохо скрываемым страхом в голосе.

Бабушка пояснила, что пилят дрова. Из столовой Казик направился в зал, чтобы еще раз пройти через кухню и убедиться: случайно или не случайно не ответила на его „доброе утро” Анна Михайловна. Лицо у нее какое-то пылающее, красное, но это может быть и от печки. В зале – жена Павла. Наивно-враждебный взгляд ее, испуг и порывистое движение, с каким выхватила она Таню из колыбели, когда Казик захотел почмокать ребенку, – это заставило до конца поверить в страшную догадку. Знают! Глазам стало жарко. Казик схватился за расческу и стал приглаживать волосы, закрываясь локтем от Мани. Он что-то говорил, хотя Маня уже вышла с плачущей девочкой, Казик сел на диван, но он знал, что нужно идти в столовую, где уже слышны голоса хлопцев. Он должен быть таким, как всегда, – в этом спасение. Знают, знают, тот негодяй, конечно, рассказал! А что ему… Сам в грязи и других рад измазать. Но как Корзуны думают, если знают? Конечно, думают, что он, Казик, донес. Наконец он решился выйти в кухню.

– Хочу водички испить, Анна Михайловна.

Женщина не отозвалась и теперь, занятая сковородой.

Желание убедиться, что он все же ошибся, было так неодолимо, что Казик пошел навстречу тому, чего больше всего боялся:

– У того негодяя были подозрения, да?

Резко повернулась к нему женщина, и Казик увидел, что не от печного жара пылает ее лицо.

– Есть хорошие люди, которым наша Танька жить мешает.

Казик не принял вызова.

– Да, всякие есть, а у этих политика такая – людей столкнуть лбами, – забормотал он. Казик видел в дверях хлопцев, он знал, что ни одному слову его не верят, но не говорить он не мог, как тонущий не может не барахтаться. – Вы заметили, он и меня назвал „товарищем”. Это не случайно – угроза!

– И нам он говорил про какого-то товарища по работе, – отозвался Павел, упершись взглядом в мечущиеся глаза Казика.

– Иезуиты они – это точно. Хотят поссорить людей. Пойду я, до работы надо помочь бате. Я вас по дороге догоню.

Он почти бежал через поле домой, чтобы увидеть ее, старуху, чтобы сказать, испугать, отомстить…

Не успели Корзуны позавтракать, как Жигоцкий прибежал опять. Казик не мог не быть тут, ему казалось, что, пока он тут, не все еще потеряно. Ему хотелось верить, что он в чем-то сможет их разубедить, если будет таким, как всегда: веселым, шумным, уверенным в себе. Пусть хотя бы внешне все останется по-прежнему: а иначе как же тогда жить?

Цена стакану молока

Началось с мелочи, как начинается в жизни многое очень важное. Старик Жигоцкий неосторожно повернулся около табурета, на котором стоял стакан молока, приготовленного для затирки. Ему влетело от старухи.

– Отстань! – отмахнулся старик. – Зараза!

– Чтоб у тебя мясо отстало.

– Когда этому предел будет! – возмутился Казик.

Попало и ему. Полнясь обидой и злостью, Казик напомнил:

– Кто вам и что вам! Вы сыном готовы были откупиться тогда, за проволокой. Корзуниха своих хлопцев сама услала в лес – это мать. Давитесь вы тут всем, уйду и я с ними!

– На бандюков тех все глядишь? Чую я, откуда это паскудство в мой дом идет. С них все горит. И тебя сманивают. Я знаю, что мне делать, чтобы тебя, дурня, от петли отвести.

– Но, но, – испугался Казик, – не вздумайте чего.

Не будь этих слов, старуха, может быть, и ограничилась бы пустой угрозой. А тут она как бы сообразила что-то: сразу притихла и что-то обдумывает, помешивая в чугунке.

На следующее утро Казик уже и думать забыл о происшедшем (каждый день что-либо подобное в доме бывает) и потому немного удивился, когда старуха пошла доить и вернулась с пустыми руками.

– Что за наслание на меня, доенку забыла, – спохватилась она и вывалилась назад за дверь.

Вернулась с молоком, цедила в кувшины, как бы заслоняясь квадратной вздутой спиной. Когда ставила на стол завтрак, не жалея влила сметаны в растопленное сало. Старик даже крякнул от удивления. Казик тревожно следил за лицом матери: кирпично-

красное, с налитыми мешками под глазами, оно скрывало и не могло, не хотело скрыть какое-то внутреннее торжество.

– Получат свое.

Так и есть.

– Вы ходили?

– Куда? – не понял старик.

– И ходила и сказала. И про то, что сына сманивают, и про Павла твоего.

Казик, дрожа весь, вскочил:

– Папа, слышите? Да вы же погубили и меня!

– Будто я не знаю, как сказать? Сказала, что сын меня послал.

– Ты что это надумалась, ведьма? – разобрался наконец и старик. Первый раз в жизни он толкнул жену. Старуха ударилась об угол шкафа, на миг промелькнули в глазах ее недоумение, страх, но тут же завизжала, обливая всех проклятьями. Старика вынесло за дверь. Казик бросился за ним.

Батька и сын долго стояли возле колодца, заглядывали в его мерзлую, черную пустоту, ругали старуху и испуганно прикидывали: как же дальше, что из этого будет? Ничего так и не решили.

Казик взял деревянную лопату и направился к воротам.

– Прямо на работу? – как бы между прочим спросил старый Жигоцкий.

– Не знаю, – отозвался молодой Жигоцкий, – посмотрю.

К дому Корзунов Казик подходил с пугливой готовностью застать его пустым, разгромленным. Заходить опасно, схватят и его, а выпустят ли – еще не известно. Шел вдоль забора и косился на окна. Нет, не так выглядит дом, где побывали *они.* Вот и Нинка выбежала, выплеснула на огороде помои на чистый снег и – назад.

Казик завернул во двор. Вошел и поздоровался немного сиплым голосом, но, как обычно, весело. Анна Михайловна повернулась от печки.

– Посидите, Казик, хлопцы еще не завтракали. Проспали мы.

– Поспешай медленно, сказал мудрец. Еще расчистим немцам дорогу, пусть только драпают побыстрее.

Чистое лицо Казика улыбается, выражает удовольствие, беззаботность, внимание, интерес. Казик что-то говорит, смеется, щелкает пальцами перед косящими глазенками девочки. Но это все не он. Он – холодное, зябкое, испуганно ожидающее. Сейчас пройдут за окнами через двор, откроют дверь – и тогда… А может быть, все это неправда, никуда она не ходила? Казик подолгу останавливается на этой мысли, она помогает ему заглушать не очень сильное

побуждение: предупредить, сказать. Но сказать – значит и самому взойти на судно, которое несется на скалы и вот-вот разобьется… А может быть, старуха только грозила? Опять и опять, как бы даже нарочно, возвращался Казик к этой успокаивающей мысли.

Но он знал, что придут. Сидел с гитарой на диване и ждал.

А перед его глазами текла жизнь большой семьи. Во всех комнатах разговаривают, стучат, астматически отхаркивается дед. Алексей с улицы таскает воду в бочку. Анна Михайловна что-то втолковывает старухе. Маня, стыдливо отвернувшись, кормит дочку. В спальне приглушенно смеются Павел и Толя.

Когда вошли те, кого он ожидал, показалось, что пол накренился, что все поползло к одной стене, а когда на него прикрикнули („товарищ Шигоцкий!”), он выскочил за дверь с таким чувством, с каким покидают тонущее судно.

Но произошло невероятное. Их даже не обыскивали. Можно подумать, что за тем лишь и приходили, чтобы сказать про „товарища по работе”, предупредить. Судно осталось на поверхности, и все осталось, от чего Казик освободился бы, если бы оно навсегда скрылось под водой… И вот он день за днем бегает в этот дом, что-то говорит, чему-то смеется, боясь отойти от глухого деда, потом вместе с хлопцами идет на работу и тоже говорит в пустоту (ему не отвечают), а на шоссе прилипает к Повидайке и опять смеется, громко, чтобы все слышали.

Видимо, страшно было бы заглянуть в душу этого человека, целыми днями торчащего на глазах у людей, которые знали его в лучшие времена, а теперь имеют право смотреть на него как на предателя, негодяя, и даже не скрывают этого. Вначале лишь жалкое что-то и беспомощное было в его метаниях. Потом все чаще стало прорываться озлобление.

Казик все меньше помнил, с чего началось. Чувство вины за старуху и особенно за то, что он сидел тогда и ждал, постепенно исчезало. К нему возвращалась уверенность: не им судить его! Да какое они имеют право считать его предателем, делать из него черт знает что? Да, да, именно делать из него предателя! Казик на них не доносил и не донесет. А остальное – его дело. И кто бы еще, а то недобитые кулачки! Он-то не доносил на них, а вот они хотят погубить его, бросить тень на него. А тем, в лесу, много ли надо? Сразу поверят, что предатель. Вот, вот, именно они его и стараются утопить!

Такие мысли все больше овладевали им, особенно когда он шел домой после целого дня пытки. Казик уже не чувствовал себя в чем-то виноватым. Виновата эта семейка перед ним. Ох, как он ненавидел

их за тот страх, который ни на минуту не оставлял его теперь. Это не был страх человека, идущего навстречу опасности. Это был другой страх, который догоняет человека сзади, виснет на нем… И самое страшное: он не знал, чего бояться, где поджидает то, что обязательно – он это чувствовал – настигнет его.

Посреди базара его остановил Пуговицын и с какой-то мстительно-подлой улыбочкой угрожающе сказал, не очень заботясь о том, чтобы не услышали посторонние:

– Вы там смотрите, если Корзуны сбегут в банду, вы ответите. Вот так, *товарищ* Жигоцкий.

Казик понял, что ему грозят всерьез. Корзунам что – соберутся и уйдут, а отыграются эти негодяи на нем, они давно на батьково добро зарятся. И, конечно, кто-нибудь услышал это дурацкое, подлое приказание Пуговицына. Сейчас же передадут. Казик почти бежал к Корзунам, полнясь страхом, негодованием, обидой. Он попал в какой-то тягучий клубок и чувствовал, что, чем больше барахтается, тем безнадежнее запутывается. *Да, да, нужно искать связь с партизанами, доказать, кто он такой, доказать делом.* Об этом Казик подумал привычно красиво и даже с увлечением, как думал и говорил не раз. Но это была все та же привычная боковая дорожка, по которой до этого он так легко шел в жизни, дорожка *параллельная* всему хорошему: по ней так нетрудно идти на уровне чужих страданий и дел, чужих мыслей и даже можно быть малость впереди. Но теперь эта параллельная дорожка никуда не вела, она вдруг кончилась. Оставалось или самому выйти на ту общую дорогу, на которой теперь столько невзгод и кровавых случайностей, или… Нет, нет, он должен вернуть себе возможность жить, как жил, он должен убедить эту семью, что они страшно ошибаются, обидно, возмутительно ошибаются.

Бледный, решительный, весь искренность и негодование, почти вбежал в дом:

– Какая наглость! Не поверите, на какую наглую выходку осмелился этот Пуговицын? Останавливает меня на базаре: „Следите за Корзунами…”

Анна Михайловна слушала его с холодно-непроницаемым лицом, на миг глаза ее вспыхнули:

– Ну что ж, они знают, кому и что поручать.

Шаг, ему казалось, искренний, решительный, могущий все поставить на место, не был оценен, принят. Казик сам не знал, как должна относиться к нему эта семья после того, что произошло. Он только чувствовал, что туча, которая чуть не разразилась грозой над

их домом, передвинулась и нависла над его домом, над его головой. И он искал, просил, требовал у них помощи. Но перед ним встала стена, глухая, непроницаемая. Казик подозревал, что за стеной этой что-то предпринимают, может быть, против него. Теперь он вынужден радоваться, что дом его рядом с комендатурой. Вот до чего дошло. И все из-за этих. Подпольщиками себя возомнили! И вещи начали исчезать: посуда из буфета, патефон. Кто им поверит, что никелированную кровать они продали? (Казик уже не мог не присматриваться.) Впутали и его, теперь сбегут, а бобики за него возьмутся: они давно слюной давятся, видя батьковы ульи и все другое.

Казик не видел выхода. И утром и вечером он торчал в доме, куда ему было страшно приходить, небритый, исхудавший, со злым отчаянием в глазах. Но ему необходимо было знать, что они еще здесь.

Алексей, краснея, обходит его взглядом, младший улыбается и чмыхает, как еж. Павел, кажется, вот-вот произнесет какую-то угрозу. Маня открыто бегает от него с дочкой, точно он собирается зарезать ее девочку, сама Анна Михайловна встречает его появление с напряженной, тревожной ненавистью в глазах, словно ожидая от него еще чего-то.

Одна лишь бабушка, немало пораженная неожиданным интересом Казика к ней, поддерживает с ним разговор, да еще с дедом можно в карты сыграть. Легче, когда в доме есть кто-нибудь посторонний: Янек, Владик. Страх и какая-то мстительность опять и опять гнали Казика к Корзунам. Все чаще он ловил себя на том, что действительно присматривается, следит за ними. Не для Пуговицына, конечно, совсем нет! Но Казик не может не присматриваться, так как все, что делается в этом доме, может заключать смертельную опасность и для него. Он даже под кровати засматривал (не исчезают ли чемоданы?), старался уходить как можно позже, будто этим мог помешать им собраться, сбежать в лес. Дошло до того, что он уходил, а потом возвращался под окно. Когда он сделал это первый раз, сам до холодного пота испугался. Сам себе сделался гадок. Но и это лишь подогрело в нем мстительную ненависть к людям, которые вынуждают его на такое. Да, да, это они превратили его чуть ли не в шпика, эта семейка!

Человек постепенно привыкал, внутренне приспосабливался к той грязи, в которую он окунался. Все чаще вспыхивало желание отомстить кому-то за все, что приходится переносить ему самому. Это желание становилось таким острым, что Казик уже решался идти навстречу еще более открытому презрению и ненависти. Увидев, что

патефона не стало, он спросил с выразительным намеком, который мог прозвучать как угроза:

– А где ваша музыка?

Он обращался к Нине, но так, чтобы в кухне услышали. И там услышали. В дверях появилась Анна Михайловна. Она вдруг показалась Казику какой-то торжественно высокой.

– В починку отдали. Понимаете, в ремонт. Можете так и передать.

Будто раскаленного воздуха хватил Казик. Тут уже и слов не выбирают.

После этого случая Жигоцкий вел себя почти нахально. Он больше не делал вида, что не замечает ничего и ни о чем не догадывается. Он приходил, садился на диван, играл на гитаре, шел следом за хлопцами на работу, как бы нарочно здоровался и говорил „до свидания", хотя знал, что ему не ответят.

И вот два дня он не показывался. Услышали: Казик женился. До войны он ухаживал за старшей дочерью мастера стеклодува Василевского, а теперь вдруг взял и женился на младшей. Когда появился – не узнать его. Говорит, смеется. Будто черту подвел под всем, что было до этого.

– В том, братцы, и фокус, ухаживать так, чтобы не знали за кем. Вот был у нас в Вильнюсе…

Но фокус, кажется, был в другом. Хотя бы с одной стороны, но Казик немного обезопасил себя. Человек решил семьей обзаводиться. Про такого не будут думать, что он в лес глядит. И слово теперь будет кому закинуть перед комендантом. На свадьбе были „полезные" гости: бургомистр и еще человека два.

– Да какая там свадьба? Война все-таки!

Говорит это уже почти прежний Казик. И вид у него другой: выбрит, выглажен.

Сталинград приходит в поселок

Зима входила в силу. Ночью сухой морозный ветер, точно песком, шуршал по стенам. На шоссе – твердо сбитые ветром переметы.

Фронт сегодня – это Волга, город на ее берегу. Газетки захлебываются речами фюрера. Обычные рассуждения о провидении и его избранниках (не стесняясь, фюрер заявляет, что он и есть избранник судьбы), а сквозь это бормотание прорывается выкрик игрока, который, не заглядывая ни в карту, ни в карман, идет ва-банк. Этот выкрик в газетках выделен жирным шрифтом: „Чей

Сталинград – того победа”. Совсем неожиданно это пророчество сделалось популярным, его повторяют: все видят – не дается Гитлеру Сталинград, люди верят – не дастся.

И когда свершилось там, на Волге, об этом, как тогда о разгроме под Москвой, люди заговорили как о чем-то всеми загаданном.

У комендатуры на шоссе толпятся немцы с газетками, что-то горячо обсуждают. О чем они говорят, жители знают. Люди из окон посматривают на немцев с газетками, а у самих листовки в руках. Листовки – советские. Чей Сталинград – того победа? Ну что ж, пусть будет по-вашему!

У Корзунов листовок уже не держат. Но Павел побывал у Лиса и сам сделался листовкой: в памяти его отпечаталось каждое слово и все до единой цифры. Толе радостно видеть маму такой улыбающейся. Вопросы ее чисто женские:

– Дивизия – это много?

Дружно множат количество дивизий на тысячи солдат – получается даже больше чем триста тысяч.

– Ого! – удивляется мама.

Казик явился и с порога:

– Слышали? Теперь им до границы катиться без передышки.

Он говорил, как бы закрыв глаза (хотя и смотрел), здорово хохотал над неудачником фюрером, будто изо всех сил старался заставить не верящих ему людей поверить, что Сталинград – их общая радость. Постепенно Казик увлекся, его понесло:

– Нет, нельзя сидеть ни минуты без дела. Если бы я знал, с кем связаться…

Мама не выдержала:

– Я не уверена, что этих слов не слышит тот, кто может их сегодня же передать кому-нибудь. Прошу вас чувства свои выражать у себя дома, там занимайтесь патриотическими разговорами.

И снова будто горячего хватил Казик. Лицо его сразу отяжелело, загнанно и мстительно блеснули глаза. Но он смог еще сказать:

– Да, да, осторожность нужна. Забегу-ка я еще домой. Муж как-никак, дома жена с завтраком.

И засмеялся даже.

На работе в этот день Казик держался в сторонке, Повидайка и тот не мог вызвать его на болтовню.

Жигоцкий сосредоточенно сдвигал к кювету обмякший от теплого ветра снег и думал. Что им от него надо? Ну, не арестовали же их тогда, и не он в конце концов доносил. Какое они имеют право считать его тем, кем они его считают? И кто они сами, эта семейка,

почему отношением к ней должен измеряться патриотизм Казика, его честность? А ведь так и будет. Придут наши, и окажется, что Жигоцкие предатели, помогали немцам. Нет, в самом деле, кто они такие, эти Корзуны? Или этот Павел? Режет снег на правильные порции – и тут лавочник виден. Живет тем, что скажет последняя листовка, ничего своего. А небось считает, что Казик менее его понимает, кто такие фашисты. Только и думает, как бы расправиться с „немецким шпиком”. Или те соплята – тоже подпольщиками себя мнят.

Особенно младший. Сочинил или услышал стишок и каждый день лезет в глаза с ним. Называет это „полицейской похоронной”. Слова такие, что начинаешь сам повторять их: „Скоро конец войне: немцы – „до матки”, партизаны – „до хатки”... Куда ж – мне? Куда – мне, куда – мне?..”

А про саму Корзуниху Казик и вспоминать не может без внутренней злой дрожи. Что давало право ей не верить ему, Казику? Он чувствовал ее настороженное ожидание давно. Да и магазинщик этот говорил не раз, сам возмущался ее „бабьим отношением к делу”.

Будущее, сама жизнь его зависят от того, что в головах у таких вот людишек. Нет, надо освободиться от этого кошмара, как угодно, но все должно быть, как прежде. Ведь дико: приходится бояться возвращения Красной Армии. А он ли не верил, не ждал! И вот теперь, когда – Сталинград, ему приходится бояться. Действительно, кошмар какой-то. Нет, надо... Он снова и снова возвращался к мысли, которую боялся додумать до конца.

Вечером он долго колебался. То жена мешала, то отец. Старуха уже взобралась на печь: трещит лучиной, перешептывается с богом. Но все получилось как-то само собой. Батька пожаловался:

– Ложись и бойся, что спалят. Наделала чертова баба.

С печи донеслось:

– А что мы, наша хата с краю.

– Про то и говорю, что от леса. И комендатура не спасет.

Тут Казик и сказал то, что обдумывал весь день:

– Павел ихний в лес собрался, я вижу. Придет и пустит с дымом – вот что вы натворили. Им что, никто их не тронул, не обыскали даже. И член партии, а ничего.

На печи затрещала сухая лучина, будто бревна по ней катают.

Казик не спал долго, закрывал лишь глаза, когда просыпалась Лена – жена. Но старуха так и не сползла ни разу с печи. А подойти и шептаться с нею в хате он не решался. Она, конечно, утром пойдет, но опять не к тому и не то скажет. Нет, не следовало про то, что Павел партийный... Это уже что-то совсем другое, не одной семьи Корзунов

касается. А он должен, он просто вынужден, да, да, его вынудили, и он должен избавиться от тех, кто хочет сделать, кто делает его „предателем", „немецким холуем".

Проснулся – в доме ни души. Лена тоже куда-то ушла, к своим, наверно. Всегда уходит к себе домой так, точно убегает. Боится она старухи. Казик оделся, заглянул в сарай, в погреб. От гумна батька идет. Старуха уже калитку закрывает. Говорит батьке, что ходила базар посмотреть. Но Казик знает, где она побывала. Не сговариваясь, они уже вдвоем скрывали что-то от старика.

Разве поймешь эту маму

От предельного напряжения, когда человек, кажется, сгорает, в душе у него образуется твердая корка, которая сберегает остаток сил, помогает держаться, делает человека если не спокойным внешне, то сосредоточенным. Так жила мать с той минуты, когда узнала о гибели Виктора, а потом об аресте Кричевца, и особенно после посещения дома Пуговицыным. Она вставала раньше всех, готовила завтрак и уходила на работу, не завтракая. Обедать приходила вечером.

А тут случилось такое.

Собирались обедать. Как всегда, без мамы. Но пришла она. Очень расстроенная. Обращаясь ко всем, сказала:

– Вы только подумайте! Старики наши вздумали картошкой торговать. Титу три корзины тайком продали.

Толя захохотал: бабка, видно, решила снова копить на „черную годину".

– Я из сил выбиваюсь, такую семью надо держать, на волоске все, а тут еще они... – закричала мать на бабушку и, разрыдавшись, ушла в спальню.

Толе сделалось стыдно за свой дурацкий хохот. Он страдал. Он просто ненавидел бабку, которая и теперь хотя и смущена, но что-то сердитое быстро-быстро шепчет. И к Павлу недоброе чувство шевельнулось. „Они" – это и он тоже, сколько из-за него лишних тревог у мамы. Павел нерешительно шагнул вслед за мамой. Маня удержала его сердито:

– Сиди уж хоть ты!

Дедушка вздыхает на всю хату, не по себе ему. И как это втравила его бабка в такую коммерцию? Бабка что-то там колдует над ним.

– Уйди ты, га-адина! – гаркает дед.

– Ти-ише, дурень старый, – шипит бабка, выметаясь на кухню.

Алексей хватает шапку и бежит из дому.

С опухшими веками ушла мама на работу. Толя видел, как следом за ней на аптечное крыльцо взошел батя Разванюши.

Сидели за столом, глотали, запивая рассолом, горячую картошку: бабка не всю успела продать. И вдруг вернулась мама, позвала в зал.

– Ну вот, попались!

Сказала она это, не владея от отчаяния голосом, и потому могло даже показаться, что она удовлетворена своей правотой.

– Вот что значит не слушаться меня, дурную бабу. Я же знала, кто такие эти Жигоцкие. А вам все казалось... Сегодня опять приходила в полицию старуха, заявила, что ты, Павел, собираешься в партизаны, что член партии.

Павел стоял, опустив глаза, лицо Мани белело ужасом.

– В полиции был Коваленок и еще один. Но кто знает, кому она еще сказала или скажет. И Коваленка подведем. Что делать, что делать?

– Уходить, – сказал Толя, но его точно и не слышали, возможно, потому, что слишком много воодушевления было в его голосе.

Павел молчал. Он знал, что расправа грозит не только ему. Он уже понимал: немалая вина за то, что может случиться со всей семьей, ложится на него. И потому он не хотел решать за всех. Мать оценила его честное молчание. Она как-то даже успокоилась.

– Схожу к Шумахеру, разузнаю.

Но тут же снова вернулась. Кто-то ей встретился по дороге. Оказывается, видели, как сегодня утром Жигоцкая ходила к Пуговицыну домой.

– Что же делать, Аня? – дрогнувшим голосом спросил Павел.

Каждую секунду во дворе могли появиться *они.* С невыносимой тоской мама повторяла его же слова:

– Что делать, что же нам делать? Почему я должна все одна? Все на меня, опять на меня! Боже мой!

– Уходить, и все тут.

Но мама Толю не слышит. Плачет, спрашивает опять и опять, укоряет кого-то за невыносимую тяжесть, за беспомощность перед тем, что вот-вот может случиться:

– Почему вы молчите? И тут ничего вы не можете!

Алексей отозвался наконец:

– За домом, конечно, следят. Надо ждать ночи.

Мама пошла к старикам. Сердясь на их растерянность, она пыталась втолковать им, что немцы собираются людей вывозить и

потому надо одеться потеплее, подготовиться. Бабушка заохала и вознамерилась к соседям бежать, чтобы побожкать на людях. Уже в сенях догнала ее мама, схватила за руку и почти втянула в кухню.

– Ты что? Погубить детей мне хочешь? Чтобы ни шагу из дому!

В голосе, в глазах мамы столько жесткой решимости, что бабушка аж попятилась. Так же сердито командует мама всеми. Толе обидно, что в такие минуты, когда их могут навсегда разлучить, маме точно видеть его неприятно.

– Не слоняйтесь вы, помогай Алексею… чемоданы не ставьте вместе, сразу видно, что собрались выносить… там на кровати белье, наденьте по две пары…

Ночь еще далеко. Тревога растет. Все кажется в этот вечер не случайным. Неспроста сегодня часовой вздумал разгуливать по шоссе от комендатуры до самого дома. И этот немец на лыжах будто и не нашел другого места, где он может раз за разом падать… Полицейские ходят по шоссе, и очень уж безразличные у них физиономии.

Но вот часовой больше не показывается, залез за колючую проволоку. И лыжник убрался. Почти поверили: сегодня они не придут. Павел сбегал к Лису, вернулся оживленно-деловитый. Лисы тоже уходят. Лесун подъедет через час-два.

Одетые, стояли у окон. Мама время от времени заходит к старикам и старается объяснить им, почему нужно все бросить и уйти. Старики пугливо соглашаются, чтобы только не рассердилась невестка, но заметно, что не понимают, почему нужно уходить из теплой хаты в морозный лес, тяжело вздыхают.

– Куда мы их потащим против зимы, – жалуется мама. Неожиданно говорит Павлу: – На всякий случай, если что не так получится. Значит, разругались мы, ты уходишь жить к Лису. Оставь там записку.

Звучит это наивно, но чем больше обсуждают детали этого примитивного спектакля о рассорившейся семье, тем больше мама верит в возможность его успеха.

– С обидой только напиши.

– Хорошо, Аня.

– У Лиса ты решился и уходишь куда глаза глядят.

– Хорошо, Аня, напишу так.

Толя возмутился:

– Дураки они, чтобы поверить!

Но мама, конечно, полагается не столько на текст спектакля, сколько на свое исполнение главной и самой опасной роли.

– Давай, мама, пойдем, – уже просит Толя.

– Хорошо, детки. Вот Артем подъедет.

– Приехал! – испуганно сообщила Маня.

По-ямщицки ловко Лесун развернулся с санями под стеной дома. И надо же так близко жить от комендатуры!

– Не стойте вы, быстрее, – приказывает мама.

– Шибче, шибче, – доносится из-за калитки густой шепот Лесуна. Уже Маня с закутанной в одеяло Таней сидит в розвальнях, швырнули несколько узлов, чьи-то чемоданы.

Лесун не выдержал, сани сорвались и пропали в темноте.

– Догоняй их, – взволнованно шепчет мама.

– А ты, Аня?

– Беги за ними. Мы потом... посмотрим... утром. Не забудь, Павел, про записку, – шепчет мама в темных сенях.

– Сделаю, как договорились. На столе или на дверях оставим. Прости меня, Аня, если что не так.

– Берегите Таньку.

– Спасибо тебе, Аня, за все. Я, может, не очень в людях понимаю, но что ты за человек, разбираюсь.

Павел еще помедлил, потом быстро вышел из сеней и исчез за калиткой.

Вернулись в дом, сразу ставший чужим, враждебным. Мать села на кровать и тяжело молчит.

– Не волнуйся, мама. Это Алексей.

– Ой, детки, а если завтра всех нас заберут?

– Не заберут.

Толю из себя выводит уверенный тон брата. Он смутно угадывает, *что* успокаивает и маму, и старшего брата. Ему тоже начинает казаться, что без неосторожного Павла будет безопасней. Столько лишних тревог принес он в дом, что уход его воспринимается как облегчение, хотя именно это – теперь самая большая опасность.

– Куда я вас и стариков поведу, зима же, – говорит мать неуверенно.

– Подумаешь, зима! – возмущается младший. Он думает об одном: „Так здорово было бы – сегодня же стать партизаном!”

Старший думает еще кое о чем:

– А Коваленок как, а Надя?

И мать о том же беспокоится:

– Так неожиданно все, ничего не успели. Договоренность была, что я всю аптеку вывезу. И без этого нас примут, но все же…

Мать помолчала, потом, будто споря с кем-то и одновременно спрашивая, сказала:

– Нет, боюсь я за вас, детки. Уйдем лучше, правда?

– Все за нас и за нас! – запротестовал Алексей.

До утра еще далеко – это немного успокаивает. И поскольку не сейчас уходить, мама не может не сказать:

– Ляжьте, детки, поспите немного.

Как будто самое главное теперь – отдохнуть. Но все же, не раздеваясь, прилегли, раз ничего не решено.

Так и уснули незаметно. Толя, кажется, слышал, как мама подсаживалась на кровать, отходила и опять садилась.

Казалось, ночь будет длиться бесконечно. И вдруг – уже утро. Свет ломится в комнату, распирает щели ставен. Мама сидит у себя на кровати, над плечом ее широкое бледное личико Нины.

– Боже, что это мы? – с ужасом спрашивает мать.

Она всю ночь не спала, столько раз готова была разбудить детей, стариков и опять передумывала. Мертвая, темная тишина за стенами дома завораживала, уже казалось, что ничего непоправимого не произошло и не произойдет. Главное, чтобы не арестовали сразу, под горячую руку, когда узнают, что Павел и Лис ушли. Тот механизм связей, влияний, симпатий, антипатий, который не раз уже выручал, может спасти и на этот раз. Остаться, когда половина семьи ушла, – шаг настолько отчаянный, что именно это может заставить бургомистра и коменданта поверить, что женщина действительно ничего не знала о намерениях своего шурина. Опять и опять рисовала мать сцену, как ее спросят, что и как она будет отвечать. При этом она плакала. Это не было только репетицией. Она не могла не плакать, даже когда мысленно говорила кому-то, от кого могла зависеть жизнь ее детей, что ничего нет на земле такого, ради чего она стала бы рисковать ими.

Был самый надежный выход: до утра оставить поселок. Чтобы спасти Павла, она собиралась уйти в лес всей семьей. Но Павел уже далеко. И не о нем теперь думала женщина. Опасность висела над ее детьми. И еще она думала, что, если уйти, будут допрашивать Надю (работали в аптеке вместе), может раскрыться и то, что Коваленок скрыл донос Жигоцких. Анна Михайловна знала, что, если она останется и сумеет отвести опасность от своего дома (после всего, что было, женщина готова была верить, что это ей удастся), она отведет опасность и от других. А этих других уже очень много. Чем труднее становилось получать в городе медикаменты, доставлять их в поселок, переправлять партизанам, тем более сложной сетью людей, связей обрастало это дело: и Лесун, и Комарова – учительница из Заболотья, и

старая подруга Мария Даниловна, и механик гаража Ларионов, и заводской конюх…

Была договоренность, что перед тем, как уходить, Анна Михайловна получит в городе как можно больше медикаментов и все это будет вывезено в лес. Уже не один килограмм сала и не одна тысяча марок переданы в руки „нужных людей". Делалось это в такой форме: „И вам и мне жить надо, достаньте мне дефицитных медикаментов, я передам их врачам, они получат от больных продукты, поделятся со мной, а я – с вами. А пока вот вам аванс – сало, марки, мед". При самом свирепом контроле приобрести медикаменты можно. Спекулируют все: от ночного сторожа до пухлого шефа-эсэсовца. Но столь же легко и попасться, нарваться на доносчика.

И вот теперь из-за Жигоцких срывается дело, на которое потрачено столько нервов и столько партизанских денег. Не удастся взять даже то, что есть в аптеке. Там, в лесу, может быть, ничего и не скажут, только удивятся такому внезапному ее появлению с семьей. При последней встрече в Зорьке она пожаловалась, что трудно стало работать. Ей хотелось лишь услышать в ответ, что в любой момент, когда станет совсем опасно, ее семью заберут в лес. Это успокаивало, давало зарядку нервам. Блеснув исподлобья белками, партизанский контрразведчик Кучугура именно это и сказал:

– Если можете, поработайте еще. Там вы нам больше нужны, чем здесь. Ну, а если нельзя…

– Что значит нельзя? – возразил незнакомый Анне Михайловне партизан с удивительно прилипчивыми глазами. Кучугура обращается к этому партизану отчужденно-официально: „Товарищ Мохарь". У „товарища Мохаря" все новое: желтая кожанка, которую он не снял, хотя в хате было жарко, напаха с блестящей, точно из магазина, лентой, новенький автомат, который он положил на стол перед собой и все трогал. – Что значит нельзя? – повторил партизан, строго глядя на Анну Михайловну. – На это есть дисциплина.

– Меня не дисциплина сюда привела, – ответила ему Анна Михайловна.

Кучугура, будто и не слыша их разговора, еще раз сказал:

– Как только вы скажете, мы вас заберем.

Не будь с нею детей, она решилась бы остаться. Но – дети! Она достаточно рисковала, никто не может требовать, чтобы она, мать, вот так дико оставляла детей на расправу. Никто не имеет права даже ожидать от нее этого. Не ее вина, что все так сложилось. Предупредить Надю – пусть решает, как ей быть, – и тут же уйти.

Мать вставала, подходила к сыновьям, намереваясь разбудить их. Садилась на кровать, слушала их ровное, спокойное дыхание. Такая ночь, а они уснули. Взрослыми себя считают, а сами – еще дети. Или у них такая вера в то, что она, мать, знает, как поступить, что предпринять! Вот она их поднимет, скажет: „уходим", и они с радостью соберутся, скажет: „останемся", и они вместе с нею будут ожидать возможной расправы. „Детки мои, знали бы вы, как тяжела мне эта ваша вера!"

Мать знала, что рано или поздно она поведет детей в партизаны. Но когда пришлось решать – сегодня, сейчас, ей стало страшно. Ей вспомнились белеющие на подводах тела партизан, которых привезли тогда к комендатуре. Среди убитых были новички, они и от хат своих не успели отойти: еще на рассвете матери собирали их в партизаны. А что, если и она как раз подставит детей под ту случайность, которую те несчастные новички могли бы и обойти, если бы пошли одним только днем позже. Как только она и сыновья ее оставят поселок, они поменяются ролями. Не она, а дети будут каждый день лицом к лицу с опасностью, на них, таких неосторожных и неопытных, все ляжет. Это придет рано или поздно. Но лучше, если – позже. Хотя и страшно рисковать оставаться после того, как семья стала „партизанской", но тут опасность привычная, и она имеет возможность бороться с нею. А там, в лесу, ей останется только бояться за своих детей... Что делать? Если бы можно было спросить об этом мужа, Ваяю. Как давно это было и как далеко это – муж, единственный, кто мог бы принять на себя часть той страшной ответственности, тяжести, которая обрушилась на нее. „Ваня, я знаю, что и тебе там, где ты сейчас, не легко. Но прости меня, я не могу об этом сейчас думать, я так мало думаю о тебе, нет, я помню тебя всякую минуту, но вся я теперь в детях, в наших детях. Нам будет страшно встретиться, если я их не уберегу. Но что мне делать, подскажи, Ваня..."

Мать снова возвращалась к своей кровати, где у стенки сладко спала Нина, и опять ее мысли шли по тому же кругу: Надя, Коваленок, медикаменты, дети, дети... Мать боялась решать окончательно, но она уже готовилась к тому, что будет утром. И как только поняла, что не уйдут, что все-таки останутся, сразу как-то успокоилась. Даже глаза прикрыла: надо чуть-чуть отдохнуть, нужно сберечь силы для того, что начнется утром. Ей казалось, что она только смежила тяжелые горячие веки. А тут уже утро, на шоссе гудят машины! Ушла ночь, а с нею и нелепая (до ужаса ясно мать поняла это) надежда на то, что все может обойтись благополучно.

– Боже мой, что это мы? – непонимающе спрашивает она. – Алексей, дети, Нина, сейчас же уходите. К Порохневичу. Ничего не спрашивайте – сейчас же. Дети мои, что мы наделали?

– А ты, мама? – натягивая сапог, спрашивает Алексей протестующе и жалобно.

– Не спрашивайте ничего. Вы, детки, не бойтесь, я ничего, я тут сама.

Мать почти улыбалась.

– Когда я одна, я смелая. Только уходите быстрее.

Мать даже улыбалась, только бы не думали о ней.

Почти вытолкала детей из дому. И лишь в сенях прошептала:

– Если что, смотрите, заклинаю вас, детки, не вздумайте возвращаться сами. Порохневич все узнает. Алеша, ты старший, смотри за ними.

А старший растерян больше, чем Толя и Нина, он медлит, почти плачет: ему и брата с Ниной хочется увести от опасности, и не хочется маму одну оставлять. Мать побоялась даже поцеловать детей, только бы ушли. Из сеней смотрела им вслед, обессилев от мысли, что видит в последний раз. Уходить следом? Нет, она должна быть на месте, дома, пока их могут еще перехватить.

Анна Михайловна вернулась в комнаты. Смотрела на вороха тряпок, развороченные кровати, понимая, что надо что-то делать, и не в силах сообразить, что именно. Ага, все должно быть как обычно. Никто никуда не собирался. Поругались с шурином? Что же, бывает. Тем более что она не желает иметь в доме человека, которого в чем-то подозревают. У нее дети, ей о них надо думать. Где они, дети? Ушли на работу. Сегодня же не выходной день…

Позвала бабушку и стала втолковывать ей про ссору с Павлом. Старуха, ошалевшая за эти сутки, ничего не соображала, но на всякий случай согласно кивала головой. Из всего она поняла, что никуда не надо уходить, и обрадовалась.

Анна Михайловна прибирала комнаты и все смотрела на окно. С каждым мгновением возрастало чувство неуверенности. Ссора, записка, кто поверит этому после всех подозрений? Ее охватило чувство человека, который видит, как откололась льдина, на которой он стоит, как повернулась, отходя от берега. Нестерпимо хочется броситься к берегу, но нет уже уверенности, что можешь перескочить через полосу воды. А почему? Направить стариков к Лесуну, самой – вслед за детьми. А если детей уже схватили, приведут сюда, а дома – никого? Что она наделала, как могло прийти ей в голову, что все сойдет благополучно? Она уже не могла даже вспомнить те доводы,

которые ночью казались убедительными. Ушла половина семьи – когда это было, чтобы остальных немцы пощадили? У них на это твердое зверское правило. Только бы дети успели уйти, только бы не вздумали вернуться.

Узкая половина окна в кухне на миг заслонилась. В глазах у женщины потемнело. Вот оно! Анна Михайловна бросилась за ширму, к печке, отстранила старуху и занялась сковородкой. А у двери что-то стояло и голосом бургомистра спрашивало:

– Где ваш шурин?

Анна Михайловна выступила из-за ширмы, озабоченная, готовая услышать самое плохое: ничего хорошего от своего шурина она не ждет.

– А что случилось? – спросила она с некоторой (но как раз в меру) тревогой. – Вчера я попросила его оставить мой дом. Мы давно не ладим. Обиделись и ушли жить к Лису. Может, и не права я, но тяжело теперь для всех доброй быть. У меня своя семья.

Бургомистр, такой внушительный в длинной, покрытой темным сукном шубе, пророкотал глухим басом:

– Ваш шурин ушел… это… в банду?

Недоверие очень долго держалось на лице Анны Михайловны, потом оно сменилось выражением ужаса:

– Ой, что вы! Как в банду?

– Да, да, мадам Корзун.

– Погубил, сволочь, всех погубил…

Что-то совершенно бабье было в испуге, причитаниях, плаче женщины, которую Хвойницкий привык видеть сдержанно-строгой. В нем внезапно вспыхнула злоба, желание увидеть ее еще более испуганной, слабой.

– Я хотела как лучше, я не думала, что он так отблагодарит за все, – плакала женщина.

Угрожающая недоверчивость будто затвердевала на угреватом лице бургомистра. „Прав все же был Пуговицын: давно эту семейку надо было прибрать”, – думал он.

Какое-то глубинное чувство подсказало женщине, что опасно быть слабой перед этим человеком. Все такая же, в слезах, но уже не растерянная, а, наоборот, верящая, что она сможет доказать свою невиновность, Анна Михайловна заговорила:

– Посоветуйте, господин Хвойницкий, может, мне пойти в комендатуру, объяснить все.

Женщина словно и не понимает, что ее сейчас заберут и поведут туда силой, а там не очень-то станут интересоваться, виновата она

или не виновата. Тяжело насупившись, бургомистр прикидывает: да, прав оказался Пуговицын… Но если так, тогда неправым будет выглядеть он, Хвойницкий. Чтобы эта жаба, Пуговицын, взял верх – ну нет! Он! Он, Хвойницкий, ручался за Корзуниху, а не за какого-то ее родича. Конечно же она выгнала своего шурина. Он назло ей и записку оставил у Лиса. Выгнала, мол, так теперь отдувайся за меня! Надо пойти послушать, что Шумахер станет говорить. Пусть берет на себя, а он, бургомистр, потихоньку отойдет в сторонку. Все они тут бандиты, в лес смотрят!..

Хвойницкий повернулся уходить, огромный в своей богатой шубе. И вдруг вспомнил:

– А это… сыны ваши где?

– На работе. Они даже не знают ничего. Всех погубил, и свою семью, и нас.

Бургомистр ушел. Что-то тяжелое пронеслось совсем рядом. Но оно вернется. И, возможно, ударит насмерть. Все теперь от случайности зависит: от настроения коменданта, от того, кто сегодня приедет в поселок, как будет держаться Шумахер, что сможет сделать Коваленок и его хлопцы, как поведут себя Пуговицын и бургомистр. Только бы дети не вздумали вернуться, только бы не пожалели ее!

Набросив на плечи старенькую плюшевую жакетку, Анна Михайловна пошла в аптеку.

Наде ничего говорить не надо – знает. Готовили лекарство и незаметно следили за шоссе. Вот Коваленок пробежал, бургомистр промаячил, Шумахер, глубоко спрятав руки в косые карманы поддевки, прошел куда-то, потом снова вернулся к комендатуре. Полицаи бегают: растащили барахло, что Лисы оставили, но, видно, лишь аппетит разгорелся.

Толя сидит в жарко натопленной большой комнате и смотрит в окно на знакомое гумно, распластавшееся среди поля: солома содрана, стропила торчат, как обглоданные конские ребра. За спиной у Толи всхлипывает Нина. Пристроилась возле печки во всех своих платьях и джемперах и плачет. Боится за Толину маму. А Толя не плачет. Он смотрит в окно и злится на Алексееву бесчувственность: расселся за столом и без конца вертит в руках будильник. А вот и зазвонил.

Порохневич приехал лишь к вечеру. Поставил велосипед в сенях. Вошел невеселый и поспешил сообщить:

– Все хорошо. Кажется. Пока. Риск большой. Удивляюсь Анне Михайловне. Как могла она решиться? Переночуете, а завтра…

– Нет, мы пойдем.

Это Алексей сказал, а значит, так и будет.

Когда вошли в поселок, почувствовали себя неуютно, как на сквозняке. Толя ловит любопытные, сочувственно-одобрительные взгляды поселковцев – это тревожит, но и пробуждает гордую радость.

Мама встретила их на пороге темной кухни: ждала. Просто и бесконечно устало проговорила:

– Вы не ужинали? Бабушка картошки напекла нам.

За столом царила особенная близость. Бабушка подкладывала маме лучшие картофелины, даже мяла их в пальцах для нее.

Только после большой и опасной дороги люди начинают так ценить простой домашний мир.

Назавтра ушли на работу пораньше. Мать велела не возвращаться, пока Порохневич не побывает в поселке. Алексей протестующе покраснел.

– Ну что вы, детки, вы же мне ничем не поможете.

На шоссе встретили Пуговицына. Как стервятник, неся круглую голову на вытянутой шее, промчался мимо, лишь глазами выстрелил. А сзади остановился и сказал почти торжествующе:

– Ушел шурин в банду?

Обернулись к нему, не зная, как ответить. Алексей пробормотал: кто, дескать, мог знать?

– Я знал.

И пошел, хлопая полами кожанки.

На работе сегодня много улыбок. В глазах у Янека, у Михолапов, у Повидайки и даже у Голуба – вопрос, восторженное удивление. Алексей хмурится, а Толя все это принимает охотно, как подарки в день рождения.

Казик опоздал на работу. Явился и:

– Молодец Павел, решился раньше других!

Восклицание свое Казик словно из кармана выхватил.

Видимо, всю дорогу шел и репетировал, чтобы прозвучало беззаботно, искренне. Но в глазах растерянность, страх. Толя доволен: ну, ну, поизвивайся теперь!

Арестуйте нас

Было строго-настрого установлено: сразу после посещения аптеки каждый должен идти в комендатуру. Подозрительных обыскивали, немецкий врач проверял, какие лекарства больной получил и вообще болен ли он. По этому поводу шутили:

– Видите, как беспокоятся, чтобы нас правильно лечили. А вы говорите!

Мама держалась на одних нервах. Лицо без кровинки, под глазами морщины, вся темная – больно смотреть.

За медикаментами теперь приходит учительница из деревни. Очень строгая на вид. Толя в ее присутствии почему-то смущается, точно он не выучил чего-то. В руках у нее всегда корзинка. И заходит – корзинка пустая, и уходит – пустая. А лекарства, бинты уносит – Толя это знает.

Случалось и непредусмотренное. Из окна аптеки увидели Лесуна. Бредет в огромном кожухе, живот руками поддерживает.

– Родилку Артем ищет, – со смехом заметил какой-то больной.

Рыжебородый Лесун прошел по мостику, поднялся на крыльцо и тут грохнулся прямо под ноги Фомке-полицаю, который вечно торчит возле аптеки.

– Перебрал, дед? – с уважением и завистью спросил Фомка.

Стонущего Артема втащили в аптеку, подняли на широкую скамью.

– Докторка, помру сейчас, кишки завязались, переворот сделался.

– Будьте добры, кликните доктора Грабовского, – попросила мама Фомку. Тот хмыкнул и ушел не к медпункту, а в сторону комендатуры.

Не переставая вопить, Лесун шептал:

– Ой, о-ой… Забыл, как его, черта… Батюшки мои!.. У командира воспаление легких… Смертонька моя пришла!

– Сульфидин, – поняла мама.

– Во, во… воечки, воечки!

А Пуговицын наглел. Ввалился однажды ночью. Лицо кирпично-красное, полы кожанки белые, обмерзшие. Просунулся в зал и остановился, пьяно раскачиваясь. Увидел себя с винтовкой в большом зеркале – это натолкнуло на какую-то мысль. Стащил с плеча десятизарядку, хватается за затвор.

– Десять бандитов – тах, тах и – кон дела.

С женским страхом мать смотрит, как пьяный возится с оружием.

– Оставьте в покое вашу винтовку, господин Пуговицын.

– А, докторка… мадам Корзун…

Улыбнуться не удалось: затвердевшее от мороза и водки лицо лишь перекосилось в гримасу. Брякнулся на стул, не удержался и с грохотом опрокинулся вместе со стулом на пол. Стволом винтовки

достал зеркало, зазвенев, оно ослепло нижней половиной. Раскорячась, Пуговицын поднялся с пола, окинул хозяев злым взглядом.

– Ага, так, не нравлюсь… не тот гость в доме доктора…

– Почему же? – спокойно возразила мать. – Только почеловечески надо.

Принесена была из кладовой капуста и самогон в четвертушке. Пуговицын все подсчитывал, сколько партизан он может убить из своей десятизарядки или гранатой. Стащил шлем. Бритая голова бледная, голубоватая, а лицо грязно-красное, будто наклеенное.

– Бог с ними, с партизанами, – сказала мать. – Закусите лучше.

– А вы, мадам докторка?

– Со старшим моим выпейте, как мужчины.

– А у доктора видная жена, ви-идная, это все знают. Мне надо поговорить с вашей мамашей. Идите отсюда. Сказано!..

Алексей поднялся с дивана, Толя вдруг увидел, что глаза у него начали стекленеть, как бывало у отца, когда он вот-вот перестанет владеть собой…

Мама схватила Алексея за руку, оттолкнула, а Пуговицыну сказала:

– Что за ерунда! Никуда они не уйдут.

– А я сказал…

– Хватит! Завтра я иду в комендатуру.

Пуговицын тяжело поднялся, по-волчьи узко посаженные круглые глаза его, кажется, совсем сошлись на переносице.

– По-ойдешь! Как миленькую поведут. Хорошо – так хорошо, а нет – попомните Пуговицына.

Не переставая угрожать, полицай вывалился за дверь, в темноту, откуда и появился.

– Уйдите от света, еще выстрелит! – забеспокоилась мама.

– Ну и пускай, – упрямо отозвался Алексей.

Толя задул коптилку.

– Опрокиньте вазоны, стол. Ну, что вы, не понимаете? Что-то предпринимать надо, погубит он нас.

Но когда Толя с удовольствием опрокинул тяжелый фикус вместе с табуретом, мать не выдержала:

– Осторожно ты!

Утром она, осмотрев комнату, в которой будто лошади на постое были, отправилась к Шумахеру. Но дома его не застала. Надо опередить Пуговицына, придется идти в комендатуру. Забежала домой, чтобы твердо знать, что дети ушли на работу Отправила вслед им Нину с наказом не возвращаться до завтра.

Подходила к часовому, который прогуливался около колючей проволоки, и еще не знала, повернет ли в комендатуру или сделает вид, что ей нужно прямо. Часовой остановился и от нечего делать поджидает ее. Она подошла к нему, попыталась объяснить, что ей – к Шумахеру. А переводчик как раз на крыльцо вышел, крикнул, чтобы ее пропустили. Женщина заговорила еще издали:

– Я к вам. Не могу больше. Пойдите посмотрите, что Пуговицын натворил. Приходит, грозит, требует бог знает что, перевернул все…

– Не надо, Анна Михайловна, я сделаю, что смогу. Идемте.

Шумахер пошел впереди. Знакомые больничные коридоры пугают.

– Сюда, – сказал Шумахер, как бы уводя женщину от того, что лежит у стены.

А там лежит человек в пятнистом белье. Голова неестественно завернута, со щеки что-то свисает, повертывается, как на ниточке. Глаз, выдавленный человеческий глаз! Шумахер, трусливо подняв плечи, прошмыгнул мимо. Анна Михайловна впервые подумала о нем с холодной неприязнью. Ей сделалось еще страшнее, точно Шумахер уже предал ее. А она, идя сюда, очень рассчитывала на него…

– Обождите, – уже как-то отчужденно сказал Шумахер и пропал за дверью, которая когда-то вела в приемную ее мужа (заметно даже, где табличка висела). Анна Михайловна осталась лицом к лицу с солдатом, который будто придавил ее к стене тяжелым взглядом. Женщина уже не знала, что она скажет, как скажет, когда войдет к коменданту. Она понимала только одно: не следовало приходить сюда, она совершила что-то непоправимое. Большой, как луковица, глаз человека, лежащего у стенки, все качался на ниточке-нерве и страшно смеялся над всеми чувствами, словами, которыми она собиралась убедить и победить немца-коменданта. Солдат вдруг показал на замученного и удовлетворенно сказал:

– Партизан.

Открылась дверь, выглянул Шумахер.

– Заходите.

Комендант сидел за столом, боком к двери. Напротив – человек в черном мундире. Он настолько мал, что локоть его, опирающийся о стол, почти на уровне плеча. Его глаза первыми встретили взгляд вошедшей и как бы сказали: „Для меня все тут понятно, и я знаю, что с тобой делать, но любопытно, что здесь произойдет, любопытно…” Человечек посмотрел на коменданта выжидающе и с откровенной иронией.

Комендант повернулся к двери. Лицо женщины показалось ему знакомым. Требовательно взглянул на переводчика.

– Говорите, – тихо сказал Шумахер.

– Я пришла предупредить… сказать, – глядя в узкое лицо коменданта, начала женщина. – Или арестуйте меня, или дайте нам жить, или мы… или я должна буду уйти в лес.

Слезы загнанного человека, которому все уже безразлично и ничего не страшно, заблестели на глазах говорившей. Женщина пришла обмануть врага, но когда она говорила о том, что ее мучило, что пугало, она говорила с искренней болью и страданием.

Шумахер перевел и что-то от себя добавил, видимо о ночном погроме, учиненном Пуговицыным. Наступило молчание, Анне Михайловне оно казалось тяжелой дверью, медленно и навсегда закрывающейся у нее за спиной.

Теперь уже и комендант смотрел на женщину с откровенным любопытством, а маленький немец так и впился в нее хищным взглядом.

Анне Михайловне было страшно, слезы текли сами, но она знала, что страх надо скрыть, а слезы – пусть. Она плакала искренне, но одновременно понимала, что плач ее и *должен быть* искренний.

Комендант что-то сказал.

– Он что, приставал? – спросил Шумахер и добавил: – Пан комендант интересовался, вы ли это были на свадьбе. Я сказал, что да.

Еще не зная, как он поступит, комендант присматривался к худолицей интеллигентной женщине в большом белом платке. Уйду в партизаны! Ничего не скажешь – смело. Нет, это скорее уверенность, что невиновный может смело смотреть в глаза каждому. Чем-то очень устаревшим и беспомощным веяло от этого. Комендант даже развеселился. Он мельком взглянул на маленького немца в черном мундире. Лишь такой вот тупица может заподозрить, что у этой женщины в голове есть что-либо кроме страха за детей. Для него все тут просто. Пришел русский и говорит: пойду в партизаны. Хватай и стреляй его, яснее ясного. Братья моей Эльзы никогда не отличались особой склонностью к умственным усилиям, потому-то они все сделали карьеру. Вон как глазками впился! Я тебя сейчас удивлю, уважаемый родственничек. Вам всегда казался старомодным чудаком муж вашей сестры. А тут ты и рот откроешь.

Шумахер продолжал переводить:

– У меня дети, я мать и не хочу, чтобы они погибли под деревом. Но такие, как этот ваш Пуговицын, заставят на все пойти. Вот так у вас и партизаны делаются. Полицейским только и надо, чтобы в лес

убегали, барахло им достается. Придет время, они вас предадут, как свою родину предали.

Комендант удивленно смотрел на женщину. Да она его мысли читает! Это или очень хитрый и опасный враг, или же…

Женщина обманывала врага с полной искренностью. То, что они считают виной, – это святое право человека оторвать от лица руку, не дающую дышать. То, что они считают преступлением, – это ее нелегкое право рисковать детьми, идти навстречу самой большой опасности ради той жизни, которая так нужна ее детям.

Комендант все больше верил, что перед ним лишь домовитая наседка, которую глупо принимать за птицу, могущую летать.

– А если мы тебя за ноги подвесим, что ты заговоришь?

Произнес это по-русски маленький эсэсовец. Он поднялся со стула, но остался маленьким. Казалось, оттого он постоянно желчный, что всегда маленький. Женщина обмерла вся, но в лице не изменилась.

– А если мы за ноги тебя?..

Не понимая, о чем говорят, комендант раздраженно взглянул на Шумахера. Тот сказал по-немецки, маленький закричал, подергивая головой, указывая на женщину. Комендант, очень довольный, выжидающе молчал, давая возможность родственничку выкричаться. Потом встал, такой высокий и тонкий перед маленьким. Шумахер обрадованно перевел его решение:

– Можете идти, никто не смеет трогать вас, если вы не виноваты. Пуговицын будет наказан.

Женщина вышла на крыльцо, и ее ослепила белизна снега, солнца, неба.

Приходил Шумахер. Посмотрел на разгром, учиненный Толей и Алексеем, и сказал:

– Ну, ничего, больше он не посмеет к вам прийти. Обещаю.

Постоял в нерешительности.

– А вы все-таки будьте поосторожней, Анна Михайловна.

Мать не стала возражать. Сказала только:

– Вы многим помогли.

Шумахер понял.

– Всех, Анна Михайловна, и я не обогрел. Найдутся, что и на меня в обиде. Думаете, я не понимаю, к какому концу все идет? Давно понимаю. Я дочку здесь схоронил и жену. Господи, как немцы искупят свою вину? Я ведь тоже немец…

– От нас самих все зависит.

– Ох, Анна Михайловна, что может маленький человек, когда тут державы!.. А на хорошем слове – спасибо.

И вдруг сказал:

– Позавчера ездил в Большие Дороги. Думал, выручу своего зятя. Поймали его. Ничего не помогло. Казнили. Чужой человек, но он мой единственный родственник. Теперь – никого.

Сутулясь, пряча голову в воротник, Шумахер вышел на кухню.

– Я расскажу, что он тут натворил. Пуговицына на сутки в холодную посадили. Но радоваться этому не приходится. Он теперь прилипнет к вашему дому. Захочет свое доказать.

Шумахер был прав. Прямо из карцера Пуговицына вызвали к коменданту. Тот был не в настроении после ночной попойки с братом покойной жены, маленьким эсэсовцем. Через него же раздраженно приказал немало озадаченному Пуговицыну: если кто-либо из семьи аптекарки окажется за чертой поселка – стрелять без предупреждения.

Топорище

О приказе коменданта в доме Корзунов не знали, хотя тут понимали, что Пуговицын теперь стал еще опасней. И надо же было как раз прийти какой-то женщине. Она потопталась у порога.

– Вы в аптеку? Идите, я сейчас, – неприветливо сказала ей мама.

Женщина не уходила.

– Я к вам.

– Что значит ко мне?

Запинаясь и заговорщицки блестя глазами, женщина стала что-то шептать.

– Вы с ума сошли! – оборвала ее мама. – Какой там Митька, какие хлопцы! Да я сейчас полицию позову!

Женщина испуганно метнулась к двери. Глаза у мамы большие, лицо красное, волосы растрепались. И голос с бабьим визгом:

– Сейчас же иду в полицию!

Женщины и след простыл.

– А может, и правда, что послали, – сказал Алексей. Действительно, очень уж искренне испугалась женщина.

– А если она от немцев? И даже если оттуда. Как могут они так рисковать своими людьми? Это же надо, совершенно незнакомой бабе поручили. Там, может быть, сифилис у кого-нибудь, а ты расплачивайся семьей.

Толю покоробило: такие слова в устах мамы, да еще о партизанах!

– Сегодня пойду и узнаю. А если уже подсылают эти, тогда совсем плохо. Надо что-то предпринимать.

В этот вечер все было как обычно.

Дедушка курит и глухо кашляет, Алексей кочергой разбивает головни, бабушка спит, как всегда, поперек кровати. Мама в спальне, а Нина за столом с книжицей – старательно шевелит губами, заставляя подрагивать пламя коптилки. Кажется, что сумерки, сгущаясь за окном, становятся все более сильным, властным потоком, который, захватив твой дом, уносит его куда-то прочь от других домов, других людей, других жизней. Только ты и те, что в доме, – остальное все далеко. И комендатура далеко, и немцы... Особенно если перед глазами у тебя книга. Последнее время Толю все больше тянет читать прозу. И особенно в такие вечера. Стихи – чужие, свои – он любит шепотом повторять по утрам, когда только проснется. И тогда он упивается собственным голосом, как токующий глухарь. Утром все голоса громкие – и вокруг тебя и в тебе. Зато в такой вот вечер хочется тихонько, незаметно войти в жизнь других людей, оторваться от того берега, где немцы, бобики, комендатура. Толя читает „Жизнь Клима Самгина". Очень нравится ему, как люди у Горького разговаривают. Будто те давние коробейники: каждый показывает встречному, что у него припасено интересного. И у каждого – неожиданное, свое. Хочется и в свой „короб" заглянуть, поднимается острое любопытство к самому себе, ко всему, что в тебе есть. И к жизни любопытство, особенно той, взрослой, которой принято стыдиться, но которой взрослые, оказывается, совсем не стыдятся...

– А? Стучат?

Это мама из спальни. Она прилегла не раздеваясь.

– Спи, никого, это я, – виновато говорит Алексей и ставит кочергу в угол.

И тут в самом деле застучали в окно. Мать уже в кухне. Долго не может понять, чей голос.

– Коваленок, какой Коваленок?

Действительно, голос незнакомый.

– Да это же батька его, – первый догадался Толя.

Шагнув в темную кухню, ночной гость громко сказал:

– Топор вам оттянул, как просили.

Вышел на свет. Удлиненное кривой бородкой лицо его усмешливое, глаза хитрят.

– Никого нет, – сказала мать и, взяв коптилку, увела Коваленка в зал.

– Моего в город зачем-то послали, – приглушенно заговорил гость,– просил передать, что сегодня не придет. Остальное, сказал, она знает.

Помолчал.

– И как ты не боишься? – Коваленок, как все староверы, женщинам говорит только „ты". – Ну, моему бесу косматому все нипочем, по стене пешком пройдет. А ты баба. Ванюха говорил, у самого была, сказала, в партизаны пойду. Смело это ты, баба!

Толя закрыл дверь за Коваленком. Мама что-то уже выговаривает Алексею:

– Оставь, пожалуйста. Я давно сказала: если надо, я сама позову вас. И просила уже не раз. Это не шутки. А если остановят?

Но Алексей уже и не слушает. Брови тоже ломятся, в глазах деревянное безразличие – теперь что хочешь говори, а он свое знает. Ну, это уже совсем свинство!

Толя запротестовал:

– И я пойду.

Но он только помог Алексею, отвлек на себя мамин гнев.

– Еще этого не хватало, и он пойдет. Я вижу, вам все это игра. Выйди посмотри, ты не одетый.

Это от него откупаются. Хотя, конечно, и на том спасибо. Толя вышел из сеней, небрежно насвистывая. Нинка уверяла, что видела вчера, как ставня открылась, а потом сама закрылась. А вдруг и теперь кто-то под стеной затаился? Слева привычный, но какой-то беспокойный шум придорожных сосен. Где-то в той же стороне – как друг – посаженный Толей в огороде клен. Темно как!

– Кто? Стой!

У калитки – человек, знакомо поскрипывает обмерзшая кожанка.

– Кто, спрашиваю?

Клацнул взведенный затвор.

– Почему кто? Я.

Круглоголовая фигура подступила ближе и тотчас отступила, потому что хозяин вовсю занимался тем, ради чего он, очевидно, и вышел.

Фигура удалилась в сторону шоссе.

Сердце у Толи колотилось. Случайно Пуговицын оказался около дома или он все время был тут? Может быть, старого Коваленка уже выследил.

Мама тоже очень встревожилась, торопливо сняла жакетку, приказала Алексею сбросить поддевку.

Ушли, когда часы отстучали два: сначала Алексей, потом мама. Около школы они должны встретиться.

Толя сидел в столовой за книгой и не читал, а думал о том, как они идут. Он и боялся за них, и завидовал брату. Вот они уже в большой хате, освещенной потрескивающей лучиной. Входят люди, неровный свет красно-черными отблесками играет на одежде, на автоматах. Алексей сидит в сторонке и молчит. Толя не молчал бы…

Скрипнула ставня. Толя спиной ощутил чужой взгляд. Он не оглянулся, но знал, что ставня приоткрыта, чувствовал это, как холод. Захотелось сползти со стула, по-детски вскрикнуть: „Мама!” Но Толя сидел, не двигаясь, потом поднялся и сказал будто бы в спальню:

– Сейчас ложусь, мама, кончаю.

Оттого, что он говорит *никому,* ему сделалось еще страшнее. Ставня с легким скрипом закрылась. Сердце стучало.

А что, если Пуговицын выследит маму и Алексея, когда они будут возвращаться? Немного обождав, Толя вышел во двор. Ну и что тут такого, если ему еще раз нужно? Очень долго искал подходящее место в палисаднике, за дом пошел. Ага, вот тут под окном топтался Пуговицын! Следы по-волчьи уводят куда-то в поле.

Толя ждал, прижимаясь спиной к холодной стене. Чувствовал, что замерзает, но ему страшно было пойти и одеться: а что, если в это время вернется Пуговицын? Вернется и, затаившись, будет следить за Толей, поджидать тех, кого ждет Толя. Дурак, обул сапоги на босу ногу. Холодная кожа жжет пальцы. Надо шевелить пальцами, лопатками. Минька, тот умеет и ушами двигать, ему и тереть их не пришлось бы.

Время остановилось. Толе начинало казаться, что он всегда стоял здесь в холодной темноте и всегда будет стоять так.

Небо посветлело над дубами, и тогда стало ощутимо, что прошло много времени. Краски неба, вначале грязные, становятся все прозрачнее, нежнее. Уцелевшие, не срубленные дубы образуют самые необычные рисунки. Вот медведь на задних лапах, он испуганно отшатнулся от нахохлившегося большого кота. Чем больше светлеет небо между комендатурой и домом Жигоцких, тем больше тощают медведь и кот. Постепенно в медведе угадывается крыса с подтянутым голодным животом, насаженная, как на иглу, на сухую вершину. Теперь понятно, почему этот зверь так испугался кота… У Жигоцких вдруг заорал петух. Никто ему не отзывается: бедняге,

должно быть, кажется, что он оглох: орет все более отчаянно, испуганно.

Казик проснулся от сильного, злого стука в заднюю, давно заделанную наглухо дверь. Батька в белье прижался к стене и выглядывает в чуть светлеющее окно.

Партизаны! Сейчас бросят гранату, может быть, уже изготовились. Казик выкатился из-под одеяла, метнулся в кухню, за печь. Тут что-то живое.

– Матка бозка!

Это она, старуха, навела партизан на дом! Кто-то уже носком сапога, прикладом бил в дверь. Казик лихорадочно соображал: могут бросить в это окно, вот сейчас дзинькнет стекло... Давно говорил, чтобы ставни сделали. В спальне Лена зовет его. А, всем конец!

Казик сам чувствовал, как перекошено лицо у него, и от этого ему было еще страшнее, хотелось закричать, заплакать. Что им надо? Настоящие бандиты! На немцев вас нет, а тут нашли врага. Он вдруг ощутил резкую боль и какую-то детскую расслабленность в самом низу живота.

– Открывай, куркули чертовы!

– Что вам надо? – испуганно спрашивает старик.

– Полиция не в гости ходит.

– Ах, это вы, сейчас, сейчас. Со двора надо, дверь там.

– Понаделали дверей! – донеслось с улицы.

Поняв, что это полиция, Казик почувствовал огромное облегчение и одновременно легкий стыд за это облегчение. Но тут же новый страх пришел. А что, если это за ним? Батька открыл дверь, старуха бумажкой зажгла от углей коптилку. На пороге – Пуговицын. Злым, долгим взглядом смотрит на дымный, потрескивающий огонек.

Пуговицын и до войны не любил этих Жигоцких: обставились гумнами, погребами, куркули! И теперь он ненавидел их за то же, хотя одновременно ругал Советы, колхозы.

Он и бургомистра особенно ненавидит потому, что Хвойницкий – бывший кулак. Как нищий язвы, сует в глаза свое раскулачивание и лезет наперед. А жаль, что не сообщил про него „куда следует", когда можно было. Да ведь такого и не замечал: сидел он, как мышь под метлой. Такие мало кого интересовали: небольшая заслуга – разоблачить простого рабочего. А теперь живи и осматривайся: Хвойницкий не простил Лапову довоенного, чуть не подсадил в петлю его, затаил он зуб и против Пуговицына – это как дважды два...

– Докладывайте, господин Жигоцкий.

Сказал первое, что на ум пришло. Казик глядел в красное, пьяное лицо, хотел удивиться, возмутиться: ведь все это слышит и Лена в спальне. Но промолчал. Оттого, что Пуговицын одет, а он в белье, Казик чувствовал себя особенно беспомощным.

– Про́ше сядать, – пропела старуха.

Но Пуговицын стоял будто изваяние.

– Прозеваете и этих, плохо будет.

От недавно пережитого, от того, что он в кальсонах перед одетым Пуговицыным, от того, что живот гонит его на двор, а ему нельзя, Казик озлился. Истерически взвизгнул:

– А при чем тут я? Вы знаете, кто они такие, что собираются делать, при чем тут я? Я же не могу их арестовать.

Бессмысленный вначале разговор становился интересным. Пуговицын сел на табурет и стал снимать допрос, точно за этим и явился.

– Они тоже в лес собираются?

– Откуда мне знать? Вещи сбывают, а что я знаю?

– С шурином своим связь держат?

– Ну, что вы меня спрашиваете? От меня они все скрывают.

– Скрывают? Ага!

На столе уже стояла поллитровка самогона. Ожидая, пока появится закуска (у этих куркулей есть что выставить!), Пуговицын продолжал допрос.

Толя все стоял под стеной. Скоро рассвет, а их нет и нет. Наконец послышались шаркающие шаги – похоже, что Алексей. Испугался, когда Толя выскочил из своей засады.

– Тише, он опять ходит, – непослушными губами прошептал Толя.

Алексей юркнул в сени, Толя за ним. И оба к окну. Быстрые, легкие шаги.

Тепло-тепло стало у Толи где-то внутри, хотя зубы стучат еще сильнее.

Толя сказал маме про ставню и, между прочим, про то, что он, Толя, ждал их на улице.

– Вот так, голый? Ложись сейчас же в кровать.

Весь дрожа, Толя юркнул под одеяло. Алексей тоже лег и сразу потянул все одеяло.

– Разлегся тут.

– Ну что вы как бирюки? – укоряет мама, присев на край кровати.

– Да мы так, – с радостной готовностью оправдывает брата Толя.

– Холодный какой. Ты долго стоял, сынок?

Это, кажется, для мамы важнее, чем та опасность, которая ходила возле дома. Оттуда, из лесу, мама принесла какое-то спокойствие.

– Встретили нас хорошо, – стала рассказывать она, – расспрашивали. Просят еще поработать на месте. Когда будет особенно трудно, обещают забрать. Запасаются медикаментами, весной ожидается что-то. Какое-то большое наступление на немцев.

Алексей авторитетно пояснил:

– Всеобщее.

Когда мама ушла, Толя потребовал от Алексея подробностей. Но тот не хочет да и не умеет расписывать. Ну, подошли, ну, поднялись с земли двое в маскхалатах, и в хате ждали двое. (Хорошо, что хоть фамилии запомнил: Кучугура, Сырокваш.) Расспрашивали, угощали самогонкой. Крепкая! Этого он мог и не говорить: конечно же у партизан все особенное.

Тоже увидел: встали, сели, говорили, самогон… Будто к Лесуну в гости сходил. И уже храпит. Толя сердито двинул брата локтем и, закинув руки за голову, долго лежал с открытыми глазами. Он вынужден был сам дорассказывать себе о встрече с партизанами.

Утром Толя спросил:

– А про *этого* сказали им?

Мать, нахмурившись, ответила:

– Коваленок им говорил. И у нас спрашивали.

– Доберутся! – с откровенной жестокостью воскликнул сын.

– Я не хочу, чтобы из-за нас.

– Жалеть такого!

– Я просила не трогать его. Да и повредит это.

– И напрасно, – с мужским превосходством заявил младший.

Алексей молчал.

Встреча

Поселковый базар. На выбитом в снегу пятачке толкутся люди. Это не городской базар, люди знают друг дружку в лицо, и потому нет зазывных голосов, торгуют деловито, молча. У женщины в руках бутылка молока, у другой – миска с картофелем. Лишь старичок, щуплый и маленький, тоненько покрикивает: товар его плохо заметен.

– Сахаринчик, немецкий сахар, грамм на ведро воды!

И старуха Жигоцкая вынесла товар: держит на ладони поллитровую баночку.

Две девочки подбежали, смотрят. Старуха сладко лизнула стеклянную стенку баночки.

– Мёдик, сладенький.

Подошла Надя – это ее девочки.

Старуха Жигоцкая видит, что и Корзуниха здесь. Надя двумя руками отгребает детишек от старухи.

– У тети есть сынок, он сам скушает этот мёдик.

Звучит это: захлебнуться бы ему! И старуха это услышала. Улыбочка сползла с лица ее.

– И тебе он дорогу переступил? Сами не живете и другим мешаете.

Анна Михайловна слушает издали, на лице ее – смертельная усталость.

– Анна Михайловна, – неймется Наде, – добрая бабушка сладеньким торгует. Не хотите?

Вдруг решившись, Анна Михайловна подошла.

– Я вас прошу, – тихо попросила она, – сделайте, чтобы сын ваш не приходил. Так и для вас будет лучше.

– А вы не приманивайте, – ревниво и непримиримо говорит старуха.

– Да это он ко мне липнет, – объяснила Надя, – привык к мёдику.

– Сама своих годуй, – отрезала старуха.

– Буду вашей невестушкой. Самой любимой.

У старухи аж мед потек на руки. Облизывая края банки и руки заодно, старуха бушует:

– Неве-естушка! Сын мой им плохой! Вы еще своих выгодуйте таких умных, красавцев, таких вежливых.

На лице старухи вдохновение.

– … Никому дороги не переступит, каждому слово скажет, объяснит, зарплату хорошую брал, у него уборщицами такие, как ты…

Сеть

Партизаны обстреляли колонну машин. Только несколько прорвалось к поселку. В комендатуру сносят раненых, убитых.

Толя схватил ведра и пошел через шоссе. Ему необходимо полюбоваться на результаты партизанской работы. Из-за машины выбежал немец и, что-то крича, больно схватил его за плечо. Толя отскочил в канаву и постарался побыстрее уйти. Он видел, как два немца остановили женщину с подростком и стали заталкивать их в

кузов. Толя шмыгнул в чужой двор. Теперь будут хватать, кто под руку попадется. Надо переждать.

– Павла убили, – мрачно сообщил Алексей, едва Толя переступил порог кухни.

– Пропадут теперь и Маня и девочка, – плакала мама, – оставил их одних.

Странные они – женщины. Вот уже упреки Павлу за то, что его убили.

– Бургомистр меня встретил и говорит: „Убили возле Больших Дорог вашего шурина”.

Дурень, наверное, ожидал, что мама ох как обрадуется.

– Скорее бы в лес нас забирали. Не могу же я так без конца. Чуть что, нас схватят, – в отчаянии проговорила мать.

Прибежал Казик:

– Не уберегся Павел. Он всегда был неосторожен. Я ему говорил: спеши медленно…

Разливается, а самого так и распирает от чувств совсем не печальных. Мама не сдержалась:

– Кое-кому радоваться можно.

Понимая, что рискованно дразнить этого опасного труса, женщина все же мстила ему за все пережитое по его вине, мстила чисто по-женски и не могла удержаться от этого. Перед ней был не Пуговицын, которого можно лишь ненавидеть и опасаться. Тут был человек, который, кажется, все понимает и чувствует так же, как ты, твоими словами говорит о фронте, о немцах и который тем не менее опасен, как собственная нога, налитая гангренозным ядом. Этот человек не просто предает. Он еще старается остаться правым и чистым перед кем-то и в чем-то более правым, чем тот, кого он предает. Он давно весь приготовился к тому, чтобы снова начать жить „по-человечески”, когда немцы будут изгнаны. Вот только переждать войну. Свою готовность снова войти в ту жизнь, ради которой другие идут на смерть, человек этот считает такой заслугой, которая поднимает его над многими. Как же, он ни на миг не усомнился, что немцев разобьют, никакой ставки на немцев никогда не делал! Любой ценой, но войну надо *пережить.* Потом все встанет на свое место. Вернутся и довоенные оценки всему и каждому. Для таких, как эта Корзуниха, теперь, может быть, самый подходящий случай постараться доказать, что они тоже советские люди. Он, Жигоцкий, не нуждался в этом до войны, не нуждается и теперь.

Во взаимной ненависти женщины и человека, предающего ее и ее семью, было что-то, напоминающее продолжение давнего,

застарелого спора. Пуговицына она ненавидела просто. Сына Жигоцких ненавидела как врага, который хотел бы по-прежнему оставаться более правым, чем она, перед той жизнью, которая будет, ради которой она стольким рискует.

Вот почему не сдержалась, не смогла скрыть свои чувства Анна Михайловна как раз тогда, когда ей лучше было бы промолчать...

– Но может быть, рано радуются некоторые...

Это была чисто женская, но угроза. Казик сделал вид, что не понял. Закурил у деда, весело поговорил с бабкой о ее плохом здоровье. И ушел.

Дорожку к школе замело. Ветер сердито расписывается снегом, который взрыхляют валенки Казика. Зима, кажется, усиленно опорожняет все свои кладовые. Пока добирался домой, окончательно решил, что будет делать. „Павла нет!" – ликующе подсказывала память. Но пока остаются эти, ничего не изменилось. Пока остаются...

Теперь Казик все делал легко и обдуманно.

Уловив момент, когда батьки и жены не было, сказал старухе:

– Собрались уже в лес. Могут даже сегодня уйти. Придут наши, будут на нас всяк говорить.

И даже не добавил: „Вот что вы наделали!" Старуха быстро и как-то торжествующе взглянула на сына.

Спал Казик спокойно. Утром долго брился. На кухне слышался необычайно умиротворенный голос старухи. Ласково, даже страдальчески разговаривает она сегодня с батькой, с Леной! Так и просит: ну, зачем нам жить не по-родственному, когда кругом столько плохих людей? Казик понял: была! За завтраком старуха навязчиво ловила его взгляд. Когда он надел полушубок, спросила:

– Куда ты, Казичек? И Ленусю взял бы, а то она за работой у нас света не видит.

Высокая беловолосая невестка удивленно и обрадованно взглянула на свекровь.

Казик пообещал скоро вернуться. Он направился к Янеку по дальним переулкам, только бы не проходить мимо дома Корзунов. Долго играл с Янеком в шахматы. Даже выиграл две партии. Много говорил с тугодумом Барановским о фронте, предсказывал, что летом конец войне. О конце войны Казик рассуждал теперь с удовольствием, хотя еще вчера внутренне сжимался от тоскливого чувства, если заходила об этом речь.

Вбежал младший сын Барановских, пошарил в шкафчике.

– Что ты лазишь? Будем обедать, – простонала из-за ширмы Барановская, всегда больная женщина.

– Ай, я у Толи поел. Едем по дрова с ним. Санки возьму и вот – преснак.

Казик понял главное: у Корзунов ничего не случилось. Обратно он пошел по шоссе, чтобы самому посмотреть на их дом. К кому ходила старуха, с кем говорила? И что все это может означать? У себя дома Казик старался остаться наедине со старухой. Не выдержав, глазами показал на дверь и вышел первый.

– Кому вы сказали? – уже в открытую спросил он старуху, когда та выползла из хаты с помойным ведром. Сообразив, что случилось что-то, Жигоцкая испуганно забормотала:

– Этому... кацапчуку, Коваленкову сыну. И еще полицейский был. Они сказали, что все знают, что следят. И приказали, чтобы ни-ни никому.

Казик вдруг что-то понял, страшная догадка затрепетала в нем.

– Вы сказали им, что... ну это, кто вас послал?

– Не... не сказала.

Казик понял, что сказала.

Случилось то, чего следовало бояться с самого начала. Корзуны не одни, за ними в поселке еще кто-то. Многие, может быть, очень многие смотрят на него их глазами, видя в нем немецкого холуя, предателя. Казика пронзил холодный ужас: он словно ощутил, как упруго дрогнула чуткая сеть, которой он коснулся неосторожно.

Как перед концом, в памяти опять пронеслись события последних месяцев. Да, эта семья лишь узелок целой сети. И какая крепкая должна быть эта сеть, если Корзунов и после ухода Павла не тронули. Виктор же вот кем оказался. А переводчик – попробуй пойми этого Шумахера! Или Коваленок. Казика всегда смущали глаза Разванюши – отчаянно веселые и одновременно внимательные, оценивающие. Но раньше Казик боялся, что он подозревает в нем партизанского связного. А оно, пожалуй, совсем наоборот! А что, если и Пуговицын с ними? Черт его разберет, кто он такой. Возможно, решил уже замаливать грехи.

Накинув полушубок, Казик вышел за ворота, пошел по поселку. Он не мог сидеть в четырех стенах. Что-то надо было делать. Но что делать?

Двое рабочих тащат санки с дровами. Казику показалось, что они внимательно смотрят в его сторону. Он поспешно поздоровался, ему не ответили. А тот, который, согнувшись, подталкивал санки, еще раз, как-то, под себя, оглянулся на Казика.

Женщина снимает с забора затвердевшее на морозе белье и тоже присматривается к нему. Очень настойчиво. Что в нем любопытного?

Казик повернулся и почти побежал домой.

Кучугура прошел

– Кучугура ходит, – таинственно сказал Алексей, наблюдая за кем-то.

– Какой Кучугура? – Толя бросился к окну.

Из аптеки к шоссе идет высокий человек в коротком ватнике, на ногах матерчатые бурки с бахилами из красной резины. Даже издали видно, какой бровастый он. Вышел на мостик, посмотрел вправо, в сторону комендатуры, и медленно направился туда, прижав ладонь к щеке.

Вечером мама приказала изнутри завесить окна в спальне. Постучали – сама открыла дверь.

Явился Коваленок. Разванюша необычайно оживлен. Разгуливает по спальне весь в ремнях, гранатах, тонкие усики чернеют лихим росчерком, сапожки с белыми отворотами.

– Дадим заключительный концерт, Анна Михайловна, и до свидания, Лесная Селиба.

Мама светится несмелой радостью и тревожно посматривает на задрапированные одеялами окна. Поинтересовалась:

– Что там было? Я видела, как обыскивал его часовой.

– Заметили, как подставлял он немцу карманы? А сзади за поясом у него пистолет был.

– Правда?

– Кучугура всегда так: перед началом сам пройдет по гарнизону. Прошел Кучугура – труба гарнизону. Комендант сам его больную десну пощупал. Я подтвердил, что родня жинки моей. Дали пропуск в город. План приказал нарисовать. У вас есть чем?

На Толиной бумаге, его карандашом, в его доме наносится план укреплений и караулов! Для партизан!

Там, в комендатуре, в полиции, не подозревают, что сейчас вот на Толиной кровати готовится бумажка, по которой их уничтожат. По-детски наслюнивая карандаш, Коваленок бормочет:

– Здесь, в большом бункере напротив Жигоцких, дежурят два немца с пулеметом… Ну, а этот все ходит к вам? Я перво-наперво загляну к нему. Вы как хотите, а я загляну. Учи-итель! Послал свою…

„Мои Казю все узнал”. Хорошо, что, кроме Комлева, никого не было в полиции.

Утром собрались на работу пораньше, чтобы только не пришлось идти с Жигоцким. Но это Алексей все мудрит, ему не хочется видеть Казика. Толя же с удовольствием наблюдает, как извивается тот говорун. Толя и на немцев, бредущих к мосту на смену ночному караулу, глядит не без удовольствия. „Идите, идите на свой пост, он уже нарисован на бумажке”. Сзади догоняют полицаи, надо и на них полюбоваться.

Вот с Толей поравнялся коротконогий, точно урезанный, Фомка. Он из староверов, очень рыжий. Дурак, каких мало. Уставился на Толю, а Толя нарочно на него уставился. „Ты это что?” – удивленно и угрожающе спрашивают глаза полицая. „А вот ничего, смотрю на тебя, олуха. Или нельзя уже?”

Фомка прошел вперед, Толя подготовился встретить следующего. Ещик ползет, ноги в большущих валенках поднимает и ставит так, словно вязкую глину месит. Валяй дальше, вояка!

– Идем быстрее, – сердится Алексей, – что ты ползешь?

Но надо обождать, пропустить мимо себя задних. Среди них есть и свои. Разванюша. Этот сразу с двумя разговаривает: с идущим впереди Ещиком и с Комлевым, который шагает сзади. Кричит про какую-то Анфиску. Ещик только хыкает, а Комлев удивляется:

– Ещик? Не может быть!

Глаза у Разванюши такие, что припоминается дедушкина поговорка: „Из-под сучки яйцо выхватит”. Этот выхватит! Может быть, завтра пальнет Ещику или Фомке прямо в лицо. А сегодня хохочет с ними. Поравнялся с Толей, встретился взглядом и открыто усмехнулся ему: „На работу идешь? А я вот с ними – на пост”. Идущий вразвалку, здоровенный Комлев не принял многозначительного Толиного взгляда: „Ты что так смотришь? Не знаю, что ты там знаешь, мне это не интересно”. Толя даже смутился, точно постучался в дом к знакомому, а его не впустили. А почему, собственно, должны впускать и Толю? Потому лишь, что он чей-то там сын? И правильно. Если начнут так улыбаться свои своим, со стороны быстро раскумекают. Странно даже, что он, Толя, так много знает. Поэтому даже несерьезным порой все кажется и как-то не верится, что немцы ни о чем не догадываются. А что, если знают и вот в эту минуту и идет разговор про маму, Коваленка, про этого Комлева?.. Толя всегда гордился тем, что ему известно многое, о чем Казик, например, даже не подозревает. Подумать страшно, что будет, если где-то оборвется. Вспомнился протяжный крик человека, которого убивали палками во

дворе комендатуры. Они то же делают и с женщинами... Толя уже с тревогой посмотрел на косоглазого полицая – брата бургомистра. А следом бежит Захарка: внимательно вгляделся в лица сыновей докторши и даже улыбнуться не забыл.

Возможно, что Толя был прав в своих опасениях. Подпольная сеть в поселке складывалась несколько стихийно, она как бы являлась продолжением в новых условиях довоенных взаимоотношений, проверенных в первые месяцы войны и основывающихся на человеческом доверии кого-то к кому-то. Все перемешала война. Но чем сильнее будешь встряхивать решето с неочищенной рожью, тем скорее и лучше отделятся крупные зерна от всякой трухи. Такое разделение произошло и в поселке. Как-то сама собой выросла стена скрытности, отчуждения, которая отгораживала жителей не только от оккупантов, но и от всякого, кто оказался предателем или на кого нельзя было положиться. Люди, ненавидящие оккупантов, борющиеся, не жили на виду у врага, они жили за стеной общей народной конспирации. И там, за стеной, они могли позволить себе знать друг о друге больше, чем допускают правила военной конспирации. Время от времени в стене этой могли появляться проломы: каждый предатель – брешь, через которую враг может прорваться в крепость. И это будет стоить немалых жертв. Но перед врагом снова встанет стена. Чисто военная конспирация в поселке, пожалуй, поставлена была неважно. И если еще не случилось большого провала, то лишь потому, что выручала стена общей, народной конспирации, которая так широко, на целый сельсовет, действовала, когда женщины кормили военнопленных в аптеке.

Толе всегда нравилось ходить по шоссе в сторону моста, к речушке. Летом здесь тяжело нависают над асфальтом старые клены, белый придорожный домик вылущивается из зелени, будто орех, черная лента дороги то вниз потечет, то вздыбится, то опять – вниз, плавная, уходящая. Теперь тут голо, пусто по сторонам. По шоссе ходят немцы, полицейские какие-то, возле моста внизу – караульный барак, обнесенный стеной из бревен и земли. Везде колючая проволока. Немец по мосту прогуливается, показывает глазами: „Проходи, проходи, шнеллер”. Шнеллер так шнеллер, черт с тобой, недолго ты еще поторчишь здесь! На километровом столбе значится: 674. Столько – до Москвы. До фронта поближе.

Оказывается, Казик уже на работе. Правда, его не видно. У Жигоцкого „медвежья болезнь”, согласно диагнозу Повидайки, и он не вылезает из-под мостика.

– Решили, знаешь-понимаешь, наши полицейские и Казикова батьку пощупать, – тараторит Повидайка. – Ну, ведомо, не дурни, знают, где можно разжиться медком. Я и говорю – с перепугу это у Казика приключилось.

Подошел Казик. Совсем на себя не похож: позеленел весь, глаза и щеки ввалились. Криво, неуверенно как-то улыбается:

– Повидайке нашему все шуточки. Вот подержали бы вас под дулом пистолета, как нас, целую ночь. Гады проклятые. Ворвались ночью…

Казик взялся рассказывать, как трясли их полицаи. Толя демонстративно ушел. Стал сбрасывать в канаву хрусткий, закрепший на утреннем морозце валик снега, который наскреб снегоочиститель. Дойдет до старого клена, а затем посидит.

Снег скоро будет таять. Солнце вон уже какое! Вроде и не выше ходит, а лучистее стало, и небо, натертое за зиму тяжелыми тучами, сделалось такое чистое и синее. Толстущий клен растет почти в канаве. Так и кажется – соступил с дороги когда-то перед лихой тройкой, да и стоит на спуске, все не решаясь приблизиться к дороге: умчалась тройка, пошли гурты скота, а потом тесно стало от крикливых балаголов-возчиков, все гуще пошли машины, а тут вдруг – танки… Так и стоит в сторонке вековой клен. Толя приткнулся к нему спиной. Снег сегодня будто угольной пылью присыпан. Только радужно блестят на нем мелкие искорки да пылают нестерпимой чистотой бугорки и ямки. Под ногами – вокруг ствола – черное пятно земли. Неровное, зубчатое коло[11] весны! Лоскутья полусгнивших, облитых тающим льдом кленовых листьев, сучки, соломинки – так радостно видеть весь этот весенний мусор. Толя присел на корточки, взял в губы обмерзшую, похожую на леденец, палочку. Вот у этого бугристого сучка, холодно-горького на вкус, своя жизнь: он держал большие многопалые ладони-листья, потом лежал здесь, теперь он у Толи в руке. Бросят его, он будет опять лежать так, а не иначе. Война, у людей свои заботы, немцы ходят по шоссе, их выгонят, а сучок будет лежать там, куда бросит его Толя. А где в это время окажется он, Толя? Толя швырнул палочку в канаву и тут же поймал себя на мысли: там она будет лежать, как будто именно там ей и надо лежать. А почему именно там? Толя может взять ее и бросить в другое место или даже раскрошить в пальцах. Что-то заставило его лезть за палочкой в снег. Недоумение и протест пробуждала в нем мысль-

---

[11] Круг *(бел.)*.

догадка, что в мире много такого, что не имеет отношения ни к войне, ни к нему, Толе...

Пойти, что ли, побросать снег, а то Голуб уже посматривает сюда? Подойдет человек, у которого часовой на мосту проверяет документы, тогда Толя возьмется за лопату. Солнце сегодня какое-то гладящее, таким оно бывает лишь на исходе зимы. Кажется, что оно светит не прямо, а отраженно от голубого купола неба. Когда солнце вот так – в глаза, в лицо, словно один на один с ним остаешься, ни о чем не хочется думать, закроешь глаза, и кажется, что ты весь растворяешься в чем-то теплом... Толя открыл глаза и вдруг увидел, что человек, которого останавливали на мосту, почти рядом. Толя сразу узнал его: Гулис! Один только раз он видел, как Гулис подходил к Павлу, но Толя хорошо знает, кто он, этот красивый, как женщина, примак из Зорьки. Павел намекнул однажды, что и Гулис участвовал в похищении Шмауса и в попытке подорвать бетонный мост с помощью Толиных бомб. Видимо, все в Толе кричало: „Знаю, свой, я *тоже*! – потому что Гулис даже приостановился. Толя выбежал на шоссе, неуверенно пожал протянутую ему руку. Чтобы его признали, сказал:

– Про Павла вы слышали? Возле Больших Дорог, говорят...

– Ах, это! – Красивое матовое лицо Гулиса озарилось улыбкой, блеснули белые ровные зубы. – Кстати, привет вам от Павла. Смеется, что его похоронил бургомистр.

– Павел? Это правда? А у нас тут сказали...

Толя готов был бежать домой. Его радость не была полной, пока об этом ничего не знала мама.

Толя не мог не вспомнить в этот миг и о Казике, но уже по-другому. Оглянулся в его сторону. Вон, оперся на лопату и смотрит сюда.

– Не стойте долго, – зашептал Толя, – этот на Павла доносил.

– Вон он какой. Ну, бывай!

Кивнул головой и пошел. Казик сразу же принялся сбрасывать снег в канаву. Поравнялся Гулис с ним – он вдруг снова оперся на лопату. Конечно, чтобы посмотреть в лицо. И в спину проводил взглядом. Направился к Толе. Не выдержал!

– Это кто?

„Ишь чего захотел!"

– Да так себе, знакомый.

„Как бы тебе хотелось узнать, кто он, о чем говорили! Что ж, может быть, и про тебя. Все может быть".

– Да, – протянул Казик, – скоро и нам не усидеть. Все пойдем. Придется погибнуть, как Павлу, что ж – война.

Толя помалкивал: „Ну-ну, скажи еще что-нибудь!”

– А ты бы решился? – вдруг спрашивает Казик и в глаза смотрит.

„Ах ты, зеленая морда, куда заехал!”

– Не знаю, – немного теряясь перед наглостью Казика, отозвался Толя. Пуговицыну он, конечно, сказал бы „нет”, прежнему Казику – „да”, а этому что сказать?

На работу Жигоцкий больше не вышел. Прибегала в аптеку Лена просить для мужа порошков, которые бы „закрепляли”. Толя со злорадным смехом рассказал Владику про диагноз Повидайки. А доктор Владик принял всерьез „медвежью болезнь”.

– Бывает, это нервное. Даже умирают от такого поноса.

– Ему как раз, – вырвалось у Толи.

Мама предостерегающе посмотрела на него. Толя прикусил язык. Он все забывает, что и Владика надо опасаться. Теперь мама с сыном Грабовской не откровенничает, а раньше нет-нет да и прорывалось у нее. На Танькиных крестинах она долго и горячо убеждала Владика:

– Ты мне, Владичек, как свой. С хлопцами вместе росли, и с мамой твоей я дружила всегда. Я хочу предостеречь, не обижайся, я старше и больше пережила, видела. Нельзя теперь ошибиться в главном, помни это…

– Вы для меня, Анна Михайловна, и Иван Иосифович… – Владик начал вспоминать о том, как Толин отец помог ему, когда его, сына „врага народа”, не принимали в техникум, стал „размазывать”, как делают пьяные.

– Ты знаешь, – перебила его мама, – у меня тоже по-разному было в жизни. Я за стариков обижалась, и за братьев думалось… Но прошлое – позади. Главное – дети. У них будущее было, а это для меня, для каждой матери – главное. Своя родина – как мать. А чужак всегда чужак. Можешь на людей обижаться, на кого хочешь, но не на родину. Запомни, Владичек, я тебе только хорошего желаю.

Теперь мама о таком с Владиком не говорит.

Конец и начало

Сегодня Толя уйдет в партизаны! Ночью подойдут из лесу. И комендатуру, конечно, разгромят. Толя станет партизаном. И тогда все кончится. Нет, все начнется. Начнется необычайное!

Сделалось вдруг страшно: а что, если как раз сегодня немцы схватят всех? Так люди, пробыв в завалившейся шахте не одни сутки,

видимо, с особенным страхом думают о непрочности креплений именно в те часы и минуты, когда им уже слышны голоса друзей, пробивающихся навстречу.

Если немцы о чем-нибудь догадываются, если есть предатель – несчастье произойдет именно сегодня. Бросить бы все, бежать, пока можно. Лес – вот он, рядом. И на работе, вдали от поселка, легче было бы дожидаться ночи, но сегодня воскресенье. Или это нарочно к выходному приурочено, чтобы можно было собраться? А что тут собираться? Шапку на голову и пошел. Кучугура так и сказал маме при последней встрече:

– Берите только ложку.

Но мама вслух соображает, что взять из еды, что из тряпок захватить. Но на то она и мама.

За медикаментами к аптеке подъедут сани. Алексей будет подавать из окна то, что приготовлено мамой и Надей. Толя же понесет в чемоданчике хлеб и пожелтевшее сало. Как же, он младший! Но с мамой лучше не спорить, особенно сегодня.

Решено отправить дедушку засветло. Он пойдет будто бы в гости в деревню. Меньше возни ночью будет. Дрожащими руками надевал старик чистое белье, с тяжелым кряхтеньем навертывал новые портянки. Дедушка ухитрился ни на одной войне не побывать, все выходило – между, а тут на тебе – в восемьдесят лет надо идти в лес. В блеклых глазах его печальная готовность: что ж, ради спасения внуков он готов. Мама объяснила: уходим, иначе хлопцев в Германию увезут. Долго мама растолковывала ему, как он должен идти, что говорить, у кого дожидаться ночи.

Стоя у окон, провожали дедушку-партизана. В старом папином пальто с каракулевым воротником, в тяжелых сапогах, в вытертой ушанке, туго, как у ребенка, завязанной под бородой, дедушка похож не столько на партизана, сколько на богатого хуторянина, собравшегося в церковь. Вышел за калитку – высморкался. Вытер бороду, усы. И глаза. Толя заподозрил, что на глазах у дедушки слезы.

Отправив деда в партизаны, бабушка начала перебирать свое добро в сундуке. Взять, что получше? Но лучшее у старухи то, что она приготовила для последнего обряда, для смертного своего часа. И она взялась надевать пахнущее сундучной пылью старомоднейшее черное платье с узенькими рукавами и какими-то крылышками на плечах. Платье длинное-длинное, ботинки закрывает.

Мама каким-то странным взглядом посмотрела на старуху. Промолвила неожиданно мягко:

– Свяжите все это в узел. Хлопцы… вот Толя понесет. На себя наденьте, что потеплее. Вы туда *жить* идете.

В спальне подняли две доски, в яму, приготовленную еще летом, опустили бабушкин сундук. Начали швырять в него, что под руки попадало. Мама тихо сказала:

– Наживали с папой…

Толя положил и свои книги. С тоскливым сожалением подержал в руках тяжелый однотомник Пушкина. Найдут сундук, на барахло у бобиков нюх отменный. Нет, Пушкин тоже уйдет в партизаны. И тетрадку с собственными стихами, конечно, прихватит Толя.

А до вечера еще целая вечность. Что, если именно в эту минуту в комендатуре, в волости уже готовятся, что, если там уже знают?.. Мама не выдержала, пошла навстречу опасности – к бургомистру. Этот ничего скрыть не умеет, когда дело касается „бандитов". Вернулась в сопровождении волостного секретаря – бородатого родителя Афанасия, того самого Афанасия, что несколько раз приходил с Владиком играть в карты. Бородач оставил в сенях полмешка муки. Уходя, сказал:

– Месяц будете с блинами.

Лица у домашних были, вероятно, глупейшие, потому что мама даже рассмеялась:

– Бургомистр прислал. Я расстоналась там, что нечем семью кормить. И вот… с блинами мы теперь.

Мама, кажется, находит уже что-то веселое в роли, которую до этого играла с таким напряжением. Похоже, что и она думает сейчас о том же, о чем думает Толя: ох и дураками покажутся сами себе и друг другу бургомистр и комендант завтра! Если, конечно, доживут до завтра. И правда, мама даже улыбнулась, когда Толя с хохотком сказал:

– Придут завтра на блины!

Но тут же посерьезнела. Будто сама удивилась своему настроению. Как можно будничнее объяснила:

– В случае чего, можно будет сказать: „Если мы собирались в партизаны, зачем бы тогда я ходила к вам муки просить?"

Мама, кажется, способна верить в вещи еще более наивные, чем записка Павла. И все-таки она тогда всех их победила! Только бы сегодня не сорвалось…

Толю отправили сбросить сено корове.

– Побольше, все равно, – сказала мама.

Раз все равно полицаи заберут корову, тогда зачем эти хлопоты? Но пришлось идти. Глядя с чердака на старательно жующую

Малютку, Толя подумал, что хорошо бы и ее увести, а в сено насыпать горячих углей, устроить пожар замедленного действия. Вспыхнул бы, конечно, и дом, а там и до комендатуры недалеко.

Старик медленно идет вдоль забора, тяжело отдувается в усы, глаза у него слезятся, видимо, от холода. Переходя поперечную улочку, он всякий раз останавливается, недоверчиво смотрит направо, налево. Боится машины. Он давно, с самого начала войны, никуда от дома не уходил. Годы отодвинули его в сторонку от того, чем живут все. Этих всех он мысленно объединяет в одном понятии и слове: молодые. Молодые – это те, которые до войны старались жить не так, как жили их деды и отцы. Вымудряли много, но вот что учились все, что не сидели дома, что машины всякие наловчились делать – это хорошо. И то, что не для денег стали жить, а для себя, старику нравилось. Баба, та часто удивлялась своему сыну и невестке: „Столько получают, а на черный день и рублика нету". Дурная баба, думали бы они про книжку, так про нас, стариков, и не вспомнили бы.

А тут германец этот. Старик столько перемен всяких видел, что и новую беду не считал непоправимой. Ну пришел немец, побудет, а потом его выгонят. Так всегда было. На это русская армия есть. Но молодым не терпится. Старик мало видит, но много понимает. Не хотят старику говорить, ну и ладно. Но ему молодых жалко. Ему уж все равно, а молодым бы жить да жить, когда вся эта каша перекипит. А теперь вот им надо в лес бежать, спасаться. А какое там спасение? На муки, на смерть идут.

Навстречу идет Владик, фельдшер. Он тоже молодой, ихний.

– Куда это вы, дедушка?

Полнясь жалостью ко внукам, страхом за них, с тоской думая о неуютном морозном лесе, старик проговорил в отчаянии:

– Ды гэта ж мы, Владичек, у партизаны идем.

Возле угла Толю поджидал брат. Ничего еще не сказал, а Толя по лицу его понял, что произошло самое страшное.

– Что?

– Владик в хате. Дедушка сказал ему.

Через шоссе за аптеку – и лес! Теперь, сию минуту, еще можно, вот-вот станет поздно, непоправимо поздно. Потом, в комендатуре, в подвале, избитый, будешь мучительно жалеть о минуте, когда еще можно было… Тебя поведут в лес, рядом будет идти Фомка с лопатой – и все лишь потому, что ты упустил вот эту минуту. А мама? Ей будет еще тяжелее, если и тебя схватят. Она и сама сказала бы… Конечно, она приказала бы: „Уходите, бегите в лес!" А ты все будешь бегать и все пусть на нее?.. Какие белые и большие глаза у брата! Но он не

смотрит на лес, он как бы прислушивается к тому, что в доме. Нет, нет, надо идти в дом…

В зале слышны взволнованные голоса: доверительно-жалующийся мамин и как бы огорченный – Владика. Если бы не знал, кто такой этот Владик, с чем он пришел, можно было бы подумать, что мама только и ждала его, чтобы попросить совета. Дверь открылась, выглянул Владик. Лицо красное, вспотевшее. Дверь осталась приоткрытой.

– Что нам делать, Владичек, что делать? – не то жалуется, не то спрашивает мама.

– Почему вы мне не сказали ничего? Я поговорил бы с Хвойницким.

– У них уже список партизанских семей приготовлен. А если заберут?

– Боюсь вам советовать. Смотрите… Я еще приду к вам.

– Владичек…

– Нет, что вы, никому ни слова. Как вы можете даже думать так, Анна Михайловна?

Владик в распахнутой шубе выбежал в кухню и, не замечая никого, – на улицу. Мама вышла из зала и сразу к окну:

– Куда он пошел? Ой, детки, что это наш дедушка сделал! Из ума выжили.

Упрек адресуется и бабке, которая выглядывает из столовой. Матери не до того, чтобы быть справедливой. Разве справедлива жизнь к ней самой?

– Где он? – У матери щеки мокрые от слез, а глаза до боли сухие.

– Шоссе перешел, – шепчет Алексей, – домой, кажется.

И тут все увидели, как большая фигура Владика метнулась обратно через шоссе. Неужели все-таки к бургомистру? Почему мама ничего не предпринимает? Как может она полагаться на совесть человека, которого сама считала шпиком?

Мама ходит по комнатам, не отводя взгляда от окон, и все, кроме бабушки, тоже смотрят в окна.

Солнце, как огромная капля расплавленного стекла, висит где-то над самым краем земли под узкой грядой облаков, пылающих оранжево-синим пламенем. Красная капля словно разбухает, наливается и все более круглится. В какое-то мгновение она вдруг делается пылающим диском, который, будто оттолкнув от себя узкую полосу облаков, повисает неподвижно.

Тени на розоватом снегу – длинные-длинные. На таких ногах ночь давно могла бы прийти. Неужели возможно то, что будет завтра?

Сейчас Толя смотрит из спальни своего дома на садящееся солнце, а придет и пройдет ночь, и все будет по-другому. Толя перестанет быть Толей, он станет тем, кого любят и кем восхищаются, кого ненавидят и боятся, – он будет партизаном. Теперь он может выйти на шоссе, пройти мимо комендатуры, спокойно разминуться с немцами, с полицаями. Сегодняшний Толя их мало интересует, завтрашнего они тотчас бы схватили.

И опять, как перед поездкой к дяде, явилась потребность внутренне *остановиться,* заглянуть в себя, запомнить себя на самом „перевале". Когда-нибудь он мысленно возвратится к этому дню, к этой минуте и ему легче будет представить, как он еще не был партизаном, а потом – как он уже стал партизаном. Нужно только постоять, за что-либо уцепившись глазами, и, главное, постараться остановиться внутренне. Запомнить это красное солнце под полосой горящих облаков? Нет, оно еще не раз будет таким, и оно никакого отношения не имеет к тому, что сегодня происходит и произойдет. А вот этого дощатого сарая, этой стены, красноватой от косых лучей, никогда уже не будет, если ночью начнется бой, пожар. Почти два года назад в этой же комнате дядя переодевался, Алексей хлопотал над чемоданами, а Толя сидел вот здесь, на кровати, старался и не мог почувствовать ужас перед словом „война". Тогда стена была светлая, палевая. Завтра уже не будет ни Толи, *еще не ушедшего в партизаны,* ни вот этой стены, на которую он сейчас смотрит…

Было тревожно: где теперь Владик? Но вместе с тем было до дрожи хорошо: проснутся поселковцы завтра, а Толя для них уже – партизан. И еще – чуть-чуть тоскливо при мысли, что все остающееся позади уже никогда не встретишь. Можно будет лишь представить потом, как ты стоял вот здесь, смотрел в окно и старался перенести это мгновение в будущее.

Опять забежал Владик. Долго задерживаться боится, ему стыдно за эту боязнь, и он шепчет:

– Я приду, вещи помогу вынести.

Толя смотрит на него с благодарностью (на того Владика, который не выдаст) и с отвращением (на того, который заставляет опасаться себя, который сейчас пойдет и донесет).

– Вот, а говорили о нем, – промолвила мать.

Алексей подхватил с готовностью:

– Владик любит туману напустить.

… Толе тоже хочется поверить. Владик не выдаст хотя бы потому, что мама дружила с его матерью. В отношении некоторых правил Владик, кажется, довольно тверд, хотя в карты играет и не

совсем честно. Только бы дал уйти! А если бы он знал, что не одни Корзуны уходят?.. Этого он, конечно, не знает и не узнает, даже если мама и поверит в него.

Оставалось только ждать. Сидели в темноте на стульях, на диване. Бабушка то зайдет в зал, то выйдет, она словно старается вспомнить, сообразить, найти что-то. Мама заговорила вполголоса:

– Тяжело будет старикам. Не привыкли они без крыши жить. Бедный дедушка, так разнервничался: „Это ж мы, Владичек, в партизаны идем”.

Нина засмеялась, и всем сделалось весело. И тут, как будто бы и совсем некстати, мама спросила:

– Что нам делать, детки? Пойдем, да?

Вот тебе и на! Да разве нужно спрашивать об этом? Тем более сейчас, когда уже и отступать-то нельзя.

– Ну, а как же! – даже возмутился Толя.

– Алексей, ты старший, почему ты молчишь? В голосе мамы – непонятная боль.

– Что теперь раздумывать, – как всегда, невпопад буркнул брат.

И тут, неожиданно для всех, мать разрыдалась.

– Простите меня, детки, может, я вас сама на погибель веду.

Прибежала из кухни бабушка, застыла в темноте.

– Я давно ушел бы, если б не семья! – восклицает Толя и, чтобы убедить, добавляет как можно грубее: – Думает, что это она нас тащит? Если бы не ты, я давно бы…

Алексей с неумелой лаской гладит мамино плечо, руку:

– Ну, не надо, мама… Мы же сами. Не надо, перестань…

А матери было страшно. Она вдруг остро ощутила, какой неожиданной и жестокой стороной повернулось то, что она старалась все брать на себя, старалась сама все делать, все решать. Получалось, что это она поставила детей перед необходимостью идти в лес, навстречу той случайности, которая уже уничтожила Важника, Виктора, так беспощадно оборвала жизнь новичков, которых Никита Гром вел в партизаны. Теперь поздно раздумывать над тем, уходить или не уходить. Вот именно, у детей не осталось даже выбора. Они рады, они счастливы, что уходят в партизаны. Но это ничего не меняет: не они идут, а она их вынудила идти навстречу страшной неизвестности, может быть – смерти. Разве что-нибудь сможет облегчить ее муки, если случится непоправимое, разве не себя она будет считать единственной виновницей того, что ее дети не живут, когда другие живут, смеются, учатся, растят своих детей? И мать просила, чтобы они *сами решили,* она молила защитить ее от самой

себя, защитить от той, которая не простит, если с детьми что-нибудь случится там, куда она их ведет.

... Стояли в темных сенях и напряженно всматривались в холодную ночь. Все двери открыты настежь, чтобы не стучать.

– Иди, сынок, – шепот мамы. – В углу справа все сложено. А может, лучше я сама?

– Ну, вот еще, – приглушенным басом отозвался Алексей и исчез в темноте.

Слушали, как Алексей проходил через двор, как осторожные шаги удалялись в сторону аптеки. Скоро уходить и Толе. У него в руках чемоданчик, с которым он приехал от дяди в первый день войны, и еще бабушкин узелок. Всучили все-таки. Холодно – даже дрожишь. Из кухни уже не тянет теплом и домашними запахами. Холод вошел в дом, из которого уходили хозяева. Толе казалось, что за спиной у него дом умирает, как живое существо. Но Толя не жалеет его, он весь устремлен туда, куда уходит, – в партизаны.

– Давайте насыплем углей в сено, – шепчет он.

– Что ты опять сочиняешь! Тише. Иди.

Толя вышел из сеней так, точно от берега оторвался. Пока он не доберется до другого берега – до леса, – его подстерегает злая опасность. Теперь он уже партизан, и если его схватят... Слева затаилась комендатура. Шоссе лежит впереди, как пропасть, которую надо перескочить. Толя перескочил и прилип к дереву. Идут! Заметили или не заметили его? Бежать за аптеку! Теперь обязательно увидят. Близко уже, по стуку сапог можно понять, что их много. Смеются. Значит, полицаи. Немцы ночью не смеются. Слившись с деревом, Толя медленно поворачивался возле него, пока полицейские проходили мимо. Дышать даже перестал, так близко они были.

– Завалиться бы да выспаться. А тут мне караул этот всучили.

Разванюши голос! Толя позволил себе чуть-чуть вдохнуть и выдохнуть.

А вот и Фомка бабьей скороговоркой сыплет:

– Придумали эту конюшню. Дышишь, чем Ещик воняет. Я и дома мог бы переспать. Или еще где.

– Давно бы тебя партизаны заарканили! – возражает Разванюша. – Правду я говорю, Пуговицын?

– Я на правде вашей не был.

Прошли. Дятел сильно и часто-часто стучит над головой... Да нет же, это Толино сердце так колотится о сосну, к которой он прижимается.

Толя забежал за аптеку. Далеко впереди что-то поскрипывает, может быть, санные полозья скрежещут о песок. Толя шел полем и впереди, как защиту, как друга, как свой новый дом, ощущал лес, партизанский лес. Счастливо оставаться, бобики! Тут, возле леса, страшно уже вам, а не мне. Знали бы вы, что ждет вас сегодня!

Справа по дороге кто-то идет к лесу. И слышно, что женщины: на каждом шагу спотыкаются. Это же мама с бабушкой и Ниной! Но что это громадное, в два человеческих роста, движется следом за ними? Неужели Владик? Он! И тюк большущий на голове тащит. Ну и мама, навьючила человека, которого, может быть, и теперь шпиком считает, будто так и надо! Битый небитого везет!

Вот обрадуется она, услышав, что Толя уже здесь. Сын подал голос.

– Что ты шумишь? – гневно шепчет навстречу ему мать. – Тише ты!

Обрадовал! Невпопад, как всегда.

Оказывается, и Алексей уже здесь. Он принял у Владика туго набитый мешок и ждет в сторонке. А Владик никак не распрощается.

– Надеюсь, еще встретимся.

„Это уже твое дело, – довольно-таки неблагодарно думает Толя, – если вовремя спохватишься, может быть, встретимся".

Протянутую ему руку Толя пожал без особого энтузиазма. Конечно, Владик никакой не шпик, ерунда все эти слухи, но он все же дал повод о себе так думать, и сколько надрожались из-за него сегодня.

Единственное, что пробуждает в Толе теплое чувство к Владику, – это то, что Владик первый из поселковцев, кто уже знает, что Толя – партизан.

– Спасибо, Владичек, – говорит мама.

– Ну, хлопцы, до встречи. Эсминец „Керчь" эскадры топить не будет!

Владик еще раз подержался за руку с каждым, а Нину почему-то поцеловал. Похоже, что ему совестно уходить, оставлять в темном лесу женщин и детей. Если уж на то пошло, они (особенно Толя) могут его самого пожалеть!

Обождали. Шагов Владика больше не слышно.

– Кто приезжал? – тихо спросила мама.

– Один Горбель. Погрузили, он уехал, а я пошел вас встретить. Коваленков видел, все в той стороне собираются.

Алексей вскинул мешок на плечо и направился в глубь леса. Он как-то сразу стал понимать, что к чему, и мама как бы уступила ему

место впереди себя. А Толя по-прежнему не в счет. Нет, и о нем вспомнили.

– Помоги бабушке, – приказывает мама.

А бабушка все отстает. Она, кажется, только и ждет той минуты, когда сказано будет, что можно возвращаться назад в поселок, в теплую хату. Ей никак не хочется поверить, что этот темный, холодный, страшный лес и есть их новое жилье. Внука уже злит пугливая медлительность бабки.

– Ну вы смело, тут дорога.

– Ты не нукай, а помогай, – слышен в темноте мамин голос. Алексей остановился, с кем-то разговаривает. Да тут под соснами целый табор! Толпятся, ходят один за одним и все улыбаются – ото по шепоту, по нервным смешкам можно понять. Узнают друг друга с такой радостью, точно с начала войны впервые встретились.

Подбежала Надя, смеется тихонько, прижимаясь к плечу мамы. Галчата ее сидят рядышком на чемодане, будто поезда ожидают.

– Где же они, почему нет их? – нервничает кто-то.

Отдельным лагерем на узлах и мешках расположилась большая семья Коваленков. Приглушенно смеется грудастая Ефросинья, жена Разванюши.

– Ну, ты, бес в юбке!

Это старик Коваленок наводит порядок в своем „доме".

Всех и не разглядишь. Толя прикинул: с детьми – человек пятьдесят, а еще Разванюша и его хлопцы. Ну и шуму будет завтра! Те, кто помоложе, курят в сторонке, удивляют друг друга своей осведомленностью:

– Наш Коля тоже пошел. Склад заводской брать будут. И завод рванут – вот увидите!

– А немцы хотели его пускать.

– А мы идем, а Застенчиков попереду. Услышал – остановился, и мы нарочно остановились. Ка-ак рванет он в лес! А потом – ругаться!

У широколицего сына заводского конюха полный карман толстеньких французских патронов. Толя выпросил одну обойму. В долг, конечно. Получит *там* – вернет.

Появился „полицай" Комлев. На правом и левом плече три или четыре винтовки.

– Кто тут постарше? Со мной пойдем.

– Давай мне.

– И я... – быстро сказал Алексей, будто забегая кому-то наперед.

Комлева окружили.

– Что там, Жора?

– Куда вы?

– Почему нас не забирают?

Про „забирают” опять Застенчиков. А винтовку не попросил. Когда-то Сенька Важник изводил этого вояку – и не зря.

Мама незаметно тронула Алешу за руку. Он отошел в сторонку, сказал:

– Ничего, мама. Не бойся.

Толя чувствует себя в чем-то виноватым. Он больше всех кричал: „Пойдем! Пойдем!” Теперь же навстречу опасности идет Алеша, а не он. Толю оставляют с женщинами, и он помалкивает. Алексей, кажется, рад и тому, что он уже с винтовкой, и тому, что Толя без винтовки, что маме хоть за Толю не надо пока бояться. Брат всегда отводил Толе роль „маминого утешения”. Самое удивительное, что сегодня это не злит Толю. Он не побоялся бы пойти туда, куда отправляется Алексей, где скоро начнется бой. Конечно, нет. Но если сразу двоим пойти, как будет тут мама? А если сразу возле дома, и двоих?..

Ну, а если и дальше вот так пойдет? Дудки, он только сегодня уступает брату, потому что все равно брат не уступит ему.

С Комлевым ушли Алексей и еще один человек. Кто-то подал пример, взялся ужинать. И всем это очень понравилось. Ужин в лесу как бы закрепляет твое повое положение. Сразу поделились на семьи. С одобрением говорят про Коваленка: он целого кабана притащил в мешках.

Оделяют друг друга, но все-таки каждый полез в свой мешок, в свой узелок. Это неприятно удивило Толю. Не так бы надо. Вот тебе и „только ложку берите”! Мама, оказывается, права была, что заставила тащить с собой еду.

Открыл Толя чемоданчик.

– Что это? Книга? Не можешь без фокусов!

Мама не очень рассердилась, что Толя „забыл” дома буханку хлеба. Тихо сказала:

– Если вернемся, папа придет…

Но будто испугалась этого „если” и не договорила.

Уже два часа ночи. К утру скоро повернет, а партизаны не приходят, не забирают. И тут вдруг все ощутили, как близко они к поселку и как быстро может наступить утро. Что тогда?

– Не вертаться же, – испуганно и обиженно шепчут в темноте.

Толя не тревожится: партизаны знают, что и когда делать. Мама молчит, прислушивается к тишине в поселке.

И вдруг зашумели возле дороги, обрадованно, благодарно.

– Горбель!

– Миша!

А тот, кто примчался на низких санях, вполголоса ругается:

– Почему вы здесь? Вас в Зорьке ожидают.

Значит, была все-таки причина волноваться, напутали что-то. Все готовы расцеловать сердитого Горбеля – знакомого колхозника из Зорьки, который все стоит на санях, готовый мчаться назад. Каким-то образом разглядев в темноте маму, Горбель сказал:

– Разбилась бутылка, большая, что в корзине была. И теперь сено пахнет. Эх, не сказал ваш сын, что спирт там…

Казик Жигоцкий был в самом деле болен – нелепо, смешно болен. И все это знали. Но никто, кроме домашних, не знал, что больной Казик вот уже две недели не ночует в комнатах. Когда-то для дачников начали было делать комнатушку на чердаке, уже и кровать железную туда поставили. Теперь пригодилась. По внутренней лестнице Казик забирался вечером на чердак.

– Вас они не тронут, – почти визжал он, хотя никто его не останавливал, – им я нужен. Из-за вас все это.

А утром появлялся, бледный, заросший, но живой и даже с шуточками:

– Схожу со своего капитанского мостика. Как в каютах, все в порядке на корабле?

В эту ночь он проснулся под ворохом одеял и старых овчин от ощущения, что внизу под стеной кто-то стоит. Проснулся и сразу услышал короткий, отрывистый шепот. Они, кто же еще! Сейчас будут ломиться в дом, или бросят гранату, или подожгут… Хорошо, что он здесь, а не в хате. В ушах гудело. Пододвинулся к чердачному окошку, судорожно вдохнул пыль. Чтобы не зачихать, до боли стиснул пальцами лицо, нос. Рама неплотная, Казик слышит:

– Кто идет?

Кто-то отозвался и тут же, видимо споткнувшись, выругался. Потом:

– Конечно, с полицией… Человек двадцать… Скоро начинаем и мы.

Казик уже догадался, что не к нему пришли эти люди. Но если захватят поселок, придут, не эти, так другие. Внизу под стеной – партизаны. То, что всегда казалось хотя и возможным, но далеким, подступило, вот оно, рядом. Сейчас начнут стрелять, будет пожар, а он как в клетке. Если он спасется от партизан, завтра из города приедут новые немцы, и тоже неизвестно, что будет.

И когда ночную тишину проломило первыми взрывами, Казик упал и пополз, глотая сухой пресный чердачный песок, собирая губами, лицом липкую паутину. Он стукался обо что-то головой и все ползал, ползал и никак не мог найти место, где бы не так грохотало, не так визжало, где бы ему было не так страшно.

Но даже сейчас он не может забыть про живот, про то, что ему надо… И он судорожно хватается за ремень и чувствует, что уже все равно…

Человек сам ощущал, как жалок он, отвратителен в эти минуты, но где-то глубоко-глубоко таилась хитрая расчетливая мысль-надежда, что именно это его спасет: кому, зачем нужно трогать его, такого слабого, беспомощного, такого *некрасивого?*

Зарево из печи охватывает каждого, кто входит в избу, тени мечутся по темным неоштукатуренным стенам. Приблизительно так и представлял Толя место, где встречалась мама с партизанами. Правда, не все понятно Толе. Вот хотя бы эта женщина, хозяйка: она совсем не поражена, что столько селибовцев идут в партизаны, и хорошо заметно, что она не в восторге от того, что в ее доме столько гостей. Сидит над люлькой, подвешенной к балке, убаюкивает плачущую девочку, на гостей не глянет.

Для Толи этот дом, эта женщина – первое, что повстречалось ему в партизанском мире, таком необычном. И потому он не способен догадаться именно о самом простом. Ему, например, и в голову не приходит, что женщина просто-напросто боится: „Вы прибежали, побудете и уедете, а завтра ворвутся сюда немцы и не дай бог узнают, что останавливались у меня".

Толя смотрит на себя, на то, что он „ушел в партизаны", глазами поселковцев, глазами тех, которые проснутся завтра, узнают, позавидуют, восхитятся… Толе еще предстояло почувствовать, что есть не только провожающий, но и *встречающий* взгляд.

Толпились в хате, выходили в темноту, ждали. И когда внезапно загрохотало там, в стороне поселка, все выбежали, замерли. Толя слушал бой не только из Зорьки.

Одновременно он сидел на полу рядом с удивленными, обрадованными и слегка напуганными Янеком и Минькой; в то же самое время он осторожно выглядывал в окошко глазами Владика, наконец-то сообразившего, что Корзуны ему не все сказали; с особенным удовольствием Толя любовался Казиком, распластавшимся за печкой. И всем им Толя давал понять, что он еще вчера знал, что будут громить комендатуру.

Он так живо представил, как от взрывов гранат красно вспыхивают окна комендатуры, что тут же пояснил женщинам:

– До гранат дошло – слышите.

Над лесом в одном месте слегка посветлело. Но темнота тут же сомкнулась снова. Опять там посветлело, больше, чем в первый раз, и ночь уже не смогла сомкнуться: зарево хотя и пригасло, но осталось.

– Горит комендатура, – догадался кто-то.

И вдруг:

– Идут, партизаны идут!

Сейчас Толя увидит тех, кто столько времени был для него мечтой, легендой!

В толчее он не разглядел, как партизаны прошли через двор, на короткое время свет из раскрытой двери охватил их фигуры. Вместе со всеми Толя протолкался в хату.

Их четверо. Двое греются у печки, заслоняясь ладонями и отворачиваясь от пламени. Один из этих двоих совсем молодой, лицо круглое, но не пухлое, а крепкое, как осенняя антоновка. Поперек груди – автомат. Рядом с ним – рябой неулыбчивый партизан с десятизарядкой. Из кармана его кожаной куртки (вытертой, побелевшей, но все же кожанки!) торчит длинная ручка гранаты.

Пожилой партизан, зажав коленями винтовку, отдыхает на скамье. Всех почему-то потянуло к партизану, который переобувается. У этого дружелюбное веснушчатое лицо, золотозубая улыбка. Одет в короткую доху, и весь какой-то кругловатый.

– Вы – „Толики”? – спросил его Толя, осененный догадкой.

– Нет, паренек, мы скорее Васи, если на то пошло. И я, и Авдеенко, тот, что очень серьезный.

Это он про молодого партизана. Поблескивая золотыми зубами, охотно отвечает на вопросы женщин, конечно же бестолковые.

– Мы на мосту были, в поселке не мы.

Толя украдкой провел пальцами по черному пятну на дохе партизана. Мокро!

– Кровь? – спросил он со сладким ужасом.

Толя имел в виду кровь немцев, которых там, на мосту, убивал этот партизан. На свежем от холода лице партизана появилось недоумение, тут же сменившееся дружелюбной усмешкой.

– Вода, паренек. В прорубь, понимаешь, чуть не угодил, когда отходить пришлось.

– Какие результаты на мосту?

Разглаживая на ноге мокрую портянку, партизан заговорил:

– Не совсем. Оружие не вынес ваш… ну, полицейский, что был там внутри. Убил дневального и выскочил. Наш Федя вбежал, а кто-то из них уже добрался до пирамиды. До оружия. Потянул Федя по нарам раз-другой, а его тут и положили. И пошло. Мы гранатами, и они гранатами. Да, а Федя у вас был переводчиком. В лагере военнопленных.

Значит, это тот самый переводчик, который Шмауса увел! Гордый тем, что знал человека, о котором партизаны говорят так уважительно, Толя сделался совсем назойливым.

На настойчивые вопросы Толи партизан неохотно отозвался:

– Немцев сколько? А кто их там считал.

– Их больше убили, десять будет?

– Возможно, что и десять.

– Так это хорошо – один на десять, – подсчитал Толя.

Молодой, тот, что очень серьезный, резко обернулся:

– Нам и двадцать за Федю не надо. И немцев… и таких вот…

Толя впервые позволил себе подумать о партизане с обидой. Ведь Толя лишь старался, чтобы женщины поняли, что даже при неудаче партизаны взяли верх.

В хату вбежал человек, очень подвижной. У человека из всего лезет вата: из рваных бурок, из стеганки, из шапки, и даже белые волосы на лбу кажутся уже клочьями ваты. Одно ухо зимней шапки поднято вверх, придавая лицу человека беспокойный, „заячий” вид. Это Горбель Миша. Вбежал он, и все повернулись к нему, заговорили с ним, а он заговорил сразу со всеми:

– Пришел обоз. Полицаев заводских на Гороховищи погнали. Здравствуйте, ребятки, – это он партизанам, – эх, жалко Федю, такой хлопец был! Спокойный, честный.

Дом встряхнуло.

– Ну вот – трубу вашу, – сказал золотозубый.

Почему он все: „ваши”, „вашу”?

Опять вытолкались во двор. В поселке стрельба притихла. Зарево над лесом разлилось шире. Небо кажется еще ночным, но на земле посветлело. Можно уже видеть двор, огороженный в одну жердь, сарай с провисшей крышей. Лошадей полно во дворе, и по дороге обоз движется. Женщины кого-то окружили плотным кольцом. Комлев, его голос:

– Ведут, человек двадцать. Как всех поднял Сырокваш, вонища, говорят, была. Еще бы! Продрали глаза, а перед носом партизаны с автоматами стоят. Зачитали им сводку Совинформбюро и заставили ползти к лесу. Как миленькие поползли! А Пуговицын шепчет

Сыроквашу: „У меня гранаты дома есть – схожу”. Ничего, говорят ему, у нас имеются, дадим тебе.

…Утреннее небо первых дней весны. Все вокруг залито морозной голубоватостью. Снега на полях нет. Только далекий лес подчеркнут белой полоской, да там, где зимой была санная дорога, сохранился снег, оледеневший, смерзшийся с песком и конским пометом.

Мартовское солнце временами как-то пригасает, словно устает посылать и посылать на землю свои лучи. Солнечные стрелы ломаются о ледяную дорогу, осколки их больно вонзаются в глаза.

Политая льдом дорога – то пылающая, то темная – перекинута через поле как последнее, что осталось от зимних одежд земли. По ней далеко вытянулся санный поезд.

– Самый раз для самолетов.

Это говорит молодой темнолицый партизан, с которым едет Толя. Другие партизаны Толиного соседа по саням окликают по-разному:

– У тебя что, Перекруткин, соль?

– Эй, посторонись, Переверткин, оберну.

От самолетов на такой дороге не спрячешься, это правда. Переверткин (или Перекруткин) нет-нет да и поглядит в сторону Бобруйска. А вот Толя о самолетах и не подумал бы. Ему вдруг сделалось стыдно: столько времени он жил, не опасаясь немецких самолетов.

На следующих санях одни женщины. Мама обхватила Надиных малышек и Нину, сама Надя лихо поддергивает вожжи. Щурятся на солнце, улыбаются, Надя что-то кричит.

Обгоняя их, несутся легкие санки, резко скрипят по песку. Правит дед, у которого за широким командирским ремнем граната с длинной деревянной ручкой. Сзади двое партизан. Ноги не помещаются в узеньких санках: один свесил к полозу ногу, другой – тоже. Оба с автоматами, белые полушубки перетянуты в поясе.

– Кучугура и Сырокваш, – сказал Перекруткин (или Переверткин) очень уважительно, но ледяной дороги и сантиметра не уступил. Проскрежетав одним полозом по песку, санки пронеслись мимо. Значит; тот, с черным пятном усиков на бледном лице, и есть Сырокваш. Толя даже попытался перехватить его взгляд. На Толю посмотрели, но так, что он вдруг почувствовал себя еще одним мешком в санях у Переверткина-Перекруткина. В конце концов они имеют право смотреть на него как угодно. Они ведь еще не знают его. Когда узнают, будет совсем другое.

Впереди деревня. Тут только две настоящие хаты. Вдоль улицы одни печки, некоторые развалились, а другие так и стоят, голубоватые, будто вчера только заботливая хозяйка белила их. Холодом веет от этих голых печей. Среди огородов, совсем уже не в ряд, погреба-землянки. Вот она – партизанская деревня.

В толпе женщин и партизан послушной, правильной колонной стоят полицаи. Такие смирненькие, будто сами удивлены, что так вот получилось: стали каким-то образом полицаями. Стоят и жадно, боязливо слушают, что говорят сердитые женщины. И чем больше слушают, тем больше каменеют. Стоят по два в ряд. Пуговицын и начальник полиции Зотов – в затылок Захарке и косоглазому брату Хвойницкого. Дальше братья Леоновичи, как всегда, рядышком, посиневшие, у младшего на шее всегдашний грязный бинт. Ещик в валенках и без шапки, этот, кажется, до сих пор не проснулся, пялит глаза на партизан, на неласковых женщин с тупым удивлением. А коротконогий Фомка пугливо жмется, точно щель ищет, подбородок, нос, щеки – все пухленькое и все белое. И бородатый батя Афанасия здесь, стоит, ссутулясь, не поднимая глаз. Всех Толя даже в лицо не знает: оказывается, много их бегало по поселку. Вчера еще каждый из них мог прийти к тебе в дом, арестовать, загнать в комендатуру, отправить в Германию или просто уничтожить тебя, всех, кто дорог тебе. Им казалось, что до судного дня далеко, они старались убедить себя, что дела немцев по-прежнему неплохи. Во всяком случае, думалось вот такому Фомке, еще неизвестно, кому хуже: ему, полицейскому, которому приходится бояться далекой, как фронт, расплаты, или соседу, которого в любой момент можно отправить впереди себя на тот свет. И отправляли сколько могли. А теперь стоят, такие беспомощные и послушные, хоть ты пожалей их.

– Наслужилиса? – громовым голосом спрашивает высокий партизан с лицом кавказца и с полесским выговором на „са”. – Отвоевалиса, спрашиваю?

Полицаи виновато переминаются.

– Замаливать грехи будете, господа полицейские!

Черные выпуклые глаза партизана чуть-чуть простецкие, но голос грозный и оглушающий, как труба. Кожаная тужурка потрескивает на широких плечах.

– Бу-удем, – обрадованно и нестройно гудят полицаи, и всех громче Пуговицын. Он в одном мундире, бритая голова подрумянилась на морозе, а лицо серое.

Женщины расступились перед Кучугурой. Толя сразу узнал его: идет, чуть-чуть наклонившись, взгляд быстрый, исподлобья, рукой придерживает автомат у бедра.

– Вася, только не у нас вы их, уведите, – сказала молодая женщина, тронув Кучугуру за плечо.

Кучугура остановился перед Захаркой.

– Ну, сколько за Кричевца получил? На и от меня еще.

Не отнимая правой руки от автомата, левой коротко замахнулся. Рот, щеки у Захарки задергались в бессмысленной улыбке.

– Вась, оставь мне!

Расталкивая толпу, к полицаям пробивается партизан с синими, опаленными миной или снарядом, шеей и щекой. Черты лица у него грубые, но правильные – плакатное лицо моряка. И даже бескозырка на голове, хотя и без лент. Раздвигая плечом женщин, „моряк" издали объясняет Кучугуре:

– Мы слышали ваш концерт, а потом говорят: Селибу громят. Жалко, без нас. Задержались немножко, но эшелончик все-таки кульнули.

– Опять с сеном, да, Петенька? – спросил золотозубый партизан в бурой дохе, с которым Толя уже знаком.

– Ну, сено тоже фураж, – не смутился „моряк" и тут же обратился к полицаям: – Так это от вас столько вони было вокруг Селибы?

– Петя, это тот Никиту Грома убил, – подсказали со стороны.

– Ты?

Леонович-младший, перед которым остановился „моряк", испуганно задергал шеей, а старший торопливо пояснил:

– Это Пуговицын, вот тот, бритый.

– Вот этот, – сказал Фомка, и даже выступил из строя, и даже пальцем ткнул в спину Пуговицыну.

– Так это ты, гадина лысая, друга моего убил? Как ты думаешь, что я из тебя сделаю? – „Моряк" рукой взвешивает у пояса длиннющий штык-кинжал.

– Довольно, Зарубин, нечего тут спектакль представлять.

Веснушчатый партизан из охраны подошел к „моряку", взял его за плечо:

– Отойди, знаю я тебя. Не бойся, он свое получит.

– И получит. Вася, позволь мне конвоировать.

– Как хочешь. – Кучугура прошел вдоль строя. Остановился перед худым, остроносым полицаем. Его в поселке за хромоту называли „Рупь двадцать".

– А ты чего здесь?

– Вот взяли со всеми...

„Рупь двадцать” смущенно переступает длинными, в обмотках, ногами.

– Выходи. Отдайте ему винтовку.

Человек вышел из строя, а те, что остались, глядели вслед ему с лютой завистью. Догадался человек вовремя связь с партизанами наладить.

Откуда-то появился Разванюша.

– Так вот ты кто, а я-то тебя чуть не пристукнул, когда вчера тебе захотелось на двор не вовремя.

Сегодня Коваленок особенно петушистый, где-то уже красную ленту раздобыл, на полицаев посматривает весело.

– Не хватает только бургомистра, как раз в Большие Дороги поехал, а то хоть парад устраивай.

Фомка заискивающе усмехается, лица у братьев Леоновичей жалко кривятся: тоже готовы усмехнуться, если, конечно, им будет позволено. Пуговицын смотрит прямо перед собой, но кажется, что и спина его со сведенными лопатками, и подергивающийся затылок, и прижатые к черепу уши следят за „моряком”, который не отходит от Пуговицына далеко. Конвоир тревожно посматривает на них обоих.

– Алексея ищешь? – окликнул Разванюша Толю. – Воду пьет.

А вот и Алексей. Ишь ты – десятизарядка, подсумки! Потрогать и то завидно. Постой, да, никак, этой винтовкой Пуговицын хвастался, когда ночью приходил? „Десять бандитов и – кон дела!” На прикладе „Н” выжжено – Никита.

– Идем, мать тут, – сказал Толя брату. Сказать „мама” он постеснялся (партизаны кругом!), по от непривычного „мать” братьям сделалось друг перед другом неловко.

Она стоит с Сыроквашем и Кучугурой. Алексей увидел это и повернул назад. Толя пошел к ним один. А чего стесняться?

– Алексей там, – сказал Толя, подходя к матери.

– Это ваш? – спросил партизан.

– Младший, – ответила мама. Она сегодня необычная. Лицо, правда, бледное, как всегда, и губы тоже бледные, но зато глаза так и лучатся, мама их щурит, а они от этого еще лучистее. – Просился все в партизаны.

Толя скромно потупил глаза, уверенный, что на него глядят с любопытством.

– Думает, что мед у вас тут.

И всегда она так: говорит, говорит, а потом и сказанет!

– При чем тут мед? – возмутился сын.. Но до него уже никому нет дела. Его нарочно каким-то молокососом, выставляют: мол, еще не партизан, не дорос.

– А когда будут оружие выдавать?

От смущения горячие слезы стояли у него в глазах, но Толя мужественно выдержал взгляд Сырокваша. Энергичное лицо его, на котором странно видеть пухлые детские губы под черным мазком усиков, вспыхнуло короткой, дружелюбной, как. Толе показалось, улыбкой.

– Выдавать? У нас каждый сам себе оружие добывает.

– Заработаешь – получишь, – сказала мать, сразу ставшая непонятно безразличной. И Сырокваш, как бы уступая ее настроению, перевел разговор, обратился к Кучугуре.

– Не заработаешь, а в бою, – возразил сын, но на него даже не посмотрели.

Опять Толе придется добиваться того, что к Алексею пришло само собой.

– Не хотите, Анна Михайловна, на своих полицаев посмотреть? – спросил вдруг Сырокваш.

– Нет.

– А им хотелось бы вас увидеть. Пуговицын небось самого себя укусил бы.

– Денисов сказал гнать в лагерь, – промолвил медлительный в разговоре и резкий в движениях Кучугура и добавил: – А у хлопцев зуб на бобиков острый, того и гляди…

– Он теперь без бороды? – хитро намекнул на старое знакомство с командиром бригады Толя, но его не сочли нужным услышать.

– Сортировать уже и этих начинаем, – сказал Сырокваш. – Как вы думаете, Анна Михайловна, есть тут такие, кому можно поверить?

– Вот Леоновичи… Два сына у матери, и теперь оба…

У мамы всегда так. Как будто вина их меньшая от того, что оба в полицию поперлись. Толе была неловко за мать перед партизанами, но они даже вида не показывают, что, конечно, не согласны с нею.

Подскакал верховой: немецкий автомат, пистолет, в руке короткая плеть, а лента на папахе такая, что, вероятно, с самолета видна. Наклонился с седла к Сыроквашу, сказал простуженным басом:

– Из Березок немцы двинулись.

– Вася, веди всех на Зубаревку, – деловито сказал Сырокваш. – Я пойду им навстречу.

Забегали возле землянок женщины, с детьми и узлами потянулись к лесу. Повели полицаев. Как-то непривычно видеть Алексея с винтовкой. Бредет следом за полицейскими, и, наверное, ему не хочется встречаться глазами с ком-либо из них. Со спины даже в своей поддевке с таким домашним желтым воротником он уже ничем не отличается от других партизан. Все дело в винтовке. Будет винтовка у Толи, и его не отличить от любого партизана. Он оглядел себя: зимнее пальто – коротковато, шилось, когда Толя еще в шестом классе был. Ну ничего, сойдет за поддевку.

Следом за пленными полицаями тронулся и обоз. В деревне осталось человек тридцать партизан. Они пойдут навстречу немцам.

Когда проезжали мимо последней землянки, увидели, что Алексей и Коваленок, придерживая винтовки, бегут назад в деревню.

По лицам видно, что отпросились из охраны, что и они пойдут навстречу немцам.

Алексей пробежал мимо брата и матери откровенно взволнованный, взглянул на них радостно.

– Готовьте нам обедик, Анна Михайловна! – крикнул Разванюша.

– Возвращайтесь, – срывающимся голосом пожелала мать.

А издали уже вламываются гулкие и какие-то двойные звуки. Будто доски кто сбрасывает: ударяется доска одним концом, потом звучно хлопает всей плоскостью.

Выехали из деревни. Впереди все та же политая льдом голубоватая дорога, извивающаяся среди черных обесснеженных полей.

Мама молчит. Хотя она рядом, но Толя знает, что вся она теперь там – с Алексеем. А когда Толя пойдет, она будет и с ним.

Пылающая ледяная дорога уходит в далекий лес – в незнаемую, таинственную партизанскую жизнь.

1955 – 1959

Сыновья уходят в бой

Потухай, вечерняя заря, потухай,
Залегай, хлопцы, по оврагам, залегай!
Долго, долго заря не потухала,
Партизанскую беседу услыхала:
«На зеленом болоте орленку не жить —
Удалой тебе головы, сынок, не сносить.
Удалую голову высоко не подымай,
Родимую матушку не забывай…»
Пулеметная очередь часто застрочила,
Молодая березка листочек уронила.
Молодая березка зазеленеет опять…

Из народной песни

Часть первая
Уже шестнадцать

I

Толстые темные ели как часовые. Будто передают тебя от поворота к повороту. Толя остановился у соснового пня, облитого льдом. Ничего площадочка – хату можно поставить! И как только спилили этакое деревце. Стал на пень, прошелся. Четыре шага. Посмотрел на облака, пробегающие в небе. Глянул на уходящую вдаль просеку. Так и кажется, что проложила ее рухнувшая сосна.

– Силен лес! – похвалил и как бы похвастался Коваленок.

Силен, конечно. Но было бы удивительно, если бы партизанский лес был обычный. А Ковалёнок здесь как дома, позавидовать можно. Полушубком где-то разжился, полы широкие, а выше – как раз по его девичьей талии. Шагает, сбивая каблуками хромовых сапог звонкие комочки мерзлой грязи, льда. И сам – звенящий, поскрипывающий: опоясан ремнями, украшен пряжками, даже свисток зачем-то на груди болтается. И ямки у рта, и шутовские усики-ниточки – все такое разванюшинское, знакомое.

Началась грабовая роща. Сразу посветлело в лесу. После хвойной зелени сучья граба такие голые, мертвые. Голубоватая и будто с подтеками кора заставляет вспомнить открытые всем дождям холодные печи в сожженных Вьюнах. Там Толя жил последние две недели. А где-то в Лесной Селибе помнят, думают о нем, как о настоящем партизане.

Проревел совсем недалеко самолет, высыпал крупную пулеметную дробь.

– Начинается, – говорит Ковалёнок, сразу загораясь.

Все-таки хорошо, что Толя уже в партизанском лесу. И пост остался позади. Тут можно быть спокойным: партизаны знают, что надо делать, когда немцы близко.

Впереди заиграл просвет. У дороги собралось несколько неприбранных мартовских березок. Кажется, они сбежались, а потом удивленно расступились, образовав круг. А в кругу на обледенелых прошлогодних листьях, чернеющих в ноздреватом, как обсосанный сахар, снегу, играют солнечные блики. Показалось даже – звенят.

Из-за поворота на дорогу вышел человек с автоматом под локтем, остановился, кого-то поджидая. Очень бледное лицо человека кажется совсем меловым от спадающих на лоб из-под кубанки волос, от черного мазка квадратных усиков. И в одежде он такой же черно-белый: короткая, отороченная белым мехом венгерка, белая кубанка с черным верхом, темное галифе.

Глаза выпуклые, черные до блеска.

Толя уже видел однажды эти горящие выпуклые глаза. Это Сырокваш, начальник штаба.

Мимо пробежали двое с винтовками на весу. А из-за поворота идут и идут партизаны. Толя с гордостью отмечает: много пулеметов. У рослого пулеметчика, посмотревшего на Толю, красивая черная борода, хотя лицо румяное, молодое.

– Откуда, Разванюша, немцев ведешь? – спрашивает у Коваленка Сырокваш, и на лице его вспыхивает короткая усмешка. Толя с готовностью ответил на улыбку партизана. О, Толя понимает, как это хорошо – идти навстречу бою и шутить.

– Разрешите с вами! – выкрикнул Коваленок. Зачем-то поправил белые отвороты хромовых голенищ: можно подумать – его пригласили в круг танцевать.

У Толи нет оружия. Кроме того, его ждут в лагере…

– Иди, наш будан[12] первый, – говорит Коваленок.

Где-то на краю леса снова взревел самолет, сбросил бомбы, эхо закричало и понеслось по лесу. Совсем недалеко отстукивает короткие очереди пулемет.

Мимо уже бежали. Вот и Комлев, дядька Разванюши, грузный, с тяжелым взглядом. Алексея не видно.

---

[12] Шалаш *(бел.)*.

Сразу за поворотом большущий шалаш из побуревшего елового лапника. Вот оно – партизанское жилье. Толя несмело заглянул в огромный будан.

По обе стороны – отгороженное бревнами место, где спят. Цветные домотканые постилки, серые и зеленые немецкие одеяла, тулупы, ватники. В дальнем углу – ярким пятном – светло-желтое стеганое одеяло. Толя сразу узнал свое и обрадовался, будто знакомого увидел.

А в проходе, в трех местах – толстые обгоревшие березовые плахи. Видно, что костры наскоро присыпали снегом, и они все еще тлеют.

Закинув голову, Толя смотрел на гирлянды сажи, колеблющиеся от теплого дыма. Грубо, огромно, неудобно и захватывающе – как замок!

Потрогал ствол станкача, прикрытого красной попоной. Прошел в глубь будана. Шаги у входа. Повернулся – мама!

Обрадовалась и напугалась:

– Вы там шли, немцы там!..

В плюшевой жакетке, в сапогах, без платка. Лицо незнакомо молодое. И очень озабоченное. Как будто она все еще в Лесной Селибе – окно в окно с комендатурой, как будто не позади все самое страшное!

– Ноги промокли?

Ну, допустим, промокли. Но из-за этого такой озабоченной быть?

– На – сухие, – говорит мать, доставая из вещмешка чистые портянки. – Как это мы не сообразили хоть сапоги хорошие сделать. Все оставили, как в гости шли.

– Сапоги – подумаешь! Достают же. Немецкие.

– Это дома все так казалось.

Про Алексея сказала тихо:

– Ушел на железную дорогу. С Пахутой, с подрывниками.

Взяла из угла санитарную сумку, раскрыла. Толя заглянул:

– О, индивидуальные пакеты! Я возьму.

– Зачем? – даже сердито сказала мать. Но тут же подала перевязочный пакет.

Толя прикинул, что ему, сыну, можно и больше.

– Два возьму.

Мать молчала, только как-то странно смотрела на руки Толи, который с удовольствием ощупывал плотные провощенные пакеты.

Подумала вслух:

– Сегодня одиннадцатый день, как пошли на железную дорогу.

Мама уже вся в том, особенном мире, где, Алексей, некий Пахута, где Сырокваш и все, кто бежали навстречу выстрелам.

– Я в санчасть. Немцы близко. Переобуйся.

Толя быстро сменил портянки, еще раз – уже по-хозяйски – осмотрел станкач, и вышел.

Стрельбы не слышно.. В голубом небе легкие комочки облаков. И, кажется, потеплело. С черных от сажи сосулек, свисающих над входом в будан, каплет. Толя подставил ладонь: светлая водичка, а в ней бегают сажинки.

По дороге, мелькая за соснами, едут верховые. Передний – круглолицый, полноватый. Воротник – каракулевый, кубанка – тоже. Пришпорил коня, и сразу стало заметно, что ездит плохо: автомат бьет по груди. Двое задних сидят на лошадях ловко, легко. У каждого к ноге пущена длинная сверкающая цепочка от пистолета.

Совсем недалеко ухнула бомба или мина. Эхо прошелестело в вершинах и унеслось.

Толя пошел по глубоко протоптанной снежной дорожке. Везде горбятся буданы. А вот это – кухня. Костры присыпаны снегом. Две женщины чистят картошку и бросают в железную бочку. На жерди висят котлы – два больших и один поменьше.

Толя стесняется подойти к кухне поближе: удивятся – откуда такой!

Из будана вышел мужчина, над плечом, как гитару, держит большущий кусок мяса – коровью ногу. Наверно, повар. Бросил мясо на пень и взялся за топор. Лицо у повара сердитое и как бы обиженное. И странно красивое. Даже непонятно: зачем мужчине такое красивое лицо? Удивительно голубые глаза, будто ободком обведена эта голубизна. Капризно-сердитое выражение тоже словно нарисовано на лице, и кажется, что ничего другого оно не способно выражать.

Снежная тропинка вывела Толю к штабелю полусгнивших, будто сросшихся, березовых и осиновых плах. Слежавшийся штабель привалился к сосне. Необыкновенно толстая сосна, а глянешь по стволу – стройная, летящая… Если долго смотреть, начинает казаться, что взлетающий ствол поднимает, уносит и тебя.

Делая метки на коре, темной, потрескавшейся, будто куски торфа, Толя принялся считать обхваты”. Пять! Услышал скрип снега.

– Менш! – крикнул по-немецки человек, чем-то очень знакомый, и тут же спокойно поинтересовался: – Ты кто такой?

Толя покраснел от того, что чуть не сорвалось: „Моя мама здесь”. Но что еще сказать о себе, он не знал и потому молчал. На голове

странно знакомого незнакомца новенькая фетровая шляпа. Рука, обмотанная бинтами, – поперек груди, как автомат. Толя где-то видел, помнит эти неспокойные, веселые и одновременно пустоватые глаза, это гримасничающее лицо. Ну конечно же Баранчик! „Брандахлыст” – так его окрестил дедушка, когда Баранчик заделался селибовским бургомистром, бегал, орал, таращил глаза. А потом исчез, оставив в дураках коменданта и полицаев... И вот он здесь, и Толя тоже здесь. Партизанский лес – самое фантастическое место на земле. Не удивишься, наверно, если давно умершего здесь встретишь.

– Ага, – догадливо произнес Баранчик, плюнув вслед окурку, – Корзунихин.

И пошел по снежной дорожке: Толя – следом за ним туда, где мама и толстая женщина выколачивают одеяла.

– Ка-ак вы-выросли ваши! – певуче удивилась тяжелая на вид, но быстрая в движениях женщина, когда Толя приблизился. – Почти как мой Митя! А мама у них такая молодая!

– Я сейчас, Пашенька; – сказала мама и передала концы одеяла Толе. – Помогай!

Ушла, кажется, мало заботясь о том, что Баранчик да и другие могут подумать, что Толя затем и в лагерь явился, чтобы выколачивать пыль из тряпья. Женщина, энергично встряхивая одеяло, разговаривает с Баранчиком.

– Завтрак, Мишенька, остыл, где ты все ходишь?

– Половец обещал голландского сыра привезти. И французского вина.

– Привез бы голову Половец твой!

Баранчик исчез в темном будане, и сразу там послышались выкрики, смех.

Женщина сложила одеяла, нагрузила и Толю.

В этом будане прежде всего замечаешь вделанное в заднюю стенку окно. Обыкновенное окно На здесь, в лесу, оно кажется такой роскошью. Не костры, а две жестяные бочки с выведенными наружу трубами.

Баранчик и партизан с белой – в бинтах – головой сидят у печки.

Толя стоит, не знает, что делать с ношей.

– Клади на нары, – пропел голос сзади, и сразу все ожило. Толе показалось, что маятник ходиков только теперь размахнулся и затакал. И сразу партизан в бинтах из страшного сделался смешным. Из-под повязки торчит рыжий клок волос, нос – толстый, посапывающий, а глаз, не закрытый повязкой, – веселый.

– Паша, – прокричал Баранчик, – когда Лысого бинтами обматывали, там голова была? Или не заметили?

Из-под бинтов отозвалось:

– Поищи у себя под шляпой.

– Менш! – захохотал Баранчик.

На дворе нетерпеливый голос:

– Где же он?

Надя. Толя заспешил из будана.

– Как мои маленькие? Ты давно был в гражданском лесу?

Толя старается убедить тревожные глаза женщины, что в гражданском лагере не опасно. Надя напряженно слушает, но не Толю, а недалекую стрельбу.

... И вот появились *оттуда,* из боя. Не слезая с лошадей, разведчики раздаривают улыбки, новости. Оказывается, окончилось все удачно. Немцы и бобики возвращались из горящей деревни, тут их и встретили. Полицаи рванули в обход засады, по болоту. И немцев своих бросили. Только начальник полиции с немцами остался. Его подстрелили, живьем взяли.

Партизаны затопляют лагерь, лес наполняется голосами, смехом, как гулкий просторный дом, в который воротились хозяева.

Постепенно скапливаются у штаба – будана, который чуть поменьше и поаккуратней остальных. Сюда привезут начальника полиции.

На выбоинах телегу встряхивает, человек в зеленом мундире, напряженно приподнимаясь, стонет громко и протяжно. Глаза его будто забегают вперед, испуганно ищут что-то и не находят. Ни на одном лице не могут задержаться. Штанина разодрана, волосатая нога дрожит крупной дрожью. Чуть ниже колена – кровавое пятно. Подумалось вдруг: человек, который лежит на возу и смотрит на партизан, сегодня утром, поднявшись с постели, считал, что начался обыкновенный день. Умывался, сидел за столом, шел по деревне – уверенный, сердитый. Как же – начальник полиции! А потом вел своих бобиков в Зубаревку, из окон на него смотрели с ненавистью и страхом. И не думалось ему, что в какой-то миг, но сегодня, именно сегодня, все вдруг исчезнет и останется только он и вот эти люди, которые сейчас рассматривают его, – партизаны. Вся та жестокая, свирепая сила, которой он служил, ничего не значит теперь. Значение имеет лишь то, о чем он старался не думать, с чем отвык считаться: как на него смотрят люди, которым он был свой (когда-то был). С отчаянной настойчивостью липнет он глазами к жестоко-веселым лицам, спрашивает:

– Вы меня убьете?

Толю тронули за плечо. Застенчиков! Настоящий партизан: винтовка, зеленая сумка от противогаза и еще одна – из кирзового голенища. С трофеями вернулся из боя. Правда, по обыкновению, чем-то недоволен, белый до прозрачности нос его морщится. Толя обрадовался, что встретил знакомого, что может подробнее разузнать о засаде.

– Было, – протянул Застенчиков. – Надо идти пожрать, а то посуду расхватают.

– А это кто? – прошептал Толя, когда к подводе приблизился человек в кожанке с каракулевым воротником. Толя уже видел его – в седле. Мягколицый, глаза светло-голубые. Внешность человека очень добродушного.

– Колесов, командир.

Нет, Толя не был разочарован. Он мигом увидел в полном добродушном человеке то, что необходимо командиру партизанского отряда: спокойную отвагу, твердость. И уже во все глаза смотрел на Колесова.

В будане обедают. Жирный мясной суп и тонкий ломтик гречневого хлеба.

– Это Анны Михайловны сынок?

Щека у партизана, который остановился перед Толей, синяя, посеченная порохом, на широких плечах что-то напоминающее морской бушлат, брюки широченные и, кажется, даже отглаженные. Это Зарубин. Еще когда шли, ехали из Лесной Селибы в партизаны, Толя видел этого парня и потому считает, что знаком с ним.

– Толковый у тебя братишка, – говорит Зарубин, – он на железку пошел с Васей-подрывником. Знаешь? Ну-ну. А где мой трофей? Ну и фрицы, с одеялами в бой ездиют!

– Парус, Петя, кроить будешь? – отозвался одетый во все немецкое партизан. Он щупловат, усмешка не согревает его помятое и пятнистое лицо, а, наоборот, делает еще более неласковым. – Ленты приточи к своей кепочке, а то девки за фезеушника принимают.

– Ладно тебе, Носков, – говорит Зарубин и поправляет фуражку с оторванным козырьком, которую, видимо, следует считать бескозыркой. – Обождите, – говорит „моряк”, – скоро полосушку заимею. У Анны Михайловны видел – выклянчу.

„Моряк” весело глядит на Толю, а тот очень доволен, что Алексеева тельняшка понравилась партизану, наверно очень храброму.

Носков выловил из котелка кусок мяса, долго жевал его, потом выплюнул в костер. Принялся намазывать на хлеб масло из оранжевой трофейной баночки.

– И когда уже волов этих доедят лагерные придурки? Кожемит. Постарались на свою голову. Пусть бы жрали немцы, скорее бы подохли.

– Соскучился по поросятнике? – спросили у Носкова. – А баранинки из-под дуги не хотел?

– А что! – Носков посмотрел в сторону соседа, такого же щуплого, как сам он, и тоже в немецкой шинели. – Правда, Серега? Вернули дядькам сотенку коров, могли бы и отблагодарить. Как в сорок втором, помнишь? Колхозное еще было. Надо сапоги смазать, отполосовал ремень от хряка и – пожалуйста.

Веснушчатый, рыжеватый партизан сцеживает из котелка в ложку суп и молчит. А Носков не унимается:

– Вот Серега Коренной потрудится, подумает и скажет самую правду.

Коренной поднял глаза, сощуренные, как от головной боли. Попросил:

– Отстань, Николай, не помню я такого сала. До чего же ты мастак...

Не досказал и пошел мыть котелок.

– Знаешь, дружба, – подошел к Толе „моряк”, – тебе бы дровишек порасстараться. Ребятки, знаешь, устали, услужи! Где? Ну, посмотри там.

Зарубин поморщился и махнул рукой куда-то в угол будана. Весело рассмеялся наблюдавший за ним партизан, самый пожилой из всех, но очень подвижный, легкий. Его все окликают: „Дед” или „Бобок”.

– Ай да „моряк”, он еще не знает, на каком свете дровишки те! – говорит дед Бобок. – Петя наш такой: лучше кашки не доложь – на работу не тревожь.

А Толе пояснил:

– По дорожке. Штабеля там.

– Под большой сосной, знаю, – радостно откликнулся Толя. Старик ему сразу понравился, хотя в нем нет ничего партизанского, обыкновенный деревенский дядька, даже нос „бульбочкой”.

Вернувшись с двумя плахами, Толя увидел мать.

– Мы сынка вашего, Анна Михайловна, в наряд вне очереди, – весело сообщил „моряк”.

– Что ж, – улыбнулась мать, – пусть привыкает.

Интересно, к чему должен; Толя привыкать? Дрова таскать?

– Вот и Серега Коренной, был тогда. – Голос Носкова. Голос этот совсем не громкий, даже сиплый, но какой-то очень требовательный, настойчивый, и его обязательно услышишь. – Помнишь, Сергей? Кругом немцы, зажали, одним словом, кончаем воевать. А командир отряда сел на автомат: я уже не я… Кадровики наши, Сырокваш да Петровский, вывели…

Разванюша не выдержал, хохотнул.

Сергей Коренной поморщился, пробормотал недовольно:

– Какой ты, Носков, охотник болтать почем зря! – И тут же, распалившись, заговорил громко в сторону Разванюши. Даже приподнялся. – Что бы там ни было, а Колесов с сорок первого в партизанах. Кое-кому надо еще походить да походить, а уже потом хихикать. – В упор глядя на Разванюшу, с растяжкой закончил: – Не прикидывал два года, чья возьмет.

Впервые Толя глядел на партизана с опаской, как на чужого. А Разванюша – хоть бы что! Спрятался за улыбочку. Краснолицый Комлев, тяжелый, как намокший дуб, загудел:

– Один послал в полицию, другие будут до смерти попрекать. И до войны вот так: сегодня ты хороший, а завтра уже виноват, не успеваешь голову поворачивать – туда, сюда…

– Ага, во-от что! – Сергей Коренной даже побледнел. – Слышали мы эти разговорчики. – И закончил, обжигающим шепотом: – Если воевать, если принимать, так все, а не так: это – готов, то – не хочу. Видел я таких и в первые дни. А из кого же понаделали власовцев да бобиков?

Комлев тяжело поднялся, но тут же снова сел.

– Вот так – и сиди! – сказал Сергей Коренной и от волнения тоже сел. А Разванюша улыбается. Наступая на костер, пробрался в угол, взял гармошку. Стал искать что-то на ладах. Долго не мог найти.

Прижимая полы длинной кавалерийской шинели, прошел командир взвода Вашкевич. Его место на нарах выделяется: попона вместо одеяла, седло вместо подушки.

Поискал кого-то глазами, спросил:

– Лошадь поена? – Сердитая нотка дернулась в голосе командира. – По-моему, нет.

Отозвался Застенчиков:

– Меня на пост послали.

„Моряк” зачем-то взялся ворошить разгоревшиеся дрова – сноп искр радостно взлетел вверх. Искры жадно налипают на сажу, расползаются, На Зарубина шумнули:

– Петя, пожару наделаешь.

– А, постой!.. – поморщился Зарубин. – Ну, ладно, не пошел на дело: нога там, животик… Так и на реку не съездил. Стрельбы, может, испугался?

Суетливый дед Бобок сыпнул скороговоркой:

– Попал в хорошее место – воюй! – И засмеялся одними глазами, хитрыми, стариковскими. – Берка, сапожник наш, сына своего мне ругал, – стал пояснять Бобок. – Попал сын на бронепоезд, так нет, проштрафился, его в пехоту. И убили. Бедный Берка, как вспомнит, сразу: „Попал в хорошее место, так воюй, зараза!"

Толя вышел из будана. В лесу уже ночь. Деревья как-то сдвинулись, беспокойнее шумят вершины. Звезды расползаются по черному небу, зажигаясь одна от другой, как искры на саже. Мерцают огни в соседних буданах. Вернулся в свой. Тут уже укладываются спать. Оружие ставят к задней стенке или кладут возле себя.

Кто-то поинтересовался:

– Где Зарубин?

Старик Бобок хмыкнул:

– Будет тебе Петя сидеть, когда там полицая кончают.

– Ложись, – вполголоса говорит мать, не подозревая, наверное, как интересно сегодня для ее сына и это – ложиться спать. Первая ночь в партизанах!

Тепло, уютно под мягким ватным одеялом, которое предусмотрительная мама все же прихватила из дому. Тут, на морозе, оно точно короче сделалось, но ничего, греет. Только лучше бы укрыться трофейным или шинелью, а поверх – попоной, как командир взвода.

На ночь тут не раздеваются, только расслабляют ремни на себе. Толя тоже лишь пальто да сапоги снял. Ушанку пришлось оставить на голове: зеленая стенка пропускает морозный ветерок.

… Пришел Зарубин.

– Что, Петя? – спросил Бобок. – Ножичком? Сколько ты уже нанизал на него?

– Порядок, – ответил Зарубин и, не спрашивая, взял из чьих-то губ цигарку. Толя со сладким ужасом и с уважением смотрел на человека, *который только что убил.* Но лицо Зарубина все такое же: простовато-грубое и, пожалуй, добродушное. Только глаза – потемневшие, да синяя контуженая щека чуть дергается. И Пуговицына, говорят, – он…

Все меньше людей топчется в проходе, светлее стало. И разговор сделался общий.

– Вот Головчене лафа: бороду на живот – и тепло.

– Ты, Головченя, только не задумывайся. – Это Бобок весело скрипит стариковским голосом. – У одного деда спросили: „Когда спишь, куда ты бороду ложишь, под одеяло или поверх?” Задумался дед. Пока не думал, не мешала. А тут: и так и этак попробует – все не то. Хоть плачь. Обрезать пришлось.

На дворе – девичий голос. И мужской. Будто перебрасывают смычок с тонкой струны на басовую.

– Эй, Зарубин, Катю перехватил Царский. Слышишь? Давай наперерез.

– Сама отобьется, – радостно говорит Зарубин. – Во-о, слушай!

Заученно грубые, мужские слова. Но звучат они на первой струне – голос нежный, девичий.

– Во-о! Катюша скажет – на уши не натянешь.

Отбросив постилку, которой завешена дверь, вбежало беловолосое существо в грубом черном джемпере. Самое ненужное на этой особе – короткая юбочка поверх мужских штанов. Кажется, Толя уже видел эту Катю возле кухни.

– Можно?.. Ой, я уже вошла!

На какое-то время глаза девушки прикипели к яркому пламени, круглое лицо ее сделалось по-детски бездумным. Но тотчас изломилось в улыбке – смелой, грубоватой.

– Живы-здоровы?

– Ты не меня? – сиплый голос Носкова. – Кто со мною за малиною пойдет, покажу, где сама сладкая растет… Да, Катюша?

– Нашелся кавалер, правда, Катюша? – „Моряк” попытался усадить девушку рядом с собой. Но она, черт бы ее побрал, Толей заинтересовалась.

– Откуда такой мальчик?

Толя быстренько закрыл глаза. Спит. Чувствовал, что краснеет. Во сне краснеет – глупо.

– Красивый мальчик.

Она уже рядом. Слышно – оперлась руками на нары, дышит Толе в лицо.

– Спит, – весёлый голосок. – Ой, это ваш, Анна Михайловна!

Толя открыл глаза и совсем близко увидел бездумно-смелые, смеющиеся глаза.

– Не спит, – насмешливо сказала девушка и поднялась с нар.

Только она ушла, как влетело что-то большое и стремительное. Эту встретили шумно, но и ласково: „Марфа!”, „Марфушка!” А она, огромная от мечущегося за спиной крыла тени, отвечала сразу всем, улыбалась сразу всем, смотрела сразу на всех.

– Здравствуйте, Анна Михайловна. Ну, как они без меня, слушаются? А-а, Молокович, любовь моя. Ну, как ручка? Хорошо, что мы не поспешили укоротить ее.

– Марфа Петровна это умеет, – сказал Молокович, молодой партизан с лицом, вытянутым как бы от постоянного удивления. – Навалится и держит.

Прозвучало это почти обиженно.

– И что за хлопцы пошли: чуть прижмешь – убегают! – Женщина громко смеется. Глаза на широком, очень даже просторном лице теснятся к переносице. Но бурная ласка, излучаемая этим лицом, глазами, делает женщину почти привлекательной.

– И кто только меня, такую большую и плохую, замуж возьмет? Одна надежда на Ефимова, на Фомушку милого. Где он ходит? Не знаете?

При упоминании о каком-то Фомушке весь будан радостно загудел.

Ушла женщина так же неожиданно, как и ворвалась. Засыпая, Толя слышал голос командира взвода:

– За сажей присматривайте, дневальные. Задремал, но, как ему показалось, тут же открыл глаза, вздрогнув от какого-то крика. Нары завалены людьми. Все, кроме дневального Зарубина, спят. Странно: „моряк" будто и не слышит крика ребенка. Пронзительного, резкого. Фу, да это же филин!

Толя подтянул одеяло к подбородку. Самое уютное, теплое – то, что ты нагрел собственным телом. Чтобы не разбудить мать, Толя старается не шевелиться... Посмотрел на нее и тотчас отвел глаза, боясь, что она проснется от взгляда. Но напряженно заломленные брови уже вздрогнули, глаза открылись – в них испуг, вопрос:

– Что ты? Спи.

„Моряк" посматривает на часы, вверх смотрит. Но шест в руки не берет, хотя искры жадно растекаются по саже. Сидит и трет синюю щеку. Будто забывая, что люди спят, промычит слова песни, тут же, спохватившись, послушает треск костров, потом опять тянет:

– „Я люблю... про прежнее... былое... в поздний вечер... близким... рассказать... далеко... за снежною Сибирью..."

– Ты бы, Петенька, гармонику взял, – посоветовал с лютой ласковостью сонный голос.

А кто-то, видно не спавший еще, охотно подключился:

– Была у волка одна песня, и ту „моряк" украл.

Опять проснулся Толя и какай-то миг непонимающе глядел на пламя вверху. Будан словно раздался вширь, распираемый светом.

Над головой плещется, несется стремительный, красный поток, а мысли после сна такие спокойные. И кажется, что сон все еще длится.

– Чемодан бери, быстрее ты! Где сапоги, шапка? – сердитый голос матери.

Меж костров испуганно-весело мечутся фигуры людей, а вверху трещит пламя. Черт, будан горит!… Толя подскочил.

И вот партизаны любуются столбом огня, лижущим вершины елей и сосен. Рой искр радостно несется в небо, просеиваясь сквозь сучья деревьев. Гудит пламя. И – стреляет.

– Кто патроны оставил?

– Это когда будан крыли, порастеряли.

– Отходи дальше: мину забыли!

И тут же – глухой взрыв: красный столб округлился, взметнулся вверх.

Погорельцы растерянно, но с интересом глядят, как их хоромы заревом взлетают в небо. А для соседей – настоящий праздник.

– В третьем взводе дезинфекция.

– Пионерский костер. Дневальные у Вашкевича любят, чтобы тепло и светло!

Высокая фигура в огненно поблескивающей черной тужурке гремит на весь лес:

– Хоть выгреемса-а!

Это Царский – командир первого взвода. У него выговор чисто полешуцкий, но лицо не то грузина, не то молдаванина. Возле него самые языкастые. Тут и Баранчик. Этот просто пляшет, на лице самые невероятные гримасы.

Досыпать ушли к соседям. Завалили все нары, проходы. Пробираясь на свое место, остролицый командир второго взвода Железня сказал, хмуро улыбаясь:

– У нас в деревне говорили: „Пустить постояльца – все равно что положить борону посреди хаты”.

Закончил без улыбки:

– Ни борон там теперь, ни хат…

Утром взялись возводить новое жилье. Рубили жерди, еловые лапки. Соседи приходили „помогать”. Стоят – руки в карманах, – поощряют:

– А работнички ничего!

– У них это просто: захотели – сгорели, захотели – построили.

Царский стоит возле своего будана, в окружении своих хлопцев. Скажет и сам же: го-го-го! Кричит издали:

– Сегодня у тебя, Вашкевич, костер будет? Давай. Погреемса.

К вечеру, уставшие, с черными от смолы руками, зажгли костры в новом доме. Тихо пели песни. Разванюша подыгрывал.

А ночью всех поднял радостный крик дневального:

– Царский горит!

II

Уже месяц, как Толя пришел в партизанский лагерь, а он все еще неизвестно кто. Нет, он не в хозвзводе, до этого не дошло. Но и не боец. Для таких, как он, тоже есть название. И даже песенка: „Лагерный придурок... там-та-рам...” Ну и пускай придурок. Но веселого в этом мало. Только и отдыхаешь от затяжной, злой обиды, когда пошлют в деревню. Соломы, например, привезти. В деревне и Толя партизан. Кому известно, что винтовка чужая?

Но если правду сказать, и в деревне нет у него полной партизанской радости. Он даже побаивается. А вдруг какой-нибудь дядька, который накоротке с партизанами, махнет рукой:

– Иди, иди, тоже нашелся! Какой тебе еще соломки?

Что тогда делать, как поддержать партизанское достоинство? И вот Толя напускает на себя строгость вооруженного человека, спрашивает по-партизански требовательно, но и по-партизански дружески:

– Хозяин, как у тебя с соломкой?

И сам себя видит. Глазами дядьки. Что ж, партизан как партизан: подсумки, из кармана плаща торчит зеленая ручка гранаты, красная лента на шапке – наискось, сапоги разбитые, заметно, что изведали дальних дорог... И лицо свое видит: дружески-строгое. И голос свой слышит: незнакомо басовитый.

Бородатый, в рубахе навыпуск дядька идет к хлеву.

– Охапок-два возьми. Дал бы больше, ды бачишь – пусто, весна.

– Я у других еще, – охотно соглашается Толя.

Кое-как насобирал приличный возок. Глядя вдоль улицы, по-весеннему черной и по-весеннему солнечной, прикидывал: в какую хату идти завтракать? Высматривал, где нет белых занавесок и вазонов в окнах. Вот эта. Окошечко, как рот столетней старухи: пустое, перекосилось. Тут уж наверняка ни одной девушки. Можно и поесть спокойно, и побеседовать, не краснея.

– Хозяюшка, – с порога (порога, собственно, нет, да и пола тоже) заговорил Толя, – молока попить... поесть не найдется?

Завтракал в лагере, но это не в счет. Побывать в деревне и не побаловаться кислым молочком (партизаны его называют по-своему,

весело: „гром") – о чем же тогда рассказывать будешь, вернувшись в лагерь?

От печи на Толю подслеповато смотрит старуха. Или еще не старуха? Не разберешь… На голове у нее теплый платок, хотя ноги босые. Всматривается она долго. А чего, собственно, смотреть? Партизан как партизан…

– Ну, то чака́й, – говорит наконец старуха, – вот поспеют паронки.

Это уже разговор – обождать можно. Толя садился на вытертую до глянца и широкую (просто лечь хочется) лаву, наглухо приколоченную к темной стене. Винтовка в коленях, глаза на улице: деревня своя, но все равно неспокойно, если не видишь, что делается за окном..

Мама уверена, что попросить поесть – мука мученическая для ее сыновей. Она по Алексею судит. А чего тут стесняться, если рассуждать по-взрослому? Если бы ты просто так просил. Но ты ведь – партизан.

Старуха, прижимая к уху платок, вышла в сени и плотно прикрыла за собой дверь. Долго колдовала там, может, в подпол, а может, на чердак лазила. Кажется, что закрытая дверь присматривает за тобой. Такое чувство, что ты не один, что вас двое осталось в хате. Но Толя и не думает интересоваться тайником хозяйки. Наконец вернулась. Колдовала она не без толку: в руках большая глиняная миска творога, соблазнительно желтого от густой сметаны. Это тебе не лагерная перловка!

– Ешь, сынку, пока можно.

Толя придвинулся к столу. Старуха выхватила из печи чугунок, подержала его, ловко и ласково, как младенца, над ушатом, потом понесла к столу. И прямо на скатерть вывернула сочную с медовыми пригарками картошку.

– А соль наша сам знаешь.

Сняла с полки черепок с водой. Толя обмакнул картофелину – горько, а не солоно. Удобрение теперь идет вместо соли.

– О, есть! – вспомнил Толя. – Вот осталось.

Не осталось, а Толя специально немножко соли взял в санчасти.

– Ну, то и ешь, сынку.

– Нет, это вам.

– Ну, то спасибо. Ты хоть не один у матери?

Сейчас Толю начнут жалеть. Баба уже и локоть на ладонь положила, щеку подперла. Все как по писаному.

– Нас двое, – поспешил успокоить ее Толя. – Брат еще. Она тут, с нами.

„Она” – это мама.

– Бедная. Лучше, когда не вместе. Вы не будьте дурнями. Мой тоже лез, больше, чем всем, надо было… И осиротил мати.

Толя с беспокойством взглянул на женщину. Нет, глаза пока сухие. Запавшие, как давно высохшие озерца.

– Мой на железке подорвался.

„Железка” у бабы звучит привычно, как домашнее, *сыново* слово.

– Все конца войны чака́ют, а я не знаю, – чего жду. И господара моего забили, когда немцы деревни жгли.

Не умеет Толя поддерживать такие разговоры. Но сидеть и молча жрать тоже неловко.

– Ты ешь, сынку, я для себя говорю.

Возвращался в лагерь. Гребля, что соединяет деревню с лесом, полузатоплена талой водой. Ноги у лошади проваливаются, возчика трясет, как больного, того и гляди, сползешь в грязь вместе с соломой. Каким-то идиотом чувствуешь себя: внутри екает, голова дергается, кажется, что уши сделались длиннее.

Дотряссся до сухой дороги. Теперь выехать на просеку, потом еще одно болотце и – лагерь. Даже странно, что для многих, очень многих, это место так недосягаемо, так таинственно. Перебрались сюда недавно. Лагерь здесь настоящий, надолго: не шалаши, а большие – каждая на целый взвод – землянки. Окна, двери – просто город.

Въехав в лес, Толя вытащил из подсумков три медно сверкающие обоймы патронов. Выменял он это богатство за авторучку. Все равно чернил нет, да и ни к чему они. Стихи можно и карандашом писать, лишь бы писалось. Когда жил дома, вроде хотелось. Особенно получалось о партизанах. А тут почему-то не тянет. Тут даже Пушкин долго не побыл, которого прихватил из дома. Вначале все было, как в Толиных мечтаниях. Пушкина встретили как старого знакомого, который явился очень кстати. Вечером, после ужина, когда половина людей уже уляжется, а вторая толпится у печурки, у коптилки, кто-нибудь обязательно вспомнит (Толя уже давно ждет, чтобы вспомнили):

– А ну, еще „Полтаву”.

– Где Толя? У него голос, как у молодого петушка.

Слушали охотной. Толя был горд, счастлив, он чувствовал себя нужным и *при Пушкине.* Потом – будто ударили – он обнаружил: выдирают листы. Толя громко сказал про это. Зашумели.

– „Полтаву”? Цела?

– „Цыгане” что! Цыгане курей любят. Как немец.

– Эй вы, гады, дымари чертовы, хоть „Полтаву”-то не скубите!

С обидой слушал Толя совсем не возмущенные, а скорее веселые голоса. Он стал прятать книгу. И позабыл о ней. А когда вспомнил, вытащил из соломы – в руках была обложка да „Повести Белкина”. Проза только и осталась.

Лежа на подводе, Толя перебирает в пальцах патроны, ищет, который с вмятиной. Смотрит, во что бы пальнуть. Камень под дубом сереет, совсем как спинка зайца. Толя раскинул ноги на соломе, прижал приклад к плечу. Нет, трясет. Придержал коня. Целился, и все внутри сжималось от знакомого ожидания: сейчас толкнет в плечо, и камень будто взорвется. Знаешь, что это произойдет, а всякий раз не верится. Вот так прицелиться в немца, вот так нажать... Осталось – палец и то, что сопротивляется ему, да еще то, что видит глаз. Неумолимо хлестнуло по камню, спинка его из серой мгновенно сделалась темной.

Торопливо выбросил гильзу и дернул вожжи. Винтовку втиснул в солому под брюхо себе. До „черной” поляны, где расположен пост, ехал минут двадцать – не спешил. Поляна действительно черная: везде выворотни, ямы, будто прошел здесь большущий плуг. И редкие кривые березки. Белеют изогнуто, как слабый дымок.

– Ты стрелял? – спросил у Толи часовой. Стоит, прислонясь к ели. Одна пола кожуха черная, другая – желтая. – Оружие у охотников этих отнимать, патроны переводят.

В окопчике за пулеметом валяется Авдеенко. Парень очень молодой и очень нахальный. Вот и сейчас:

– Эй, возчик, давай тащи сюда соломы.

Толе не жалко, но тут будто и не слышал. Авдеенко вскочил на ноги и потянул к себе целый пласт – чуть Толю не сволок.

– Ох, эти мне...

Не досказал, но Толя знает слово, которое не было произнесено.

Въехал в густой, как щетка, лес. Ель тут болотная, тонкоствольная, но очень прямая. Сразу сделалось сыро, холодно. Кое-где жмется снег к земле. Сразу почувствовал, что ноги в рваных сапогах противно мокрые, холодные. И день совсем не такой солнечный, как казалось. Пока продерешься к своей землянке, половину соломы оставишь на сучьях. Ну и ладно. Бобка́, ездового, не видно. Наверно, побежал к кухне. Там и рассказать и послушать можно. В землянке хрипит-шипит под тупой иголкой потертая пластинка: „Саратовские страдания”. Толя спустился по ступенькам. И будто ослеп сразу. „Весна очи крадет”, – сказал вчера Бобок. У окна склоненная фигура

щуплого и всегда холодно-язвительного Носкова. Не пошевелится. Саратов, конечно, его довоенное, но пластинка все же противная.

Толя швырнул гранату на нары. В углу таких, без запалов, много валяется.

На нарах сидит Головченя. Борода его слилась с полумраком, заполняющим будан. От этого лицо кажется уродливо срезанным снизу. Но вот Толины глаза стали привыкать к темноте, и сразу выросла борода у Головчени, широкая, веселая. Испытывает пружину своего „Дегтярева", стучит затвором. Делает он это с удовольствием человека, разминающего затекшие мышцы.

– Не звякай. Ты! – кричит Носков.

В землянку спустилась мать. Очень озабоченная.

– Привез? В первом взводе подозрительный больной. А тут в соломе всего. Смените. Вечером пойдете в баню в Костричник.

Толя молчит.

– Устал? – не поняла мать. – Ну вот, а просишь винтовку.

И она еще! А все из-за нее.

Толя повесил плащ на столб, подпирающий крышу. Достал баночку с ружейным маслом. Почистил винтовку и завалился на нары. Заляпанный грязью сапог пришелся на край ватного одеяла, все еще назойливо выделяющегося своей шелковой желтизной. Толя не убрал ноги. Одеяло это, когда еще в Селибе жили, мама отправила в деревню. Там и велосипед от полицаев прятали. Как-то прибежала в Лесную Селибу мамина знакомая Павловичиха, очень расстроенная, напуганная.

– Забрали ваш велосипед. Партизаны.

Добрая женщина боялась, что ей не поверят.

– Я им говорила, а они: „Нам нужно, Корзуниха не обидится". Да вы его знаете, был примаком в вашем поселке. Помните: Баранчик? Черт такой глазастый.

Обижаться на партизан, пожалеть для них! Мама успокоила Павловичиху:

– Не расстраивайтесь, не то люди теряют.

А Толя просто счастлив был. Он ходил по шоссе, смотрел на немцев, полицаев, гордо и ехидно усмехался: „Хожу перед вами, а на моем велосипеде партизан сейчас катит".

И вот тут, в лагере, встретился со своим велосипедом. Обидная встреча. Разванюша вдруг приволок его: на одних ободах, с позеленевшим от плесени седлом.

– Ваш, Анна Михайловна. Баранчик затащил его теще своей. Мне подсказали в гражданских куренях. Забрал.

Мама только нахмурилась: „Зачем?” А Толя, вспомнив, как гордо ходил он по поселку, готов был доломать велосипеду кости. Лежит и теперь под парами, все еще блестя спицами, будто в насмешку.

Снаружи уже слышен тонкий, неприятно пронзительный голос. Помощник командира взвода Круглик. Спускается в землянку лобастый и ноет, ноет. Сам как медведь, а голос бабий.

– Куда Бобок надевался? Кто тут есть? Толя?.

Ну конечно же Толю увидел. Других будто и нет.

– Отведи коня на поляну.

Говорит так, будто ничего в этом нет обидного. А вот Носкову или Головчене не скажет. Они – партизаны.

Возле лошади уже хлопочет Бобок. И руки и язык в работе.

– Та-ак, пустим тебя на шпацир. Вылазь, брат, из хомута. Иди, короста зимняя. Толя тебя отведет, где солнышко, там и Буланок, друг твой по оглоблям.

Толя взял палку и погнал коня, фыркающего, радостно спотыкающегося. Толя любит возиться с лошадьми, но теперь, когда он только лагерный придурок, он ничего не хочет ни уметь, ни любить. Сдохнуть бы тебе, одр проклятый! За тем ли Толя в партизаны шел, чтобы прогуливать тебя. Огрел палкой по крупу, палка неприятно отскочила, как от дерева. Сделалось совсем нехорошо. А коняка вроде собрался бежать, даже качнулся вперед, но и шага не пробежал. Толя обошел его и направился к поляне. Эта поляна сухая, окружена белой стеной берез. Называют ее „круглой”. Тут выстраивается отряд в торжественных случаях: перед уходом на операцию или когда приказ зачитывают. Парадная поляна. Первого мая новички здесь присягу принимать будут. И Толя. Или тоже не дорос?

Присел на корточки, прислонясь спиной к дереву. Березы все еще безлистые, и кажется, что выбрались они на поляну из-за густых елей, чтобы отогреться. Кора пахнет грибами. И во рту сладкая горечь, точно ты грыз ее, кору эту. Даже ртом, как заяц, чувствуешь весну.

Толя прикрыл глаза и сразу один на один остался с солнцем, гладящим, ласковым. Открыл глаза и сразу вскочил. Взвод возвращается! По одному, по два выходят на поляну. Побежал навстречу.

– Алексей, – крикнул идущий впереди „моряк” Зарубин, – братуха твой!

„Моряк”, картинно перепоясанный пулеметной лентой, вроде очень доволен, что увидел Толю. Конечно, он рад тут любому дереву, любому пню: домой возвращается. Даже Алексей улыбается брату. На нем тоже отсвет общей возбужденности. Такими приходят с удачных

операций. Но как Алексей оказался со взводом? Взвод на „шоссейку" ходи, а брат – с группой Пахуты снова на железную дорогу. Вон и сам Пахута – весело веснушчатый, золотозубый командир подрывников. Вася Пахута вовсе не такой необыкновенный, как показался в самую первую ночь. Но всегда такой же дружелюбный, веселый.

А великан в зеленом мундире тащит на спине неразобранный станкач.

– Поднажмись, Фомушка, деревня близко, – поощряют его партизаны. Так это и есть Фома Ефимов – Толя о нем наслышался! Не о каких-то особенных делах его, а просто так. Видно, есть люди, о которых другим людям радостно вспоминать, слово сказать. Этот Фомушка из таких.

– Поучу вас носить, – густо проклокотал бас Ефимова. Косо блеснул глаз из-под взмокревшего мягкого и светлого чуба. – А то торгуются, как бабы.

– Ничего, хлопцы, после курортов ему в самый раз.

– Давненько не таскал. Зря и коня митькинского утруждали. От самой „варшавки" допер бы.

– А ну, бери! – прохрипел Ефимов.

Побагровев, приподнял пулемет на руках, вынул голову из стального „хобота" и, перехватив рукой станкач под ствол, подал одному из остряков. Но тот не принял.

– Спасибо, Фомушка, пользуйся сам.

Ефимов поставил пулемет на дорогу. Колонна спокойно обтекала неожиданное препятствие. Командир взвода с шинелью на руке стоял сбоку и наблюдал. Возле пулемета остановился Молокович – тихий парень с некрасиво вытянутым подбородком и наивными большими глазами. Сейчас остановится и Алексей: ему всегда за других неловко. Толя готов был уже подбежать, помочь, но вовремя спохватился. Подумают еще – подлизывается. Отсиживается в лагере, а тут – готов.

Какие они все особенные, когда возвращаются с дела. Даже лицо Застенчикова, обычно такое зябкое, недовольное, светится сегодня тихой, доброй усталостью. Поравнялись с постом.

– Мышей всех в яме этой передушили? – спрашивают у часовых.

– А вы там – курей? Фрица хоть одного кокнули?

– Грузовую и легковушку, – сказал Молокович и с каким-то радостным изумлением добавил: – Генерала или почти что. Мозги аж на заднее сиденье.

Шли через лагерь к своей землянке, – кричали, смеялись. Хозяева возвращаются в дом, за которым присматривали бедные родственники.

– А суп здесь тот! – с удовольствием отметил „моряк”, заглянув в котелок, оставленный на столе. Длинный стол возле землянки – новинка. Толя и Бобок сколотили его.

– Молодцы ребята,– отметил работу „придурков” добряк Молокович. – Хоть не в колени будем котелок ставить.

Из землянки не спеша вышел Носков. Вслед ему патефон хрипит „саратовские”. Даже Носков чувствует себя не очень хорошо оттого, что не он – другие пришли с дела. А уж, кажется, он-то походил: с весны сорок второго в отряде. Сразу начинает язвить:

– Пришли? Ну-ну, перловки и на вас хватит. Совсем будет ни пройти ни выйти из лагеря. Заминировали каждый куст.

А хлопцы гадают:

– И как это наш Максим научился такое стряпать?

– Ему комиссар приказал, чтобы придурков не разводилось.

Весь день среди тех, кто пришел с дела, жила какая-то особенная близость, доброта. Казалось, ее видишь, как видишь летнее, горячее дрожание воздуха. Только и слышно: „Коленька”, „Серега”. Шумной, веселой ласковостью партизаны как бы отгораживаются от тех, кто не ходил с ними, кто „сидел” в лагере. Во всяком случае, Толя ощущает это, он будто стену видит. Возможно, она в нем самом, но он ее хорошо чувствует, глухую, обидную стену.

Ни от кого толком не разузнаешь, что, как там было. Рассказывают, припоминают, но все какие-то мелочи, забавный смысл которых больше понятен тем, кто сам ходил, видел. Про то, как убегал по шоссе единственный уцелевший немец и никто не мог попасть в него („длинный, как наш Светозаров”), как стукнул Фома по затылку Молоковича, когда ленту в станкаче заело. Сами рассказывают и сами же интересуются:

– И что, сразу заработал пулемет?

Но есть же у Толи в отряде брат. Он-то про свое обязан рассказать.

– Три ночи ходили к железной дороге, а потом подорвали. С цистернами. Убегать плохо было – осветило все.

Толя, конечно, привык, но иногда посмотрит, и сделается ему смешно, что у него такой хмурый, неразговорчивый брат. Мо-ор-щин на лбу!

А вот и мама. Глаза нетерпеливо-счастливые, ищущие.

– Алеша,– позвал Толя. Но тот пошел в землянку, понес вычищенную винтовку. Алексей за это время каким-то другим стал. Может, оттого, что постригся наголо. Был чуб – шапка не держалась, а теперь – как новобранец. И не для того снял свою кучерявость, чтобы

показать, как не дорожит он такой роскошной вещью. (Разванюше бы Алексеев чуб, к его усикам!) Захотелось – снял. Брат все делает просто, без оглядки. Все несчастья в жизни Толи, все мучения от того, что он не умеет притворяться таким же бесчувственным, деревянным: я, мол, свое дело знаю, а уж потом – остальное. Брат даже и не уговаривает Толю сидеть в лагере. Ходит на „железку”, и все. Само собой получается, что теперь уже от Толи зависит: бояться матери за одного или сразу за обоих.

Вышел Алексей из землянки, увидел мать и нахмурился. Дает понять, что для всяких ахов и охов есть Толя. Но мать лишь глянула на Алексея, как-то сразу будто вобрала беспокойно-счастливыми глазами. И тотчас ее вниманием завладел Пахута. Веснушки делают лицо Васьки-подрывника еще добрее, даже светлее, сразу вспоминаешь, что они – от солнца. Раздуто-круглый, затиснутый в стеганку Пахута такой беспокойный: от него и на воле тесно.

– Анна Михайловна, дороженькая наша! – зашумел он.

– Дороженькая даже, – отозвалась мать. Она смеется, говорит, и чувствуется – потому так смеется, так смотрит, что Алексей здесь, в лагере, вернулся... И Пахута тоже понимает это и потому рассказывает про Алексея:

– А он у вас настоящий лесовик. Забрался на ель – посмотреть на дорогу. А тут машины. Облапал еловые ветки, вот так, да ка-ак сиганет вниз.

– Вот дурной! – такое испуганное, домашнее вырвалось у матери.

Все рассмеялись.

Как-то очень незаметно мать подошла к Алексею, глядит на стриженую голову, на его обновку – ярко-синие галифе. Смотрит удивленно, с некоторой опаской.

– Это что у тебя?

– Брюки же. Из чертовой кожи.

– Из полицейской, – обрадованно пояснил Толя. Он уже знает подробности.

– Он... живой? – спросила мать совсем тихо.

– Тогда был живой, – сердится брат. – Ну что ты, мама, спрашиваешь? Фома взял себе, но ему малы, а мои разорвались, когда я с дерева...

– Надо зайти к Павловичихе забрать папины, вот и Толя совсем обносился.

Переключилось внимание на Толю – Алексей сразу посветлел. И улыбается, не морща лба, и разговаривает охотно. Совсем семейный разговор. Но мама, хотя и отошла от других к Алексею и Толе, – все

замечает. Молокович сильно натер ногу. Сидит разутый на новом столе, шевелит пальцами, рассматривает их внимательно, будто пересчитывает. Спросил, нет ли воды. С непонятной строгостью мать приказала Толе:

– Сходи к кухне.

Толя пошел, неся в себе тупую обиду. Мама, Алексей живут в том особенном мире, где все, кроме Толи, все, с кем ему так хочется быть. А он один, совсем один. И даже она с ним так разговаривает. За этот месяц во взводе никого и не убило, двоих только ранило. Не убили бы и Толю. Значит, зря он столько мучился. Мог ходить со всеми, веселый, легкий. Будешь сидеть, сидеть, а потом пойдешь и в первом же бою…

Вернулся к землянке, незаметно поставил на стол котелок с водой. Кому надо – найдет. Что-то веселое рассказывают.

– Небо звездное, чистое, хоть молись, а оттуда – матюг! – Носков довольно легко воспроизвел и слова, и голос с неба.

– Расскажи, Пахута, – просят Ваську-подрывника, – не все знают.

– Да ну вас, Мохарь и так косится. Будто не он меня, а я его сволок с неба. Ну что, летим мы. Я – радистом, в Москве поужинал, думал, к завтраку вернусь. А тут во как загостил у вас.

– А что! Попал в хорошее место, так воюй. – Бобок не может не вставить словцо-другое. Он просто ногами сучит от удовольствия, когда завязывается веселая беседа. Сапоги у ездового новые, из свежевыделанной кожи: сразу видно – дружит человек с сапожником. И кухню не обходит: даже голенища набелены смальцем.

– Перелетели фронт, – продолжает Васька-подрывник, светя золотом. – Вижу, и Мохарь притих. А то все рассказывал, как он затяжным прыгал. Осоавиахим, то да се. Может, когда и прыгал, но как немцам на голову пришлось – сели батареи у нашего Мохаря. Вспыхнули костры, прыгнули двое, а Мохарь никак. Я его коленкой под зад уговариваю. Вытолкнул, но меня тоже будто выдернуло. Был самолет, было все, а тут – лечу. Без парашюта, братцы! Отпустил он мою ногу, но тут уж я его за шею облапал. „Дергай запасной!" И, наверно, еще что-то шептал ему. Носков вот помнит, слышал.

– А молодец Мохарь, что стащил тебя с самолета, такого парня у нас не было бы! – „Моряк" Зарубин потряс Пахуту за плечи.

III

Разведчики привели в лагерь двенадцать человек, убежавших из немецкого плена. Одинаково грязные лохмотья, одинаковая чернота,

положенная на лица долгим, лютым голодом. И все же некоторых сразу выделяешь. Особенно заметен веселоглазый парень, который убил топором немца-конвоира. Ходит по лагерю с немецкой винтовкой.

Нескольких определили в третий взвод. Самый пожилой, Коломиец, как сел на землю возле землянки, так и не сдвинулся весь день. На том месте и пообедал (товарищ принес котелок), там и приоделся немного. Когда примерял полотняную, плохо покрашенную, но все же рубаху, лицо его засветилось первой улыбкой.

Товарищ Коломийца – низенький, седой. Можно догадываться, что он вовсе и не старый еще, что был когда-то очень живой, подвижный. От неуходящей, виновато-радостной улыбки кожа на висках все время собрана в лучики.

Кроме Коломийца и его белоголового товарища Шаповалова в третий взвод зачислен еще один. Фамилия – Бакенщиков. Этого не сразу и заметили. Все новички уже освоились, все в обновах, не очень роскошных, но все же. А очкастый сидит в сторонке, ворох лыка у ног, колени острые, высокие, как у кузнечика. Сидит человек с узким, высоколобым лицом профессора и отрешенно плетет лапти. Смелости только и хватило лыка расстараться, попросить. Но не заметно в нем той обязательной тихой виноватости, с которой приходят в лагерь из немецкого плена.

Мама принесла ему Алексеево белье. Хорошее, почти новое. Человек поднял черные, странно горящие за очками глаза. Глаза эти как бы отдельно живут на одеревенело-спокойном лице. И поблагодарил он странно:

– Спасибо, женщина.

Толя рад за возвращающихся к жизни людей. Возле них и ему хорошо. К нему новички обращаются охотнее, смелее, чем к другим. И даже на „вы”. Белоголовый, лучащийся счастьем Шаповалов вполголоса расспрашивает его, как тут „оружием разживаются”.

С оружием, понятное дело, трудно. Добывают кто как сумеет. Целую неделю лазали по большому пожарищу (немцы с самолетов лес жгли). Двоим повезло – винтовки нашли. Чуть-чуть приклады почернели, подрумянились, а так – хорошие винтовки. Толе вот подсумки попались. Ходят легенды про целые машины оружия, которые в сорок первом наши зарыли в землю. Но клад никому пока не дается. Вооружаются и так, а больше, понятно, в бою.

– Конечно, конечно, – поспешно соглашается Шаповалов.

Толя не говорит, что ему и самому нужна винтовка. Все бы хорошо, но Толя знает, что через недельку-другую этот новичок станет настоящим партизаном. И увидит, какой тут партизан Толя. Тошно

будет вспоминать, как уважительно смотрел на тебя этот седой человек, как авторитетно вводил ты его в партизанскую жизнь. И это пришло даже раньше, чем Толя предполагал.

Вашкевич, вернувшись из штаба, приказал дозарядить диски к ручным пулеметам.

– Бог подаст, – сердито отмахивается Носков от Головчени, который, сняв шапку, собирает патроны. Но Головченя знает, что он – не просто он, он – пулемет, главная фигура боя. И улыбается уверенно: „Хошь не хошь, а дашь”. Весело ему чувствовать себя молодым бородатым нахлебником-цыганом.

– Позолоти ручку, молодец.

Толя тоже отдал обойму. Не жалко, а неловко. Будто откупается. Сегодня он опять остается в лагере. И главное – не очень огорчен этим. Вдруг начинает казаться, что именно на этот раз могло бы случиться непоправимое. Сидел, не ходил, столько терял, а тут сразу и подсунешься. Что-то особенное намечается, даже тачанку со станкачом берут. И лица у всех какие то непривычно серьезные.

Молчаливый, вечно дымящий цигаркой парень (кажется, Пархимчик – фамилия его) потянулся к гармошке. Но раздумал:

– Придем, тогда…

А Толя вдруг подумал, что за все время он и словом не обменялся с этим парнем. А ведь Пархимчик – партизан. Как восторженно смотрел бы Толя в неулыбчивое круглое лицо, как рад был бы рисковать по первому слову этого парня, если бы встретил его где-либо возле своей Селибы месяца два назад. Толе вдруг захотелось заговорить с ним. Но парень уже стал в строй.

Выстроились возле землянки, и сразу видно, кто остается. Толя уловил на себе удивленный, как ему показалось, взгляд новичка Шаповалова. На плече у Шаповалова сумка с пулеметными дисками. Рядом с его белой головой борода Головчени особенно отливает смолью. Любят пулеметчики всякий маскарад. Вон и Помолотень, который при станкаче, тоже молодой, а усы отпустил. Светлые, пшеничные.

– Вымажь усы дегтем, – не раз советовал ему Носков, – а то лошадок вы с ездовым, как немцы пленных, кормите, не заметишь – сжуют усы-то.

Сегодня без усмешечек, ревниво-внимательно глядят партизаны на пулеметную тачанку. Ездовой Бобок все ходит возле своих не очень сытых лошадок, поглаживает их по крупу, будто от этого они справнее сделаются.

Мама в строю самая крайняя, на левом фланге. Она в своей плюшевой старенькой жакетке, под рукой – большущая санитарная сумка. Тень лежит на ее лице. Лицо Нади такое же отрешенно-серьезное, она тоже с сумкой, в мужском сером плаще. Косы уложены вокруг головы.

На другом фланге стоит, привычно опустив плечи, Алексей. Смотрит прямо перед собой.

Командир взвода прошел вдоль строя. Объявил: через десять минут общее построение. Куда пойдет отряд, не говорит. Да и знает ли сам? Никого не обижает, что это тайна. Наоборот, спокойнее. Больше уверенности, что язык не обгонит ноги.

Мама вышла из строя и сразу заулыбалась Толе. Надя смотрит издали. Ее малые, Инка и Галка, остались в гражданском лагере, и похоже, что Надя смотрит на Толю потому, что не может сейчас видеть своих.

Вполголоса мать объясняет, как быть ему, Толе. У Павловичихи два чемодана спрятаны. Там есть синие брюки. И белье. Пускай Толя сходит. С кем-нибудь, попросит кого-либо…

Мать объясняет очень подробно, и начинает казаться, что то, о чем она сейчас говорит, действительно самое главное. Или, может быть, улыбка ее – успокаивающе тихая – мешает понять до конца страшный смысл ее слов.

– В желтом чемодане подошвы… Хорошие, кожаные, еще папа доставал. Попросишь Берку, я с ним говорила, сделает тебе сапоги. А то твои совсем…

И Толя смотрит на свои сапоги, поспешно кивает головой.

Снова все, кроме Толи, стали в строй. Толю вдруг оглушила мысль, что мама действительно может не вернуться. И Алексей может не вернуться. Толя смотрит на них, они еще здесь, непоправимое еще не случилось. Но где-то там, впереди, на десять, на двенадцать часов впереди, все словно уже и произошло. Толя видит мать, она напоминающе улыбается ему („Так ты сходи, у Павловичихи…”), а где-то впереди это уже невозможно. Все возможно, кроме этого, самого простого: она смотрит на него, улыбается ему…

– Шагом арш! – скомандовал Вашкевич. Взвод не в ногу тронулся. И будто пустил кто-то неумолимые часы…

Отряд собирается на „круглой” поляне. Тут лица у людей совсем иные: много улыбок. Любой шутке не дают погаснуть, будто уголек с руки на руку перебрасывают.

Четыре взвода выстраиваются, образуя прямой угол. Перед взводом – командование отряда. Комиссар Петровский и начштаба

Сырокваш чем-то очень похожи. Командир отряда Колесов рядом с ними выглядит и полноватым, и слишком, не по-военному, добродушным. Для Толи эти люди не просто командиры. Они еще и история отряда. От Сереги Коренного Толя многое узнал. Сергей тоже живая история отряда. Вон стоит рядом с Носковым, такой же, как Носков, щуплый, в немецком мундире, щурится напряженно, будто от постоянной головной боли. Лицо у Сергея веснушчатое, но совсем не так по-детски, как у веселого Васи-подрывника. Словно пепел, эти веснушки на нервном лице Сергея, от них оно еще темнее.

Он не очень разговорчив, этот Сергей. Но стоит кому вспомнить про сорок первый год, про начало сорок второго, и тут Коренного только слушай. Когда Коренной рассказывает, он весь горит. Самое главное, самое интересное было, оказывается, тогда, вначале: первые партизаны пытаются остановить идущие на Полесье танки, „забавная война” с симпатичными ребятами – словаками („они в одном конце деревни располагаются на ночевку, мы – в другом”), свирепые схватки с карателями, отчаянные хлопцы, погибшие в первых боях.

Сергей Коренной многое знает о людях, которые сейчас командуют отрядом, взводами. Многое, что случалось в отряде, он откровенно не одобряет. И его самого не все любят, потому-то он – партизан сорок первого года – все еще рядовой. Но попробуй отзовись неодобрительно о ком-нибудь, кого он недолюбливает и кто его тоже не жалует, если этот кто-нибудь – „старый” партизан. Вспыхнет, загорится:

– Кому еще походить да походить надо, а уже потом искать хуже себя.

Толина память жадно впитывала рассказы о том, как начиналось: о первых боях, о первых людях.

Когда смотришь на лицо комиссара Петровского – некрасиво суженное книзу, с высокими, будто подпухшими, скулами, когда видишь его узкие и твердые глаза, легко рисуешь себе тот бой, за который ему прислали из Москвы орден Красного Знамени. Вот такой неулыбчивый, высокий, остроплечий входил он в Зубаревку.

– Комиссар, немцы! – крикнул адъютант.

Петровский успел прыгнуть с мостика в канаву, адъютант не успел, упал замертво. А деревня вдруг ожила. Зеленые, черные мундиры – много, отвратительно много их, а против них – вот эти узкие, с серым блеском глаза. Автомат – на одиночные, прицельно – щелк, щелк. А тех много, им просто весело, что их так много. Они не очень и остерегаются, щелчков его и не слышат. Но прошел час, второй. Жители потом рассказывали, как запаниковали немцы, полицаи, когда вдруг обнаружили, что у них – восемь мертвых. А тут

ночь скоро. Подобрали убитых, раненых и быстренько уехали. Петровский поднялся и даже прошелся по деревне из конца в конец.

Видишь эти глаза, эту острую, угловатую фигуру, резкие движения, взгляд в упор и хорошо представляешь, как опешили партизаны, бывшие окруженцы, которые сговаривались отделиться от отряда, уйти от Колесова, от „этого бухгалтеришки”, когда вдруг к ним в землянку ворвался Петровский и, ни слова не говоря, отхлестал их по щекам.

Начальник штаба ростом чуть пониже Петровского. На нем такая же белая, в мелкое колечко кубанка, такая же отороченная мехом по бортам поддевка. И упругость в плечах, в коленях та же – военная. Но лицо с черным мазком усиков – округлее, мягче. Выпуклые глаза – горящие чернотой, изменчивые, вспыхивающие. Сырокваш тоже история отряда. Это он, живя в городе по фальшивым документам, связался с партизанами и вывел в лес большую группу окруженцев. С ним и Петровский пришел. Присоединилась эта группа кадровиков к „Чапаю”. С неласковой иронией „Чапаем” называли в деревнях Пушкаря – командира небольшого отряда, одного из первых. В большой папахе, весь нарасхлест, с пьяным бешенством в очах, каруселил „Чапай” по деревням. Из первого же боя, в котором участвовали Сырокваш со своими хлопцами, Пушкарь сбежал. Потом появился – верхом на лютом жеребце – и давай ругать всех („Почему командира бросили?”).

Сырокваш оборвал его (легко представляешь, как черно вспыхнули эти выпуклые глаза):

– Какой ты командир! Ты нам не командир.

Пушкарь шумел, хватался за папаху, за бок (но не за пистолет), грозил каким-то высоким покровителем.

– А наш командир – вот!

И Сырокваш показал на человека, которого перед этим допрашивал, на Колесова, у которого был документ от райкома.

– Вот… его специально оставили.

Очень хотелось Сыроквашу побить козырь Пушкаря, который не уставал хвастать и пугать высоким покровителем. Покровитель – командир самого крупного в той местности отряда – явился через два дня с пышной свитой автоматчиков. С ним разговаривали уважительно, но тоже твердо. Забрал он Пушкаря и всех, кто хотел уйти с „Чапаем”, и отбыл в свое Замошье.

Так неожиданно для всех и, пожалуй, для самого себя Колесов стал командиром.

Оставляли его – служащего какого-то наркомата – для подпольной работы в Минской области, но он ушел на Полесье. Это не смущало: ведь и сам Сырокваш, и его хлопцы тоже на Полесье пришли, хотя должны были воевать на чужой территории, по крайней мере, стоять на Буге.

Потом наперекос пошло у бывших военных с Колесовым: не уважали они его как командира, он это знал и тоже, конечно, не испытывал к ним большой любви. Узнав об их сговоре, о попытке отделиться, организовать „свой" отряд, он растерялся, даже уехал куда-то, видно, искал Петровского. Перед смелой злостью Петровского „заговорщики" растерялись. Но часть их – пятеро – ночью все же ушли и увели семерых „местных", „пушкаревцев". Их настигли в какой-то деревне, обезоружили. Неизвестно, как там было, кто настоял, Колесов, Мохарь или они оба, но беглецов расстреляли. Всех двенадцать. Говорят, многие до последнего мига улыбались: не верили, что это возможно. Когда узнал Сырокваш – он лежал раненный у лесника, – на лошади прискакал в деревню. И без сознания свалился среди улицы. Все понимали, что ехал он, чтобы разделаться с Колесовым. Вернулось сознание к нему лишь через неделю. К тому времени взбудораженный отряд приутих, все осталось по-прежнему. Не совсем, правда. Серега Коренной не молчал, когда все другие уже замолчали, – и Колесов разжаловал его из взводных в рядовые. Так и осталось.

Когда видишь Колесова, трудно разглядеть в нем что-либо, кроме веселого неиссякаемого добродушия. Вот и сейчас беседует с комиссаром и начальником штаба, а сам улыбчиво посматривает на бойцов. Ему не терпится поговорить с отрядом.

Чуть в сторонке от командиров, но тоже отдельно от взводов стоит Мохарь. Держит в руках планшет, деловито перебирает бумаги. Под слюдой его планшета не карта, как обычно у военных, а белый, совершенно чистый лист бумаги. Озабочен больше всех. Очень занят, но, когда засмеются, обязательно оглянется. Интересно, помнит он сейчас о том, о чем Вася-подрывник рассказывал: как с самолета прыгал?

Когда Мохарь один стоит, кажется, что он низок ростом. Наверное, потому, что ноги не по туловищу короткие. А черная кожанка и вовсе закрывает их. Но приблизился к командиру отряда, и, хотя на голове у Колесова высокая кубанка, сразу стало заметно, что Мохарь совсем не низкий, только весь какой-то квадратный.

Удивительно этот Мохарь улыбается. Смотришь на квадратное лицо его и никак не ждешь улыбки, кажется, неоткуда ей появиться.

Но вдруг, вот как сейчас, подошел Сырокваш – и на лице Мохаря уже улыбка. Отвернулся начальник штаба – словно и не было ее. Это так же удивительно, как если бы на чистом листе под слюдой его планшетки то вдруг появлялись письмена, то исчезали бы.

Пока командование совещается, с отрядом „беседует” Баранчик – адъютант командира отряда. Рука у него уже не забинтована, на голове знакомая всем фетровая шляпа, которая здесь, в лесу, и особенно на голове Баранчика, выглядит шутовской. „Беседует” Баранчик беззвучно: таращит глаза, гримасничает. Но этого достаточно, чтобы все улыбались, хлопцам не хочется хмуриться.

Приготовился говорить командир, и Баранчик сделал строгое лицо, но, кажется, слишком строгое: кто-то хихикнул, и остальные тоже засмеялись. Командир добродушно ждал, когда станет тихо. Круглое лицо его очень моложавое. Колесова любят слушать, хотя заранее известно, что он скажет. Но перед боем знакомые слова звучат по-особенному. Кончил Колесов, и тогда заговорил комиссар. У него голос глуше и резче:

– Мы идем громить фрицев и бобиков. Партизаны не спрашивают: сколько их, а – где они? Вы знаете где: пока на нашей земле.

– Больные есть? – тотчас снова заговорил командир отряда. Торжественная строгость совсем оставила его полное и очень свежее лицо, в неярких голубых глазах – понимающая улыбка. Партизаны тоже улыбаются, они знают, что будет дальше. – Ну животик там, головка? – поясняет Колесов, собирая улыбки одобрения с лиц партизан. – Нет инвалидов?

– Молокович, у тебя же нога гноится, – шепчет Головченя.

– Ты... тише, – затравленно сжимается Молокович.

Вытянутое некрасивое лицо его выражает страшный испуг.

– У Коренного обострилась язва. Вчера жаловался, – негромко сказала Толина мать.

Командир отряда услышал, смотрит на Коренного.

– Анна Михайловна, я же не просил... – Сергей болезненно сощурился, зябко дернул узкими плечами.

– Коренной, – очень громко сказал Колесов, – что же ты прямо не скажешь, что болен? Болен – скажи.

Серега ответил тихо, почти спокойно, но на побледневшем лбу капельки пота выступили:

– Не говорить прямо – не в моей привычке. И вообще, оставьте меня в покое.

Но Колесов уже и не слушает его. Снова усмехаясь, спрашивает:

– Ну, значит, порядок в сапогах, в печенке-селезенке?

Застенчиков торопливо, точно опасаясь, что его опередят, шагнул вперед, выкрикнул:

– У меня ухо разрывает, я говорил Марфе Петровне и Анне Михайловне…

– Вот, у него, – обрадовался Молокович, – ухо у него.

– Вашкевич, что там? – почти брезгливо спросил комиссар.

– Говорит, что больной. Он из новеньких. – Вашкевич даже слегка покраснел.

Застенчиков, заикаясь, отчаянным голосом стал заверять кого-то в чем-то.

– Ушко болит? – посочувствовал Колесов.

– Я говорил врачу…

Прозрачный тонкий нос Застенчикова сделался еще белее.

– Говорил, – неохотно подтвердила Марфа Петровна. Она со взводом Царского. В ватнике, в больших сапогах.

– Ну что же ты, дорогой, нервничаешь. Хочешь – оставайся, – сказал Колесов.

Вот и все. Только через это надо переступить человеку, чтобы на рассвете не бежать по открытому полю на немецкие пулеметы. Застенчиков – весь он пятнисто-серый – даже растерялся. И сам, наверно, не рассчитывал, что так просто, легко все решится. Сделал шаг назад, но строй уже сомкнулся, и Застенчикову пришлось идти вдоль ряда не узнающих его, сразу почужевших глаз.

Садилось солнце, взводы уходили с поляны в потемневший лес.

Алексей не оглядывается. А мама так посмотрела, будто не она, а Толя уходит навстречу бою. И Надя несколько раз оглянулась.

Лагерь затих. В землянке пусто и темно. У окошка на столике обшарпанный патефон, гильза-коптилка.

Вместе с сумерками над лагерем повисло ожидание.

Явились Ефимов и Зарубин из деревни. Ходили в баню, да, видно, перечаевничали. „Моряк” сразу побежал в штаб узнать, где найти отряд. Возвратился, страшно ругаясь. Набросился на Ефимова:

– Говорил тебе раньше выйти, чуяла моя душа, чуяла.

– Что такое? – спросил, посвечивая цигаркой, разлегшийся на нарах Фома.

– Железня нас в караул – вот!

– На какие часы?

– Пойди узнай. Да ну вас!

В караул обрядили всех. Толю тоже.

Сколько бывает всего впервые в жизни! Вот хотя бы это: ты идешь на пост. Когда Толю разбудили, он вскочил, как первоклассник

первого сентября. Пустая землянка населена колеблющимися тенями, пламя коптилки то испуганно припадает, как уши зайца, то тянется вверх. Караульный начальник Железня специально пришел будить Толю, вести его на пост. Толя страшно торопится, благодарный и смущенный. А Железня пока вполголоса отчитывает дневального Зарубина, которого застал дремлющим над печкой. На нарах лежит задержанный вблизи лагеря человек.

– Он что, дурак – бежать? – оправдывается „моряк". – У нас не убежишь.

Железня прав. Раз поставили, не спи. Остролицый, с опущенными, как под тяжестью, плечами, Железня нравится Толе. Сегодня все уместно: и сухая строгость, и даже то, что голос у человека скрипуч, въедлив. Он караульный начальник – хозяин ночи. Кажется, что сама ночь, как пес, ждет его за порогом.

Толя – подчасок при Ефимове. В холодной яме, где еще стоит кислый дух гнилой картошки, очень даже уютно и интересно. Но настоящий партизан на посту должен испытывать лишь скуку.

– Тут и всхрапнуть можно, – шепчет Толя.

С поста видишь не много: поляну да черную стену леса. Поляна небольшая, но над ней повисло все небо со всеми звездами. Постепенно забываешь, что свет вверху – от них, от растертых, тусклых звезд. Начинает казаться, что небо подсвечено отблесками далеких незатемненных городов. Где-то на Урале живет Толина тетка, знакомая лишь по письмам. Письма к ней идут через Москву, обратный адрес партизанских отрядов – тоже Москва. И тетка, не заметив маминых намеков („пишу вам, сидя на пне"), мудро заключила, что ее сестра с семьей прописаны по Можайскому шоссе. Несколько раз уже приглашала приехать на Урал: „У нас теперь огородик хороший". Обещала сразу же переслать полевую почту папы, если он догадается написать на Урал.

Есть где-то Москва, Урал, есть тетка, которую Толя никогда не видел, москвичи, сибиряки. Как хорошо, что все это есть и что там нет немцев.

Свет вверху какой-то неровный, кажется, что он то ярче делается, то меркнет. Будто подергивается вслед за нарастающим звуком, который вдруг просочился в высокую тишину неба. Самолет. Звук ближе. Над головой. Уходит медленно.

– Без огней, – веселым басом сипит Фома, – наш.

Наш! Там, вверху, – люди, которые всего лишь несколько часов назад были в довоенном. В это почти не веришь. Что они сейчас видят под крылом, внизу? Лес, ночь. Им невероятным должно

казаться, что и тут живут. Им, таким счастливым, наверно, и подумать жутко о том, что они могут остаться в лесу, над которым пролетают. А здорово посмотреть на себя оттуда, сверху, их глазами. Лес, ночь, немцы вокруг, а среди всего этого – партизан. И ему совсем не страшно. Вот только неизвестно, как там мама, Алексей…

В небе новый звук. С металлическим присвистом. Немец летит. Под звездами проплыли зеленые и красные огоньки. Ушел вслед за нашим. Тихо сделалось. Потом два стука в земле. По аэродрому, по кострам, наверное. Нет, а ты на Урал слетай! Слетай-ка. Там и светомаскировки нет. Думал, придешь в Лесную Селибу, и готово – прошел весь Союз!

Ушедшие навстречу завтрашнему бою тоже, наверно, смотрят вверх. А на горке черная деревня. Толя и сам вроде видит ее – наползающую на звездное небо. Там амбразуры, ненавистные подлые руки на пулемете… А за спиной у гада с пулеметом – хаты. В какой-нибудь из этих хат спит сейчас кто-то очень похожий на Толю. Не на теперешнего Толю с винтовкой, а на того, что жил в Лесной Селибе и тоже ночью спал на белой простыне, а днем занят был тем, что вовсю ненавидел немцев и предателей-полицаев. Эх, и младенец же ты со своими глупыми простынями!

Вернувшись с поста, Толя долго не мог уснуть. Ко всему еще шепот этот. Сидят Застенчиков и Зарубин над печкой и все о каких-то пустяках: сколько махорка до войны стоила, да чьи сапоги удобнее на ноге – наши или немецкие. Лучше бы громко разговаривали. А так невольно напрягаешь слух, тонкая пелена дремы рвется снова и снова.

Слышно, что и человек, задержанный вечером в лесу, не спит. Толя еще не видел его лица, лишь разглядел пугливо поджатые ноги в рваных ботинках. Невеселое, наверно, лицо у человека. Еще бы, соскочил с поезда, искал партизан, но не он их, а они его неожиданно нашли. И возле лагеря. Растерявшись, пытался убежать. Теперь лежи и думай: поверят или не поверят? Раз он побывал в партизанском лагере, выйти отсюда ему можно только партизаном. И он это, конечно, понимает. Толя убежден, что все будет хорошо, ему жалко человека, пугливо поджавшего ноги.

Утром лагерь жил обычной жизнью: пост, кухня. Принесли завтрак и задержанному. Он поднялся с нар. И Толя еще больше поверил в него. Вон какая тоска в диковатых глазах. Молодой, а такой темный, угрюмый. Нелегко, видно, на сердце. Послушно взял котелок, молча, не жадно ест.

Днем Толя стоял тоже на пару с Ефимовым. Когда дневалишь или вот так – на посту, время будто хромать начинает.

Толя пожаловался:

– Не могу никак винтовку добыть, понимаешь.

– А зачем она тебе?

Толя опешил.

– Укокошат, а ты пацан еще. Осенью они на нас полезут. За хлебом. Теперь не те и они, и мы, а было время – побегали. Э-эх, Паричи – Озаричи – Козюличи – Косаричи – Шклов – Могилев – Старый Быхов – Рогачев!..

Странно рассуждает. Полезут, потому Толе лучше быть безоружным. Но, значит, Толя для Ефимова никакой не придурок.

К посту едут. Верховые. Передний с длинной талией – Половец. Белая с красной лентой папаха. Второй – совсем немец, от сапог до пилотки – все немецкое. Даже ленточки красной нет. Лицо широкоротое, по-татарски скуластое, хотя и очень белое. Волосы тоже светлые. Узнал Ефимова:

– Гля-яди, Половец. Поймали контрразведку, в яму посадили. Кхи-и…

Смеется „немец”, будто кот фыркает.

Чубатый, осанистый Половец тоже усмехается, показывая редкие неровные зубы. А „немец” – маленький, подвижный – шумно веселится:

– Дожились контрразведчики. Бя-яда.

Слова растягивает подчеркнуто по-белорусски. И это сразу выдает в нем не белоруса. Все – лицо, голос, руки на поводьях – играет. Цепочка от пистолета, свисающая к стремени, ртутью переливается на солнце.

– Попал под Железню, – добродушно басит Ефимов. – Хлопцы, черти, говорите же, что *там.*

– Были Протасовичи – и нема, – сказал „немец”.

– Бобиков много накрошили?

– Кто их там считал! Лежали на поле. Да из-под матрасов потом таскали.

– А наших?

– Есть. Раненых много. Командира – в колено.

– Колесова?

– Ваш Колесов заколдованный, – с усмешкой говорит „немец”, – комбрига, Денисова.

Когда отъезжали, крикнул:

– Не испугайтесь! Хлопцы танк отрегулировали. Пригонят, если доедут.

Танкетку ремонтируют в лесу давно. Ага, значит, громили Протасовичи. Самый крупный из ближайших гарнизонов.

– Этого, в немецком, знаешь? – спрашивает Ефимов. Он посматривает на Толю как-то сбоку, осторожно. – Командир бригадных разведчиков. Волжак Андрей. Как его еще партизаны не подстрелили? Не раз за немца принимали. Его и расстреливали. Когда только из плена прибежал.

Фома рассказывает, а Толю мелкая дрожь бьет. А что, если уже случилось? Толя стоит в этой яме, слушает Фому и ничего еще не знает, а кто-то уже видит, знает... Но за тревогой, и совсем-совсем близко, – жадная готовность быть счастливым. Протасовичи, подлые, ненавистные Протасовичи разгромлены, и мама, Алексей возвращаются. О чем это Фома? Все про Волжака.

– Не поверили ему. Слишком смело вел себя. Стоит в жите: „Если полицаи, не подходите, стреляйте оттуда". И топор показывает. Вооружился, как в кино. Допросил его Мохарь и решил – подосланный. Поставил Волжака и еще такого – тоже говорил, что из плена прибежал, – дали залп. В Андрея нарочно не целили. Стоит, побелел, конечно. Колесов ему: „Ну, пока не поздно – говори". А тот: „Я скажу тебе. Я уважаю, что ты людей смог собрать, организовать. Но я тебя, собаку, тоже расстрелял бы за вот такие дела". Так и разэтак командира нашего. Тогда Сырокваш стал передопрашивать, тут же, над ямой. Где служил, кто командир дивизии, полка? Знакомого нащупал. Уже и стрелять как-то неловко человека. Повели Андрея назад, закуривать дают, рассказывают ему, как он стоял, что говорил...

Ефимов оборвал рассказ: на поляну вышли трое.

– Пилатов, – узнал мужчину Фома.

И две женщины. У одной винтовка за спиной. Эта все останавливается и смеется. Потом догоняет остальных. Не умеет смеяться на ходу. Нагнав партизана, грохает его кулаком в спину. Видно, здорово он треплется.

Вторая не участвует в этой интересной игре. В синем платье, узко перетянутом в поясе, на руке пальто, узелок. Она уже видит торчащие над ямой головы Ефимова и Толи, улыбается, как знакомым, а на лице, по-детски, совсем по-довоенному румяном: „Вот и я!"

Новенькая – ясно. Каждому приходящему в лес кажется, что партизаны будут ух как счастливы: пришел, ура! А эта особа совсем еще не взрослая, хотя и сделала из волос большой женский узел на затылке. От узла этого, что ли, но шея у девушки красиво изогнутая.

Толя с внезапным удивлением подумал, что вот у мужчин шея бывает длинная, короткая, толстая, тонкая, грязная, чистая. А у *них* – только красивая. Если не красивая, ее просто не видишь. Да, но какое дело Толе до всего этого? Особенно когда он на посту. А вот ноги и руки у девушки некрасиво длинные. Словно бы навырост. Видно, из этих потом и получаются такие, на которых боишься смотреть.

– Откуда? – спросил Фома.

– Лину, племянницу, в партизаны веду, – весело хмуря такие же угольно-черные, как у его племянницы, брови, говорит Пилатов. – Надоело нам с мамкой, пора немцев выгонять.

– Ай, дя-ядя! – воскликнула девушка. Голос у нее как ледок, только-только закрепший. И вся она как первый ледок – хрупкий, светящийся, звонкий. Все улыбается.

Пилатову снова досталось промеж лопаток от маленькой бледнолицей женщины с насмешливыми серыми глазами.

А у племянницы глаза тоже серые, радужно-серые под черными бровями. До чего же все в ней замечаешь! И не можешь не замечать, как не можешь, проснувшись утром, не подумать: ага – утро!

Пилатов, поводя лопатками, сообщает восторженно:

– Вот так – всю дорогу. Со дня свадьбы. Женись, хлопцы.

– Протасовичи громили, – с удовольствием сообщает Ефимов.

К Толе снова вернулось тревожное чувство ожидания. Он уже почти недружелюбно смотрит на новенькую. Ну, пришла, так проходи, не до тебя.

– Идем, болтун, – наконец потянула жена за рукав Пилатова.

– Пускай девушка отдохнет тут, скоро солнышко выглянет – Железня заглянет.

Очень дипломатично Фома не разрешил новенькой пройти в лагерь без караульного начальника. Фома как-то странно оживился, правый, слегка косящий глаз особенно беспокойный. Гостеприимно указал на край окопа:

– Садитесь у нас. Так вы – Лина?

– Ли-ина, – протянула девушка. Ее сегодня все радует, даже собственное имя.

– Вот сюда, – приглашает Фома. Это почти на спину Толе.

– Ну что ж ты, Толя, хоть веточку подложь.

Что с Фомой делается? Пляшет, как медведь, которого подпоили. А та, длинноногая, в туфлях на босу ногу (тапочки бы еще надела в партизаны) стоит прямо над Толей и ждет чего-то. Красней еще из-за нее.

– Ох, молодежь, – глухо басит Фома и берет из-под ног несколько еловых лапок.

Девушка вдруг зевнула. Э, дома, видно, только в эту пору глаза открывала. Смутилась, ойкнув, прикрыла рот ладошкой.

– Ох и ручки, такой ротик, а не прикроешь! – удивился Фома.

Девушка еще раз ойкнула. Ну, раз такой мастер на комплименты, сам и занимайся! А Толя на посту.

– Железня, – притворно испугался Фома, – смирно, форма парадная.

С Железней пришла смена. Сойдя с поста, Фома забасил в полный голос:

– А скажи, Железня, почему на тебя девушки смотреть не могут? Ну и личико у тебя – одни углы, как на броневике. Глаз рикошетит.

Девушка умоляюще смотрит на Фому. А Железня резанул:

– Это потому, что ты косой.

Фома захохотал, но крупное красивое лицо его сразу отяжелело.

Все говорят о Протасовичах, но толком никто ничего не знает. В землянке – будто и не весна. Выхолодили дневальные.

– Дровишек бы, – выразительно пожаловался Зарубин.

Толя тоже с поста пришел, он сегодня как все, но именно потому Толя готов.

– Веди и этого, – говорит Зарубин, кивнув в сторону задержанного. „Моряк" все еще не в духе. – Что кашу зазря ест. А винтовку?

Толя знает, что надо взять винтовку. Но зачем об этом как будто нарочно? Человеку и без того нелегко. Он и на свет из землянки вышел, а глаза не посветлели. Даже виноватым себя чувствуешь, когда видишь такую вот тоску в глазах человека. Да, есть и предатели, и шпионов к партизанам подсылают. Еще сколько! Все это так, и все это хорошо понимает Толя. Но ничего этого будто и нет, когда думаешь о каком-то одном человеке. Просто в голове не укладывается, что ему, вот этому парню, *может захотеться быть предателем,* что для него не самое большое счастье – быть со своими, быть партизаном.

– Там за буданом сухие лежат. Распилим парочку, и хватит, – говорит Толя.

А может случиться (да так оно и будет), что завтра и *этот* станет партизаном. Настоящим. Хорошо же будет чувствовать себя Толя – под винтовкой водил, с грозной физиономией!

– Ну вот, тут уже и напилены, – говорит Толя так, будто для парня самое печальное в его положении, что поработать придется. Угрюмый парень послушно взял топор. Глаз не поднимает. Легким

взмахом половинит сухие еловые круглячки, ловко придерживая их пальцами левой руки. Толя не хуже умеет. Поставил к дереву винтовку. На какой-то миг ладонь его, ощутив холод стального ствола, задержалась. Повесил на винтовку шапку. Чтобы не мешала. Нагнулся, взял топор. Ох и вызубили! Лезвие как шестеренка. Поставил поленце. Но слишком быстро отнял левую руку – повалилось. Лишь щепку сколол. А у парня круглячки половинятся с призвоном: тюк – готово! Толю теперь занимало одно: успеть, пока круглячок еще не падает, рубануть, подхватить и, покрутив, еще поперек рубануть. Когда удачно – сразу четыре полена на четыре стороны разваливаются. Красота! Толя весело посматривает на напарника: у кого лучше? Косой чуб завешивает глаза парня, их не видно. Но Толе надо смотреть под топор. Он только слышит, как у соседа – тюк, тюк, тюк... Снова промазал Толя и невольно поднял глаза: заметил ли сосед?

Парень дрожащей рукой ставит поленце, но не на землю, а почему-то себе на ботинок. Глаза, круглые, примеривающиеся, – на Толе. Холодом обдало неприкрытую голову Толи. Он быстро выпрямился и сделал несколько шагов назад. Тронул левой рукой винтовку и тогда бросил топор. Шапку надел. Парень наконец нащупал поленцем землю, взмахнул топором и промазал. Первый раз промазал.

Отступив с винтовкой назад, Толя смотрел, как человек работает. И уже не понимал: было что или показалось ему. Парень такой же: угрюмо-диковатые глаза, твердые скулы... Но лицо уже таит что-то. Или это лишь кажется Толе? Велел набрать охапку дров. Сам шел сзади.

Непонятно как, но в лагере почувствовали: отряд уже возвращается! Побежали к поляне. Кого-то окружили, расспрашивают, пересказывают.

– Павел, Павличек! – Грузная тетя Паша тянется на носках, чтобы увидел ее партизан в очках. – Митю моего видел? Митю?

– Идет.

– А как девочки наши, Павличек? – Голос у тети Паши сразу позвончел.

Толя испуганно ждет. Что это, про кого говорит партизан в очках? Ранило, тяжело...

– Которая с косами.

Толя старается заглушить в себе чувство облегчения, старается, чтобы оно прошло, ушло скорее и незаметнее. Надю... Тяжело... А в гражданском лагере ее девочки: Инка, Галка...

На „круглой” поляне – конные, пешие. На тачанке – Бобок, голова в бинтах. Улыбка Бобка – все равно улыбка – как в белом

овале. Впереди шагает Круглик – помощник командира взвода. Шапка сдвинута на затылок, крепкий широкий лоб блестит. Увидел Толю и сразу сказал про маму, Алексея:

– Идут там.

– А Надю ранило, да? – Толя в чем-то себя чувствует виноватым. Помолчав малость, спросил про трофеи.

– Захапали порядком. Другим отрядам отошло, но и нам.

Толе доже неловко, что с ним так охотно разговаривает человек, возвращающийся из боя. Но человеку, наверно, интересно поговорить как раз с тем, кто не был в бою.

– Положили нас среди поля. Землю носом роем. Пока Сырокваш со стороны кладбища не прорвался, не могли подняться.

– Все наши вооружились? – завистливо спросил Толя.

– Алексей таскал лишнюю. Принесет.

– Знаю я его.

– Ну, тогда пошли.

Заиметь винтовку оказалось очень просто. Круглик вошел в штабную землянку и через минуту вышел с толстеньким карабином.

– Норвежский. Патронов – пока тридцать.

Толя, покраснев от счастья, попробовал, взвел затвор.

Надо что-то сказать Круглику. Но именно когда надо, Толя не умеет. Виновато взглянул на лобастого помкомвзвода. Но тот, кажется, и не ждет никаких благодарностей.

– Я пойду, – сказал Толя.

Конечно же навстречу отряду. Теперь, когда у него есть своя винтовка, вдвойне радостно встречать хлопцев.

Шаповалов шагает тоже с винтовкой. И одет уже по-другому – в полунемецкое. И очкастый Бакенщиков, что лапти плел, – уже в сапогах, винтовка на плече. С Коренным Сергеем вполголоса обсуждают что-то. Сразу понял новичок, с кем поговорить интересно.

Наконец Толя увидел мать. Идет рядом с подводой, а сзади еще подводы. Некоторые прикрыты одеялами, фуфайками. Эти, кажется, медленнее других ползут, и от них как бы исходит молчание.

Мама держит руку на руке Нади. Голова Нади напряженно запрокинута. И лицо мамы напрягается, как от боли, когда телегу встряхивает.

Подводы сворачивают к санчасти. Толя понимает, что ему, переполненному счастьем, надо стоять в сторонке. И лучше пока не лезть матери на глаза со своей винтовкой. Пошел к землянке. Повесил карабин рядом с уродливо длинной „француженкой” Зарубина. Ходил по лагерю, стоял, слушал и все время помнил: ближе он или дальше от

того места, где его винтовка. Не выдержал, вернулся к землянке. Алексей уже здесь. О лишней винтовке ни слова.

– И без тебя достал, – сказал младший.

– Что достал?

Это уже нарочно не понимает.

– Винтовку, вот что.

– Ну и ладно.

Нет, посмотрите вы на него! Считает, что всегда так и должно было оставаться. Толя вынес из землянки карабин, сел на тачанку, которая без станкача снова стала простой крестьянской телегой, и стал чистить оружие. Брат вдруг подошел, взял карабин и, повертев небрежно, как полено, сказал:

– Прижмут немцы – закричишь: „Мама!"

И улыбнулся примирительно. А что ему теперь остается?

Молокович полез на нары, случайно потянул за ремень гармошку. Слабый скрип ее услышали сразу все, кто был в землянке.

– Да, брат, говорил, сыграем, как вернемся, – сказал Зарубин. Это про Пархимчика. Он тоже лежит возле штаба на земле, сразу отдалившийся от всех и сразу ближе всем сделавшись. Так и не заговорил с ним ни разу Толя, когда можно было.

– Помню, как он прибился к нам, – говорит Коренной. – В кармане – кусок школьной карты. Когда уходил с армией, забежал в свою школу. Отрезал карту по Днепр – дальше, мол, фронт не пойдет. Добрался до Днепра, а потом пришлось – назад.

– Карты не хватило, – не удержался и тут веселый Головченя. Но понял, видимо, что не то и не так сказал. Без обычного стука, осторожно спустил рукоятку вычищенного пулемета.

Мама лишь вечером забежала во взвод. Узнав об удаче своего младшего, только и сказала:

– Ну что ж, хорошо.

– Пристал он ко мне, – оправдывается Круглик.

Улыбка пробилась на измученно-бледном лице матери.

– Ты же и стрелять, наверно, не умеешь, малеча, – говорит она.

Толя немного опасался этой первой встречи с матерью. Но, кажется, можно вздохнуть с облегчением. А ведь все проще, чем думалось. И зачем было столько мучить человека?

– Как Надя? – спросил Разванюша. Спросил тихо. Ремни, пряжки, лихие усики – все, чем так заметен Разванюша, выглядит лишним на нем.

– Очень плохо, – сказала мать, – в живот ее, бедную. Никак не опомнюсь. Зачем ей надо было ползти? Лежали мы на опушке,

увидела меня и ползет. „Надя, стреляют же". А она смеется. Прижалась к ногам: „Ой, боюсь без вас, Анна Михайловна". Потом снова: „Ой!" И белеет, белеет.

Видно, в ту минуту побледнела и мама. Такая и осталась. И сразу будто постарела.

Вдруг замолчали все, вслушиваясь.

– А что это, братцы?

– Танки, ей-богу.

Все бросились к поляне бегом. Толя заскочил в землянку – взять карабин. Застенчиков разогревает что-то в котелке. Дневалит возле угрюмого парня. На Толю парень не смотрит.

На поляне пол-отряда собралось. Совсем близкое гудение внезапно оборвалось.

– Перекур делают.

– Забыли одну гусеницу – танкист побежал.

Снова взревел мотор, и на поляну – ух, как грозно! – вырвалась танкетка. На ямах черное днище показывает, переваливается – как большая! Ее уже любят – свою танкетку, – вон какие лица у партизан, какие детски восторженные глаза. Не важно, что это всего лишь маленький бронированный тягач, таскавший когда-то пушку. Когда-то, где-то, может быть, и тягач, а сейчас, здесь – танк. Танкист Ленька, гордый больше всех, газанул так, что танкетка стрельнула выхлопной трубой. И задохнулась – мотор снова заглох.

На лицах партизан, очень разных, одинаковое сочетание безграничного недоверия и столь же безграничного счастья.

– На волах в бой таскать придется.

– Нет, не говори, по большим праздникам и сама ходить будет.

Из люка показалась голова в шлеме, и тут же – вторая, беловихрастая. Их таким хохотом встретили, что они сразу назад, в дупло. Поурчала танкетка и снова загудела, побежала к лагерю. Даже пулеметом поводит – угрожающе-ласково.

И тут в лагере что-то случилось. Выстрел, еще и еще. Автомат застрочил. Все хватаются за оружие, Толя тоже взял в руки карабин.

Танкетка остановилась. Ленька снова выглянул, ожидая шумных восторгов. Ничего не понимая, смотрит, как убегают партизаны.

Пока добежали до первой землянки, уже знали: удрал задержанный.

На бегу отдаются команды.

Но тут будто встречная волна:

– Готов.

– Поймали?

– Возле черной поляны „моряк” его уложил.

Вечер опускался незаметно. Разговоров много. Посмеиваются над Застенчиковым. Он – под арестом. За то, что упустил шпиона.

– Хорошо, к кухне даже ходить не надо, – завидуют ему хлопцы.

– Там землянку роют специальную. Мохарь позаботился. Вам первому обживать, Застенчиков, – сказал командир взвода.

Вошел кто-то в землянку, постоял у входа, в темноте. Это Разванюша, его голос:

– Надя умерла.

Вот и остались без Надюши. Так она радовалась, когда уходили в лес, в партизаны, такая счастливая была.

Не знала, бедная, как мало ей осталось. Паша в штаб побежала сказать, что умерла, надо вынести из санчасти.

– Ничего, Анна Михайловна, плачьте, ничего. – Это кто-то из раненых говорит, разрешает. Надя все о девочках своих шептала. На лбу пот уже высох, а в ресницах что-то блестит, дрожит от света коптилки. Идут. Колесов пришел с Пашей.

– И за нее мы отомстим, товарищи. Да, да, Анна Михайловна, все понятно, сделаем что-нибудь для ее детей, придумаем.

Постоял. Просит меня:

– Выйдем на минуточку.

Никак не пойму, что он говорит. При чем тут Сырокваш, при чем тут я? Правда ли, что Сырокваш сказал: „Наш Колесов бережет себя, как знамя”. Будто в санчасти это было. Голос у Колесова дрожит от обиды: „Сам пришел, знаю, что вы, если скажете, то скажете правду”. Боже, о чем он, оставьте вы меня, ничего я не слышала, и какое мне дело! С ума сойти, ерунда какая-то!.. Взрослые люди…

IV

После разгрома Протасовичей посыпались гарнизоны помельче. Весело было представлять, как дрожат во всей округе бобики („Ну, если Протасовичи не удержались…”), как радуются люди („Взялись за этих вояк Юзиковы хлопцы…”), как забеспокоились немцы в крупных гарнизонах, видя, что не удержать им партизан в кольце полицейских деревень.

Каждый новый гарнизон громили или забирали (чаще с помощью связных) в какое-то другое время суток… Язвеничи, Лоси, Никитки… Ночью. На рассвете. Под вечер. Полицаи уже не знали, когда ждать партизан, когда бояться. Ворвались хлопцы в Лоси, а там – никого. Даже растерялись: не ловушка ли? Оказалось, что лосевские

вояки и ночевали и дневали в жите. Из Никиток уводили полицаев – ночью это было, – догоняют еще двое.

– Возьмите и нас.

Толя все еще не ходит на операции, он только рассказы слушает, а по рассказам получается здорово и даже забавно. Скорее бы самому.

В лагере сидит более сотни полицаев. Целеньких, живых. Сидят по землянкам и ждут, что с ними будет. Тех, из Протасовичей, не оставили ни одного. Но есть приказ подходить с разбором.

Полицаи сидят, сбившись, как овцы в жару. А некоторые в сторонке, с этими остальные полицаи стараются не смешиваться. Этих расстреляют определенно – самые гады.

Вначале в разговоре участвовали только партизаны: смотрят на полицаев и говорят как о мертвых, а те молчат, будто уже мертвые. Потом несмело начали отвечать:

– Заставили нас делать эту самооборону. Приехала зондеркоманда, наставили пулеметы…

– Слышали, знаем ваше „заста-авили"!.. И тебя – тоже?

Вопрос – сидящему отдельно начальнику полиции. Под глазом у него синий кровоподтек. Когда, сняв посты, вбежали в караульное, скомандовали: „Встать!" – этот потянулся к голенищу, к нагану. Молодой полицай схватил его за руку, а Фома Ефимов подскочил и – прикладом.

– Та-ак, господин начальник… В армии лейтенантом был?

Главный полицай молчит, а бывшие подчиненные хором заполняют его анкету.

В одежде знакомых партизан замечаются обновы: зеленая немецкая куртка, немецкие сапоги. А пленные полицаи одеждой становятся все более похожими на партизан. У многих вместо сапог – партизанские постолы (лапти из сыромятины). Те, что приобрели более гражданский, крестьянский вид, чувствуют себя веселее, держаться свободнее стали. Но откровенно огорчен тот, с которым поменялся одежонкой Носков: вместо черного мундира полицай получил тоже мундир, только зеленый – „добровольческий".

Щеголяет в сапогах Светозаров. Зато пухлолицый полицай – ростом ему по плечо – с комическим недоумением и даже испугом, как на чужие, посматривает на свои икры, зажатые в кожаные „полковничьи" краги.

Ну, а если эти люди останутся в отряде, будут жить с тобой в одной землянке, ходить на операции? Придется размениваться назад? Хотя вряд ли. Тот же Носков, когда пришел из „добровольцев", имел

автомат (убил немца). А теперь у него десятизарядка. Зато Половец, разведчик, который привел его в лагерь, разъезжает с автоматом. Носков не постесняется и напомнить, – Толя слышал, как он Половцу говорил про автомат. А разведчик оскалил в усмешке редкие зубы, очень удивился:

– Автомат? Твой? Не помню. Если бы помнил, а так – не помню.

А вообще у партизан принято – меняться. Как цыгане. Когда еще только пришел в лагерь, Толя чуть было не выменял кожаные краги Светозарова. Светозаров все делает, говорит как бы между прочим, попросту, хотя сам ох какой не простой! Очень подходящая и пословица у него. Чуть что:

– Я не так глуп, как кажусь в профиль.

Повел разговор про Толины сапоги и сумел так повернуть, что Толе неловко и отступать было, точно он сам затеял обмен. Оставалось по-партизански легко проделать это – махнуть „сито на решето". Толя уже начал было примерять кожаные бутылки, но в будан вошла мать. Поняла сразу.

– Что это такое? Как вам не стыдно, товарищ Светозаров?

Светозаров оскорбился, покраснел (при этом ямки от оспы на его крючконосом лице наливаются краской, а бугорки, наоборот, белеют).

– Да он сам попросил!

– Я сам, – обреченно подтвердил и Толя.

– Ерунда какая! – сказала мать.

Что и говорить, видик у него был бы в этих гетрах-крагах!

Толя все еще не ходил ни на одну из операций. То в караул пошлют, то в деревню за чем-либо отправят. Но теперь он с винтовкой – пойдет завтра, если не пошел сегодня.

... На этот раз подняли по тревоге.

– Тачанку готовьте, – приказал Вашкевич Застенчикову. Застенчиков теперь вместо ездового Бобка.

Чуть вздрагивает утренняя даль от редких взрывов, выстрелов.

– Вот и грома весеннего дождались, – говорит Шаповалов.

Прибежала из санчасти мама.

– Плащ надень, – говорит она Толе. Будто самое главное в бою – не простудиться. Толя спешит стать в строй.

Партизаны переговариваются:

– В Низке вроде.

– Достается этим „ничейным" деревенькам.

Вашкевич – в шинели, по-военному строгий – прошел вдоль строя.

– Отделение Круглика остается.

Сказал, и что-то изменилось в мире. Толя и еще восемь человек сделали два шага вперед, как было приказано.

Прибежала тетя Паша, стала рядом с Толей и его матерью. Смотрит-смотрит на своего Митю, точно поезд уходит, а она что-то не успела. Митя не замечает ее, но по тому, как капризно вздернута рассеченная еще в школе губа, можно догадаться, что не замечает нарочно. Это он умеет – не замечать, и именно вот так, капризно. Два месяца Толя в лагере, но он и Митя двух слов не сказали друг другу. И в школе Митя задавалой был, и тут тоже, как в школе, – старшеклассником себя чувствует: как же, на три месяца раньше пришел в партизаны! Стоит, смотрит на ботинки, на брюки, выутюженные тетей Пашей (в санчасти утюг есть – бинты прожаривать). Это из довоенного повелось: все знали, что у Мити нет отца, но при взгляде на Митю, аккуратного, отглаженного, каждый понимал, что у него есть мать, очень заботливая. Его и называли не по фамилии, а „Пашин". Митю это, кажется, обижало, злило.

Матери стоят рядышком, глазами очень похожие. Алексей вдруг улыбнулся маме, как бы показал улыбкой на Толю: „Видишь, как хорошо получилось".

Проводили взвод на дорогу. На этот раз командир не спрашивает, кто болен. Некогда.

В караул Толе не скоро. Он побрел по лагерю. Высокие горбы землянок, густая сетка дорожек, кое-где подводы. Людей почти не видно. Как-то странно теперь видеть лес без людей. Набрел на Молоковича. У Молоковича распухшая нога, гноится старая рана. К дереву прислонен костыль, хозяин его занят делом: скребет ножиком алюминиевую болванку, делает ложку. Несколько болванок-заготовок, еще горячих, валяются в песке.

По дорожке бежит новенькая – „Тина. В знакомом Толе синем платье, но уже в сапогах. Коса на грудь перекинута. Школьная привычка: подальше от мальчишески рук. Увидела Молоковича, Толю, повернула к ним. Интересные у нее глаза: чистые, но кажется, что в них плавают детские веснушки. И подбородок совсем по-детски округлый. Смотрит, будто здесь не ложки из сбитого самолета делают, а, наоборот, самолет из алюминиевых ложек.

– Ой, мы так испугались сегодня утром, а потом так смеялись. Маме в сапог ящерица залезла.

Надо понимать – Толиной маме. Вот уже Толя и сестренку заимел.

– Там так стреля-яют! – Удивление у Лины очень протяжное. – Когда на нашу станцию партизаны напали, бой был, я все слышала. Та-ак руга-ались!

Опять вспомнила (такое впечатление, что она снова и снова просыпается):

– Ой, я тут, а мама нас ждет. Идем.

Оказывается, она Толю разыскивала.

Пошли по дорожке к санчасти. Толя впереди. Почему-то неловко, что Лина идет сзади. Начинаешь думать – какой ты со спины. Но и пропустить ее вперед – тоже неловко. Идти рядом – дорожка не позволяет. Э, черт, почему Толя должен об этом думать! И кто она такая в конце концов! Десять дней в партизанах.

Когда прибыли три подводы, навстречу им и следом за ними шли все, кто был в лагере. Раненых снесли в санчасть. Толя помогал. Убитого положили на одеяло под деревом. Странно видеть неподвижным такого широкоплечего человека, с такими тяжелыми сильными руками, молодым лицом.

Подводы ушли. От возчиков уже знали: немцы заняли Низок, пытаются пробиться к Костричнику. У них два броневика. Бой тяжелый.

Стрельба усиливалась. Лицо матери становилось напряженнее, и она почему-то сердилась на Толю:

– Ну, что стоишь, бери, да шевелитесь вы!..

Руки ее заняты делом, а глаза все возвращаются к лицу остроносого и очень бледного партизана (он ранен в бок). Страдающими, ласковыми глазами она разговаривает с полусидящим на нарах раненым, которого перевязывает, а слова – резкие, сердитые – Толе, Лине... Лина со всех ног бросается, хотя бы два шага надо сделать, и ничуть не обижается, ей не до того, она оглушена тем, что видит, что делает. Ну, а Толе немного обидно: ведь он тоже мог быть *там,* его тоже могли привезти. И все же хорошо, что мама такая и что такую ее любят.

Привезли Вашкевича. Подводой правит Помолотень, у которого одна рука забинтована, а усы тоже побурели от засохшей крови. Вашкевич стонет. Лицо худенькое сделалось, почти детское. Уже не верится, что он – командир взвода: на возу лежит щуплый, как подросток, человек, которому очень-очень плохо.

– Его по поясу очередью... – объясняет Помолотень, перетирая пальцами свои закоревшие усы, – приказал нам с этим... Застенчиковым гнать тачанку на фланг, а Застенчиков отказался:

„Открытое поле, как куропаток...” Вашкевич сам за вожжи и погнал. Выскочили на поле, нас сразу и достали. И коней положили.

Маме Помолотень сказал:

– Видел вашего сына. Да вы оторвите! Пустяки там.

И сам рванул присохший бинт.

Никого мать не спрашивает, но почти все, кто появляется в лагере, спешат сообщить что „видели”, что „недавно”, „может, двадцать минут”. А до Низка самое малое пять километров.

Вечерело. Неуютно, тревожно становилось в лесу. Все ушли к „круглой” поляне, навстречу отряду. Толя хотел, чтобы и мать пошла, он готов был подежурить за нее при санчасти. Но его не поняли.

– Иди же, – строго и как бы обижаясь за Алексея, сказала мать. – Какие вы!..

... Паша ушла со всеми. И Толя. Надо и мне. А если они уже едут, везут: стриженая голова, бурые пятна крови?.. Всегда перед глазами тот сон. Еще дома были, только в партизаны собирались, приснилось: Алеша лежит на возу, голова острижена, в страшных пятнах... И что это вздумалось Алеше срезать волосы? Как увидела, будто ударило меня. Что это ему захотелось? Всегда так любил свой чуб, а тут – постригся. Все не могу забыть тот сон... Вот и у этого партизана, что один лежит под деревом, где-то кто-то есть. И не знают, что он лежит... Последнее время я часто вижу их – чужих матерей. Будто сижу я на вокзале, совсем-совсем старая, а Алеша, Толя совсем еще дети, и их нет возле меня. „Мы на перрон”, – и убежали. Тихо, очень тихо, поезда за окнами проносятся, странные, беззвучные. Надо позвать детей, а я не делаю этого, сижу и смотрю в окно, на перрон, на мчащиеся поезда. А ко мне подходят женщины: „Моего сына не видели? Если увидите...” И не договаривают. А я осматриваюсь, ищу сыновей, а поезда проносятся мимо пустого перрона...

V

Как всегда после боя, люди долго не ложились спать, хотя и устали. Будто понял каждый, как это много: говорить, двигаться, смеяться. В соседних буданах-землянках тихо поют. Разванюша взял гармошку, оставшуюся от Пархимчика – убитого в Протасовичах парня, – и стал тихонько подыгрывать поющим: „Ле-етя-ят у-утки...”

– Вашкевич любил песню эту, – сказал Головченя и быстро поправился: – Любит.

Казалось, все посмотрели на Застенчикова, а у Застенчикова вид испуганно-сердитый, жалкий.

Когда кончили „Вашкевича песню”, Носков неожиданно потребовал:

– Саратовские.

– Да ну тебя, Николай, – возмутился Сергей Коренной, – танцы давай открой.

А Носков уже завладел Разванюшей: стоит перед ним, будто отгораживая от всех. А Разванюше все равно: припевки так припевки.

Носков слушает, сегодня для него и припевки – протяжное, грустное. Это же его Волга. Смотрит на всех и вроде просит: „Ну, хлопцы, хорошо ведь!”

Толя уже знает, что здесь у каждого своя песня. И другие помнят – чья какая. До войны, бывало, грибники-пацаны высвистывали каждый свою мелодию: „Сулико”, или „Три танкиста”, или „Кирпичики” – это чтобы не аукаться и знать, где кто. Вот так и здесь – у каждого своя.

– Хлопцы, – вспоминает Молокович, – Жорка-десятник все пел: „Не для меня придет весна...”

Поют, и будто ты в чем-то виноват, и печаль в тебе оттого, что не знал любившего эту песню человека и он не знал тебя.

А потом – Зарубина песню. Про сибирскую даль, про партизанскую старушку. Когда за стенами ночь, когда вот так подрагивает огонек коптилки, а рядом столько людей, и у каждого своя песня, и ее поют все – на душе печально и так хорошо. Вот и дневальный открыл дверь, заглянул в землянку:

– Хорошо, хлопцы.

Стоит, держит дверь приоткрытой, сам слушает и, видимо, хочет, чтобы соседям было слышно. И все это заметили.

– Фомушка, давай „Ревела буря”.

Густой бас Ефимова – будто специально для этой песни. Песне в землянке тесно: слышно, что и соседи подхватили ее.

– Хорошо, хлопцы, – опять говорит дневальный.

Толя лежит за спинами поющих, счастливый, что он здесь, но ему и грустно, что он не там и, может быть, никогда не побывает там, откуда пришли песни, куда уносят песни.

И чем больше поют, тем печальнее голоса, строже.

Наши хаты сожгли,
Наши семьи ушли,
Только ветер в развалинах воет...

Кончили песню и вдруг услышали – как продолжение ее – далекие голоса, поднимающиеся навстречу.

– Пластинку крутят, – попытался кто-то очень просто объяснить чудо.

Но никто не пошевелился. Каждый будто в самого себя вслушивается, в себе слышит эти издали приходящие звуки.

А Толе кажется, что он и видит… Блеклую неподвижность неба, голубое колыхание моря. И угольно-черные очертания холмов, из-за которых встает солнце. Голоса людей – оттуда, из-за холмов. Они уже на черных холмах – черные в утреннем свете люди. Спускаются к морю. И несут своих мертвых, тех, что не дошли, тех, кого потеряли. Несут с собой все, что потеряли в пути…

– „Грозы” называется, – пояснил сидящий над коптилкой Головченя.

– Эх ты, братка белорус! – засмеялся Светозаров. – Не „Грозы”, а „Грезы”. Шумана.

– Немец? – удивился и точно обиделся Молокович.

– Это тут уже ни при чем, – голос Коренного.

VI

Сегодня Толя идет на боевую операцию. Все повторилось: первое построение возле землянки, потом – на „круглой” поляне („Кто болен? Ножки, животик…”), серьезные или нервно веселые лица. Но все это уже имеет прямое отношение к Толе. Такое ощущение, что его все больше сносит в сторону от тех, кто остается в лагере, кто не пойдет. Пока можно видеть, Толя старается смотреть на всех, кто остается, на маму. Зато Алексей хоть бы оглянулся!

Долго шли по застланным кружевными тенями лесным дорогам, по просекам. Потом лежали, дожидаясь вечера, снова шли и снова усаживались на холодную землю. Ужинали из карманов: хлеб, мясо. Кто-то там впереди знает, куда и как. Толю распирает тревожное и гордое чувство.

Вот они – идущие в бой партизаны. Правда, в его мечтаниях о партизанах не было таких вот Застенчиковых. И сегодня этот тип пробовал стонать („Сапоги расползлись…”).

– Менш! – заорал на него Баранчик. – У меня босиком побежишь.

Баранчик теперь командир. Вместо Вашкевича, которого отправили на аэродром. Как-то по-другому стало во взводе: больше веселой бестолковщины, крика, мата. Носкову это, например, нравится. Да и вправду неплохо, если бы Толя не видел, что мать смотрит на Баранчика с каким-то задавленным ужасом. Реже стала появляться в землянке, с Баранчиком разговаривает хотя и уважительно, но каким-то особым голосом, как с больным. А тут еще

проклятый велосипед! Он все еще валяется под нарами, тускло поблескивая никелем. Баранчик, конечно, помнит. Или не помнит. Он и злой – не злой, и добрый – не добрый. Орет, а поглядишь в круглые глаза и не разберешь: всерьез или из любви к крепкому словцу.

На одном из привалов комиссар Петровский коротко объяснил:

– Идем громить Секеричи. Хочу предупредить: некоторые забывают, что в полицейском гарнизоне не одни полицаи. Обижают людей. Предупреждаю. Можно брать только военное обмундирование.

Узкое, с высоко поднятыми скулами, белесое лицо Петровского не обещает снисхождения.

Взводы поднимались, уходили. Остался лишь третий и взвод Царского.

– Подъем! Менш! – командует Баранчик весело-злым голосом.

Впереди басит Царский. Шли в зябкой темноте по лесным дорогам, выходили на опушки и снова уходили в темноту. Кажется, никто не говорит об этом, но, как холод, ощущаешь: гарнизон остался справа.

Вышли из ночного леса под открытое небо. Под ногами широкая, растертая колесами и гусеницами дорога. На таких дорогах Толя не бывал давно. Чувствуешь: ты на пути у кого-то сильного, беспощадно злого. Неуютно и тревожно. Никто не ложится отдыхать. Царский увел своих дальше.

Беспокойно кутаясь в плащ, Застенчиков шепчет нервно, убежденно:

– Во как гусеницами походили. Побегут из деревни – на нас. На подмогу двинутся – на нас. Начальству что – сунули в мышеловку, и сиди.

– Остальные тоже не на танцульки отправились, – говорит помкомвзвода Круглик, растягивая слова. А Застенчиков все про то, как неудачно, как скверно должно получиться. И его слушают, хотя в других условиях слушать не стали бы. Стоят, топчутся на растертой танками дороге, а Толя уже понимает, что он пошел на операцию самую неудачную.

– Ладно, – глухо басит Ефимов, – попали в хорошее место, так воюйте.

Кто присел, кто прилег – одни прямо на дороге, другие – поближе к кустикам. И сразу сделалось спокойнее и как-то даже теплее.

Подступало утро. На небо точно изморозь легла. И уже можешь рассмотреть сосенки, которые всю ночь были твоими невидимыми соседями. Все такое бледное, серое – и лица людей тоже. Партизаны сидят, лежат среди кустов, каждый себе окопчик делает, без

уверенности, что это надо. По всему заметно: что-то сделано не так, и потому обязательно случится непоправимое. И самое обидное: никому нет дела до того, что ты мог и не идти, что сам напросился. Не пошел бы – и не заметили бы так же, как никто не замечает тебя сейчас. И брат здесь, оба на этой разъезженной танками дороге…

Надо углубить окопчик. Толя ковыряет землю палкой, шомполом, рвет руками тонкие, растягивающиеся и неподдающиеся корни. Странно, но это как-то отгораживает от всего, что есть в мире, даже от того, что случится, когда появятся немцы. Надорвал ноготь, и хотя это пустяк перед тем, что должно скоро произойти, не можешь не думать про боль в пальце…

Справа лес. Он закрывает близкую деревню. Слышен лай дворняжки. Знали бы там, в деревне, сколько людей слышат этот лай!

Зябко завернувшись в немецкую шинель, лежит Носков. Дальше, как веселый птенец из гнезда – вот-вот вывалится, – выглядывает из окопчика Разванюша. Ему скучно лежать, дожидаться. Слева от Толи – Митя „Пашин". Подстелил сосновые веточки, но все равно ворочается с боку на бок, стряхивает с брюк песок. Толя заставил себя улыбнуться Мите. Но тот больше интересуется соседями слева: там бородатый Головченя и Савось. Пухлое безбровое лицо недавнего полицая Савося, которого сделали „вторым номером", послушно повернуто в сторону Головчени.

– Ближе, ближе к пулемету, – шепот Головчени, – к девке небось умеешь. Чтобы держал диск наготове. Это тебе не на печке отлеживаться. Много в тебе, брат, этой мякины.

Алексея Толя не видит – он где-то на самом фланге. И то хорошо, что не рядом.

Теперь, когда взвод раскинулся в цепь, когда ты знаешь свое место – спокойнее на душе. И хотя не ушло ощущение, что не так что-то сделано, не учтено что-то, – успокаивает уже то, что от тебя требуется самое простое: лежать и стрелять, стрелять. Сосенки неподвижны, а одна веточка так колышется, будто оторваться, улететь хочет. Толя протянул руку к ней, словно к живой, и ладонью ощутил холодный сквознячок.

Выстрел! Близкий, за лесом. Потом Толю всегда поражал этот первый выстрел, которым начинается всякий бой. Самый оглушительный, неожиданный, пугающий, веселый. Застучало: настойчиво, испуганно, зло. Отсчитала секунды десятизарядка, бешено заспешил пулемет. Кто-то мелкой дробью сыпнул по жести – автоматы. И все это встряхивается тяжелыми взрывами: а-ах! а-ах!

Но что это? Слева на горке, куда увел своих Царский, кто-то отчаянно машет руками. Слышно, как клацнул взведенный пулемет. Тихонько отвел затвор винтовки и Толя. Золотисто-желтый патрон с готовностью поднялся из магазина и пошел вперед, в ствол.

Но где они, те, что несут с собой смерть, и в кого будешь стрелять? Стрелять, пока что-то случится... Ага, вот что не учли, вот оно, таившее в себе опасность! Справа овраг, заросший соснячком. Они уже здесь, в овраге. Царскому издали видно, а Толя не видит. Будут потом рассказывать, как однажды говорили про чью-то неудачную засаду: „Слишком близко подпустили, забросали власовцы гранатами".

Оглянувшись на треск, Толя вдруг увидел Баранчика. Пробирается меж кустов, согнувшись, глаза испуганно уперлись во что-то. Должно быть, ему нужно на другой фланг, но его будто течением сносит в сторону от засады. Ошеломило Толю не то, что у командира вид человека испуганно убегающего, а то, что человек может подняться, ловчить, тогда как Толю будто присосало к земле. Самос большое, на что он сейчас способен, – это выстрелить. Несколько раз выстрелить. Окопчик такой неглубокий, Толя ощущает, как торчит над землей его спина, она словно набухла, поднялась, как тесто над дежой, ее уже видят те, что подходят и кого все еще не видит Толя.

Вот они! Какими страшными кажутся люди, когда они идут убивать тебя, когда ты спешишь убить их! Голова... Еще одна. Странно колышутся над краем оврага. Черные шапки, белые пятна лиц все поднимаются над оврагом. Уже плечи видны. Толя никак не может остановиться, решить, в какую голову выстрелить. Переводит винтовку с одного бело-черного пятна на другое. Все затихло, весь мир замер, тупо ждет того мгновения, когда Толя выстрелит. Только бы эти, поднимающиеся над оврагом, не услышали грохочущий поток, который Толя слышит в себе. И не увидели бы Толину спину, которая взбухла над окопчиком. Услышат, заметят, вздрогнут – Толя тотчас выстрелит.

Но что это? Спокойно поднимается Круглик, лениво большой. Стоит и ждет. Страшное преобразилось в очень простое, обычное. Глядя на двух колхозников, на черные меховые шапки, желтые тулупы, Толя с ужасом сознает, как близок он был к тому, чтобы убить их.

Толю поразила (потом всегда его удивлявшая) слепота, с какой человек приближается к засаде. Неужели и ты вот так же будешь подходить, не слыша сковавшей весь мир страшной тишины?..

– Идите сюда, – говорит Круглик, как знакомым.

Дядьки нерешительно подошли.

– Кто такие? – подлетел Баранчик. Глаза круглые, свирепые.

Дядьки, перебивая друг друга, объясняют:

– Мы не из Секерич, хай их холера… В лесу ховаемся, коров держим там…

Дядьки растерянно замолчали. Виновато улыбаются.

– Полицейские коровы? – спросил из окопа Светозаров.

– Ды што вы, хлопчики? От немцев угнали. В лес же…

За лесом стрельба опала, а скоро и совсем стихла. Засада ждала. И тут увидели: Авдеенко бежит. Один. Если кого из партизан Толя не любил, так это Авдеенку. Особенно не любил, когда сидел без винтовки. В наглых глазах, в крепких, как антоновка, щеках, в широкой, уверенной походке молодого парня Толе виделось презрение к таким, как он, – „маменькиным". А какой Толя „маменькин" – просто ему не давали быть таким, каким он хочет быть. Но это прежде, а теперь – не то. И если бы Авдеенко посмотрел на Толю, в ответ он получил бы вполне дружескую улыбку. Но Авдеенко не считает нужным заметить, что Толя здесь. Передал приказ сниматься.

Оказывается, про взвод не забыли.

Через лес почти бежали. Хотелось побыстрее проскочить деревню: она все еще таила в себе, притягивала опасность. Но не бежать же через разгромленный гарнизон.

В конце улицы на огороде дымятся развороченные дзоты. Остальное – как в обычной деревне: крытые соломой или дранкой хаты, заплывшая холодной грязью улица, белеющие в окнах лица – встревоженные, радостные, испуганные, непонятные. Вот он, мир, в котором еще недавно жил Толя. Но теперь и Толя на этот мир смотрит со стороны, с отчуждением, с любопытством. Он знает, что люди в окнах – не полицаи. И сам он, если бы ворвались в Лесную Селибу партизаны, смотрел бы на них вот так. Все это он понимает. Но он идет через разгромленный гарнизон, ему некогда разбираться, кто тут такой. Почему-то даже приятно, что люди смотрят на тебя с тревогой, даже с опаской: сам себе начинаешь казаться грозным. Из калитки несмело вышел подросток. Руки длинно торчат из обтрепанных рукавов пиджака. Знакомое что-то… Тот самый, с ним, *с таким,* любит Толя поразговаривать мысленно, один на один. Живет в гарнизоне, читает книги, люто ненавидит бобиков и немцев, мечтает о партизанах, как Толя когда-то мечтал, и спит на белых простынях. Вон как смотрит!

– Здравствуй, – сказал вдруг Толя. Почти непроизвольно. Парень быстренько, счастливым шепотом ответил и сделал несколько шагов вслед. Но партизанам некогда, они сделали свое дело и уходят.

Полицаи убежали. А может, их зацапали. Одного только и увидели. В грязном белье, бородой в землю. Рядом портянки валяются, пятнистые, ржавые.

Гарнизон, который снова стал просто деревней, остался позади. Интересно, а как смотрели на окна, на лица в окнах Царский и Коренной, которые никогда не жили в гарнизоне? Толя жил, но и ему порой начинает казаться, что *настоящие свои* – это те, кто рядом с тобой, а другие – еще поглядеть надо. Ну, а когда придут наши, им-то ведь совсем не легко будет понять, *как можно было жить в гарнизоне,* и вообще рядом с оккупантом. Неужели так и должно быть: преступление обижать проверенных (они свои) и не очень грешно тех, кого не знаешь? В „своих" деревнях никто не осмелится „шурудить", а тем более хвастаться этим. А про то, как „бомбили" деревню, что в двух километрах от города, хлопцы недавно рассказывали не стесняясь, с веселыми подробностями. Правда, потом так же весело провожали „моряка" на неожиданную операцию: комиссар Петровский приказал Зарубину отнести бабе полотно.

– На портянки, товарищ комиссар, – оправдывался искренне обиженный „моряк". – Не себе же, зачем мне столько! Спросите, всех наделил. А это – что осталось.

Петровский не пожалел „моряка".

– Неси, что осталось. И без расписки на глаза не являйся. Не вздумай схитрить – плохо будет. Ну, попросил бы на одну, на две пары. На весь год, на всю семью баба наткала, а он, мститель народный, явился! Даю два дня. Все.

У „моряка" вид был пренаивный и свирепый. В своей бы зоне – понятно, а то ведь в „немецкой"!

В лагерь Толя вошел как настоящий партизан. Хочется толкаться среди веселых говорунов, смеяться вместо со всеми. В землянке сбросил сапоги и лег на мягкое, но уже не очень чистое одеяло. Сладко горят ноги. Какие у всех сегодня приветливые, добрые, красивые лица. Скоро придет мама, присядет, тихо скажет что-нибудь. Она встречала отряд на поляне, прошла несколько шагов рядом.

Вот она спускается в землянку. С котелком в руке. Ну и что тут такого – принесла так принесла. Ведь Толя вернулся из боя. Но Алексей орет как очумелый:

– Эй, солдат, кашку принесли!

– Ну зачем ты, он же устал, – улыбается мать.

– А насморка у него нет?
– Заткнись! – советует Толя.
– Ну что вы, детки…
В дверь заглянул помкомвзвода Круглик.
– Кто бы коня отвел на поляну?
Раньше он прямо к Толе обращался. А теперь ко всем.
– Я схожу! – радостно вскочил Толя.

VII

Сон, тревожный, вязкий, казалось, все еще продолжается. В узком проходе землянки толкутся люди. Слепо ударяясь в закрывающуюся дверь и не давая ей закрыться, партизаны выскакивают наружу. По глазам матери Толя понял, что вот сейчас выбежал Алексей. Ни слова никто не говорит, но в землянке будто все еще висит жесткий крик, который разбудил и Толю:

– В ружье!

Мать, босая, стоит на песке, держит в руках Толины сапоги.

– Вот – твои.

Толя надел их, не навертывая портянок.

– Где твоя винтовка?

Мать спрашивает, хотя и видит, что сын потянулся к столбу, где висит короткий норвежский карабин. Она точно виноватой себя чувствует: *вот оно – пришло, подступило, и она ничего уже не может сделать!*

А ничего и не надо. Подсумки на поясе. Ага, кепка – теперь все. Толя взбежал по ступенькам и, толкнув дверь, как из самолета, выбросился на свет.

Куда-то бегут партизаны. Припав к лошадиным шеям, пронеслись меж сосен разведчики. Кажется, что тонкие, стройные сосны одна за другую забегают – все пришло в движение.

Сырокваш появился:

– Станкач давай к посту, Баранчик!

Командир взвода, до этого лишь прожигавший взглядом тех, кто запоздало выскакивал из землянки, закричал (и, как всегда, одного языка ему мало):

– Что стоите? Менш, холяра! Помогай пулеметчику… вот ты.

Это – Алексею. Всегда он подсунется!

Толя побежал вперед, следом за Сыроквашем. Начальник штаба в армейской гимнастерке, руки на автомате. В людях, что бегут за Сыроквашем, – ни особенной тревоги, ни азарта – просто утренняя бодрость. Будто к реке бегут, предвкушая, как вода холодом обожжет

разогретые тела. Далекие редкие выстрелы только обостряют это утреннее чувство.

Толя не удивится, если скажут, что это лишь учебная тревога.

Возле поста залегли. Впереди поляна, она вся словно перепахана. Меж черных выворотней, пней, кочек ощупью ползет дорога.

Легли на землю, и сразу надвинулось то, навстречу чему бежали.

Начало боя Толе так и представлялось: затихло все, он лежит, спокойно прижимаясь щекой к холодному прикладу винтовки. Но если бы спокойно! Немцев с земли не увидишь, пенек гнилой, пуля пронижет его, как бумагу… Все кажется не таким, как надо бы.

А тут еще брат рядом пристраивается. И нужно же было Алексею как раз прийти в лагерь. Сердито, с беспокойством посматривает Толя влево. Усатый пулеметчик Помолотень циркулем раскинул длинные ноги и, приподнявшись как морж, примеривается. Алексей, лежа на боку, поправляет пулеметную ленту. Голова у брата стриженая и оттого кажется особенно открытой. Хотя бы за щит ее прятал, а то вот так и будет сбоку держать – словно нарочно. В сторону Толи не смотрит, но на лице неудовольствие, вон какую гармошку на лбу собрал. Можно подумать, что это Толя нарушил молчаливый уговор – пореже бывать вместе. Считает, что именно младший здесь лишний. Но ведь сам хотел, чтобы Толя был здесь, возле лагеря. Ходишь на свою „железку”, мог бы и посидеть там лишний денек!

Снова поднимаются на ноги партизаны. И сразу опасность отступила туда, где глухо, редко постреливают.

– Человек двадцать со мной. Станковые пулеметы и кто при них – остаются, – говорит начальник штаба.

Алексей остается – Толя вскочил. Неприятно это – глаза начальства: будто взвешивают тебя. На всякий случай Толя спрятался за чью-то спину.

Черная поляна осталась позади. Теперь шли по сухой, уводящей вдаль просеке. Сырокваш остановился. И все стоят, как шли, – гуськом. Здесь к просеке привязаны две дороги. Та, что по правую руку, – из Лядов, слева – из Костричника. Выпуклые глаза Сырокваша снова задержались на Толе.

Толя испуганно покраснел, стал рассматривать затвор своей винтовки.

– Останешься здесь. Смотри за этой дорогой. Немцы в Лядах.

Все уходят. Будто втягивает их тенистая просека. Замыкающим – толстый Савось. Винтовка, сумка с запасными дисками к

„Дегтяреву” сползают с плеча. Савось дергается, поправляя их. Его, вчерашнего полицая, Сырокваш взял, а Толя торчи тут как пень.

Стал под дубом так, чтобы видеть лядовскую дорогу, сразу выныривающую из кустов. Ему поручили смотреть, и он смотрит, хотя понимает, что это просто так. От него отделались, вспомнили, что в лагере – мама. А сами будут впереди поджидать немцев.

Солнце уже поднялось. Острые лучи пронизывают кроны деревьев, наверно, достают до утренних холодных перышек птиц, пропикают в пушок, добираются до тепленькой кожицы. Не оттого ли так возбуждены, так вспархивают желтоглазые пеночки, так. звонко и тревожно тэк-террекают рыжегрудые зорянки. На суку зазеленевшей березы пристроилась сойка, все вертится, вертится. Будто показывает: „А вот еще какой цвет у меня есть, голубой, белый и вот еще какой!” Здесь на солнышке и запахи сильнее: молодой папоротник, черемуха.

Шест-надцать лет – звучит! А потом семнадцать, а там война окончится, и для Толи начнется то, что приходит к человеку, когда он – взрослый. Вчера, когда укладывались спать, мать сказала Алексею:

– Пришел как раз к именинам. Завтра нашему Толе шестнадцать.

– Малеча, – посочувствовал старший брат.

По-особенному уютно было вчера в углу землянки.

Маленькая – в ладонь – тучка одиноко белеет в солнечном голубом небе, спешит, словно от своих отбилась. А вот и заплакала бедняжка, да такими тяжелыми каплями. Неожиданный дождь торопливо обстукивает листья берез и осин, будто ищет самый нужный. Капли стучат по Толиной кепке, по плечам. Рукава серого пиджака пятнисто потемнели. Дуб в мае – совсем ненадежное укрытие от дождя, да и не хочется от такого прятаться. На ложе толстенького норвежского карабина жирно заблестели медные шарики, словно самим солнцем разбрызганные. Толя взвел глухой, совсем как чугунный, затвор. Подумал и загнал патрон в патронник. И сразу внимательней стал прислушиваться к далеким выстрелам. Дождь прошел, а там по-прежнему стреляют, но уже кажется, что забавляется кто-то: бя-х, бя-х!

Со стороны лагеря идут несколько партизан. Ведет их Мохарь. Он в военном кителе, в диагоналевых галифе, крепкие мужские складки на квадратном лице выбриты до синевы. С новеньким автоматом и с неизменным планшетом, свисающим почти к каблукам. Странные у этого человека глаза: очень спокойные, даже холодные, но такие прилипчивые. Бакенщиков как-то сказал:

„профессиональные”. Видимо, надо сознавать, что ты не просто человек, а и еще кто-то, чтобы смотреть на людей так, как Мохарь. Смотрит, будто страницы листает, не спеша, поплевывая на пальцы. И ты невольно подставляешь себя этим глазам и сам начинаешь заглядывать в самого себя.

Человек этот настолько уверен в своем праве и даже обязанности засматривать в тебя, читать тебя, как книгу, что и ты охотно соглашаешься: да, именно он имеет право, и это очень хорошо. Ты ведь знаешь: в тебе все на месте, как должно быть, ты – свой. И верится, что Мохарю только это и надо, что он это видит, что это его тоже радует.

Среди партизан, которых ведет Мохарь, Митя „Пашин”. Остальных Толя знает только в лицо.

– Где стреляют? – спросил Мохарь.

Толя хотел показать в сторону Лядов, но тут глухо протатакал пулемет в другой стороне. Хлопцы пошли по дороге на Костричник. Митя „Пашин”, стройный в своем синем костюме, идет позади всех. Внимательно смотрит на носки ботинок.

Мохарь остался под дубом. Толя рад ему. Вдвоем приятнее. Чтобы не скучно было человеку, Толя сказал:

– Погодка сегодня.

Лицо человека улыбнулось. Толя понял, что никакого отношения к нему, к его словам, к его существованию улыбка эта не имеет, но все-таки веселее, когда рядом с тобой улыбающийся человек. И вдруг!.. Совсем близко, там, куда только что ушли пятеро, длинно запела автоматная очередь. Наш строчит торопливее. Да и не было ни у кого из пятерых автомата. Неужели? Не должно, не может быть!.. Глядя на что-то, что еще не видно, Мохарь боком-боком отходит к кустам. Толя тоже отбежал и стал лицом к костричницкои дороге, на которую до этого не обращал внимания. Теперь Толя увидел, что она верткая, хитрая, а близкий поворот прячет что-то.

– Это немецкий? – торопливо спросил он, готовый верить, подчиняться человеку в военном кителе. А тот поглядел на Толю и ничего не ответил. И сделал то, что потрясло не менее, чем близкая автоматная очередь: повернулся и побежал, исчез в кустах.

Теперь Толя совсем поверил, что немцы здесь, рядом. Взялся за затвор, как делал не раз, рисуя себе начало боя. Вспомнил, что винтовка уже заряжена. Он знал, что человек, которого поставили на пост, не должен уходить. Но что будет дальше, он не знал.

Откуда это? Кто эта мужеподобная грузная баба, вдруг оказавшаяся прямо перед глазами? Не видит его, и это странно,

жутковато и немного смешно. Представляя, как она испугается, Толя из-за куста окликнул:

– Ты откуда, тетка?

Ужас, скомкавший рыхлое лицо женщины, медленно выдавливающий белые глаза, что-то подсказал Толе. Он поспешно глянул чуть в сторону, и старуха перестала для него существовать. Теперь он ничего не видел, ничего не было, кроме тех, что выходили из-за поворота и шли к просеке, прямо на Толю. Глаза прикипели к кожаной куртке идущего впереди, задних Толя видит как зеленые пятна – их становится все больше. И тут он обрадовался, жадно, поспешно: да это же Максим, ну да – повар. Смуглое красивое лицо! У Максима глаза голубые-голубые, вот подойдет ближе, и станет видно, что – голубые.

Толя не старался, не хотел додумать: почему повар Максим, почему с немецким автоматом, которого у него никогда не было, почему он в какой-то тужурке, кто те – зеленые? Случайное сходство заслонило все, потому что все другое было смерть, конец…

Сколько раз Толя рисовал себя в бою, еще минуту назад ждал, что вот покажутся и он будет что-то делать. И, может быть, делал бы, а не стоял остолбенело, поджидая свою смерть, если бы она шла по лядовской дороге, когда бы не так знаком был человек в черной тужурке… Толя вот-вот убедится, что глаза у него голубые, он уже почти видит их. Обрадованно потянулся из-за куста навстречу, спеша убедиться…

Горой рухнула на него автоматная очередь, отшвырнула, бросила на землю. Грохнулся, – показалось, что весь загудел, как металлическая труба.

– Айн менш!.. Цурюк!..

… Толя лежал в глубокой-глубокой яме, крик немца, стрельба еле-еле доходили до него. Тупая, безразличная, опасная мысль завладела им: „Я ранен, вначале человек боли не ощущает, я упал далеко от просеки, в яму, меня тут не найдут”.

Хотелось еще глубже погрузиться в это оцепенение…

… О боже, это правда. Они что-то говорят, говорят, Лина плачет. Зачем они, если я все знаю? Почему я здесь, почему слушаю их, когда моего Толю убили?.. Я хотела ему сказать, подала сапоги и хотела сказать. Могла сказать. Что я хотела сказать? Почему я не сказала, боже, почему я ничего не сделала! Тогда я могла, теперь ничего невозможно, никогда… Его убили… Его бьют, мучают, убивают, он один среди чужих, взрослых!.. О чем это я? Что это я? Такая глупая – надо же, надумалась… Такое приснилось! Вот я сейчас

проснусь, и будет другое. Как хорошо, что это только во сне. Помогите мне проснуться, прошу вас, я сама не могу, а здесь так темно. И Паша – такая чудная! Думает, что Митю убили. Такой страшный у нее голос, у доброй ласковой Паши! Гладит маленькие синие пятнышки на виске у сына и думает, что это пули. Какой он большой, ее Митя, теперь, когда на земле. Пашенька, не надо, это мне снится, вот встану, и ничего не будет. Алеша что-то говорит… Да я не плачу, сынок, я знаю… Кому воды, кому плохо? Какой Анне Михайловне? Я сейчас, помогите мне проснуться…

… Собака лаяла все громче. Там, где осталось все: лес, дорога, солнце. Будто спящего толкнули – глаза стали видеть. Это его рука? Как мертвая на траве. За это срубленное деревце он зацепился. Зачем он об этом думает? *Неужели это он, Толя, лежит здесь?* Спиной, точно обнажившейся, он уже чувствовал направленный на него автомат. Пополз. Хвоя, ветки сыплются на голову. Так это он ползет, он! Все еще не веря, что не ранен, что сможет подняться, бежать, поднялся и побежал. И тогда только поверил: живой! И сразу вспомнил – винтовка! Она отлетела куда-то, когда распластался на земле. Он был уверен, что – конец, смерть, потому и не подумал о ней. Теперь, когда все вернулось, главным стало это – винтовка. Без нее не все вернулось. Толя остановился.

Ведь он упал далеко от просеки, очень далеко, голоса были еле слышны. Подползти, взять. Сделал несколько шагов навстречу крикам, стрельбе. И опять лай овчарки. Он понял: не подкрадешься. Повернулся и побежал. Страха уже не было, была тоска. Винтовка, как же так, винтовку бросил! Об этом он теперь только и думал, но бежал. Перейдет большую сухую поляну – „земляничной" ее называют, – потом сторонкой в лагерь, туда, где остались станковые пулеметы, где партизаны, где Алексей. Пусть что угодно, только не быть одному, совсем одному…

Солнечно проблеснула поляна. Шага три до нее оставалось, когда совсем рядом вдруг взвыли пулеметы, затрещали автоматы. Толя упал, но сразу понял: это не по нему, кто-то другой налетел на засаду. Немцы уже и здесь.

И он побежал назад. Вот-вот с овчарками пойдут. Кустарник будут прочесывать. А у Толи даже гранаты нет, даже кинжала. Он уже не о том думал, как будет отбиваться от немцев, убивать: слишком беспомощным он себе казался. Но хотя бы овчарке не дался, живым не схватили бы. Это самое страшное: один, а рядом они, молча тебя рассматривают, и ты знаешь, что они могут с тобой все сделать. И сделают (… Глаз нет, на месте их мелкой рябью дрожат два живые

озерца крови – всего лишь три дня назад видел это Толя: везли отбитого у карателей партизана).

Толя сидел на корточках, чтобы его не сразу увидели и чтобы можно было, быстро вскочив, бежать. Немцы от внезапности застрочат. И убьют. Только бы не схватили живым. Все было рассчитано, и это как бы успокаивало. Лес кипел от грохота, от гулкого эха – бой, немцы, все настоящее, но и в эту минуту Толя словно играл в войну, хотя все в нем было сжато до предела. Посмотрел вверх... В книгах всегда так: смотрят на небо, прощаются. Он с беспредельной тоской сознавал, что действительно в последний раз видит, думает, боится. Но он сам замечая какую-то игру в том, что и как делал, как думал. И оттого, что делал что-то не свое, вычитанное, сама близкая смерть начинала казаться чуть-чуть придуманной. Как это может быть: его убьют, а здесь же – в полукилометре отсюда – мама!

Пиджак намок от капель, рассыпанных маленькой тучкой. Белая тучка и теперь, как парус, где-то плывет по спокойному небу, будто и не произошло за эти минуты ничего, будто и не переменилось все так страшно. Химический карандаш, которым Толя когда-то хотел писать стихи, размок и окрасил пиджак. Пройдет каких-то пять или десять минут, и серый пиджак будет вот так же окрашен кровью, *его кровью.* Надо бумажник спрятать, а то будут разглядывать фотографии. Вот эту: мама стоит над сидящими рядышком Алексеем и Толей, а на них новые белые в горошек рубахи. Присмотришься – заметно, что мама чуть-чуть улыбается черными от помады губами. Толя будет лежать в темном от крови пиджаке, а те будут смотреть, как улыбается мама.

Присыпал бумажник сухой хвоей, песком, не переставая вслушиваться, оглядываться. Приподнялся и заломил сосенку. Зачем? Его же убьют, зачем ему этот знак? Но сосенка уже сломана, и опять просыпается ощущение, что все не так и серьезно.

Нет, слишком это просто, обидно просто: убьют, и ничего не будет. И того, что было, не будет, и главное – что могло прийти, – тоже. Им, взрослым, все уже известно, у них все было, а как они хотят жить! Толю это удивляет, он их даже слегка презирает за это. А тут ничего, ничего еще!.. Эти взрослые все берут по-царски просто, даже не верилось, что когда-нибудь и ты сможешь так. Вот тогда... Разванюша пришел в гражданский лагерь, повертелся и пропал. И все сделали вид, что ничего не заметили. Только сухонькая мать Разванюши, забывшись, спросила: „Где Фроська задевалась, вот бес девка!", да и запнулась, а батька выразительно хмыкнул. Когда появились они – подчеркнуто серьезный Разванюша и чуть

смущенная огнисто-рыжая жена его, – Толя смотрел на них, как на богов каких-то. Из всех присутствовавших покраснел, кажется, он один. „Неужто *было,* неужто правда?” – верил и не верил он. Разванюша и смущенно игривая грудастая Фроська показались ему в тот миг такими красивыми, он был просто раздавлен их превосходством.

Краснел, дурак, даже за других. А убьют, и будет все равно. Если бы случилось невозможное и он остался жить, он стал бы другим, совсем другим. Будто с большой высоты посмотрел Толя на землю и поразился, каким незначительным видится то, перед чем всегда сам выглядел маленьким. Вот убьют сейчас, и какая разница, что о тебе думали другие, каким выглядел в их глазах. А он-то всегда так мучился...

Над затихающей пальбой повисло вдруг ровное, зловещее гуденье. Танки, идут немецкие танки! А там, в лагере, – мама! Нет, нет, она выехала, раненых должны были вывезти! Должны же! А возле станкового пулемета – стриженая голова, такая беззащитная...

... Немец кричит, кричит, и – „га-ах!”, „га-ах!”. Мины или гранаты рвутся. Потом стрельба стала затихать, как внезапно иссякнувший поток. Только далекое: „па-к”, „па-к”... Пристреливают раненых! Лес прочесывают! Далеко залаяла и взвизгнула собака. Если бы можно было дождаться ночи. Но нет, они рядом – найдут. И если даже не сразу найдут, продвинутся еще дальше, а свои, партизаны, уйдут, и ты останешься один, совсем один. Еще утром Толя не допускал и мысли, что немцы могут вломиться в ту прочную, спокойную жизнь, какой представлялась ему жизнь партизанского лагеря, партизанской зоны. Теперь, ощущая свою беспомощность, он не верил, что где-то кто-то остановит начавшееся наступление немцев. Нет, не то что не верил: он просто уже *видел,* как все дальше и дальше продвигаются они, для него это уже совершилось. Но надо идти, попробовать обогнать их. Неужели есть на земле место, где их нет? А люди там понимают, какое это счастье, когда тебя не травят собаками, не ищут, чтобы убить?

Бумажник с фотографиями Толя снова положил в карман. Вместе с набившейся в него хвойной трухой. И снова пошел в сторону „земляничной” поляны. Засада, может быть, и теперь там. Будешь пробираться кустами – и прямо к ним в руки. Только не это! Постоял, глядя на залитую спокойным дневным солнцем поляну, и вдруг рванулся к ней, открытой всем смертям. Сейчас, вот сейчас!.. Услышит стрельбу или – сразу?

Казалось, эхо от грохота в висках, в голове разносится по лесу. Середина поляны – Толя остановился. А если он прямо на них бежит? Злобно ухмыляясь, смотрят на него из кустов, поджидают. Пот облил, казалось, самое сердце – так захолодело внутри. Стоял на открытой поляне, боясь леса. Стреляйте же, стреляйте, собакари проклятые, собакари, собакари!.. А те ждут. Толя так ясно видел их, злобно поджидающих, ухмылки на их лицах, их холодные глаза... И он сделался вдруг хитрый-хитрый: рванулся в сторону, *где их нет.* Спохватятся, сейчас спохватятся... Ударился всем телом, закрытыми глазами о колючие в податливые лапки елочек, пробежал в глубь леса. И даже не испытал облегчения. То свирепое, беспощадное, что поджидает его, лишь передвинулось вперед, и он должен идти ему навстречу, все время навстречу ему.

Начался большой лес, потом – ольшаник. Ноги проваливаются в чернеющую, как деготь, грязь. Потом была просто вода, видно дождевая, сапоги лишь ополаскивались, не вязли. Все это замечалось, хотя ничто не казалось важным. Один только раз остановился, пораженный. Гусеничный след! И здесь проходил танк! Они же совсем в другой стороне гудели.

Поравнялся с „черной" поляной, на которой был последний заслон. Тут, возле пулемета, остался Алеша. Толя смотрел, точно ждал, что все сейчас вернется. Как это давно было, не верится, что всего полдня прошло.

На поляну выехала телега. Раскачиваясь, как лодка на волнах, движется к лагерю. Немец или власовец правит лежа, чувствует себя совсем дома.

Впереди будет еще одна просека, и тогда кончится зона бывшего лагеря. Отупевший от ровного глухого шума, который плещется в нем, Толя и не заметил, как подошел к просеке. Отскочил: на просеке – немец! Но не испугался на этот раз. Разозлился. На себя разозлился, на тупое безразличие, которое даже в этот миг сковывает его.

Прячась за толстое дерево, присматривался. Странно ведет себя этот немец. Пройдет шагов пять, постоит и наклонится. Что это он – ягоды собирает?! Наклонился немец – Толя перемахнул через просеку. Но не побежал дальше, а опять стал следить. Снова тебе, дураку, что-то кажется, будет тебе еще один повар Максим! Нет, но почему немец так спокойно чувствует себя здесь? И так знакомо рыжий... „Берегись лысого и рыжего", – всегда одинаково поддразнивают партизана по фамилии Лысый, который на самом-то деле очень даже волосатый. И очень рыжий. Вот как этот. „Лысый – больно умен, рыжий – больно

хитер”, – и это тоже про него, хотя он совсем не хитрый – скорее простоватый.

Рыжий, в немецком мундире, ягоды собирает – ну конечно он, Лысый! И лицо его – круглое, большое, как солнце!

Толя уже шел, почти бежал к человеку на просеке, и пока он делал эти десять, двадцать, тридцать шагов, мир становился на свое место, с которого его столкнула та внезапная автоматная очередь. Рыжий улыбающийся человек, к которому Толя приблизился, – свой, партизан; он в эту минуту – самое дорогое для Толи. На Толю тоже смотрят во все глаза.

– Го, Корзунихин, а сказали – тебя живьем! Гляди, а!

Толя тоже что-то спрашивал. Вначале он только спрашивал.

– Немцы? – пренебрежительно говорит Лысый. – Пугнули их, братка, гоняют и теперь. Попугали танкеткой, соседи подоспели.

– Танкетка! – Толя наконец понял.

Там, в кустах, он настолько поверил в разгром, что даже не вспомнил о припрятанной в лагере танкетке. Будто второй раз раскручивалась перед ним кинолента, но теперь все виделось по-иному. Загудело... немец кричит... взрывы, взрывы... Ну конечно же немцы подумали, что свой, а когда разобрались, не до того им, наверно, стало, чтобы присмотреться, что за танк идет, какая у него броня и сколько у него пулеметов, сколько партизан за ним бегут. В лесу все двоится и троится.

– А санчасть? – спешил узнать Толя.

– В лагере уже. Хоть Анна Михайловна теперь оживет. А Митю „Пашиного” тоже убили.

– Митя сзади шел, их Мохарь привел, а когда уходили, на ботинки Митя вот так смотрел, позади всех шел и на ноги смотрел...

Толя готов был мчаться в лагерь, чтобы мать скорее увидела его, он знал, что должен бежать, но он не мог не рассказать о том, что произошло. И он не мог не рассказывать подробно, очень подробно: что увидел, что подумал, что почувствовал. Словно сам понять старался: как же так случилось, что они подошли, что он остался жив, что потерял винтовку.

– Постой, ты бросил винтовку?

Вот! Толя ожидал и боялся этого вопроса. Волнуясь, будто все зависело от того, как поймет именно этот человек, Толя снова рассказал, как подошли *не по той дороге,* как подумал, что свои, про бабу, которая вела их, про то, как грохнулся на землю и ему показалось, что ранен... То, что случилось на просеке, что он пережил, было так важно, неожиданно, так близко к смерти, что каждый,

конечно, поймет. Ведь Толя считал, что уже все, конец, потому и не подумал о винтовке, а когда вспомнил, было уже поздно…

Толя вдруг увидел глаза партизана. Они сузились, совсем спрятались в пухлые веки. Лысому уже неловко смотреть на Толю, словно просят его, добряка, о чем-то, а ему приходится говорить: „нет”, „не могу”. Не было уже радостного дружелюбия в глазах первого человека, к которому Толя вышел. Еще торопливее Толя стал рассказывать, ему все еще казалось, что он не точно передал… Но сам почувствовал, что не так уж и важно то, что произошло на просеке и что он пережил. Была бы винтовка, все, что случилось, было бы интересно. Толя замолчал.

– Да-а, – протянул Лысый.

– А может, не нашли ее? – Толя будто просил Лысого об этом. Чего только не отдал бы он теперь за винтовку.

– Да, сходи, братка, – обнадежил его Лысый, – а может…

Толя побежал снова в обход лагеря. Вот они, следы гусениц. А он-то крался тут как дурак. Эх, надо было попросить, чтобы Лысый пока никому не говорил про винтовку… Толя еще больше заспешил. Выбежал на поляну, залитую солнечным светом и теплыми запахами. От тронутых загаром листочков земляники вся поляна румяная.

Лицо пощипывает от трижды высохшего и снова плывущего пота. Смешон же ты был. А их уже гнали из леса. Хорошо, хоть об этом никто не узнает. Нет, узнают – винтовка.

Продрался сквозь соснячок, который час назад прятал его, выбежал на просеку. Ага – там! Толя метался в кустах, он помнил, что упал далеко от просеки, но никак не мог найти место, где лежал.

Постарался вспомнить все по порядку. Вначале стоял под тем дубом. (А смотри, бинты валяются в траве, окровавленные!) Потом недалеко застрочил автомат: в тот миг, наверное, упал Митя „Пашин”. А Толя (следом за Мохарем) перебежал вот к этому, нет, к этому кустику. Ну да, за этой сосенкой он и стоял, вершина ее, надсеченная пулей, беспомощно свисает.

И вдруг Толя увидел на земле свою серую кепку. Совсем забыл про нее. Значит – здесь! Жадно смотрел вокруг, уже почти видя желтый приклад, зеленый ремень… Бегал, приседал. Нигде нет. Да и как ей быть здесь, в пяти метрах от просеки, если он упал далеко, – голоса немцев еле слышал. Но вот же та поваленная сосенка, за которую он зацепился. Так, значит, здесь он лежал. Немцы, понятно, сразу же увидели винтовку. И кепку. Ее в руках, наверно, подержали. Толя поднял, но не надел на голову: кепка казалась неприятно чужой. Идти в лагерь? Вот так, без винтовки?

Толя стал за сосенку, за которой и *тогда* стоял. О, если бы все повторилось сначала, теперь бы он знал, как надо, что надо.

И вдруг все повторилось. Из-за поворота костричницкой дороги вышел человек, за ним еще и еще. И хотя Толя знает, что это Круглик – коренастый, по-медвежьи косолапый помкомвзвода, хотя Толя сразу узнал Разванюшу с его шутовскими усиками, все равно жутковато – так это похоже... Вышел из-за куста – подходившие партизаны даже приостановились.

– Ты-и! – закричал Разванюша, да так звонко. И сразу стало легко, хорошо. Толя видит радость в глазах даже малознакомых партизан за него, за Толю, радость. Всегда такой скупой на ласковое слово Круглик говорит:

– Молодец, живой. А то мамаша там...

Голос у него и теперь скрипуч, как сухостой в ветреную погоду, но на лице радостное облегчение. Ведь это он дал Толе винтовку. Да, винтовку... Но они все поймут, вон как обрадовались, что – живой! Ждут, чтобы Толя объяснил, рассказал. С благодарной готовностью Толя показывал: вот здесь, вот отсюда... Хорошо бы сказать, что он все же выстрелил. Бинты красные в траве... Но его снова захватило пережитое, глубокая колея, пролегшая в памяти, не позволяет свернуть в сторону, солгать.

– А меня Сырокваш, когда по тебе застреляли, послал, – перебил Толю Разванюша, – подкрался – вижу: немец на твоем месте. Я вернулся, сказал Сыроквашу: „Убили Корзунихи сына или захватили". Ну мы в цепь и...

Но Разванюшу не слушают, всем интереснее, что сам Толя расскажет. И он говорит, говорит: про то, как упал, как хотел вернуться, забрать винтовку...

И сразу что-то изменилось.

– Ты еще не был в лагере? – понял все Круглик. Казалось, даже большой крутой лоб его заблестел холодно.

Толя старался объяснить, но слова его падали как искры на воду. Он уже сам чувствовал, что не важно, не интересно то, что минуту назад выглядело и важным и интересным.

На лице незнакомого остроносого партизана, опоясанного подсумками, как спасательным поясом, Толя читал откровенное презрение, в глазах других – недоверие ко всему, что он сказал или еще захочет сказать.

– Ладно, пошли домой, – проговорил Круглик.

Толя тащился позади всех, как тогда Митя „Пашин". Да, все у него было не так, как у других, не так, как надо. Или он плохо

рассказал, потому и не поняли? Но на него уже никто не обращает внимания.

– И как только они всех шестерых не уложили? Оказывается, и Мохарь с ними был, – говорит остроносый партизан.

Толя снова вставил: как Митя шел и глядел на ботинки. Но его голоса никто не слышит.

– А они наше перенимают, – рассуждает Круглик. – Пройдут немного и ложатся в засаду. Специальная часть, выученная. Ягдкоманда[13] называется. Хлопцы и нарвались. Хорошо еще, что за дозор посчитали, а потом видят – больше никого…

– Он последний шел, ну да, а они сзади и секанули, – не мог удержаться Толя. Голос его звучит жалко, будто примазывается человек к тому, чего не знает.

Эх, почему начальник штаба не взял тогда с собой Толю: вон как понятно и даже интересно было у других. И как нехорошо у Толи.

Лагерь напоминает дом, из которого собираются выезжать: все точно сдвинуто со своего места. На стволах сосен белые шрамы от мин. Людей не много.

– А вот и он, – сказал седоголовый Шаповалов, увидев Толю. Сетка морщин на лице его сложная, попробуй разбери, издевательски или хорошо улыбается человек.

На хорошее Толя мало рассчитывает, и ему тошно от мысли, что каких-то две недели назад он снисходительно пояснял робкому новичку Шаповалову, прибежавшему из плена, как разживаются винтовками, как воюют партизаны.

Из землянки вышел Алексей с масленкой в руке.

Братья встретились глазами.

Алексей как шел, так и прошел, не останавливаясь, к длинному столу, где усатый Помолотень собирает станкач.

– Винтовку потерял, – безжалостно громко сказал Круглик.

– Слышали. Бросил, – поправил его Застенчиков. Доволен чем-то. А почему бы и нет? Трус же отчаянный, но винтовку все же бросил не он.

– Ладно, парень, – говорит вдруг Головченя, – дело наживное.

Молодой бородач Головченя (и кусок черной бороды бинтами прихвачен) жалеюще смотрит на разбитый приклад ручного пулемета. Человек ранен и, возможно, потому считает себя вправе быть

---

[13] От Jagd – охота, погоня *(нем.);* так назывались специальные части, созданные в гитлеровской армии для борьбы против партизан.

снисходительным. Но только не к своему второму номеру – Савосю, из которого он и теперь выбивает „полицейскую мякину”:

– А диски мне хоть роди – слышишь!

Толстяк Савось конфузливо улыбается своему начальству. Наверно, такой же идиотский видик сейчас и у Толи.

– Не партизаны у нас пошли, – кричит Баранчик, – а колхознички: сеют! Один винтовку, другой пулеметные диски. Глядишь, и урожай соберем.

Алексей тихо сказал Толе:

– Мама здесь.

– Знаю, – так же вполголоса отозвался Толя. Он с горечью сознавал, что случившееся как-то нехорошо сближает их, братьев, отдаляя от остальных. Вот им даже неловко громко разговаривать. Толя сидел и ждал, хотя знал, что должен идти к санчасти. Дожидался, пока он перестанет быть новостью, пока привыкнут к тому, что он вернулся, вернулся без винтовки… Не такие хмурые были бы все, если бы не этот женский стон над лагерем. Как тяжело он висит над лесом. Как страшно плачет тетя Паша. Она даже не плачет, она зовет:

– Ми-итя… Ми-и-и-тя!

– Ты что расселся тут! – набросился вдруг Шаповалов на Толю. – Матери хоть покажись.

– Раскис, – подхватил Застенчиков.

Толя направился по тропинке к санчасти.

А мать уже идет сама. Толя издали видит глаза ее, они тянутся ему навстречу. И Лина с нею. Подбежала и дотронулась до локтя Толи: вот, мол, даже рукой трогаю, живой! Смеется, а на щеках, по-детски пухловатых, полосы от недавних слез.

Мама уже рядом. Глаза ее рядом. В них – благодарность. Непонятно, за что только?

Нет, целовать не стала. Только рукой тоже за локоть потрогала. Лина в сторонке стоит и сияет, точно это она подарила Анне Михайловне живого Толю.

– Ну вот видишь, сынок.

Нет, это не упрек, это: „Видишь, я же знала, а тебе все хотелось, как они, взрослые”. Толя чувствовал себя слишком уставшим, чтобы объяснять что-то, да и бесполезно… А тут эти страшные причитания тети Паши, которые, кажется, никогда уже не затихнут.

Мама, сделавшись непонятно чужой, далекой, сказала Толе:

– Ты не ходи туда.

Он все же пошел к санчасти.

На зеленых немецких одеялах под зелеными соснами лежат они, все трое – не намного старше Толи. Нет, теперь они старше всех, намного, *на целую смерть старше.* На лицах – последнее удивление: „Вот оно!" Митя „Пашин" – незнакомо длинный, один глаз пугающе приоткрыт.

Паша стоит на коленях, растрепавшиеся волосы ее ложатся на лицо сына, по-бабьи согнутая спина мерно раскачивается. Кажется, женщина хочет укачать в себе боль, как укачивают больную руку. В протяжном стоне бьются, плачут такие бессмысленные и таким тяжелым смыслом налитые слова.

– Что ты молчишь, сынок, почему ты? Как же это? Как же?.. – И снова зовет с безумной надеждой: – Ми-итя... Ми-и-итя!

Трогает глаза сына, целует, будто надеясь растопить их ледяную остекленелость. Ласково и с ужасом дотрагивается дрожащими пальцами до синих пятнышек на виске. (Вот где прошла та автоматная очередь!)

– Говорил: „Я везучий, не бойся, мамка". Такое оно, твое счастье. Пойдешь теперь за батькой в землю. Насовсем, сынку.

И вдруг:

– Другие убежали, винтовку бросили. Тебя бросили. Осиротили меня.

Толя увидел побелевшее лицо своей матери, глаза, обращенные к Паше с горькой мольбой, увидел, и его пронзили боль, обида, горе. Да это же о нем говорит Паша: „убежали", „бросили"! Она уверена, что сына ее убили потому, что где-то там, с какого-то поста Толя сбежал. И что может разубедить ее, если сын лежит убитый, а „Корзунихин" – вот он, живой, прибежал? В голосе женщины мстительное упрямство, ревнивая непримиримость. Она даже не плачет уже, она говорит и, кажется, лишь к Толиной матери обращается:

– Один он был у меня, один!

А мама в плаче закусила губы, в глазах ужас: в голосе женщины ей слышится проклятие.

Толя тихонько повернулся и пошел. Никого не желая видеть, слышать, спустился в сырую темень землянки. Лег на нары, глотая и не в силах проглотить соленый ком.

К вечеру в растревоженный лагерь собрался почти весь отряд. Кухня вернулась поздно, ужин запаздывал.

Толя все лежал на нарах в углу. Он уже окончательно поверил, что все пережитое им – ненастоящее. Настоящее было у всех, кроме него. Не зря вот и мама пришла и сидит над ним, как, бывало, над больным. Свет из серого вечернего окна ложится на лицо ее: усталость

вдавила глаза, прорезала горькие складки у рта. Пришла немного отдохнуть, да так и не может уйти от Толи, от *живого* Толи.

Партизаны кто сидит, кто лежит на нарах, вспыхивают огоньки папиросок, освещая неровный накат землянки, которая в темноте кажется еще длиннее и еще ниже. О главном наговорились. Теперь подшучивают над Головченей: борода виновата. Очень уж она не настоящая на молодом лице. Особенно когда ее запеленали в бинты.

– Все осколки вытряс? А то гляди, ужинать станешь – зуб сломаешь.

В темную землянку спустился Застенчиков и громко сообщил:

– Корзунихи сына за винтовку Мохарь требует расстрелять.

Все замолчали.

Толя испугался, но не оттого, что его хотят расстрелять, а что это слышит мать. Она неподвижно сидит у серого окна и смотрит, точно не понимает.

– Что ты там болтаешь! – зло прикрикнули на Застенчикова.

– Нет, правда, – заспешил Застенчиков. Он, наверно, увидел мать. – Другим, говорит, наука будет. Но Сырокваш заступился, и Колесов: мальчишка еще, мать у него здесь... А Мохарь все: воспитывать людей надо...

– Мохарь? – Толя даже приподнялся от обиды. – Я у него спросил, что делать, а он раз – и побежал.

Никто не понял.

Расстрелять? Взять от всех, от всего – и убить. Вот так просто!.. Нет, это неправда!

Нервно-сердитый голос Сергея Коренного:

– Корзун в конце концов пацан. Не с такими случается и еще не такое...

– Воспитывать, говорит, надо...

Толю толкнули в плечо. Брат.

– Ладно, Толик, добудем. – Шепот у Алексея сердитый.

И опять разговор перешел на то, как было, что было.

– Соседний отряд, храпковцы, немца допрашивали. Немцы уверены, что тут была подготовлена ловушка. Подошли, значит, к лагерю, а с дерева соскочил партизан и побежал. Сообщил, привел партизан, и начали окружать.

– Это ваш, Анна Михайловна, сын, – догадался Шаповалов, и все засмеялись.

– В лесу покажется, когда боишься. Наши бежали к лагерю из деревень, сослепу нарывались, вот как мы с Коренным, а им казалось: прощупывают, окружают.

– А правда, как двое слепых. Дрались, а каждому думалось, что другой все видит.

– Э, брат, если слепой, накостыляют тебе.

– В Ляды вскочили с танкеткой, а немцы по житу к шоссе. Бабы потом рассказывали: приказали немцы труп самого главного, у которого два Железных креста, доставить им. Иначе сожгут, говорили, деревню.

– Разберись теперь, который главный. Все голенькие, и все в болоте.

– А пленный власовец сказал, что дорогу им показывала матка начальника полиции. Помните, которого возле Зубаревки тогда подстрелили, в лагерь привезли.

– Толя, ты про какую там бабу говорил?

Слушают Толю внимательно, что-то очень изменилось с той минуты, как Застенчиков сказал про Мохаря, про расстрел.

– Постой! – воскликнул Носков. – Помнишь, Серега, щавель баба собирала. Здоровенная такая. Ты еще удивился: бой гремит, а она будто глухая. Она это, эх, черт!..

– А обидно, что – мать. Ну, сын, ладно, а то мать!

– Ребяток завтра в Костричник повезут. Паша не соглашается, чтобы в лесу Митю хоронили. Говорит: забудут, волкам не хочу оставлять.

– Ну нет, кончится война, какие памятники тут поставят! Ребята, я вот думаю, как после войны будет!

– Кое-что надо бы поумнее.

– Гляди, по этой дорожке и к немецкой листовке придешь. Как за клубочком.

– Что у тебя за привычка, Коренной! При чем тут листовки? Что, нельзя разумно? Опять ты свое.

– А ты, Бакенщиков, не свое? Воюй, вот твое.

– Да ну вас всех! Мне бы, братцы, хоть до того дня дожить, как они драпать будут. Наших встретить. Если бы кто пообещал, ладно, согласен назавтра и помереть.

– Ха, а все же назавтра.

– Ну хоть денек дай.

– Эй, кто тут живой? Пошли, работнички, суп косить! – крикнул дневальный и забренчал котелками.

Часть вторая
Идут партизаны

I

Оказывается, быть партизаном – это все время куда-то идти. Поел, если повезло, поспал, если удалось, и снова идешь, идешь, ощущая заострявшуюся боль под лопаткой – с той стороны, где тяжесть винтовки. Дорога летняя, песчаная. Лучше держаться поближе к сосенкам, не так „буксуют” ноги. Солнце жарит, но недавно пробежал дождик, наследил, исклевал песок. Дорога пахнет вкусно, как обрызганный водой теплый хлеб.

Хорошо идти со взводом, знать, что впереди тебя ждет опасность, и знать, что она – далеко, как вечер. И пока не о том, что будет вечером или завтра, а о том, что пора бы дать отдых ногам, думают все и ты вместе со всеми.

Но даже усталость веселит. Возможно, потому, что впереди шагает Царский, которого уже сделали командиром роты. Что-то особенное затеяно, раз со взводом командир роты. Да и вообще, когда на дело своим взводом идут, хлопцы такие добрые, веселые.

Вот только винтовку приспособить по-другому. Ноет плечо.

Но будет же когда-то привал, устанет и широкая, обтянутая кожаной тужуркой спина Царского. Правда, голос его по-прежнему зычный:

– Подтяниса! Теща ждет на блины.

Выговор самый полешуцкий. А круглые глаза, хищный профиль – будто на Кавказе прикуплены. Вид у Царского очень грозный, внушительный, но что-то простецкое есть в этом дяде, в его голосе, хохоте.

Царский как взял автомат под правый локоть, так и не сменил положения. Ну да это автомат. Был бы у Толи ППД или ППШ, он тоже ног бы под собой не чуял от удовольствия.

Винтовка – что, винтовка – дело обычное. А пожалуй, легче будет идти, если Толя возьмет ее, как Разванюша: по-охотничьи, стволом к ноге. Вон как вышагивает Разванюша: усики – ниточкой, весь в ремнях, пряжках, пулеметной лентой опоясан. Когда винтовка стволом вниз, начинаешь прикидывать, как выхватишь ее из-под локтя, как упадешь (за тем вон камнем), если вдруг – немцы! И про усталость забываешь.

Но скоро именно такое положение начинает казаться самым неудобным. Попробовать, что ли, как Зарубин. Винтовка у него

поперек спины. И рука отдыхает на стволе. Даже китель свой повесил на винтовку – с удобствами путешествует „моряк”. Только оружие у него малость смешное: длинная, старого образца „француженка”. Вся Европа вооружала третий взвод. Шаповалов несет чешский пулемет с диском, похожим на портсигар. Его молчаливый товарищ Коломиец вооружен толстеньким норвежским карабином, какой был когда-то у Толи. У Носкова к немецкому мундиру и винтовка немецкая. А у старика Митина очень какая-то чудная: магазин сбоку и блестит, хоть зайчиков пускай. Говорят, бельгийская. У пухлолицего Савося вообще как в насмешку: заряжать надо через тыльную сторону приклада. Отвернул щиток и пихай патроны по одному. Все это посмотреть интересно, но ценятся по-настоящему русская да немецкая. Главное – с патронами полегче. Для „бельгийки” или этой, с дырявым прикладом – попробуй добудь патроны! Все равно что зубов во рту: может стать меньше, но не станет больше. Немцы это хитро придумали – вооружать бобиков иностранщиной. Знают, что рано или поздно оружие к партизанам перейдет.

… Царский все дыбает впереди. Скажет слово командиру взвода Пилатову и сам же: го-го-го! Любит он большие интервалы: от одного „го” до другого – три шага.

Пилатов пришел во взвод вместо Баранчика, который теперь комендантствует в Зубаревке. Понизили Баранчика (или повысили) в коменданты после того, как хлопцы отлупили его. Самым обыкновенным образом отлупили. За то, что из засады сбежал. Оказывается, у Баранчика это почти болезнь – убегать, уползать перед началом боя.

Новый командир нравится. Этот не орет, не таращит глаза. Воздействует на своих бойцов тем, что переживает. Не вычистит кто-либо винтовку, дневальный стрелки часов переведет, ругань начнется – Пилатов молчит. Но так заскучает глазами, лицом, что даже Носкову сделается неловко.

Спокойнее стало во взводе. А мама как-то повеселела. Баранчик пугал ее. Нет, не воплями своими: „Менш! Так-разэтак!” Воплей этих она будто и не слышала. Она молодец, понимает, что мужчинам иногда недостаточно приличных слов. Но она не могла не замечать Баранчика, не думать, не бояться – ведь он командовал ее сыновьями. Слишком многое зависело от того, что влетит ему в голову, в которой словно сквозняки бродят. Когда Алексея забрал к себе в контрразведку Кучугура, мама обрадовалась. Пусть возле асфальтки, пусть опасно, но только подальше от Баранчика.

… Хоть бы Пилатов сказал командиру роты, что привал надо делать. Песок меж пальцев набился. Ботинки у Толи особенные, при желании, не снимая их, можно увидеть Толину ступню. Для этого надо лишь снять бинты, которыми подвязаны отвисающие подметки. Но бинты и сами скоро сползут. Снова под лопаткой колет. Пришлось повесить винтовку прикладом вниз – так и положено солдату носить. А ведь и правда – очень удобно. Вот Сергей Коренной еще в лагере повесил на плечо свою десятизарядку, лицо темное, вспотевшее, а будет идти, идти… Крепкий. Нет, не мускулами, а чем-то другим, что в глазах у него: сощуренных, как от головной боли, всегда готовых вспыхнуть, загореться. Такие глаза еще у Бакенщикова, которого Носков за очки прозвал „профессором”. Правда, у Коренного глаза желтоватые, как у всех рыжих, а у Бакенщикова – смоляно-черные, но вспыхивают они одинаково неистово, когда Бакенщиков и Коренной схватятся спорить. А это все чаще случается. Вначале, когда Бакенщиков только пришел из плена, они очень сблизились. Даже противно было смотреть, как они ходили друг за дружкой. Коренной и Толю перестал замечать, хотя до этого любил с ним поговорить о книгах. Прежде у них было что-то вроде „кооперации”. Добыл книгу (не все еще скурили в деревнях) – спрячь, прибереги. Прятать приходилось от курильщиков. Сергей вначале ругался с ними. Потом условились по-доброму.

– Сегодня книжечку до какой странички можно читать? – скромненько спрашивает очередной нахал, а сам скалится. Аккуратненько вырвет листок. И что-нибудь скажет! – Да, писали…

А теперь Сергею не до Толи, не до книг. Интересней ему поругаться с Бакенщиковым. Этот бывший инженер очень упрям, он просто бесит Сергея своими вопросиками: „А почему, собственно?” Или: „Я, конечно, верю, да вот мужики сумлеваются!..” Глаза у Бакенщикова издевательски умные. Ум у этого человека какой-то неприятный, беспокоящий.

Вчера вот тоже шли из бани и ссорились.

– Сейчас не время спрашивать, – горячился Сергей, – воевать надо.

– А не кажется тебе, Сереженька, что и это мы делали бы удачливее, если бы до войны больше спрашивали – себя и других?

– Кончится война…

– Поумнеем? Я что, я – пожалуйста! Да вот мужики…

– Знаешь что, знаешь, куда такие дорожки идут?

– Я-то знаю…

– Не знаешь. В полицию.

– Я думал, Коренной, что ты не дурак.

– Как тебе угодно.

Что странно – спорят, как самые лютые неприятели, но при этом стараются говорить так, чтобы другим не все понятно было. Вроде сближает их, от других отделяет этот спор.

Но сегодня бредут порознь: Сергей впереди, Бакенщиков далеко позади, оба неулыбчивые, молчаливые.

Поспорить, умно порассуждать – это, конечно, интересно. Вот у Горького: здорово, когда все рассуждают! Толя любит, чтобы как в книгах. Но они же – почти до вражды. Можно подумать, что кому-то что-то неясно. Толе все ясно.

Толя не очень задумывался над стычками Сергея и Бакенщикова: купаны в горячей воде, что с них возьмешь! Но однажды Толина мать остановила Бакенщикова, хотя она не любит лезть в чужие дела и разговоры, озабоченно спросила:

– Валерий Семенович, зачем вам это? Я про эти ваши разговоры с Коренным. Сережа просто мальчишка, а кому-нибудь может показаться…

– А что, что-нибудь слышали? – Бакенщиков схватился за оглобельки очков, поправил.

– Нет, ничего, – успокоила его мать, – но зачем вам?

Есть в горячности Бакенщикова, в его улыбке что-то болезненное, даже отчаянное. Понесет его – обо всем забывает. Он и в бою, говорят, такой. Толя не видел, но хлопцы рассказывали, что, когда громили Протасовичи, Бакенщиков, тогда еще безоружный, бежал по полю за полицаем: догнал и отнял винтовку.

Уже Зубаревка виднеется. В поле много женщин. С узлами, с детьми. К лесу спешат. Картофельное поле будто известкой побрызгано – все в цвету.

– Заглянем к хозяйке моей, – говорит Коренной Толе. – Если не ушла.

Толя знает, что до партизан Сергей жил у какой-то женщины, у которой его, тифозного, оставили окруженцы.

– Время было, – вспоминает Сергей, – бабы нас, доходяг, выхаживают, а мужики – брошенных армейских коней…

– Привал! – долгожданная команда.

– Зачем в деревне, не надо в деревне, – забеспокоился Застенчиков, с отвращением посматривая на чистое голубое небо, – оставить кого, чтобы жратвы взяли…

О жратве все же помнит.

– На дачу, тетеньки? – спрашивает Шаповалов двух женщин, у которых за спиной белые узлы.

– Вы оттуда, мы – туда, – отозвалась женщина помоложе, одетая по-городскому.

Отдыхать расселись кто на травке, кто на бревнах.

– Товарищ комроты, – обратился к Царскому Коренной, – разрешите сходить к хозяйке.

Царский, округлив очи, прикидывает: просит или требует? По чину должен просить. Но ведь это Сергей Коренной, самый „старый” в роте партизан: он и просит, будто требует.

– Иди! – разрешает Царский и тут же командует: – Чтобы через минуту ни одного на улице не видел. Сбор через час. Ясно?

Зашевелились. Но от Царского так не уйдешь, обязательно скажи: „Ясно!”

Возле клена с сухой вершиной – землянка. Чуть в сторонке – печка, нелепо грузная и странно белая здесь, среди поля. Печка варит что-то. Для живущих в землянке. Служит и после того, как сгорел дом. Сергей потянул на себя дощатую полулежащую дверь. Поздоровался куда-то в глубь земли. Оттуда женский голос:

– Сережка! Заходи, Сереженька...

Но женщина сама вышла навстречу, на свет.

Высокая и худющая до невозможности. Такими нереально вытянутыми люди кажутся, когда сидишь в кино сбоку от экрана. Не такой представлялась „хозяюшка” по рассказам Коренного. И лицо у этой совсем не ласковое, и улыбка не очень приветливая. От прежней женщины, когда-то, очевидно, и веселой и улыбчивой, только и остались очень чистые зубы, такие же странно белые, как печка на пожарище.

– Что стоите? Спускайтесь в хату. У кого дом получше, побежали в лес. А мы уже в земле, нам что. – Сказала и отошла к печке. – Покормлю вас. Ходишь, гляди, голодный заморыш ты мой. На других бы смотрел, умеют.

Почему так? В лесу землянки кажутся роскошью, а здесь в нее лезть не хочется. Но хозяйка несет чугунок с бульбой. Спустились в яму. Вместо стола ящик, сбоку ворох темного тряпья – постель. Луч солнца из маленького окошечка, заставленного осколком стекла, падает на „стол”, просвечивает воду в глиняной миске. От воды – „зайчик” на потолке из жердей. И еще два „зайчика” – глаза девочки среди тряпья.

– Здравствуй, Маша, – сказал Сергей радостным „зайчикам”. „Зайчики” стали еще радостнее и еще застенчивее. Сергей достал из сумки флягу. – Вот, меду тебе.

Толя сразу вспомнил, что тяжесть в кармане его плаща – тоже фляга. Для Надиных малых.

– Ну, дочка, у тебя праздник, – сказала хозяйка. Поставила на ящик чугунок. Сергей еще пошарил в сумке. Женщина приняла из его рук тряпицу с солью, развернула и вроде даже понюхала. Девочка, державшая флягу с медом, как куклу, тоже вся потянулась к белой соли.

Толя для пробы обмакнул горячую картофелину в миску с горькой водой. Знакомо – удобрение.

– Слепнут уже от такой соли, – говорит женщина. – До войны председатель наш не вывез со станции, а теперь как нашли…

Улыбается белым от молодых зубов ртом. И будто в самом деле весело ей, что ест удобрение вместо соли, что в земле живет, что самолетов надо бояться, что все еще живет она, хотя и невозможно жить. Улыбается, но нерадостно от этой ее улыбки. Вдруг спросила почти сердито:

– Ну, вот ходите, забивают вас, мы мучимся, дети эти несчастные. Даст бог, прогоним немца, тогда что?

– Как что? – нахмурился Сергей.

– Знаю, знаю. Я не про то, что рай обязательно. Бог с ним, с раем. Но чтобы справедливо все. Или жить нам в том колхозе, опять с тем пьяницей? Дашкевич наш у Митьки в отряде. Вчера был, коня пропивал. Пропьет, продаст, а потом дружка подошлет, тот накричит, что конь его, и заберет.

Коренной даже приподнялся.

– А комендант наш что? Ах да, Баранчик.

– Ну да, Баранчик. Ну, ну, сиди. Подскочил уже. – Женщина ласково поглядела на Сергея. – Все ты, Сереженька, горячишься. Потому и худющий. Ты вон столько воюешь, другие на печи еще отсиживались. А не командир даже. Другие вверх, а ты – вниз.

– Не в этом дело, Гавриловна, ерунда это.

– Ох, в этом, Сережа, в этом. Я и говорю: после всего, после такой войны, знаешь, как должно быть правильно все. По справедливости. Этим люди и держатся, и вас держат – а ты как думал?

Толя рад был, когда вышли из землянки. Будто в чем-то виноват он перед этой женщиной.

Хлопцы все еще жируют, на улице никого не видно. В окошке небольшого домика – физиономия Разванюши. Что-то говорит, шевелит по-кошачьи усиками, усмехается.

А чистое небо гудит самолетами. Но это привычно. У высокого порога чуть не сбил с ног выскочивший из хаты дядька: рубаха навыпуск, глаза слепые от испуга. Каким-то очень древним голосом крикнул:

– Ерапланы!

И правда, самолеты ползут над лесом, но, кажется, не сюда. Или сюда? За домом уже не видны, но рев нарастает.

– Ладно, – сказал Сергей и протянул руку, чтобы открыть захлопнувшуюся за дядькой дверь. И тут – вой, нарастающий свист! Сергей прижался спиной к стене. Толя – тоже. Га-ах! Га-ах! Спина ощутила, как дернулись в разные стороны бревнышки. Дверь сама распахнулась и хлопнула с маху. А над головой снова и снова свист, пронзительный, прокалывающий от макушки до пят. Самолеты – их шесть – заходят уже с другого конца деревни. Передний медленно, по-акульи хищно опрокидывается. За ним – второй...

Вбежали в хату. Разванюша с ложкой в руке сидит за столом, старается разглядеть через окно, что делается в небе. Коренной сел на скамью.

– Врежут, – пообещал Разванюша.

Толя понимает, что каждый ведет себя не так, как вел бы, будь один в хате. Во всяком случае, Толя не сидел бы на пороге и не держал бы зачем-то дверь, ощущая, какая она не толстая, какая *деревянная.* Гораздо уютней он чувствовал бы себя за толстой кирпичной печкой. Га-ах! Дверь рвет из рук. Грохнуло так, что Толя едва не вывалился за порог. *Что-то* хотело ворваться в дверь. Но *оно* уже ворвалось в окно. Дым, пыль. Толя сам не заметил, как оказался посреди комнаты. Он с удивлением увидел: печка, до этого чистая, белая, сделалась рябая, вся в выбоинах. А на полу волчком вертится кем-то запущенный темный черепок. Да это же осколок! Толя видит и черный волчок, и пустое без рамы окно, и по-прежнему улыбающегося Разванюшу, которого отшвырнуло в самый угол. Толя осторожно протянул руку. Черепок-осколок неожиданно тяжелый.

– Теплый!

А на дворе уже тихо. Выскочили за дверь. Нигде ни души. Деревня будто ждет чьей-то помощи, как присыпанный землей человек. Но вот оживает она, уже бегут люди. Особенно видишь испуганные детские ножки.

– Еще прилетят! – из-за сарая выбежал дядька в рубахе навыпуск. Увидел воронку в своем дворе, дыру вместо окна и замер с черным ртом.

Сразу за калиткой – неразорвавшаяся бомба. Земля на стежке вспухла, и будто пророс в этом месте отвратительный черный цветок – стабилизатор бомбы. Толю и хлопцев невольно повело в сторону.

– Низко летают, – отметил Разванюша. Он сбивает пыль с галифе, ладонями вытирает хромовые голенища. Коренной спешит, и Толя знает куда. Обгоревшего клена нет, а на том месте, где горбилась землянка, – ярко-желтая воронка. Такой пугающе яркой бывает только человеческая кровь. Печка точно присела от испуга – снесло остаток трубы. И вдруг:

– Сюда идите! Хлопчики!

Среди поля – хозяйка, рядом с ней – бледное личико Маши.

– Вон какую выдрал, – сказала женщина, глядя на то место, где была землянка, – теперь хорошую можно сделать. Яму рыть не надо.

Да она снова усмехается! А рот кривится, а глаза немигающие.

Взвод быстро собирался в конце улицы. Все толпятся вокруг Коломийца. Он лежит на траве, сапог с ноги снят, штанина разорвана. Красное, внезапное, как удар, – кровь! На лице старика испуг и напряженная, почему-то виноватая улыбка. Белоголовый Шаповалов сидит над ним на корточках.

– Вот уж когда отоспишься. За всю войну отоспишься.

Коломийца увезли в лагерь. А взвод снова идет. Деревня Вьюны открылась глазам как что-то тоскливо знакомое, близкое. Толя жил здесь две недели, пока его не забрали в партизанский лагерь. Так пустынно бывает лишь на кладбище. Тополя вдоль улицы, несколько старых сараев, землянки – все это лишь напоминает о жителях, которых весной сорок второго сожгли каратели.

– Нет, подожди, – говорит Головченя, – вот они детишек жгут, баб. На что ж они рассчитывают? Придем же, рано или поздно придем в ихнюю Германию.

– А ни на что, – отзывается Сергей Коренной. – Гитлер хочет чтобы немцы этого и боялись – ответа за такое, чтобы до конца с ним шли.

– Не знаю, кто там как, а я свое спрошу, – говорит Носков. Глаза у этого щуплого парня жесткие. Этот спросит.

Вмешивается в разговор Бакенщиков, „профессор”:

– Поспешай, Носков, а то потом вступит в действие высокая политика.

– Какая там политика? – недоверчиво и даже недружелюбно спрашивает Головченя. – После такой войны!

„Профессор”, в очках, с измазанной зеленкой шеей (мучают чиряки), и бородатый здоровяк. Головченя смотрят друг на друга с откровенным сожалением.

Но неужели правда, что когда-то перестанет быть главным беспощадная, непрощающая ненависть? Это, наверно, так далеко, что и не верится.

На опушке сели отдыхать.

Тут, совсем неподалеку, гражданские лагеря. Толя и Разванюша отпросились сбегать туда. Лес сухой, весь пронизанный солнечной пылью и птичьими голосами. Лагерь начался неожиданно. Он похож на партизанский, только буданы (их тут называют „куренями”) размещены как попало. И детишек много, искусанных комарами, пугливых и очень любопытных. Глаза красные – от дыма. У женщин – тоже. У этих еще и от забот, страхов.

Две землянки выделяются среди других: с окнами, дверьми. Чувствуется хозяйственная рука старого Коваленка. Под березой ручные жернова из дубовых кругов – можно крутить, если есть что молоть... Рыжая, как лиса, Фрося, счастливо растрепанная, выбежала откуда-то из глубины леса и – на шею своему Разванюше. А он, муж, стоит и дожидается, когда Фроська нарадуется.

– Ну, ты, – ворчит старый Коваленок. Когда он вот так наклоняет голову, острая бородка сердито заламывается о грудь, а глаза сверкают белками. – Уему на тебя нету, бес в юбке.

Но Фрося сегодня не боится свекра, смеется и не снимает полные, в рыжих веснушках, руки с мальчишеской шеи Разванюши.

Из землянки – как-то испуганно – выскочила сухонькая женщина. Мать Разванюши.

– Ой, Ванятка!

Толя заглянул в соседнюю землянку. Дедушка здесь: с порога слышно, как гудит, захлебывается его астма. В проходе на столике-грибке – сапожный инструмент, старый ботинок.

– Ты, Ефимка? – Голос с темных нар, до смешного знакомый, дедушкин голос. – Полежу трохи и кончу. Сделаю тебе.

Толя подошел к столику. Босые ноги, свисающие с нар, задвигались. И тогда отделилось от темноты знакомое лицо дедушки.

– Толя! И мама тут?

Дедушка считает, что и немцев убивать Толю водит мама.

Закурит сейчас. Так и есть. Экономно оторвал уголок от какой-то листовки.

– Кидает с ароплана. Кинул бы и махорки. Так не, падла.

Толя прочел полуоборванные слова: „...является пропуском”. Ага, бери эту бумажку и беги сдаваться. И последний срок указан. Еще в первые недели войны немцы разбрасывали такие листовки для окруженцев. И не надоело им указывать последний срок? Тогда, дома, нелегко было представить себя на месте окруженцев. Тогда казалось, что родной дом – берег, все-таки берег. Теперь другие думают с уважением о таких, как Толя, и им тоже страшно оторваться от берега...

Толя спросил про Нину, про Надиных девочек. Дедушка высек искру (железка, кремень, трут – всю эту древность называют теперь „катюшей”), прикурил, потом стал отвечать:

– Щавель, ягоду собирают. Скучает без вас Нинка. А Надю забили? Ты куда идешь? Много вас идет? Ого! А тут ночью приходили. Закурить мне дал, а утром глянул я – нету сапог. Стояли, а нету. Тот жулик, что угостил меня сигареткой, прихватил. Ну и ма-астер, трясца его матери! Бабушку ты не увидишь? Все ругались, а помирать врозь не хочется.

Бабушку Толя не видел с того дня, как ушли в партизаны. Мама оставила ее у знакомой учительницы.

Нина Толе очень обрадовалась. Увидела Толю, черные глаза на широком личике залучились, счастливо пискнула, подбежала. А хорошо быть старшим братом! Даже двоюродным.

– Где Надины?

– Идут они, вот они!

Первой подошла Галка. И застеснялась поднятого платьица, в подоле которого щавель, приопустила, сколько могла. А Инка еще выше подняла свой рваный подол.

– Во, зайчикин. – Листики заячьего щавеля похожи на сердечки. Полный подол сердечек. – Мамка уже не больная?

Глаза у Инки сердито-требовательные. Толя растерялся. Нина заученно быстро, по-старушечьи запела:

– Скоро. Правда, Галка? Вот и Толя – правда, скоро? – У Нины и Галки лица умные-умные, хитрые-хитрые.

– Масло прислала, – сказал Толя, вытаскивая туго засевшую в кармане плаща флягу.

– Во видишь, во видишь, – обрадовалась Галка, будто и впрямь верит, будто не знает. Инка смотрит, ждет, И вдруг:

– У-у-у, мами-ища, не идет все, ма-асла...

Тогда заплакала и Галка, закричала на сестренку, даже замахнулась:

– Ревешь, вот заболеешь и умрешь, придет мамка, а ты в земле будешь разгнива-аться…

Остается Нинке заплакать, тогда уже Толе хоть подыхай: ну что он может, если Надю убили! Но Нина не заплакала, она засмеялась, и совсем по-настоящему.

– Ой, а как наша Инка немца обманула! – закричала Нина. – Расскажи Толе, он маме расскажет.

Инка смотрит глазами, вымытыми, как засиневшее после дождя небо.

– Какого немца? Ну, ну, Инка.

– Я по дорожке иду, а он – хоп! – Инка и руками показала, как ее „хоп”! При этом выпустила подол, рассыпала зеленые заячьи сердечки. Присела, подбирает щавель и рассказывает: – Я так испуга-алась! Я ему сказала: „Я покажу, где есть еще много детей”. Повела немца, а сама раз – и проснулась!

Надо уже идти, догонять взвод. Но Разванюша пропал.

Явился наконец. Очень серьезный, зато Фрося улыбается красиво уставшими глазами. Улыбается заранее всему, что подумают, что скажут. Все знают – *было.* Знают, что и Толе это известно. Он краснеет, а потому смотрят на него. И нахалка Фрося смотрит, улыбается, будто не ей, а ему надо смущаться.

Разванюша о каких-то хозяйственных делах заговаривает, незаметно отстраняясь от жены, а Фрося нарочно не отпускает его плеча. И все на Толю смотрит.

Старый Коваленок тоже о делах:

– Подвозят мясо из отряда для Надиных. Разрешили поехать на поселки попросить хлеба для партизанских семей. Ты бы, сын, винтовку мне добыл. А то заглядывают всякие.

Догоняли взвод долго.

На виду уже Костричник. Деревня эта везучая. Самая партизанская, а не сожгли ее ни каратели, ни с самолетов. Зажата она между темной стеной леса и соснячком. Как в горловине. Она и есть в горловине, в самом узком месте партизанской зоны. Поэтому кого только не встретишь в этой деревне. И тех, что из-за „варшавки” и даже из-за „железки” направляются в штаб соединения, и тех, что с Полесья идут к шоссе или на железную дорогу. Главная улица деревни начинается от дороги и уходит к лесу. Два домика отскочили левее дороги, прижались к соснячку. Тут же – длинное колхозное гумно. А метров сто пройти – еще дворов десять.

Сюда приезжал Толя, когда без винтовки был. „Нельзя ли, хозяин, соломки?” Месяц прошел, целый месяц! А в этом лесу чуть не

убили его, когда он карабин потерял. Прострочил бы немец чуть пониже, и тоже прошел бы теперь месяц. И тоже подходил бы взвод к Костричнику. Точно вот так, как шагает, шагал бы Царский, именно в этот миг Коренной вытер бы пот с лица. Все, что сейчас видит Толя, было бы: и синее, куда ни глянь, небо, и тот дядька с конем. Не было бы лишь вот этого – короткой тени, что у ног Толи. И еще: за той наспех поставленной оградой было бы одним песчаным бугорком больше. Не шесть, а семь. Когда хоронили Митю, сына тети Паши, какой-то дядька из Костричника удлинил ограду ровно на три могилы. Без запаса. Все смотрели, как он приколачивал жердочку большим гвоздем. Два разведчика, что тоже смотрели, ровно через три дня нарвались на засаду. Ограду снова удлинили „без запаса" и снова прибили жердочку накрепко.

– Лежат ребятки, – говорит Митин. Дядя Митин недавно пришел в отряд. Из плена. И все – печальное или радостное – очень трогает его. Чем-то понравился тот старик, и потому все засчитывается в его пользу: и то, что он московский рабочий, и что в ополчении был, и что выжил в плену. Нет того, что, мол, походи, посмотрим, а потом, может, и признаем своим. С Митиным подружились сразу – никакого „карантина". Носков, тот иначе не называет Митина, как „папаша". Не хотели тащить старика на дело, слаб еще, но Митин огорчился до слез. А разрешил Пилатов – обрадовался до слез. И вот идет со взводом. Ноги, обутые в лапти из сыромятины, болтаются в коленях, как тряпичные. Но идет, старается. И смотрят на него хорошо, и голос его слушают без раздражения. Другой бы новичок, не дядя Митин, заговорил про тех, что „лежат", сразу почуял бы, что ему помолчать следует: „Да, уже лежат, пока ты собрался прийти в партизаны".

Навстречу едут конники, кого-то гонят. Похоже – немцев!

По-разному идут немцы по этой дороге. Не у всех бывает такой беспокойный, хлопотливый вид, как у этого: пожилой, почти лысый, он все что-то говорит, спрашивает и тянет удивленно: „О-о!" Немец, кажется, почувствовал, что партизанам нравится, льстит его удивление, и он настойчиво поражается, что столько деревень – партизанские, что партизаны тут на каждом шагу, что у них столько пулеметов…

В пяти шагах позади немца – власовец.

– Навоевался?

– Не отставай, не отставай, к немцу поближе. Не стыдись, милок. Ишь ты, кра-аснеет!

Власовец очень молодой и румяный.

– Мать где-то убивается, – печально звучит женский голос, – а он во какую шкуру напялил.

– Где вы их? – спрашивают у „гусар”, у разведчиков.

Толя лежит на траве. Головченя поставил возле него пулемет. Толя вроде за пулеметом лежит. Он помнит, как в первые недели войны смотрел на немцев, ощущая свою беспомощность и их жестокую силу, силу каждого немца в отдельности: ведь за каждым из них стояло что-то грозное, беспощадное. А теперь так смотрит немец, даже на женщин и даже вроде на детишек. А уж на Толю с пулеметом – обязательно! Немцу уже и не верится, что он был частицей какой-то грозной силы, что он с самого начала был не один на один с этими вот людьми, которые окружили, рассматривают, говорят что-то неласковое. Он знает, оп понял, *этот* понял, что никакая сила уже не спасет его. Спасти могла бы лишь доброта этих чужих людей. Хоть он-то хорошо знает, что не с чего им быть добрыми к германскому солдату. Но ведь он просто Ганс или Франц, у него трое детишек, его ждут дома...

– Киндер, драй, драй. – Немец торопливо раскрывает блокнот.

Кому-кому, а пацанам любопытно, что там показывает немец. На мальчишеских лицах неподдельный интерес, но и готовность тут же высмеять и немца, и то, что он покажет.

К немцу протолкалась девочка. Лет семи – вроде Надиной Инки. Мурзатая – страх! Глазки только и чистые. Зато какие чистые, какие голубые! С удивлением смотрит на фотографию, на детишек, которых почему-то называют „киндерами”, улыбается, видно, в ответ на их улыбки. Немцу хочется, чтобы взрослые посмотрели, чтобы партизаны увидели, поняли, он выше поднимает дрожащую руку с фотографией. Девочке плохо видно, она тянется вверх...

Немца и власовца увели. Взвод отдыхает в тени длинного, как летний день, гумна. Хочется лежать, в запас отлежаться. Хорошо, что Царский ушел в деревню и не возвращается.

– Комендант идет, – веселый голос Головчени. – Гла-адкий мужчина.

Мягкий синевыбритый подбородок, жирные круглые плечи, новенькие ремни. И даже автомат – форсисто новенький. Перед спокойной внушительностью такого „мужчины”, пожалуй, спасуешь. Если ты один. Но один – он, а ты в числе тридцати. В клочья раздергают его солидность. Языки у хлопцев – ого!

– Отчего казак гладок? Поел да на бок.

Это говорит комендант, говорит нахально-снисходительно. И будто ненароком пальцами к уху притрагивается. За каждым ухом у

него и в зубах – папироса. Не самокрутки, не вялые немецкие сигаретки – три казбечины! Настоящие! Довоенные! Это его спасло, связало языки хлопцам. Окружили коменданта, добренькие, уважительные, почти заискивающие. Даже Коренной – не курит, а взял казбечину в пальцы – подержать.

– Не давайте Головчене, потеряется в бороде! – испуганно кричит Шаповалов. Но пулеметчик уже прикуривает, отвернулся, чтобы не выхватили. Затянулся, аж плечи приподнялись. Еще и еще. А потом обдал дымком Савося, своего „второго номера”. Прямо в рот – как всегда полураскрытый – дунул ему.

– Понюхай, чем советские пахнут.

Головченя не упустит случая повоспитывать Савося. На пухлом невыразительном лице Савося безвольная улыбка. Может быть, эта простецкая улыбка и спасла Савося: он оказался в числе десяти полицаев из Секерич, которых не расстреляли, а не в числе пяти расстрелянных.

Но и за эту улыбку влетало ему от Головчени.

– Туебень![14] – шумел пулеметчик. – Ну что губы вывернул, рыба? Ему хоть в морду, а он тебе – улыбочку. В самооборону его – пожалуйста! Заста-авили его! Моя бы власть – всех бы вас. Ну ничего, не я буду, если не вытрясу из тебя мякину.

Не очень весело быть подручным при таком пулеметчике. Но Савось ничего – улыбается Головчене преданно, как опекуну. А Головченя и впрямь опекает его. Вот и сейчас: потянулся Светозаров за папиросой, пулеметчик отстранился и потребовал:

– Верни моему второму номеру сапоги – тогда получишь. Всучил свои краги, бутылки дурацкие. И так коротыш, ноги из-под мышек растут. Лежишь с таким и боишься: а вдруг обоих убьют. Немцы, как увидят, обсмеются до слез.

Светозарову надоели эти разговоры. Но возвращать сапоги он тоже не собирается. Взял он их не у партизана, а у полицая. Пусть поблагодарит, что жить оставили.

– Да ему же идут краги, – сердито отшучивается Светозаров, – гляди, какие они кожаные. На генерала похож Савось. Он и сам не хочет размениваться. Не так глуп Савось, как кажется в профиль. Правда, Савось?

На побитом оспой крючковатом лице Светозарова неподдельная убежденность, что Савось „не хочет”. И Савось действительно кивает головой.

---

[14] Дубина, лопух *(бел.)*.

– Блин ты коровий, – сердится на Савося Головченя и отдает папиросу дяде Митину.

Комендант глядит на возню вокруг его папирос весело-снисходительно.

– У меня тут писатель сидит, – поясняет он небрежно, – у Хотько в доме. Кто половчее наврет, получает папиросу и „московской" полстаканчика. (Пальцем тронул пухлые губы.) Книгу пишет: „Среди героев". Так называется книга.

– Тебе, герой, перепадает небось? – откровенно завидует Носков.

– А как же, за хлеб-соль. А за треп можешь и ты получить.

– И пойду. Я пойду, комвзвод.

Долго нет Носкова. И Царского, который ушел еще раньше, нет.

– Оба они там.

– Вот уж заливают. Хоть бы наклейку принесли.

Толе тоже завидно: посмотрят живого писателя. Наконец идут. Царский, размахивая руками над Носковым, который по плечо ему, внушает что-то. У каждого казбечина в зубах.

– А что вам рассказывать? – важничает Носков. – Лучше ты, Светозаров, расскажи, как самолет сбил.

Потрогал винтовку удивленного Светозарова.

– Из этой? Скромница, а! Сбил – и ни гугу. Хорошо, что я знал, в точности все писателю расписал. И как Савось танки немецкие подрывал. Сколько ты их там – три? Не помнишь. Хорошо, что я все помню. Что гогочете? Все, как надо. Отработал честно.

– Ох и трепло ты, оказывается! – восхищается Головченя. – А он что? Все записал?

– И про бороду свою прочитаешь. Мол, все немцы знают Головченю, бороду его. В Берлин Гитлеру докладывают каждый день: „Бьет нас Борода. Как быть дальше?"

– Ну, а про себя?

– Там будет сказано, – вмешался Коренной. – „О себе этот мужественный, широкоплечий мститель не сказал ни слова. Но видно было по шрамам на спине и ниже..."

– Ой, убил!.. – Головченя чуть не задохнулся.

Взвод снова на ногах. Солнце будто остановилось, и потому кажется, что не будет конца дороге, песчаной, ускользающей из-под ног. Когда выходили из лагеря, белье на тебе было приятно жесткое, „поджаренное". Теперь оно липнет к спине, как пластырь.

Что за процессия впереди? Волы, что-то большое, люди мечутся. Ага, котел волокут, давно поговаривали о партизанской мельнице. Последнюю во всей зоне мельницу сожгли с самолета в прошлом году.

Ручные жернова выручают и жителей и партизан. Но попробуй намели ручными на все отряды.

Три пары волов тащат сани-волокуши, вдавленные в песок желтым от ржавчины локомобилем. Колесо маховое уцелело – будет крутиться. Двое дядек с палками, три партизана с винтовками – все потные до колен, все усмехаются счастливо. И взвод им улыбается.

– А самогон гнать можно будет? – интересуется Носков.

– Можно, – обещает дядька с палкой.

Деревня Пьяный Лес – в самой низинке. Никакого леса тут нет, но садов много. И девчат. Наверно, по три на хату. Стоят за калитками, сидят на скамеечках. Одеты по-воскресному, но скучноватые.

– Споем? – спрашивает Носков. Сипловатый голос его позвончел, а помятое некрасивое лицо будто изнутри засветилось. Шепчет что-то Коваленку, Головчене.

– Давай, хлопцы, – одобрил Пилатов. Любит он, когда у взвода хорошее настроение.

Там, где особенно цветятся платья и белеют лица, рявкнули: „Зачем ты, Машка?..” Слова-то, слова у этой песни! Можно подумать, что Баранчик ее сочинял. Смущенные девичьи лица пропадают за бородами улыбающихся дедов.

Царский гогочет, командир взвода тоже смеется, но неуверенно. Красивые глаза Пилатова вдруг заскучали, сердитыми сделались.

– Носков, Коваленок – в дозор! Шаляпины мне сыскались!

Деревня осталась позади. От леса идут человек десять. Царский, не останавливаясь, вскидывает автомат. Три раза, прикладом вверх. Ответить должны два раза – стволом вверх. Но там остановились, машут руками.

– Лявоновцы – ясное дело, – говорит Головченя, – пароля не знают.

„Лявоновцы” – отряд новый в этой местности, пришлый. Вооружены они слабо, бродят, как цыгане. Теперь и своих, ежели вахлак, обзывают: „ля-во-новец”. Но те, впереди, может быть, и не партизаны вовсе. Взвод, хотя и с некоторой настороженностью, идет навстречу незнакомым. Толя видит, как взвесил на руках свой пулемет Головченя и как нетерпеливо оглянулся на отставшего Савося. Никто ничего не говорит, но привычно прикидывают, как и где залечь, если... Нет, все-таки партизаны. Угадывается это не по одежде (на партизанах зеленого, немецкого не меньше, чем на полицаях) и не по оружию. Угадываются партизаны по тому, как идут, как держатся, как чувствуют себя здесь, между Пьяным Лесом и

Большими Песками. Полицаи на *этой* дороге, в *этом* месте шли бы иначе и держались бы не так.

Вот уже дозор – Носков и Разванюша – подходит к незнакомой группе.

– Из какого отряда? – спросил Царский, когда сблизились. Спросил грозно. Иначе он не умеет. Он и смеется грозно. Зато когда орет, гневно округляет и без того круглые „кавказские" очи, хлопцам весело. Но чужие-то не знают его и потому смотрят удивленно.

– Тихоновцы, – не без гордости говорит рыжий партизан, здоровила, под стать Царскому.

– Думали – лявоновцы, – замечает Носков, – птицу по полету видать.

– Мы давно из лагеря. Знаем, что пароли сменили, а как – не знаем.

Начался охотничий перекур. И разговор охотничий.

– Два эшелончика ахнули. Обмывали, замачивали на поселках. У нас так: за эшелон – неделю курортов.

– Наши подрывники тоже, – ухмыляется Носков, – как закатятся на поселки, хоть под конвоем их приводи. А подорвали али нет – у бабки узнай.

– Вы его чем кормите? – поинтересовался рыжий. А Носков улыбается. Весело ему быть злым, неприятным.

Отдыхали в Больших Песках. Козырек тени от штакетника узенький, жалкий. Ни деревца в этом селе. Но трава мягкая, истоптанная, даже на дорогу выползает. Пустынное село. Перейдет улицу женщина с ведрами, и снова ни души. Лишь два партизана – „чужие" – отдыхают в тени дома с заколоченными окнами.

– Пойти, что ли, попить, – говорит дядя Митин.

– Гляди, что и не дадут.

Это сказал „чужой". Он очень молод и очень худ. Взгляд лихорадочно-пристальный, как у чахоточного. Из сумки торчит голенище сапога. Одна нога, запеленатая бинтами, обута в лапоть.

– Подожгли бы немцы Пески с того конца, – говорит он, – я бы – с этого.

Коренной сразу вспылил:

– Больно сердит.

– А ничего не сердит. Ты вот пойди есть попроси. Со своим хлебом – пожуешь. А запить не дадут. Я местный, знаю этих. Видишь, хаты заколоченные, как гробы. Ты думаешь – где хозяева? В гарнизоне.

– Да что это за село такое? – удивился Молокович. Удивляется этот парень всегда очень бурно, до восторга. – Кулаки тут одни, что ли?

– Хэ, сказал! – Парень с сапогом в сумке поморщился. – Самые доходяги. На этих песках – разбогатеешь. И потом – староверы. Им бы только церковь да самогон, любому черту душу продадут.

– Ну это не факт, что староверы, – вмешался Головченя. Он из всего веселенькое извлечет. – Разванюша – тоже старовер.

Раз заговорил Головченя, отзовется Шаповалов. Так и есть:

– Какой он старовер? С одними усиками? Вот ты, с бородой, – да.

Распластавшийся навзничь Головченя улыбается, довольный, веселая цыганская борода его смоляно блестит, будто плавится на желтом сукне итальянского мундира.

– Нет, правда, почему так? – добивается чего-то Молокович. – Вот наши Броды – все в партизанах, почти все. А пять километров от нас деревня – полицаи. Да какие еще! В гражданскую и потом все они передовыми казались, а теперь злы-ые... И перед войной врагов у них полно было.

– Вот потому, может, и злые, что слишком много врагов было, – сказал Бакенщиков. Видно, это – продолжение спора с Коренным, потому что тот сразу откликается:

– Кому оправдание подыскиваешь?

Бакенщиков ответил не сразу. Снял очки, потер стекла о грудь. Глаза запавшие, усталые. Тихо, с какой-то тоской заговорил:

– Это мы умели: ни с чего человека жать, клепать и в глаза заглядывать: „Ага, уже зол, враг, значит!” А потом удивляемся: откуда?

– Правильно! – совсем неожиданно и очень громко сказал Светозаров. Бакенщиков даже вздрогнул, внимательно, будто узнавая, посмотрел на него. У этого Светозарова странные, не очень приятные привычки. Сам же расскажет новость, а подойдет кто-либо и о том же речь зайдет, Светозаров сделает вид, что впервые слышит: „Правда? Неужели?”

– Чего бы я съел сейчас... – затянул Головченя, который не любит длинных и серьезных разговоров.

– Бульбачки, – подхватил Носков и затянул по-бабьи жалостно: – Да нема, немашака, совсем дробненькая.

– Дробненькая, да всегда бывала, – несердито огрызается Головченя. – Это у тебя там, в Поволжье, год – густо, три – пусто. Потому ты и язва.

Солнце уже садилось, когда глазам открылись поселки. На холмах небольшие деревеньки, зеленые от садов. Одни всползают на холм, другие сползают, третьи в самой седловине – веселое, застывшее зеленое море.

Название у партизан всему этому – „курорты”. Сюда идут охотно. Все убеждены, что и девчата тут самые красивые, и яичница необыкновенная. Может быть, оттого, что по-особенному приветливы люди. „Немцев ближе узнали”, – считает Носков, которого ничем не купишь. „Культурнее, к городу поближе были”, – убежден „моряк”, очень ценящий такие вещи, как, например, шторы на окнах („У нас в Сибири...”). „Просто до войны лучше жили”, – гнет свое Бакенщиков. Коренной, тот ко всем старается быть справедливым: „Сколько нас тут ни ходит, а все-таки мы гости, а в Зубаревке, Костричнике – днюем и ночуем”. „Гости-то гости, – напоминает Шаповалов, – да за этими гостями по следу и немцы могут нагрянуть. Шоссе-то рядом. Что ни говори, хлопцы, а с белорусами легко”. „А ты сомневался?” – отзывается Головченя.

Царский первым принимает на себя взгляды и улыбки девчат, женщин, зычно отвечает на „добрый день”. Плывет, как парусник, кожанка потрескивает на распрямленных плечах.

В одном из поселков увидели Ефимова. Сидит с дядьками на скамеечке, покуривает. Пацаны, девчата стоят, с веселой уважительностью смотрят на Фому. Где-то тут и Алексей. Контрразведчиком брат заделался. Это хорошо, что у Толи – свое, у Алексея – свое.

Зарубин, увидев Фому, заорал „морским” голосом:

– Братушка!

„Братушка” смотрит приветливо, но в косящих глазах – ирония. И всем малость неловко. Нет в этом партизанского аристократизма – являться на „курорт” всем семейством, с командиром, и даже не с одним. Чтобы скрыть смущение, атакуют Фому:

– Культработку меж девок проводит.

– Поспал до вечера, выполз отдышаться. Наел будку – шапкой не закроешь.

Фома в долгу не остается:

– Всю перловку поели? Пришли организованно паронки лотошить[15].

– Не опоросился, Фомушка, пистолетик твой еще одним патрончиком? Все с одним ходишь?

– А зачем им патроны, когда ноги есть?

---

[15] Паронки – вареная картошка; лотошить – жадно есть *(бел.)*.

Застенчиков с опаской поинтересовался:

– Гоняют?

– Не очень, – усмехнулся Фома. – Но мы далеко не бегаем. Немцы на тот поселок, мы на этот, они – сюда, мы – туда. А вы надолго?

Спросил не очень гостеприимно.

Из дома вышел Кучугура, высокий, тонкий. Брови сросшиеся, черные. Поздоровался как-то одной улыбкой, скупой, короткой. Он даже улыбается исподлобья. Любит Толя таких, мрачно-замкнутых, чудится в них какая-то особенная сила.

Когда видишь этого человека, снова и снова думаешь, что отряд – это не только две роты, штаб. Придя в партизаны, и особенно после первого боя, Толя ловил себя на том, что удивляется: „И *этого* так панически боятся немцы?" Ну, винтовки, ну, пулеметы, изредка автоматы, даже танкетка. Но у немцев такого добра погуще, и им не приходится задумываться над каждым патроном, их вместе с бобиками и власовцами больше, чем партизан. А вот совладать с партизанами не могут. Потому не могут, что есть еще тайная армия в деревнях и городах. Попробуй вычерпай озеро, в которое текут подземные реки.

Кучугура один из тех, кто командует этой невидимой армией, через него она подключена к партизанской силе. Исчез бы этот человек, какая-то часть отрядной силы на время была бы потеряна: не всех связных знают даже в штабе. И хотя это так, нет мохаревской многозначительности на худом густобровом лице Кучугуры: просто видишь, что человек неразговорчивый, неулыбчивый, а где-то глубже вроде и застенчивый. Трудно представить и не хочется представлять, каким был бы Мохарь на месте Кучугуры. Партизаны – они и сдачи могут дать, а каково было бы бабе какой-нибудь, городскому человеку, для которого всякий партизан – высшая правда, справедливость, каково бы им было иметь дело с непроницаемо-важным Мохарем, на лице у которого так и читаешь: „Ври, но кому другому".

Алексей не любит, да и не умеет рассказывать, но Толя кое-что знает. Ему даже известно, что в городе есть у Кучугуры жена. Как и многие окруженцы, первое время он жил примаком. Но это у него серьезно, настолько, что Кучугура ходил в город, чтобы застрелить жену, когда узнал, что она „спуталась" с власовцем. Но не застрелил и стал еще молчаливее, неулыбчивее.

На поселках Кучугуру все знают, и если какие-нибудь пьяные от собственного геройства вояки начинают „бомбить" сундуки и погреба, „героев" пугают Кучугурой. Он не церемонится: отнимет оружие – и шагай, объясняйся со своим командованием. Умеет он разговаривать

с самыми буйными, не снимая автомат с плеча. Правда, за спиной у него всегда маячит внушительная фигура сердито-усмешливого Ефимова. И Алексей с ними.

А вот и Алексей. Чуб снова отращивает. Галифе умопомрачительные – широкие, небесно-голубые. Но и голубой цвет, и кучерявость – все такое будничное. Втиснул волосы зачем-то в кепку, натянул ее почти на уши. Зарубина бы сюда, в контрразведчики. Или Разванюшу.

Братья отошли в сторонку.

– Мама на аэродроме, раненых повезла, – сообщил младший, – сказала: забрать у Павловичихи подметки.

Толя выставил вперед ногу.

– Вздумала мне сапоги делать, – сказал почти издевательски. Но пальцы в порванном ботинке пошевелились благодарно.

– По дороге заглянем и к бабушке, – сказал старший. – Мне как раз в Зорьку надо, забрать кое-что…

Взвод ночевал в Фортунах. Поотделенно заняли три дома. Попросили у хозяина соломы.

– Мы вам, хлопчики, кожухи, постилки дадим. Кто хочет, можете на кровать. Баба на печь полезет. А мне все равно не спать.

„Баба”, такая же озабоченная и такая же виновато ласковая, как хозяин, сказала:

– Наш Вовка, внучек, прибегает вчера: „Бабуля, я и каля[16] твоей хаты погреб. А то не дай бог, немцы”. Разведчики ночью останавливались, сена натрусили. И дети стали, как мы.

– Правильно, хозяюшка, зачем та солома, – согласился дядя Митин.

А Носков все же поинтересовался:

– Беляков не водится в овчинах? А то не поладят наши с вашими.

– О, у нас чисто.

На пост Толю подняли на рассвете. Уже простоял час новичок Сашко, потом уйдет он, придет кто-то другой, а Толя будет еще час достаивать. Это неглупый придумал: менять не сразу обоих. Сразу после сна человек менее пригоден для боя, для войны. На два, на пять часов он выключился, ушел от всего и, проснувшись, все еще живет в каком-то другом мире.

– За этим лесом, – шепчет Толя и сам чувствует, что слишком громко шепчет, – наша Селиба, стеклозавод.

---

[16] Около *(бел.)*.

И не о том, что там – немцы, что оттуда они могут нагрянуть, думает Толя. Ему представляется скрипучая калитка и дверь дома. Даже ладонь, кажется, помнит косо прибитую дверную скобу…

– А мой дом – на Алтае, – шепчет Сашко. Толя видит его лицо: оно совсем не молодое. Но все называют новичка Сашко. Наверное, из-за улыбки: детски счастливая, она не уходит из глаз человека с той минуты, как его, сбежавшего из плена, привели в партизанский лагерь.

Для Сашко довоенное – вот где! А для Толи – в пяти километрах. Но сколько в мире должно измениться, чтобы можно было спокойно пройти эти пять километров, вбежать во двор, войти в дом, как в свой. В доме теперь – немцы. А может быть, они уже толпятся у машин, устанавливают на кабинах пулеметы. Десять, двадцать минут, и первая машина всползет на тот вон холм. Кто-то из селибовцев смотрит, как собираются немцы, полицаи, и думает злорадно, как когда-то Толя: „Ну-ну, езжайте, вас там встретят хлопцы”. А встретить немцев должен не кто-то особенно грозный, а Толя. И вот – Сашко. Немцам же представляется грозным, таинственным, страшным то, навстречу чему они едут.

Завтракать Толя не пошел с братом, хотя Алексей звал его. Впрочем, не слишком настойчиво звал. Не очень приятно напрашиваться к людям в гости всем семейством. Особенно здесь, где все знают врача Корзуна.

Злой на всех, Толя сидел на скамеечке и голодал.

Утренние дымы тянутся в чистое небо, чопорно раскланиваются. Что-то варится-жарится, а Толя голодает.

– Корзун, завтракал? – кричит Головченя. Он вышел с ведром умываться. Интересно, бороду он моет? Савось с кружкой стоит и тоже, дурила, орет на все Фортуны:

– Давай с нами, Корзун!

Бабка с решетом в руке, переходившая улицу, остановилась и заголосила, как над покойником:

– А божечка, ды гэта же докторов! Тоже ходить, бедненький, голодненький, с винтовочкой. Идем жа, детка, идем в хату… Дай бог здоровья папке твоему…

Чтобы тетка замолчала, Толя почти побежал за ней, красный, злой. Но старуха не унимается:

– Ты смелее будь, а то и Алеша такой. – И тут же – не совсем логично: – У хороших батьков и дети хорошие. А то придет другой, бог знает что требует.

Вошли в хату. Этого еще не хватало – девушка! И хуже всего – красивая. Взбивает подушки, желтая коса за спиной тяжело вздрагивает. А баба:

– Тосечка, это Корзунов, докторов младший.

Тосечка как-то сбоку глянула и осталась такая же строгая. А Толя дураком выглядит: будто не баба, а он сам, войдя, завопил: „Я докторов, младший!"

– Я там обожду, жарко у вас, – сказал Толя и выскочил за порог.

Что его будут узнавать в поселках, что будут говорить – „докторов", он знал. И даже с удовольствием представлял, как увидят его партизаном. Но чтобы вот так: „бедненький, с винтовочкой".

По улице идет Коваленок. С ним грузный, угрюмый Комлев и еще – Сашко.

– Хочешь с нами? – предлагает вполголоса Коваленок. – В Лесную Селибу. Пистолет заберем – знаю, у кого есть. Может, бургомистра встретим. Давно не виделись.

Разванюша оглядел себя, начиная от начищенных хромовых сапог. Будто на вечеринку собрался. Увидел парня с гармошкой.

– А ну, покажи.

Форсисто одетый парень, чем-то очень похожий на Разванюшу, опасливо топчется посредине улицы.

– Попросили на свадьбе сыграть, – виновато поясняет. Под локтем у него, где носят автоматы, – гармошка.

– Пляшете? – сказал Разванюша. – Добрые колеса у тебя (это про сапоги). Дай (это про гармонику).

Парень неохотно подал, а руки держит вытянутыми, готовый принять обратно. Коваленок критически осмотрел инструмент, будто покупать собрался. Снял с плеча винтовку, приставил к забору и сел на скамеечку. И сразу – вот он! – селибовский Разванюша, что резал на вечеринках „Кирпичики". С них он и начал. Девчата появились – одна, другая – как мотыльки на огонек. Тосечка, с желтой косой, тоже здесь. Но уже не Толя, а она смущается: смотрит, слушает из-за калитки. И вообще девчата в сторонке держатся, не они, а бабы, старухи поближе к музыке. И хотя Разванюша чертом старается, глаза у старух печальные, далекие.

Постепенно Разванюша сбивается на протяжное. Ему уже помогают хлопцы. Молокович, Зарубин тянут очень серьезно, с упреком:

Молодые девушки
Немцам улыбаются.

– Это про городских. – Голос в толпе девчат, убежденный, серьезный. А хлопцы беспощадны:

Позабыли девушки
Про парней своих.
Только лишь родителям
Горя прибавляется,
Плачут они, бедные,
О сынах своих.

Бабы действительно плачут. Слезы у них близко. Особенно теперь. Но Разванюша совсем не настроен печалиться с утра. Он обрывает музыку, отдает инструмент парню. А „Толина" бабка тут как тут.

– Идем, сынку.

В хате уже прибрано, светло – точно дух святой пролетел. На столе – яичница в два солнца. А сам святой дух – с желтой косой – у окна, из кружки поливает вазоны. Толя понимает, что надо сказать что-то. Сморозить чушь, смело, весело, как это умеют взрослые. Но для этого надо, чтобы язык не прилипал. Толя молча, с лицом убийцы, просунулся к столу и уселся над сковородой. А желтокосая, строгая, не дождавшись того, чего, наверно, ждала от партизана, схватила ведра и – вон из хаты.

– Ну, как вы тут живете? – откашливаясь, спросил Толя у бабки.

Когда, позавтракав, вышел на улицу, Разванюши уже не было. На скамеечке сидит Алексей, держит винтовку меж колен.

– Я сказал Коваленку, что со мной пойдешь, – сообщил старший брат нахально. – Тоже мне, вчетвером за одним наганом.

Время здесь, в нескольких километрах от „варшавки", ползет мучительно медленно. Жадно ждешь вечера. А за день налилось столько света, что уже и не представляешь, как сумерки смогут вытеснить, зачернить его. Это все равно что закрасить океан.

Но вот тени от домов и заборов стали плотнее, повеяло издалека прохладой. Уютнее сделалось в мире, точно в комнате, когда прикроют ставни и зажгут свой, домашний, свет. Вечер пахнет теплым молоком, навозом, голоса сделались спокойнее, веселее. День прожит, а ночь – наша, теперь пусть другие, те, что позаползали в бункера, – пусть они ждут.

Взвод ночует в Фортунах.

А Толя идет. По сторонам дороги – рожь – ночная, затихшая. Все так просто и почти нереально, как во сне. Война, они, два брата, идут с винтовками. Пока все тихо, но неизвестно, что начнется через сто метров, через час, через три.

– Эх, отправить бы тебя с мамой за фронт.

Толя тоже сказал бы: „Эх!" Он тоже не прочь бы один ходить здесь, зная, что самые близкие люди – далеко, в безопасности, ощущая, что частица его самого недосягаема для немцев, неуязвима.

– Лети сам, если такой умный, – ответил брату. И спросил: – Не знаешь, зачем Царский привел нас сюда?

– Из города Кучугура кое-кого ждет. Вы – на всякий случай. Увидишь потом.

Даже лучшие из старших братьев – нахалы. Это известно всем, кроме них самих.

В Зорьке светится одно лишь окно – в крайней хате. Видно с улицы, что за столом кто-то очень беспокойный: коптилка моргает, вот-вот погаснет.

– Алеша, ты? – внезапный голос в темноте. – Хлопцы тут у меня. Я вот дежурю. А кто с тобой? Младший, смотри ты!

Толя подошел ближе, поздоровался. А дядька рад, что не один в ночи, – говорит, говорит, чтобы не ушли.

– Как раз из вашей Селибы мед переслали. Знаешь кто? Жигоцкий. Литровую бутылку. Коваленок как увидел, хотел об угол, а теперь сидит, чай с медом распивает. Знаешь, что на бутылке приклеено: „Только для раненых".

– Ого, и Казичек смелеть стал. А бумажка – совсем по-ихнему. Долгонько, наверно, совещалась семейка Жигоцких. Куда ни кинь, а репутацию надо если не подчистить, то подсластить. Заглядывали в кадку с медом, прикидывали. Литровая бутылка – ого, это не мало, сколько чайку можно выпить! Конечно, если здоровила сядет – вылакает быстро. А вот раненым надолго хватит. Раненому что, две-три ложечки – и сыт.

О, как возбужден был, наверно, в тот день Казик! С какой обидой мысленно разговаривал с теми, кто не верил ему. А ведь он рад был бы, если б Корзуны, Разванюша и все, кто знает про то, что происходило в Лесной Селибе, если б все они накрылись. Ему не жалко для них и геройской смерти, только бы не вернулись в Лесную Селибу.

– Зайдите на медок, – приглашает дядька.

Но Алексей мед есть не станет, особенно присланный Казиком.

В другом конце поселка брат вошел во двор, постучал в окно. Разговор полушепотом, завешиваются окна, зажигается коптилка. Бабушка. Совсем-совсем домашняя. Привычно жалуется, что „здоровья нема", что „помру скоро". А хозяйка – молодая учительница – глядит чуть-чуть виновато, как бы прося у Толи и Алексея извинения

за их же бабушку. С родными дочерями бабушка ужиться не умела, а с чужой женщиной душа в душу: „Сонечка", „доченька".

Толе неприятно думать, что он может навлечь несчастье на дом женщины. Но женщина, хотя и посматривает на завешенные окна с тревогой, непритворно рада. Это знакомо Толе: он и сам, когда жил дома, сделал бы что угодно для любого партизана. И все же не по себе ему: словно его принимают за кого-то другого.

Уходили, поужинав хорошенько, по-домашнему. Хозяйка передала Алексею какую-то записку.

– Хирургические инструменты прислал. И медикаменты снова. Заберешь теперь, Алеша?

– Буду возвращаться.

Дал прочесть записку и Толе. Почерк нарочито корявый.

„Посылаю кое-что! До встречи! Эсминец „Керчь" эскадры топить не будет!!!" Восклицательных знаков больше, чем слов. И „эсминец „Керчь". Конечно же Владик Грабовский. Что попало говорили о нем, а, оказывается, зря!

А хозяйка рассказывает:

– Хвойницкий, бургомистр, чуть не отправил его в Германию. Не верил, что Грабовский не знал про ваш уход. Ох, и бесился бургомистр, маму вашу ругал: „Так обвела! А я верил в ее культурную биографию". Все грозится: „Поплачет еще, попадутся ее сыны, бандиты, – жилы буду тянуть".

На улице уже посветлело.

– Может, не идти сегодня? – раздумывает Алексей. Это потому, что Толя с ним.

Следующий поселок совсем маленький – несколько хат. Долго не отзывались, не открывали. Потом бабий шепот:

– Ой, Алешенька, а мы думали опять... Позавчера, только вы с Фомой со двора, они во двор: „Партизаны, партизаны?" Я чуть не умерла, думала, вас заметили.

Женщина прикрыла дверь. В сенях совсем темно. А она с горестным упоением про то, как приходили, кто приходил. Из хаты – мужской угрюмо-спокойный голос:

– В дом хоть впусти. Ну были, ну что?

Алексей объяснил несколько виноватым голосом, что хотел бы кое-что взять из чемодана.

– Вот пойдете с моим в его склад. Ой, Алешенька... – Слова у женщины свиваются в ниточку, ниточка тянется, тянется. Но мужской голос время от времени обрывает ее:

– Дала бы лучше поесть людям.

Алексей сказал, что сыты, поужинали.

– Ой, Алешенька, не говорила я тебе. Чуть не забили моего. Приходили какие-то из незнакомого отряда.

– Знаешь ты, что из отряда. – Голос мужа.

– А лихо бы их ведало! И что они к нему привязались? Где боты да костюм? Может, кто подсказал про ваш чемодан. К стенке ставили. А он: стреляйте, нету – и все. Я чуть не сказала, а он такой у меня…

Алексей молча закуривает. Подносит зажигалку хозяину. Толя успел рассмотреть заросшее щетиной некрупное лицо.

– Скажу Кучугуре, – говорит Алексей. – Достается вам тут на самом перекрестке.

– Ой, Алешенька! Хоть бы днем только, а то и ночь приходит – дрожи.

Подметки – плотные, каленые, довоенные – уже в кармане у Толи. Покупал папа – не думал, что партизану их носить. Теперь веселее и на ботинки свои смотреть, хоть они совсем расползлись, размокли, пальцы лезут наружу.

Братья стоят на опушке, всматриваются в шоссе, уходящее куда-то в туман, в твое детство, где не было ни немцев, ни самой смерти – о ней не думалось. Выблеснуло наконец солнце – будто взорвалось.

– Машины скоро пойдут, – говорит Алексей. Ему куда-то еще надо, но он колеблется. Оттого, конечно, что Толя здесь.

– Пальнуть бы, – говорит младший.

– Много тут таких стрелков!

И вдруг – как нарочно, как в кино, как по заказу: перед глазами то, что, казалось, навсегда осталось в прошлом. На шоссе трое с лопатами. Пронзительно знакомые фигуры: сутулый Голуб, забегающий наперед ему маленький Повидайка. А шагах в трех сзади – он, Казик. Одной рукой придерживает лопату на плече, другой широко взмахивает поперек хода. Выйти бы к нему. Толя уже почти видит испуг на лице Казика, видит, как на побелевшее лицо ползет поспешная радость, он уже слышит голос Казика – голос человека, дождавшегося счастливой встречи. Чего доброго, целоваться полезет. Толя посмотрел на брата. Вот растерялся бы Алексей, и чем бы он больше краснел, тем увереннее делался бы Казик. Да, с братом такое лучше и не начинать. Был бы здесь Разванюша…

А Казик догнал Голуба и говорит что-то, размахивая рукой. Все, как четыре месяца назад. Невольно ожидаешь, что вот-вот покажутся еще две фигуры с лопатами. Знакомая – Алексея. И еще фигура: до жути чужая, самая незнакомая в мире – твоя.

И тут в самом деле показались еще две фигуры. Зеленые. Немцы! Что-то сдвинулось, завертелось, набирая стремительность, захватывая Толю, Алексея.

Немцы сейчас почувствуют, что их видят. И тогда что-то случится.

– На мост, смена, – неуверенно шепчет Алексей. Но слишком много их. Идут по одному, по два.

Толя может выбрать любого. Вот этого, что несет пулемет. И спешащего за ним, сутулого, прихрамывающего. Любого из двадцати. Нет, их уже больше. Уходят, уходят влево. Теперь Толя может все. Но только выстрелит, сразу все изменится, начнется другое, неизвестное. Страшно терять власть над происходящим, но страшно и опоздать, упустить что-то…

– Стрелять будем? – шепчет он брату, который тоже за деревом. Алексей не отвечает, но спина ею, его озабоченный профиль запрещают. Немцы уходят. Пальнуть, что ли, не дожидаясь брата? Нет, еще идут. Пятеро. Эти идут уверенно. После всех – не боятся. Даже голоса слышны. Один из пятерых держится поодаль, сзади. Чем-то на Казика похож. Тем ли, что хитрит, других вперед пропускает? Или походкой?

Оттого, что все в нем требует: уходи, а Толя стоит, оттого, что он сейчас будет стрелять, что он убьет человека, – все кажется сном. Самое реальное – страх перед тем, что начнется, когда прозвучит первый выстрел. Сейчас…

– Я того, последнего, – шепчет Толя. Целится в немца, чем-то похожего на Жигоцкого, и боится, что старший брат помешает. А, была не была! Взрывом грохнул выстрел. Привычный толчок в плечо, звон в ушах. Человек на шоссе подпрыгнул как-то очень не по-взрослому и упал. Позже других упал. А других уже нет. Есть только грохот, кричащее, заполнившее весь мир эхо да повизгивание пуль вверху. Алексей, оглянувшись, выстрелил несколько раз в сторону шоссе. Тогда и Толя перезарядил и еще раз выстрелил, не целясь, в *грохот* выстрелил. Брат толкнул его плечом. Ага, бежать!

– Быстрее, ну, быстрее ты! – Голос Алексея сзади. Грохот будто переместился в самого Толю, распирает его. Нет, это радость распирает его. Нет – страх. Нет – усталость, страх перед усталостью. И радость, что он, Толя, стрелял, что убил немца!

– А мой упал! – крикнул Толя.

Но Алексей очень хмурый. Даже злой. На лице так и написано: „Возьму я тебя другой раз!” Завидует, что не он, что младший выстрелил первый и, возможно, убил немца.

Добежали до поля. Стрельба стала глуше, дальше. Видны уже зеленые поселки на холмах. Алексей остановился, прикидывает, куда бежать. И тут застучали выстрелы впереди – густо, торопливо. Значит, немцы и в поселках, а те, что на шоссе, совсем не на мост шли.

– Ну вот, попались! – Алексей показал на машину, тотчас провалившуюся за холм. И все как бы старается напомнить: „Говорил я тебе!" А что говорил? Ничего не говорил. Конечно, не надо было идти вдвоем. Только бы на этот раз не случилось непоправимое! Но брат тут все знает. Почему он стоит, чего ждет?

Впереди – пожар. Дым белый, сухой – так горят соломенные крыши.

– Зорька, – сказал Алексей.

Стрельба и сзади, от шоссе, надвигается. Видно, идут цепью. Невод растягивают. Алексей как-то всем корпусом показал: туда! И пошел, побежал левее, вдоль поля, а потом совсем к шоссе завернул. Ведь это навстречу стрельбе, навстречу немцам! Но Толя послушно бежит за братом. От усталости щемят зубы, сам себе кажешься гулким и нескладным, как тот ржавый котел, что тащили по дороге волы. Бьют и бьют выстрелы, ты весь гудишь, как металлический. И сквозь этот гул и грохот прорывается тоненькая мысль-воспоминание: в этом густом осиннике хорошо растут красноголовики, а вот и толстый дуб, Толя его помнит, в прошлом году он собирал желуди, приносил домой, показывал матери: „Целый пуд, высушу для кабанчика".

Мама теперь на аэродроме, в эту минуту чем-то занята, что-то делает. Не знает, – хорошо хоть это! – что Толя и Алексей здесь, что они вдвоем, что их гонят немцы, что бежать уже некуда. И это случится вблизи поселка. „Слышали, сынов Корзунихи убили? Привезли, возле комендатуры лежат. Обоих. Бедная. А бургомистр аж пляшет".

Толя вспомнил, что у него даже винтовка не заряжена. Загнал патрон в патронник. Брат впереди идет, это раздражает, потому что невольно прикидываешь: кого первого и обоих ли? „Слышали, сына докторова убили? Старшего. Нет, кажется, младшего. Идем глянем. Там на шоссе лежит".

И все из-за Толи, дурака! Прав Алексей.

Стрельба осталась в стороне, сзади. А впереди уже просвечивает шоссе. Толя присмотрелся: километров пять пробежали! Оттого, что так бежали, так устали, оттого, что день только начинается, ощущение такое, что опасность не отступила, а, наоборот, – приблизилась. Особенно когда сидишь на земле, ничего за кустами не видишь. Толя поднялся.

Стрельба затихла не скоро. Она то приближалась, то уходила в сторону. Ждали долго. Почти до вечера. Алексей тут, на „курортах”, научился ждать. И молчать. Потом осторожно пошли. И все кончилось очень просто – вышли к Фортунам. И хотя в Фортунах ничего не изменилось, остается такое чувство, что очень, очень многое стало другим. Все стало другим.

– Что горело? – спросил Алексей у часовых – Светозарова и Молоковича, лежавших у пулемета.

Повернув горбоносое, рябое от оспы лицо, Светозаров посмотрел с земли, но так, будто сверху вниз посмотрел.

– Сарай горел, в котором Коваленок прятался. И этот, ваш, ну, что тоже из полиции пришел... Комлев. И Сашко сдали. Вышли с поднятыми ручками.

II

Схватили хлопцев! Теперь они в Селибе. И чистая случайность, что Толя не с ними. В эту минуту он видел бы комендатуру, свой дом, школу и его видели бы, избитого, беспомощного. Оттого, что Толя мог теперь быть не здесь, среди своих, а *там,* все, что у него перед глазами, не кажется устойчивым, настоящим.

В деревне только и разговоров о том, что случилось в Зорьке. Появление Толи заметил, кажется, лишь командир взвода Пилатов. Он обрадовался, но как-то очень сердито обрадовался. И тогда все вспомнили, что Алексей и Толя тоже *оттуда.*

– Убили, немца убили хоть одного? – грозно спрашивает Царский. Толя уверен, что убил, но именно потому скромничает, не говорит твердо, а это подогревает сомнения в Царском. Он и без того переполнен гневом: – Подняли ручки! Партиза-аны!

И снова кто-то напоминает, что Разванюша и Комлев из полиции.

– Да они же по заданию в полиции были.

– Знаем это „по заданию”.

– А-а, кто только не становится теперь партизаном!

Толя с отчуждением смотрит на хлопцев. Судят о случившемся поспешно, недоверчиво, будто назло кому-то. Но ведь не трус же Разванюша. И не из тех, кто покупает предательством жизнь. Да, невероятно – сдались в плен. Неужели и Толя, когда бы пошел с ними, сдался?.. Выбежали из дому – первая машина уже в деревне! – побежали к сараю, немцы трассирующими подожгли. Толя не верит, что и он бы... Но ведь за час до того и Разванюша конечно же не верил, что живьем отдаст себя в руки немцам, бургомистру.

Толя обрадовался (и за Разванюшу и за себя: все становилось на место!), когда Головченя сказал вдруг:

– А может, пожалели деревню, людей?

– Пожалели! – противно хмыкнул кто-то.

– Нет, ты, Головченя, тоже не то, – горячо заговорил Коренной, – да, дети, да, жалко... Готов, что угодно. Но не сдаваться же нам. Немцам только и надо, чтобы потом аккуратненько, без помех, этих самых детей...

– А кто говорит сдаваться? – прозвучал сердитый бас. И Фома здесь. Сидит на бревне, курит, угрюмый, большой. – Люди к нам вон как! Да хоть бы и как, люди же, дети, наши люди. А ты пих-пах, да драла. Воюй, а не дразнись.

Но ведь это и о Толе. Могли, очень даже могли немцы сжечь деревню. Они и без повода это делают. Еще хорошо, что близко от шоссе эти поселки и немцы не считают их партизанскими, берегут для зимнего постоя. Но это сегодня так, а завтра... Сколько уже сожгли!

– И так и этак, а убивать, жечь они будут, – заговорил сидящий у забора Бакенщиков. „Профессор", по обыкновению, трет свои очки о худое, высокое колено и говорит тихо, но слышат его все. – Они еще только разгон берут. А что было бы, если бы они действительно победили? Эта война для России тяжелее, чем для кого. Когда другие объявляли города свои „открытыми", ну... не входящими в зону боя, они знали: впереди у немцев Россия, немцы встретятся еще с русской силой. А нам уже не на кого надеяться.

Впервые Бакенщиков говорит то же и так же, как Коренной. Даже удивительно.

– А вот я, – гудит Фома, – я Коваленка виню только за то, что он – растяпа. Являются сюда задавалы, даже караула не выставят. А теперь и сам пропал, и хозяев немцы перебили, сожгли. Всю семью Шардыки. А могли бы и всю деревню, если бы не спешили, не боялись.

– А я что говорю! – Бакенщиков даже поднялся с земли. – Главное, что мы впустили врага в свой дом. Проспали! А когда уже впустили, тогда все не просто: рядом дети, женщины. Обвинять во всем Разванюшу, которого сейчас живьем поджаривают, – это легко, это просто.

К ночи кое-что стало известно. Когда везли партизан в Селибу, когда уже виден был завод, Комлев выбросился за борт машины вместе с немцем. Пока остановились, он почти отнял у немца автомат, но тут его и пристрочили к земле. Толя знает, что толкнуло Комлева и почему именно, когда въезжали в Селибу. Не захотел, чтобы

селибовцы увидели, запомнили его, своего партизана, беспомощным, жалким.

Разванюша не бросился на дорогу. Но он тоже смог остаться в глазах людей партизаном. В поселках уже знают, как стоял Разванюша перед бургомистром: в окровавленном белье, босиком, а на лице издевательски-ухарские (будто нарочно для этого случая) усики. Бургомистр – прыщавая собака – дергался возле него, кричал:

– Ку-уда девал наших братьев?

Его „братья” – полицаи, которых увели из Селибы в ночь, когда и Толя уходил в партизаны.

– Расстреляли, – звонко ответил Разванюша. Жители видели, что он улыбался. Улыбался, пока не упал.

И еще известно: в Лесную Селибу привезли тяжелораненого немца. Толя знает, чей он.

А во взводе многое переменилось с той минуты, как услышали, что произошло в Лесной Селибе. Коваленок и его товарищи будто наново стали партизанами.

Лишь трое суток минуло, как пришли сюда. Неужели только три дня?

Толю нашел командир взвода Пилатов, отвел в сторону.

– Задание тебе.

Ага, не забыто, что именно Толя стрелял в немца.

– Пойдешь в отряд. – Пилатов строго и озабоченно сводит черные, совершенно женские, брови. Толя посмотрел на командира подозрительно. Отсылает? Да, помнит про вчерашнее. Потому и хочет отослать в лагерь.

Чужие матери далеко, и Пилатов не боится их глаз. А Толина здесь. Женские у Пилатова не только брови.

– Идем к Царскому. Пакет понесешь. Привет там. И племяннице моей.

Это – Лине. Она с Толиной матерью в санчасти. Пакет в самом деле важный или важнее привет?

Командир роты умывается, широко расставив ноги и фыркая, как табун лошадей. Толя обязан доложить, что прибыл и так далее. Но он никак не может привыкнуть к этому. Неловко ему играть со взрослыми. Когда и вправду играл в „красные” и „синие”, хорошо знал воинский устав. Но то была игра. А тут – неловко.

– Привел? – загремел Царский и скосил глаза из-за полотенца. – Его?

Кажется, не очень одобрил выбор командира взвода.

– Ладно. Отнесешь в штаб пакет. Командир, комиссар, начальник штаба – ни одна рука кроме не должна касаться пакета. Понял? – Царский посмотрел на часы: – К двенадцати ноль-ноль ночи. Ясно?

– Может, велосипед ему дать? – вмешался Пилатов.

– Какой тебе велосипед? Песок, болото. Возле Богуславки будешь идти – каратели там ползают. Как хочешь, а пакет чтобы им не попал. Проглоти, на небо забрось, а потом уже о себе вспомнить можешь. Счастливо!

Посмей, мол, несчастливо. Со двора вышли с Пилатовым.

– Коня в Больших Песках возьмешь, – говорит командир взвода. Его, кажется, очень обеспокоило напоминание о Богуславке. Недавно там убили двух разведчиков.

– Счастливо, Толя. И партизанам про пакет – ни слова.

То, что у Толи важное поручение, что он идет один и никто не должен знать с чем, – это сразу отдалило его от всех. Прошел через деревню, мимо часовых.

– В лагерь? – удивился Застенчиков. И, наверно, подумал: „К мамке отправили".

Толя шел по петляющей дорожке через желтый от лютиков луг. Потом начался сосновый бор. Через лес идешь, и все время мысль: а как там солнце? Вышел на дорогу пошире, увидел его, молодое, еще с утренним румянцем, и веселее стало: не так одиноко.

Но вот потянуло горьковатой гнилью, начались ольховые заросли. Кусты не вмещаются в канавах, наползают на дорогу. Где-то недалеко – Богуславка.

Может, вот здесь (ольшаник помят) убили разведчиков. Возвращались втроем из-под города, дремали в телеге. Уцелевший потом рассказывал:

– Открыл глаза, гляжу: каски в канаве. Пять метров от меня. Кру-углые такие. Одна при одной. И крикнуть не успел, только покатился через хлопцев. Проснулись, а тут и ударили. Не знаю, как я уцелел. Автомат остался на возу.

Человек даже автомат бросил и не стеснялся говорить об этом – так страшно там было. Каски, каски, серые, круглые, слепые, одна возле другой. Наверно, вот так же было настороженно тихо. Толя невольно сдерживает дыхание. Левой рукой не машет, чтобы не терся рукав плаща – противный, резкий звук! И чем больше сдерживает себя, тем быстрее хочется идти, бежать хочется, чтобы выйти из-под грозящего, нависшего.

Старается идти по середине дороги, подальше от кустов. Сунул левую руку в карман: надо успеть, если вдруг выскочат на дорогу! В

памяти стоит читанное когда-то: белые поймали красноармейца с пакетом, красноармеец конверт в рот и незаметно сжевал, сургуч выплюнул, а белые решили – язык откусил... У Толи полный рот слюны. Сплюнул, а она – снова. Левая рука бумагу держит, правая ждет, когда сдернуть винтовку, а локоть уже почти ощущает удар о землю. Колени тоже напряжены, ждут, когда бежать... Бумагу в рот – и бежать, и пока будешь бежать – глотать ее, глотать.

Остановился и услышал, что кругом тихо-тихо. Шум в нем самом. Взял винтовку под мышку, по-охотничьи. И еще больше поверил: сейчас, за тем поворотом!

Взмокший, забывший об усталости, о времени, прошел Толя гнилое место и вдруг оказался на опушке – солнечной, открытой. Обычно неприветливые, расползающиеся по косогору Большие Пески показались ему такими родными, своими. Бросился на траву и замер, ощущая, как вливается в ноги, в плечи сладкая усталость. Попить бы.

Вышел в двенадцать, бежал часа четыре. Осталось километров тридцать. Толя вскочил на ноги: надо спешить, а когда совсем устанет – взять подводу и гнать. Тут бы, в Больших Песках, коня попросить. Толя шел через деревню и прикидывал. В этот двор зайти? Или в следующий? „Отвези, дядька, в Зубаревку. Надо, очень надо”. Сказать просто, дружески. А если тот: „Нашелся еще один!” Что тогда, как поступить?

Деревня осталась позади. И тут Толя увидел коня. Наверно, с таким волнением, с такой жадностью смотрит на коня волк. И с таким же опасением, наверно. Худющий высоченный мерин стоит на лугу и покачивается, глаз мутный, дремлющий. Опираясь рукой на винтовку, Толя попытался взобраться. А мерин стоит и все дремлет, пошатываясь. Хоть бы пять километров, в Костричнике можно у коменданта попросить подводу. Не будь у Толи пакета, он не осмелился бы и такую клячу брать. Да еще без спроса.

Наконец лошадь качнулась вперед и тронулась. Держась за жесткую, как осока, гриву, Толя ехал. Кости, ребра мерина ходили, как рычаги. Сидеть на этих твердых, острых рычагах не бог знает какое удовольствие. Толя попытался остановить нескладную машину, но остановить ее так же не просто, как сдвинуть с места. У дороги отдыхают партизаны. Все четверо смотрят с веселым удивлением на Толю. Бодро постукивая каблуками в твердые бока своего скакуна, мужественно пытаясь стереть с лица гримасу боли, Толя протрясся мимо.

– Эй, казак, – крикнули вслед ему, – сними с нее шкуру, легче будет!

А на дорогу с огорода выбежала женщина. Наверно, хозяйка мерина. Худая, высокая. Толю не смущает, что он на чужом коне: не на пропой, для дела взял.

Женщина решительно распростерла руки: не пущу! Толя пытался попридержать коня, тянул за веревку, за гриву, но все равно наехал на женщину. Та схватила мерина за морду, он наконец остановился и тотчас перешел на боковую качку. Костлявая, но еще крепкая на вид старуха завопила, точно разбойника поймала:

– Ты ку-уды! Ах ты, да я, да мой…

– Бабушка, мне только до Костричника. Очень, очень надо.

– Знаю я вас.

– Правда, очень срочно.

– Малый, а уже пропить.

– Ну что вы, тетка!

– Знаю, у меня у самой сын в партизанах. Дурни вы, – баба отпустила морду коня, – думаешь, мне жалко, только название, что конь. Ты и ездить не умеешь, посечешься. А там – синие окна – подвода во дворе. Холера Ануфрия того не схватит, если подвезет человека. Сидят на печи, бороды вшивые отпустили. А наши дети… Иди, иди, не соромейся, не бойся, яки ж ты партизан!

Толя за что-то поблагодарил старуху и отправился в деревню. И правда – конь в оглоблях. Переступив порог хаты, Толя сказал, напрягая голос, стараясь не смутиться:

– Хозяин, отвези в Костричник. Или в Зубаревку…

Дядька под образами крошит табак. И правда – не старый лицом, а заросший, краснобородый. Какой же он старовер, если с табаком знается? Или это на обмен партизанам? Свирепо нажимая ножом, краснобородый отозвался. Протяжно, по-бабьи:

– Мно-ого вас ходит, когда вы уже хо-одить перестанете!

Толя сразу перестал думать о том, как бы не покраснеть, не смутиться. В словах, в голосе, во всем облике молодого бородача было знакомо злое, тупое – полицейское. Толя вышел из хаты, настежь распахнул скрипучие ворота, вскочил на телегу и выехал на улицу. Кровь стучала в уши. Толя словно оглох. Он уже трясся по полевой дороге, когда увидел, что дядька бежит следом. Не стал придерживать коня. Бородач догнал довольно легко. На губах, в глазах – улыбка. Толе уже неловко, что заставил человека бежать.

– Что же ты не сказал, браток, что до Костричника?

Напоминает, что только до Костричника. Ловкий. Толя не ответил. Небо, такое голубое утром, начинает слепнуть: заволакивается ровной, мертвой, как бельмо, белизной. А солнце большое, оранжевое,

без острых лучей – как полная луна. К вечеру идет. Хорошо бы до Зубаревки доехать, но подумает рыжий, что обманывал его.

Толя соскочил с телеги, как только дотряслись до Костричника. Бросился искать коменданта. Пакет придавал ему решимость. Отозвал коменданта из круга девчат, баб, стариков. И пока комендант с подчеркнутой ленцой шел к нему, Толя рассмотрел человека, сидящего на скамеечке. Желтый кожан, пистолет на боку, высокие охотничьи сапоги, любопытные веселые глаза – это и есть писатель, живой писатель! Постоять бы, посмотреть бы! Но все повернулись, на Толю смотрят и, расступившись, дают писателю смотреть. Комендант рассержен, что его побеспокоили.

– Ну, что тебе? – И сразу взвился: – Ко-оня? Нет у меня коня для тебя.

Орет, чтобы все слышали. Толя знает, как теперь все смотрят вслед ему. И голос коменданта:

– У нас – порядок!

Толя шел по улице, чувствуя, как что-то горячее и горькое поднимается в нем, щекочет в горле. Увидев под навесом вислоухую лошаденку, скучающую над охапкой сена, свернул во двор, На крыльце девочка скребет молодую картошку. Толя вспомнил, что ему хочется есть.

– Вынеси воды, – сказал он девочке, – позови батьку.

А хозяин уже на крыльце – маленького роста, подвижной, чем-то похожий на взводного ездового Бобка. И видно, что покладистый, добряк. Впрочем, все равно: не для себя хлопочет Толя. Ночь мчится, как черная туча при ветре, а Толя ползает тут по деревне. Конечно же не успеет.

– Дай, хозяин, коня до завтра. – Толя не поднимает глаз, так ему легче справиться с клубком, подступающим к горлу. – Утром пригоню. Правда.

– У нас, браток, комендант распоряжается, очередь.

– Дурак этот ваш комендант.

– Нашто говорить! Хлопец справедливый.

– Идите скажите, а я буду запрягать, мне некогда.

Толя снял со стены хомут, поставил коня в оглобли.

Из хаты с ведром вышла девочка, с удивлением поглядев на Толю, пошла на улицу.

Прилетел комендант, фуражка на затылке, глаза свирепые.

– Ты что это шурудишь тут, а?

Толя закручивает гужи и молчит, туже, туже закручивает. Все: Разванюша, дорога мимо серых, круглых касок, „двенадцать ноль-

ноль", пакет, о котором „никому ничего", краснобородый из Больших Песков („Хо-одите тут!"), ночь, надвигающаяся, как туча, взгляды вслед, когда Толя попросил коня, писатель, а тут еще гужи не закручиваются – все это вот-вот прорвется злыми слезами. Уже текут – эх, этого не хватало!

Комендант сдвинул фуражку с затылка на лоб. От удивления. Еще бы – плачущий партизан!

И эта девочка с кружкой воды суется!

– Ладно, бери, – говорит комендант нормальным, человеческим голосом. Но тут же орет: – Завтра чтоб пригнал! Обманешь – я тебя и в лагере найду. Михал, веди от Станкевича коня, дадим пару.

– Можно и пару. Пару еще лучше, – говорит Михал и быстро уходит. Эх, партизан, на людях соленой водичкой умылся! И все же стало легче. Похоже, что давно хотелось, и теперь легкость какая-то.

Сильные лохматые лошаденки дружно рванули о места, чуть не вынесли покосившиеся ворота.

День догорал. Там, где село солнце, – черно-пепельные полосы с красными пылающими краями. Похоже на дотлевающую на ветру бумагу. Но теперь все в порядке! Мягко катятся колеса по песчаной дороге, пахнущей теплом ушедшего дня.

... Часовой у штаба долго колебался. Но Толя, узнав, что уже два часа ночи, требовал: буди! Каждая уходящая секунда утяжеляла вину Толи, и без того большую.

Сырокваш, босой, в гимнастерке навыпуск, читал пакет. Толя ждал, когда его строго спросят: почему не в двенадцать ноль-ноль?

– Ну что? – Голос командира отряда с темных нар.

– Царский там ждет. Еще не появлялись из города. Но вот: Коваленка, Комлева и еще одного немцы схватили. Живьем. И семью одну выбили.

– Что? – Колесов сразу поднялся. В белье он такой обычный. Просто обидно. И на лице ни знакомой улыбки, ни командирской строгости – растерянность. – Мохарь, слышишь? Проспал ты, брат...

Сбиваясь, волнуясь (не об этом надо, не это главное), Толя стал рассказывать, как он тоже чуть не пошел, как горела Зорька, как Разванюша стоял перед селибовским бургомистром и усмехался.

– Я давно говорил, – раздался из полумрака голос. – Но у вас тут у каждого своя политика. Что человек, то и политика. Возможно, я ошибаюсь, но должна быть одна. У начальника штаба свои сантименты, у Кучугуры – свои. „Я его знаю, я ему верю". Возможно, я ошибаюсь, но я тогда зачем? Я не вмешиваюсь в чужие дела, перестаньте наконец вмешиваться в мои.

– Это длинный разговор, – перебил Мохаря Сырокваш, – Коваленок не из тех.

– Вот-вот: не из тех! А из каких же, если сдался?

– Мохарь правильно вопрос ставит, – не глядя на Сырокваша, сказал Колесов со злостью, поразившей Толю. – И нечего тут! Некоторые думают, что война – это „ура!", „за мной!". Война, особенно в тылу заклятого врага, – политика…

– Ну, значит, и надо разбираться. – Выпуклые глаза Сырокваша горят упрямством, но на лице его заметно и безразличие какое-то, будто спорит человек, желая настоять на своем, но совсем не надеясь, что заставит Колесова или Мохаря думать, как он. – Не сорок первый! Я, мол, так считаю, значит, я прав. Вот же рассказывает Корзун, как вели себя Коваленок и хлопцы в Лесной Селибе. Возможно, побоялись, что сожгут немцы Зорьку, людей пожалели.

– А начальник штаба читал выступление от третьего июля тысяча девятьсот сорок первого года? – Мохарь даже выдвинулся из темноты к тусклому свету немецкой плошки, словно для того, чтобы видна была его улыбка. – Мы должны, не щадя себя, не давать врагу…

– Не щадя себя, – оборвал его Сырокваш и будто сдернул с лица Мохаря улыбку, – очень верно. Но по возможности щадя женщин, детишек. Вот тогда и будет политика.

Кажется, вспомнив, что Толя все еще здесь, в штабе, может быть поняв, что очень обидно Толе видеть командиров неодетых, в белье, Сырокваш вдруг сказал:

– Мог пакет утром передать. Ладно, иди спи.

Чем-то огорченный, Толя пробормотал:

– Командир роты приказал: в двенадцать ноль-ноль.

– Царский это любит. Иди. Мать вернулась с аэродрома.

У взводной землянки Бобок. На голове белеет повязка.

– Корзун? Приехал? Я присмотрю лошадок. Ложись спать.

Но тут же готов завести разговор:

– Что там? Скоро взвод вернется?

В землянке прохладно. И темно. Но Толю узнали. По дыханию, что ли.

– Сынок, ты? Один?

Мать заговорила шепотом, и Толя тоже вполголоса говорит.

– Пакет в штаб. Знаешь, мама, живьем наших схватили: Коваленка, Комлева и Сашко. В Зорьке ночевали, а тут машины. Мы видели с Алексеем, как сарай загорелся. Мы с ним ходили на шоссе.

– Как же это? – кого-то о чем-то спрашивает мать. – Их в Селибу повезли? О, боже… А старые Коваленки уже знают?

– Еще не знают. И я чуть не пошел с хлопцами. Алексей помешал, а то бы пошел. А знаешь, мы с Алексеем стреляли в немцев. В одного попали. Не веришь? Правда. Раненного привезли в нашу Лесную Селибу.

Мать молчит.

– Ладно, мама, буду спать. Знаешь, а я подметки забрал на сапоги. Папины.

– Как же это Коваленок? Такие все… неосторожные.

– При чем тут неосторожные! Просто пожалели женщин, детишек.

III

Взвод возвращался с шумом, весело. На немецкой машине. За рулем – немец, а рядом с ним в кабине – еще два. На подножках стоят Царский и Зарубин, гордо кланяются веткам.

Машина – тяжелый дизель – остановилась возле штаба. Полный кузов партизан: улыбаются и не слезают, будто фотографа дожидаются.

Из кабины вышли два немца – одинаково пожилые, лысоватые. На мундирах знаки отличия, пистолеты в черных кобурах, по-немецки сдвинутых на живот. Увидели Колесова и Сырокваша, сразу определили, что это командование, направились к ним военным шагом. По-уставному поприветствовали командира и начальника штаба, те их тоже. Колесов неумело, не очень старательно. Сырокваш – почти незаметно. Стоят друг перед другом с некоторой неловкостью. Подошел Кучугура, сказал что-то по-немецки. Колесов показал на дверь штаба.

Немец-шофер остался сидеть в кабине. Держится за руль, как утопающий за доску. Узкое юношеское лицо облито потом. Вокруг машины толпятся партизаны. Радостно кряхтя, сгружают ящики, мешки.

– Выскочили мы на дорогу, а этот как закричит. Как заяц!

– Ага, а те офицеры…

– Ефрейторы.

– А черт их разберет! Отвели его в сторону, что-то все объясняли. Он и в самом деле думал, что едут менять соль и сигареты на „матко-яйко”.

– Хо, знаешь ты, о чем они говорили! Пистолеты я у них забрал бы.

– Они давно с Кучугурой связаны. Думаешь, откуда штаб узнавал про бомбежки? Они с аэродрома. Обожди, еще не такое увидишь. Под Курском их двинули, теперь многие поумнеют.

– А я не хочу ничего видеть. Обойдусь.

– Тебя, Носков, не спросят. Вот ты не веришь. А я сам видел у тихоновцев ихнего немца. С сорок второго, с блокады воюет. Сжимали они кольцо, добежал немец до раненого партизана-пулеметчика и – по своим.

– Этих побасенок, Коренной, мы наслышались. До войны. Отложи на после. Для внуков.

– Да я сам видел…

– И я видел, насмотрелся. Их надо бить, бить, послушать: дышат ли – и еще. Не хочу их добра. Дай мне за зло расквитаться. Как тогда со Шмаусом. Распустили нюни: ах, добрый, ах, хороший! А мне что Шмаус, что Ганс!

Из кабины вышел наконец немец-шофер. Губы подрагивают, а щеки все равно с юношеским румянцем. Смотрят друг на друга – он и сотня не очень добрых, но веселых хлопцев.

– Ну вот, Ганс! – Зарубин хлопнул немца по плечу, тот испуганно заулыбался. И „моряк" улыбнулся, отчего нервно дернулась его синяя, „контуженая" щека.

– Карл, – тихо поправил его немец.

– Привезли тебя твои, – говорит Головченя, – а что с тобой делать? Не наш ты. И не мамкин теперь. Плохое твое дело.

– Гут, гут, – лопочет парень в зеленом мешковатом мундире.

– Плохое твое „гут", – машет рукой Головченя.

Поселили немцев в землянке первого взвода. Лысоватые немцы ходят по лагерю, присматриваются, тихо переговариваются. Кажется, что они ищут и не находят что-то. Может быть, ту таинственную партизанскую силу, которую так хорошо ощущали издали, живя в городе? Толя ловил себя на том, что и сам он ревниво присматривается ко всему, что видят сейчас или могут увидеть немцы. Землянки? Здорово же сделано: окошко, дверь, пары, столик. Но немцы будто критику навели на партизанскую работу: застлали коврами отведенный им угол, к потолку прибили ковер, чтобы песок не сыпался в глаза. А штаб, а баня? Разве не здорово? Настоящие, из деревни перевезенные дома полицаев. Возле бани немцы задержались, зашли внутрь, послушали, как гремит, стреляет железный котел. Постояли и возле оружейной мастерской. Кувалда, тиски, дубовая колода… Подержали, повертели в руках самодельный автомат. Автоматы с желтыми, медными подтеками по кожуху словно и

делаются для того, чтобы острякам было над чем и над кем поиздеваться. Стрелять из них, что на ишаке к поезду спешить. Хочет – идет, а не захочет – хоть плачь. Но всем – это Толя по себе чувствует – вроде бы хочется, чтобы сегодня мастерская выглядела солидно, внушительно. Немцы сказали вежливое „гут" и пошли дальше. Нет, никто за ними особенно не ходит: много чести! Но все знают, как вели себя немцы возле „снарядной кухни". Уже с издевкой рассказывают, как шарахнулись они от этой чертовой кухни, когда раскумекали, что наклонно подвешенный над огоньком снаряд – настоящий, а желтая струйка – плавящийся тол. Помаячили возле строящейся мельницы. Хотя они сами пришли, хотя и перешли к партизанам, все равно думалось: видите – даже мельница, а вы небось считали, что мы боимся вас, самолетов ваших.

Но немцев больше всего поразила, кажется, „мастерская" Молоковича. Этот хозяйственный парень, как обычно, занят тем, что в двух немецких касках плавит алюминий, содранный с немецкого самолета, сбитого тихоновцами. Тут же валяются отлитые, но еще не обструганные ложки. Постояли немцы возле Молоковича – получили каждый по ложке.

Жаль, что танкетки в лагере нет: соседям одолжили.

Чем больше ходили по лагерю пожилые немцы, тем с большей отчужденностью партизаны смотрели на них. Злило, что словно и небезразлично: а что они думают о партизанах, когда видят их вблизи? Кажется, не одного Носкова уже раздражало, что ради этих двух, ради этих подчеркнуто вежливых надо что-то ворошить в душе, менять. Менять снова на довоенное, на то, от чего не легко отказывались, от чего с такой горькой обидой и злостью вроде и отказались.

Назло всякой логике, как бы с вызовом, в отместку кому-то, хлопцы почти подружились с молодым немцем-шофером. С тем, который не сам пришел. Тут, по крайней мере, все понятно, привычно. Пожилые немцы, почувствовав себя под защитой какой-то высшей политики, кажется, мало озабочены тем, как смотрят на них, что думают о них.

Этот же молодой то белеет, то краснеет, с надеждой или страхом глядит в каждое лицо, в глаза каждому. И пока не решено, как поступить с ним, именно немцу-шоферу отдают все, что, казалось бы, по праву принадлежит тем, которые сами пришли. Играют с ним в карты, пытаются разговаривать. Зарубин толкнул его на нары, а тот, несмело, – Зарубина. Все, довольные, захохотали и тут же помогли немцу положить „моряка". Не скажешь, что лица у хлопцев особенно

ласковые, дружелюбные. Но время от времени найдет что-то на всех: будто забудут люди или вспомнят забытое – и вот дурачатся с молодым парнем, которого, ненавидя, могли убить вчера и, возможно, убьют завтра.

Молокович вынес патефон из будана, поставил пластинку, на которой значится: „Шуман. Грезы". Тупая иголка шуршанием приглушает музыку, но вот поднялась мелодия откуда-то из глубины, зазвучала. Однако того, что в первый раз, когда только принесли эту пластинку, – людей, спускающихся к морю с черных холмов, – Толя не увидел.

Он видел лишь двух человек в надоевших немецких мундирах, которые шли по дорожке к штабу, противно молчаливых, чужих здесь всему, даже вот этой музыке немца Шумана.

– А сплясать для них ты не мог бы? – спросил Носков у Молоковича.

– Пошел ты… вместе с ними! – озлился добряк Молокович.

IV

Оказывается, отряд уже перерос свой лагерь. Пока взводы на ногах, где-то ходят, землянок хватает. А как соберутся, негде спать. Можно бы на возах, на сене, на еловых лапках, но раздождилось, мокро. Работнички из партизан не ахти какие, зато изобретатели – таких поискать! Кто-то начал первый, и другим понравилось – раздевать толстые ели, делать времянки из коры. Легко и быстро! Надрезать у самой земли, потом – где сучья начинаются, сделать разрез сверху донизу – и вот бедняжка ель в одной сорочке стоит, неожиданно, ослепительно белая. Ночью раздетые деревья – как привидения. Полный лес привидений. И множество буданчиков-будок. Спит, отдыхает человек в хате, а ноги на дворе. Начинаешь замечать, что ноги, как и лица, разные у разных людей. Вот эти, в разбитых, но все же хромовых сапогах, раскинувшиеся прямо на дорожке, обойдешь с некоторой опаской. Носки сапог остро смотрят вверх и в разные стороны – спит человек с полной уверенностью, что побеспокоить не посмеют. Зато эти – в крепких, смальцем подбеленных ботинках – стараются спрятаться в буданчике. Новичок какой-нибудь. Босые ноги, ноги в лаптях (лозовых или из коровьей, шерстью наружу, сыромятины), ноги в немецких, поблескивающих железом сапогах – смотришь и чувствуешь: эти тронь – услышишь веселый окрик („Шагай, шагай, гостей не принимаем!"); эти толкни – матюгом тебя покроет сонный голос, эти – молча поползут в нору. Смотри ты – женские! В туфлях, даже в чулках – все как полагается.

Толя обошел их с особенной осторожностью, даже с некоторым испугом. Зато идущий следом партизан, растрепанный со сна, сразу остановился. Нагнулся и – как шляпку гриба – снял, поднял туфлю. Поднес к глазам, новую, желтую, и дурашливо засмеялся. Нога в чулке, ставшая вдруг очень беззащитной, вздрогнула и – нырь в буданчик. И тут же из буданчика показалось лицо – красное и почему-то счастливое.

– Ой, дайте! – пискнула.

Поспешно поднялась на одной ноге, и стало понятно, что голосок у нее по росту: пичуга какая-то. Очень маленькая, но женщина. И уже сознает свое превосходство над лохматым дядей, который ее так бесцеремонно „нашел". Улыбается, уверенная, что теперь, когда она перед ним вся – с глазами, бровями, ямочками у самого рта, – что теперь уже не беззащитна. А здоровила, чувствуя себя очень неумытым и лохматым, вдруг заспешил. И тут же готов в работнички наняться:

– Ну, раз это вы, принесу и вам водички.

Черт, как у них все быстро.

Уже сотни четыре партизан толкутся в лагере. В лесу теперь, как на вокзале. Давно минуло то время, когда такой вот поток веселой бестолковщины отбрасывал Толю в сторону, будил в нем обиду и горечь. Теперь и он – партизан, который только что вернулся с дела, которому тоже не сидится в лагере, который хотя и смотрит на дачную лагерную жизнь с издевкой, но так и быть – готов денька два побыть в лагере, чтобы посмотреть, „как у вас здесь". Все ругают лагерную похлебку, но к кухне идут охотно. Во-первых, по случаю общего сбора, – не похлебка, а щи с мясом. А во-вторых, возле кухни весело: девчата, разговоры всякие. Девчата, правда, очень серьезные, сердитые (под стать своему начальству – повару Максиму), но никто, кажется, не верит в эту их серьезность и сердитость.

„Моряк" в очереди первый. Лег животом на толстую жердь, отгораживающую кухонное хозяйство, и ноет весело:

– Катенька, со дна пожиже зачерпни.

„Моряку" помогает старик Бобок, этого можешь и не кормить, дай только смачным разговором побаловаться.

– Хорошая у девочки ложечка. Вот бы „моряку" такую. В тарелку – стыдно, в рот – радостно.

Беловолосая Катя помешивает суп половником. Предупреждает:

– Отойди, Петенька, и забери своего деда. Ненароком ударю.

В стороне стоит мать Толи. Тарелка в руке, студит горячие щи ложкой. После недавнего случая, когда в соседнем отряде кто-то отравил шестерых партизан, она каждый день снимает пробу.

– Анна Михайловна, – стонет „моряк”, – возьмите меня в помощники.

– К нам, картошку скрести, – говорит длиннолицая некрасивая Полипа, сердито отмахиваясь от дыма.

А беленькая Катя добавляет:

– Тебе, Петенька, ложка мышьяка за горчицу сойдет.

Стучат хлопцы котелками, шумят, можно подумать – такие уж голодные.

– Не поможет эта ваша самодеятельность, – гневается повар Максим.

Но хлопцам неловко стоять, дожидаться, смотреть, как женщина идет навстречу опасности впереди них.

Прошли положенные двадцать минут. Повар еще раз смотрит на Толину мать. Она улыбается. Улыбнувшись ей одной и тут же сделавшись еще серьезнее, Максим берется за черпак. Здорово у него получается: разгонит по кругу варево, так что со дна всплывут мясо и картошка, выверенным движением рыбака поднимет половник кверху – и вот в котелке у тебя все, что положено едоку. А на лице Максима непроницаемая холодность мастера, который не посчитается ни с чьими замечаниями. Мол, если кому не нравится, бери сам черпак, а у меня тоже есть винтовка.

Катя наделяет гречневой кашей. Обед сегодня из двух блюд. Но у „моряка” посуды не хватает. А советчиков много.

– В бескозырку ему.

– В карман.

Бобок и про кашу историю знает:

– Объелся каши цыган, спрашивает: „Это, батя, по всех странах каша есть? Бяда, пропал народ!”

– Набрался наш дед этих побасенок, как собака блох, – одобрительно замечает Носков.

С тремя котелками (и при каждом крышка для второго блюда) подошел молодой немец-шофер. Стал в хвосте очереди. Улыбается всем, но глаза беспокойные, уходящие. Неловко ему отчего-то. И всем тоже неловко. Неуверенные улыбки. Максим неласково окликнул немца:

– Давай сюда.

V

… Вышли из лагеря утром. Все четыре отряда сошлись на большаке – широкой, обсаженной березами дороге. „Ура” не кричали, наоборот, критически присматривались друг к другу: какие вы стали за это время, наши ближайшие товарищи и соседи, какое оружие у вас, что мы такое все вместе – бригада? А ничего – внушительно, сила! Каждый считает свой отряд, а точнее – свой взвод самым боевым („все дырки нами затыкают!”), но хлопцы с удовольствием отмечают, что ильюшенковцы все как на подбор („кадровики!”), а у митьковцев в каждом отделении автоматы.

К ночи пришли к холмам, черно-желтым от горелого леса. Жгли его весной, с самолетов. Все отряды бегали тушить пожары. Был лютый ветер. Пламя гремело, как поезд на мосту: огненный вал катился почти по вершинам.

Лента дороги вьется между холмов, наползающих на гаснущее вечернее небо. Желто-черный лес будто заколдованный. Кое-где сохранилась живая зелень, но она кажется чужой, из какого-то иного мира.

Когда совсем стемнело, приказали располагаться на отдых.

– Нашли, что похуже.

– До настоящего леса, знаешь, сколько топать. И не лес – болото.

– Спасибо.

Во рту, в горле горчит от сажи. Сосны над головой не шумят, а потрескивают в пустой тишине. Сквозь сетку обожженных сучьев чернеет небо, звезды – как улетающие искры. Одиноко и жалко попискивает заблудившаяся птица. Подумалось, что в таком лесу и живые существа должны быть какие-то особенные, незнакомые. Чужими, из другого мира кажутся тут голоса людей.

– Где вторая рота? Царский где?

– Слышишь, гогочет.

– Да это филин.

– Ложись, братцы, сухо, гладко. Дай плаща краешек.

– Ничего, не к теще идешь. Чернее – страшнее будешь.

Головченя уже похрапывает, положив голову на диск пулемета: подушка не подушка, но все же круглое. Кто-то грызет сухарь.

– Приятного аппетита, Носков.

– Спасибо, сам справлюсь.

Подошли какие-то люди, разговаривают вполголоса.

– … Засада… не за себя боюсь…

У Застенчикова слух, как у зайца, особенно если грозит что-то.

– Это Ильюшенко, – шепчет он, – хороший командир, о людях думает, не то что другие.

Другие – это Колесов. Вот и его тонковатый голос слышен:

– Пройдем туда, пройдем и назад, ничего…

И еще – молодой, упрямый голос:

– Надо – пройдем. Кончен разговор.

Голос комбрига. Днем Толя видел его. Белоголовый и белолицый, подвижный, как школьник. И подчеркнуто неулыбчивый. Заметно, что не рад своей живости, юношеской чистоте лица: еще бы, командиры его вон какие папаши и, наверно, привыкли к бороде прежнего комбрига (Денисова отправили в Москву лечить открывшуюся рану).

Слушая голоса в темноте, Толя вдруг подумал, что и в том мире, где командиры отрядов, бригад, есть какие-то свои отношения, стремления, хорошие и плохие: Колесов, Сырокваш, Петровский, Мохарь… И удивился этой простой догадке. Толя с радостной готовностью подчиняется тем, кто давно воюет, тем, кого прислали, поставили командовать, и потому как-то не хочется верить, что люди могут быть озабочены чем-то другим, а не тем лишь, чтобы все делать как можно лучше. И не все ли равно, кто ты, тобой командуют или ты кем-то? И даже кем будешь, станешь потом – даже это не важно в сравнении с тем, что немцев тут не будет, что все вернется.

На одном из привалов увидели Мохаря: проходил мимо, квадратный, коротконогий, с планшетом, трущимся о самые голенища. А в планшете, под слюдой, наверное, белеет всё тот же непроницаемо чистый лист бумаги. Об этом думаешь, когда видишь непроницаемость на выбритом лице Мохаря.

Увидели Мохаря и, конечно, сразу вспомнили про Васю-подрывника.

– Эй, Пахута!.. – крикнул Головченя.

– Да ну вас, хлопцы, – сказал Пахута неожиданно серьезно, – орете, как ишаки. Он и так зол. Подозвал меня, улыбается: „Все рассказываешь, что я тебя с неба стащил. Возможно, я ошибаюсь, но смотри, чтобы не попал туда снова. Возможно, я ошибаюсь, но ты не меня, а командование, Советскую власть дикре…”

– Дискредитируешь, – помог Коренной и удивился: – Да он что – угрожает тебе?

Бакенщиков, худющий, с новым чиряком под самым ухом, сидит в сторонке. Но услышал и сразу ввязался. Слова, мысли у этого человека близко лежат. И кажется, что мысли у него такие же воспаленные, как его чиряки.

– Очень опасная штука: сознание неполноценности плюс желание любой ценой быть наверху, – не очень понятно, как и положено „профессору”, промолвил Бакенщиков. – Это дает жестокость, мнительность, мстительность.

Один Коренной понял „профессора”, отозвался:

– Усложняешь, брат. Просто у человека особая работа. Кто-то же должен выполнять ее.

– Работу по-разному делать можно. И у Кучугуры особая, а про него не скажешь. – Глаза у „профессора” уже блестят под очками, его уже захватило, понесло. – Надо давать поправку на ветер – поправку на человека, на его слабости и несовершенства. Без этой поправки, без регулятора власть над людьми – опа-асная штука. И чем выше, тем ветер сильнее – это известно. А стараться по-разному можно. Был я знаком с одним крупным человеком, – продолжал Бакенщиков. – Бывший комдив. Так вот, приходит к нему такой вот старательный, сообщает: „В дивизии есть антисоветская организация”. – „Вы уверены?” – „Подозреваю, у всех есть, а мы что, лучше?” – „Ах так? Чепуха!”

– Смотри, как интересно, – протянул лежавший на спине Светозаров (птичий профиль, белый, скошенный на „профессора” глаз), – очень интересно.

Бакенщиков замолчал. Закончил неохотно:

– Ну, что дальше… Приходит еще и еще, наконец и говорит: „Как хотите, а хотя бы одного (назвал кого-то) должны мне отдать”. Не знаю, как там, что там, но зацепил он одного. А потом, как бывает, когда потянешь одну ниточку… У каждого знакомого еще знакомый… Через месяц и сам комдив загремел…

– Ну и где вы с тем дивным командиром познакомились? – Побитое оспой лицо Светозарова выражало самый невинный интерес, но на Бакенщикова вопрос подействовал необычно. Он сразу постарел, сник. И сразу настороженное молчание легло между ним и остальными. Толя и себя поймал на том, что смотрит на Бакенщикова как на незнакомого.

Еще темно было, когда подняли всех. Земля остыла, прохладно. Хлопцы стоят нахохлившись, молчаливые, не отдохнувшие. И только курильщики шепчутся, откашливаются.

Но тронулись, и начала проходить усталость. Хорошо идти по холодку и знать, какая сила движется вместе с тобой.

Уже два привала сделали, и только тогда посветлело небо. Золотом заиграли желтые гребни холмов. Солнце легко разорвало прозрачную повязку из тумана и сразу взялось жечь по-дневному.

Казалось, все свое остервенение оно обрушило на то, что жило, двигалось среди мертвых холмов, – на людей. И будто от этой жары местность все больше вздувается. Настоящие горы.

– Тоже мне – горы! – говорит „моряк". – Вот наши Саяны!

– Можешь и эти взять себе, – буркает Головченя, – есть чему радоваться: вверх, вниз. Нам, белорусам, чтобы не выше печки. И то – зимой.

Но Толе даже такие горы, даже в жару нравятся. В них есть что-то от большого мира, который где-то впереди, на пять, на десять лет впереди. Кончится война, вот бы поехать куда-нибудь! Чтобы сразу почувствовать, какое оно все…

Заговаривают о водичке. Голоса стали резче, суше. А рядом уже бредут партизаны из других взводов. Зато Застенчиков и „моряк" пропали куда-то. Толя тоже не прочь улизнуть, чтобы не тащить пулемет. По такой жаре и собственные ноги в тягость. Но лучше уж нести. Прятаться – еще противнее.

– Хоть бы болото какое, – просит Молокович.

– Соль сосать надо, – пищит Верочка. Новенькая, которую так забавно „нашел" в буданчике лохматый партизан, идет со взводом. Большую санитарную сумку ее несет белоголовый Шаповалов. И еще улыбается всеми морщинками – охота ему.

– А мороженое не лучше? – интересуется он.

– Смолы, – предлагает Головченя. „Борода" никому не навязывает свой пулемет, сам несет всю дорогу, а потому беспощаден ко всякому нытью.

Но вот, кажется, добрались и до колодца. Их тут даже четыре. Все, что осталось от деревни, если не считать странно зеленеющих среди черно-желтых холмов одиноких лип и берез (под старой толстой липой все еще стоит, неизвестно кого дожидаясь, вкопанная в землю скамейка).

Четыре одноногих колодезных журавля сторожат пожарище. Один у самой дороги. К нему подходят партизаны, молча постоят, уходят. Толя никогда не замечал, что они такие печальные, эти натужно поднимающиеся в небо журавли с беспомощно уроненной шеей.

– Выбили деревню еще в сорок первом, – говорит Коренной. – Какой-то немец возился с гранатой и подорвался. Все знали, что сам. Но приехало большое начальство, согнали жителей в гумно. Детишек отобрали, вроде хотели увозить. А потом побросали в колодцы.

– Какого черта! – зло ругнул идущих к колодцу Железня.

И Толя повернул назад, не подошел, не заглянул. Он шел и оглядывался на шеи журавлей, сломанно свисающие над страшными ямами.

„Папа, почему ты меня давишь?!"

Толя еще раз глянул на молчащие колодцы.

Какая обида и ужас были, наверно, в голосе девочки Железни! Его деревню немцы расстреливали в овраге. Всех расстреляли. И Железню тоже. Две пули прошли сквозь него, одна из них оборвала крик девочки: „Папа, почему ты меня давишь?!"

Железня выжил.

Все реже звучат голоса, все неохотнее берут пулемет, сумки с дисками, а на гордость роты – противотанковое ружье – смотрят с отвращением. Каким лишним, ненужным все это кажется, когда человеку жарко и он устал. И не верится, что было или будет когда-то холодно или хотя бы прохладно. Кожа стала липкая, как аптечная бумага от мух. Противная, будто чужая. Хочется расслабить все: ремень, ворот рубахи, щеки, губы… А и впрямь легче, когда все расслабишь. Ни о чем не думать, а только переставлять, переставлять ноги.

– Что ты, брат, раскис так? – говорит вдруг Шаповалов. Застенчиков (уже вернулся „из бегов") подхватил:

– Привык у мамки.

И другие смотрят на Толю не очень ласково. Вид размякшего человека, когда и сам ты очень устал, раздражает. Толя это знает. Будто человек на горб тебе просится. Но ведь Толя не бегал от пулемета, как Застенчиков. Просто ему так легче идти… И что им всем за дело, какое у него лицо?

Добрались и до воды. Была, наверно, лужица, когда подошли боевые охранения да головные взводы. А теперь – грязь.

– Нельзя, – пищит маленькая Верочка, – микробы, живая болезнь.

– Э, микробы, – отмахивается „моряк", опускаясь на колено, под которое положил гранату, – дым изо рта идет.

Накрыв грязь тряпочкой (у Пети и „платочки" есть), выдавливает ладонями желтую, как крепкий чай, воду.

– Не жадничай, Зарубин, – почему-то злится Носков, – впереди десять километров болота: нахлебаешься.

К болоту спустились, когда солнце уже уходило с порозовевшего неба. Зазеленел ольшаник. Кажется, целый век не видел зеленых листьев. Свежестью потянуло. Холмы, покрытые черно-желтым лесом,

остались позади вместе с солнцем. Оглянешься – темные, почти черные, поднимаются к небу, а вершины будто желтком политы.

Отдыхать не пришлось – болото легче пройти, пока не стемнело. Начались топкие, давно не кошенные луга, трава жесткая, высокая, вяжет ноги. Передние уже проложили глубокую дорожку. Перекинутые через старые канавы жердочки веселят; пританцовывая, хлопцы перебегают на другую сторону, а остальные ждут и советуют, куда падать.

Толины рваные ботинки, большие сапоги Головчени, краги Савося, сыромятные постолы дяди Митина отмылись от сажи, зато теперь на них по пуду грязи.

Приказано отдохнуть. Но сесть негде, ноги в воде. Некоторые развлекаются, пытаясь улечься спиной или животом на круглые и упругие кусты лозы, похожие на копны сена. Но если удалось одному, находятся еще охотники. Треск, плеск, смех, ругань.

– Давай малу кучу!

– „Морячка” под низ.

– Идти, что тут стоять.

– Проводников ждем.

– Откуда?

– Чертей. Они к ночи прибывают.

– Эй, кто базар устраивает!

В сыром теплом сумраке шли по скользким жердочкам. Там, впереди, кто-то знает, как они положены, эти жердочки, и тянет за собой длиннющую цепочку отрядов. К нему, первому, – хорошее, благодарное чувство. Только скорее бы кончилась эта дорога. Нащупает нога жердочку, но тут же потеряет и – по колено в грязь. Ногу схватывает давний, наверно еще весенний, холод. Стараешься побыстрее выдернуть ее, но срывается и другая. Вначале всплески, испуганные ругательства веселили. Но потом не до того стало. Кое-кто уже прямо по болоту бредет, сопя, барахтаясь, матерясь. А над головами, высоко-высоко, поблескивают чистые звезды.

Лишь к утру выбрались на твердое. Пошел мелкий и неожиданно холодный дождь.

– Ну, черти болотные, сейчас мы вас помоем, – сказал от чьего-то имени Головченя. У самого даже борода из черной сделалась ржавой.

Все смотрят друг на друга и каждый не верит: „Неужели и я такой?”

– Ну и неделька началась! – промолвил Носков и пояснил: – Сказал человек, которого в понедельник вели на виселицу.

Любит Носков побасенки не меньше, чем Бобок, но у Носкова они как на подбор ядовитые, злые.

Лежали на мокром песке. Не хотелось даже думать. Был лишь страх, что скоро снова подниматься, идти.

Но некоторым еще охота языками ворочать.

– Э, какое это болото! – простуженно посмеивается Головченя. – Савосю по щиколотки... когда он головой вниз нырнул.

– Да тут же Березина, хлопцы! – крикнул Молокович.

Значит, пришли уже. Забыв об усталости, Толя вскочил. Холодно-белая река лежит метрах в трехстах, от чего-то отгораживая, куда-то уводя.

Взводы, располагавшиеся правее, уходят, движутся меж кустов.

– Нам держать дорогу, – говорит Пилатов, озабоченно хмуря свои очень черные на чистом белом лбу брови.

Взбитый колесами машин широкий „шлях”, изжеванные танковыми гусеницами сосенки, убегающие вдаль (где-то там – немцы) телеграфные столбы – угрозой веет от всего этого. И оттого, что рядом большая настоящая река, угроза кажется непривычно большой и, как никогда, настоящей. Правда, недалеко свои, соседние отряды, но ощущение опасности от этого лишь возрастает: больший магнит больше стали притянет.

– Приехали, – говорит Головченя, устанавливает пулемет и сам пристраивается, как кормилица возле младенца. Остальные стоят. Не хочется ложиться на мокрую землю. И потом, когда стоишь, вроде не решено окончательно, быть здесь бою или не быть. Но ничего не поделаешь – приходится располагаться. По-разному люди опускаются на землю. Бобок сначала на колени станет, точно собирается помолиться. Помощник командира взвода Круглик обхватил самого себя руками, прижал винтовку и – бух на землю. Даже крякнул. „Моряк” – тот сначала пощупает землю и лишь потом, с отвращением, ложится. Кот-чистюля. Бакенщиков же раньше чиряки свои погладит, словно беспокоится – здесь ли? Садится и ложится с болезненной, виноватой улыбкой.

Лег под кустиком и Толя. На тех, кто еще топчется, смотрят недовольно. Когда все лежат, спокойнее: уже не толпа в кустах, готовая сорваться, а засада.

Над далеким, что за Березиной, лесом вырвалось из тумана солнце. Натруженно-красное, неожиданное, как глаз паровоза из-за поворота. Солнце не отдыхало. И там, где оно всходило час, два назад, его кто-то увидел – вот такое же воспаленное. И там – война. Самая

большая – фронт, который движется, вот такой же всеми ожидаемый и радостно неожиданный.

А кто-то сейчас смотрит на запад и думает: „Там – немцы, оккупация, партизаны...” Партизаны для них такая же далекая легенда, как для Толи Большая земля или довоенное. А партизаны – вот они. И хмурящийся более обыкновенного Серега Коренной (язва, наверно, мучит), и Зарубин, отковыривающий пластырь грязи с ботинок, с уморительной безнадежностью смотрящий на брюки и китель, которые окончательно потеряли „моряцкий” вид, и Головченя, насмешливо косящийся на задремавшего под солнышком Савося (грязная мягкая щека – вроде подушечки), и „профессор”, у которого глазницы, то ли от усталости, то ли от чего другого, провалились еще глубже, и неустающий, как мячик, Вася-подрывник, от золотой улыбки которого всегда веселее, – вот они – партизаны, и все такие, какие есть.

Да, обыкновенные. Когда-то (мысленно) Толя совершал подвиги, с улыбкой шел на смерть, чтобы заслужить одобрительный взгляд рисовавшегося его воображению партизана. Тогда у него не могла даже появиться мысль, обращенная к этому партизану: „Ну, а сам ты способен на такое?” Они – партизаны, и этим было сказано все.

А теперь?.. Толе порой кажется (когда у него плохое настроение), что он совсем недавно научился бояться за свою жизнь, трусить. Нет, не то. Боялся и раньше. Но в боязни он стал видеть опекуна, который удержит, поможет обойти, перехитрить то слепое, злое, что ждет-поджидает всякий миг – нелепую (потому что ее могло и не быть в этот день, в эту минуту) случайность, смерть. Не раз ловил себя на том, что еще и не страшно, но он сознательно настораживает себя: „Это раз бывает. Назад потом не повернешь...”

Толя почти убежден, что и другие не столько боятся, сколько понуждают себя бояться. Настоящие трусы, надо думать, такая же редкость, как и отчаянные храбрецы. Разве что один Застенчиков – у него трусость, как морская болезнь. А вот которые нарочно боятся, таких – куда больше. Не так уж испугался „моряк”, когда шли забирать трупы убитых мадьярами разведчиков: нечего еще было пугаться. Шли через поле: голо кругом, лишь впереди, в полукилометре от дороги, зеленело кладбище. Шли, и, конечно, каждый прикинул: „Удобно для засады”. Когда кладбище было совсем близко („самый раз открыть огонь, если бы мы лежали там, а немцы шли вот так...”), Зарубину вдруг чего-то захотелось, и он остановился, отстал от отделения шагов на двадцать. И все это сразу заметили, и он знал, что заметят, знал, как подумают, но, наверно, сознательно выпустил

своего труса, а тот ему нашептывал: „Пустяки, через десять минут забудется, если никого нет на кладбище, зато если лежат, ждут...”

Трудно не включиться в эту игру, когда каждый день идешь и идешь навстречу ей, слепой и жадной смерти. И чем больше ходишь, тем больше думаешь об этом, хотя надо бы становиться все смелее. Но, видно, не в смелости дело, а в том, что человеку кажется, что сегодня у него шансов не встретиться со смертью меньше, чем было вчера и позавчера. А если человек уже два года в партизанах, как Коренной Сергей, – как беспокойно у такого должно быть на душе.

Вот и Толя, он вроде смелее был, когда начинал выползать из лагеря. Даже без винтовки. После лесного пожара, когда искали оружие, Толя и Митя „Пашин” вышли к насыпи разрушенной железной дороги. Это было за две недели до того, как убили сына Паши. Стоя на насыпи, Митя выстрелил в „чашку” на телеграфном столбе. У Толи была обойма собственных патронов, попросил винтовку. Митя будто не услышал. Такой уж был. Вдали на насыпи показались какие-то люди. Тоже остановились в нерешительности.

– Дай винтовку – схожу посмотрю, – злорадно предложил Толя. И пошел бы, уверяя себя, что это не полицаи.

И теперь пошел бы, если бы сказали: иди, надо. Но если бы не сказали, осторожничал бы, как Митя тогда. Если говорить правду, Толю не очень-то посылают вперед. Командир взвода явно опекает его. Несколько раз отзывал из дозора, заменял, когда большей становилась опасность.

Не ради Толи, конечно, ради его матери делает это Пилатов. Неловко перед тем же Пилатовым, да еще и другие станут смотреть на тебя как на тайного „придурка”. Правда, если очень уж неловко станет, можно и так подумать: „А вы, разве вы такие, какими я вас представлял?..” И вроде тебя обидели, и вроде ты вправе...

День встает из-за Березины. Странно, что солнце отрывается не от черты горизонта, а намного выше, оно будто из тумана рождается. Все больше наливается яркостью. Интересно посмотреть на реку – Толя приподнялся. Ожидал увидеть отраженный в воде красный круг солнца. Но увидел огненный столб. Солнце висит над этим опущенным в глубину столбом. Как громадная точка перевернутого пылающего восклицательного знака!

– Ложитесь там, – недовольно сказал Пилатов.

– Волнуется парень, – говорит Светозаров.

– Да что они вяжутся!

– А знаешь, комвзвод, – скороговоркой сыплет Бобок. Он один не лежит, а сидит по-турецки. – Надо бы телеграфные столбы поспиливать, что им зря стоять…

– Там деревня, – сразу оживился Застенчиков, – сходить пилы, топоры взять.

– И порубать, – понял его Головченя.

– Всем принесем, – отозвался Застенчиков.

Пилатов соглашается:

– Так, вы вдвоем… Еще кто?

И смотрит на Толю. Как бы случайно.

– Ладно, и ты.

Вроде и на дело посылает, но и Пилатов и Толя знают – подальше от засады.

Деревенька, куда спустились, пробившись сквозь густой кустарник, очень какая-то старая, замшелая. Тут уже есть партизаны из других отрядов. Застенчиков, который очень оживился, как только попал в деревню, куда-то убежал. Толя ходит с Бобком. Входя в хату, старик начинает издалека: Березина, рыбка („На реке и не рыбаки?”), немцы („Пароходы? Смотри ты!”). Потом:

– Пила у тебя, отец, далеко? И топор?

„Отец” (он лет на двадцать моложе Бобка, хотя и зарос по глаза) начинает прикидывать:

– Пила? Зачем вам, хлопчики? Вы же не принесете, хлопчики. Может, я сам сделаю, что надо?

– Ш-ш-ш, – будто струей воды обдает его молчавшая до этого жена.

Дядька идет в сени, вытаскивает пилу. Не очень веря, спрашивает на всякий случай:

– Принесете, хлопчики?

Выйдешь на улицу, и сразу промелькнет перед глазами грязно-серое крыло плаща Застенчикова: просто летает из двора во двор. И кажется, что все время облизывается. Проносясь мимо, сует Толе, Бобку лишний преснак, горшочек со сметаной.

– Попал в хорошее место, – говорит Бобок. Вид у него, да и у Толи – для кино. Перепоясан пилой, за спиной два топора, винтовка сползает с плеча, а руки заняты – хлеб, преснаки, горшок со сметаной…

Пробирались через сосняк к своим. Застенчиков заметил первый:

– Смотри!

Над рекой плывут низкие дождевые тучи. Но не в них тревога, гроза, радость, а в тоненькой полоске дыма, поднимающейся к тучам. Пароход!

Бобок вдруг заспешил:

– Черт, поесть надо.

Попробовал лизнуть сметаны из своего горшочка – не достал, только бульбину-нос да щетину на подбородке измазал. Потянулся губами, веселыми глазами к Толиным рукам.

– Дай из твоего.

– Да вы что, тронулись? – нервничает Застенчиков, посматривая на далекий дымок.

– Сам нализался, – говорит Бобок, – ну-ка, Толя.

Дико, и смешно, и весело: пароход, немцы, засада, а Толя и Бобок угощают друг друга сметаной, преснаками. Застенчиков из себя выходит.

Завтрак хлопцы мигом расхватали.

А дымок все на том же месте, но сделался плотнее.

– Успеют ли поставить?

– Дурак он – на твою мину лезть.

Позавтракали, а за это время и пароход стал виден. Он все тучнеет. Идет медленно, тяжело волочит за собой хвост дыма. А сзади, на воде, еще что-то.

– Из Румынии возят, – говорит Пилатов, – нефть, бензин.

Задание из Москвы, бензин из Румынии – это уже тебе не местный гарнизон. И так хорошо знать, что ты в этом, в таком участвуешь!

Пароход вдруг взревел. Громко, беззаботно. И сразу ушла беспокоившая мысль, что он может повернуть назад. Вот черный буксир уже не виден за высоким берегом, осталась лишь длинная наливная баржа, но и она ушла под берег, и только волочащийся столб дыма показывает, где пароход. И тут… Эхо широко, свободно понеслось над рекой: отдельных выстрелов не слышно – рев. Показался нос парохода-буксира, поворачивающего, уходящего к середине реки, но тут же из-за высокого берега мягко, легко вскинулся к небу дымный ком, голубоватый, с красной сердцевиной. Глухо, как от удивления, ахнула речная даль.

Столб дыма, сразу скрывший от глаз буксир, темнел, вырастал, он подпер низкие тучи и стал расползаться под ними, как под потолком.

– А ну с пилами, давай столбы! – скомандовал Пилатов.

Быстро рубили, спиливали столбы, перекручивали провода – все это весело, с почти детской злостью: „Вот вам, распутывайте теперь”.

VI

Отходили отряды с шумом. Где-то левее началась стрельба. Это ильюшенковцы немецкий гарнизон громят. Митьковцы мост взорвали. У каждого отряда – своя работа.

И болото и дорога через обгоревшие холмы не показались теперь такими трудными.

– В конюшню и коню весело бежится, – объяснил Бобок.

Отдыхали в солнечном березовом лесу. Варили мясо (захватили в гарнизоне коров). Только поднялись, посвежевшие, веселые, как появились трое конных. Ищут командование. Новость, которую они бросили на ходу, остановила людей.

– Фому убили!

– Братушку? – будто не сразу поняв, крикнул „моряк” и бросился вслед за разведчиком.

Ефимова! Трудно даже поверить: такого сильного, веселого, далекого от смерти. С ним всегда ходил Алексей…

Одного разведчика Зарубин остановил. Толя тоже побежал. Почему они дают Толе дорогу, почему смотрят так? Толя готов остановиться, не идти дальше, но они смотрят.

– Ранен, ранен. – Молокович дергает Толю за рукав. Значит, правда, значит, Алексей…

– Твой брат? – спрашивает маленький в немецком мундире разведчик. Это Волжак. Смотрит на Толю, заговорил с Толей потому, что это его брат ранен: – Живой, в спину, в плечо. А Фому всего… Глаза выкололи… Вышли хлопцы из деревни, а тут машины из-за горки. Они бежать к лесу. Два километра – не убежишь. Скоро подъедут, тихоновцы подобрали.

Толя не может не замечать, что все на него смотрят как-то по-особенному. Это мешает думать о главном: о брате, о матери, о Ефимове. Вот и Фому убили. Когда кого-то убивают, начинаешь замечать, что убивают лучших.

Другие отряды ушли, остались только колесовцы. Сидят, стоят, дожидаются, будто ради Толи. Он и благодарен, и неловко ему. И сам себе противен. Такое случилось, а думает о том, какое у него лицо и какое должно быть выражение лица у человека, если брата ранили. А он ведь любит брата. Толя и особенно Алексей, само собой разумеется, скривились бы, если бы услышали друг от друга о таком. Но в них это есть, и однажды Толя особенно остро осознал, что есть. Еще дома, еще

до войны. Пошли по грибы: Толя, Алексей и рыжий Янек Барановский. Поссориться со старшим братом – пара пустяков. Достаточно посмотреть на его недовольную физиономию (как же, младший навязался в компанию!), как тебе сразу захочется еще больше испортить ему настроение. Алексей, будто нарочно, все уходил от знакомых грибных мест. Толя, тоже назло, отстал. Вначале не подавал голоса. Потом стал свистеть. Дорогу к дому он помнил, но надо же было узнать, где брат и Янек. Никто не отсвистывался. Лес, когда Толя слушал, начинал шуметь тревожно и сердито. Толя стал звать. Наконец ему отозвались. Лес что-то делал с теми, чьи голоса Толя слышал: к Толе летел крик ужаса, испуганный зов. Толя побежал на крик. Но зов вдруг пропал. Толя бежал и тихо скулил, плакать у него не хватало дыхания. Звал, кричал. Лес шумел с угрюмой монотонностью. Толе тогда почему-то вспомнилось, как искали в реке утонувших вместе с лодкой двух девочек учительницы. (На берегу страшно кричала, билась почерневшая женщина, а река плыла спокойно, поблескивая солнечной рябью.) Спокойный шум леса стал казаться зловещим. Толя выбежал на поляну, он убегал от леса, как от убийцы. Упал на нагретую солнцем траву и плакал, плакал, казнясь за все свои вины перед братом и с ужасом представляя, как узнает о случившемся мать… От горя и слез он незаметно уснул. Проснулся оттого, что босым ногам сделалось холодно. Красным воспаленным оком солнце глядело из-за вершин черных, как тушь, вечерних елей. Толя уже не понимал, почему он был убежден, что с братом и Янеком приключилась беда. Но на душе было тяжело. Кожу стягивали высохшие слезы. Он шел к поселку и не знал, хочется ему бежать или, наоборот, оттянуть ту минуту, когда войдет в дом, увидит маму и поймет, что Алексея нет… Брата он увидел издали возле помпы: стоит над ведром. Янек крутит колесо. Горячая волна поднялась из самой глубины, подступила к горлу, к глазам…

– Ничего, парень.

Это старик Митин подошел, потрогал Толю за плечо. Наверно, по Толиному лицу все-таки заметно, что он не бревно, что ему тяжело.

Да, но почему он думает о своем дурацком лице почти с удовольствием?

Толя пошел по лесной дороге в ту сторону, откуда должны появиться подводы. Услышал и побежал на стук колес…

Лошадь, лицо старика… Вот он – Алексей! Серый пиджак накинут на плечи, под ним на груди резко белеют бинты. Алексей полусидит на возу. Курит. Наверно, очень удивился внезапному появлению брата, потому что воскликнул почти счастливо:

– Толик!

– Ваш партизан? – поинтересовался бородатый возчик. На коленях у него карабин. У ног Алексея – винтовка. Унес все-таки.

– Наш, – ответил Алексей и так по-хорошему улыбнулся Толе. А Толя – ему. Им радостно скрывать и знать, что они – братья. – Знает уже? – спросил Алексей.

Это про мать.

– Наверно, нет. Отряд здесь. Ходили пароход топить.

Серый пиджак брата весь испятнан кровью. В голубых галифе – там, где карманы, и возле самого колена – дырочки, маленькие, безобидные.

– Мама зашьет, – говорит зачем-то Толя.

– Чтобы только не напугали. Ты же знаешь ее!

Толя остановился, поджидая вторую подводу. Грузный, с широкой походкой партизан, приноравливаясь к подводе, ступает медленно, будто выбирает место, чтобы прочнее поставить ногу.

Толя смотрит на постилку, под которой убитый, видит босые, холодно-белые, неестественно большие ступни ног и с трудом верит, что *это* – Фома Ефимов. Гораздо более реальным кажется не то, что он видит, а то, что помнит. Совсем нетрудно представить, что не минули еще эти три месяца, что сейчас ночь, отряд ушел громить Протасовичи, а Толя и Фома на посту – в яме, пахнущей мерзлым картофелем. Рядом с Фомой, затихшим у пулемета, сам себе кажешься сильным, грозным. А рядом с этим, что на возу, ты слабее самого себя: вот как сковало даже Фому Ефимова. И какой он чужой, даже враждебный, этот, что на возу. Он не защищает, не поддерживает, он таит зловещее. И как жалко того, живого, как горько, что его уже не будет, никогда не будет. А ведь такого заметного будет не хватать и тогда, когда кончится война, когда людям останется одна радость. Будут ли они замечать это?

А на дороге уже хлопцы, идут навстречу. „Моряк” направился ко второй подводе. Приоткрыл постилку и сразу опустил.

– Ах, вы-ы! – простонал плачуще и угрожающе.

Самое трудное – это когда отряд возвращается. У всех, кто в лагере, лица беспокойно-счастливые, даже у Паши. Вначале, как убили ее Митю, она все молчала, даже боялись за нее. А теперь – прежняя, как и когда-то, – любит поговорить, засмеется иногда. Но я-то вижу, какие у нее глаза. Они не примирились с тем, что случилось, с тем, что ее сына нет. Ни с чем не примирилась, ни с кем. Она чего-то ждет, своего чего-то. Не могу забыть, как она плакала тогда, несправедливо и упрямо обвиняла моего сына в том,

что случилось с ее сыном. Она мне и сочувствует, когда я жду, боюсь, и как бы жалеет меня, не я ее, а она меня жалеет. Радостно встречает Алексея, Толю. Будто хочет спросить про своего сына, будто забывает…

Сегодня все какие-то неразговорчивые. Я даже не выдержала, спросила: „Как мой Толя?”

– Да что ему, – засмеялся Шаповалов, – потопил пароход и идет. Вот и он.

Всякий раз, когда Алексей и особенно Толя возвращаются в лагерь, они такими детьми выглядят. У Толи шея тоненькая, голова большая… Но попробуй пожалей его. Да и зачем, им ведь не легче, а тяжелее будет. Им такое приходится переносить, такое видеть. Алексей на что уж не любит рассказывать, а в прошлый раз не выдержал: „Расстреливали, мама, старосту. Гад, семьи партизанские выдавал, четыре семьи сожгли. Борода белая, чистая, сидит на пне, а слезы по бороде: „Хлопчики, помилуйте!” Близко от гарнизона было, кустики, днем. Кучугура из бесшумки выстрелил, а он: „Хлопчики…” Фома не выдержал, из пистолета убил, единственным своим патроном”.

Вот что пришлось вам, дети…

А сегодня Толя сразу подошел ко мне. Раньше, бывало, поздоровается издали или за руку, как все, и дальше со всеми идет, чтобы не подумали, что к мамке прибежал. Лина, смешная, возмущается всегда: „Я их отругаю. „Здравствуй!” Как еще не скажет: „Анна Михайловна”?”

А сегодня остался возле матери. Беспокойный такой. Устал, наверно. Ходит же день за днем, ни одной операции не пропустил. Я знала, что нелегко тебе будет, дитя ты еще горькое… Сердце щемит, когда не видишь их. И когда видишь. Своих. И не своих… В санчасти много раненых, тяжелых. Особенно боюсь за Молоковича. Самолет бросил на дорогу бомбу, и надо же – его и ранило. Пока при сознании – тихий, мягкий со всеми. Вроде и не помнит, что двое его соседей – недавние полицейские. Разговаривает, слушает. А как бред начинается, просто боимся. Срывает повязки, кричит: „Полицаев с ложечки кормить если будете, поднимусь и порежу их. Не хочу с полицаями…” А сегодня ночью воды родниковой просил: „Я сразу поправлюсь, Анна Михайловна, дорогая, пошлите кого-нибудь. За хатой моей криничка, мама покажет, она сходит сама. Скажите, для Вани”. И смотрит так, что знаю: умрет, если не дать ему этой воды. „Хорошо, – говорю, – пошлем разведчиков. Вот иду в штаб”. А сама к яме, опустила в холодную воду флягу с кипятком. Лина

прибежала. „Послал меня, чтобы сказала, как с матерью его разговаривать. Боится, чтобы не напугали. Пусть, говорит, скажут, что в руку, в плечо ранило, не тяжело".

Принесла остуженную воду. И полчаса не прошло, а он верит: „Привезли? Не напугали ее? Мама у меня простая, почти неграмотная, но совсем такая, как вы. Она сама набирала воду? Нигде нет такой. Попробуйте, Анна Михайловна". И Лину заставил попробовать… Лина сегодня какая-то бестолковая. Даже разозлилась я на нее. Скажешь – переспрашивает, а делает все равно не то и не так. Сделаешь замечание – смотрит, будто я больная, а она хочет и боится сказать мне это. И Толя куда-то убежал. То не отходил ни на шаг, а то пропал. Все сегодня не по мне: и как разговаривают, и как смотрят, как замолкают. Нервы стали ни к черту. Сапожник Берка едет, кожи везет. Надо про Толины сапоги напомнить. Совсем он оборвался, босой ходит. Что этот Берка так смотрит? Всегда у него шуточки, а тут смотрит, вздыхает… Боже, что он говорит? Какой сын, чей сын? Что я не должна, почему не волноваться, не убиваться? Убиваться? Убит! Кто это крикнул так страшно на весь лес? Я так и знала, я знала… Але-ша!..

– Толя! – крикнул Шаповалов.– Беги, мать там…

Толя, который на дороге дожидался раненого брата, понял, побежал. Люди толпятся возле хозвзвода. Расступились перед Толей. Как это страшно, когда перед тобой расступаются.

Она лежит на земле, лицо белое, такое слепое. Лина стоит на коленях, трет ей щеки, просит, плачет:

– Правда, Анна Михайловна, ну, честное слово, не убили…

Толя наклонился и тоже сказал:

– Правда, мама…

Что делать? Толя никогда не видел мать такой. Ему больно и немного стыдно, и ему уже кажется, что действительно произошло что-то страшное. Он знал, что мать не поверит словам, ждал, пока подъедут подводы, чтобы сама увидела, убедилась. А тут кто-то проговорился, наверно Берка.

Сапожник бормочет, оправдывается перед Сырокващем:

– Вижу, такая бледная идет, я и говорю: „Не надо убиваться, Анна Михайловна, его везут, уже близко…"

Глаза у матери открылись, она сразу испуганно поглядела на всех, поднялась на ноги, оттолкнула чью-то руку.

– Где он, покажите мне!

Сырокваш взял ее за локоть, она хотела вырваться, но начальник штаба не выпустил руку:

– Нет, раньше выслушайте, Анна Михайловна. В плечо, понимаете, в плечо. Идемте к посту, может, они там.

Мать пронзительно и просяще глядела в сердито выпуклые глаза Сырокваша и, кажется, начинала верить…

– О боже, зачем вы меня обманываете, – как-то облегченно заплакала она. Оставила всех и быстро пошла по дороге. Лина бросилась следом, гневно оглянулась на Толю.

– Иди, – приказал ему Сырокваш.

Толя догнал мать.

– Правда, мама, я даже разговаривал с ним.

– Почему же ты молчал? Сынок, скажи: правда?

– Сидит на возу и смолит папиросы. А Фому убили.

– Ефимова? Как же это, как же?.. Ой, это они! Подводы…

Алексей уже увидел мать. Он ждет, нахмурившись.

– Сынок…

– Ладно, мама, потом.

– Куда тебя?

– Ну, видишь же, сижу. В плечо, ерунда.

Алексей оглянулся. Там, возле убитого, стоит Марфа Петровна, большая, лицо распухло от слез.

VII

Через неделю отряд снова выстраивался возле штаба. Целые взводы – подрывники. Специально обучали. Из Москвы прислали много толовых шариков. Говорят, вся бригада пойдет. И не одна.

Выстроились взводы, ждут разговора с командованием, смотрят друг на друга, на танкетку, на немецкий дизель. Приятно, когда перед глазами у тебя – техника, своя, партизанская. Немцев, которые приехали на дизеле, уже нет в отряде: забрали в штаб соединения. Настойчиво и очень охотно говорят, будто у них нашли яд. И еще новость – совсем неожиданная: арестован Бакенщиков. И тоже разговоры: он не тот, за кого выдавал себя. Мохарь добыл сведения. Трудно поверить сразу, но всякое может быть, какие только не приходят люди и каких только случаев не бывало. Толя как раз возле санчасти был, когда Бакенщикова вели. Худой, высокий, он шел быстро, будто знал куда, зачем. Партизан с винтовкой даже отставал от него. Наверно, страшнее всего, когда ведет тебя вот так – свой. Нет, такое просто не может случиться с тобой.

Хотя и не говорится точно, куда идет отряд, все догадываются. Настроения, такого торжественного, праздничного, не было, кажется, никогда.

Двинулись по лесной дороге. Сзади походная кухня. Совсем армия. Желание быть „как армия" у партизан – самое большое. Эх, попартизанить бы верхом на танках, да с артиллерией настоящей, да с собственной авиацией! Самая большая мечта – влиться в армию, которая уже на Днепре, которая гнет и ломит немецкую силу. Может быть, лишь тогда сполна расквитается партизан за все: и за лютость врага, и за горькие дни. Сколько ни воюй здесь и как ни воюй, не избавишься, наверно, от чувства, что за самое главное, самое большое все еще не расплатился. Коренной давно партизанит, а как зайдет разговор о фронте, одно твердит:

– Хочу увидеть немцев такими, какими мы были в первое лето. Больше ничего не хочу.

У Носкова другое:

– Все отдал бы, только побыть в охране, пленных фрицев караулить. Мне это во как надо! Посмотреть, какие они будут. Чем угодно у меня станут.

Носков побывал в плену, побывал и в „добровольцах". Потом убил немецкого офицера и пошел искать партизан. Никто не поминает ему добровольчества, но он сам помнит. Может, оттого и злой такой.

Вот бы всей бригадой через деревни пройти. Но остальные отряды идут своими дорогами: чтобы немцев не всполошить. Проходили через Костричник и, как всегда, мимо могил. Не хочется верить, что уже посеревший от дорожной пыли крайний холмик – это все, что осталось на земле от Фомы Ефимова. Нет, не все: вот Толя смотрит и думает. И другие. Самое главное, чтобы остались эти другие, когда случается такое…

Перед выходом из лагеря Толя забежал в санчасть, к брату. Там у них свой мир: с белыми простынями (даже в штабе их нет), с книгами, своими шуточками, ночным бредом, над которым потом тоже подшучивают. И Лина там – может, оттого столько шуточек, что там она. Очень строгая, командует от имени Анны Михайловны: „Скажу Анне Михайловне! Вот узнает Анна Михайловна!" И краснеет. Такое впечатление, что она сердится на свои руки, ноги, грудь, очень даже заметную, и в то же время тайно чему-то радуется. А смущается, видно, оттого, что сама себя по-новому узнает. Толе подумалось, что хлопцам все же легче и не так стыдно становиться взрослыми. Ничего же не заметно, а о чем ты бредишь, какие сны у тебя – кто об этом знает! А им все время думай: на лицо твое или еще на что смотрят. И, понятно, будешь, как Лина, перехватывать чужие взгляды, смущенной строгостью или искорками смеха удерживать их повыше.

Пожалуйста, Толе даже очень радостно смотреть именно повыше, в лицо, на котором такие крупные школьные веснушки и такие мягкие – будто у пятилетней – губы. Одно непонятно: если ты так стесняешься самой себя, тогда зачем эти короткие рукава, эта обтянутость на груди, этот поясок, подчеркивающий девичью узость над бедрами? А волосы? Один день у нее большой бабий узел, а в другой раз косу на грудь бросит или венок из волос сделает, вроде спрашивает: „Лучше, нравится?” Все у нее такое, спрашивающее: и походка, и очень черные брови (это при вызолоченных солнцем волосах), и даже кисти рук, удлиненно-тонкие, всегда занятые, если не бинтами, то косой. Поймешь тут, отчего такие, как она – от смущения или от удовольствия, – краснеют. И еще тебя краснеть вынуждают. Подозревают, как воришку. А ведь Толя совсем не за тем являлся, чтобы Лину рассматривать. У него в санчасти брат. Лежит у самой двери, смалит самосад, хмурясь от дыма и оттого, что натура у него такая.

Мать тихо, чтобы не слышал Алексей, пересказала Толе то, что она уже знает от других. Женщина „копаничала” (окапывала) картошку, когда Фома и Алексей побежали к лесу, а по ним ударили из пулеметов. Лежа в борозде, она слышала, как упавший Фома кричал Алексею:

– Беги, Алеша, беги!

Раньше для мамы вроде и не было вопроса: как спасался, как убежал Алексей? Казалось, главное было: жив или нет. Главное, но не только об этом думает она, когда боится за Алексея, Толю. Она вот ни разу не сказала: „Ты там не очень лезь”. Провожает, встречает, боится, радуется, но не говорит. И Толя уверен: не просила она других опекать его. Пилатов это сам.

Когда Толя сидел в лагере без винтовки, а матери, наверное, очень хотелось, чтобы так продолжалось как можно дольше, она с какой-то особенной старательностью ходила со взводом на боевые операции. И как-то по-особенному относилась ко всем. Зато Толю любила меньше. Это точно. Теперь он это понимает. Она будто отдавала другим, которые ходят в бой, частицу и того, что принадлежало ему.

Когда-то Толе казалось, что он знает свою мать, всю и навсегда. Теперь Толя понимает, что мысли ее – не только о нем и брате. Это чуть-чуть отдаляет мать. Но такую любишь больше. Не только любишь, а и что-то другое. По отношению к чужим это называется уважать.

Уходя из санчасти, Толя не забыл поменять потершийся перевязочный пакет на новый. Мать держала сумку раскрытой, пока он шарил, выбирал.

Полевыми дорогами, среди негустой желтеющей ржи идет отряд. Идет по лесным дорогам, через деревни. А где-то текут другие отряды, бригады, движутся целые соединения.

И вот так же стоят у дорог женщины, босые старики, бегут черноногие пацаны, вот так же смотрят люди, серьезно или встревоженно-радостно. Кажется, вся Беларусь поднялась и пошла…

Будет „концерт” – слово уже найдено. Партизаны любят неожиданное, веселое слово. Ночь повисла, как занавес.

Шоссейку перейти, потом еще километров тридцать до „железки”.

После ужина (кухня сделала свое дело, теперь вернется в лагерь) командиры отделений притащили в плащ-палатке хлеб и вареное мясо. Все, не задумываясь, суют теплое мясо в карманы. Когда одежда не для того, чтобы стеснять, когда карманы не для носовых платков, а для жратвы или патронов, начинаешь по-настоящему ценить ее, свою одежду. К ней и ко всему, что на ремне и за спиной у тебя, испытываешь чувство, которое сродни благодарности.

Вот так же, наверно, любит свой домик-панцирь черепаха.

Идешь, пришел, а с тобой, на тебе – самое необходимое. Короткий плащ может крышей служить, а если надо – одеялом. Желтая рубаха – мягкая, фланелевая и, главное, с замком-молнией – близка не только к телу. С ней как бы даже разговариваешь: „Упарила ты меня сегодня” – или же: „Да, маловато в тебе тепла, ну ничего, пиджак поможет. Или давай плащ накинем”. Рубаха спереди подрезана, коротковата стала. Зато воротник теперь новый. Сама себя чинит (конечно, руками Толиной мамы). Дружеской тяжестью налегает на плечо винтовка. Ты есть то, что ты есть, тебя, партизана, опасаются немцы лишь потому, что она с тобой. Придерживаешь, оттягиваешь ладонью ремень винтовки и радуешься его прочности, надежности. Правда, кто-то и до тебя радовался его надежности – вон как вытерт руками…

Рядом с подсумками, в которых весь твой „склад боеприпасов” – пятьдесят восемь патронов, болтается граната-лимонка. В ее ромбиках – скрытая сила, запрятанный взрыв. Лимонкой подорвался селибовский Виктор Петреня. Тогда об этом много говорили. В партизанах о таком думается как о необходимости, последней, жестокой, вынужденной. Думается привычно: это убьет тебя, но и спасет, защитит от еще более страшного. Отогнешь чеку левой рукой, выдернешь и сразу

почувствуешь стальную упругость пластины. Теперь твоя жизнь, твоя смерть у тебя в руке, и уже не так страшна чужая лютость, жестокость. Проделываешь это мысленно, и не один раз.

Мысль о таком конце делается привычной и оттого не очень пугающей. Тем более что где-то глубже живет уверенность: до этого не дойдет. Но граната, схваченная узеньким ремешком по брюшку, привязана к поясу накрепко: настолько твердо (тоже в глубине души) ты знаешь, уверен, что граната – это не для того, чтобы бросать, что она – на самый крайний случай, для себя.

Оказывается, и смерть может стать спасением. О погибших говорят, жалея. О партизанах, которые попали в руки немцам живыми, – с внутренним содроганием. Как страшно было бы жить, если бы в мире осталась жестокость, лютость врага, но исчезла возможность умереть.

Толя уже много смертей видел. И всегда за испугом, болью, жалостью ощущал в себе еще что-то. Вначале это „что-то" осознается как чувство превосходства живого над мертвым. Ты живой – это так много! Но навстречу поднимается другое. Лежит на возу черный от крови человек, последний ужас и как бы удивление („вот оно!") застыли в расширенных зрачках... Но этот уже *узнал,* смерть у него уже позади. Когда вдумаешься – нелепо: что значит позади, если впереди – ничего. Но чувства превосходства над мертвым уже нет.

О чем только не передумаешь, когда идешь вот так километр за километром, а впереди еще много их, и там, впереди, – бой, тревожная неизвестность. Сладко щекочет ноздри теплая ночная пыль. Эта походная пыль сегодня висит над всей Беларусью. Везде, где есть партизаны. А они – везде.

Остановка. И опять идет отряд. Кто-то начал первый, и другим понравилось – забегать в сады и обрушивать на землю веселый град яблок. Правда, начальство гневается. И Коренной возмущается:

– На кислятину пожадничали.

Теплые еще дневным теплом яблоки горьковаты, но жажду перебивают. И не жажда главное. Тут какое-то подтрунивание над теми, кто спит, когда такая ночь, когда так тревожно-весело на дорогах. Когда сам не спишь, хочется подкузьмить спящего. И в лагере так: явятся ночью с дела – всех поднимут, леща кому-нибудь закатят. И особенно весело, если это кому-нибудь не нравится.

Запах пыли, летней, ночной, висит над дорогой, а сквозь него просачивается запах влажных житных полей, картофельной ботвы, яблок.

Колонна часто разрывается, приходится бежать, догонять. Звякает оружие, стучат диски, сердятся или посмеиваются хлопцы. Сколько прошли, пробежали сегодня! Если бы один, давно бы свалился, а это – будто несет тебя в общем потоке. Несет-то несет, да на твоих же ногах, и болят они черт знает как.

Потянуло предрассветным холодком. Толя смутно узнает знакомые места. Больше стало налитых туманом низинок, высокие старые тополя будто дожидаются тебя у дороги, а над канавами наклоняются, почти падают темные, в полнеба, кроны старых ив.

Вдруг обнаружилось, что вторая рота оторвалась от первой. Принялись ругать тех, кто идет впереди. И Царский, слышно, кроет кого-то грозным басом, хотя он-то и ведет роту.

Выстрелили. Сразу представилось, как эхо понеслось к мосту (там немцы, охрана), как услышали далекий выстрел в Лесной Селибе (до нее километра три). Ответный выстрел прозвучал далеко, совсем в стороне. Когда бежит много людей, очень весело делается или тревожно. Проломились через мокрые, будто вымытые, кусты, на которых повисли клочья тумана. В глотке горчит: туман настоян на ольховом листе. Вот она – река. Птичь! Черная, как бархат под стеклом!

Наконец догнали первую колонну. Попытались на ходу установить, кто больший раззява. Но некогда разбираться, общая команда: бегом! Тяжелое дыхание, металлический лязг, зубы от усталости щемит, их словно больше стало. Уже совсем светло. Белое, будто подсвеченное снизу, небо, белый туман, белые лица людей. Не очень удачно к шоссе вышли: где-то рядом – мост, пулеметы. С каждой минутой опасность будет возрастать, а шоссе надо проскочить сегодня. Ты уже не имеешь права отстать, ты уже подчинен общему движению, что началось на всех дорогах. Не видишь других дорог, других отрядов, бригад, но все время ощущаешь, представляешь общий поток, себя в нем.

Ожидаемое и все равно пугающе неожиданное – „варшавка!”. Завалы из срубленных обожженных, мертвых сосен и елей, а среди этой мертвой неподвижности – чистая, уходящая вдаль лента асфальтки. На сотни метров по обе стороны дороги деревья срублены, свалены, и все аккуратненько – крест-накрест. Любят устроители „нового порядка” аккуратность, особенно когда убивают – все равно: людей или деревья. Черные, обожженные сучья торчат во все стороны. Придумано хитро: спрятаться за такими завалами трудно, убегать плохо, к шоссе бежать – тоже не разгонишься. Черные пальцы деревьев-трупов цепляются за одежду, внезапно встают перед лицом.

Хватаешься за них с отвращением черными от сажи руками и – вперед, вперед, быстрее, быстрее... Чем ближе к шоссе, тем быстрее... Мост не виден, но все чувствуют его зловещее соседство, и потому один спешит, чтобы проскочить шоссе первым, другой тоже спешит, но держится в сторонке, опасаясь идти первым, но и последним боясь остаться. И так много их, спешащих и нерешительных, смелых и хитрящих, – лавина. И оттого, что лавина, сама тревога какая-то веселая. Совсем весело сделалось, когда передние, пригнувшись, перебежали дорогу, а на мосту – ни звука. Уже с любопытством глядят вправо, уже с ленцой переходят шоссе. Ручкой немцам делают. Пулеметы в бункерах молчат. Убежали немцы? Или смотрят, столпились и решают: стрелять или лучше не трогать? Все, кто отставал, сзади шел, теперь бегут. Передним вон как хорошо – проскочили и уже возле леса. Толя не передний и не задний, он – в середине. Он уже поднялся на обочину. Видны перила моста, сереет деревянный настил. Ступил на черный асфальт. Хочется задержаться, но и побыстрее соскочить в канаву хочется: а что, если палец уже напрягся на гашетке пулемета! Но так подмывает постоять на асфальтке, которая ведет в Лесную Селибу, куда-то в прошлое...

Дальше шли взбодренные, будто окунулись в холодную воду. Вот что значит силища, армия! Особенно радостно через деревни проходить. Жители на улице будто дожидались тебя. Тут уже шли отряды, твой не единственный.

– Хлопчики, может, вы уже армия? – говорит молодая женщина. Улыбка – праздничная, знает, что не армия, не у первых, видно, и спрашивает, но и ей, и тем, кто стоит рядом, и партизанам хочется слышать это слово – армия, Красная Армия!

И вдруг – Тит, селибовский. Толя подбежал к старику. Очень обрадовался Толя сварливому и вздорному деду.

Все помнит об этом человеке: и то, как болтал что попало в первые месяцы войны, как тащил из магазинов и радовался, будто до конца дней своих надеялся прожить на этом, как сказанул однажды Толиной матери: „Умные все дома, а твой за кого воюет? За Сталина?" Все это было. Но потом поумнел дед, особенно как получил „гумы" в комендатуре. И тоже за язык. Но сейчас не то важно, какой он, важно, что он из Лесной Селибы, что видит Толю с оружием, видит партизанскую силищу. Вот уж распишет заводским курцам! Толя просто счастлив, что видит тощего занудливого Тита.

– А у нас сказывали, что убили тебя и брата, – с недоверием смотрит дед на Толю, – бургомистр, Хвойницкий, кричал.

– Привет ему можете передать.

– А брат где? – Глазки у деда по-прежнему недоверчивые.

– В лагере. Его легко ранило.

– А, значит-тки, подстрелили, правда-тки. Ну и зануда!

– А про письмо – правда? – спрашивает Тит.

– Какое письмо?

– Из Германии, от вашего батьки.

Заговаривается дед.

– Прощай, старик! – прозвучало неплохо. Но Толя тут же вернулся. – Какое там письмо?

– На комендатуру будто прислал. Бургомистр говорил.

– Больше ничего не сочинил ваш бургомистр? Ну, а как там соседи… наши… ваши?

Хочется узнать про Барановских, про друзей: Янека, Миньку. Сидят, наверно, дома, ловят слухи о партизанах, завидуют. Но Тит другое говорит:

– Старший ихний собрался и пошел в лес. Что вам батька-матка? А старых похватали немцы.

– И Миньку?

– Это младшего? Все-ех!

Вот оно, о чем думалось по дороге. Здесь, в партизанах, человек вроде ближе к смерти. Но что может быть страшнее, чем беспомощность перед злой волей, жестокостью пьяных от лютости врагов. Толя среди партизан, мир хорошего, радостного, своего не широк, все время чувствуешь границы, за которыми – внезапная тревога, первый, самый громкий выстрел.

Но пока нет этого первого выстрела, и даже когда он прозвучит, твой мир все время с тобой. Между этим миром и тем, что принес, несет враг, – стена, хотя и не постоянная.

А Минька, щуплый, с горбатым, „пилсудским" носом, в эту минуту совсем в другом мире, и он почему-то представляется маленьким, высохшим старичком, которого до слез жалко.

… Догнал своих в другом конце села. Взводы отдыхают у дороги. Дядя Митин желтыми зубами грызет сочную и тоже желтую брюкву. Из-за сарая выходит Застенчиков, в каждой руке по брюквине.

– Мне вон ту, – говорит Головченя.

– Там, – показывает на огород Застенчиков.

Весь день гостили у местных партизан. Для приходящих и проходящих местные кажутся немного домоседами. Ты идешь, ты в дороге, а они – дома. Но „посадишь" себя на их место в этом вот лесочке, зажатом между „варшавкой" и железной дорогой, и сразу поежишься, как от холода. Кроме пятидесяти патронов у тебя еще и

ноги. А местные „на приколе”, у них вся надежда на пятьдесят патронов.

С удовольствием думаешь о своем Полесье: там ты тоже местный, но местность твоя – целый край, там лес так уж лес.

– Эй, Корзун, тебя ищут!

Толя увидел идущего меж кустов Павла, увидел впервые после того вечера, как стояли в темных сенях и Павел шептал: „Спасибо за все, Аня...” – и еще неизвестно было, удастся ли уйти из Лесной Селибы: партизаны были только мечтой, а рядом – комендатура, каждый день прибегал Казик Жигоцкий, под окнами ползал Пуговицын... Тяжелый полузабытый сон, и вот оттуда, из этого прошлого, идет Павел: яркое солнце, на поляне вооруженные люди, лицо Павла знакомо скуластое, горбоносое, обветренное, глаза улыбаются обрадованно. Несмотря на жару, на нем почему-то кожанка (из черной она сделалась серой), на плече винтовка с новеньким оптическим прицелом. Оглядел Толю, улыбаясь, поздоровался за руку.

– Как мама? Алешу сильно ранили? Маня тут наплакалась, как услышала. С ней, знаешь, как. – В голосе Павла мужское снисхождение. – Вот иду домой, от командира еще неизвестно, что получу, а от нее – заранее знаю – нагоняй: „Не думаешь про дочку, то да се...” А тут еще друга моего ранило. Ходили с ним к шоссейке. Охотиться.

Павел потрогал черную трубу на винтовке. Толя взял его винтовку.

Странно выглядят люди, мир, когда смотришь через оптический прицел. Все необыкновенно ясное, но немое: смеются, один по коленкам себя хлопает, он совсем близко хохочет и, видно, орет, а не слышно.

Павел продолжает рассказывать:

– Припутали нас вчера с Миколой. Горбатенький такой есть у нас. До войны бухгалтером работал в колхозе. Идем с ним через луг, а тут немцы на велосипедах катят. Мы винтовки, кожанку под сено, грабли у баб взяли, работаем. А когда машину мы обстреляли, убегали, снова на велосипедистов этих напоролись. Миколу в бок ранило, в лагерь повезли его, а мне только вот.

Павел трогает пальцем рваную дыру на рукаве.

– Жарко в кожанке, – заметил Толя.

– Зато в любую погоду не страшно. Лежи хоть сутки. Эта кожанка чуть головы мне не стоила. Когда из Селибы в отряд пришел, одному тут понравилась. Я не отдал. Стал вязаться: где был в сорок первом году, да что, да как? Чуть под предателя, шпиона не подвел.

Селибовский Толя, а уж прежний Павел и подавно не стали бы и слушать человека, который бы такое рассказывал. Но Павел теперь тоже чуть-чуть другой: задумчивее, что ли.

– Хочу перейти на противотанковое. По паровозам бить. Ходил – понравилось. Дашь – только пар: „ш-ш-ш...”. Мы сегодня тоже собираемся на железку.

Поговорили про Коваленка. Конечно, погиб Разванюша, а парень был какой! И сразу почему-то про Казика вспомнили... Про бутылку меду... „Только для раненых...”

– Болтун, – произнес Павел, – глядишь, и отсидится. Вот уж кто, наверно, прислушивается: живы ли еще Корзуны?

Надо бы поспать, но в чужом лагере, да еще после встречи с Павлом, да когда солнце жарит – попробуй усни.

К вечеру пообвыкли, прохладно стало, самый раз вздремнуть, но уже надо подниматься, идти. Чем ближе к полуночи, тем сильнее притягивает земля размякшее от усталости тело. Веки липкие. Люди точно пьяные. Впереди Савось идет, жестяно стучат пулеметные диски, руки у него висят, как веревки. Внезапно сворачивает с дороги, спотыкаясь. Шагает по полю и, кажется, не думает просыпаться.

Головченя, всхлипнув своим нутряным смешком, хватает его за плечо.

– А? – спрашивает Савось и послушно возвращается в колонну.

Небо из конца в конец ополаскивается зарницами. После каждого сполоха привычно ждешь грома. Но грома нет, и потому все кажется чуть-чуть нереальным. Дорога вдруг вздыбилась. Толя споткнулся, перед глазами не лес, не темные спины людей, а поле, накрытое черным вспыхивающим небом.

– Что вы тычетесь, как слепые котята? – голос Носкова.

Толя поспешно вернулся на дорогу.

Черное небо кажется пустым. Но полоснет голубое зарево, и видны становятся серые глыбы, черные навалы туч. Они каменно неподвижны в короткое мгновение вспышки. Но они движутся. Новая вспышка – видишь: тучи уже по-другому громоздятся. Жутковато представлять мчащимися, ворочающимися эти каменно-темные жернова туч.

Мерно позвякивает оружие впереди идущих, штык-кинжал стучит о приклад твоей винтовки, на душе тревога и ожидание, а глаза все равно слипаются. Делаешь шаг, второй – по-оплыло... Толчок, рывок, будто в поезде. Сзади налетел кто-то, тоже уснул.

– А? Спишь?

И снова все сначала. Закроешь глаза и даже контролируешь себя: „Не сплю же, вот думаю о том, что не сплю...” Но откроешь, и такое чувство, что все-таки спал.

Остановка. Быстренько упал на землю. Каждая секунда полусна радует: спишь и радуешься – сплю! Мог бы стоять, как другие, но догадался и лег. Другие тоже начинают усаживаться на землю, а ты уже давно *здесь.*

- Эй, проспите станцию, – кто-то ногой толкает. Толя вскочил, легкий, счастливый, будто и в самом деле выспался.

Что это? Пулемет стучит – будто кто протянул палкой по забору. И вспышки далекие, затяжные, желтые. Это уже не зарницы. Ракеты. А в голове свежо, радостно: немного поспал. И не спешишь переключаться на тревогу... Пока еще разберутся, решат... Но спать уже не хочется. Басина Царского:

– Два рельса на человека. Ясно? Твой взвод, Пилатов, наступает на блок-пост, отвлекает на себя огонь. Ясно? Ясно, спрашиваю?

– Ясно, командир роты. – В голосе Пилатова невеселая ирония.

– Ползти, пока по обнаружат, – крутой, твердый голос. При вспышке зарницы Толя разглядел высокую остроплечую фигуру Петровского, комиссара. Впереди за черной стеной кустарника взлетают ракеты. Саму ракету не видишь, а только ее мертвящий свет: черное небо медленно, тяжело поднимается, а потом бесшумно рушится вниз. И тень твоя растет, растет, будто убегает... Снова поднимается чернота и снова падает вниз, а в это время полоснет по небу голубой свет, ждешь грома, но вместо него – торопливое татаканье пулемета. Взрыв. Бросают наугад мины.

Темные силуэты уходят в сторону ракет, а тени бегут к тебе. Время от времени Толя видит лицо Пилатова, напряженно сведенные черные брови. Подошел и тихо сказал Толе:

– Держись меня.

Шли туда, где взлетают ракеты, лениво, зло урчат пулеметы. А что-то тревожное, враждебное движется навстречу тебе, и все быстрее. Оно уже в кустарнике, который гудит от пугающе близких выстрелов. Ага, разрывные! Пули лопаются отвратительно резко, оглушающе. И это мешает понять, далеко ли, близко ли железная дорога, где другие взводы.

– Вперед, бегом! – голос Пилатова.

И сразу же зачастили звучные разрывы пуль: впереди, сбоку, сзади. Время понеслось, и люди, точно догоняя его, бросились вперед. А там, где светло от ракет, взвыло, загремело. Будто дожидалось и обрадовалось, что дождалось. Странно слышать тонущее в железном

реве, несильное, беззащитное человеческое „ура”. Другие уже там, на отшлифованном светом ракет открытом поле.

– Быстро, быстро, – поторапливает Пилатов. Но Толя видит, что плотные линии еловых насаждений уводят в сторону от боя, от пулеметов, от атаки. Все понимают это, но, чтобы не замечать, ускоряют бег. Словно сами себя обманывают. И Пилатов (лицо белое, растерянно-сердитое) вместе со всеми бежит по косо уводящим дорожкам. Надо бы остановиться, проламываться напрямик, через кусты, но все бегут, бегут вперед, а на самом деле – в сторону. Пули лопаются, кажется, возле самого лица, черный кустарник кипит от звучных разрывов.

Наконец остановились: слишком хорошо слышно, что пулеметы, что разрывы остались справа. Казалось, искренне удивились, что вышли не туда. Что-то говорят, советуют, требуют. Пилатов, видно, не уверен, что можно теперь вывести людей туда, где неистовствуют пулеметы, гахают мины: косое движение, которому поддался и он сам, как бы подчинило себе людей. Они не ложатся, хотя в кустарнике тесно, неуютно от разрывных. Спрашивают, чего-то не понимают, а каждому ясно, что надо идти, бежать *туда.* Слева, совсем рядом, застрочил автомат. Пилатов (брови сошлись, глаза безвольные и безжалостные) вдруг приказал Толе:

– Беги, ползи, узнай, кто там.

Он готов уже мстить за свою мягкость, за то, что произошло.

Толя побежал, пригибаясь. Подсвеченная желтыми ракетами чернота внезапно вспыхнула огненными взрывами. Толя упал. И не поднялся на ноги, а пополз, хватаясь за усыпанную хвойной иглицей прохладную землю.

И тут кто-то набежал на него, чуть не споткнулся. Узнали друг друга: Авдеенко, круглолицый, с желто поблескивающими глазами!

– Ползаете тут – у!

На Толю замахнулись прикладом, как на гадину. А он, вдруг повернувшись, окрысился с земли и сам почувствовал, каким отвратительно хищным сделалось его лицо.

И каким жалким. Со злостью, обидой, стыдом увидел самого себя лежащим у ног Авдеенки. Вскочил.

– Где взвод? Пилатов где? – крикнул на него Авдеенко.

– Почему – где? Здесь.

– Здесь! Ну, даст вам Петровский! Веди их сюда.

Толя побежал. Все становилось на свое место, и все делалось понятным. Почти налетел на своих и тоже крикнул, как Авдеенко:

– Вы тут? Комиссар там, ждет!

Выбежали из кустарника и сразу залегли. Правее зловеще пульсирует красное пламя. Пулеметы. Рядом кто-то выстрелил, как бы пробуя. И тогда стали стрелять, обрадовавшись, что можно что-то делать. Выстрелил и Толя, но тут же ощутил, какой жалкий, беспомощный его выстрел: куда, в кого?

Ослепляюще выросли огненные кусты – „зи-ах", „зи-ах"! Лицо само втиснулось в землю, твердую, неподатливую. Что это, зачем, кто кричит? Дико, невозможно прозвучало требовательное:

– Вперед, впере-ед…

Но Толя помнит, как он лежал у ног Авдеенки, и поспешно подхватывается. Впереди бежит высокий, остроплечий. Наверно, Петровский. Самое удивительное: он не оглядывается, он уверен, что бегут все. И правда – бегут!

Бежит и Толя, пугаясь этого, но и радуясь. „Это и есть атака, вот как это бывает…" Со страшным скрежетом взметнулось пламя справа, слева, впереди. Толя все не падал, вцепился глазами в бегущего впереди, заставляя себя бежать, хотя больше всего боялся той минуты, когда добежит и надо будет что-то делать, и он не будет знать что. Ракеты, ракеты, черное небо уже не успевает упасть, снова и снова поднимают его ракеты. Кажется, что небо, ночь поднимаются все выше, вот-вот, как поезд из-за поворота, вырвется день, внезапный, яркий, а ты останешься один на открытом поле… Тот, кто осветил местность, словно сильнее тебя, он словно власть имеет над всем, что осветил. Стремительные нити трассирующих пуль идут правее, но именно туда бегут все, туда надо бежать. Зовут, испуганно, плачуще. Раненые… Почему их не подбирают? Кто должен это делать? Где-то лежат уже и убитые. Как их найдут, кто? И не то, что убиты, а что останутся, не найдут их, кажется самым страшным.

Вдруг что-то случилось. Сразу замолкли пулеметы, тихо-тихо сделалось там, где только что все бурлило в грохоте и пламени. Взрывы перенеслись вперед, они на насыпи, вспыхивают один возле другого, как спички, уложенные головками к головке. Вот оно – „концерт"! А немцы, наверно, ничего не понимают и потому сразу затихли.

– Давай, давай!..

Крики справа, впереди, злорадно-веселые и грозные. Ракеты больше не взлетают. Только оранжево вспыхивают, движутся будто по кромке горизонта взрывы, взрывы. Да еще фигуры бегущих в нереально красной темноте и беспощадный крик: „Дава-ай! Дава-ай!" Толя не видел, не знал, кто рядом, он бежал, и ему не страшно было добежать, он не казался себе беспомощным, а наоборот – сильным и злым. Снова полоснула огненная струя трассирующих. Кто-то упал,

кто-то снова стал стрелять. Неуютно от мысли, что могут в тебя свои попасть, задние. Левее насыпь, как темная стена.

Вот она, железная дорога, пахнущая чем-то забытым. А где бункер, немцы? Правее, там, где крики. Красный взрыв. Еще.

– Не стойте на насыпи! Сюда подрывники бегут!

Но так хочется стоять здесь, где час назад были *они.* Далеко в одну и в другую сторону, как бы отвечая зарницам, – вспышки взрывов, уходящий гул. Смотришь, слушаешь, переносясь в деревни, где теперь не спят жители, и особенно охотно – в гарнизоны, где немцы, бобики. Толю схватили за плечо. Напряженное лицо Пилатова:

– Ты? Хорошо. Уходите все: сейчас будут рвать.

... Из темноты и в темноту понеслось: „Закладывай, закладывай, закладывай...”

Потом: „Зажигай, зажигай, зажигай, зажигай...”

Никогда не слышал Толя такой грозной радости в человеческом голосе.

VIII

Есть убитые, оба – из первой роты. Странно видеть немецкие пулеметы: не потому, что они немецкие, а потому, что из них стреляли по тебе. Их два, и тоже в роте Железни.

Старика Митина несут на плащ-палатке. Задело ногу.

– Старые кости тяжелые, – виновато стонет он.

А Вася-подрывник (ему осколком рельса повредило бедро) все ругает того, кто закладывал по соседству с ним толовые шарики.

– Ткнул, зажег без команды. „Вж-ии” над ухом у меня.

– Над ухом, а вон куда попало, – говорит Головченя.

– Хуже нет – стадом на „железку” ходить.

– Зато наворочали, Васенька.

Что да, то да – наворочали! Ну и взбудоражены же, наверно, немцы. В гарнизонах пальба с ночи не затихает. Нервничают бобики. Чуют, что медведь близко.

Трава молочно-белая от утренней росы, ботинки у Толи совсем раскисли, стали как лапти, штанину располосовал до колена, видно, когда взбирался на насыпь.

Высокий тяжелый гул настиг отряд на поле. Кто лег в рожь, кто бросился к ольховым кустам, но большинство стоит, запрокинув головы.

Шестерка „юнкерсов” – серые, будто тоже от росы, стонущие от груза.

– Ну, дадут! – с веселым испугом крикнул кто-то. Вот уже над головами, будто накрыли тебя ревом.

Видят или не видят? Уходят! Уходят! Дорогу свою ищете? Ищите, ищите!

Гляди, как зашевелились!..

Но это потом, а пока можно поразговаривать. Можно, например, с Гитлером. По разбитой „железке” до него вроде ближе стало. Небось знаешь, что произошло ночью в „Белорутении”[17]. Ну как? Не нравится? Подожди, то ли еще будет. Растрясут вас здесь, стукнут на фронте, а потом придут в вашу Германию. И окна настежь!

Снова дневали у местных. Они тоже вернулись с „железки”, тоже разнесли свои два километра. Хоронили убитых. Вместе – их пятеро. Не все даже были знакомы друг с другом. Они останутся на этой поляне, не зная, что они здесь лежат, не зная, что их пятеро...

Мир представляется растревоженным, как улей, по которому постучали. Сотни партизан движутся к шоссе. Но у немцев всегда найдется больше сил для открытого боя.

Вечерело. По небу из края в край – полосы, как на зебре. Толя идет в боевом охранении. Идти впереди – это будто возвращать долг другим. Дозор, боевое охранение – не просто служба, а и молчаливая договоренность со всеми и с каждым в отдельности. Чтобы не погибли многие, пускай лучше убьют двоих, четверых, идущих впереди. Где, в каком месте, никто не знает. Тут уж – как повезет. И вот идешь впереди, тоже соглашаясь, что „лучше” одного тебя, чем всех, и надеясь, что на „твоих” километрах ничего не случится. Застенчиков догоняет.

– Иди, командир приказал, – говорит недовольно.

– Пошел ты... – Толя не хочет снова принимать опеку Пилатова. „Да ну вас всех! Потом окажется – Толя виноват, что взвод не так, как надо, воюет!”

Шоссе уже близко. Теперь бы и вернулся в общую колонну, но именно потому, что очень хочется, Толя этого не станет делать. Знает уже, как потом на душе бывает.

Впереди чернеет деревня – она почти у самой асфальтки. Колонна, кажется, остановилась, приостановилось и охранение. Идут вроде.

И правда – голос Царского. Этого услышишь. С ним человек семь. И Пилатов.

---

[17] Так гитлеровцы называли оккупированную Белоруссию.

– Местность знаете, ваша местность, топайте! Ясно? – гудит Царский.

Молча тронулись. Вдесятером. Правда, за тобой весь отряд, сотни людей, но от этого опасность ничуть не меньше. Засада ждет большую силу, десятерых схрумстает, как камнедробилка булыжник. А интересно, по-прежнему стоит возле шоссе камнедробилка? Все тут знакомо, радостно и пугающе знакомо. Изогнутая улица темной деревни, потом будет луговая дорога – и шоссе. Тревога тревогой, но не можешь не думать, что вот идешь вдоль забора с винтовкой наготове, из окна видят тебя и думают: „Снова партизаны, кто он, этот партизан?” А этот партизан – „докторов Толя”, из Лесной Селибы, которая в трех километрах отсюда. Луна то выбежит из-за тучи, то заскочит за нее. Передвигается „короткими перебежками”. Прошли деревню. Сереет дорога, белеют впереди камни. Их когда-то бил молотом Толя, так они и остались, лежат на том же месте. Белеют, таят угрозу. Очень удобно залечь за ними с пулеметами.

– В цепь, в цепь... – шепчет Пилатов.

Вначале шли прямо на камни. Да, там уже лежат, за камнями, в канаве... Но в это поверить, значит, поверить в свою смерть. Толя не верит. И в то же время представляет, как смотрит из-за камней кто-то, вдоль ствола винтовки смотрит на тех, что приближаются, на второго справа. Второй справа – если смотреть из-за камней – Толя.

Он идет рядом с Пилатовым. Пускай только скажет: „Иди вперед, один”, и Толя пойдет, заставляя себя верить, что никого нет. Правое крыло цепи все отстает и как бы тянет назад и вправо, в обход. Снова „косое движение”, но Пилатов идет прямо на камни. Толю будто разрывает, он между ушедшей вправо цепью и Пилатовым, но ближе к Пилатову. А лунный свет такой неживой, а камни такие белые... Они слева остаются. Да ведь это и правильно, сбоку зайти, к канаве проскочить, оказаться за спиной у тех, кто за камнями. Канава уже рядом. Она пустая, никого. И за камнями конечно же никого...

Перешли асфальтку, назад вернулись, чтобы постоять на ее поблескивающей ровности. Подождали колонну и снова двинулись вперед. С Толей поравнялся Пилатов, заглянул в лицо.

– Что ты такой? – скривился, как от кислого. – Надо, конечно, бояться, но не так же...

Пилатов прошел вперед.

– Ногу стер? – спросил „моряк”, когда Толя вдруг застонал. Застонал от злости и стыда. От внезапной догадки, удивления:

неужели со стороны он таким выглядит? Но ведь он совсем не боялся, даже помогал Пилатову удерживать цепь от движения „по косой”.

IX

... В лагерь ворвались, будто атаковали его: шум, крики. Застучали котелки, захрипели патефоны. Вслед за подводами, на которых раненые, Толя пошел к санчасти. Здесь какие-то незнакомые люди: мужчина и женщина. Чем-то очень похожие. Такими бывают муж и жена, странно, что это так, но Толя давно заметил, что муж и жена часто похожи. Высокие, светловолосые. Друг друга по имени-отчеству называют: „Федор Иванович”, „Наталья Денисовна”. Федор Иванович – врач, мама охотно уступила ему главную роль. Но Лина, кажется, не согласна с этим, она почти не замечает нового врача, а еще меньше – его жену. У Федора Ивановича с лица не сходит умно-вежливая улыбка, но глаза пристально-требовательные, „докторские”. Такие глаза бывали у отца, когда привозили тяжелобольного.

Про какое там письмо трепался старый Тит? Однажды были слухи про отца: немцев отравил, повесили... Опять что-нибудь.

Не стоит маму расстраивать.

Она давно его увидела. Увидела и сразу как бы забыла о нем. Толя ушел. Вернулся через час.

– Мой младший, – сказала она новенькой. – Что-то сердитый сегодня.

Сказала и устало улыбнулась. И Наталья Денисовна улыбается. Она очень и как-то по-городскому красивая: тонкое узкое лицо, удивленно-счастливое, глаза очень светлые, следы помады в трещинках губ.

– Без винтовки ходил, – говорит мать, – хотела, чтобы в хозвзводе побыл, где там – упрямый!

Да она хвастается Толей! Что-то не похоже на маму.

– Дали винтовку, а он в первом бою потерял.

Ну, теперь мама как мама. Можно подумать, что именно такой (потерявший винтовку) Толя особенно нравится и маме и новенькой. Улыбаются совершенно одинаково. Они, женщины, хотя и воюют на этой войне, но чего-то не понимают и не принимают в этом мужском деле.

Толя рассказал матери про встречу с Павлом.

– Он всегда был такой неосторожный.

Наверно, после войны мама и про себя скажет лишь одно, и тоже осуждающе: „Была такая неосторожная”.

Примчалась Лина. Схватила маму за локоть, зашептала. А потом глянула на Толю, округлила глаза:

– Ой, разорва-ал как!

Ну, как же, самое интересное в Толе – разорванные штаны.

Пришел Алексей (он уже разгуливает по лагерю).

– Пойду во взвод. Надоело. Да и мест у вас тут нет.

– Что ты выдумал! – Мама (на всякий случай) взяла самую сердитую ноту. Но тут же сдалась: Алексей – это не Толя, его не смутишь тем, что „расстраиваешь”, что „и без вас хватает мне”.

Отдыхали в лагере. Кухня, разговоры, караул. Толя и Коренной стояли на посту – на дороге, пробивающейся через густой ельник, – когда случилось неожиданное. Вдруг увидели: ведут Бакенщикова. Впереди Мохарь. Коротконогий, широкие галифе делают его совсем квадратным. В руке пистолет. За ним – Бакенщиков, почему-то без очков и почему-то в одном белье. Костяная больничная желтизна пуговиц издали бьет по глазам. Грязно-голубое немецкое белье обвисает на худом теле. Чиряки на груди, на шее, на ногах смазаны зеленкой. Все до одного. Руки назад, стянуты обрывком кабеля. И в этом кабеле что-то самое беспощадное, *последнее.*

Сзади идет угрюмый парень, винтовка на плече.

Близорукими запавшими глазами Бакенщиков присматривается: кто стоит? Толе почему-то не хочется, чтобы Бакенщиков узнал его. На темном высоколобом лице человека застывшая странная улыбка. Кажется, знает человек, чего еще никто не знает. Ну да, улыбка – это стало совсем заметно, когда он узнал Сергея. (У Коренного побелели даже веснушки…)

– Прощай, Сережа…

И снова та же *знающая* улыбка. Такая же *последняя,* как жестокий кабель на худых, испятнанных зеленкой руках.

Мохарь оглянулся. Крикнул на партизана, идущего последним:

– Как идешь!

Партизан снял винтовку с плеча.

Свернули по дорожке в сторону. Тихо, потом голоса. Вдруг донесся отвратительно знакомый и в то же время непонятный („Неужели? Не может быть!”) звук.

– Бьют… – Коренной сорвался с места, но тут же остановился: пистолетный выстрел, крик, еще и еще выстрел.

Долго никого не было. Снова показалась коротконогая фигура Мохаря. Угрюмый парень идет с винтовкой на весу, хотя никого уже не конвоирует. Мохарь с беспокойством смотрит на Коренного, застывшего на узкой стежке.

– Гад, нас не купит!.. – сказал Мохарь. Ему пришлось остановиться перед неподвижным Сергеем.

Второй партизан – глаза у него расширившиеся, удивленные – сказал так, будто сам сомневается, не ослышался ли:

– Кровь, а он крикнул: „Да здравствует Красная Армия!..”

– И Бакенщикова расстреляли? – глухо, не своим голосом произнес Коренной.

– Что значит „и”? – Мохарь угрожающе посмотрел на Сергея.

– Да, да, я о тех двенадцати.

– Не твоего ума дело. Смотри-ите, Коренной... Может, я ошибаюсь...

– Смотрю и запоминаю. Я молчать не умею.

– И этот не умел. Болтал, пока проболтался. Оказалось, из заключения бежал, бывший враг народа.

– Бывший? Куда же он убежал?

– Ладно, тебе можно сказать, ты, Коренной, у нас на особом счету: старый партизан.

Мохарь уже улыбается, почти дружески. Он даже не замечает, что здесь присутствует и не „старый” партизан – Толя.

– Так вот, получили мы сигнал, что агитирует. Ты, Коренной, молодец, обрывал его. Мы и это знаем. Нам все известно.

Других Мохарь называет на „ты”, а про себя самого: „мы”, „нам”. И „мы” произносится чуть таинственно и с удовольствием. И за каждым словом: „возможно, я ошибаюсь”, но таким тоном это говорится, что скорее означает: „Мы не ошибаемся”.

– Ну, разобрались, признался, что был арестован, что бежал на фронт. Конечно, чтобы служить немцам.

– А перебежал к партизанам.

– Горячий ты парень, – сожалеюще говорит Мохарь, – но неопытный. Не знаешь ты людей! Заходи, поговорим. Рад буду, заходи.

Мохарь постучал по одеревенелому плечу Коренного. Странно, он точно боится по-мальчишески щуплого Сергея. Опасается чего-то в этом Сергее. Идущему сзади партизану сказал:

– Приведешь людей с лопатами.

Во взводе уже знают, уже разговоры, уже угрюмость или, наоборот, горячность. Коренной подошел к Светозарову, который молчит и как бы в сторонке от остальных.

– Ну что?

Светозаров, кажется, понял вопрос, потому что вспыхнул, а когда он вспыхивает, горбоносое лицо его и бледнеет и краснеет

одновременно: сетка бугорков делается белой, даже неприятно, а ямки-оспины наливаются краской.

С какой-то тоской Коренной спросил:

– Вы с Мохарем в самом деле уверены, что он был не наш, что мог предать?

– Что значит мы с Мохарем? А если уж говорить, то я не пойму тебя. Сам же с Бакенщиковым всегда…

– Я вот и думаю теперь…

– И вообще не время и не место.

– А почему? Или оставшимся тоже не доверяете?

– Ты псих, Коренной, прямо скажу. И не хочу с тобой разговаривать.

Но тут же Светозаров заговорил:

– А помнишь, как Бакенщиков… это самое… говорил… Кого с кем сравнивал. Ну, ты знаешь, о чем я.

– Не знаю, – со злой издевкой, глядя прямо в лицо Светозарову, проговорил Сергей.

– Что, что, а это не тема! – Голос Светозарова сразу обрел твердость и уверенность.

Вмешался командир взвода. Строго и жалеюще глядя на Сергея, Пилатов потребовал:

– Прекратите, Коренной!

А Бобок и после командира слово вставит:

– Горбатого, Сереженька, могила исправит, а прямого – дубки.

Толя помнит разговор, на который намекал Светозаров. И разговора-то не было, а всего лишь одна или две фразы. А поджег Бакенщикова тот новичок из пленных, которого отправили потом в Москву.

В штабе, конечно, знают, кто он был, тот человек. Но и партизан, помнится, совсем не удивляло, что других пленных распределили по взводам и уже на дело стали посылать, а человек с не то ласковыми, не то хитрыми глазами все ходил по лагерю, будто дожидаясь чего-то.

С одобрением, удивлением, а Молокович просто с восхищением, смотрели на человека, который не перед строем, а в обычном разговоре, *от себя* об одном все говорит: „Иосиф Виссарионович", „Иосиф Виссарионович"… Как о близком ему человеке, к которому он снова вернулся. Значит, правда это, значит, бывает, есть! И поскольку сами хлопцы так не умели, не могли (мешало им что-то), с тем большим уважением, и даже благодарно, и даже виновато смотрели они на человека, у которого даже слезы на очах.

Но Бакенщиков и тут усомнился:

– Что этому наш мох, он себе ковровую дорожку стелет.

А когда возразили ему (на этот раз даже не Коренной, а Молокович), дескать, „правильный человек”, Бакенщиков и сказанул:

– Не в том суть, чей великее и мудрее. Революцией, правдой надо гордиться, а не этим.

Случай с Бакенщиковым, горячность Коренного – это вынуждает думать о чем-то непривычном, путающем мысли.

Уселись обедать, но ни шуток, ни разговоров. Не обратили внимания и на какой-то шум. А тут вдруг бежит Молокович.

– Хлопцы, Коренной комиссара ранил!

... Никак в себя не могу прийти. Сижу в санчасти, смотрю, чтобы больных не растревожили, а в самой все дрожит. Весь день сегодня такой. Расстреляли Бакенщикова, что-то нашли. Может, и правда, но все равно тяжело. А тут еще командир позвал в штаб. Хотел обрадовать, а не огорчить. Лицо круглое, сияет. „У нас хорошая новость для вас, Анна Михайловна. Можете спокойно работать, все выяснено, все неправда. Провокация”. Что выяснено, что неправда? „Известно нам стало, что ваш бургомистр распространял слухи, будто муж прислал из Германии письмо в Лесную Селибу. Пишет, что хорошо устроился, что живет в Германии, семьей интересовался”.

Что тот злой бовдила[18] – бургомистр готов самого себя укусить, придумает что-либо новое, я всегда ожидала. Но что этому поверят, станут – тайком – проверять... После всего... Или все ничего не значит: „прошлые заслуги”, как любит говорить Мохар? И было бы что проверять. Ну, а если даже и письмо (они ведь не знают моего мужа), что ж они, Колесов, Мохар, думают, что я схватила бы детей и полетела бы в ту Германию? Колесов, кажется, был удивлен, что я не обрадовалась. Повернулась и ушла. Не сидел бы там Мохар, объяснила бы, если сам не понимает.

Меня догнал политрук второй роты Бойко. Когда он смущен, начинает гладить, тереть ладонью и без того гладкую голову. Лицо еще не старое, но очень уставшее, а голова совершенно лысая. Он слышал разговор.

– Вы не обижайтесь, Анна Михайловна, время такое.

Мне хотелось сказать, что не теперь оно началось.

Но я не сказала этого даже Бойко, хотя умно-добрые глаза этого старого учителя располагают к откровенности. Об этом я сама с собой редко разговариваю: и без того тяжело. Можно представить,

---

[18] Балда, тупица (*бел.*).

как сгорал Бакенщиков, который не умел заставить себя не думать о таком. Я все-таки не верю, что он подосланный, что-то во мне не верит…

Так хотелось мне вернуться в штаб и сказать Колесову обо всей этой выдуманной истории с письмом, обидное и сердитое сказать ему. Но там был Мохар. Не могу видеть этого человека, не могу с ним разговаривать после того, как он требовал убить Толю. Сам убежал, а мальчика расстрелять…

И надо же мне было снова пойти в штаб! Нет, хорошо, что как раз была там. Думала, застану одного Колесова, А там и Мохар и комиссар, а среди комнаты стоит Коренной Сергей. Он совсем мальчишка, хотя и взрослый, мне его почему-то жалко всегда. Я, наверно, ушла бы, потому что сразу услышала, какой разговор. Но увидела его – стоит темный как туча, – и что-то принудило меня остаться. Мохар на меня сердито смотрит, а кричит на Сергея:

– Ты понимаешь, что не мой авторитет подрываешь, а командования? И более того… Член партии, а разговорчики ведешь, как Бакенщиков какой. На старые заслуги надеешься? Не такие заслуги были у людей. Незаменимых нет. Понадобится, другие станут на нужные места. Мне… нам не заслуги твои, дисциплина нужна. Не залетай слишком.

Я сразу вспомнила, как приходила в Зорьку на встречу с начальником контрразведки Кучугурой, как пожаловалась, что тяжело, а Мохар (это он был тогда) оборвал меня: „На это дисциплина есть…”

Коренной ему ответил:

– Я дисциплину понимаю, потому и стою перед вами, товарищ Мохар. Но почему вам так не нравятся прошлые заслуги, старые партизаны? Что, так легче растолкать, протолкаться? Я не залетаю, потому что не умею с парашютом прыгать. Что не умею, то не умею…

– Сдай оружие! – Мохар вскочил и посмотрел на командира и комиссара. – Теперь видите?..

Колесов сидел, немного растерянный. Петровский, положив костлявые руки на стол, смотрел гневно, но молчал.

А бедный мальчик крикнул, так отчаянно:

– Те-бе? Те-бе оружие?!

И достал наган.

– Ну, так мы отнимем, – сказал Мохар.

– Не подходи – застрелюсь.

Мохар испугался, не двигался, но, кажется, и до него дошло, что не „застрелю", а „застрелюсь". Пошел прямо на Коренного. Шел медленно, я видела – ждет, чтобы выстрелил. А тот, глупый, безжалостный к себе, к матери своей, поднял наган к голове… Кажется, я крикнула, кажется, схватила за локоть, и тут же – выстрел… Сначала все глядели на Коренного. А он стоял и смотрел на комиссара, который медленно вставал из-за стола.

– Уведите дурака, – сказал комиссар, прижимая ладонь к шее. Кровь сразу просочилась меж пальцев. Коренной тихо положил наган на табурет и пошел к двери. Мохар, хватаясь за кобуру, бросился следом, а я – к Петровскому.

– Кажется, пустяк, ладно, перевяжите, – сказал он, садясь на табурет и беря в руки наган Коренного.

– Василий Петрович, это я схватила его за руку, он себя…

В штабе дежурит Федор Иванович, комиссар отказался идти в санчасть. Сонную артерию пуля не задела, но прошла близко. На волоске все было… Сережу посадили в специальную землянку, где и Бакенщиков сидел. Мохар все ходит, и вид у него такой, будто он в разгромленном захваченном гарнизоне.

Часть третья
Когда тебе только шестнадцать

I

Взвод направили в Костричник в караул. Место беспокойное, потому при взводе медик. На этот раз – Толина мать. Теперь, когда при санчасти есть врач, она снова ходит на боевые операции. А врач Федор Иванович, оказывается, ее старый знакомый: он один из тех военнопленных, которые добывали медикаменты на аптечном складе в городе. И жена его Наталья Денисовна на том складе работала.

Крайний от дороги дом – как раз напротив партизанских могил – заняли под караульное помещение. Мать поселилась отдельно, в другом конце улицы. Пока тихо, у нее свои дела и заботы. Уже принимала роды.

– Гляди – родятся! – воскликнул Молокович. Нормальное выражение узкого, вытянутого лица Молоковича – удивление. Будто и сам только-только на свет появился. Удивляясь, радуется, удивляясь,. сердится, пугается – все удивляясь. Глаза всегда большие, детски вопросительные. Но в партизанах с весны сорок второго, почти такой же „старик", как Сергей Коренной.

Утром, когда уже начинают оживать краски и звуки, но мир все еще кажется неподвижным, Толя и Головченя увидели что-то движущееся – человека, бредущего через луг к посту. Вскоре рассмотрели, что человек в коричневом костюме и босиком.

– Что стало с моим Савосем? – хмыкнул Головченя.

Парень действительно очень похож на Савося. Правда, ростом бог не обидел, но личико такое же, как у Савося, пухлое, разве что пошире да покруглее.

– Добрый день, – как со знакомыми, поздоровался парень. Голос у него хриплый, словно продирающийся сквозь сон.

– Ты кто? – спросил Головченя.

– Липень[19].

– Ого, значит, горячий парень.

– Мне надо в партизаны.

Парень посмотрел на свои босые ноги, грязные пальцы пошевелились, будто стараясь помочь мягколицему увальню выразить все, что надо.

---

[19] Июль (*бел.*).

– В банду захотел, бандит! – Головченя зловеще округлил глаза. – Толя, зови господина начальника.

Пальцы грязных ног вздрогнули, но белое лицо парня осталось сонно-безразличным.

– А борода? – спросил он.

– Что борода?

– Как у партизана, борода.

Внутренний смех уже подергивает плечи Головчени, но он по-прежнему злобно таращит глаза.

– А ты откуда знаешь?

– Я приходил. Ефимов меня знает. А сегодня хотели полицаи забрать – вот, убежал.

– Ты-ы, убежал?

– Ага, а боты не успел.

В ожидании, пока с ним разберутся, Липень спит на потертой соломе, словно за этим и явился. Будить его приходится три раза в сутки: к завтраку, к обеду, к ужину. И все почесывается. Любят „беляки” новичков.

– Да тебя еще расстреляют, может! – заорал на него Головченя.

– А нашто? – удивился Липень.

– Ишь ты – нашто! Многое – нашто. Война тоже – нашто!

Во взводе вроде ничего и не изменилось в последнее время, про Бакенщикова уже не говорят. Что бы ни происходило у тебя за спиной, главное теперь все равно другое – то, что перед тобой: немцы, война...

Сергей Коренной пришел с „губы” в тот же вечер, как его посадили: комиссар приказал освободить. Да и Сырокваш, конечно, вступился за „старика”. Только наган не вернули: Мохарь отдал своему заместителю.

– Сердитая собака – волку корысть, – сочувственно встретил Бобок Сергея.

А Коренной с тихой лютостью попросил:

– Ладно, дед, помолчите на этот раз. Можете?

– Могу, Сереженька, – даже смутился старик.

Уже три дня спокойно вокруг Костричника. Даже тревожно делается от этой тишины. Переспали еще одну ночь, а утром дверь со стуком распахнулась, крик дневального:

– Подъем! В ружье!

Хватая оружие, на бегу пиная тех, кто еще не проснулся, один за одним выскакивали на улицу. Среди всех лиц выделяется потное и серое – Носкова. Это он прибежал из секрета, поднял тревогу.

– Шаповалов остался наблюдать. Ночью мы ползали к деревне. Выстрелы были, пистолетные. Деревня и теперь как вымершая. Не разберешь, может, засели там.

Значит, Низок снова трясут. Кому-кому, а этим пограничным „ничейным” деревням достается. Судьба деревни теперь, как и человеческая: на одну все беды, другой как-то везет. Пока везет. Вот Костричник – в трех километрах от Низка, а немцев тут с сорок первого не было. И самолеты – на Зубаревку да на Вьюны летят, хоть там и жечь уже нечего, а Костричник словно не видят.

Торопливо шли, почти бежали через соснячок, полинявший за лето. Толя хотел взять у матери сумку, но она не отдала, а почему-то рассердилась: „Вот иди!”

В кустах много людей из Низка. С постилками на плечах, в теплых кожухах. Теперь человек уходит из дому на одну ночь, а берет с собой то, что будет необходимо через месяц. В кустах и гуси и коровы. Одна буренка подошла к дороге и так глупо, протяжно мукнула. Все на нее посмотрели.

Вот и опушка засветилась. Белоголовый Шаповалов и его молчаливый дружок Коломиец, приподнимаясь с земли, оглядываются на звук шагов.

Деревня – за канавой, разрезающей низкий луг. Ни людей на улице, ни утренних дымов над крышами.

– Вы, Анна Михайловна, останетесь здесь, – говорит Пилатов. Морщит лоб, стараясь показать, что у него имеются веские командирские соображения. Мать тихо говорит:

– Что мне тут делать?

Сергей Коренной попросил:

– Правда, останьтесь, Анна Михайловна.

А „моряк” предложил:

– Мне дайте вашу сумку, перевяжу – не пикнет.

Мать устало, неохотно улыбнулась.

– Кого-то надо оставить здесь, – говорит Пилатов, снова морща лоб, – чтобы не обошли. Останешься!

Смотрит на Толю. И все, кроме матери, заметно обрадовались командирскому решению.

– Знаешь свою задачу? Наблюдать вправо по опушке.

Знает Толя, очень хорошо знает! Глаза неловко поднять на хлопцев.

– Пусть вот он. – Толя тычет пальцем в сторону новичка. Липень уже с винтовкой, правда очень сомнительной: приклад самодельный, на железе следы окалины.

– Да ты дисциплины не знаешь! – рассердился Шаповалов. А другим уже не до него.

Толя смотрит на цепочку людей, удаляющихся, спускающихся по лугу к канаве. Чуть позади – так, что она видит спину и прикрытую кепкой голову Алексея, – идет мать. Большая сумка делает совсем маленькой черную, в плюшевой жакетке фигурку. Чем дальше от опушки, чем ближе к деревне, тем беззащитнее выглядят люди на широко открытом лугу. Вот цепь подалась вправо, теперь мать как раз за спиной у Алексея. По одному, держа винтовку на весу, перебегают по кладке канаву Коренной, Круглик, „моряк”.

Шаповалов взял у матери сумку. Поджидает за канавой, пока она осторожно идет по кладочке.

Деревня молчит, мирно или подло, но молчит.

Шаповалов протянул руку, чтобы помочь матери сделать последние шаги по кладке, и тут стукнул выстрел. Толе показалось, что бледный купол неба вздрогнул, наклонился, когда он увидел, как пошатнулась черная фигурка на кладке. Хотелось крикнуть: „Падай же! Ложись!” – и страшно было, что вот сейчас она упадет…

А цепь, как бы споткнувшись на выстреле, снова движется к деревне, растягиваясь, разрываясь посередине, охватывая два крайних дома. Женская фигурка, изломленная большой сумкой, уходит влево, туда, где Алексей.

Партизаны уже на огородах. И будто разбудил кто деревню: женщины откуда-то появились.

Нелепо же выглядит Толя здесь, на своем „посту”. Медленно пошагал к деревне.

Бабы плачут у распахнутых сараев (эти, видно, не угнали своих коров), причитают, как над покойником.

Может, кого и убили. Но деревня не сгорела, и уже есть улыбки. Привыкли люди даже к тому, к чему вроде и невозможно привыкнуть. А где борода Головчени, там и шуточки.

– Люблю кияхи, – говорит пулеметчик, но руку протягивает не к решету с вареной кукурузой, которое босоногая девушка-подросток держит у живота, а чуть повыше.

– Дя-ядька, ну-у! – как-то очень обрадованно пугается девушка.

Толю увидел Пилатов и сразу нахмурился.

– Кто тебе разрешил оставить пост?

Толя молчал. Пилатов посмотрел на его лицо внимательней, улыбнулся:

– Ладно, хорошо.

– Кто выстрелил? – спросил Толя у Головчени.

– Липень наш, кто ж еще! Хотел проверить, с какого конца винтовка стреляет.

Возле одного двора толпятся люди, все идут, бегут туда.

– Убили кого? – спросил Головченя у женщины.

– Дедушку Тодора. Прошлый раз двух внуков увезли в Германию, а теперь вот – самого.

Убитый лежит среди двора, большой, широкобородый. Босые ноги, руки раскинуты с какой-то не мертвой, а скорее усталой свободой. На корточках сидит женщина, отгоняет от его лица мух, будто человек и в самом деле только спит. На его выцветшей грязно-пепельной рубахе два растекшихся пятна крови. Женщина, наклонившаяся над мертвым стариком, тихо спрашивает:

– Бедный тата, нашто было трогать собаку? Нашто?

Другая женщина, выделяющаяся какой-то веселой полнотой, черноглазая, рассказывает, как она все видела, как она все слышала:

– Я и говорю, идет это ихний самый главный по улице, чистенький такой, при ремнях, при пистолетике. А дедушка на калитку оперся и смотрит. Все попрятались, а он стоит. Я из сеней слышала: „Что, старый, коров к бандитам угнал? Сыны в банде?” А дедушка ему: „В армии, сынку, в русской армии”. – „За Сталина воюют?” Дедушка по-доброму так: „За родину, сынку”. А тот, холера, все цепляется: „За колхо-озы?” „Ага, за Россию, – говорит дедушка, – они ж русские”. – „Какой же ты русский, дед? Белорус: „Благадару, не куру...” Дедушка ласковенько ему: „Я-то белорус. А вы какие будете? В германцев вас произвели или как?” Тот сразу: „Не гавкай, старый! Мы – освободительная армия. Народная. Понял? Был в Красной Армии майор, а теперь командую”. – „Ага, от народа, значит,земельку для немца освобождаете. Сволочь ты, сынку, а не майор”. Как сказал это дедушка, тот – за наган. Слышу – выстрелил. Бедный дедушка!

Молокович держит порванную газетку, показывает хлопцам и удивляется:

– Глядите, называется „За родину!”.

– А ты думал, назовут: „Все в фашистское ярмо!”? – усмехается всеми морщинками седоголовый Шаповалов.

II

Через два дня в Кострычник прибыли другие взводы – почти весь отряд. А ночью еще и отряд Ильюшенки пришел. Видимо, решено нанести ответный „визит” немцам. Каждое вторжение немцев или их бобиков в партизанскую зону оставляет как бы „прогиб” в ней,

соблазняющий на повторные попытки. Надо тут же ответить, сделать прогиб в „немецкой зоне".

Границы партизанской местности удерживаются и расширяются постоянным давлением на немцев. Для пассивной обороны у партизан не набралось бы и людей.

Когда стемнело, группа ильюшенковцев ушла налаживать переправу через речушку, которая опоясывает Низок со стороны „немецкой зоны". Потом переходили через чуть посеребренную луной речку и прикидывали, выдержит ли бревенчатый мостик ильюшенковскую пушечку-сорокапятку. С пушечкой как-то веселее. И уже совсем развеселились, когда на короткой остановке комбриг объявил, что отряды идут громить Борки. Не бой, а прогулочка, да еще в веселой компании. А мальчишески высокий, с легкой хрипотцой голос комбрига предупреждает:

– Деревня полицейская, но там не одни полицаи.

Комбриг свое говорит, а между ним и взводом стоит Пилатов и как бы переводит, и тоже сердито-предупреждающе:

– Попробуйте у меня не оденьтесь! Зима скоро, голые будете ходить.

– Что за смешки! – голос Сырокваша.

Смешки поутихли, но лица, весь ряд лиц, освещенный неполной, но яркой луной, скалится в улыбках. Только лицо „моряка" – будто провал в веселом ряду – хмурое, стянуто каким-то беспокойством.

– Если со мной что-нибудь, – шепчет Зарубин Носкову, – возьми отделение на себя.

– Ты что? – удивился Носков.

– Да я на всякий случай.

Кажется, „моряк" сам не понимает, что с ним, он сам встревожен и точно удивлен, что всем весело, а он говорит такое. Грубо красивое лицо его кривится в неуверенной, жалкой улыбке.

Начинало уже светать, когда подошли к гарнизону. Из лесу смотрели на серую неподвижную гладь спелой ржи, на близкие крыши домов, сараев, чернеющие, как перевернутые большие лодки.

Невольно самого себя представляешь спящим в деревне, на которую вот так движется цепь. Рожь глухо, как вода, шумит от ног быстро идущих людей, колени чувствуют ее мокрую тяжесть. Фигуры справа, слева движутся в напряженном полунаклоне, локти рук, держащих оружие, отведены назад.

Будто опьяняясь этой тяжелой стремительностью, люди все ускоряют движение, уже бегут навстречу тишине, которая вот-вот взорвется первым выстрелом, автоматной очередью…

– Кто-о… и-идет?!

Так кричат, когда во сне ужас сдавливает глотку и нет голоса, а потом он прорывается тонкий, не свой. Выстрел прозвучал так же беспомощно, испуганно. И тут же – пулеметная очередь, бешеный стук копыт. Разведчики уже в деревне. Волна наступающих обтекает гумна, сараи, партизаны уже на огородах, бегут по темной улице.

– Хлопцы, сюда, быстрей! – впереди голос помкомвзвода Круглика. Вобрав голову в плечи, с пулеметом на груди бежит за ним Головченя, а рядом Савось, стуча дисками. Бежит и Толя вдоль забора, мимо испуганно и пугающе черных окон. На краю деревни отделение остановилось, все столпились за стеной дома. Из лесу несутся трассирующие пули. Полицаи уже в кустах. Оказывается, ноги у них наготове были.

Стоять за стеной и чего-то ждать очень неуютно. С каждой минутой нарастает беспокойство.

– Дай хоть чесану, – говорит Головченя и, выставив левую ногу вперед, дает очередь.

Пламя гремит прямо на груди у него.

– А ильюшенковцы там шурудят, – тоскливо оглядывается на деревню Застенчиков.

Быстро светает. Бой вроде и окончен: пружина, грозная, пока она сжата, разжалась, ударила, сделала свое дело. Странно, но именно теперь, когда гарнизона уже нет, пробудилось чувство неуверенности, боязнь остаться одному, ощущение, что за спиной у тебя уже нет той силы, которая была, совсем недавно была. Словно поддавшись этому чувству, отделение начало отходить в глубь деревни. Деревня и в самом деле почти опустела. Кто-то запоздало выскочил из калитки и побежал. Прогрохотала телега. Улица после коров вся заляпана. Невольно ускоряешь шаг. Но и уходить не хочется. Пришел в разбитых, без подошв ботинках и уходит в них же. Эх, сапоги бы полицейские! Или какие-нибудь.

Толя решился, заскочил в дом. Все тут перевернуто, на полу солома, валяются патроны, гильзы, стойка для оружия у двери. Похоже, что Толя попал в полицейскую „караулку”. Окна настежь, одно и вовсе без рамы – головой, наверно, вынес полицай, когда выскакивал.

Под столом белеет что-то. Поднял – скатерть. Вот и трофей! Для таких ботинок, как у Толи, не мешает иметь пары три портянок.

Побывал в одной хате – неудержимо потянуло в другую. Вбежал – в этой кто-то есть. И даже голос знакомый. Оправдывающийся, виноватый голос Молоковича. Женщина, хозяйка, стоит у темной станы и сердито „благодарит”:

– Спасибо, племянничек, встретились, свиделись, ждала, а тут во как!

– Ай, тетя, не знали же хлопцы! – сердито стонет Молокович.

Толя окинул взглядом хату и все понял.

– Ильюшенковцы, – сказал Молокович Толе и вдруг посмотрел на него внимательно. И Толя на него посмотрел, да к двери, да за порог…

Больше он в хаты не забегал. Черт с ними, с сапогами! Может, мама все же расстарается у сапожника Берки.

Догнал отделение Зарубина. (Круглик со своим, наверно, вперед ушел.) Тут, на открытой дороге, и когда уже совсем утро, партизаны заметно торопятся. А если „моряк" и остался позади всех, то это себе в отместку и чтобы видели другие. Ему, конечно, неловко за ночное, главное, и боя-то настоящего не было. Да, вот так поддашься страху, раскиснешь, а потом попробуй исправь. Назад не повернешь. И в бою был, и рисковал, как все, – кончилось, но ему не весело, а тошно…

Влетит Толе от Круглика за то, что отстал. И мама может увидеть, что нет его с отделением. Но не побежишь, не оставишь этих, что последними идут.

Возле кустиков, клином наползающих на дорогу, толпятся ильюшенковцы, пушечка стоит. И комбриг здесь, посматривает иронически на Сырокваша, который возится с сорокапяткой.

– Ну, лети! – сказал Сырокваш, и пушечка бабахнула, да так гулко. Далеко-далеко белый комочек вспыхнул. Хочется верить, что над немецким гарнизоном. Все улыбаются, кроме высокого, с лейтенантским „ежиком" Ильюшенки. Он чем-то обеспокоен.

– Ну-ка, зацепляй эту артиллерию, и улепетывайте, – говорит Ильюшенко партизану, который стоит в сторонке с лошадьми. – Надо бы заслон оставить. Где Колесов?

– И Колесов где, и твои где! – говорил комбриг с сердитой хрипотцой. – На дело как люди идем, а назад – посмотрите! – табор.

И правда, растянулись по всей – сколько видно – дороге. Заслон поставить! Вспомнил! И не то, что в заслоне останешься, неприятно, а что вот так – попал под руку и сунут в эти кустики среди поля. А те, что первые ушли, вон уже где! Хлопцы на Зарубина сердито посматривают: что, мол, прилип, пошли! Но „моряк" будто и не замечает, он словно напрашивается, чтобы его оставили, поставили, ткнули куда-нибудь. Комбриг оценивающе глянул на кустики, на отделение, посмотрел в ту сторону, куда полетел снаряд, и, сердитый, пошел вперед. Все двинулись следом.

А хорошо, что отстал, что идешь рядом с Сыроквашем, с комбригом, знаешь, что за тобой только немцы, но делаешь вид, что

не помнишь про это. А все же – скорее бы за речку. Вот и Низок перед глазами, мирно кланяются дымы над хатами. Передние уже прошли деревню, втягиваются в далекий лес. Стадо коров тоже у самого леса. Но многие партизаны задержались в деревне, зацепившись за дома, как рыба за коряги.

Толя случайно взглянул на Зарубина и чуть не засмеялся: такое по-детски несчастное лицо у „моряка”. Да что он переживает, ведь уже и забыли!

И прежде с „моряком” всякое случалось, но, видно, когда он не был командиром отделения, это его так не мучило… Но что это? Сухо, резко прозвучали взрывы в Низке. Испугом и одновременно тревожной радостью вспыхнули глаза „моряка”.

За рекой кричат, неумело пытаются лететь гуси. Белые и большие, они – как подушки, у которых внезапно выросли испуганно длинные шеи. Следом за ними странно встают из земли и падают черные кусты.

– Раскидай мост! – крикнул Сырокваш, перебежав на другую сторону речки, и ухватился за конец бревна.

Немцы уже здесь, слышно – гудит что-то, вот-вот появятся на горке, прямо над головой, застрочат… Мост в один миг пустили по воде.

Что-то зачернело за речкой, на горке.

– Ого, – зашептал старик Бобок, – броневик!

И все тоже увидели, беспокойно задвигались. Помолотень посмотрел на начальника штаба, потом припал плечом, белыми усами к широкому прикладу пулемета и дал очередь. Стреляют и сзади, из деревни. Где-то там стукнуло, вверху прошелестело, неторопливо, словно крылья огромной птицы – шрл-шрл-шрл, – снова стукнуло, уже за рекой.

Комбриг повернулся к Ильюшенке, посмотрел не то одобрительно, не то насмешливо. Ага, пушечка.

Выстрелил и Толя, и хотя не в новинку ему это, у него такое чувство, будто участвует в чем-то, что не очень полно и даже не совсем серьезно повторяет бывшее не с ним, а с другими – в кино, в книгах, в чужих рассказах. И будто ненастоящее.

Но сразу же пришло настоящее: обрушилось громом, скрежетом, безжалостным, лютым. Ничего в мире не осталось, кроме этого скрежета, грохота, разрывов.

И тут Толя услышал стон, очень слабый, но он услышал его. И увидел лицо Бобка, обросшее щетиной, испуганно-спрашивающее: „Это меня, меня, правда?” Бобок судорожно тянет штанину из сапога. Такой спрашивающий и просящий взгляд бывает у человека, когда он

чувствует, что ранен. Человека ранило. К нему ползут. Достают бинт. („Хорошо, что взял у мамы два пакета”.) Раненого перевязывают. („Странно, всего лишь синее пятнышко под коленом, а нога так дрожит...”) Толя снова ложится за винтовку, не успев размотать весь бинт, завязать: опять все кажется таким ненастоящим, необязательно и завязывать.

– Еще броневик!

Чей это голос? Некогда сообразить, хотя Толя ничего не делает, а только лежит. Но нет, он делает, он слушает, весь налитый сосущей тоской: уже два пулемета бьют сверху, скоро увидят эту канавку, и тогда... Ползет по ногам Зарубин.

Ему почему-то надо ползти.

– Держись, братва.

Ненужные, бессмысленные слова, когда ты можешь только лежать и ждать. И „моряк” это понимает, но сейчас ему почему-то надо сказать это.

Красиво радующийся себе и тому, что он сейчас говорит, делает, „моряк” оттеснил от пулемета Помолотня, дал длинную очередь, сдернул опорожненный диск, протянул руку за новым. Сильными руками надавил на диск, слегка приподнявшись. И замер так, словно узнавая что-то и боясь узнать. Левая рука сорвалась с круглой тарелки диска, лицо мертво стукнулось о приклад.

III

Он спустился в землянку и спросил:

– Лошади у вас ради шкуры или как? Покойников возить, а не станкач. Кто ездовой?

– Ездовой-то я, – затянул старик Бобок и, прихрамывая, заспешил к выходу с таким видом, словно он сию минуту исправит и наладит все.

Когда Волжак вышел вместе с ездовым, Шаповалов рассмеялся:

– Татарская душа: раньше с лошадьми знакомится.

– Хороший командир был Пилатов, – пожалел Шаповалов. И Сергей Коренной подтвердил, как бы стараясь подчеркнуть, что не намерен менять мнение в угоду новому начальству.

Знакомиться со взводом новый командир не явился в тот день.

Приходил прощаться Пилатов. Его и в самом деле любят во взводе. Это трогает Пилатова. Но он рад, что стал командиром бригадных разведчиков. В глубине души рад и Толя. Вместе с Пилатовым уйдет сложное чувство, которое давно тяготит: смесь благодарности, стыда и временами вспыхивающей неприязни.

Наконец Волжак снова заглянул во взвод. Снял со столба винтовку, дернул затвор. Захрустел песочек.

– Чья камнедробилка?

– А што? – отозвался Липень, поворачивая к Волжаку свое пухлое личико.

– Партизан, ей-бо! – воскликнул Волжак. Это все еще голос „гусара”.

С этого началась жизнь взвода с новым командиром. Волжак будто чужой здесь. Чужой, но вызывает интерес. Когда его нет возле землянки, начинаются воспоминания про то, как он попал в отряд („В руке топор, грозится: „Если полицейские, стреляй оттуда, не подходи!”), как стоял под расстрелом и материл Колесова… Оказывается, именно Коренной („С Ефимовым, помню, возвращались мы из секрета…”) привел Волжака в Зубаревку, где тогда, в сорок втором, стоял отряд („Жили просто в домах…”). А Носков „расстреливал” Волжака.

– Взял бы чуть пониже – не было бы нашего командира. Железня нас предупредил: „Этого шпендрика надо напугать”. Волжак тогда был то-щий, и еще и маленький, ноги колесом…

Мысль, что он мог расстрелять нынешнего своего командира, ничуть не смущает, скорее удивляет Носкова.

Он посматривает на Волжака с каким-то превосходством, хотя разговаривает с ним уважительно.

– Гусар он так воспитывал, – сообщает Головченя то, что ему известно про нового командира. – За грудки и мимо уха из пистолета – бабах! Враз весь хмель долой.

– Теперь решили самого воспитывать, – усмехнулся Шаповалов, – разогнали их всех по одному.

Приходила из санчасти мать. Она скованно-молчалива, как бывало, когда командирствовал Баранчик. На вопрос Волжака про „его” разведчика, который лежит в санчасти, ответила холодно, даже сердито:

– Спасенья нет от дружков. Возят самогон, а он других спаивает.

– Влезут они в печенку Пилатову, – злорадно пообещал Волжак.

Странная черта у этого Волжака: посмотрит на тебя, даже скажет что-то, взгляд короткий, живой, хватающий, но кажется, он тебя не помнит и не запомнит. Такое впечатление: он забыл и то, что Коренной в отряд его привел, и что Носков расстреливал его.

А вот Липеня уже знает. Этот, видимо, понравился Волжаку как удачная карикатура на всех „неразведчиков”. Посмотрит и вдруг начинает давиться смешком („пс-си”).

– Штаны где добыл? Без батьки? Мешок бульбачки тебе подсыпать можно. Вот только дырявые.

– У Липеня штаны, как месяц, – подбрасывает словцо Носков. – Светят, а не греют.

Липень, как положено новичку, уже начал меняться: за свои костюмные брюки получил немецкие, зеленые, отвисающие сзади. И, кажется, две обоймы патронов в придачу.

Снова сделалось людно и шумно в лагере. Опять заговорили о „железке", о „концерте". И вот уже отряд в пути.

На одном из привалов командир отряда приказал выделить людей для караула в Костричнике. От каждого взвода по одному человеку.

– Ну, что там у тебя, Волжак? – чуть насмешливо спрашивает комиссар (у Петровского все еще бинт на шее).

Новый командир взвода стоит, раскорячив ноги, словно только что с коня, – посмотришь на него и обязательно удивишься, что при таких татарских скулах лицо, брови, волосы у него светлые, белесые, а не темные. Под рукой у Волжака пистолет, другого оружия, кроме как для схватки в упор, у него нет.

– Товарищ командир, – выкрикнул вдруг Застенчиков, – у меня сапоги совсем разлезлись!

– Корзуна надо оставить, – неожиданно говорит Шаповалов, – он никогда не просился, всегда ходит.

Почему вдруг Шаповалов? Придирался, приставал („Что ты раскис так?"), а тут – пожалуйста! И Толя даже не в его отделении.

– Корзуна надо, – упрямо повторяет белоголовый Шаповалов.

Партизаны из других взводов видят, как торгуются в третьем, и, наверно, думают, что Корзун сам просится, хочет остаться. Да ну вас всех!

– Ну, кто там, давай! – нетерпеливо говорит Волжак. – Ты? Ладно, оставайся.

Это он Застенчикову, который стоит ближе к нему и вид у которого несчастный. Толя вздохнул с облегчением. Но и озлился: надо было этому Шаповалову начинать, теперь выглядит, будто Толя хотел, да не оставили!

– Что там за кошки-мышки? – вдруг вмешался стоящий перед строем Сырокваш. – Корзун, выйди, раз приказано.

Выйти, стать в ту жалкую кучку, что жмется в сторонке, на глазах у всех?

А Застенчиков и вовсе смелым сделался:

– Товарищ начальник штаба, сапоги у меня порвались совсем.

– Поменяйся, кто остается.

Застенчиков скривился и подошел к Толе. Не к другому кому, а именно к Толе.

– Я сам пойду, – сказал Толя.

– Тебе приказано остаться? – голос начальника штаба.

Черные глаза Сырокваша округлились еще больше, и то ли гнев, то ли смех в них искрится.

Все смотрят на Толю и Застенчикова и ждут, весь отряд ждет. А Застенчиков на сапоги Толины глядит. Только вчера Берка отдал их маме, и хотя задаром, но долго расхваливал. И правда, – хорошие, хотя и не ахти какой выделки кожа. Но дело не в сапогах, главное, получилось так, будто Толя напросился, чтобы его оставили, а теперь в наказание должен разуться перед строем.

– Я сам пойду, – уже шепчет он, боясь, что услышат в его голосе слезы.

Весь отряд ждет. Толя сел на мокрую траву и взялся стаскивать сапог. Застенчиков сел рядом, сдернул с ног то, что осталось от его когда-то хромовых сапог, и швырнул *это* Толе.

Отряд ушел. Десять человек смотрят вслед. Потом смотрят друг на друга. В конце концов не сами остались – оставили. А ведь именно в этот раз могло страшно не повезти тебе... Черт, свинство какое-то! Мало человеку, что его оставили, не взяли в бой, ему теперь еще хочется думать, что на этот раз бой будет особенно свирепый...

Вдесятером, все из разных взводов, но связанные каким-то общим настроением, возвращались в Костричник. Простоволосая, босая женщина, увидев их лица, почему-то рассердилась:

– Наши пошли, а вы тут.

– Нас оставили.

– Наших не оставят.

Возвратился отряд через четыре дня. Есть раненые, убитые. „Железку” растрясли основательно, два часа сидели на насыпи.

За эти дни Толя будто чужой сделался взводу. Тот же Шаповалов едва заметил его, хотя сам добивался, чтобы Толю оставили. А Застенчиков по-собачьи дернул одной ногой, другой, скинул сапоги, не садясь и не притрагиваясь к ним. Их и правда гадко в руки взять: сыромятно белые, сморщенные, будто жевал их, гад, все четыре дня. Покривились, покоробились. А хлопцы вроде довольны, что Застенчиков так наказал человека, который не ходил с ними на операцию.

Все как-то сблизились с Волжаком. А Толя в стороне. Хорошо, если Волжак помнит, что Застенчиков, а не Толя просился остаться...

К лагерю добрались вечером. Толю и всех, „кто не ходил", – сразу же в караул. Вернулся Толя с поста, возле землянки – мать и красивая жена нового врача.

– Была я в штабе, – говорит мать. – Сырокваш смеется: „Оставляли вашего сына, а он: „Я сам пойду", и в слезы".

Нет, вы скажите, уже видели и слезы! А мама этому охотно верит. Но потом, когда разглядела, что осталось от новых сапог, нахмурясь, сказала:

– Один раз оставили, и то…

IV

Деревни убирают урожай. И, как всегда, это радует людей. Но и тревожнее сделалось: теперь жди карателей. То в одном, то в другом месте немцы пытаются прощупать партизанскую зону.

Взвод Волжака дежурит в Костричнике. Сюда скорее всего сунутся немцы.

– Командир – штрафной, теперь взвод будет штрафной, – сказал на это Застенчиков.

Когда-то Фома Ефимов рассказывал Толе, что будет, когда немцы за хлебом полезут. Но не дожил до трудного времени Фома. И не знает, что четвертая от его могилы – могила „братушки", Зарубина.

Взвод расселился в деревне поотделенно. Командир же – в доме учительницы. В окнах белые шторы.

– Сидит и книги читает, – сообщил Молокович.

– А потом? – поинтересовался Носков.

Веселая это работка – охранять работу других. Лежишь над рекой и знаешь, что твое присутствие кого-то радует. Вон как улыбаются партизанам усталые жнеи. Харчи приносят: огурцы, кислое молоко. А последние дни и мясо в деревне появилось. Волжак посылал куда-то людей. Привели двух коров. Зарезали и разделили по дворам, что партизанам, а что жнеям. Застенчиков, который возглавлял „операцию", уверяет, что коровы полицейские.

Женщины работают споро, торопливо и посматривают с тревогой за речку.

Головченю, как самого рослого, бабы берут зачинать новую полосу („Чтобы у жней руки не ломило"): подвяжут фартук, платок на голову, серп дадут в руки. И все, как одна, разогнут спины, смотрят, улыбаются. А хлопцы беспокоятся:

– Бороду не отхвати.

– Это еще ничего…

– Тетки, порченого назад мы не примем.

Самая бойкая из жней, черноскулая, в ситцевом платочке, отзывается:

– Не примете – не надо, а мы его всякого возьмем.

Неплохо тут. Вот только Алексей… Теперь, значит, вместе быть.

В Костричнике объявился Половец. Но почему-то не на лошади. Зашел в „караульное”.

– На казарменном? – поинтересовался сочувственно. – А чем вы тут занимаетесь?

Половец словно еще выше сделался, плечи подняты к ушам, редкие зубы лезут из бледных, словно вывернутых десен, глаза еще веселее и еще безумнее стали. Пошел со взводом к реке. И все это будто так себе, от скуки или из любопытства.

– Ну ладно, признавайся, – вдруг захихикал Волжак, – снова ко мне? На довоспитание? Ну еще бы, Пилатову такое наследство оставить – гроб ему и крышка.

Половец широко-широко разулыбился:

– Ага, к тебе. Походи, говорят, пешком. Хотели автомат отнять, а я им – во! И ты здорово тогда сказанул им: „Разведчики мои не для того, чтобы без конца дежурить у домов чьих-то девок, в ногах стоять…” О-ах, как не понравилось!

Толю не перестает удивлять, что кроме той жизни, которую он видит, есть, оказывается, и какая-то иная, где уже не хлеб и патроны делят, а что-то другое.

Под утро разгорелся скандал в караульном помещении. Веселый и злой.

Так уж повелось, что часы любой марки портятся во взводе. Их подкручивают.

С вечера точно рассчитают, сколько каждому дневалить (у печки или за дверью). Но обязательно что-то сделается с сутками: отстоял свой час, допустим, в двенадцать часов ночи, после тебя еще десять человек. Ровно в десять снова будят. Надо утру уже быть, на часах действительно десять, но на дворе темно, хоть на волка вскочи. Спаать хочется! Обругав кого-то, берешь часы и выходишь на улицу. Звезды яркие и большие, но смотришь не на них, а на стрелки, которые будто сдохли – ни с места. Так хочется помочь им. Какой-то умник притачал к суткам лишних часов пять или шесть, теперь радуется, спит. Ну, сейчас ты поспишь! С усталым видом человека, честно отдежурившего, заходишь в хату, будишь смену, и новый дневальный, тупея и свирепея, вынужден убедиться при свете звезд, что уж одиннадцать утра…

Спокойней сделалось по ночам, когда раздобыли где-то большие часы с ключиком. Ключик хранит у себя Шаповалов.

Но появился во взводе Половец, и старое повторилось. Ему предложили дневалить первому: с вечера удобнее, легче. Половец отказался. Пришлось Светозарову будить его в три ночи.

– Да ладно тебе, – не открывает глаз Половец.

– Здравствуйте! – громким шепотом удивляется наглости человека Светозаров. – Вы на него посмотрите! Ты русский язык понимаешь: твоя о-че-редь...

– Ну, перестань, – стыдит его „гусар”.

– Хлопцы! – уже орет Светозаров. – Да вы полюбуйтесь!

– Ну ладно, ложись.

– Что ложись! Ты вставай. Да не здесь, не возле огонька. На улицу топай.

– Отзвонил – слезай. Не твоя забота.

– Разбудишь Шаповалова, вот этого, с белой головой.

Неизвестно, сколько времени прошло, но снова шум.

– Ты что с ними делал? – спрашивает Шаповалов, разглядывая часы при свете лучины. – Чем ты, зубами? Как плоскогубцами поработал.

С этого началась жизнь „гусара” во взводе. Шуточки, веселые, а порой и злые, о „гусарах”, о „пехоте”: кто хуже, кто лучше. Особенно Носков любит эти перепалки: конечно, помнит, что его автоматом форсит Половец.

– Напугал бы я тебя, – лениво говорит лежащий под кустом над речкой Половец, – да, боюсь, умрешь со страху.

– Ну-ну, попробуй.

– Хочешь? – Половец достал из кармана черную гранату – яйцо с нежно-голубой головкой. – Кладу у ног, а вы смотрите.

„Дуэль”, – радостно подумалось Толе.

Сразу всем сделалось весело. Один помкомвзвода Круглик смотрит неодобрительно, но не вмешивается. Носков ведь и сам теперь командир отделения (вместо „моряка”). А Волжака поблизости нет, он с отделением Шаповалова.

– Хорошенько следите: кто! – говорит Половец. Редкие зубы его белеют вовсю, глаза будто инеем посеребрены.

Носков стоит молча, лицо в злых пятнах. Винтовку и автомат у них забрали.

– Смотрите не перепутайте, – нахально говорит Половец.

Посмеиваясь, все отошли метров на тридцать. Граната эта рвет шагов на двадцать, но твой осколок может и лишние десять пролететь. Очень хочется прилечь на землю.

Половец уже вывинчивает голубенькую головку, и чем больше вывинчивает, тем дальше и Носков и он сам отстраняются от гранаты, словно им в нос бьет сильный запах.

Половец внезапно дернул правую руку, черное яйцо упало к ногам. Два человека смотрят друг другу в глаза, и взгляд этот словно держит их. Но тут же порвалось что-то – разлетелись в разные стороны. А взрыва нет. Ожидание растягивает, надвое разрывает... И – а-ах!

Хохот.

– Оба храбрые! Не видели, куда они убежали?

– А гусар-то!..

– Нет, а Носков!

„Дуэлянты" стоят метрах в двадцати от места, где они стояли до того, и оба, довольные, улыбаются.

Бежит Волжак. Маленький, галифе широченные, глава быстрые, подбородок вперед.

– Что здесь? Кто?

Весело стали объяснять ему. Белесое, с широким утиным носом лицо командира потемнело.

– Э, братцы, зажрались на бабьих харчах. – Голос Волжака перешел в неласковое сипение. – Не-е, не пойдеть так дело! Я найду вам настоящую работенку.

Волжак обещание свое сдержал. Штаб разрешил взводу „прогуляться" по немецкой зоне. Хлопцы обрадовались:

– Проветримся.

V

День и ночь смешались. Менялось небо над головой, взвод менял место дневок и ночевок, прежней оставалась и все росла тревога. Гудят где-то машины, постреливают в гарнизонах и на дорогах, кажется, что о тебе уже знают немцы, полицаи, уже собираются, уже окружают лесок, в котором затаился взвод.

Круглик – он, оказывается, здешний – дознался, что в деревню Грабовку приходят и устраивают засады немцы, специальная ягдкоманда. Решено начать с этих.

Следом за дозором в замершую ночную деревню вошел взвод.

Небо чистое, очень лунное, на всем желтоватый отблеск: на крышах и заборах, на камне, что защищает угол крайнего дома от чужих колес, на диске пулемета, установленного за камнем. Уже

привычным становится это – смотреть на мир из засады. Привычно само напряжение, веселое и злое чувство превосходства над теми, кто будет идти навстречу твоему выстрелу. Выйдут из черной стены леса, потом их закроют кустики, наползающие на дорогу со стороны лунно желтеющего болота. Осторожные тени снова покажутся на дороге, и тогда ты выберешь, отделишь одного, и во всем мире останутся двое: ты и тот, кого вот-вот убьешь.

– Надо в тех кустах поставить,– говорит командир взвода. Повернул голову и увидел рядом с собою Толю. – Вот вы вдвоем, – говорит он Толе и лежащему за ним Сергею Коренному. – Да слушайте хорошенько, а то не успеете назад добежать.

Поднялись и побежали к кустам, прижимая локтями и ладонями все, что может звякнуть, забренчать. Хлопцы, конечно, видят, что Толя впереди Коренного. Теперь весь взвод за спиной у Толи. Алексея там, правда, нет: он да еще Молокович с Помолотнем пошли разведать, что делается в соседних деревнях. Молокович из этих мест, он тут все знает...

Лунный свет, цедящийся сквозь негустую осеннюю листву, пятнами ложится на одежду Сергея, на напряженное мальчишеское лицо. И самого себя чувствуешь рябым, слившимся с кустами. Надо стоять поближе друг к другу, чтобы можно было переговариваться глазами. Жил этот Коренной где-то на Алтае, ты не знал даже, что он есть, а теперь вы словно что-то одно... И тех, что выйдут из темной стены леса, не знал и, может, никогда не узнаешь, но нет в этот миг ничего важнее для тебя, чем убить их. Кажется, ушам больно – так вслушиваешься. От того, секундой раньше или позже услышишь, зависит все. Отходить придется по открытой дороге, пока немецкий дозор будет приближаться к „твоим" кустикам. Сбоку – болотце, высвеченное до последней купины, туда не свернешь, Ловушка. Для кого только? С внезапным тоскливым чувством подумалось, что Пилатов сюда не поставил бы...

Все теперь от тебя самого зависит. Надо успеть услышать.

Вот только стук этот мешает – стук собственного сердца. Даже отстранился от Сергея, боясь, что и ему мешает Толино сердце. Как гром, отдалось в ушах шуршание осенних листьев под ногами. Сергей глянул на Толю предупреждающе. Замерли оба. И тогда услышали треск – там, в лесу! Снова треснули сучья. Надо уходить, надо бежать: ведь Толя хорошо расслышал приглушенные голоса! „Они?" – „Они". Оба спрашивают глазами, оба отвечают. Слились в одно, и это *одно* – сложнее, чем каждый в отдельности. Не будь здесь Сергея, Толя уже, наверное, убегал бы. А вдвоем все еще стоят, держат друг друга

глазами, как тогда Носков и „гусар". Вот оно – снова! Только человек приносит этот звук в лес – звяканье металла о металл.

Сергей тихонько отстранился, показал: „Уходить!" Вдруг споткнулся, затрещало. И сразу раздвоились они: каждый уже сам по себе. Теперь их двое. Кто-то будет впереди, а кто-то спиной ощущать лес, в котором затаились враги. Успеть бы, только бы успеть к своим! Быстрее надо, быстрее, и бесшумно, как можно тише.

Так хочется вырваться вперед и бежать, но Толя уже умеет хитрить. Всего лишь пять метров позади Сергея, это лишь кажется, что опаснее, страшнее. Зато все видят, весь взвод (и Волжак), что ты не бежишь первый. Уже поблескивает камень, за которым пристроился с пулеметом Головченя, пятна лиц, чьи-то спины видны. Толя упал на то место, с которого уходил, и выдохнул облегченно:

– Иду-ут!..

Смотрит на тускло желтеющую дорогу, по которой недавно крался, на кустики, в которых стоял, и ему жутко думать, что недавно он был там.

Впереди по-прежнему – никого. Тишина все напряженнее, невыносимее. Дозор немцев, наверное, в кустиках остановился, слушают, присматриваются к ночной деревне. И тоже тени пятнами на их лицах...

– Ну, где? – спрашивает Волжак и смотрит на Коренного. – Вы хорошо расслышали?

Толя прошептал, но почему-то не очень уверенно, даже жалобно:

– Звякнуло.

А Волжак по-прежнему не на Толю, а на Сергея глядит. Хмыкнул:

– Звякнуло. Ну, так идите хорошенько послушайте.

Идти? Туда? Снова?

Толя не верит, что это возможно, что сделает это. Не верит, что это он поднимается и поднимает за собой с земли винтовку.

– Я один пойду, – сердито говорит Сергей. – Останься.

Но теперь, когда Толя не лежит, а стоит, оказывается, это возможно – идти.

И они снова бегут по дороге, по которой должны были идти немцы.

Коренной уже слился с тенью кустов. Снова все, что грозило, отодвинулось к черной стене леса. И опять услышали голоса, треск сучьев. И так близко! Этот Волжак, говорили же ему!.. Но Сергей не уходит. Будто назло кому-то. Чего ждать? Неужели? В лесу – свист.

Слабый, спрашивающий. И тут – что он делает?! – Сергей отсвистнулся.

– Заблудились, – вдруг сказал Сергей.

Толя похолодел.

Сергей громче свистнул: „Это вы?” А в лесу – еще громче, обрадованно: „Если это вы, так это мы”.

– Свои, – нерешительный знакомый голос.

Тени отделились от черноты леса. Которая из них – Алексей? Кажется, вторая, та, что плотнее других. А узнал бы Толя, если бы лежал и целился?

Брата встретил шипеньем:

– Шляетесь, как бабы!..

Подошедшие молчат. Они все поняли. Ух, как ненавидит растяп этих Толя! До слез. Особенно того, что пониже и плотнее других.

– Да вы з-знаете, да вас бы... – не может замолчать Толя. И досказать не может. Алексей не отвечает.

Впятером пошли по дороге, ведущей на засаду. Там уже поднялись несколько человек, ждут.

– Вам Волжак покажет! – шипит Толя.

– Мы вроде правильно пошли... – начинает Молокович, увидев Волжака. – Давно не был в этих местах...

– Ничего себе з...цы, – презрительно бросает Волжак, – мокрое от вас осталось бы.

Алексей в сторонке стоит. Толя уже готов хорошее сказать ему, благодарный за то, что жив он остался.

– Заткнись! Еще ты тут!.. – обрывает его старший брат.

Ну да! Тебе что, а Толя стрелял бы. И вон сколько, весь взвод стрелял бы! А потом, что потом было бы?..

Немцы так и не пришли. Волжаку не нравится начало.

– Со мной четыре человека, – объявил командир взвода, ни на кого не глядя. Будто руку за патронами протянул. С непонятной ему самому радостью Толя попросился:

– Я пойду.

Потом Носков назвался. За ним неожиданно – Липень.

– Схожу-ка по старой памяти, – сказал Половец.

И тут – совсем некстати – Алексей. Если хотел – сразу надо было, тогда Толя не вылезал бы.

Остальные пойдут с Кругликом. Волжак договаривается с ним, где и когда встретятся, а Толя смотрит на безразлично-хмурого брата и злится. Стоит и пилит зубами травинку, ему, как тому Волжаку, все равно, огорчен ты или обрадован.

Кружили по песчаным косогорам, поросшим сосняком, перебегали дороги, хлюпали по болоту. Волжак все время впереди: маленький, галифе широкие, рука на расстегнутой кобуре.

К ночи набрели на глухую лесную деревеньку. Сосны прямо на улице. Когда шли огородами, в сарайчике забеспокоились куры.

– Тебя почуяли, пси-и, кхи-и. – Волжак оглянулся на Половца.

Чья-то тень движется через двор. Волжак мигом оказался там.

– Бабка, кто в деревне главный?

– Никого немашака.

– Вот и ладно. Значит – мы. Едоки слабые, одно название.

Алексея оставили на улице. Остальные все вошли в хату.

Печь пылает. Хозяйка, очень толстая, рыхлая, занята чугунами и кувшинами. Картошку высыпала прямо на темный стол, кислое молоко налила в большую глиняную миску.

– Бабка, – засветил редкими зубами Половец, – по молоку я ног не поволоку.

– Немашака, – спокойно ответила хозяйка и руки на животе сложила.

– У меня тут штука такая, – показывает Половец на компас, – гляди, бабка, точно укажет: где солнце, где самогон.

– Знаю, – спокойно говорит тетка, – там нарисовано, где какая держава.

– Образованная бабка, – замечает Волжак, – а вот прусаков развела в хате.

Фу-ты, и правда! Стены глянцем отливают, желтоватым, как поливанная миска на столе. И этот глянец, особенно напротив печки, где светлее и теплее – звучащий, шуршащий, движущийся.

– А если зимой их выморозить? – спрашивает Волжак.

– Боже сохрани! – испугалась женщина. – Разозлятся – жизни не будет.

Вышла баба в сени – Половец тут же оторвался от лавы и как бы поплыл по хате: заглянул в ведро, за печку, под печку.

– Иди сюда, – позвал Липеня. Как гипнотизер этот Половец: сказал – и вот уже толстый ленивец лезет в узкую дыру, под печь. А Половец тем временем заглянул за сундук – показывает горшочек:

– Витамин „не” – маслице.

Быстренько поставил его на стол.

Вошла хозяйка. Липень поднялся с колен и сообщил ей:

– Певень[20] у вас там.

---

[20] Петух (*бел.*).

– А ты, сынок, думал – магазин?

Увидела горшочек на столе. Ничуть не удивилась. Сказала только:

– Вы хоть детке оставьте.

– А сколько ж тебе лет, тетка? – удивился Носков.

Вдруг открывается дверь и появляется широколицый и широкоплечий мужчина.

– Добрый вечер.

– Ты кто? – спросил Половец.

– Садись, маслица тебе оставили, – сказала хозяйка.

Волжак выронил ложку и стал сползать под стол. Оттуда просипел:

– Детка, ей-бо!..

Половец грозно спросил:

– Ты – детка?

Парень – а ему, пожалуй, не больше двадцати – обрадовался:

– А вы – веселые. Гы!

Шли по улице и шатались от хохота. Волжак посмотрит на Липеня и просипит: „А Липень тоже де-етка” – и чуть не повалится.

– Нет, а как баба тащила нашего Липеня из-под печи, – напоминает Носков. Уже „тащила” – Толя что-то не помнит.

Небо раздождилось. Недалеко лают собаки. Снова деревня. В эту входили „неводком”: Половец и Волжак посредине улицы, остальные у заборов. Не спит еще деревня. Женский голос зовет какого-то Федьку, шум непонятный, даже далекая музыка. Навстречу идут. Стремительный шепот Волжака:

– Стой! Кто такие? Кто играет там?

Толя подошел ближе. Между низеньким Волжаком и нависающим Половцем стоят двое. Отвечает один:

– Девки собрались, а музыканта увели в Каменку. Там свадьба у начальника над добровольцами. А молодая из нашей деревни. Сестра полицейского.

В голосе – юношеская счастливая струна. Догадывается.

– А вы куда идете? – спрашивает Волжак.

– А мы идем взять бубен. Девки собрались, им абы стук.

– Абы стук, говоришь? В какую хату идете?

– Вот в ту, белые ворота. А это мой дядька, он глухонемой.

– Ну и ты пока сделайся таким же. Понял?

– Понял.

– Ты знаешь, кто мы?

– Вроде знаю.

– Ну, значит, молодец.

Шли дальше, через всю деревню. Началось поле, потом кусты.

– Снимите ленточки с шапок, – приказал вдруг Волжак.

Неужели Волжак пойдет в Каменку, где полицаи, „добровольцы”, поведет, ничего толком не узнав? Как в общей лодке: ни грести, ни плавать не умеешь, но веришь, что другие умеют, другие все знают. И вот несет тебя навстречу голосам, писку гармоники, зловещей неизвестности. Каждый следующий шаг кажется невозможным, не веришь, что вот так просто войдешь в деревню, где гуляют полицаи. Но уже идешь огородами. Наугад повел Волжак, надеясь на темноту, на свой пистолетик, и оказалось – прошли.

Кто-то бредет по темной улице.

– Какого тебе!.. – Пьяный матюк.

– Половец! – скомандовал Волжак. Неизвестно, что там проделал Половец, но голос, сразу протрезвевший, бодренько поправился:

– Виноват, понимаю…

– Теперь другой разговор. – Шепот Волжака насмешливо злой. – А ну, кто там веселится?

– А вы, интересуюсь, кто будете?

– Половец!.. – голос Волжака.

– Виноват. Так что доброволец один женится.

– Много их?

– Которые добровольцы – человек пять. И наши есть, простите, полицейские.

– Ложись.

– Хлопчики, да мы…

– Замри! У этого забора.

– Виноват, понял. Мы спали, ничего-никого.

– Ты тоже детка?

– Виноват, не понял.

– Ладно, и дружка своего ложи.

Никогда Толя не думал, что обыкновенное пиликанье гармоники может быть таким зловещим, что таким пугающим бывает свет, вываливающийся из окна хаты.

– Трое к окнам, – шепчет Волжак, – мы с Половцем и Толей войдем.

Во дворе вспыхивают папироски. Гармонист вдруг замолк, из сеней повалили еще люди, загалдели. Идущий впереди Толи Носков приостановился, Толя обогнал его, боясь отстать от Волжака. Случилось непредвиденное, но Волжак идет. Какие-то люди стоят на

стежке, они разговаривали, теперь замолчали, ждут. Волжак идет стремительно, вплотную за ним Половец.

– Погуляем? – говорит Половец и хлопает кого-то по плечу.

Толя, оглушенный происходящим, видит, как во сне, пугливо-внимательные и удивленные лица. Вслед за Половцем вошел в сени, оставив зловещую неизвестность за спиной, ожидая ее впереди. Дверь из сеней в хату настежь, у порога толпятся девки, какие-то пацаны. Шум, пьяный, густой, плывет из хаты. И кажется, что он уже меняется, становится настороженным, вот-вот взорвется криком. А в сенях по-прежнему толпятся зеваки, будто и не замечая, что вошли партизаны. Это удивило, но и обрадовало. Принимают за полицаев: Волжак в полунемецком, физиономия у Половца нахально спокойная. Расступаются перед незнакомыми полицаями, но к освещенной двери подходит только Половец. Волжак стал в углу сеней, от руки к колену поблескивает пистолетная цепочка. Толя по его примеру прижался к стенке.

В хате – свое, в сенях – свое. Все такое нереальное, потому что обыкновенное. Толя снял с плеча заряженную винтовку, поставил прикладом на пол. Но тут же подставил под нее ногу. Сейчас, сейчас... Толя то поднимает винтовку вдоль ноги, то спускает вниз.

В хате поют „Галю молодую”. А в освещенных дверях, как в раме, – Половец. Высокий, плечи приподняты. Из-под локтей его выпархивают встревоженные зеваки.

– Говорит речу, – сообщает Половец, слегка поворачивая голову, – молодой целует. Молодая ничего себе.

Половец все поднимает локти, будто лететь собрался, держа автомат над головами тех, кто занял „удобное” место в дверях и не хочет уходить.

С улицы в сени, отталкивая выбегающих, вскочил парень в светлом костюме. Брюки заправлены в голенища с форсистым напуском. Очень кучерявистый, в верхнем карманчике белеет бумажный цветок шафера, а из бокового торчит белая ручка немецкой гранаты. Наверное, братец невесты. Полицейский!

– Уходите, я знаю, кто вы, уходите...

Схватил Половца за локоть.

– Уходите, я знаю...

Половец выдернул локоть, толкнул его коленкой:

– Отойди, г...к.

Снова подняв автомат, Половец сообщает:

– Молодой встал... Сюда идет.

Парень с белым цветком будто только сейчас понял, *что он знает,* кто перед ним. Глаза испуганно округлились, задом, спиной он пошел к порогу, вытаскивая из кармана гранату. Поставил ногу на порог и тут встретился взглядом с Толиными глазами. Ужас, свой ужас увидел Толя в глазах парня. Руки Толи сами вскинули к плечу приклад винтовки. Но в тот же миг из угла, где стоял Волжак, грохнул выстрел, озарив сени резким пламенем. И сразу будто взорвался дом – автоматная очередь Половца. Свет в хате погас. Зазвенело стекло. Как в бочку, забахали выстрелы.

И сразу рванулись из сеней. Толя наступил на что-то мягкое (убитый!) и упал. Его вдруг стошнило. Перевалился через забор. Бежали втроем, потом шагом пошли. Потом остановились. А сзади топот бегущих. Не окликая друг друга, как-то ощутили, поняли – свои. Оказывается, дождь хлещет, не сразу и заметили. Долго пробирались по кустам, вошли в лес. Одежда липнет к телу, как капустный лист. На спине у Толи – словно чья-то холодная, чужая рука. А во рту кисло: что это с ним было?

Кончился большой лес. Спотыкаясь о жерди, колья, выбрались на какие-то огороды. Неужто Волжак все тут знает так хорошо? А если это гарнизон? Постучали в окно хаты, которая в стороне от улицы. Долго никто не отзывался. И вдруг очень громкий (в форточку) голос:

– Ну, что стучишь, в сторожа ко мне нанялся?

– Кто в деревне? – спрашивает Волжак.

– Наверно, ты.

– Пройдите по улице, – приказал командир Алексею и Липеню.

Дверь открывалась долго: громыхали засовы, крючки.

– А ты веселый, хозяин, – голосом, не обещавшим ничего веселого, проговорил Носков.

– Веселый и есть. Кто такие? Полиция? Или еще какие? Скажете теперь: корми! Баба, где ты там? Звала гостей, так жарь яичницу.

Хозяин раздувает угольки, вороша их лучинкой. Плечи узкие, рубаха, кальсоны – из одних дыр да заплат. Вспыхнул огонек, пополз по лучине к черным пальцам, осветив лысую, похожую на яйцо голову, лицо, такое же неприветливое, как и голос. Сухой, заметно скривленный нос, круглые, как у совы, с вывороченными веками глаза, торчащие, будто костяные, уши, маленький подбородок и большой кадык – все такое подчеркнутое и недовольное. Кажется, что круглые глаза недовольны кривым носом, нос – широким ртом, а все вместе – незваными гостями.

– А спать вас тоже ложить?

Хозяин не замечает ни злой улыбки Половца, ни того, какие узкие сделались глаза у Носкова.

– Ложитесь на полу. Кровать мягкая, да моя. Или уже не моя?

За перегородкой забеспокоился кто-то, женский голос:

– Добрешешься, ирод. Он не в себе, хлопчики…

Вышла – босая, старая, сухонькая, виноватая.

– Я вам сварю картошечки.

– Спи, мамаша, нам поспать, – сказал Волжак, – мы со свадьбы.

– И завтра собрались у меня быть? – поинтересовался старик.

– Пропишемся до конца войны, – сказал Носков.

Хозяйка дала старый кожух, постилку. Улеглись. Волжак вдруг поднялся и откинул крючки на окнах.

… Завтрак уже готов, хотя на улице еще совсем ночь. Не очень удобные гости, лучше, если они уйдут пораньше. Никак не удается поднять с нагретого кожуха и усадить за стол Липеня.

Когда собрались уходить, хозяин напомнил:

– А расплатится кто?

– Угольками, – неласково пообещал Носков.

– Я про то самое: спалят когда-нибудь. Ходют, ходют… Сказал, обожди.

Дед стал на колени, подцепил гвоздем и поднял короткую доску возле кровати. Пошарил под полом, вытащил гладыш[21]. Сунул в него, как в дупло, сухую руку, достал какие-то бумажки. Но тут же заметно смутился.

– Дурень, ты же их сюда переложил! – Старуха сама вытащила из-за печки источенный молью валенок. – Допишешься, старый дурень. Вы не гневайтесь, хлопчики, всю жизнь бухгалтер, все с бумажками, не в себе он…

– Не с бумажками, баба, а с документами. Напишите, значит, как делают добрые люди, когда их обслужат. Небось городские, на всем готовом жили, знаете.

Волжак придвинулся поближе к потрескивающей лучине, с интересом стал разбирать бумажки.

– Давай в голос, – сказал Носков. – Всяких видел, а такого…

Волжак читает:

– „Свой дед, хотя и зараза”. Подпись…

– Желток Митька, – подсказал дед, – сам добрая цаца. Зимой немцы в деревню вскочили, посадил я его, где свинью прячу… прятал, в яму. А после всего зову – нету. Пригрелся и спит.

---

[21] Кувшин без ручки (*бел.*).

– „У деда Харитоши – самогон хороший. Братья Жердицкие”.

– Добрые были хлопцы, так этих забили. Сразу двоих. Бо самогон все у вас, никакого баланса в голове.

– Что-то не видели мы его сегодня, – сказал Половец.

– А что в гладышке? – полюбопытствовал Волжак.

Дед разозлился:

– Жить надо, пока не закопали. Все шумят, все требуют, без числа, без счета, да еще ты и должен останешься, если что.

Половец уже держит в руках гладышок. У него это мигом.

– Ну и почерк! Это кто? – спрашивает Волжак.

– Кто, кто? Сам начальник полиции. Булка. А что думаешь! И этот побывал.

– Так, посмотрим... „Деда Харитона не стрелять. Сам застрелю. Булка”.

– Во, застрелит...

– Добрешешься, – запричитала старушка, – давно тебе говорю.

– Будь здоров, дед, – сказал на прощание Волжак. – Вот написал: „Хитрому деду Харитону сто лет жизни”.

– Поживешь тут у вас!

– Не перепутай снова, а то дашь полицаю валенок, а Мохарю гладыш.

– Какому это Мохарю?

– А, есть такой.

VI

Со взводом встретились вечером. Хлопцы возбужденные, физиономии сияют, будто никелированные. А никеля и в самом деле много: десяток велосипедов валяется под кустами. Наперебой вспоминают подробности: как с ночи ждали возле мостика, как закричал передний немец, как хватали трофейное оружие, стаскивали сапоги, вскакивали на уцелевшие велосипеды.

– Сгоряча и мой Савось ехал, – говорит Головченя, – а потом вспомнил, что это не телега, да ка-ак пляснется!

Толя щупает толстые немецкие винтовки, потрогал немецкий автомат, который чернеет на груди счастливого Молоковича. Черт, повезло хлопцу! А ведь мог и Толя схватить, если бы пошел с Кругликом.

Остается хвастаться, как побывали на свадьбе. Уже известно, что начальник над добровольцами и один полицай (наверное, тот, с цветком) убиты, четверо полицаев ранены, а невесте (об этом и в

деревнях говорят много) „повредили зад”. Носков уверяет, что невесту „подпортил” Липень.

Но больше всего понравилось, как Липень лазал в подпечье. Толя сам видел, но в рассказе Носкова это выглядит намного красочнее.

– Винтовку перед собой – и вперся. Ни туда, ни назад. Сучит ногами, как лягушка в клюве аиста, и командует: „Тащи, баба, а то стрелять буду”.

Бедный Головченя чуть не задохнулся от смеха. Сам Липень – невозмутим. Пытается натянуть на ноги чей-то сапог, который не лучше его разбитых ботинок.

Выставили усиленные караулы. Не спится. Никак не согреешься. Толя сменил портянки, но плащ, рубаха, белье – все такое мокрое. А земля холоднющая. И сверху капает. Одна такая ночь до войны – вся мамина малина была бы потрачена. Всякой другой гадости теперь больше, одного меньше – ангин. А неплохо бы недельку поваляться в лагере: мама, Лина...

Спина сама ищет чужую спину, коленки жмутся к самому подбородку, стараешься не отдать последнее тепло. Вроде и спишь, а все думаешь: встать или пытаться спать. Настывшее тело – неприятно чужое. Давно бы вскочил на ноги, но жалко тех кусочков тепла, которые под коленками, на животе, на спине. Ты и спишь не всем телом, а только этими теплыми кусочками...

Многие не выдержали, поднялись, курят, шепчутся, кряхтя от холода. Те, у кого забрали, кто потерял теплую спину соседа, жмутся к новым соседям. Это, наверное, очень смешно, курильщики интересуются:

– Почем дрожжи?

Открыл глаза и Толя. Сразу ощутил, что вовсе не спал. Хоть бы утро, день скорее, может, хоть капельку удалось бы соснуть.

Наконец выглянуло скупое осеннее солнце. Некоторые снова стали ложиться на землю. Пришел с поста Шаповалов, сообщил:

– Горит что-то.

Толя заметил, как переглянулись Молокович и Круглик и как посмотрели на велосипеды.

С опушки видно, что горит не один дом: далекий, зловеще тяжелый столб дыма почти недвижим, только цвет его меняется.

– Нет, это правее Бродов, – говорит Круглик. Но тут же просит Волжака: – Командир, разрешите нам сходить.

Подошел и Молокович, глаза у него по-женски тоскливые.

– Твоя деревня? – спросил Волжак.

– Не знаю.

– Лес там есть?

– Нет.

– Хорошо, я пойду с вами.

Вернулись они не скоро. Молокович сел на колесо брошенного под куст велосипеда, переднее колесо приподнялось и бесшумно вертится.

– Всех... – сказал он, – согнали всех в гумно... Несколько только убежало. Не знали мама и сестренка, что и я тут...

– Ну, а дальше как, воевать перестанем? – спросил Светозаров.

– Дурак ты, Светозаров, хоть и профиль у тебя умный, – оборвал его Сергей Коренной. – А ты, Молокович, зря это на себя. Не ты впустил сюда немцев.

После того, что случилось с Бакенщиковым, Коренной словно задался целью изводить Светозарова. Бугорки на лице Светозарова побелели, но он смолчал. Забивает его Коренной откровенностью своей. Последнее время Светозаров вроде даже боится Сергея. И не его одного.

Молокович глядит на поблескивающие спицы бесшумного велосипедного колеса, глаза, как у больного ребенка.

– Когда я уходил в партизаны, помнишь, Сергей, попросил вас: „На улице бейте меня, чтобы все решили, что силой забирают”. Надо было не так меня излупить! Давно мог забрать их в лес. Живут же люди.

– Всех, Ваня, не заберешь, – тихо сказал Круглик.

– Ты помолчи, молчи, говорят тебе! – вскричал вдруг Молокович. – Может, и твой приходил.

VII

Вот так вот! Оказывается, родитель помкомзвода Круглика – полицай. Знали об этом не все. А сегодня и Толя узнал. Он вместе с Кругликом (с ними еще Коренной и Молокович) идут в деревню, где живет мать помкомвзвода. Круглик сам предложил: „Разузнаем все про Броды”.

Часа три брели кустарничком, лесом, потом через просвистанное мокрым ветром поле. Круглик все впереди шагает, Молокович все позади. Рядом им не хочется.

Потом стояли под стеной, слушали лай потревоженных собак.

– Я, я это, мама! – незнакомым голосом говорит Круглик.

Дверь наконец приоткрылась.

– Ой, сынок! – женский плач, испуганный, горький. Слышно было, как шептались, потом ушли в хату, мать все о чем-то просит

сына. Снова голос Круглика во дворе – зовет. Подал Толе какую-то винтовку и ремень с тяжелыми подсумками.

– Ой, хлопчики… – о чем-то умоляет женщина.

– Он дома, – сказал Круглик и попросил: – Останьтесь кто-нибудь на улице.

Остался Молокович. Остальные вошли в пропахшую кислым тестом, темную кухню. Женщина, тихо плача, даже скуля как-то, ругая кого-то, моля, раздувает огонь на загнетке.

– Давно он здесь? – спрашивает сын.

– Со вчерашней ночи. Пришел готовый. И тут еще добрал. Такого только и вижу. Вы, хлопчики, хоть не трогайте дурня.

– Посмотрим, – сухо сказал сын.

Густо похрапывает в темноте человек. От вспыхнувшей лучины посветлело, стены раздвинулись.

– Ладно, дай нам поесть.

Мать захлопотала у шкафчика, побежала в сени. Она очень маленькая, высохшая вся, просто не верится, что этот сильный, большой партизан – ее сын. А на кровати в полицейском мундире – отец Круглика. Даже представить невозможно, что такое могло быть и в твоем доме. А вот у Круглика так получилось, и он должен что-то решать.

– Ходите, детки, голодные, – стонет женщина, – как услышу – убили партизана, так сердце и зайдется. А тут еще этот… Что теперь с ним?

Человек на кровати зашевелился. Вдруг черная тень метнулась на стену, изломалась на потолке.

– Во, на стену уже лезет! – запричитала женщина. – Батька, сын – до такого мне дожить.

– Не скачи, – сухо-насмешливо сказал сын, – винтовка у нас.

– А, это ты-ы…

Человек грузно сел. Щеки, обросшие щетиной, на лбу залысины. Странно и неприятно видеть, что Круглик похож именно на батьку.

– Булка скажет – пропил винтовку, бандитам передал.

– Не бедуй, больше не встретитесь. Разве на том свете.

– Ой, сынок!.. – испугалась мать.

– Большего дурня в батьки не могла мне подыскать?

– Ну, и ты тоже! – вмешался Коренной. – Мать-то при чем?

– Ничего, отблагодарят и вас, – просипел темный человек, – и я такой был. И под обрезом ночью ездил, и на сходах кричал. А перед войной самого, дурня, – туда же, где Макар с телятами. За что боролись, на то и напоролись.

– Пьяница ты был и есть, – застонала женщина.

– Тогда зря тебя. Зато теперь по заслугам получишь, – говорит Круглик-сын.

– Зря!.. Да что, у человека пять жизней, чтоб ее, как кому вздумается?.. Э, да все равно. Один конец.

Помкомвзвода вдруг попросил Толю:

– Позови… нет, лучше ты, мама, покличь того, что на улице.

Молокович вошел и молча сел на лавку у стены.

– Мама, выпить у тебя есть? – спросил Круглик.

– Все этот высосал.

– Схожу к Демьяну, – поднялся батька, но тут же сел, невесело усмехнувшись.

– Сиди, отходил свое.

– Батьку убьешь? Да-авай! Отблагодарят!

– Ты, борода, за прошлое не прячься, в этом люди без предателей разберутся, – вспыхнул Коренной.

– Ну-ну, разберитесь, – криво усмехнулся полицай. – А мне что, мне все одно. За что боролись, на то…

– Замолчи уж! – крикнул сын. – На детишках бродских выместить злость решил?

– Не, сын, не…

– Какой ты мне батька!

– Не, хлопчики, – человек испуганно поднялся, – в Бродах не был. Вот крест – не был! Старуха не даст соврать.

– Не бы-ыл… – недоверчиво, но и с надеждой протянул Круглик.

– Правда, Степа, не был он. Пьяный лежал тут, когда горело. Хоть раз эта водка на добро ему пошла.

– Все равно, это мы проверим, – сказал Круглик и посмотрел на Молоковича, на Коренного, будто передавая им право решать.

Ужинали, а хозяин дома сидел на кровати, сопел, вздыхал, тихо матерился. Стукнет кулаком по колену и:

– Один конец.

Снова стукнет:

– Все одно.

Коренной отозвался:

– Нет, не все равно. Хоть умереть-то человеком можно.

– Никакой во мне злости нету, ты это, сын, зря. Вернулся я, как война началась, прямо скажу – сбежал из заключения. Но не думал ни про какую полицию. А тут стали вязаться: активист, колхозы делал… Вижу – кончат. Хоть бы знал, за что помру. А то уже и не знал. Ну и стал этим, как вы называете…

– Бобиком, – безжалостно сказал сын. – Кто жег Броды?

– Немецкая команда наехала. Ну, и наш Булка. А я не был, хотите – верьте, хотите – нет.

– Так вот, для начала убьешь Булку своего. Дадим тебе возможность кончить по-людски. – Круглик вопросительно обвел всех глазами и тут же, будто желая угадать мнение товарищей, сказал: – Верь этим бобикам! Ему лишь бы шкуру унести. Наобещает, что угодно.

– Дадим ему мину, правда, Молокович? – решил вдруг Коренной. – Подложит, потом возьмем в отряд.

Молокович, который так и не прикоснулся к еде, кивнул головой. Круглик достал из сумки черную, похожую на небольшую черепаху мину.

– Давайте, все равно, – не сразу и по-прежнему угрюмо отозвался полицай.

– Сейчас двенадцать, – сказал сын. – Ставлю на полсуток – взорвется завтра днем, тоже в двенадцать.

– Винтовку верните, – попросил полицай, – а то подозрение будет.

– Выкрутишься. – Сын неумолим.

– Отдай ему, – вмешался Молокович, – делать так делать.

– Ну, хорошо. А патроны из подсумков выгребите.

– Что, не подвозят вам?

– Хватит на бобиков. Ну, гляди, батя, обманешь – ходить буду по следу твоему... Ты это знай!

Глаза Круглика вдруг заблестели злой слезой.

– Пусть только попробует не сделать! – закричала, заплакала женщина. – Боже милый, что мне надо видеть-слышать!

– Не бойся, сын. А ты, я смотрю, и начальник у них. – В голосе человека удивление и что-то вроде удовольствия. – Не знали, кто батька?

– Знали, не беспокойся.

– Гляди ты! – еще раз удивился человек. – Может, и правда.

Осмотрел мину и положил ее, как портсигар, в нагрудный карман кителя, застегнул карман на пуговицу.

– А тяжелая, – передернул плечами.

– Ждать тебя буду вот с ней, с маткой, – сказал Круглик, когда полицай направился к порогу.

Утром ушли в лес. Круглик настоял, чтобы ждали его там.

Пришел он лишь к вечеру. Один.

– Матке можно дома остаться. Не вернулся. За столом у начальника полиции взорвалась. Тетка моя прибежала, никто ни о чем не догадывается.

– Ты правильно поставил? – спросил Сергей.

– Вроде – да. Только, говорят, утром это случилось. Не знаю. Булке голову снесло. А его – совсем. Наверное, в кармане взорвалась.

– Не смог уйти? – чего-то добивается Сергей. – Может, побоялся к нам.

– Откуда я знаю! – сорвался на крик Круглик. И тут же тихо сказал: – Вы же видели, какой он.

Потом всю дорогу Круглик молчал и, кажется, мало слушал, о чем говорили другие.

– Нет, ты мне скажи, – требует Молокович у Сергея, – те полицаи, что жгли вместе с эсэсовцами Броды, они что – не фашисты? Или, помнишь, рассказывали, как женщину, в доме которой застрелили немца, власовец заставлял есть ее собственный кал. Он – кто?

– Ну, фашисты.

– Но они же не немцы. Откуда они?

– Нет, видишь ли, фашизм – это когда нации привили корыстную цель господства над другими народами, и средства для достижения этой цели – тоже низменные, бесчеловечные. Нет наций худших или лучших, но подменить и цель и средства, ослепить людей, оказывается, можно. Вот так с немцами вышло. Ну а уроды везде могут сложиться. Можно и разложить человека, если он жидко замешан. Сделать это легче всего властью над другими людьми. Ведь у них как: полное бесправие перед тем, кто выше, и полная власть над тем, кто внизу. Ну и выросла порода дисциплинированных зверей, садистов. На своих овчарок похожих. Они и полицаям, предателям дали такую же власть над жизнью и смертью людей наших, конечно, потому, что перед любым немцем каждый полицай тоже бесправен. Делают из предателей свою, может быть, еще более вонючую копию. Теперь война, мы – вплотную ко всему. Но нам-то надо помнить: когда-нибудь людей больше всего будет удивлять, что один человек вот так мог распоряжаться жизнью и смертью другого и даже многих. Да, да, Ваня, ради этого времени воюем.

VIII

– Расскажи лучше, как организовал хор старушек, – хихикнул Волжак, когда Половец стал хвастать, каким „классным” шофером он когда-то был.

Взвод снова в Костричнике. Из немецкой зоны пришлось срочно выбираться, даже велосипеды покрошили – не до них стало, когда, всполошенные, зашевелились гарнизоны. Но здесь – свое село, радует возможность расслабленно поваляться на соломе в длинном колхозном гумне, потрепаться о чем попало.

– Это когда с попом? – охотно отозвался Половец.

– Ага, с попом, кхи-ии. – Волжак сегодня разговорчив. – Во время блокады загнали нас в бывшую Западную Белоруссию. Попали в деревню: как раз воскресенье. Церковь, старушек полный короб. Половец наш и явился, как архангел украшенный – красная лента, с автоматом. Не видели там еще партизан, а таких – тем более. Не перекрестившись: „Ага, вы здесь? А ну, „Катюшу”. Эй, ты, на сцене там, – это он, кхи-и, батюшке – запевай!” Поп и затянул: „Расцветали...”, чтобы показать, что помнит, не забыл, что – советский. „Вы тут старайтесь, – говорит архангел, – а я с улицы послушаю”. Стал на паперти и орет: „Не слышно!” Да из автомата в небо. Налетел Петровский. А этот дурачок ему: „Работу среди отсталого населения... кхи-и... провожу”. За эту работу его – под расстрел. Вступился Сырокваш, а то бы пошел к богу с повинной...

– Что с тобой, Половец, будет, когда войны не будет? – спросил Шаповалов, улыбаясь всеми своими морщинками.

– Го, после войны! – воскликнул Половец. – Шоферня, будь спок, нужна всегда! Ну, а здесь? Что здесь... Пожить и не сказать: „Эх!”

На самом деле – трудно представить этого Половца в довоенном или послевоенном. Вот Коренной – сразу видно – учитель. Круглик, наверно, был таким же спокойно-требовательным, когда работал учетчиком в своем колхозе. Шаповалова и до войны, конечно, любили друзья-механики за его умную улыбку, а Митина и на заводе, пожалуй, называли „папаша”.

А вот Половец и Волжак (хотя Волжак намного загадочнее Половца) – эти целиком в сегодняшнем.

– Командир, я все хотел спросить, – говорит вдруг Носков, – как ты попал в отряд?

– Э, братцы, побывал в Германии, смотрел, что нам приготовлено. Туда завезли, назад – пешочком.

– Ну, и как они живут? – забежал наперед Светозаров.

– Был „как”, да свинья съела. Вы вот про то, как я Колесова обложил, когда поставили меня под расстрел. А мне все нипочем было. Бежал из Германии как помешанный, кому-то надо сказать, рассказать, а кому, чем людей напугаешь, если они и без того напуганы? Но все, что тут, – это еще не все, не самое страшное. В

Германии та-акое подготовлено!.. Только дай им срок. Прибежал сюда, вижу: люди вроде и воюют, над мертвыми плачут, а мне не плакать, ругаться хочется…

Что-то необычное слышится в голосе, в словах Волжака. Прислонился к стене, утонув ногами в соломе, скуластое и белесое лицо незнакомо серьезное.

– Там уже конвейер готов. Со всех стран эшелоны людей везут и производят из людей трупы. Наших офицеров было сначала много тысяч, через полгода осталась сотенка. А эшелоны идут и идут: греки, сербы, французы… Привозят их будто на работу, еще на станции раздают открытки: напишите своим, что, мол, хорошо здесь и пусть вербуются… Видим однажды – старик и две дочки. Голые стоят в очереди, очередь длинная и будто в баню, но мы знаем – в печь. Один заключенный побежал к проволоке, кричит старику. Греческий еврей, по-своему кричит. Потом мы узнали: написал и он открытку, но поставил в уголке три крестика, условленный знак, чтобы не приезжали. А уголок кто-то оторвал. Кричит: „Зачем приехал, детей зачем привез?” Эсэсовцы раскумекали, что произошло, аж развеселились. Забавляет их, что люди поняли, когда уже поздно. Вот так они веселились бы, если бы весь мир выстроили в очередь к своим печам. Венграм пообещали кусок Румынии, румынам – кусок Венгрии, французам – их собственный Париж, полицаям – чужое барахло, трусу – его собственную шкуру, а потом всех – в одну очередь. Поняли бы люди, да поздно…

– И что, все так и помирали? – спросил Молокович.

– Бежали некоторые. Назад привозили клочья мяса, растерзанного овчарками. Нас оставалось шестьдесят, и за то, что мы в лагере „старики”, нас по-своему уважали. Поручили нам работу между рядами колючей проволоки. Мы – все шестьдесят – навалились на пулеметную вышку: наклонилась, падает, часовой строчит из пулемета, вопит, и все это – на проволоку с высоким напряжением. Кто еще ушел, не знаю, мы втроем бежали, потом остался я один…

Взвод ночует в колхозном гумне. Холода начинаются, но под крышей, да в соломе (чья она – теперь про это не спрашивают), да если теплая спина товарища – лучше и не надо. Один комвзвода живет в деревне. Утром Толя побывал в доме „учителки”, где всегда останавливался Волжак. Большой пустой двор, на крыльце женщина стоя чистит картошку. На ней новое платье и старенький передник.

– Зайди, Андрюша уже встал.

Волжак лежит на диване, обутые ноги – на подставленном стуле. Глянул из-за корешка книги.

– А, Толя!

Хозяйке, которая внесла чугунок в хату, сообщил:

– Значит, почти всего „Онегина” на память.

Неужели Волжаку это может казаться важным? Толя сказал, что пригнали из отряда танкетку.

– Значит, пахнет жареным. Хорошо, сейчас иду.

Танкетку поставили в гумне: ворота позволяют, рассчитаны на трактор. Танкиста Леньку просят:

– Не сожги нас в этой соломе с белыми и черными вместе…

Толя зарылся в солому поглубже, надышал, согрелся и уже, кажется, задремал. Проснулся и услышал веселый голос Носкова:

– А знаешь, командир, и я пойду. Заждалась теща.

– Не на блины, в секрет посылаю.

Послушать этого Носкова, так у него в каждой деревне – тещи, невесты окна насквозь проглядели.

– Вспори еще одного.

Кажется, Савося нащупали. Вывалился из соломы и Толя:

– Я не сплю.

– Полезай назад, – сказал Волжак, – хватит троих.

Третий – Жгун, новичок, стоит молча. Здоровенный, чем-то похож на Фому Ефимова. Недавно его и еще десять человек Кучугура переманил из РОА[22]. На Жгуне и сейчас мундир власовца.

Втроем – два силуэта помельче, один крупный – уходят к тускло сереющему широкому проему ворот. Гумно длинное: долго и далеко уходили трое, задержались в воротах, вспыхнула зажигалка, потом – будто сгорели – пропали все трое.

– Раз уж вылез, подмени дневального, – сказал Круглик и ушел с Волжаком.

Толя выбрался из гумна. За углом – согнутая фигура Бобка. Далеко не отходит, смену поджидает. Но если есть с кем покалякать, старик готов и еще два часа простоять. Сразу начал о том, что дожди, что холода, зима скоро.

– Как гадаешь, скоро фронт через Березину перевалит?

Стоит услышать, вспомнить об этом – а об этом помнишь, кажется, и во сне, – сразу столько счастливых надежд. Но где-то глубже – тревога, тоскливое чувство. А дождешься ли? Сколько было их, что тоже надеялись. Фронт приблизится – везде будут немецкие войска, и все они навалятся на эти вот деревни, на партизан. Что останется после фронта, кто увидит освобождение, испытает счастье,

---

[22] «Русская освободительная армия». – Так называли свое войско предатели.

мечтая о котором ждешь, зовешь на себя огненный вал фронта? И если бы один, а то ведь не один ты. Как любит говорить Бобок: одна голова – не беда, а если и беда, то одна. А когда нас трое, как легко беде нащупать, найти тебя… Скоро мама зимнее пальто пришлет из лагеря. Наверное, каждый день думает, что вот Толе холодно. А смотри – осень уже! Полгода прошло, как случился тот первый бой, когда Толя потерял винтовку. Тогда казалось – конец, все, а вот, пожалуйста, – целых полгода прожил! И с того дня, как „моряка" убили, – месяц уже… А про „моряка" плохое рассказывал Жгун. Он знал Зарубина, вместе служили в РОА, пока Зарубин не ушел к партизанам.

– Мы думали, что обязательно расстреляют партизаны, – сказал Жгун, когда узнал, что попал во взвод, где воевал Зарубин. – Злой был к ним…

Сказал это новичок и испугался, пожалел, что сказал. И было чего напугаться.

– Ты что тут болтаешь? – угрожающе двинулся на него Головченя. – Да „моряк" наш… Да он полицаев знаешь как!..

– Хорошо бы знать, чем занимался ты, все вы! – почти крикнул Молокович. Последнее время его не узнать: исхудал до костей, лицо заострилось, глаза злые, больные. – Да, все вы!

Вот тебе и „моряк"! Ничего не известно по-настоящему, но во что только не поверишь теперь! А не хочется, очень не хочется верить в такое.

Сменил Толю новый дневальный.

Уснуть долго не мог. И, кажется, тут же проснулся: кто-то ищет, толкает ноги.

Встревоженный голос:

– Поднимайся! Стреляют в Низке. Ракеты.

Выкатился из соломы и сразу услышал глухие и частые удары выстрелов. Слушаешь, но не спешишь впускать в себя тревогу, занят больше тем, чтобы не сразу отдать тепло, что под мышками, в пальцах ног…

Взревела, разбрасывая искры, танкетка, поползла из гумна. В воротах – короткая фигура Волжака. Светает уже.

Сталкивая друг друга, полезли на крылья, на башню танкетки. Броня холодная, дрожащая. Над люком торчит, по-хозяйски встречает всех сердитая, но все равно смешная, широкая физиономия Семенова, которого раньше, пока он не сделался уважаемым лицом – помощником танкиста, называли „Рожа".

– Проломите, – сердито и весело пугается Семенов. Широко улыбнулся и пропал в чреве танкетки.

... Трясет на этих танках, даже не подозревал, что так вытряхивает душу. И гремит – на десять верст. Непривычно с таким шумом мчаться навстречу бою. Мотор вдруг зачихал. Застучали по броне.

– Эй, вы!

– Вот зачихают перед самой деревней, наплачешься с этой техникой.

И опять напряженное дрожание брони, броски в сторону, несущееся навстречу утро с не погасшими еще звездами. Кустарник замелькал, все прячут лица, глаза. Как из ущелья, вырвались в поле. Тише, не так грозно гремит танкетка.

Впереди темнеет деревня, опоясанная по огородам длинной полосой тумана. Танкетку вскинуло – мостик. И опять грохот сделался сильнее: мчались по улице. Уже середина деревни, виден поднятый, как вал, другой берег речки.

Речка спокойная, будто и не переходил ее никто. Где-то здесь сидел „секрет" – Носков с хлопцами. Круглик прошел по деревне, вернулся и сообщил: были власовцы и орловские полицаи. Уже и орловские. Фронт, как степной пожар, гонит перед собой всю нечисть. Про партизан в деревне ничего не известно. Была какая-то стрельба, ракеты, а кто, что – не знают.

И тут увидели женщину: босая, закрывает ладонью и не может закрыть черный, во всю щеку кровоподтек.

– Носков... ваши... там...

Не отнимая ладони от глаза, женщина на ходу рассказывает:

– Ночью пришли, дала поесть... Этот Носков всегда такой сердитый. Я даже боялась его, хотя он все: „Теща, теща..." Сестра у меня младшая, он ей все про Саратов, а я уже для них – „теща". А на этот раз веселый такой. Вышла я, когда уходили, – смотрю, пошли туда, где старый колхозный хлев. Ночью проснулись мы: бегают какие-то по деревне. Я сразу – к хлеву. Хлопчики, говорю, в деревне кто-то есть, может, ваши, говорю, а может – нет. Выскочили они, слышу: „Стой! Руки вверх!" Носков кричит. А потом что-то говорят, говорят... Потом позвали меня. Носков сказал: „Убирайся, теща, да побыстрее". К себе прибежала, а эти, власовцы, уже в нашем дворе. Чуть не застрелили. Прикладом ударили меня... А потом стрелять, ракеты пускать...

Женщина замолчала: все видят убитых, глядят на убитых.

Носков – лицом вниз. Наверно, так и упал, подстреленный. Полы немецкой шинели втоптаны в грязь, спина черная от крови. Глаза всех сошлись на рукоятке штыка-кинжала, который страшно торчит меж лопаток. Жалко белеет узкий, худой, как у подростка, затылок…

С перекошенным лицом Коренной потянул штык.

Савось лежит на спине, рот черно раскрыт, на щеке детская слюнка. Ноги в нелепых кожаных крагах широко раскинуты. Все невольно посмотрели на Светозарова. Светозаров поспешно выпалил:

– А Жгуна схватили.

Но Жгуна не схватили.

Когда убитых привезли в Костричник, вдруг увидели его – сидит на бревне с забинтованной ногой. Тут уже известно, что произошло в Низке ночью.

Носков скомандовал „руки вверх” власовцу, который оказался возле сарая. Тот послушно бросил винтовку и стал говорить, что пришел сдаваться, что еще шесть человек хотят уйти к партизанам и он их сейчас приведет. Жгун сказал Носкову: „Не верь, врет”. А Носков почему-то озлился: „Тебе же поверили!” И велел власовцу: „Веди их сюда”. Отпустили его без винтовки. Савось начал просить: „Уйдем, хлопцы”. Потом послышался топот. „Подходи по одному!” – приказал Носков. И тут грохнул залп, засветили ракету. Жгуну отбило пятку, когда он был в кустах.

– А тот, гляди, и придет к партизанам, когда уже некуда будет, – мрачно промолвил Головченя.

– А я бы не брал, – подхватил Молокович.

– Да, но наш Носков тоже из добровольцев, – заметил Шаповалов. И протянул: – Бу-удет о чем подумать после войны!

Из отряда приехал Митин. Наверное, старику не легко было отпроситься из санчасти. Слез с телеги и, волоча ногу, опираясь на березовую палку, пошел к гробам, которые стоят над широкой – на двоих – ямой.

В гробах убитые уже не такие, какими были, когда лежали на земле. Там, на поле, в людях, казалось, еще сохранялся последний рывок из-под навалившейся смерти. Теперь, когда ноги ровненько, руки на груди, – в затвердевших, как маска, странно незнакомых чертах лица ожидание: что еще с нами будут делать?

После залпа никто не расходится. Удлиняют, дотачивают ограду еще на двоих. Когда хоронили „моряка”, жердь приколачивал Носков. Это помнят. И все смотрят, как сейчас это делают старательный Митин и странно спокойный Сергей Коренной.

Кого уже нет во взводе? Нади, Вашкевича (он умер на аэродроме), Мити „Пашиного”, Ефимова, Бакенщикова, „моряка”… Пять, семь, десять – почти половина взвода обновилась с того дня, как Толя пришел в лагерь. Вот на сколько человек ближе „к краю”… Всех убивают. По одному, по два, с тупой зловещей неизбежностью. Убитых хоронят у партизанской дороги и в лесу или где-либо на сельском кладбище рядом с могилами женщин и ребятишек – тоже убитых. Привозят в лагерь, в Зубаревку или в Костричник, недавно веселых или сумрачных, добродушных или злых, смелых и не очень, новичков и „стариков”, и все они вдруг становятся больше похожими друг на друга – дороже, ближе, незаменимее. Погибают и те, что давно пришли в отряд, и которые – недавно. Новички даже чаще: их больше. Но когда новичка убивают – это кажется случайностью, когда „старого” – воспринимается это как напоминание „старикам”, что у них меньше шансов дождаться фронта, чем у других. А казалось бы, почему меньше? Но эта убежденность есть, и с каждым месяцем она сильнее. Некоторые явятся только завтра, после того, может быть, как тебя убьют. И они дождутся фронта, увидят свою армию.

Но ведь и ты не первый. Скольких давно уже нет, а ты еще ходишь. О блокаде начинают поговаривать. При этом слове старые партизаны мрачнеют…

Что, если бы Толе предложили вдруг: две недели поживешь, как жил до войны, не думая о том, о чем думаешь сегодня, а потом должен умереть! Две недели. Нет, лучше месяц. Или два. Ладно – месяц.

Толя вглядывался в себя очень пристально. А ведь согласен! Сам удивился. Неужели он не верит, что проживет еще месяц? Или ему так хочется – хоть немножко – той, невоенной жизни? Вон как быстро согласился и даже подумал, что выторговал кое-что. Ого, месяц! Неизвестно, протянешь ли обычный, а тут тебе дают довоенный!

Не задумывался раньше и не замечал, что теперь он не такой, каким был, когда только начал ходить на операции. Или он просто устал? Устанешь, когда тебя во всякую щель суют, а потом даже не ценят, что ты везде готов… Волжак и все они… Да ведь Толе шестнадцать, всего лишь шестнадцать! Забыли, наверное. Обрадовались, что сам захотел быть, *как все…* Хотел, конечно, но обидно, если даже не помнят, что тебе шестнадцать. Этот Волжак…

Когда неспавшего Толю стали будить, поднимать на пост, он объявил: тошнит, живот болит.

Со злорадством отметил, что Круглик очень удивился. Ага, привыкли!.. Застенчиков, которого подняли вместо Толи, зло

кривится. Один Молокович готов поверить. Он даже пожевал холодную непосоленную картофелину, оставшуюся от ужина в большущем чугуне, и сплюнул, чтобы показать, что да, от этого мыла может и затошнить.

Толя вышел на крыльцо и взялся выдавливать из себя рвоту. Старался до слез. И правда, легче стало. Не в желудке – на душе. Застенчиков прошагал мимо, он будто и не видел, как плохо Толе. Толя вернулся в караульное помещение, лег на солому. Уснуть не мог. Все слушал. Снова меняют часовых. И, конечно, обязательный вопрос: почему на два часа раньше? Корзун заболел... И ничего, верят. А хорошо, когда ты больной. Под утро Толя объявил: прошло. И отправился на пост.

Пост. Это теперь такое же обычное и обязательное занятие, как спать или есть. И совсем не странное. Неужели было или будет время, когда жизнь (свою и друзей) не надо будет стеречь, как стережет недоверчивая баба на вокзале свои узлы? Лег спать и спи, зная, что завтра проснешься.

Прислонившись к стене бани, которая вынесена далеко за деревню, Толя смотрит то на пустынную дорогу, уводящую к Зубаревке и в лагерь, то на обожженный осенью лес, то на дымящего самосадом Головченю. Головченя вспомнил что-то, раньше сам поулыбался и стал рассказывать:

– Катя, которая теперь на кухне, когда пришла к нам, была вроде той Липы. Краснела на каждом шагу. Краснеет и хохочет. Позвали ее однажды к этой вот баньке, а тут на снегу гнезда... Ну, знаешь, выбежит и, тепленький, сядет в снег. Подводят ее: угадай, какая чья. И что думаешь – неделю ходила, как похоронила кого. Их, этих девок, нашим умом и не поймешь...

Деревня просыпается: дымы поднимаются в холодное, чистое небо, скрипят ворота. И дорога из Зубаревки уже не пустынна: два конника.

– Пилатов, – говорит Головченя.

Когда-то Толя стоял впервые на посту. С Ефимовым. И Ефимов вот так же сказал: „Пилатов". Ни Фома, ни Толя не знали, что будет через месяц, два, три.

Увидев Толю и Головченю, Пилатов заулыбался. Нет, он очень хороший, этот Пилатов, добрый. Теперь, когда ты не стыдишься его тайной опеки, он нравится еще больше, его можно и любить.

– Привет бородачам! – оказал Пилатов и подал Толе узел: – Мать переслала зимнее обмундирование.

Нет, совсем не стыдно, что у партизана есть мать, что она прислала ему пальто и шапку. Толе, во всяком случае, не стыдно. Ему радостно. И даже жалко тех, у которых матерей поблизости нет. И хлопцы вроде рады за Толю. И словно загрустили чуть-чуть...

– Ну-ка надень, – говорит Пилатов.

На посту этим заниматься?

– Ничего, надень, – требует Головченя и помогает Толе снять плащ. Толя надевает пальто, и все смотрят, словно пальто какое-то особенное. Просто неловко, что тебе одному так хорошо. Натянул ушанку с красной, пришитой матерью лентой и виновато поглядел на партизан.

– Порядок, – удовлетворенно отметил Пилатов и тронул коня.

А вот ведь как получается с человеком. Раньше, когда его держали в „маменькиных", когда сидел без винтовки в лагере, хотелось одного: быть как все и быть подальше от матери. Добился своего, все почти забыли, что ему – шестнадцать (все, кроме матери), но теперь, пожалуйста: снова чьей-то ласки, заботы захотелось. Вроде назад растет человек.

Час спустя на улице Толю остановил брат. Сказал вполголоса:

– Маму хотели за фронт отправить. При раненых, самолетом. Опять отказалась. Ты же знаешь ее!

Толя кивнул: знает. Уже был точно такой же случай. Мать виновато оправдывалась:

– Что мне, детки, без вас там делать?

А когда Толя очень загорячился, засмеялась:

– Что ты на меня кричишь? Да вы тут совсем завшивеете без меня.

И еще Толя узнал, что контрразведчик Кучугура в деревне, что он снова забирает Алексея. И „гусара" Половца берет в свою группу.

Возле колхозного гумна, где партизаны по обыкновению собираются днем, Толя увидел двух незнакомцев. Определенно кавказцы, и не такие, как Царский, – настоящие, по разговору заметно. У одного, который покрупнее и с немецкой винтовкой, глаза чуть застенчивые и удивительно какие горящие. Этот сразу понравился Толе. Зато не понравился низенький. Не замечая или не желая замечать, что никому пока нет до него особенного дела и что хорошая белая шуба и лоснящаяся физиономия не подтверждают его жалоб, он все пытается рассказывать, как ему плохо было в городе. Рядом стоит некрасиво толстая, напудренная женщина.

Подошел Кучугура. С ним Половец. (Дово-ольный, что идет на поселки!) Блеснув исподлобья белками глаз, скупо улыбнувшись, Кучугура сказал:

– Вместо Корзуна и Половца оставляю вам двоих. Жена твоя, – Кучугура посмотрел на новичка в шубе, – пойдет в лагерь. Оружия пока и у тебя нет.

IX

И надо же: снова забрали танкетку. А к ней уже привыкли, спокойнее, когда знаешь, что за широкими воротами гумна прячется техника. Отряд Ильюшенки попросил на один бой.

– Что мы им – МТС? – недовольно сказал Ленька-танкист.

На прощанье посоветовал:

– Без нас тут не шумите. Вернемся скоро.

Но „зашумело” назавтра же. Взвод, спустившись в Низок, расположился по хатам, и вдруг за речкой – пя-ах! пя-ах! Машины гудят или броневики.

Взвод снова в канаве, в которой убили „моряка”. Вот на том месте он был, где сейчас Головченя с пулеметом. Обыкновенная канава, но обыкновенной она бывает до первого выстрела. Таким внезапно другим делается, наверное, мирный луг, когда вода прорывает дамбу и образуется клокочущая глубина там, где вчера ты лежал и загорал на солнышке.

В лагере скоро узнают, что в Низке начался, идет бой. А мама будет думать, что и Алексей здесь.

Вдруг занервничали соседи, оглядываются. Повернув голову, Толя увидел отползающую к огородам белую шубу. А из шубы мелькают – быстро и жалко, как у ежа, – ноги.

Волжак, точно его выдернули из канавы, вскочил, догнал. С пистолетиком в руке, злой, маленький, лежит на боку рядом с новичком.

– Жить хочешь? А я не хочу? На-азад!

В глазах новичка Меловани испуганный вопрос: „Почему вам надо, чтобы меня убили? Я же мог и не прийти к вам…”

– Назад! – повторяет Волжак. – Ведь застрелю. Немца, тебя, мне все равно!

Оказавшись снова в канаве, Волжак приказал Застенчикову, который попался ему на глаза:

– Бегом на ту сторону деревни! К речке, и наблюдай, чтобы там не переправлялись. Дайте короткие очереди, прикройте.

И вот уже грязно-серый плащ уползает туда, куда убегала шуба. Тоже испуганно и так же беспомощно. Нашел кого послать! Застенчиков тебе насмотрит.

Немцы за бугром затихли. Но тут же снова застрочили из автоматов. Горит уже что-то в деревне. Ох, как неладно на душе, когда за спиной у тебя пожар! Даже Волжак нет-нет да и посмотрит на тянущийся к лесу полог дыма.

Опять стала спадать слепая трескотня автоматов. Чудно как-то ведут себя немцы. Чаще всего так и бывает: начинается, кажется, – ого! А кончается ничем. Страшное обрушивается не так, а когда не ждешь, внезапно. Это Толя уже знает, почти убежден в этом.

Канава, когда не стреляют, вроде и глубже, и просторнее, и удобнее. Хлопцы уже шуточки отпускают.

– Попортили бы нашему Меловани шубу, а шуба хоро-ошая, – говорит Шаповалов.

– Нет, добре, что не увидели немецких штанов моего Липеня, – давится смешком Головченя, – а то не ушли бы, пока не отобрали.

– Эй, гляди! – крикнул вдруг Молокович.

Что-то непонятное, ужасное случилось: поле усыпано людьми, а стрельба уже за деревней. Дым, ползущий к лесу, словно сопровождает бегущих. Гудит что-то за деревней. Машины, танки? Не успели партизаны до конца понять, что произошло, почему бегут жители, как уже сами бежали. Бежишь и даже не помнишь, когда тебя подняли ноги. Волжак машет пистолетом, кричит что-то. Толя попридержал собственные ноги, как это ни трудно было, подождал командира.

– Бегут! – осуждающе крикнул он, глянув сбоку на Волжака, бледного от злости.

– А мне что? – слышит он Волжака. – Не хотите держать, будете назад брать! Мне что!

А пули – „фьють”, „вжи”! Но дым закрывает бегущих от прицельного огня.

Передние домчались до кустов, приостанавливаются. Толя увидел белую шубу Меловани, догнал ее. Догнал и Светозарова. У всех лица одинаково смущенные и вопросительные: „Не то что-то… А что все-таки?”

И тут, будто приподнятый кем-то полог, дым пошел вверх, и сразу секанули пули по веткам. Этому как-то даже обрадовались. Метнулись в глубь леса.

– „Бежали робкие грузины!” – процитировал Толя как можно веселее, легко поспевая за Светозаровым.

Если по тебе стреляют, если ты убегаешь, то почему у тебя обязательно должно быть лицо утопленника? Как у Меловани сейчас. Или у Светозарова. Ничего тебе не стоит, убегая, улыбаться или говорить что попало, но как можно беззаботнее.

Толя приостановился, снова подождал Волжака, но тот никого не замечает от ярости.

– А мне что! Пойдете назад, – с холодной беспощадностью говорит Волжак, подходя к своему взводу. – Танки? Пулеметы? А вас только блины устраивают? В цепь, в цепь!.. Я сзади пойду. А мне что!..

Молча, не глядя в глаза друг другу, берут наизготовку оружие, идут по кустам навстречу стрельбе.

Откуда-то появился Авдеенко – адъютант комиссара. Волжак совсем не обрадовался известию, что прибыл весь штаб.

– Командир отряда требует тебя, – говорит Авдеенко. – А вашего одного расстреляли. Ушел с поста.

Кажется, только теперь вспомнили про Застенчикова.

Волжак ушел. Взвод залег на опушке. Все смотрят на деревню, которая сразу сделалась далекой, чужой. Никого не видно на улице. Среди поля – черный остов догорающего сарая с исчезающей, ползающей краснотой. Время от времени стучит пулемет то в одном, то в другом конце деревни.

– У нас в поселке был старый Невух, – говорит Толя, довольный тем, что вел себя как надо, готовый продолжать игру в мальчишескую беспечность, – сторожил магазин. Спит, а потом проснется, застучит палкой: „Слышу, слышу!” Прокричит и опять спит.

Внезапное татаканье пулемета – разве не похоже: „Слышу, слышу!” Но никто не улавливает, что хочет сказать Толя, смотрят с удивлением на него.

– Сядь! Мальчишка! – рассердился Светозаров. Он лежит на земле, и его раздражает, что Толя стоит над ним. И помнит, конечно, с каким лицом бежал. Теперь, когда заметили, что Толя стоит, можно и сесть: не очень это приятно – высматривать себе шальную пулю.

Вернулся командир взвода. С ним – Пилатов. Пилатов очень озабочен и огорчен тем, что случилось с Застенчиковым – бывшим бойцом его бывшего взвода. От Пилатова и узнали, как там было.

Даже не верится, что человек мог так одуреть, до того растравить в себе труса, что ему наплевать уже было не только на других, но и на возможную расплату. Не пошел Застенчиков к речке. Скорее всего, не дошел. Прибежал в Костричник. А там его увидел Петровский.

– Почему здесь? Убежал?

Застенчиков стал объяснять. Нет, он не убежал, его послали. Куда послали? К речке, смотреть, чтобы немцы не обошли. А почему здесь, если тебя послали? А он, оказывается, только на минутку прибежал в деревню – попить, поесть... Попить? Сейчас я тебя расстреляю!.. Нет, нет, он идет, он сейчас же...

Петровский и разведчики на конях направились к Низку, Застенчиков через поле побежал к лесу, к речке. Но чем больше удалялся он от своих и чем ближе к нему были немцы (возможно, они уже переправились, уже идут навстречу!), тем тяжелее делались ноги. А везде стреляют, и так сильно! Может быть, все убежали из Низка, только он, Застенчиков, остался в этом лесу. Хорошо им!.. Так и не увидел он, наверное, речки. Снова оказался недалеко от Костричника. Шел через поле, когда в Костричник возвращался Петровский с адъютантом. Это уже было, когда по вине Застенчикова немцы обошли взвод с тыла. Увидев Петровского, Застенчиков повернулся и снова потрусил к лесу. Он спешил туда, куда его посылали, к речке. Автоматной очереди, которая бросила его на землю, Застенчиков, наверное, не услышал.

Но не о нем думается, а о том, что в гражданском лагере живет женщина с мальчишкой. Они, конечно, боялись за Застенчикова, гордились им: для них он не трус, а партизан и самый близкий человек. И вот узнают (завтра, послезавтра), что – убит. И мало того – своими же расстрелян. Если выживут, не убьют их немцы, кем вернутся они в свой поселок? Столько перемучатся – не меньше других, – а вернутся домой неизвестно кем.

– Круглик, смотри здесь, – говорит вдруг Волжак. – Кто со мной?

Толя вскочил на ноги, поднялся и Светозаров.

Сначала углубились в лес, но по тому, как угрожающе близко рычат пулеметы, можно понять, что Волжак ведет к деревне. А Светозаров молодец, не лезет вперед Толи, уступает место рядом с Волжаком.

Натолкнулись на дядьку, у которого вместо одежды постилка на плечах.

– Хлопчики! – испугался и обрадовался он. Светозаров тоже обрадовался дядьке.

– Надо пока задержать, – предлагает он Волжаку.

– Хорошо, отведи, – бросает на ходу командир.

Дальше шли, крались вдвоем. Волжак предупреждающе оглянулся и, как пловец на воду, мягко лег на бок. Рука с пистолетом вынесена вперед. Толя проделал то же и пополз следом, подтягивая

винтовку и радуясь, что школьное пальто его стало короткое, как поддевка, полы не попадают под колени. Пулеметные очереди взрываются совсем недалеко. Деревня открылась неожиданно близкая. Толя разглядел несколько мотоциклов, спрятанных за стену дома, но тотчас забыл о них: он увидел немцев. Двое, стоят и не прячутся. Неужели они могут думать, что их не видят, за ними не следят, на них не охотятся? Нет, не немцы это: шинели зеленые, по ушанки серые, русские. Что они высматривают? Идут к березовым кустикам, что приклеились среди поля и все еще горят-догорают желтым осенним огнем. Кто-то из жителей спрятал там телегу, она, наверно, из деревни тоже видна.

Толя, ощущая на ладони литую тяжесть винтовки, старательно целится. Волжак со своим пистолетиком может лишь смотреть.

– Андрей, на. – Толя подает винтовку. – Ты лучше...

Толя имеет право на это дружеское „Андрей": ведь они только вдвоем здесь, так близко от врагов, ведь он не только свой выстрел отдает, он заранее соглашается с тем, что произойдет, когда Волжак выстрелит. Взгляд Волжака – внимательный, удивленный – Толя встретил с радостным смущением.

– Жить расхотел? – хмыкнул Волжак. – Тут тебе стрельнут!

А двое в мешковатых немецких шинелях и серых ушанках уже идут к желтым кустикам – это сюда и чуть левее. Даже винтовки с плеча не сняли. Может быть, этот высокий, на котором мушка Толиной винтовки, обдумывает сейчас, как перебежать к партизанам. Может быть. Но возможно, что именно он так подло обманул и убил поверившего ему Носкова. Может быть, и он, ухватившись за ствол, винтовкой бил пленных красноармейцев, с которыми еще вчера вместе голодал в бараках, – такого Толя видел, когда жил в Лесной Селибе. (...Толя целится и как бы ведет его к *себе,* готовый выстрелить.) Вполне вероятно, что только лагерный голод загнал идущего сзади низенького толстяка в „добровольцы", и он теперь лишь отъедается, ни о чем особенно не задумываясь. Возможно, все возможно, но Толя теперь целится именно в толстяка. Идёте, о чем-то думаете, переговариваетесь (высокий все оборачивается), может быть, судите, как батька Круглика: „Мы виноваты, но и перед нами – тоже!" Как бы ни было, но ты отдал фашистам завтрашний день, а они-то уж знают, давно решили, как распорядиться этим завтрашним днем! Да, в общих очередях к страшным печам и ты поймешь, к чему все шло... Но слишком большая цена за твое будущее прозрение.

– Андрей, – снова шепчет, просит Толя, радуясь своей злости и своей готовности принять то, что произойдет, когда немцы услышат его выстрел.

– Ладно, прицелься только… И не беги, ползи, будут садить из минометов.

Толя перевел прицельную планку на сто пятьдесят метров. Больше тут и не будет: уже хорошо можно разглядеть лица добровольцев. Но Толя не старается вглядываться в лица.

Снова целится в того, который повыше, в зеленую немецкую шинель целится. Перед ним – тот, кто избивал пленных, убил Носкова, тот, кто с немцами жег Броды…

Тихо сделалось от оглушительного выстрела Толи. На поле только один – тот, в которого Толя целился. С плеча у власовца свалилась винтовка, а он все стоял, потом упал на винтовку.

И тогда – будто и тучи на небе сделались звучной, оглушающей жестью – загремело все кругом. Отсекая что-то, отламывая, дзинькают, га-ахают мины, по-собачьи догоняет трескотня пулеметов.

Взвод встревожен.

– Ничего, – говорит Волжак, – это вот он стрельнул. И показывает на Толю.

Тут уже не только третий взвод. Чуть поглубже в лес – командование отряда. Все на лошадях – на зависть Волжаку. Может, потому он так любит лошадей, что ростом маленький. Стоит внизу, а все – даже штабные адъютанты – над ним.

– Ползали к Низку, – говорит Волжак комиссару Петровскому, – вот с ним. Ничего, смелый паренек.

Но Петровскому явно не до Толи, который куда-то там ползал. И другие тоже смотрят на Толю нехотя, будто одолжение ему делают, особенно комиссаров адъютант Авдеенко.

Надо было этому Волжаку расхваливать Толю, просили его!

В лесу людей уже много. И командиры рот Царский да Железня. С первой ротой явилась Катя, та самая, беловолосая, что работала на кухне. От разных теплых одежек, мужских и женских вперемежку, она словно кадушка. Но это не мешает ей подозревать, что вторая рота очень завидует первой. Утешает:

– К вам Лина придет.

– Минометное подкрепление, – хамит Головченя.

Но у Кати есть защитники: хлопцы Железни.

Решив, что Катю обидели, дали ответный залп. Намеками, однако довольно откровенными, сообщили, что „жена одного вашего”

нашла себе грузина получше. Разнервничался, разгневался почему-то не Меловани, а его красивый и, казалось, застенчивый товарищ.

– Почему так говоришь? – закричал он на Меловани, когда тот, подыгрывая хлопцам, стал уверять, что для командира роты ему не жалко. – Нехорошо говоришь, плохо говоришь!

Хлопцы поджигают:

– Ты Царскому скажи. А то и правда – нехорошо с его стороны. Земляк, хай ему пранцы![23]

А Тарадзе, горячий, честный чудак, подбежал к Царскому и, видимо обманутый „кавказскими” глазами и орлиным профилем командира роты, закричал на него по-своему. Надо было видеть, как удивился Царский!

Потом, ночью, лежа на холодной земле, припоминали подробности, которые были, которых и не было.

– Этот по-своему, а комроты ему: „Ты что вылупивса?”

– Вылупивса! Землячки!

– Тарадзе, ты что ему кричал?

Тарадзе молчит. Зато Меловани не молчит, помогает, как ему кажется, разыгрывать своего друга:

– Что кричал? Глупость кричал. Жена, какой она жена? В городе был жена…

– Друг твой – человек, – внезапно разозлился Головченя, – хоть и смешной, как верблюд. А ты, браток, па-аскуда.

X

Ушел. Странный он. Я все больше убеждаюсь, что такие люди чем-то ненормальны. Говорил, говорил, шепотом все, я посмотрела близко в глаза, а там будто заслонки раздвинулись: испуганный, неуверенный человек.

– Я знаю, чья пуля, нам это известно…

Даже мне ясно, что издалека пуля прилетела, случайная: пробила планшет, голенище и осталась в сапоге, слегка только оцарапав ногу. А он все свое: о тех, которые боятся его проницательности, у кого не все чисто. Уходя из санчасти, предупредил: чтобы „никому ни слова”. О чем „ни слова” и сам, видно, хорошенько не знает.

Не хочется об этом Мохаре думать, а вот думаю. Если уж навяжется что… Нервы никудышные стали. Вот и сон тот, все один и тот же: приходят женщины и все спрашивают о сыновьях…

---

[23] То есть – «чтоб ему дурной болезнью заболеть» (*бел.*).

Последний раз я все высматривала, все ждала мать Ефимова. А потом как-то оказалось, что она – это я. В слезах проснулась.

Лина бежит. Очень чему-то рада.

– Анна Михайловна, ой, разрешили! И винтовку дали – вот. А мне жалко вас оставлять. А может, и вы съездите к Толе, в Костричник. Полштаба туда собирается…

– Ну и наелся! – старательно стряхивая что-то с ладони, просипел Головченя.

Липень быстренько повернул в его сторону бледное, изголодавшееся, но по-прежнему круглое лицо, спросил шепотом:

– А что ты ел?

– Дай хлеба – скажу.

Вася Головченя сочувственно хлопнул соседа по спине.

– Крепись, детка, скоро немцы галеты подвезут.

Потом перевалился на бок, подставляя Липеню карман поддевки.

– Пошарь, хлеб позавчера лежал.

Липень все-таки просунул руку в карман.

– Кто болтает? – злой шепот Волжака.

Трое суток кружат роты возле Низка, ищут место для засады. Жратва кончилась еще вчера, приходится жить „на подсосе”, как назвал это Шаповалов. От жителей, которые прячутся в лесу и, не переставая, смотрят на свои хаты, узнали, что немцы каждое утро приезжают в Низок и засветло убираются в гарнизон, нагрузив фургоны всем, что бобики разнюхивают в потайных ямах и погребах. Ночуют в Низке власовцы и полицаи.

К дороге из гарнизона в Низок лес не подходит, и только возле самого Низка есть небольшой. Сюда и заползли ночью.

Лежали каждый на том месте, откуда надо будет стрелять. Третий взвод – крайний от дороги. Видишь немного: впереди, на фоне порозовевшего неба, бугрится луг, трава побурела от ночных заморозков, дорога опасливо изогнулась влево, будто стараясь быть подальше от леса. Но Толя лежит там, где дорога входит в лес и оттуда, резко поворачивая, сбегает вниз, к деревне.

Когда еще только собирались в засаду, Волжак предложил:

– Ну, кто со мной, трофеи… кхи-и… хватать?

Толя не отозвался. Он решил, что обижен на Волжака, за что обижен, уточнять не старался. Ну, хотя бы за то, что Толя всегда вызывается первым, и мог бы Волжак сам вспомнить про него. На самом же деле Толе именно и не хотелось, чтобы о нем сегодня вспомнили.

Но когда взвод ложился в засаду, Толя не выдержал, пошел с Волжаком. И вот теперь он у самой дороги, справа от него – Липень и Головченя с пулеметом, слева – Волжак, и уже почти на дороге – бурят Алсанов, самый тихий и незаметный партизан во взводе.

Совсем близко окрики, короткие вспышки разговоров, стук сапог о мерзлую землю – звуки, отличающие деревню, в которой много военных людей. Но рядом Волжак, и потому веришь, что все получится, как задумано. Что в нем: маленький, в руке пистолетик, нос уточкой, взгляд даже неуверенный, ускользающий, а если смеется, то как-то неумело, будто давится: „кхи-и", – и вот именно такой кажется Толе самым сильным и надежным изо всех, кого он узнал в партизанах.

Быстро, радужная, как масло по воде, растекается в небе утренняя заря. Какой сегодня день будет – наверное, хороший, солнечный? Толя натянул плотнее ушанку на голову: новая, как бы не потерять. Потеплело, голоса в Низке сделались не такие резкие, к ним уже привык. То, что придет, придет не отсюда, оно появится впереди, на дороге, Кажется, что от напряжения так изогнулась дорога.

– Едут! – прошло по цепи.

– Стрелять после моего, – помахал пистолетиком Волжак.

Толя загнал в патронник патрон, и это привычно сжало его самого в одеревенелый комок.

– Свернули на другую дорогу, – прошло по цепи вздохом разочарования и невольного облегчения.

– Я к Царскому, – сзади послышался приглушенный голос Волжака. Видимо, сниматься рота будет.

– Ничего, детка, ну-ка еще раз пошарь в моем кармане, – шепчет Головченя, оторвавшись от пулемета.

И вдруг:

– Едут, еще едут.

Содержание слов в такие мгновения доходит до тебя как-то помимо голоса, и потому кажется, что весть передалась по цепи беззвучно.

Первая и главная мысль: партизаны будут дожидаться сигнала, выстрела Волжака, а он ушел, его нет... Все произойдет не так, как ожидалось. Ничтожная канавка, не существующая для того, кто идет налегке, становится опасной преградой на пути человека, придавленного огромной ношей. Толя с отчаяньем ощутил, как власть над происходящим, над тем, что должно случиться, вырвалась из рук людей, лежащих рядом с ним. Теперь все делалось, нарастало как бы само собой, не завися ни от кого. Кажется: встань кто-нибудь,

покажись тем, что едут по дороге, они ничего не заметят: и ты и они – все, как завороженные.

„Что это? – уперлась мысль в непонятное. – Зачем тут волы? Почему эти дядьки? Почему такие длинные вожжи?"

Взгляд выхватывает кусочки, нелепо разорванные. Клочки с трудом стягиваются в целое, в картину: пара волов тащит по дороге три бороны, сбоку идет старик в лаптях и кожухе, держась за длинные (метров десять) вожжи, по другую сторону – молодой парень, он то подбежит и ударит палкой вола, то опять отбежит еще дальше. Сзади – на приличном расстоянии от „пахарей" – двое полицейских на конях, винтовки держат поперек седел. Еще дальше – черные, похожие на цыганские, фургоны, в которые запряжены тяжелые битюги. На козлах – вот они! – немцы. Но они еще далеко, а эти – с волами – близко. Толя держит мушку винтовки на черном полицейском. Словно почувствовав что-то, полицейские попридержали лошадей, смотрят. Но не влево и не по дороге смотрят, а на деревню.

Волы, бороны почти поравнялись с засадой, старик скоро споткнется об Алсанова. Молодой подбежал, ударил вола.

– Но-о-о! – прокричал старик и подергал длинными вожжами. Так и застыл с незакрывшимся ртом на окаменевшем лице. Будто кинолента остановилась.

Полицейские уже поворачивают коней, хотя как-то очень спокойно. Что-то надо делать! Толя глянул влево и вдруг увидел Волжака: сидит на корточках и машет пистолетиком перед лицом, словно комаров отгоняет. Теперь Толя понял, кого увидел, на кого смотрит старик.

Кинолента снова побежала – старик прокричал срывающимся голосом:

– Н-н-о-о!..

А полицейские не спеша возвращаются к фургонам: там уже целый поезд, вытягивающий черный хвост из-за бугра. Другие видят этот черный поезд сбоку, Толя и те, кто рядом с ним, – с головы. И то, что Волжак опять рядом, теперь мало что меняет: по-прежнему кажется, что никто уже не в силах направлять происходящее, можно только лежать, ждать, потом стрелять, стрелять... А потом... Но это наступит после, только бы они не услышали, как все замерло, затихло. Только бы ничего не менялось: Толя не сможет поспеть, если что-то внезапно изменится, он может лишь стрелять, он весь налит не своей тяжестью, словно прикован к земле.

Передний фургон делается все больше, все чернее. Уже хорошо видишь тех, в кого будешь стрелять, кто через какие-то мгновения

умрет. Толя целится в немца, у которого руки на коленях. Немец правит лошадьми, а под усами, набок, торчит трубка. Целится Толя в жандармскую бляху, темным полумесяцем висящую на зеленой груди немца.

Тихо, невообразимо тихо. Они сейчас услышат это...

Черный обоз закрывает полнеба.

Толя переводит ствол винтовки правее, черная мушка скользит по искаженному хохотом женскому лицу и останавливается на румяном, сытом лице молодого немца: у этого на груди автомат, он хохочет, хватаясь за женщину. Этот! В этого! Но почему нет сигнала Волжака? Стрелять надо, стрелять, пока они не заметили. Фургон уже совсем близко, вот-вот спокойные добрые морды лошадей закроют тех, в кого надо стрелять... Уже козлы второго и третьего фургонов совсем недалеко. Перевел туда винтовку, но сразу ощутил, что самый опасный, а потому и самый ненавистный немец – на первом фургоне. Он так близко, что Толя уже не видит его за лошадьми, лишь слышит его гортанный голос. И тогда, понимая, помня, ощущая даже кожей своей, что главный его враг рядом и недосягаем, Толя отыскал мушкой середину зеленого пятна на третьем фургоне.

В напрягшейся до предела тишине пистолетный выстрел прозвучал как орудийный. Какую-то бесконечную долю мгновения продолжалась тишина, пока не оборвал ее женский визг. И тогда – будто плотину сломало...

Толя стрелял по двум зеленым фигурам на козлах, ничего, кроме зеленых пятен, не зная, ничего не чувствуя, кроме сопротивления затвора под рукой. По два раза выстрелил в зеленые неподвижные, застывшие пятна людей.

И тут сильным ударом откинуло назад его голову. Толя удивился: „Палкой, кто мог ударить меня палкой?"

Глаза, оторвавшись от неподвижных зеленых пятен, сразу увидели заставленную повозками дорогу. Некоторые фургоны опрокинуты набок. Лежат лошади. А те, что стоят, невероятно, жутко безучастны ко всему.

Стрельба не умолкает, но она уже перекинулась в самый хвост черного поезда, за бугор, в деревню. Взрыв – бьют из минометa. Голова обоза замерла, раздавленная, а длинное туловище его жило, неистовствовало. Сыплются ветки, звучно, злобно лопаются разрывные пули.

То, что голова Толи обнажена, усиливает чувство беззащитности. Он один на виду у немцев, неповоротливый, потому что в зимнем пальто и еще потому, что он – ранен.

Толя оглянулся: рядом – никого. Он и в самом деле – один. Один и ранен. Медленно, страшно неловко Толя повернулся и пополз. Он уже понял, что ударило его в голову, он не может оторвать взгляда от своей шапки, отброшенной в сторону. Клочья ваты сереют на зеленом сукне.

А слева фигуры убегающих, подгоняемые черными вспышками дзинькающих мин. Толя заторопился следом за бегущими, не успев сообразить, что он все еще не поднялся с колен. Поверил окончательно: ранен, останется… И тут увидел Головченю. Позвал.

– Ранен? – Бородач подбежал.

Толя схватился за него, встал, снова почувствовал под собой ноги.

Он скоро потерял Головченю в кустах. Зимнее пальто камнем висело на плечах.

Откуда тут болото? Ночью, когда пробирались сюда, его вроде не было. Пошел шагом, с трудом вытаскивая из холодной грязи отяжелевшие ноги.

Ревом преследуют пулеметы, мины ложатся где-то впереди, вспомнилось, что там еще одна дорога, которую перекрывал с первым взводом Царский и на которой теперь неизвестно кто… Но Толей овладело непонятное безразличие ко всему, что может ждать его. Выбросил на ходу гильзу и, не вкладывая в магазин запасные патроны, зарядил винтовку оставшимся, единственным.

Затрещало в кустах – сквозь вязкое, усталое безразличие не пробивается даже испуг. Да это свои: вон Круглик, Шаповалов… Толе никто не удивился, никто не поражен, что *после всего* он живой, заметили только, что он без шапки. А еще Головченя обязательно наболтает, как Толя убегал, не встав с колен. Надо было шапку захватить – побитую, в клочьях ваты. Даже дико, как теперь важно, поднял или не поднял Толя свою шапку. Как тогда с винтовкой… Черт, никак не привыкнет Толя к войне этой. Всякий бой – словно первый. И словно последний. Ведь могут же другие. И не лезут друг к другу с откровенностями: кому что подумалось, показалось, да что почувствовал. Вот у этого тихого маленького бурята Алсанова все было просто, и слушают его охотно.

– Прямо на меня наезжает, я поднял винтовку вверх, а он глядит на меня, а трубка из-под усов вываливается… А девка ка-ак закричит!..

Не в молодого немца выстрелил Алсанов, тот, наверное, успел свалиться, он-то и застрочил. Нет, Толю спереди, не сбоку ударило. Самая макушка и теперь болит.

– Что-то трофейщики наши без автоматов, – усмехается Шаповалов.

– Это не с бобиками! – говорит Коренной. – Воевать умеют, ничего не скажешь.

– Ничего, добрались и до них, – радуется Молокович, – я насчитал шестнадцать подвод, которые выехали под пулеметы. Из этих навряд кто уцелел. Аж гудело!

В Костричник приходили, собирались группами. И каждой группке кажется, что она была основная, а другие куда-то затерялись. Лучше всего тем, кто был с Царским, – эти уже наверняка знают, что затерялись не они – другие.

– Сто убили? – не столько спрашивает, сколько убеждает Волжака командир роты.

– Хорошо, если четверть.

– Не-ет, – требует Царский, дергая Волжака за портупею, – сто!

– И ноль-ноль, – добавил кто-то в толпе партизан.

Царский грозно оглянулся.

А здесь уже и „пахари”. Старик в кожухе все усмехается, как знакомым, молодой стоит в сторонке, все еще держит свою длинную хворостину.

– Молодец, дед, что не показал вида, – говорит Волжак, помахав рукой перед лицом, как тогда пистолетом. – Кому сейчас плохо, так это тем двум казакам. Увидели деревню – и назад. Разведчики, такую их!..

– А к вам немцы не прицепятся? – беспокоится за „пахарей” Молокович. – Тоже впереди шли.

– Як увидел – лежите вы, – не перестает похваливать партизан, а заодно и себя старик, – ну, думаю, вот вам, германы, и мина, вот вам и „матка-яйко”…

– А девка откуда? – спрашивают у старика.

– Ихняя. Сделалась ихняя… И волы ихние, а были совхозные.

– Ну, теперь волы наши. Вон как бегают бабы. Угостим вас котлетами.

Все хорошо, вот только голова у Толи не прикрыта, и это бросается в глаза. Так и жди, что начнут разговор. А еще Головченя появится – по-доброму, без ножа, а зарежет. Его хлебом не корми, дай рассказать.

Странно являлись в Костричник группы первой роты. У одного партизана в руках лишняя фуфайка.

– Катина одежонка. Бежали, попросила поднести.

Еще одна группа пришла, и тоже с трофеем – Катина винтовка.

Высокий рябой партизан, весь скособочась от смущения и недоумения, объясняет трубным басом:

– Попросила поднести. Глядь я, а ее нету – пропала.

– Посмотрим, что третий принесет! – грохочет Царский. – Го-го-го!

А командир первой роты Железня даже побелел от злости.

С третьим появилась сама Катя. Она счастливо улыбается. Круглое, румяное лицо, растрепавшаяся белая прическа – картинка: осеннее яблоко, брошенное в солому! Сейчас этому „яблочку” влетит.

– Если еще… – подошел к ней Железня.

– Ой, ножки замлели, так бежали, – сказала Катя и оперлась о высокое плечо командира первой роты. Углы на лице Железни еще больше заострились, но тонкие губы начинают растягиваться, вот-вот получится улыбка. Но нет, Железня отдернул плечо, сказал:

– Здесь тебе не кухня. Поняла?

Все, что происходит, радует Толю, потому что отвлекает внимание от него, от непокрытой его головы. Но тут он увидел Головченю: несет свою придуманную бороду!

– Толя, мать ищет тебя. На том поселке она! – кричит Головченя.

Мимо колхозного гумна, где под стеной много партизан, Толя заспешил к поселку.

Увидел мать издали: черная плюшевая жакетка, теплый платок. Новость – Лина с винтовкой. Ее еще не хватало сегодня! Они уже узнали Толю, показывают на него друг дружке. Что говорят, о чем думают, догадаться не трудно, зная, что они видели и слышали Головченю.

Лина сразу – руку к Толиной голове. Он поспешно отступил назад.

– У тебя растрепались… – сказала Лина и отчего-то покраснела, заставив покраснеть и Толю.

– Вот, сынок, – невесело сказала мать, тоже глядя на его волосы. Дались им Толины волосы! – Наверное, очень напугался? Вася рассказывал…

– Хорошенькое „напугался”! Стукнуло по башке, будто палкой.

Посмотрел на мать и понял, что – дурак, что не должен был этого говорить.

– Да нет – по шапке, – засмеялся, что складно получается. – Получил по шапке.

– Какой ты худой, – сказала мать, – одна голова осталась, на шее можно хрящики пересчитать.

„Какая ты красивая!” – готов был сказать Толя Лине. Стоит в пальтишке, тоже, как у Толи, коротковатом, школьном, на голове у нее серый платок, а брови – такие черные, а веснушки – такие детские, а сама – такая взрослая! Вся светится счастьем, каким-то своим, женским.

– А я к вам, – объявила Лина.

Ага, вот в чем дело!

– Захотелось и ей во взвод, – сказала мать.

– Ой, Анна Михайловна, я чуть-чуть…

– И Толя чуть-чуть… А теперь – посмотри на него!

Нет, вы посмотрите на Толину мать! Ей определенно доставит удовольствие, если и другие будут видеть ее сына никудышным, заморышем. Ну вот, пожалуйста: лезет пальцем за воротник. Что-то дрогнуло, Толя ощутил, как что-то задрожало в нем от ее жалеющего прикосновения.

– Оборвыш ты мой, грязный…

– А у нас сегодня котлеты. – Толя старается переменить разговор.

– Ну, а как у тебя теперь с животом?

Нет, хоть бы эта Лина куда-либо провалилась на часок, пока мама выговорится. Никогда с ней такого не было. Или она тоже, как Толя, устала? Устала быть спокойной, приличной матерью.

XI

Кажется, что может измениться во взводе с приходом одного человека. А изменилось, когда появился Волжак. Вот и Толя переменился.

Пришла во взвод Лина – ожило и еще что-то. И не в одном Толе.

Без конца караулы, секреты, вылазки к Низку, где напуганные полицаи каждую ночь жгут, чтобы не так темно было, сараи и дома. Люди устали, и кажется, ни на что другое, кроме войны, нет у них ни сил, ни времени. А вот поди же: охота им хлопотать еще и вокруг Лины. Началось что-то вроде соревнования с первой ротой: чья девушка лучше. С завистью рассказывают (так, чтобы Лина слышала), какая смелая и находчивая на слово Катя, как умеет „отбрить”.

– Идут они. Железня подает команду: „Стой!”, а кто-то добавляет: „Курок набок!” Ну, знаете, человек не лошадь, на ходу не умеет. А Катя не растерялась…

Лина вскочила и – вся пунцовая – за дверь.

– Ты же образованный, говоришь, в газете работал, – упрекает Светозарова Молокович.

Но многим нравится то, как умеет Светозаров заставить Лину покраснеть. Вернее, нравится им сама Лина, когда вот так краснеет. На словах завидуют первой роте, а сами рады, что „ихняя" не такая, как Катя.

Живет Лина отдельно, у старушки какой-то, иногда в гости приходит, ее усаживают за стол, и все хорошо, пока не захочется какому-нибудь нахалу еще раз увидеть, как Лина краснеет.

– Быстро что-то волов сожрали, – отметил Круглик.

– Еще бы, – подхватывает Светозаров. – Выбежал я за сарай в тот день, когда волов зарезали, а там вся рота во главе с Царским. С голодухи…

– Вонючие у тебя шуточки, – не выдержал Коренной.

И вот однажды явился Светозаров и как бы между прочим сообщил:

– А наша-то, стеснительная… Похаживает туда Царский. Третий вечер замечаю.

– Смотри какой… замечательный, – сказал Коренной.

И другие вначале вроде на Светозарова озлились, но скоро, и даже как-то очень охотно, поверили ему. Даже Молокович:

– И правда, идет комроты вчера ночью, веселый такой…

Но, главное, в Лине замечается перемена: бледная, всегда невыспавшаяся, выражение лица то умоляющее, то недоброе, даже злое. Раньше ее не посылали в караул, теперь потребовали от Круглика: нечего разводить тут боевых подруг, пусть как все!

– А то как у лявоновцев, – говорит Головченя, – специальный приказ написали: „В свободное от боев время боевая подруга командиров выполняет задачу жены". За-да-ачу!

Лина ходит по деревне, не поднимая глаз, не то испуганная, не то сердитая, а ее провожают взглядами, ревнивыми, мужними, и все черт знает какими гадами стали. Смотрят, будто что-то должна им Лина, будто обманула всех сразу. И Толя старается так же смотреть, точит его обида, тоска какая-то. Но за этим есть и другое: странный новый интерес к Лине и даже боязливое уважение к ней. Вот взяла и стала взрослой.

И вдруг снова пришла Лина в караульное помещение. В руках белый женский узелок. Села на лавку, глаза, как у подстреленной птицы.

– Я ухожу в лагерь. Мне Волжак разрешил…

И заплакала. Винтовка с плеча об пол, а она не поднимает, плачет, да так горько.

Старик Митин подошел к ней.

– Что ты, девочка? Обидел кто?

– Обидишь их, – непримиримо отозвался добряк Молокович.

А Лина – Митину, одному ему:

– Ходят все, сапоги боюсь снять. Все время одетая сплю. Ноги погорели.

– Ну-ка.

Митин взялся за ее сапог. Лина двумя руками схватилась за свое колено.

– Меня тоже боишься? – довольный, смеется старик. – Надо было к нам сюда перейти, если так.

– Боялась, что подумаете… А потом вижу – уже думаете…

Лина послушно подставила ногу.

Митин стащил один сапог, другой, развернул портянки, снял вязаные носки.

А Лина сидит и, как замерзший ребенок, плачет. Посмотрела на свои босые ноги и сразу их под себя, на лавку.

Ничего не произошло. Но, кажется, произошло.

Лина осталась ночевать в караульном. На пост вместо нее напросился Молокович. И смех снова, и разговоры, будто после разлуки хорошие друзья встретились.

Утром в караульное заглянул Царский. Повел очами.

– Как дела, орлы?

Волжак смотрит на него, как обычно на Липеня, – с ожиданием: „Ну-ну, покажись!" Вдруг подбежал к Царскому Тарадзе:

– Нехорошо, плохо, товарищ командир!..

– Волжак, убери ты его от меня, – взмолился Царский, а потом сам же: – Го-го-го! Ну, так вот, я по делу. Пойдете в Большие Пески, здесь хватит и второго взвода. Ты можешь остаться в Костричнике…

Последнее – Лине, и как бы между прочим. Лина умоляюще глядит на хлопцев.

– Э, нет, – говорит Волжак, – если кто как захочет, скоро взвода не станет. Раз боец, значит – как все.

В Больших Песках разместились по два, по три в хате.

– А ничего, оказывается, посуду только отдельную нам. Не ихнего, не староверского, мы бога.

– Хозяйка блины печет, во!

Зато у Молоковича неладно получилось. Попал он в дом, куда забегал Толя просить коня, когда нес в лагерь пакет. Рассказывает Молокович, а руки дрожат:

– Вышла из-за ширмы хозяйка, а оттуда голос: „А ты хлеба того насеял, что просишься за стол?" Не знаю, что со мной сделалось.

Рванул ширму, да к нему. Валяется в теплой постели, бороду красную отгодовал. Ка-ак заорет: „Митрохва-ан!" С печи кто-то слазит. „А, – говорю, – и Митрохван здесь!" Да за шомпол. Митрохван тот – назад на печь…

– Иди ко мне. Я один в хате, – сказал Толя, – хозяйка больная, с ногой что-то.

– Можно, и я с вами? – попросилась Лина. И покраснела.

– Ишь, выбрала, – посмеивается Митин, – самых ухажеров.

– У них же хозяйка больная, – оправдывается Лина.

Лина подоила корову, накормила всех – и стонущую хозяйку тоже. Толя ушел на пост, а через час Лина пришла подменить его напарника.

Вначале смотрели на дорогу, потом Толя взялся рассматривать старую, падающую над канавой вербу.

– Во как перекрутило дерево. Как ржавый гвоздь. Правда?

Лина охотно согласилась, кивнула головой.

Целый час еще стоять. О чем-то надо говорить. Если молчать, она решит, что Толя сейчас думает о том, что было в Костричнике, о всей этой истории с Царским. Ей сделается неловко, а тогда Толя и вовсе пропал. Главное, и не скажешь ей, что о том ты не думаешь. Скажи – значит, все-таки думаешь.

– Вот смотри: ольха – самое слабое дерево, а еще зеленое, дуб – самое сильное – желтеет уже…

Лина наморщила белый лоб, добросовестно стараясь понять, что хотел этим сказать Толя. Но тут же лицо ее разгладилось в улыбке: поняла, наверное, что не смысл важен тут, а старание развлечь ее умным разговором.

Что бы еще сказать?

– Летом сразу весь лес видишь, а когда листья пожелтеют – каждое дерево в отдельности. Осина – красная, береза – во-он какая желтая, а дуб…

Почему она улыбается?

– И люди так, – неуверенно продолжает Толя, запутываясь в собственной мысли, как пугливая коза в привязи, – ходят, ходят хлопцы, а убьют, и, кажется, только тогда поймешь, заметишь, кто такой…

– Смешной ты, – сказала Лина.

Та-ак, доумничался!

– Ты не обижайся, – попросила Лина, – ваша мама, когда вас нет, все про тебя да Алексея говорит. А я ей про свою маму. Помнишь, когда маленький ты был, все легли спать, а ты на печь залез и сидишь

в темноте. Отец ваш говорит: „Почему не идешь спать?” А ты: „Алеша бо-ольше сидел!..” Мама ваша рассказывает, а потом сама засмеется: „Невестке свекровь обычно сына вот так передает, со всеми его детскими историями...”

Ну, кажется, доразговаривались. Лина испуганно замолчала, Толя отвернулся, смотрит на зелено-желтый лес.

Первые две ночи Лина спала за перегородкой. Потом пожаловалась:

– Ой, от бабкиной ноги такой запах.

Толя принес еще охапку соломы, бросил в угол, там, где висят иконы. Пока Лина цедила молоко, он незаметно, ногой, отделил „ее” солому от „своей”.

После ужина ушел патрулировать вокруг деревни. Вернулся и увидел: Молоковича нет, Лина уже спит, но не под иконами, а на их, Толи и Молоковича, „постели”. Нет, не спит.

– Картошка на припечке, – зашептала Лина, приподнявшись, глаза большие, заботливые.

Толе не хочется несоленой картошки, но, чтобы собраться с мыслями, ставит теплый чугунок на стол. Жует и не может проглотить. Решает и не может решить. Если он ляжет в углу, где будет Молокович спать? Рядом с Линой?..

А она натянула свое пальтишко до подбородка, дышит в теплый воротник, ноги поджаты.

Толя обошел Лину, бросил пальто в углу, под иконами. Скосил глаза и сразу встретил ее взгляд: смотрит просто, обыкновенно.

– Ты, может, здесь, а то – где Молокович ляжет? Ушла бы на свою солому, и все было бы нормально.

Самое простое почему-то не приходит ей в голову. А Толя не может сказать, потому что тогда будет выглядеть, будто он *что-то думает.* Толя берет с пола пальто и небрежно бросает его рядом с девушкой. Лина, приподнимаясь, тащит из-под себя солому, выравнивает „постель”.

– Ну вот, спи.

И снова подтягивает свое пальтишко к губам. Толя лежит не шевелясь.

– Ай, с этой косой!

Выдернула из-под головы косу, положила на себя.

– А что моя мамка теперь де-елает? Мне кажется, как я ушла, она и минуты не спит. А я, бессовестная, сплю. А ваша, думаете, как? Не знаете вы! – Засмеялась: – Бедный, в три часа тебе еще за меня на пост. Может, я сама схожу?

– Ну вот еще! Ты же обеды нам готовишь.

– А что ты сапоги не снял? Может, и мне нельзя? – Лина села, потянулась к своим сапожкам.

– Да нет, тихо пока, – успокоил ее Толя и стал свои сапоги стаскивать. Портянки мокрые, подсушить бы. Но нечем ноги прикрыть. Ладно, на ногах высохнут.

Закинув голову, Толя смотрит на окно, в котором отсвет далекого пожара (все жгут бобики хаты в Низке). Лежит напрягшись, будто вдоль бревна. За перегородкой стонет во сне хозяйка.

– Ты семь окончил? – шепчет Лина. – А я восемь. Такие смешные мы были. Соберемся и про кубики, ромбики. Думаешь, геометрия? На вас смотрели, как на тетрадки свои: это только для школы. Мечтали о военных. А вот теперь мечтаю о школьных своих ребятах. Знаешь, а ты на них так похо-ож! – Сказала и тут же, приподнявшись на локте, пояснила: – С тобой я не боюсь быть.

Помолчали.

– Кончится война, – Толя, ты что будешь делать?

– Жить.

– Что – жить? Как?

– Учиться, может, не придется. Маме и так хватило… Хорошо, если отец жив.

– Толя.

– Ну.

– Толя.

– Ну, слышу.

– Ты влюблен был?

– Было, в школе.

– Что было? – Лина снова приподнялась.

– Ну, любил одну. Так боя-ялся ее!

– А, боялся. – Лина чем-то довольна.

Снова стонет за перегородкой хозяйка. Замолчали, точно испугались, что она проснется.

– Спишь? – это уже Толя.

– Не-ет…

– Ну, давай спать.

– Толя.

– Ну…

– Вы в школе целовались?

Ответа не последовало.

– А мы соберемся у Светки и все расспрашиваем ее. Она такая смелая была. А про свое молчим, только хихикаем, подлые такие были, хитрые… Ты спишь? Ну, спи.

И отвернулась. Кажется, засыпает. Вдруг застучали, заговорили на улице.

– Ой, Молокович! – Лина перебежала в угол, под иконы. – Ой, подай сапоги мои.

Назавтра – другое. Вернулся он с поста, увидел: Молоковича нет. Уснул не сразу. На потолке отблески от пожара, стонет и божкает за перегородкой хозяйка, ровно дышит в углу под иконами Лина. Снилось Толе что-то непонятное, и проснулся он от непонятного. Голос Лины и сдавленный смех:

– Ти-ише! Я тебя испугала?

От далекого зарева лицо у нее белое-белое, а глаза темные и блестят.

– Спи, я так…

И вдруг Толя начал куда-то проваливаться: он ощутил, как теплые пальцы коснулись его лба, спустились к глазам, строго надавили на глаза, как бы тоже приказывая: спи!

Пальцы насмешливо коснулись носа. Толя вздохнул с облегчением: все просто шутка, Толя сейчас клацнет зубами, как собака на муху, Лина засмеется. Но пальцы поползли ниже, погладили одну щеку, другую, очень как-то стыдливо, нерешительно. Толя боялся, что сейчас задохнется от сладкого стыда и что Лина и правда рассмеется, и этим все кончится. Мягкие, пахнущие молоком и ружейным маслом пальцы остановились на подбородке. Надо что-то сказать, глупо вот так молчать, она еще подумает, что Толя ждет чего-то. Пальцы нашли Толины губы.

– Тебе холодно? – спросила Лина. Пальцы все лежали на Толиных губах.

Толя раскрыл глаза, увидел ее приближающиеся глаза, большие, испуганно-решительные.

– Закрой! – гневно прошептала Лина.

Толя зажмурился.

Пальцы поползли к щеке, а губ Толиных коснулось что-то сухое, даже колючее. „Вот оно, это и есть, что называют „целоваться”!”

Снова слабое сухое прикосновение. То, что Толя столько раз видел – губы девушки, – плотнее, ближе, они уже не сухие, а теплые, ласково влажные… Толя, задыхаясь, пошевелил ртом.

– Не смей!

Лина почти крикнула, гневно, испуганно. Подскочила – и на свою постель, под иконы.

Руки, ладони Толи отяжелели от лежания по стойке „смирно”.

Прошло немало времени, Лина дышит ровно. Неужели спит? Что теперь будет? Ведь скоро светло станет. Когда увидел, что уже утро, несмотря ни на что – утро, Толя тихонько стал обувать сапоги. Лина спит, отвернувшись в угол и поджав коленки, стараясь вся уместиться под пальто.

Взял винтовку и пошел к порогу. И тут, неожиданно, такой простой, обычный голос, шепот:

– Не опаздывай к завтраку.

На улице Толя увидел то, чего никак не ожидал увидеть. Вначале ему показалось, что это обычное: конные партизаны гонят пленного немца или полицая. Процессия остановилась возле поста, подошли еще партизаны. Толя тоже направился туда и вдруг узнал: Половец! В своей белой кубанке, плечи приподняты (как у Петровского, до чего ж похоже!), светит редкими зубами, здороваясь со всеми за руку. Однако без автомата…

– Вон уже в печах палят, – говорит Молокович, – покормим вас.

– Только картошка несоленая, – сказал и почему-то засмеялся Головченя.

И все засмеялись. Половец тоже. А Головченя удивился:

– Ну и сволочь ты, Половец! Три мешка – это надо уметь.

– Ох и психовал Сырокваш! – чему-то рад Половец. – Влетает: „Где соль?”

Подошел Волжак. Ему рассказали все по порядку: как поручил Кучугура „гусару” отвезти в лагерь соль, как „зацепился” Половец за хату своей Соньки, как налетел Сырокваш и вместо шести мешков соли увидел оставшиеся три, а Половец, развалясь на кровати, разговаривал с ним… Волжак слушает с неласковой усмешкой и мрачнеет все больше. У Половца обиженно дрогнул голос, когда он рассказывал, как Сырокваш достал пистолет и скомандовал: „Ах так, сдай оружие!”

– А ты думал что – облобызать тебя? – сказал вдруг Волжак. – Ишь, гулять взялся. Эту соль у немцев из-под носа люди тащили. Эх, дурак…

Толя вернулся в свою хату не скоро.

– Где вы, мужчинки, все ходите? – сказала хозяйка. Она уже сидит на кровати, греет в теплой воде больную ногу. – И мой вот так, бывало. Картопля залубенеет, остынет все – а его нема и нема… Партизаночка ваша заждалась, такая старательная, заботливая…

Партизаночка, сидя на табуретке, крошит в чугун свеклу красными от сока пальцами. От чего красны щеки ее, Толя знает. Он и свои хорошо чувствует.

Лина сидит не прямо над чугуном, а сбоку, наклоняясь к нему, будто пошептаться хочет. Получается это у нее по-особенному легко: она такая гибкая, хотя и не худенькая, а руки такие плавные, особенно когда вот этим серым джемпером вся обтянута. Коса почти касается пола. Но Толя не особенно разглядывает Лину, он тоже все боком к ней, чтобы не встретиться глазами, когда она поднимет темные ресницы. А она их не поднимает, хотя Толя уже все рассказал про Половца.

– Что делает, проклятая! – вздохнула хозяйка, видимо имея в виду самогонку.

Закончила тетка несколько неожиданно:

– Люди и рады – соль же!

Лина взглянула на Толю. Почему-то виновато взглянула. А Толя сразу увидел себя со стороны: голова большая, шея тонкая…

– Ладно, пожрем, – сказал Толя и сел спиной к Лине. Спина у него, наверно, сердитая, потому что Лина все молчит виновато. Но вдруг прозвучало там, сзади: – Все они пьяницы. Правда, тетя? И бабники.

Толя сразу почувствовал, что спина его не сердитая, а смешная. Очень, наверное, глупая.

XII

Этот появился во взводе как-то очень неожиданно. Как бывает, идешь по дороге, оглянешься, а за тобой незнакомый пес увязался – с добрыми, несмелыми глазами.

Возвращались на рассвете из очередной вылазки, глянул Толя, а за ним след в след топает парень лет семнадцати, необыкновенно тощий и длинный, выросший больше, чем Толя, из всех одежек: руки чуть не по локоть голые, ноги над ботинками тонкие и грязные. Винтовка на плече и даже немецкая деревянная граната. Смотрит счастливо, удивленно и как бы прося прощения, что он такой и что идет следом. Ясно – новичок. Кучугура, что ли, подсунул его во взвод? Вчера вечером Толя видел контрразведчика в деревне.

Удивительно, как похож этот новичок на паренька, что жил дома, спал на белых простынях и представлял себя грозным врагом немцев и бобиков. (С ним, таким, Толя любил мысленно поразговаривать, когда бывал в настроении. Дружески или с издевкой.) А тут, когда он внезапно появился перед глазами –

нахально живой, настоящий, будто он всегда был здесь, – Толя смотрел на него совсем не ласково и не спешил признавать. Ревниво отметил, как запросто он увязался за Волжаком, когда тому днем захотелось снова прогуляться к Низку. И Волжак не вспомнил, где, мол, тут Толя, с которым он все ходил. Волжаку все равно. А этот прибежал под конец и, ясное дело, будет храбриться с неизрасходованным своим запасом шансов. Толя нарочно не пошел с ними. Вернулись, и Волжак, похохатывая, рассказывал, как Коля (уже имя знает), как Дубовик (уже и фамилию помнит) спрашивал взволнованно, „в кого лучше целиться" – в немца или полицая.

– Да ты Гамлет, – заметил Волжак, с любопытством озирая нескладного улыбающегося парня. Впрочем, лицо у него красивое. И Лина к нему присматривается. Правда, насмешливо, но у нее это не очень разберешь.

Познакомились и даже сблизились как-то вдруг. Оказались оба на посту.

– Ты откуда пришел?

– Я? Из-под города.

– Винтовку там добыл?

– Ага, был у нас полицай (сначала вроде смирный был), но убил (вроде по пьянке) окруженца на дороге и женщину, которая видела это, и осволочел.

– А ты его?

– Не один. Не хвастун.

– А семья где?

– Какая?

– Твоя.

– Не знаю. Я – детдомовец.

– Хорошо!

– Что?.. То есть почему хорошо?

– Что вообще ее нет – плохо, ясное дело. А что в войну и вот здесь теперь один – легче.

Не понял.

Побыл бы в Толиной шкуре – понял бы.

– Ты стихи писал? – спросилось как-то само собой, Толя даже покраснел слегка.

– Как ты догадался? – глуповато расплылся в улыбке парень и полез за пазуху. Потертая тетрадка – точно такую потерял Толя. (Или курцы стащили.) Стихи – лесенкой. Ничего, можно и так.

Читали друг другу по очереди – каждый свое. Когда Бобок пришел подменить Дубовика, он посмотрел на обоих по-стариковски хитро:

– Вы что такие распаренные? Может, вас девчата тут грели?

XIII

Царский привез приказ: взводу забрать коров в Зорьке и Фортунах. Есть распоряжение: коров из немецких зон, особенно из пришоссейных деревень, угнать в партизанский тыл. Это звучит как напоминание: скоро побегут немцы и будут хватать, что смогут. После Курско-Орловской битвы их отступление сделалось столь же обычным, как продвижение вперед в первые недели войны.

Но само по себе дело, порученное взводу, неприятное. Забрать всех коров у своих, да еще в поселках, где люди так хорошо относятся к партизанам... Да, конечно, немцы постараются угнать коров... Но ведь и то известно: корова для семьи теперь и магазин, и детясли, и зарплата. А ты, именно ты, приходишь и лишаешь людей всего этого. А завтра не ты, так другой такой же явится и попросит, а то и потребует „покушать".

Хлопцы злы на всех и на самих себя. Один Волжак, кажется, мало озабочен нелегким положением. Этот человек поразительно холоден ко всему, что не считает главным. А главное теперь – ходить и убивать немцев, предателей. Волжак как бы слегка презирает все остальное. Он или холодно спокоен, или вдруг насмешлив – другим не бывает.

– Через час выходим, – сказал Волжак и ушел в дом, где остановился командир роты. Вернулся и так же безразлично сообщил:
– Ну вот, поселки не наши. Благовку нам. Радуйтесь – три километра от города.

Но хлопцы и правда обрадовались. По крайней мере, опасно, а потому не так стыдно.

– А с Половцем-то, – вдруг захихикал Волжак, – расстреляли „гусара".

А все же странный этот Волжак, иногда просто не знаешь, что думать. Веселится там, где совсем не весело.

– Привели Половца в лагерь. Петровский вечером приехал, зол как черт: „Хватит! Нацацкались!" Написали приказ. И прямо возле штаба: бах! Из пистолета. И еще три раза в лежащего. Потом, кхи-и, положили „гусара" на телегу, повезли. „Пат" и „Паташон" из первой роты, да еще дед из хозвзвода... Везут. „А теплый еще". – „А смелый был, черт!.." Жалеют, кхи-и, а сапоги стаскивают. Взяли лопаты и

отошли яму рыть. Поработали, закурили. Маленький „Паташон" поднял глаза: „Хлопцы! Встал!" Покойник стоит на возу, сапоги надевает. И даже портянки навертывает. Кхи-и… Винтовки возле телеги. Покойник хвать десятизарядку!.. Бежали могильщики не хуже, чем мы от Низка. У „Пата" шаг – два метра, но маленький „Паташон", говорит, пер след в след. Но все равно дед хозвзводовский раньше их примчался. Влетают в штаб, глаза – во! „Убежал!" „Вы что, – спрашивает комиссар, – поминки справляли?" А они хором: „Убежал!" Так и не нашли.

– Постой, что это? – Головченя даже головой встряхнул, будто желая проснуться. – Что же там было?

– А что было, – говорит Волжак, – сумерки уже были, только контузила его первая пуля. А еще три – в белую кубанку всадил Петровский. Думал – голова.

– А если он к немцам убежал? – заметил Светозаров. Всякое бывает, но верить в это никому не хочется.

Шли через Фортуны, и нехорошо было на душе: люди здороваются, узнавая, улыбаются.

– А может, не будут трогать поселки, – говорит Молокович.

– Тихоновцы ночью явятся, – безжалостно глушит его надежду Волжак. – Война-матка!

Ждали темноты в лесу. Времени много, и оно очень тянется.

Правда, у Толи теперь есть занятие: смотреть, где Лина, знать, помнить о ней. И чем ближе она, чем больше помнишь, тем безразличнее должно быть твое лицо. Толя начинает бояться Лины, бояться (и ждать!) той боли, которую так легко может ему причинить она, совершенно забывая о Толе, как сейчас, когда возле нее все, а он в сторонке, потому что не может же он трепаться, как этот Головченя, а молчать – глупо и обидно. Толя постоянно боится (и ждет со сладким ужасом) взгляда ее больших глаз, если даже они испуганно-виноватые, боится (и ждет, ждет!) ее усмешки, голоса. Больше всего боится он затаенной усмешки (даже если голос виноватый, просящий). Ведь она все о нем знает. Просто возмутительно, как видят *они* насквозь тех, которые не без гордости называют себя мужчинами. А Толя теперь тоже мужчина: его целовали. Под взглядом Лины он чувствует себя таким безнадежно открытым, беззащитным, что обидно делается. Знает она, конечно же видит, что Толе радостно и неловко помнить, что они целовались. Знает, хотя и делает вид, что ничего не было. И, наверное, думает, что Толя ждет, снова ждет…

А однажды пожаловалась:

– Так мерзнут они. Хорошо вам!

– Что? – испугался Толя, потому что его поймали, поймали его взгляд, казалось совсем случайный.

– Да коленки же, – просто сказала Лина.

Ну, носила бы брюки, как Катя, тогда бы не видно было, что они у нее такие круглые и такие розовые! А то пальто коротенькое, а голенища невысокие... Улыбается. А потом снова покорно-виновато смотрит. Поневоле захочется все усложнять, запутывать, только бы не быть таким глупо упрощенным, каким сам себя видишь.

Уже несколько дней Толя избегает Лину. И теперь лежит на земле, будто ему совсем не интересно знать, отчего им так весело. Лина не выдержала (о, с какой мужской, злой радостью Толя увидел, что она сама, *сама* к нему идет!). Подошла, постояла возле сосны. И спросила:

– Живот болит?

Опять! Толя чуть не задохнулся от обиды.

– Пошла, знаешь!..

– Что с тобой, Толя?

– Ничего...

Глупо, по-детски. Но, по крайней мере, она чего-то не понимает – уже легче.

Дождались ночи, потом шли через поле. Город справа где-то, без огней, но чувствуешь, какой он большой. Вошли в темную деревню. Отделенные торопливо командуют:

– Твой двор, твой...

– Корзун, заходи в эту хату.

Толя постучал. Сразу белое пятно показалось за окном. Хозяин уже не спит.

– Открой-ка!

Это не Толин голос и не его слова: так теперь говорит сама ночь. И ночь знает, что хозяин откроет, потому говорит уверенно и даже не строго. Ночь теперь страшна для человека, даже если она говорит голосом Толи. Вошел в хату, огня нет, и не зажигают. Поздоровался. Ответил хозяин.

Вторая фигура – тоже в белом – хозяйка. Воздух спертый, запах пеленок.

– Хозяин, завтра немцы коров будут забирать.

Не завтра, конечно, но ведь будут забирать, это правда.

– Спасибо, хлопчики, что попередили, сказали.

– Отступают, будут хватать...

Толя передохнул. Потом:

– Приказано угнать от шоссе.

– Куда угнать? Ой, что ты… что вы, хлопцы! Как же, дети же?..

– Возьмем, а после войны…

– Хлопчики, мы сами в лесу спрячем…

Толя не знает, что еще говорить. Хозяин понимает то, что понимает и Толя, но человеку надо думать еще и о детях своих.

– Пойдем, откройте хлев.

– Хлопцы, не могу…

– Хочешь немцам отдать? – Это уже снова голос ночи, требовательный, неизвестно что таящий.

– Как хотите, не могу.

– Может, вам сметанки? Собрала немножко, – Голос пугливый, женский. – Как же без коровки?

– Так немцы же…

Толя помолчал, потом просяще:

– Открой хлев, хозяин.

Зато голос дядьки потвердел:

– Что хотите – не открою!

Толе тошно от собственного молчания. А голос свой ему и вовсе противен. Говорит неохотно, а сам почему-то представляет тоненькую книжечку с красным языком пламени на обложке и красные же буквы: „Баня горит!" Почему-то всплыла читанная в детстве книжонка. Загорелась баня, где вдова сушила лен – все свое богатство. „Ваня, сынок, беги, кличь людей!" Ваня „побежал". Зашел в соседскую хату. „Здравствуйте!" – „Здравствуй, Ваня. Садись". Сел. „За стол садись, поешь с нами". – „Не могу". Посидел самую малость. „А у нас ба-аня горит". И еще раз: „Ба-аня наша горит". А Ваню не слышат: слова о пожаре, да голос не о пожаре. Вот как у Толи сейчас. Зато у хозяина голос все тверже.

– Не дам! – говорит хозяин.

И вдруг… Ночь ли снова заговорила голосом Толи или что другое, но Толя вдруг предложил:

– Ладно. А сапоги у вас найдутся? Обменять.

Представил, как обрадуется хозяин. Но тот сказал, почти зло:

– Нет у меня сапог!

Толя понял, что загубил все. Нет, уже не корову чужую потерял, а что-то большее. Он будто посмотрел на происходящее глазами хозяина: пришел человек, партизаном считается, всякие слова говорит, а сам врет, самому лишь бы заполучить что-нибудь…

– Нет у меня ничего!

Толе уже не верили, его просто боялись, да и то не очень.

– Ну, пошли, хозяин. Ключ где?..

– Нету ключа…

– Смотри, дядька, отдашь немцам…

– Не отдам.

Отдашь, где ты здесь спрячешься со своей коровой! Они-то упрашивать не будут. Но Толя больше ничего не может.

– Ну, вот так – спрячьте, – говорит он, будто за тем и явился.

– Сметанки, я скоренько, – обрадовалась женщина.

– Не надо, – говорит Толя и побыстрее уходит.

Стадо теснится на темной улице, его гонят почти бегом. Сухо, ломко щелкают копыта.

– Выгнал свою? – спросил Круглик, столкнувшись с Толей.

– Там, пошла…

Дубовик Коля – новичок, который тоже стихи пишет, идет с хворостиной. Посмотрели друг на друга, как-то очень одинаково посмотрели, но не заговорили.

Лина подбежала.

– Толя, ты?

Знала бы она!

– А я не смогла бы зайти, взять. Ты – смелый.

Слово-то подобрала. Или снова с усмешкой скрытой? Да нет, не до того и ей.

– Если закрыть глаза, может, и смогла бы, – все оправдывается Лина. – Война же, надо, правда?

А Толя подумал про глаза, которые провожают партизан, угоняющих коров. Кажется, никто так и не вышел из хат: согласны, что надо, или просто боятся? И то, наверное, и другое. Вот Толя знает партизан вблизи, знает „изнутри": и добрых, и злых, и честных, и нечестных. Но если бы он сейчас жил в этой деревне, а в дом пришли, он тоже не знал бы, какой тот, кто пришел ночью в дом. Эти люди даже не знают, что партизан имеет право сделать, а что не имеет. Ночью человек всегда опасается худшего.

А как после войны будут вспоминать обо всем этом? Наверное, очень по-разному станут о партизанах говорить. Казики Жигоцкие да те, что отсиживались, отращивая стариковские бороды, – те просто обязаны ругать всех, кто мешал им сидеть тихо. Чем хуже выглядят все, кто не отсиживался, тем больше оправдания будет им, кто ел „свой хлеб", носил „свои сапоги".

Ну, казики да вшивобородые дезертиры – понятно. А другие? Вот эти, что сейчас смотрят из темных окон? Да, очень по-разному будут думать, будут говорить. Для одних партизаны и сейчас – сплошь герои, легенда. Толе это знакомо. Для других: „приходили, грозили,

забрали". А они, партизаны, не то и не другое, они – это очень разные люди, по-разному хорошие и плохие: Головченя, Сергей Коренной, Молокович, Волжак, Лина, погибшие Ефимов, Носков, Разванюша... Ну, и Толя тоже. А он кто, какой? Ух, дурак: „А у нас ба-аня горит", „А сапоги у вас есть?.."

XIV

– ... А что, зато отдохнем.

– ... Ужин запаздывает. Непорядок. Эй, часовой!

– ... Да что вы скисли!

Вася Пахута то шепчет, то орет, пытаясь населить голосами землянку. Но у Коренного, Молоковича и Дубовика нет настроения разговаривать. А Толя и отозвался бы, но почему-то стыдится своего голоса. Здесь, на гауптвахте, почему-то стыдно слышать самого себя.

Да, он не первый, кто сидит на „губе". Но он-то – впервые.

И в голову прийти не могло, что такое возможно, что этим кончится: ни когда вчетвером ходили в штаб проситься на операцию, ни когда с тяжелым мешком взрывчатки и легкой душой шли к „варшавке", ни когда ловили того проклятого немца.

Ничто не обещало вот такого результата.

Перед поселками по обыкновению отдыхали. Деревеньки, лишенные привычной летней зелени, казались неприветливыми, походили на унылые стада, рассыпавшиеся по черным холмам.

Шли полевыми дорогами, не заворачивая в деревни, говорили о том, как и когда лучше подойти к бетонному мосту. И чем ближе они были к цели, тем чаще хлопцы обращались к Толе, спрашивали у него: ведь это „его" шоссе, „его" мостик, и даже снаряды, которыми собирались усилить взрыв, были Толиной тайной. Все это радовало, но и беспокоило: ну, а если уже нет их, тех снарядов, или не найдет он болотце, в котором захоронены они? Ведь не один Толя таскал их тогда, в сорок первом, забавлялись этим и другие пастухи. Изображали, что делают всего лишь кладку через болотце, а вовсе не прячут снаряды от немцев.

Чтобы скрыть, что он не очень полагается на свою память, Толя как можно подробнее рассказывал про снаряды, про бетонный мостик, про то, как пытались поднять его партизаны еще в сорок втором году, но не хватило ихнего взрыва – очень уж толстая бетонная плита.

Низинками подходили к Зорьке, в кустиках встретили женщину.

– Ой, куда ж вы, немцы в деревне.

Коренной спросил, много ли.

– Один… И правда – один! – Тетка сама вроде удивилась. – Пленные с ним, яйки ему собирают. Дурной какой-то.

Возможно, с этой невольной усмешки над „дурным каким-то” немцем и началось то, что окончилось так скверно.

Деревню обошли. Из-за кустиков присматривались к улице, домам. Толя тащил мешок со взрывчаткой и видел мало, но по коротким репликам понял, что решено дожидаться немца здесь, на дороге.

Потом увидели, что из деревни бегут двое. Задний несет что-то. Пленные. Разбегаются, наверное. Партизанам они страшно обрадовались, но не удивились: были, конечно, убеждены, что партизан сидит за каждым кустом.

– Куда несете? – поинтересовался Вася-подрывник, даря пленным свою золотую усмешку.

Запыхавшийся щетинистый пленный опустил полу шинели и показал куски хлеба и картошку. Второй пленный, помоложе, объяснял Коренному:

– Тотальный. Мы уговорили его, что тут нет партизан. На шоссе с ним работаем.

– Где он теперь? – спросил Сергей.

– Сидит с винтовкой в том конце улицы. Стережет, чтобы не убежали к вам.

– А, идем в деревню, – решил вдруг Коренной.

Бежали по хлюпкому мокрому полю, по огородам, потом вдоль заборов.

Немца не было на улице. Прихрамывающий старик с непокрытой седой головой, поравнявшись с партизанами, сказал, скосив глаза в их сторону:

– Второй двор за мной. Там он.

Из калитки вышел немец. Одной рукой он придерживал ремень винтовки, в другой у него – каска. Увидел направленное на него оружие, каска глухо стукнулась о землю, в разные стороны от сапог немца раскатились белые яйца – те, которые не разбились. Немец поднял руки, крест-накрест, в глазах – очень белых на темном немолодом лице – ужас, мольба, чтобы то, что он увидел, куда-то пропало, исчезло.

Вася подошел, снял с плеча немца винтовку. Для этого пришлось ему руку потянуть книзу.

Откуда-то появились военнопленные (их человек шесть), потом пацаны, женщины стали подходить. Кажется, вся деревня. Нет, не

вся. Вон две женщины, окруженные детишками, быстренько уходят к кустам…

Немец, не впуская рук, глядит на партизан. Его самого рассматривают с неласковым любопытством.

– Гляди, как просится на небо.

– Это ж набрался ума, явился, как кур во щи.

– Старый какой, беззубый, всех подчистил Гитлер.

– Д вот завтра приедут, они покажут зубы. Это он теперь…

– Хлопчики, вы хоть не тут его… Уведите.

– Им что, а нам оставайся, жди…

– Федя, о боже, где малые, собери малых!

Военнопленный сказал что-то, его даже не расслышали, но тетки зашумели:

– Герой! Что ж ты яйки собирал? А нам с детишками куда?

– Мы сами хотели обезоружить его, – оправдывался военнопленный.

– Долго что-то собирались.

Молчали лишь партизаны да немец. Дед, который подсказал, в котором дворе немец, спросил:

– Как же, хлопцы, а?

Слишком нелепо попался немец, очень беспомощен и стар он был, но все равно ненавистен. Ненавидели его за все, что было вчера, что обрушится на людей завтра (возможно, из-за него же).

Хотя командует группой Вася-подрывник, но все (и Вася тоже) почему-то смотрят на Коренного. А Сергей, недовольный, хмурится.

– Как он был с вами? – спросил Сергей у военнопленных.

– Не сказать… – начал один из них, но снова зашумели женщины:

– … А что ж ты яичницу ему собирал?..

– Тише, тетка, – махнул рукой старик, который помогал ловить немца.

– Э, чтобы из-за такого людей сожгли, – заговорил вдруг Молокович, – пусть проваливает!

Похоже, что Молокович сам удивился тому, что сказал. Все вдруг затихли, а немец снова поднял руки.

Отпустить немца! О таком, кажется, никто не думал. Такого еще не бывало.

Лишь дед, который помогал брать немца, не удивился.

– Эй, ты! – крикнул он. – Отпустили тебя партизаны, это самое – к матке.

– Обождите, – озадаченно промолвил Коренной.

Но что-то уже произошло. То, что минуту назад казалось невозможным, было теперь просто и понятно: а смотрите, нам уже наплевать на такого вот вояку!

Немца стало вдруг трясти, острый подбородок его противно задрожал. С ужасом смотрел он на женщин, на зашумевшую толпу. Его толкнули в плечо, в спину, даже резко, даже сердито – он чуть не упал.

И вот в последний раз его подтолкнули, – теперь немец шел по улице, сопровождаемый пацанами, шел, как по кладке, пошатываясь, готовый падать.

Толя смотрел на лица людей – серьезные и веселые, добрые и неласковые, печальные и насмешливые, – и ему так радостно было ощущать себя среди этих людей, таких близких, понятных.

Немец дошел до конца улицы и лишь тогда оглянулся. Но разобрать, что у него на лице, нельзя было. Только пошел он быстрее и исчез за крайним домом.

Какой-то шум донесся издали. Пацаны назад бегут. И кричат наперебой:

– Танцует! Танцует фриц! Пилотку об землю…

Когда стемнело, отправились к шоссе. Военнопленные помогали искать болотце, снаряды, а потом несли их к мосту, помогали закладывать в бетонную трубу. Может быть, потому, что рядом были эти переполненные счастьем шестеро военнопленных, очень как-то хорошо, здорово было на душе. И так легко все делалось.

Потом возвращались на поселки и все рассказывали друг другу, какая (до облаков!) была вспышка, как ахнуло.

В Зорьке встретили Кучугуру. Расспросил про операцию, потом, словно между прочим, сказал:

– А у вас, я слышал, перемирие с немцами.

Молокович стал горячо объяснять.

– Меня убеждать не обязательно, – бросил Кучугура.

– Ну и ладно, – сказал Коренной, – бог не выдаст – свинья не съест.

Ничего вроде не изменилось. Но уже не могли не думать, не говорить о случившемся, о проклятом немце. И уже было почему-то неловко перед военнопленными: еще подумают, что партизаны боятся кого-то, чего-то.

На посту всех задержали. Так и положено, если ты пришел с новыми людьми. Военнопленные сразу притихли, примолкли, и это злило. А еще часовой поинтересовался:

– Это вы там фрица отпустили?

– Целый полк, – мрачно возразил Вася-подрывник.

По лагерю шли следом за Мохарем, нарочно зычно разговаривали со встречными, громко смеялись, а Толя думал об одном: в лагере ли мать. И не знал – как лучше…

У штаба увидели Колесова: он садился на лошадь, Вася Пахута доложил, что задание выполнено.

– Что ж это вы? – спросил Колесов, разбирая поводья. – Ну, были бы новички, а то старые партизаны. Дадите объяснение. – И посмотрел на Мохаря.

– Сдавай оружие, – приказал Мохарь.

Колесов, не оглядываясь, уехал.

Вася улыбался, Коренной был мрачен, Молокович пытался что-то растолковать, в чем-то убедить Мохаря. А Толе было очень неловко перед новичком Колей и военнопленными. Виноватые и растерянные, военнопленные стояли в сторонке. Тот, которому отдали немцеву винтовку, переминался с ноги на ногу, не знал, как ему быть.

– Сказано сдать оружие, – посмотрел на него Мохарь. Нехорошо было видеть, как виновато и поспешно отдал человек винтовку.

Хорошо, что хоть их не посадили на гауптвахту. Слишком мала землянка, она не рассчитана даже на пятерых. Не повернуться на этих нарах. Спят уже хлопцы. Даже Вася замолчал. Нет, хорошо, что мама на аэродроме, а то надо было бы ей переживать все это.

Теперь она еще сильнее невзлюбит Мохаря. Не любит его и Толя. Но совсем не так, как Коренной. Не может Толя ненавидеть человека, какой бы он ни был, если человек этот – партизан. Слишком резко разделен для него мир на тех, кого надо убивать – фашистов, предателей, и на тех, кто – свой.

Вася, который, казалось, уже спал, вдруг посунулся к двери, стукнул ногой в доску.

– Эй, часовой!

Никто не отзывается.

– Часовой, спишь?

– Ну что? – простуженный голос снаружи.

– Сырокваш в лагере?

– Не знаю, – шепчет часовой. За дверью – его близкое дыхание.

– А комиссар приехал?

– Тише вы, – нервничает часовой, – там все слышно.

Гауптвахта в виде тамбура пристроена к задней стенке Мохаревой землянки. Не очень хитро придумано: Мохарю кое-что слышно, зато и его голос, даже покашливание его заместителя Уса

можешь слушать. Когда допрашивали Коренного, кое-что можно было разобрать.

После Коренного в землянку Мохаря повели Толю. Длинный стол, белый от бумаг, круглое лицо Уса, сидящего с карандашом, жидкий свет плошек, расставленных так, чтобы твое лицо было освещено, а Мохаря оставалось в тени. Толя ждал вопроса, чтобы рассказать, как все было, и даже радовался, что его вот привели и он все объяснит, и все сразу станет на место. Он и не думал что-то скрывать, что-то придумывать – Толю просто распирало от искренности, от радости, что ему не надо что-то скрывать. Ведь это так просто, если вспомнить все до деталей: какой был день, какие голоса у женщин, какой был немец…

– Не темни, слышишь, не темни! – оборвал Толю Мохарь. – При чем тут бабы? Небо синее было… Слышишь, Ус, синее небо было, потому они отпустили немца.

Толстяк Ус перестал записывать и взглянул на Толю из-за спины своего начальника, посмотрел с любопытством и, как показалось, ободряюще.

– Ну, хватит сказок, – оборвал самого себя Мохарь, – все, что надо, нам военнопленные сообщили. Просто хотел пожалеть тебя. Ради матери. Но вижу, что ты сам не хочешь. Так вот я тебе скажу: немца отпустил Коренной. Так? Спрашиваю: Коренной?

– Никто не отпускал. – Толя бормотал что-то невразумительное, и ему уже расхотелось в чем-то убеждать Мохаря.

Вернувшись к своим, Толя пожаловался:

– Хочет, чтобы на тебя все, Сергей…

– Знаю, – отозвался Коренной.

… Спят уже хлопцы. Или не спят, а тоже думают, как вот Толя.

Вдруг как бы дрожь прошла в земле, отозвалась слабым, словно далекий поезд, звуком.

– Слышите, опять? – шепчет Молокович. – А, по-моему, все-таки фронт.

– О, черт! – вдруг выругался и тут же рассмеялся Вася-подрывник, который попытался подняться и стукнулся головой о накат.

– Какой вам фронт! – не верит Коренной, но сам даже дышать перестал.

Хотелось кричать от радости. Но молчали. Будто сговорившись, как бы не желая делиться радостью с человеком, который за стенкой, в соседней землянке.

– „Сегодня суббота, а завтра неделя”, – заорал вдруг Вася-подрывник. Ему стали помогать, тянули весело, гнусаво: – „А что ж у тебя, хлопче, кашуля не бела?..”

Застучал часовой:

– Одурели, черти бы вас драли!

Но его не слушали. Часовой начал упрашивать, уговаривать.

– Ладно, – сказал Вася-подрывник, – а завтрак хороший принесешь?

– Принесу, болячки на вас!

А в общем, не весело.

Прислушались снова. А может быть, это лишь бомбежка. Но ведь уже на Соже наши, неделю назад сообщалось.

На улице послышался окрик часового, короткий ответ. Стукнула дверь в землянке Мохаря. Когда там заговорили, Молокович сразу узнал:

– Комиссар!

Резкий, отсекающий слова голос:

– Мало, что ли, настоящих забот?

– Дело тут не в немце, – прорвалось сквозь песок, а потом только обрывки фраз, слова: „деморализация”, „демобилизация”…

– Чепуха, – подытожил длинное объяснение Мохаря Петровский.

– Факт есть факт, – тут уже повысил голос Мохарь, – не нравится мне: спелись, выгораживают… опа-асная штука! Сегодня это, а завтра, глядишь, звено…

– Ну что вы ерунду сочиняете? Будто мало настоящего дела.

– Ну, а покушение на тебя? А ты, если не ошибаюсь, комиссар… Этот Коренной…

– Не путай хоть здесь… И потом, – это уж мое дело.

– Не только твое. Ранил комиссара, и ничего. Подрываем авторитет командования. Возможно, я ошибаюсь…

Голоса сделались тише, только можно понять, что теперь о Кучугуре разговор.

– Глубоко, друг, копаешь, – резко возразил Петровский.

– Не знаю, возможно, я ошибаюсь, но такую работу доверять окруженцу…

Вася Пахута вдруг захихикал. Его толкали в бок с двух сторон, и он все давился смехом.

– Ой, бедняга, – простонал Вася, – забыл он, что и Петровский – окруженец.

– Вот что, – спокойный голос Петровского за стенкой, – арестованных выпустить. Объяснятся перед строем, и хватит с них. Занимайтесь делом, а не своими личными отношениями.

– Делом? Даже лявоновцы на днях двоих у себя разоблачили. А мы…

– Не с того конца начал.

– Приказываешь, комиссар? Буду жаловаться.

– Можешь, – теперь уже Петровский перешел на „ты", – давай! А пока соберем бюро, обсудим положение.

– А собрание не хотите? Может, на митинг вынесете мою работу?

– Неплохо бы и собрание. Коренной, если ты не забыл, член партии. Вот и объяснитесь перед коммунистами, что вы не можете поделить.

– Митинговать будем? – Голос Мохаря сделался тоненький, сладенький. – Как в гражданскую?

Кажется, человеку страшно веселой показалась эта мысль!

– Не выйдет!

Ого, сразу другим сделался голос Мохаря.

– Выйдет, – сказал Петровский.

Стукнула дверь, и сделалось тихо за стенкой. Уже прорезались светлые щели в двери, уже дятел звонко простучал по дереву, а сон так и не пришел в землянку. Разговаривали, смеялись, будто и не на гауптвахте.

А за стенкой ходьба, с часовым кто-то разговаривает.

Вдруг распахнулась дверь, открылась в холодное, сырое утро. Строгий голос:

– Выходи.

Нарочно не спеша, чтобы не выдать радость, торжество, хлопцы сползают с нар, почесываются.

– Кому сказано!

Мохарь с автоматом наготове, толстяк Ус тоже держит перед собой десятизарядку, а сбоку стоит чем-то смущенный часовой – все трое образуют как бы полукруг, загон. Вася хотел идти по дорожке к лагерю, но на него прикрикнули:

– Куда? А ну бери лопаты!

Тупым стволом автомата Мохарь показал на две лопаты, лежащие на наклонной крыше землянки.

– Лопаты? – прошептал Молокович и побледнел. Не может этого быть! Как тихо в лагере, почему так тихо в лагере! Если бы здесь мама была, она бы сейчас не спала.

Молокович поднял лопату и посмотрел на всех своими большими наивными глазами. Ус жалко и нелепо улыбнулся ему, а Мохарь, шагнув к Толе, приказал:

– Бери, ну!

Холод от мокрого и грязного черепка лопаты прорвался внутрь, в самое сердце Толино.

– Вы это что? – тихо спросил Коренной.

– Не вздумайте... – предупредил Мохарь, отступил назад и взвел автомат. Злой щелчок объяснил все.

Шли в глубь леса, а Толе не верилось, он жадно вслушивался, ждал, что вот сейчас произойдет что-то, проснется лагерь... Хорошо, что взяли лопаты, это очень хорошо. Пока будут яму копать, что-то изменится. Обязательно. Бакенщиков тогда шел без лопаты, да, да, без лопаты – Толя помнит.

– Нет, стойте, – остановился вдруг Коренной.

– Что та-кое! – окрик сзади.

– Если так, – говорит Коренной, и по нему видно, что шага больше не сделает, – расстреливайте перед строем. Мы вам не предатели.

– Копай здесь, – приказывает Мохарь, держа автомат наготове. А что, если он застрочит? Толя поспешно ковырнул землю прямо на дорожке. Главное, чтобы этот с автоматом, эта лютая сволочь не нажала пальцем на спуск. Как это дико, когда сама жизнь, сегодняшнее и завтрашнее – все зависит от того, нажмет или не нажмет пальцем гадина!

Молокович неожиданно швырнул лопату в кусты. Все с тем же наивным лицом, с теми же удивленными, но как бы вдруг ослепшими глазами он пошел на Мохаря, прямо на Мохаря.

– Эгей!

Вот оно, вот! Кричит кто-то, ищет, зовет. Толя схватил Молоковича за руку. Конечно же сейчас все переменится, Толя знал, ждал.

– Где вы там? – сиплый спокойный голос.

И тут что-то сделалось с лицом Мохаря. Оно заулыбалось, и это было так странно, как если бы заулыбался камень. Толстяк Ус даже присел от удовольствия.

– Вы здесь? – Голос спасителя уже совсем рядом. Да ведь это Багна – „хозвзводовский дед” в длинном кожухе из разноцветных овчин.

– Почему не обождали? – сердито говорит дед. – Бегаю, шукаю вас. Что, тут яму? Низко, вода подойдет. К дубам надо, я знаю место... Что это вы какие-то?

Мохарь ухмыляется. Толя ощутил, что и его рот начинает растягиваться в счастливую, даже благодарную улыбку. Но посмотрел

на Коренного и сжал рот. Коренной Сергей не отводит взгляда от Мохаря. Это какой-то новый, до конца понимающий взгляд. Ухмылка на лице Мохаря сделалась мерцающей, как гаснущая коптилка.

– Что, что, а это… – медленно проговорил Коренной.

– Ну, вот, – сказал Мохарь, – оставлю их тебе, Багна, пусть поработают на пользу хозвзвода.

– Хлопчики, надо яму под картошку… – виновато пояснил „хозвзводовский дед”.

– Зачем ему это? – будто проснувшись, спросил Коля Дубовик.

– Под картошку…

– Нет, зачем?..

Часть четвертая
Значит, так это бывает?

I

Война началась внезапно: ее не ждали. А возвращения своих ох как ждали, но когда услышали далекие громы – это тоже было внезапно: слишком долгое, трудное, кровавое было ожидание.

Люди стоят и слушают, слушают далекие шаги фронта. И улыбаются, спрашивают друг друга:

– Во, слышите?

Взвод снова шел мимо знакомых могил в Костричнике. Эти не слышат и не услышат. А тоже как ждали!

В Зубаревке, где обожженные деревья странно высокие, потому что нет домов, а только землянки, увидели вдруг шинели. Наши, красноармейские! Их видели и прежде – на военнопленных, на партизанах. Но здесь совсем, совсем другое. Не потому другое, что на шинелях погоны, а потому, что это – красноармейцы, это и есть фронт.

Красноармейцев трое, они на конях. Наверное, дальняя разведка. Лица немножко пьяные и как бы отражающие то умиление, с каким смотрят на них женщины и партизаны.

– Слава народным мстителям! – крикнул один из разведчиков, конопатый, маленький, такой „вятский”, такой „тамбовский”, близкий, свой. Даже странно, что у счастья такое простое, обычное, солдатское лицо! Солдат крикнул, а партизаны засмеялись, поняв, что человеку неловко сделалось оттого, что так смотрят на него, так ласкают его счастливыми глазами.

Скромненько, в сторонке, и тоже верхом на конях – командир соседнего отряда Ильюшенко и его бородатый комиссар. Они как адъютанты при красноармейцах, они счастливы, что разведчики – их гости, их удача. Ильюшенко рассказывает:

– Через Великое Село едем, а дядьки не верят: „То ж партизаны, знашли себе шинели, чтобы их поили”.

Прибежал Молокович. Увидев красноармейцев, казалось, обезумел: схватил за ногу маленького, конопатого, потащил с коня. Но упасть солдату не дали, его приняли на руки, тискали, целовали. Набросились на двух других разведчиков, сволокли их, привычно отдающих себя в объятия. Толя тоже дотронулся до холодного солдатского сапога. Отошел тут же в сторону и стал думать о другом: он всегда так делает, когда боится, что потекут слезы.

В лагере много незнакомых парней, девчат. Новенькие, конечно. В Германию всю молодежь немцы угоняют, теперь – было бы только оружие – армию можно создать. Но оружия-то и не хватает. Новичков весело обзывают „автоматчиками”. Среди них есть Толины знакомые. Вон как смотрят на него, узнали, перешептываются. Алексей, тот сразу подошел к новеньким, за руку поздоровался, поулыбался. Толя и хотел бы – не может. А чего бы ему стесняться! Подумаешь, прибежали, когда уже все кончается, „автоматчики”, кашееды!..

Толя целый день в лагере, а еще не видел матери. Лина сбегала в санчасть, прибежала назад: маме сказала про Толю, Толе про маму. Теперь, когда все тяжелое позади, достаточно знать, что мама в лагере, что она спокойна.

В отряде и бригаде разные перестановки. Непонятно только, зачем это, когда все уже к концу идет. Колесов уходит в бригаду. Отрядом командовать остается Петровский. Собственно, и раньше боевыми операциями руководили он да Сырокваш, хотя все говорили: „отряд Колесова”, „колесовцы”.

Теперь будет новый комиссар – Бойко, бывший политрук второй роты. Похож на канцеляриста, а не на солдата (лысый, в очках), но его назначение приняли как должное. Чем-то он нравится. Не тем, чем Петровский, – не холодной, лютой храбростью, – а как раз тем, что он очень гражданский и не старается казаться иным.

И еще: составляются, проверяются, уточняются разные списки. Всякие там наградные. И семьи за фронт отправлять будут через „ворота”, образовавшиеся где-то возле Березины. Другие отряды, которые поближе к фронту, уже переправляют.

Светозаров – словно он это решил – сказал Толе:

– Ваших тоже в первую очередь. Кто у вас в гражданском лагере?

Толя обрадовался. Побежал в санчасть. Мать приняла новость настороженно.

– А Надины как? Коваленки? Пашенька, я пойду поищу Колесова, он где-то здесь…

Тетя Паша занята бинтами. Вымытые, высушенные на морозце, они развешаны на сучьях – белые, плавающие по ветру ленты. Паша ловит эти ленты и свертывает. Пальцы ее короткие, пухловатые. И в лице нездоровая одутловатость. С того дня, как убили Митю, тетя Паша сделалась очень медлительной, редко слышен ее голос. Вначале она словно не замечала Толю, да и он не старался, чтобы заметила, хотя тетя Паша, кажется, поняла, что Толя не повинен в гибели ее Мити. Порой она даже радовалась, встречая Толю. Чем-то связан Толя

для нее с погибшим сыном. И всегда про свои места расспрашивает. Вот и теперь пугающе спокойным, тихим голосом спрашивает про поселки, про свой дом („Не увезли полицейские?”), про знакомых.

– Что там про Митю?

Ей все кажется, что там и теперь говорят о ее сыне.

– Говорят, – подтвердил Толя, – вспоминают вас.

– Вы шли через Костричник? Могилки…

– Шли.

– Сынок, – женщина как-то безумно поглядела на Толю и как бы сквозь него, – все живут, и ты мог…

Вечером в землянку третьего взвода людей набилось – не протолкаться. И в дверях и за дверью. Гармонист – не такая уж новость в лагере. Но сегодня людям почему-то очень нужно это – музыка. Да и гармонист не лишь бы кто: парень из Москвы, привез фильмы, фронтовые песни. Его усадили на нары, вручили гармошку, на которой играл когда-то Пархимчик, а потом Разванюша, заслоняют от гармошки коптилку (мехи старые, дырявые) и слушают, слушают, как воду в жару пьют. Парень – он в военном кителе, у него аккуратные, черные, молодые усы – поет какую-то удивительно партизанскую песню: „Те-ем-ная ночь, только пули свистят по степи, только ветер гудит в проводах…” Старик Митин простонал:

– Милый, где же ты был раньше? Спасибо, милый!

Потом стали просить, заказывать.

– Ефимовскую, хлопцы, а?

– А Коваленок все „Кирпичики” играл.

Поют сегодня негромко, даже „Ермака”. А гармонисту непонятно, почему так просят сыграть обязательно „Кирпичики” или „Саратовские” и почему слушают самые разухабистые мелодии неулыбчиво, молча сгрудившись. Не знают этого и новички, толпящиеся у входа.

Толя снял сапоги, с ногами забрался на нары на свое обжитое место, сидит на рваном, потемневшем от грязи одеяле, слушает и смотрит. Ему до слез хорошо оттого, что он здесь, что он свой среди старых партизан, и ему жалко тех, кто не был рядом с Фомой Ефимовым, не знал сердитого, язвительного Носкова, веселого Разванюши, не был, когда были на Березине, не ходил, когда ходили на железную дорогу, не слышал, как пели когда-то „Ермака”, „Летят гуси”, „Не для меня придет весна”.

Ночью Толю кто-то тронул за ногу. Поднялся – перед ним лицо Светозарова, многозначительное, серьезное.

– Пойдешь на связь к фронту. Дело ответственное. Но вашей семье доверяют. С Авдеенко пойдете.

В штабе на столе горит немецкая плошка, углы темные, и не видно, что там, кто.

– Это Корзун? – голос Сырокваша. – Младший? Да он же мальчик!

Светозаров пояснил:

– Он согласился.

– Мало что согласился! Надо считаться кое с чем.

Из штаба Толя вышел один. Тревожная радость от мысли, что ему поручают связать отряд с армией, сменилась другой радостью: ладно, пусть мама хоть теперь не боится.

Когда уходил из землянки, она вроде не слышала, но, оказывается, она не спала, знает, зачем звали в штаб.

– Сырокваш? – переспросила она и виновато проговорила: – Не огорчайся, сынок.

А назавтра узнали: весь отряд пойдет к фронту. Это объявил Колесов на праздничном построении. Закричали так, что потом смешно сделалось. Стали хохотать, толкать друг друга, как школьники, которых распустили на каникулы. Строй развалился, но командование тоже улыбается. Потом Колосов говорил речь и, между прочим, напомнил новичкам:

– Еще есть время и вам искупить вину.

Непонятно, какая вина на них – совсем молодых хлопцах и девчатах, – но Толе понравилось, что им напомнили... ну, хотя бы о том, что другие намного раньше пришли в партизаны. А Колесов такой чистый, праздничный, улыбающийся, и это очень вяжется со всем, что происходит вокруг.

Просто не верится, что когда-то Колесов был каким-то наркоматовским бухгалтером и, тем более, что когда-нибудь он снова станет бухгалтером. Будто всегда в нем это было – командирское. Не военное – в нем этого по-прежнему нет, – а командирское (оказывается, это не одно и то же).

Ночью смотрели кино: простыня меж сосен, зрители где кто, многие взобрались на землянку первого взвода. Хозяева землянки забеспокоились, и не напрасно: затрещало вдруг, все с хохотом скатились на землю.

Фильм – о разгроме немцев под Москвой. Заново переживали то, о чем столько думали, говорили в сорок первом. Но выглядит все, несмотря на груды покореженной немецкой техники, намного проще и обыкновеннее, чем представлялось – по крайней мере, Толе. Особенно поразил его кадр, где наши бегут по белому полю к деревне – некоторые спины в халатах, другие – черные – даже не цепью, а

толпой бегут. Совсем как партизаны. А фронт всегда представляется чем-то захватывающе иным.

И надо же, с Коренным опять история. Позвали его в штаб за хорошим, а кончилось плохо. Толя как раз стоял часовым возле штаба.

Сергей проходил мимо, а Толя сделал „на караул", приветствуя будущего командира взвода. Толя знает, что из новичков организуется взвод. Коренной не сдержал улыбки, хотя весь вид его говорит: „Я никого не просил и радоваться не намерен". Потом Толя слышал голоса, смех за штабной дверью. И радовался за Сережу.

Вдруг увидал знакомо квадратную фигуру Мохаря. После стычки с Петровским Мохарь исчез было, ездил искать поддержки. Потом вернулся, и все вроде забылось. Но Мохарь, конечно, не забыл и знает, что Толя тоже все помнит. Толе сделалось неловко: сейчас этот человек, взрослый такой, солидный, увидит его и смутится. Чтобы облегчить положение Мохаря, Толя, как мог, дружески улыбнулся. Скоро, мол, к фронту идем!

Не замечая ни Толи, ни его ободряющей улыбки, коротконогий человек прошел в штаб. Стало тихо. И снова смех, но уже нестойкий. Потом голоса – ровные, спокойные. И вдруг почти крик Сергея:

– А вы что думали, буду кланяться, благодарить? Решили – ставьте, не хотите – не надо. Не для того я в партизанах с сорок первого года, чтобы кланяться. Да что вы мне опять? Кто вам, Мохарь, сказал, что вы – Советская власть? Вы – это вы, и не больше того. Советская власть, – знаете, какой увидели ее люди за войну! А вы с собой равняете.

Снова сбившиеся голоса, но все покрывает упрямый голос Коренного:

– Я никого не просил. Не для должностей воевал.

Выбежал Сергей распаленно бледный и, не взглянув на жалеющее лицо Толи, пошагал к третьему взводу.

II

И вот оно – отряд направляется к фронту, на соединение с армией! Уже известно, что возле Березины широченный пролом во фронте, похоже, что немцы не в силах держать Полесье. Ведь прежде чем держать, им еще надо завоевать его: Полесье почти полностью партизанское. Через неделю-две армия придет сюда.

В лагере остается лишь санчасть да охранный взвод.

С матерью Толя простился, как и старший брат, почти на ходу, за руку. Скоро увидятся снова. Зато Лина жарко целовала Толину

мать, и мать, словно ей тяжелее всего с Линой расставаться, заплакала. Одними глазами, а лицо все равно улыбающееся.

В деревнях жители стоят у дороги, ждут, смотрят. И откуда партизаны движутся, и откуда армия будет идти – смотрят. Улицы желтым песочком подровняли. Желтого песка много: за каждой деревней – противотанковый ров. Боялись, что немец тут будет отходить.

На второй день пришли в Сосновку, где еще недавно стоял полицейский гарнизон: окопы, дзоты. Полицаев будто и не было, как вода в песке, пропали. Жителей в Сосновке тоже нет: часть угнали немцы, часть где-то в лесах. Фронт рядом, слышен, как за дверью.

Отряд разместился в пустых домах повзводно. Непривычно это – караулы в дзотах, посты в окопах.

Приказано каждому взводу рыть еще окопы. Взялись, но не очень старательно.

– Что, трудитесь, не прикладая рук? – заметил Волжак. – Носом будете рыть, как загремит.

Началась тревожная и весело будоражащая жизнь в близком соседстве с фронтом. Бесконечные караулы, секреты, гостевание у армейцев, наезды фронтовой разведки. Побывали в гостях у армии Шаповалов и Помолотень, вернулись с полным возом патронов, гранат, два пулемета привезли. А у Шаповалова – автомат. И рассказов радостных привезли: про то, как встретили, что говорили. Все еще не верится, что так просто можно увидеть своих, армию.

Пальто у Толи стало тяжелее, просто плечи отрывает. Но это тяжесть радующая. Полные карманы патронов да еще четыре гранаты, похожие на зеленые консервные банки. Но давнишняя лимонка, которая – „для себя", по-прежнему привязана к ремню.

В один из морозных, но все еще бесснежных вечеров приключилась в Сосновке неожиданная стрельба. Выбежали – весь взвод – из дому, залегли в приготовленные окопчики. Стреляют где-то в середине деревни, трассирующие сюда летят. Два конника простучали в темноте. Наверное, разведка помчалась к армии. Но что происходит? Пистолетные выстрелы: „тах-тах-тах...". Бежит кто-то...

– Часовой, где часовой?

Часовой должен быть именно там, где сейчас стоит и кричит Волжак. Ага, появился, услышали оправдывающийся голос Меловани. Под мостиком прятался, что ли?

– Почему не окликнул, не стрелял? Это же немцы!

– Я не видел.

Трах! Нет, не выстрел – оплеуха!

Волжак идет к окопам.

– Немцы? – удивляется Круглик. – Могли свободно снять их. Думали, наши. Но как немцы тут оказались?

– Не знаю, – сердито говорит Волжак, – если так на посту будут стоять – скоро с танком въедут. Иду по улице, кто-то на конях несется. Окликнул, а по мне – из автомата. Бежал за ними, стрелял, думал, тут перехватите.

Утром отделение Круглика сидело в секрете – недалеко от „шляха" – широкой грунтовой дороги, которая повторяет изгибы Березины, виднеющейся дальше. Тут тоже окопчики. Оказывается, надо еще научиться сидеть в них. Тем только и занят, что без конца продуваешь и разбираешь затвор. Ну, думаешь, теперь буду осторожнее. Повернулся – снова полный затвор песка.

Тишина, стены окопа начинают давить, не можешь, чтобы время от времени не выглянуть. Открыто кругом и пусто. Рядом чья-либо голова торчит – всякий раз другая. Такое ощущение, что люди по очереди выныривают, чтобы хватить воздуха. На этот раз вынырнули все. Вслушиваются и смотрят налево. Да, это они гудят, вон те две коробочки – танки. Медленно приближаются, делаются все крупнее. Толя привычно оглянулся: что сзади? Редкие сосенки разбежались по желтому косогору, лес далеко.

А танки уже напротив, в полукилометре. Вдруг остановились. Над передним вскинулся люк, показалась голова, потом плечи немца. Соскочил на землю. Постоял у гусеницы, спиной к партизанам.

Немного спустя пришли Волжак и Шаповалов. Командир взвода с новеньким автоматом. У Шаповалова еще и вещмешок. Рассказали им о танках, веселясь и радуясь.

– Почему не стреляли? Э, раз так, не будет вам сегодня замены!

Черт, повезло, что не было в ту минуту здесь Волжака: вот уж погоняли бы танки по этому полю!

Не сразу, но убедили и Волжака, что стрелять нельзя было: если бы хоть противотанковое ружье!

– А вчерашних конников поймали, – подобрел Волжак, – в болоте. Врач и денщик. Здорово, оказывается, тогда получилось, кхи-и... Семенов, „Рожа" которого зовут, напугал их перед тем, как наехали на меня. Заблудились они, думали, просто деревня, решили спросить, далеко ли Гожа. Семенов в хате сидел, чистил картошку. Приоткрывается дверь... кх-ии... „Рожа, Рожа?.." Семенов молчит, думает, это патрули забавляются. А потом – глядь: немец на пороге. А немец винтовку увидел, да за дверь, да на коней... Напиши, так не поверят.

Потом командир сказал Шаповалову:

– Давай живца.

Оказывается, в тяжелом вещмешке – тол. Трое ушли к дороге.

Вечерело. Толя снова чистил затвор, злой на себя и на песок, когда раздался взрыв. Выглянул из ямы – черный дым на том месте, где днем ставили мину. А из соседних ям уже выскакивают соседи, кричат и бегут вниз по полю. Держа в кулаке несобранный затвор, выскочил и Толя и тоже побежал к горящей машине. Хлопцы, не останавливаясь, стреляют в немцев, которые сначала залегли, а теперь убегают к реке. У Толи винтовка в одной руке, затвор в другой – глупее не придумаешь.

Справа деревня, неизвестно, кто в ней, всякий миг можешь из охотника превратиться в добычу: вот-вот ударят оттуда. Но немцы, кажется, тоже боятся деревни: их пятеро, и все они бегут к реке. Вот один сел, сбросил валенки и помчался догонять остальных. До этого места добежал Тарадзе, схватил валенки и рванул дальше, будто желая вернуть их немцу. Когда Толя прибежал к берегу, стреляли только в одного. Как резиновый мяч, голова все выныривала.

Подняли две винтовки и бросились назад, к пылающей машине. К ней не подступиться, но прицеп еще не загорался. Немецкие мешки хлопцы сбрасывают.

– Самолет!

Разглядели звезды на крыльях, закричали, довольные, что летчик видит партизан за работой. Тут же растерянно охнули: две черные капли, оторвавшись от самолета, падают на головы. Но никто не ложится, кричат, будто на самолете услышат:

– Свои же!

– Что делаешь, парень?

Бомбы взорвались близко.

– Неточно метит, – будто огорчился Молокович.

Волжак в стороне стоит, над мешками, что свалены у его ног.

– Потеха! – говорит Волжак. – Подбросило вас. Ну точно – вороны: полы, как крылья, раздуло, поднялись, опустились и снова копаются.

Быстро разобрали, что кому нести.

– Разделим в штабе, – говорит Волжак. И пошел вперед.

Сразу видно, что не деревенский житель: не знает, что лошадь и на ходу поест, если идет в обозе и у каждой впереди сани. Спешили в темноте через лес и молча изучали содержимое вещмешков, подставляя свой мешок заднему. Время от времени менялись местами.

Толя разжился немецким свитером и шерстяными носками.

Вошли в азарт, уже похохатывать начали. Круглик, – пропуская в темноте отделение, потребовал:

– Хватит, совесть тоже знать надо.

К штабу мешки принесли еще довольно плотные, но расстались с ними без сожаления. Волжак даже удивился. Пообещал:

– Не бойтесь, и вам достанется.

Вышел из штаба Бойко – новый комиссар. Узнали его по сутулой фигуре да стеклам поблескивающих очков.

– Ну, ну, молодцы, – похвалил он. – А с теми немцами знаете как получилось? Пока довели их до дивизионного штаба, цвет одежды стал наоборот. Наши в немецком, немцы – в рванье. Ввели в блиндаж, а там майор. Ну, знаете, человек занят делом, а тут ему говорят: „Привели партизаны немцев”. Поднял глаза и не поймет, кто кого привел: „Заберите у них оружие!”

Любит Бойко поговорить. Но не торжественно, как Колесов, а вот так, по-простому. Нравится хлопцам эта разговорчивость Бойко. Не меньше, чем неразговорчивость Петровского.

III

Уже привыкли к тому, что фронт рядом, что недалеко – рукой подать – своя армия, что часто гостит армейская разведка и есть „ворота”, через них, если надо, отряд может уйти за фронт, а ты – в свое довоенное, о котором столько мечталось. Очень радует, что и твоя рука помогает удерживать „ворота”, через которые устремилась на восток (ты этого не видишь, но знаешь) живая река людей – женщины с детишками, раненые, целые партизанские бригады, вливающиеся в армию.

Но и тревожащих слухов много. В Гожу – ближайший районный центр, который партизаны блокируют с запада, – немцы стягивают силы. Вначале они было метнулись удирать, а теперь что-то переменилось. По ночам слышно, как все сильнее ревут моторы.

Зато в десяти километрах от Сосновки та сила, что разгромила немцев под Москвой, на Волге, перед Курском, вытолкнула их за Днепр. И не хочется думать о том, о чем тоже знаешь: не вся она, Советская Армия, здесь, а всего лишь какая-то из дивизий, которая к тому же, говорят, сильно истощена в боях на Соже и Березине.

Похоже, не местного значения бои начинаются…

Об этом поговаривать стали, догадываться. (Никто, однако, не мог предполагать настоящих масштабов событий: пробитые именно на этом выступе партизанского Полесья, пришли в движение

огромные участки немецкого фронта,– выполняя гневный приказ Гитлера, немцы лихорадочно пытались стянуть разрыв.)...

Вбежал в „караулку” дневальный:

– Посмотрите, делается что!

Земля каменно дрожит, а над черным лесом – как лунная речная рябь – широкий разноцветный сноп трассирующих пуль. Трассы идут не по горизонту, а под углом, и потому не проносятся, а плывут, плывут, завораживающие, как во сне.

А днем увидели: черная стая далеких беззвучных самолетов, словно привлеченная поднимающимся к небу столбом дыма, висит над одной точкой, все над одной точкой. Земля вздрагивает.

К вечеру в Сосновку пришла группа солдат – небольшая, человек пятнадцать. Хотя это уже не в новинку – свои, армия, но хлопцы, кажется, не устанут радоваться и поражаться, как чуду, встречаясь с красноармейцами. Усатые и безусые, в белых полушубках и в шинелях, солдаты держатся вместе. Сразу же взялись улучшать окопы, долбить новые. Партизаны смотрят на их работу одобрительно и даже сами говорят:

– Не то что мы.

Но свои ямки углублять не спешат.

Ночью была тревога. Возле поста задержали человека. Оказалось, он из той деревни, которую затопляла зловещая река огненных трасс. Исхудавший, щеки с чернотой, приморожены. Солдат держит обеими руками поставленный перед ним горячий котелок, подносит к губам и снова ставит, не отнимая ладоней.

– Во-от кто, партиза-аны! А я уж думал – зайдусь от холода. Теперь все-е, теперь в запасно-ой... Окликнул меня часовой, ну, думаю: власовцы! Безымянный моя фамилия, Иван Безымянный. Навалились немцы на наши окопы, я, когда отползал, слышал, как добивали раненых: „А, бандиты!” Они думали, что это вы. У нас много мобилизованных, новеньких, еще не всех и обмундировали...

День, который должен был начаться как-то по-особенному, начался совсем просто. И даже хорошо.

Выпал наконец снежок на неласковую декабрьскую землю, и сразу светлее и словно спокойнее стало. Толя вернулся с улицы в дом, и хотя перед этим ему так не хотелось вставать, выползать на холод, теперь уже не хотелось лезть назад в сено, наваленное вместо одеяла и матраца на деревянную кровать. Всегда так. Когда нельзя было, умирал – спать хотел, а со вчерашнего дня назначили связным при командире взвода: спи-отсыпайся за все ночи караулов и вылазок! Так нет же, не спится.

– Ну как, мягко на кровати? – скупо усмехается Волжак, выходя из-за перегородки.

Тоже поднялся с сена, но Волжак чистый, свежий, а Толя и в ушах и на животе чувствует сенную труху.

– В лес они, что ли, уволокли свои сенники-матрацы? – говорит Волжак. – Ты что, уже и не умываешься?

Что толку ополаскивать нос, если весь ты будто чужой кожей обтянут: забыл, когда в бане жарился. Интересно, много незанятых гнездышек осталось в вязаном немецком белье, которое на Толе?

Пошел к колодцу. Одноногий журавль услужливо держит черную деревянную ведро-бадью, обледеневшую, тяжелую. Толя заглянул в черную яму. Даже не верится, что пахнущая чистотой вода – оттуда. Плеснул холодом на руки, потом расстегнул ремень, сбросил тяжелое пальто на снег и стал тереть снегом шею. Странное утро: все начинаешь делать нехотя, а сделаешь – и обрадуешься неизвестно чему.

– Ну вот, как пряник стал, – одобрил Волжак. – А книг не раздобыл?

– Столько курцов! – сердито пожаловался Толя.

– Учиться ты куда пойдешь? Да, тебе школу еще кончать. А потом?

– Не знаю, – соврал Толя. Очень даже знает. Литературный. Или, как назвал это Коренной: фи-ло-логический. Хотя Толя давно не писал стихов, но они, ей-же-ей, где-то на дне в нем, как вода в том колодце.

Его потому и не убило, что он должен написать. А что ведь будто ничего и не было. Его *специально* не убило.

– А я на истфаке учился, – говорит неожиданно Волжак. – Ну, ладно, валяй тогда, нарежь палок, поискусничаем, шахматы сделаем.

Разговор ли виноват или снежная белизна утра, но о винтовке Толя вспомнил, когда уже вышел на огород. Возвращаться не стал. Почему должно что-то случиться именно за эти десять – пятнадцать минут? Лес с этой стороны близко. И потом – гранат по две в каждом кармане.

Утро-то какое: земля стала светлее неба. Из снега белые березы растут.

– Ты куда? Толя!

Лина по снегу идет к нему. Нарочно волочит ноги, вспушивает снег сапогами.

– Шахматы? – Брови на похудевшем веснушчатом лице удивились, а глаза не об этом спрашивают.

– Чисто как, – ответил Толя.

– Ага! – обрадовалась девушка.

Березы растут из белого снега. Темные ели держат на своих лапках снежок – белые тени, – бережно, как подарок. Какая забавная эта Лина! Понадела, как баба, теплых одежек под свое короткое пальтишко, а руки, а ноги еще длиннее кажутся от этой смешной ее круглоты. Ремень винтовки обеими руками держит, а он все равно сползает с плеча. Смотри ты, и у нее граната с кольцом на поясе, и тоже, как принято у партизан, накрепко привязана.

– Давно я в лесу не гуляла. Ну, понимаешь, не жить, а гулять?..

Толя на всякий случай делает вид, что понимает не совсем. В конце концов он пришел резать палки. Деловито согнул прямую орешину – даже жалко, такая она прямая! – и секанул немецким кинжалом. Треснуло.

– Толя.

– Ну.

– Толя.

Девушка словно хочет найти в Толе что-то нужное ей, какую-то другую интонацию в его голосе.

– Что? – спросил Толя, на этот раз тихо.

– Тебе не кажется – сон это: скоро с армией соединимся, вернется все?

– Эх, будем через свои деревни идти, в шинелях, на танках, а бабы целовать будут!

– Ба-бы… Ишь привык! – Лина смотрит в упор, стараясь, чтобы покраснел Толя. Но у самой из-под серого платка на щеки ползет румянец.

Орешина, которую схватил, точно поймал Толя, задела еловую лапку, и та уронила свою снежную шапочку. Показалось даже, что ойкнула от внезапности и сожаления. Нет, это Лина.

– Теперь доставай из-за воротника. Иди, иди.

Втянула голову в воротник, улыбается и ждет. Снег и на бровях. Толя, проходя к следующей орешине, смахнул рукавицей снег с ее спины, задев тяжелую косу. И с плеча смахнул.

– Как с пня смел, – сказала Лина, следя за ним. Оттого, что брови, ресницы припушены снегом, глаза ее по-особенному блестят.

Толя не ответил, и Лина тоже промолчала. Когда слишком близко подходят они к чему-то, чего так ждешь, тут же пугается. И Лина тоже.

Толя молча рубил орешину.

– А когда бой – страшно? – спросила Лина.

– Надо только не думать, что конец света. Когда-то и я так.

– Я ни в одном не участвовала. А буду хвастаться: партиза-анка! Ты тоже хвастун.

– Чем же это?

– Я к тебе хорошо, а ты…

Неожиданно серьезно зазвучал голос Лины. Она замолчала. И Толя промолчал. О чем ни заговорят, сносит их все в одну сторону…

Толя собрал свои палки. Но уходить не хочется. Еще, что ли, порубить? Деревня уже дымит печами, хлопцы, которые похозяйственнее, варят-жарят что-то, не полагаясь на отрядную кухню. По другую сторону деревни – поле, а уже потом далекий лес. Там встает солнце. Оно упрямо поднимается навстречу плывущим на восток облакам. Кажется, что серые облака стараются уволочь назад, за лес, прожигающий их яркий диск.

– Когда я малый был, – вспомнил вдруг Толя, – мы про политику любили поговорить. Как вы про своих лейтенантиков. Серье-езно: как изобрел немец пулемет, а рабочие шли, шли на него, а он строчил, строчил… Шли, наверно, чтобы отнять у буржуев оружие и поломать, не помню уже. Смешно, правда?

– Нет, хорошо.

Пошли к деревне. Лина впереди, Толя со своей ношей по ее следам. Кто-нибудь из окна или вот из той черной амбразуры смотрит на них и болтает что попало. Ну и пусть!

– Толя.

– Что ты? – сразу отозвался он, и, видимо, так, как хотелось Лине, потому что она радостно оглянулась.

Стукнул выстрел. Толя удивился. На той же опушке, где они только что были, но правее. Лина оглянулась снова, встревоженно, вопросительно. И тут же на белых огородах оглушительно взметнулись черные фонтаны. Толя швырнул свои палки под ноги.

Бежал за Линой, а в мыслях одно: вон его дом, вбежать, у кровати стоит, схватить! Как это он все-таки мог не взять винтовку? Черные вспышки все ближе к Толиному дому. Испуганно подпрыгнул и рассыпался в воздухе сарайчик.

В нескольких местах поднимаются дымы. Уже горит деревня.

– Прячься в окоп! – крикнул Толя, а сам бросился к дому. Вбежал – вот она, винтовка! И сразу следующая мысль – тоже лишь одна, самая главная: найти Волжака! Ведь Толя связной.

Выбежал на улицу. Деревня гремит, гудит вся, как железный котел, по которому железом колотят.

Волжака увидел сразу. По одну сторону бревенчатого мостика он, по другую – в Толином окопчике – Лина. Где-то здесь два

пулемета. В другом конце деревни партизан побольше. Остальные – в лесу, в засадах. И Алексей в лесу где-то.

Толя лег на землю. Взрывы мечутся по деревне со слепой яростью. Но уже отличаешь, который дальше, а который поближе. Ого, этот совсем рядом! На спину сыпнуло комьями мерзлой земли, обстукало, постучало, как по неживому. Толя перебежал, не отрывая руки от земли, к срубу колодца: хоть с одной стороны какая-то стенка. А ведро-бадья над головой раскачивается, и не можешь не чувствовать ее над собой. Посмотрел вверх: шея деревянного журавля вздрагивает, как у живого.

Волжак увидел Толю, кричит что-то, но не слышно. Толя побежал к нему.

– Садись в окоп, что носишься!

Возможно, он имел в виду второй окопчик, в котором Лина, но Толя втиснулся в его окоп.

Вдруг увидели: из лесу выскочил и бежит через поле человек. Молокович, ну да, он! Вот уже близко, лицо, рот кричат, а голоса нет. Упал на землю.

– Командир!

Близкий, раскалывающий землю взрыв. Поднял глаза Толя и успел увидеть: колодезный журавль несется к нему, вытянув острую шею! Хлестнуло по мостику, небольно ударило Толю в плечо. Дощечкой от бадьи.

– Командир, – ползет и кричит Молокович, – идут и с этой стороны! С танками.

Волжак глянул на Толю холодно-требовательно:

– Беги, пусть огонь из станкача открывают. И к Петровскому, скажи, что и с этой стороны подошли. Доложи.

Вот что такое связной! Зато ночью поспал. Что бы такое Лине крикнуть? Она повернулась, смотрит провожающе. Толя бежал по рябым от черных ям снежным огородам и радовался легкости, которую ощущал в себе. Вот и пулеметчики. Усатое лицо Помолотня вопросительно повернуто к Толе. О, какой глубокий окоп у них!

– Куда стрелять-то?

– В лес, туда…

Толя отвел завистливый взгляд от окопа. Добежать до того вон сарая! Под стенкой – лошадь с телегой. Наверно, ездовой там.

А правда, – какая-то особенная легкость в Толе. Может, оттого, что он связной и переносит хоть и чужие, но команды. Но главное, он точно знает, что не убьют его.

В борозде Бобок лежит. Просто отлично, когда ты на ногах, а кто-то лежит и ему страшно даже там, *внизу.* Толя не лег рядом, побежал дальше, прикидывая, куда упасть. Услышал злобно-нарастающее: „ю-ю-у”. Падая, успел увидеть, как опускался, раскорячась всеми бревнышками, сарай. Стрельба, взрывы далеко-далеко ушли, чуть слышны. В ушах звенит, будто воды налилось. Сарая нет. Ни лошади, ни подводы не видно. А Бобок стоит среди поля, держится за голову двумя руками. Что это он?

– Товарищ командир, меня убило! – Опустил руки, постоял и вдруг побежал.

Толя бросился в свою сторону. Ему надо через улицу, туда, где почти все дома уже пылают, где дым все пухнет от взрывов.

– Что бегаешь? – крикнули на него. Глянул: длинный ряд серых ушанок, белые тулупы, шинели. Окоп красноармейцев. Усатый солдат машет рукой: ложись, мол. С радостной готовностью подумалось: эти не то что мы, эти привыкли к окопной войне. К Толе начала возвращаться прежняя легкость, уверенность. Несколько домов еще стоят, дом с крылечком, штаб – тоже цел. Рядом глухо бухает дзот.

Дверь в штаб распахнута. Толя вбежал, не очень рассчитывая увидеть кого-либо. И застыл от неожиданности. Петровский сидит за столом и помешивает ложкой в тарелке. Щи, наверно, очень горячие! Помешивает ложкой и слушает партизана, который говорит почти то же, что должен сообщить и Толя. Со всех сторон подходят немцы.

– А вы не нервничайте, так и скажи Царскому. Фронт! Привыкайте.

Толя доложил про „свои” танки, машины. Когда Петровский смотрит вот так в упор, все на самом деле кажется обычным: и немцы и танки.

– Хорошо. Наблюдать. – Лишь два слова бросил Петровский. Поднялся из-за стола. В холодноватых глазах и высоких, словно подпухших, скулах, во всей его очень военной фигуре какая-то торжественность. И как он произнес это: „фронт!” Сразу вспоминаешь, что Петровский – кадровик.

Толя выскочил на двор с чувством, с каким выходят из укрытия: очень надежным среди разрывов и пламени кажется дом, где – Петровский.

Вдруг увидел партизана, который перед ним докладывал Петровскому. Человек лежит головой к черной яме, серый плащ обрызган кровью. Толя обошел убитого. Постоял над ним. Остриженная голова страшно и просто, как арбуз, расколота, и что-то бело-красное, словно вспененное... Толя вдруг ощутил, как у него самого что-то взбухает

под черепом. Повернулся и побежал в свой конец деревни. Пламя гудит, рвется из окон домов, насквозь светящихся, огненно-прозрачных.

А возле мостика все как было. Волжак смотрит на лес, Лина на деревню оглядывается.

– Наблюдать! – сказал Толя.

Волжак усмехнулся.

– Толя.

Это Линин голос. Она все приподнимается, все слушает усиливающуюся стрельбу в деревне. Толя перебежал улицу, лег возле окопчика Лины. Приказал:

– Спрячь голову.

– А ты?

– Ну, тогда подожми хвост, – говорит Толя и, довольный, что может быть таким по-мужски грубым, смелым, опускает ноги в окоп. Лина отклонилась к стенке, чтобы он мог втиснуться. Земля будто прижимает их неловкие тела. Толя ощутил, что дрожит. Черт, еще подумает, что боится. Дурацкое положение: головы не спрятаны, торчат над землей. Толя положил винтовку на бруствер рядом с винтовкой Лины, но перед ним не поле, не лес, а бледное лицо и странно близкие, спрашивающие глаза девушки.

– Ты все-таки спрячь голову...

Толя наклонил неподатливую девичью голову, ощутив пальцами твердую косу под платком.

– Вот так.

Лина нерезко, с ласковым упрямством подняла лицо.

– Я боялась, когда ты бежал. Ой, а что это гудит?..

– Ничего не гудит. – И тут же увидел, как из-за огня показалась черная башня танка, потом отодвинулась назад, пропала...

IV

... Она сидит на снегу, надо идти, уходить, а Лина не может и, наверно, потому всхлипывает. Толя ждет.

– Ладно, теперь все, не спеши...

Он знает, что так и совсем можно отстать, потерять своих в ночном лесу, но что поделаешь, если Лина больше не может. Целый день обстрела, потом вдруг выползшие из-за пламени танки, черное крыло бегущих по полю. И бесконечное поле, все пронизанное, прошитое трассами пуль.

...Толя стоит над Линой, ждет, смотрит на дотлевающее пожарище, похожее на длинную полосу раскаленного кузнечного

железа. Эта полоса то вспыхивает, то угасает, то в одном конце, то в другом. Потом вдруг брызнут оттуда горящие пулеметные очереди. Там – немцы. Догорает Сосновка, гаснет день, и все чернее делается поле, по которому отступали. Оно ямой кажется. Там лежат те, кто не добрался до леса. Там много осталось, так много, что самое страшное впереди уже не кажется страшным.

Лина сняла рукавицы, берет снег и трет колени. Сколько раз она с разбегу падала на чернеющую из-под снега каменно-мерзлую землю! Поднимались по команде Волжака, но тут же танки начинали бить прицельно. Снова падали.

Опираясь на винтовку, Толя наклонился, подал Лине чистого снега.

– Я сейчас, Толя, – всхлипнула она.

– Ладно, в лес немцы не пойдут.

Лина поднялась с земли, взяла свою винтовку.

Красные отблески пропали за деревьями.

Нежданно просто встретились, сошлись с несколькими партизанами на темной лесной дороге. Ни пугаться, ни радоваться сил нет. Но когда Толя увидел большую группу и услышал приглушенный голос Волжака, очень обрадовался. Из третьего взвода здесь еще Дубовик Коля, остальные в темноте как чужие, совсем, кажется, незнакомые. Белеют и солдатские полушубки. Отличаются и здесь партизаны, от солдат, но совсем не так, как в деревне, в окопах. Люди в шинелях, белых полушубках пришибленно молчаливые, зато партизаны, попав в лес, повеселели. Их не пугает грозное для фронтовика слово „окружение”. Они уже закуривают.

– А ну, дайте по губам! – голос Волжака. Хотя он командир лишь над Толей, Линой, Дубовиком, но и другие именно от Волжака ждут чего-то.

Человек готов вести, а это на всех действует.

– Кто местность знает? – спрашивает Волжак.

Молчание.

– Два человека – в дозор.

Молчание.

Толя – связной, это к нему прежде всего относится.

– Я пойду, – сказал он Волжаку. И Дубовик подошел:

– Мы с Толей пойдем.

В темноте уже спорят вполголоса.

– Правильно Бойко предупреждал. Без артиллерии захотели против фронтовых частей. Еще как до ночи додержались.

– Знаешь ты, кто что говорил! А видели, как Петровский с гранатой за танком бежал.

– Комиссар предупреждал…

Уходя вперед, Толя еще слышал:

– А Бойко правильно…

Толя и Дубовик идут впереди всей группы, собравшейся, но все еще не единой. Не легко приходят в себя люди после такого боя и разгрома. Но когда Волжак рядом, Толя почти спокоен. Тем более перед Колей Дубовиком. Он так послушно идет следом. Что, пишешь стихи? Это тебе не на белых простынях!

Ночная дорога уводит неизвестно куда. Как раньше думалось: только бы увидеть своих, армию, так теперь хочется одного: вырваться в свой мир из-под всего, что висит над тобой, три года висело.

Ночную дорогу в лесу видишь не столько под ногами, сколько над собой: вершины сосен не заслоняют неба.

Кто-то догоняет, высокий, в шинели.

– Тут Слобода будет…

Это Иван Безымянный. Худой, черный солдат все еще не попал в запасной полк, все еще с отрядом.

– Наши в Слободе, – уверенно шепчет он.

И правда, скоро услыхали тяжелое завывание моторов. Неужели к своим вышли? Вот так просто! Толя, сам не зная почему, предложил:

– Пойдем стороной.

Пробирались в темноте меж деревьев, кустов. Они будто забегают тебе наперед – не пробьешься. И вдруг послышались голоса. Близкие, ясные. Немецкие голоса.

Рванули назад, догнали всю группу, уходили по той же дороге, потом свернули, пробирались по лесу, снова на какую-то дорогу вырвались. Остановились передохнуть. Кто сидит, кто лежит на снегу. Рядом шалаш. Гражданский лагерь? Неужели так близко от дороги прятались жители? Колея глубокая, свежая. Слишком устал, чтобы думать о чем-то до конца. Просто смотришь, замечаешь, и все. Лина сидит рядом. Ни о чем не говорят. Но у Толи такое чувство, будто они выносят за фронт, в жизнь что-то одно на двоих, общее.

На этот раз не успел дозор отойти и на сто шагов, как позади резко застрочил автомат. Ничего не понимая, ждали своих. Толя смотрит: Лина, где Лина?

– Ой, Толя, возле самого шалаша сидели. А за шалашом немцы были.

Похоже, что немецкий секрет. Пока сидели рядом, немцы не шевелились, а отошли немного – стали стрелять.

Выбрались на поле, снежное, лунное. Внезапно лопнула впереди ракета. Вернулись в лес. Шли и шли, уже не зная, правильно ли, туда ли. Один Волжак словно и не сомневался, и потому все теснятся к нему.

Когда остановились снова, Толя посоветовал Лине:

– Поспи, я разбужу.

– Ой, я не могу.

– Ну, тогда я.

Прислонил голову к дереву.

На миг ощутил сладкую тошноту усталости и сразу провалился в сон. Вдруг услышал:

– Спал? Давай пройдем на поляну.

Озабоченное лицо Волжака. На нем виноватость какая-то.

Толя поднялся и пошел за Волжаком, переступая через лежащих на снегу людей. Лина стоит. Дотронулась до локтя, хочет сказать или спросить.

– Толя…

– Потом… Сейчас вернемся…

Снежная поляна светится как-то фосфорически. И небо, ночное, звездное, не кажется черным. Догоняют чьи-то шаги, шепот:

– И я с вами.

Снова тот солдат – Иван Безымянный. Чему-то радуется. Наверно, тому, что вот сам идет. Это всегда радует.

До чего же синяя поляна! И ночь. Как воспоминание. Такую подсиненную ночь Толя видел однажды… Кибитка Чичикова въезжает в город Н… Толя меняет стеклышки в школьном проекционном аппарате, а старательная семиклассница рассказывает о похождениях Чичикова…

Тихо на поляне. Волжак ждет. И Толя. Втроем ожидают, будут или не будут по ним стрелять. Не будут, иначе разве стоял бы и ждал, когда тебя убьют?

– Зови, – говорит Волжак.

Толя повернулся к солдату и показал рукой: можно звать остальных.

Будто рванул полог кто-то, сдернул странную синеву ночи и тишину. Ничего не осталось, кроме грома и злых огоньков, жадно устремившихся из черноты к тебе, в тебя. У ног, у лица – стремительные, безжалостные огненные иглы…

Почти все наши ушли навстречу армии, и другие отряды уходят к фронту, самолеты стали чаще садиться, так хорошо это, а то раненые месяцами дожидались своей очереди.

Вчера один партизан из охраны сказал:

– А хорошенькая площадочка, даже покидать жалко.

Вот уже три ночи у нас на аэродроме спокойно, немцы больше не пытаются прорваться из-за речки. И не бомбят.

Когда взлетают наши самолеты, их даже подталкивают. И даже издали подниматься помогают: „Давай, ну, давай!”

Просто боишься, что за лес заденет. Всегда перегруженные. Раненых летчики берут сверх нормы, а потом еще партизаны подарков насуют – так и смотри, что целую корову втиснут.

У всех теперь такое настроение! Гадаем, через сколько дней наши придут. Но почему-то и такое началось: стали вдруг обмениваться адресами родных. Ко мне уже четверо приходили: „Передайте, Анна Михайловна, пошлите по почте, если со мной что-нибудь…” Когда действительно трудно было, не делали этого, а тут как заболели все.

И мне самой так захотелось написать Ване. Прямо ему, хотя и не знаю, где он, жив ли. Написала, кажется, все, что могла и что можно, и треугольничек вот сделала, и адрес сестры – на Урал – тоже написала, пусть лежит там письмо, а вдруг отзовется Ваня, и тогда сестра перешлет ему. Написала и сижу над белым треугольничком, огонёк коптилки словно не отпускает меня, надо идти в соседнюю землянку, там собирают почту, а я все сижу, будто все не кончила, все пишу.

… Ваня, родной, я вижу, как ты распрямил этот листок, как читаешь. Ты совсем не изменился. А мы вот здесь, в партизанах, я не написала прямо, нельзя. Дети наши воюют. И Толя. Война не кончилась, но так хочется верить, что самое страшное и тяжелое – уже позади. Вспомню и ужасаюсь: как я испытывала судьбу, когда еще жили в Лесной Селибе! Ты меня прости, прости за детей. Иногда вдруг задумаюсь: что меня заставляло? А вот что-то заставляло. Дурачила тех немцев, полицаев, по ниточке ходила. Я, твоя жена, по ночам бегала в деревни, мимо комендатуры, носила медикаменты, получала задания. А они и не за такое уничтожают семьи, целые деревни. Как я только смогла! Наверное, потому и держали меня еще ноги, что очень боялась за детей.

Ну, а теперь мы в лесу. По-разному бывало, а теперь Алеша и Толя ушли с отрядом к фронту, навстречу вам, навстречу тебе. Там гремит, но я уже как-то свыклась, поверила. А вначале… В письме есть, что Алешу ранили. Да, в плечо, да, если по медицине считать – не тяжелое ранение. Но я ведь, Ваня, не только медик… А младшему нашему не хотели давать винтовку, все дулся, пока не выклянчил. И

в первом бою потерял. Они в десяти шагах были, а он стоит и не понимает. Что его спасло, что меня пожалело, не знаю!

Алексей и Толя ходили на каждую операцию. Провожаю и не показываю вида. Хвалят их и партизаны и в штабе, но детям я ничего не говорила. Все боишься, что нарушишь то, на чем все держится, как-то держится. И горжусь ими, и пугаюсь этой своей гордости. Ведь так все непрочно. Сны у меня все такие… Женщины, чьи-то матери, приходят, спрашивают меня о своих детях. Проснешься и не знаешь: где ты, где они?.. Никогда нас, женщин, столько на войне не было. А каждая еще и о чужих детях думает: вот что для нас война. И вы не должны вида показывать, если найдете нас не такими, какими оставили. (Вот о чем я, глупая, уже хлопочу.) Мне и теперь говорят (нарочно, я знаю): „Вы сынам своим как старшая сестра”. А я пока не увижу тебя, не увижу твоих глаз, не буду знать, сколько мне лет… Прости, что я все о себе, о нас. Я так боюсь остановиться, подумать, где ты, что с тобой, и вот говорю, говорю, чтобы слышать свой разговор с тобой и видеть тебя, как ты слушаешь… Родной, прости, – самолет, надо раненых готовить. Я вернусь потом…

…Толя уже катился с какой-то кручи, не помня, когда и как он упал. Прижимал винтовку и все заставлял себя катиться, чтобы быть как можно дальше. Встал – повело в сторону, потянуло к земле. Сейчас, сейчас… Схватился за гранату, накрепко привязанную к поясу. И тогда стал слушать, ждать… Нет, не попало. Тихо наверху, будто и не стреляли только что. Низом, заваливаясь в снег, идет, бежит Волжак – Толя его сразу узнал. Только автомат почему-то тащит по снегу, а руки перед собой держит, прижав локти к животу.

– Где тот… третий? – быстро спрашивает Волжак, не меняя странного положения рук. Посмотрел на Толю, на снег, сразу зачерневший. – Дало по локтям. Ладно, потом… Посмотреть надо, что с тем…

V

Он за фронтом! Для него все кончилось. И все теперь возможно, о чем столько думали, говорили. Поражает, что деревья, дорога, небо здесь обычные. Столько намечталось за эти годы, что никакая уже, наверно, правда не могла бы совпасть с тем, что представлялось, что виделось издали. Само несовпадение радует, помогает верить, убеждает: да, правда, Толя здесь, он за фронтом! А как просто: совсем недавно был *там,* а теперь – *здесь.* Скоро дальше на запад продвинется фронт, и Толя увидит, встретит то, без чего ему трудно

представлять самого себя: мать, Алексея, хлопцев своих… Лину… Вон какая сила идет и идет к громыхающему фронту. Солдаты, солдаты – на машинах, незнакомо сильных, танки с тяжелыми хоботами орудий. Толя видел „катюши" и был удивлен их таинственно-мирным видом.

Если бы могла знать мама, что Толя уже здесь! Хоть ты вернись и скажи ей. За руку попрощался, ненадолго… Но ведь и в самом деле – скоро.

Да, Толя голоден и не знает, когда поест, где переспит эту ночь. Но это не так уже важно. Хуже, что он один. С последним человеком, которого он знал и который знал Толю, с Волжаком Андреем, расстались позавчера. После той синей поляны они вдвоем выходили. И вышли. Подсадил Андрея в санитарную машину, даже „до свидания" как-то забыли друг другу сказать. Остался на дороге с автоматом Волжака да с красной лентой на шапке. Пальто на Толе довоенное, школьное. А вот голубые галифе из „чертовой кожи", к которым он уже тоже привык, принадлежали полицаю, потом Алексей носил их. Дырочки от пуль аккуратно заштопаны рукой мамы.

Толя возвращается в довоенное, идет „зафронтовой" дорогой, один, навстречу машинам, провожает солдатские лица долгим взглядом, он весь переполнен ощущением: „Я здесь, я уже здесь!" Ко многому привыкли его глаза за эти годы, но нет-нет да и остановятся на чем-то, *что есть война, фронт.* Поперек глубокой и очень широкой колеи лежит труп в зеленом немецком мундире: голова и ноги, а остальное вдавлено, вмерзло в колею, растерто тоненьким пластом, странно, фантастически широким…

В деревне, полусожженной, забитой повозками, тягачами, Толя решил заночевать.

Темнеет уже. Зашел в хату. Поздоровался, с завистью глядя на людей, у которых есть кусочек грязного, заплеванного пола. Занято все, где только может полулежать человеческое тело. На стол Толя старается не смотреть. Там, в счастливом уютном мирке, очерченном светом плошки, сидят трое, ужинают. Хотел уходить.

– Кого шукаешь? Исты хочешь?

Толя пожал плечами, но подошел ближе. Подвинулись, подали хлеб, намазанный тушенкой. Толя сразу словно опьянел от запаха пищи, от тепла, уюта, от нахлынувшей влюбленности в приветливых солдат.

– А бумаги у тебя какие? – спросил круглолицый старшина, который позвал Толю к столу.

– Отстань, Потапенко. Видишь – парнишка, видишь – партизан. Впервой, что ли!

Потапенко отстал от Толи, но пристал к возразившему усатому солдату. Они ссорились, а Толя, теплый, счастливый, вяло погружался в сон.

Проснулся, как от толчка. Нет, автомат при нем.

За окном – бело. Машин меньше стало. И солдат не видно. Какие-то в гражданском ходят. Неужели? Толя бросился на улицу. Головченя, вот он весь – с бородой, с пулеметом на плече! И Бобок. Живой. („Товарищ командир, меня убило!”) Вася-подрывник со своей золотой усмешкой. Особенно обрадовался Толя, увидев серое, больное лицо и зеленую шинель Коренного. Других партизан Толя тоже вроде знает, а некоторые незнакомы. И подвода, лошадь у них есть.

Толю окружили, спрашивают. Волжака ранило. Это его автомат. А Петровского танком переехало. Алексея, брата, нет, не видели. Многие, наверно, в лагерь вернулись. Да, не совсем так, как у соседей, получилось. Другие отряды по-толковому влились в армию, а тут ходи-свищи…

Толя позвал всех в „свой” дом. Среди незнакомых партизан сразу примстился один, с удивительно некрасивым лицом: дуги у широкого рта глубокие, обезьяньи. Но у него *тоже* автомат. Как у Толи. И большой вещмешок.

– Открывай гумно. – Головченя похлопал по плотному вещмешку.

– Сначала – твое, потом – каждый свое, – поясняет Бобок.

От усмешки у человека с автоматом и плотным вещмешком рот еще заметнее, еще некрасивее делается.

– Из-за вас, – говорит он, – опять придется в часть на довольствие становиться.

– Что, не надоело по фронту бегать? – поинтересовался Головченя.

– Ищу культурного обращения.

– Чтобы с оркестром?

– Попали мы в часть, а командир и давай нас попрекать шапкой.

– Какой шапкой?

– Генеральской. Старику он своему подарил, ну, а партизаны вроде ночью прихватили.

– Добегаешься до штрафной, – сердито говорит Сергей Коренной, – из-за вас о всех пойдет слава.

Завтракали, отдыхали долго.

– Комендатура здесь, – напомнил Коренной.

– Желаю удачи, – сказал партизан с автоматом, завязывая свой мешок, сильно потощавший.

Пошли по улице в сторону узкоколейки, и он идет.

– Что, мешок пустой? – захохотал Головченя.

– Коня, сани загнать, – предлагает кто-то, – зачем оно теперь?

– Это мы за́раз, – встрепенулся Бобок. – Толя, пошли.

И вот Толя и Бобок идут за санями, останавливаются, если видят, что в хате живут. Старики осматривают коня, трогают сбрую, сани. И не берут.

– Ладно, три буханочки, – добреет Бобок.

И три „буханочки” не дают. Пристраиваются и идут следом. Похоронная процессия.

– Ну, соберитесь двое-трое, – предлагает Бобок, – лошадь хорошая, военная, снасть немецкая.

– То-то военная, заберут.

– Ну, две буханочки.

– Оно и не дорого, да нема.

– А чего ходите за нами?

– Да ведь конь!

Толя просит Бобка:

– Отдадим, а?

– Ладно, дядьки, берите за так. Конь хороший. А сбруя вон какая!

Вернулись к узкоколейке, перешли ее. В заросшей кустарником низинке лишь несколько домов (точно спрятались или заблудились!), но уже не деревенского типа: один дом даже двухэтажный. Здесь стоит густой гул голосов. Люди бродят, стоят группами, курят. А у некоторых семейный обед на снегу. Женщины варят, теплым провожают мужей в армию. Не разгульно, просто, сурово: вдали нетерпеливо стучит фронт.

Вдруг увидели своих хлопцев, тоже к двухэтажному дому подходят. Что-то странное в них. Ага, без оружия – вот в чем дело! Борода Головчени выглядит нелепой, мальчишеское лицо Коренного бледнее обычного, весь он очень петушистый, но что-то жалкое в нем.

Зато партизан, у которого был автомат, чему-то радуется, резкие дуги у рта растянуты в усмешку.

– Ладно, все выяснилось, – не то других, не то себя самого успокаивает Головченя.

– А не окажись там обкомовца, что знал ваше командование, где бы мы сейчас были, господа полицаи? – говорит тот, усмехающийся.

– Чему удивились? – сердится Коренной (но вроде на самого себя сердится). – Что дураки еще остались? А вы что думали? Ладно, пошагали на комиссию.

– Бумажка-то у тебя, Сергей? – спрашивает Головченя. – Хорошо ты тому майору: мол, привет от Мохаря! Удивился: „Не знаю такого”.

Из двухэтажного дома вышел лейтенант. На красивом смуглом лице черные бакенбарды.

В сразу наступившей тишине прозвучал негромкий уверенный голос:

– Заходите по два.

Человек этот из того мира, где все на своем месте: снисходительно-строгий, немногословный, красивые глаза затянуты пленкой неузнавания. Человек там, куда так рвался ты, так стремишься вернуться, но куда будто все еще не вошел, не совсем вошел. Вот если бы, как у других, все получилось, если бы организованно…

Хлопцы невеселые, приувяли.

– Как думаете, – с легким презрением к самому себе говорит Головченя, – гляди, что и на самом деле позатесались тут всякие?..

К Головчене подкатился дядька в шапке, у которой оба „уха” почему-то обрезаны.

– Закурим, раз такое дело! – улыбается человек в безухой „ушанке”.

– Пошел к бобикам собачьим! – гаркнул на него Головченя.

– Привет от Мохаря! – невесело усмехнулся Коренной. Но Головченя его не услышал: он повернулся к молодому краснолицему парню, который сидит на большом фанерном чемодане, как на лошади.

– Теперь все одина-аковые, – чем-то довольный, тянет парень, – нечего, хватит коровок есть…

– Дай! – Головченя сорвал с Толиного плеча автомат, но Сергей Коренной схватил его за руку:

– Одурел?

На пороге дома – снова красивый лейтенант. Взял у Сергея бумажку. А Сергей зовет Толю с собой. Автомат Толя оставил Бобку (с невольной мыслью, что у Бобка легче забрать назад).

В большой холодной комнате Толя прежде всего увидел девушек в белых халатах поверх стеганок. Двое мобилизованных, подрагивая голыми телами, одеваются. За столом сидит женщина в очках, а еще за одним – тепло одетый пожилой капитан.

Толя хотел сразу подойти к мужчине, но его остановили у „женского” стола.

– Мальчик, ты тоже из партизанской группы? Сколько тебе лет?

Толя молчал и прикидывал: скажут или не скажут раздеваться?

– Да он совсем пацан, – вдруг вмешался Коренной, – хорошо, если шестнадцать. – И зачем-то добавил: – В отряде мать осталась. Такая женщина!..

– Молод ты еще для войны. Обожди, – сказала женщина, глядя на Толю так, будто и она знает его мать.

– Повоевал, теперь обожди, – охотно поддержал ее Коренной.

По крайней мере, раздеваться не надо перед женщинами.

Толя вышел – его окружили.

– Оставили... до осени, – с некоторой неловкостью объяснил Толя. Автомат у Бобка забрал.

И сразу всякий интерес потеряли к Толе хлопцы, будто он уже не ихний, чужой. Хоть ты уходи.

Появился из дома Сергей. Не улыбается, но заметно, что доволен.

– Давай, хлопцы! А Толю нашего оставляют.

Кому это интересно?

– А что, – говорит вдруг Головченя, – проводы ему и себе устроим. Что у кого лишнее – ложи сюда. Теперь он тыловик, его и отправим менять.

Толя долго ходил по деревне, задерживаясь у машин. Возвращался к сборному пункту довольный: в вещмешке банка тушенки, две солдатские буханки хлеба. А в кармане бутылка самогона: пиджак свой женщине отдал, зато как зашумят хлопцы.

Людей у сборного пункта вроде больше стало, но своих Толя не увидел. Решился, подошел к лейтенанту с красивыми бакенбардами.

– Партизаны? Уехали. Дело им поручено.

Лейтенант рассеянно посмотрел на Толин автомат. Толя поспешил отойти. Уходил и боялся, что заплачет, но и непонятное облегчение чувствовал. Само собой решилось...

VI

Что-то волнующе знакомое увидел Толя в партизанах, идущих через забитую мобилизованными деревню. Эти (их семь человек) не бродят, скучая, не толкаются в толпе, они идут, и сразу заметно, что они – „при деле” и что они – одна сжившаяся группа.

В последние дни Толя очень завидует каждому, кто не болтается между небом и землей как что-то никому не нужное. Вчера он поймал себя на том, что с завистью смотрит на раненого. Заглянул в раскрытую дверку санитарной машины: лежит человек на белой подушке, щеки синие, ввалились, нога в бинтах, подвешена, но в руке – книга! Лежит и читает.

И эти вот: идут и знают, кто они, куда идут. Постой, Половец, ну конечно же он! И хотя в белом фронтовом тулупе, в черной кубанке, и хотя на шее не немецкий автомат, а ППШ с круглым диском, – все-таки это „гусар”, „покойничек”. Знакомая беспричинная редкозубая усмешка. Толя подбежал.

– А, ты! – не сразу и не очень приветливо узнал его Половец и тут же, совсем уже неласково, спросил: – Ну, как там все?

Толя разглядел красный рубец на небритой щеке Половца и только в этот миг сообразил, что веселая история с расстрелом Половцу совсем не кажется веселой.

– Вы куда? – спросил Толя.

– Семьи партизанские сопровождали, а теперь назад, *туда.*

Партизаны закуривают. В крестьянских кожухах или фуфайках, все они, кроме одного, пожилые. А этот, черненький, аккуратненький, присматривается к Толе неприятно круглыми глазами, как курица к зерну.

– Остаешься здесь? Давай махнем.

Протягивает Толе свою винтовку и смотрит на его автомат. Столько мечтал Толя об автомате, а тут сразу и отдай... Хотя и то правда: зачем он Толе? В армию его пока не берут. А взяли бы, так не оставили бы ему автомат.

– Ну, хочешь, и тулуп в придачу? За твою поддевку!

Тулуп у парня армейский и новенький, а Толино пальто и правда короткое, как поддевка. Но не свинья же Толя, чтобы раздевать человека, идущего в немецкий тыл. Он уже взялся за ремень автомата, но, наверное, жест этот истолковали как возражение: мол, самому дорого обошлось.

– Повоевать еще хочешь? – говорит широколицый партизан, у которого борода и густые брови так сливаются с мохнатой шапкой и воротником, что уже не поймешь, где тут человек, а где его одежда. На ногах у старика тоже сложное сочетание: поверх больших сапог самодельные галоши из красной резины – бахилы.

– Может, пойдешь с нами? – говорит волосатый партизан в красных бахилах.

Туда? Там – мама, она не знает, где Толя, где Алеша, что с ними. А может быть, и Алексей там, и Лина. Те, что вернулись в лагерь, наверно, всего нарассказали. Человеку, уцелевшему после тяжелого боя, кажется, что он один такой счастливчик. Вот бы обрадовалась мама, увидев Толю! Живого! С автоматом. Впрочем, автомата она могла бы и не заметить. Зато другие... А там и фронт вскорости

подошел бы. Снова теснят немцев, слышно, что Гожу наконец взяли. Соединились бы с армией, как люди.

Не было бы этого обидного чувства, что не в ту дверь вышел…

Толя сыплет в карман черненькому парню автоматные патроны, а самому рисуется картина: вот Толя появляется в лагере, к нему бегут, он видит счастливое лицо матери. И вдруг – Лина, она тоже там. А Толя из-за фронта, и на шее у него – автомат…

Черненький (ну и нахальные глаза у него, и такие неприятно круглые!) уже за ремень автомата взялся.

– Постой, я тоже с вами, – решил Толя. Обрадовался, что так просто решил. Но тут же ощутил в себе странную тоску.

– Ладно, малец, – сказал широколицый партизан в красных бахилах, – с войной шутки плохи. Перекрестись да к мамке беги.

– Там она, – тихо возразил Толя. Обрадовался, что не услышали или не поняли. Этот, с курицыными глазами, черненький, мог бы еще завопить: „К мамке захотел!"

– Ну, ну, – сказал черненький, будто снимая с себя ответственность.

Толя виновато попросил вернуть ему его патроны. Но то, что Толя сам согласился идти, было, наверно, так неожиданно, что черненький молча стал пересыпать автоматные „семечки" в Толин карман. А тут еще Половец:

– Парень ничего, я с ним бывал в переплетах. Ну, пошагали.

Хорошо идти, когда знаешь, что рядом люди, которые ценят, что ты идешь с ними. Да, нелегко будет мимо немцев проскочить: где они, те „ворота", и есть ли они теперь? Не получится – можно будет вернуться. Скорее всего, придется вернуться.

Передовая погромыхивает, но как-то лениво и даже не очень пугающе. А на дорогах машины, машины, открытые, крытые, тащат орудия, кухни. И никто самолетов не опасается. Да их и не видно – немецких. Один пронесся, но кажется, сам боялся своей смелости. Толя ждал, что побегут все в поле, как бывало в сорок первом. Но никто и ухом не повел.

Попробовали „голосовать". Остановилась трехтонка, такая знакомая, простая среди других машин, непривычно высоких и сильных. И физиономия шофера свойская.

– Туда? – спросил он весело.

– Туда.

В кузове ящики со снарядами, минами. Бросает на ямах, ящики тяжело, зловеще двигаются всей массой. Ехали долго. Фронт

громыхает уже совсем близко. Эти громы слышат где-то и там, в немецком тылу. Взвыло вдруг: „жж-гуу!..” Голос „катюши”.

Машина стала.

– Мне вправо, – сказал шофер, высунувшись. – Не боитесь? За фронт-то.

– На ящиках твоих боялись, – ответил партизан в красных бахилах.

Ночевали почти на передовой. Половец – он, оказывается, умеет хлопотать – поместил всех к артиллеристам в землянку, а сам убежал куда-то. У него бумаги, помогающие ему разговаривать с армейским начальством.

Завидно, как у артиллеристов размеренно все и, кажется, прочно. Пятеро спят на нарах, и им не мешает работа их батареи, стоящей недалеко, в заснеженной низинке. Днем Толя видел всего лишь три или четыре орудия, но стреляют они так, что не определишь: три ствола или десять. Нарочно путают счет.

В землянку вбежал военный в новеньком тулупе. На ремне пистолет.

– Где старшой? А, партизаны! Да, да, надо повоевать.

В голосе – небрежность.

– Если разрешите, мы потом, – смиренно произнес черненький, раскладывая перед коптилкой сухари. – Раньше сходим туда, где немцы.

– Не легко, не легко, – согласился тот. Он уже не такой уверенный, кажется, понял, что не по чину взял интонацию. – Да, да... Ну, вы, партизаны, знаете все тропинки.

А у Толи свои заботы. Вроде и мелочь, но тягостно. У него нет никакой жратвы, и надо ждать, когда позовут к столу, а пока не зовут, приходится делать вид, что ты и не хочешь. Все-таки чужой он в этой группе. И еще этот черненький вяжется (одни зовут его „Коля”, другие – „Коленик”, а иногда – „Коля-Коленик”), Вот и теперь. Орет как чумной:

– Эй, автоматчик, садись за стол! Чашки нет? За автомат могу уступить.

Скорее бы или в отряд свой перебраться, или назад вернуться.

Половец разбудил ночью.

– Будем щупать дорогу. Вчера проходили партизаны. Где-то тут дыра есть. А пока – наваливайся. – И показал на целую батарею котелков с дымящейся кашей.

Попрощались с хозяевами, когда проходили мимо оглушительно харкающих огнем орудий.

– Поели? – прокричал человек в белом тулупе. Похоже, вчерашний знакомый. А может, и не вчерашний. – Желаем удачи, ребята!

Шли, но больше ползли и лежали, вслушиваясь в перекличку пулеметов и орудий, в загадочную и зловещую игру разноцветных ракет. Перед самым рассветом началась тяжелая беспрерывная канонада. Так, наверное, ревет вулкан, заглушая собственное эхо. Мороз все злее берется. Перестаешь чувствовать ступни ног. Посмотреть бы на них, уже почти месяц собственных ног не видел, не снимал сапог. Не можешь не думать и про то, что вот руки коченеют. Стали как клешни. Перчатки эти немецкие только для вида. Придется стрелять, и не знаешь, сможешь ли. И как-то получилось, что Толя не попробовал стрелять из автомата. Это тяготит. Вдруг нажмешь, а он – как полено.

Ночь кончается, но неизвестно, по какую сторону фронта ты находишься. Канонада вроде сзади. А тут еще потянуло какой-то схватывающей, залепливающей глаза сыростью. Что-то непонятное: мороз не меньше тридцати градусов, а по лесу, тяжелый, густой, ползет туман, проглатывая вначале стволы, потом и вершины деревьев, как по ступенькам, всползая по лапкам елей.

– Дядьки́, газы! – не очень уверенно шутит кто-то.

– Березину взломали, растолкли – вот те и газы, – говорит партизан в красных бахилах. Борода, брови, шапка, воротник его сделались белые.

– А что? Попробовать в тумане, – предлагает Половец.

– Автоматчики – вперед, – злорадно шепчет Коля-Коленик. Нет, этот жук определенно добьется, что Толя возненавидит его. Толя мстит тем, что и в самом деле впереди него идет, след в след за Половцем.

Началось поле. И все поле и поле.

– Эй, найдете мину – скажете, – говорит Коля-Коленик.

– Заткнись, дурень, – не поворачивая головы, бросает Половец.

Туман закрывает все: даль, небо. Видишь только черную спину впереди идущего да собственные руки, сапоги. Черный ком земли на снегу, пень открываются внезапно. Тяжелый воздух обжигает глотку, вдыхаешь его, как странный морозный кипяток. Руки попробовал держать в карманах пальто, но там холодное железо – гранаты, патроны. Тогда стал – по очереди – засовывать руки в карманы брюк, но приходится расстегивать пальто, да и автомат надо наготове держать.

Неожиданно что-то зачернело впереди. Даже удивились и как бы обрадовались, увидев дерево. Оно будто возвращало к реальности, а

то уже начинало казаться, что ничего нет в этом белом мире. Толя, задрав голову, рассматривал иссеченные, обломанные сучья дикой груши. Опустил глаза и увидел в снегу каску. Целая, но без ремешка. Карандашом нарисована звезда. Тонкая пленка льда застеклила эту неровную фиолетовую звезду. Толя примерил каску поверх ушанки. Хотел снять, нехорошо от мысли, что вот кто-то носил ее, а ты не знаешь, где он сейчас и что с ним. Но вдруг понял: не чувствует своих рук под перчатками! Стащил перчатку и увидел, что ногти и кончики пальцев – как бумага. Сдернул зубами другую и схватил горсть снега. Попробовал тереть: снег не тает, просеивается между холодных скрюченных пальцев. И сразу еще больше побелели руки, мертвая бледность поползла по запястью под рукав. С ужасом, как на чужие, смотрел Толя на руки.

– Да ты что! – Весь белый, как дед-мороз, партизан в бахилах схватил Толины руки, стал крепко тереть их. Обернувшись, приказал: – Кто-нибудь – другую.

Подскочил Коля-Коленик. Рук своих Толя почти не чувствовал, хотя видел, что старик уже кожу стер на его пальцах. Коля-Коленик трет, наклоняясь, хукает на Толины пальцы и приговаривает:

– А еще с автоматом!

– Хватит, – просит Толя.

– А, краснеют! – говорит Коля. И все, как на чудо, смотрят на то, как возвращается кровь, жизнь в Толины пальцы. А Толя уже боль ощутил на ссадинах и обрадовался ей. Но самые кончики пальцев остаются белыми.

– На́ мои рукавицы, – сказал дед-мороз в красных, как гусиные лапы, бахилах, – сидел бы у мамки, лучше было бы.

– Да у него в отряде мать, – бросил Половец. – Ну, пошли.

Придет Толя – она обрадуется. А потом узнает, что Толя за фронтом был и мог там остаться. Не только радость, но и большое огорчение несет он матери. Может, она и не скажет ничего, но глаза скажут…

Половец остановился, посмотрел на компас.

– Он у него показывает, где фрицы, – голос Коли-Коленика сзади.

И вдруг туман засветился-засветился, свет этот все поднимается. Ракету бросили! Звука не слышно. Половец повернул в сторону от ракеты, но снова остановился. Бруствер окопа, желтеют комья земли. Невольно все дернулись назад, а Половец стоит. Пошел вперед. И все за ним, стараясь, чтобы не скрипел снег. Окоп уводит куда-то, но вид у него „нежилой". Занесен снегом, ветер расписался на снегу желтыми песчаными полосами. Перепрыгнули через окоп и пошли в белую

неизвестность, вслушиваясь в неблизкую трескотню выстрелов, жадно ожидая увидеть стену леса. Где-то, когда-то же будет лес! Толя оглянулся: темные фигуры будто плывут в морозном молоке тумана. Все стараются ступать в один след. Снова засветился, заискрился туман впереди. Оглушительно, совсем рядом рванул пулемет. Все уже бежали назад. Теперь не цепочка следов, а веер на снегу. Там, куда все бегут, тоже поднялась стрельба. Нырнули в окоп, в мягкий снег. У Толи свалилась каска, он снова надел ее. Но куда ведет окоп? Хорошо, что снегом его занесло, даже если и есть там немцы, не пойдут сюда. И тут услышали голоса и сразу поняли – немцы! Не по окопу, а по верху идут – это тоже поняли сразу. Толя увидел, как присели, как припали к брустверу партизаны, сдернул зубами правую рукавицу, она упала в снег. Палец вроде сгибается, хотя мертвые пятнышки – он и это отметил – остались на самых кончиках.

Слушали, как за толстой и мягкой стеной морозного тумана проходят люди: шорох ног по жесткому снегу, звяканье, кто-то пробежал, с буханьем пробивая снежный наст, тяжело дыша. Неестественно обыкновенный, по-немецки быстрый разговор, смех. Наверно, уже тыл ихний…

Подождали еще, послушали. Вскочили, выкарабкались из окопа и быстро-быстро стали уходить в белую неизвестность поля. Половец все поторапливал. Снег несколько шагов держит, но скоро проваливаешься, лица красные от усталости, блестят от пота, а брови, усы, бороды белые от изморози. Мороз тут же забирает, слизывает пот с лица, и от этого кожа щемит, чешется, ее приятно трогать холодной рукой. Толя снял рукавицы, положил на автомат и греет пальцы о щеки.

Наконец пошли спокойнее, отдыхая. Глаза у всех блестят, веселые, хотя уже и беспокоятся:

– Туман сползает.

– Когда это проклятое поле кончится?

– Эге, смотрите-ка! – воскликнул Коля-Коленик с привычным для этого парня бездумным каким-то злорадством: точно это касается всех, кроме него самого. Но и без него видят: морозный туман подтаял, его, как занавес, потянуло кверху, и открылось темное на белом снегу – люди.

Группа человек в пятнадцать. Тоже остановились, смотрят.

– Они – сюда, мы – туда, – вслух подумал хмурый, всю дорогу молчавший партизан, на котором почти все немецкое: шинель, сапоги, даже бархатные наушники под кубанкой.

– Там и бобики есть. Или забыл? – напомнил дед в красных бахилах, растапливая голой рукой и снимая сосульки с бороды, с бровей.

Половец два раза вскинул над головой винтовку. Пароль, конечно, устаревший, но все-таки партизанский.

– Не стой кучей, как бабы! – сказал Половец, в сердитой улыбке показывая свои редкие зубы. – И не шарахайтесь! Незаметно расступитесь.

А там сразу двое подняли винтовку и автомат, подержали над головами.

– Тоже олухи, – произнес Половец.

– Ушел бы я сторонкой, – сказал хмурый партизан в наушниках.

– Надо предупредить, что тут окопы, немцы, – напомнил Толя. Ему нравится Половец, чем-то напоминающий Волжака. С таким можно не пугаться собственной тени.

– Ну-ну, я посмотрю, – усмехнулся Коля-Коленик, точно он заранее все знает, кругля еще больше свои птичьи глаза, – давай!

– Так и будем стоять, как... – выругался Половец и двинулся вперед.

Снег на этом высоком поле, видимо, не раз подтаивал и подмерзал, держит, если не ступать пяткой, а слегка волочить ноги. Приноровились и теперь шли ровно, лишь изредка кто-либо продавливал, пробивал снежный наст, торопливо выдергивал сапог или валенок, менял шаг и снова шел поверху.

От этого полускольжения – непрерывный и глубокий гул, точно все поле отдается эхом, и какое-то барабанное шуршание. Невольно ускоряешь шаг, гул и снежное шуршание то собираются в тебе, то опять выносятся наружу, и так все время: то в тебе самом гремит этот белый барабан, то ты идешь по нему. Легкий, грозный в общей цепи.

Незнакомые люди стоят все на том же месте. Только немного расступились, и теперь их точно больше. Когда все выяснится, будут делиться новостями и сигаретами и обязательно увлеченно рассказывать друг другу: кто как шел, стоял, что подумали, что хотели делать... Забавным все будет выглядеть.

Конечно же партизаны! Какие могут быть бобики возле фронта: здесь они тают, как снег под весенним солнцем.

Толя шел все быстрее, увлекаемый этим невольным скольжением, гулом, барабанным шуршанием. Да, наши, партизаны, кто ж еще! Иначе разве шел бы вот так, прямо к ним, а они разве дожидались бы? Разве было бы так легко, так бело?..

– Эй!.. – донесся сзади удивленно-предупреждающий окрик Половца.

Толя оглянулся. Но тотчас понял, что его не останавливают. Он улыбнулся Половцу. Хотел даже назвать его по имени „Петро” или даже „Петь”, но не придумал, что крикнуть, и только взмахнул рукой. То, что Толя пошел впереди, вперед, сразу их выравнивало. К человеку, который хотя бы на шаг впереди тебя идет в цепи, чувство особенное. Люди не раз убеждаются, что убивают совсем не по очереди, но все равно это ценится. Каждый ведь знает, как оттягивает назад, как хочется держаться хотя бы на шаг дальше.

Но Толя уже не новичок, он знает и другое: как бывает потом. Все равно рискуешь, расходуешь еще один шанс. Так не лучше ли его так расходовать, чтобы не противно было от самого себя, а радостно, легко?..

Бедный Коля-Коленик, вон где тащится, наверное, виноватым себя чувствует перед Толей!

Но с каждым шагом Толя напряженнее всматривался в тех, что поджидают его. Оружие у некоторых все еще на плече, но у многих в руках, полуподнято. Знак угрозы, но и боязнь чрезмерно насторожить, испугать: они тоже хотят лишь убедиться, что это свои к ним приближаются. Толя все же взвел автомат, незаметно, тихонько (пальцы все еще непослушные и болят). Происходящее напоминает чуть-чуть игру. Хотя одновременно каждой клеточкой чувствуешь, как неуютно на этом открытом поле. Конечно же свои, и те и другие видят, что свои, что партизаны. Но раз игра, то чем серьезнее, строже, грознее, тем интереснее. Потом будут весело припоминать подробности: „Глядим, затворчики отводят...” С холодком в сердце прикидывать: „А ведь я чуть не выстрелил!”

Толя передернул ремень автомата так, чтобы ствол смотрел более сурово. Вот только ни разу его не проверил: точно полено перед собой несешь!

Оглянулся: он уже почти посередке между своими и этими. Вдруг посмотрел на отставшую цепь со стороны, на ее медленное и недоверчивое приближение, и сразу пропала надежда, что это не бой. Точно посмотрел глазами незнакомцев или в глаза им заглянул. Что они сделают в следующую секунду, эти чужие люди? Вон они какие! Какие – он не мог бы сказать, но нехорошее, тоскливое чувство уже переполняло его. Как он мог думать, как ему могло казаться?.. Ничего и никогда Толя так не желал, не просил, как сейчас: чтобы на этот раз, ну пусть только на этот раз, когда уже ничего невозможно изменить, остановить, пусть окажется, что не враги, не бой!.. Только

бы не теперь, когда так открыто кругом, а они стоят и все смотрят на того, кто ближе к ним, – на Толю. И чем ближе он, тем большую власть над ним получают эти неизвестные, изготовившиеся к чему-то люди. И уже нельзя, невозможно все повторить по-другому, а тем более повернуться к ним спиной. Когда это началось? Был же момент, когда он был возле своих, а эти были далеко. Стояли и только еще решали, могли выбирать: идти навстречу или пройти сторонкой? Был вчерашний, позавчерашний день. Был отряд, мама, Алеша. Было, когда не было этой войны и даже не думалось о ней... Он поплыл от берега, вода была такая ласковая, мягкая (да, да, он у дяди тогда жил), легко было плыть, а когда глянул, где берег, испугался. Больше всего испугался он своих бессмысленных, торопливых движений, сразу отнявших у него последнее дыхание. И вдруг услышал удары весел, голоса за камышом: сразу отхлынула, осела тяжелая тоска, сковавшая все тело. Выдохнул и поплыл...

Толя быстро оглянулся на своих. Тоже приостановились. Нельзя останавливаться, вон как напрягся сам воздух! Шуршащий, белый, барабанный гул поля давно уже пропал. Или это потому, что снег тут рыхлый, не держит? Толя, проваливаясь, сделал шаг, второй, чтобы сдвинуть за собой цепь, и вдруг увидел себя испуганно барахтающимся. И больше всего, как тогда на воде, испугался своих бессмысленных движений и этого чувства беспомощности, непоправимости, безвозвратности. Тоска, без начала и конца нечеловеческая тоска, сковала его, тянет вниз. Жарко и холодно одновременно. И страх, и непонятное нарастающее безразличие. Совсем не чувствует пальцев, и того пальца, что на спуске автомата, тоже.

Впереди незнакомой группы стоит (Толя давно к нему жадно приглядывается) человек в темном полушубке с белым воротником и в белых фетровых бурках. Штаны немецкого цвета и автомат немецкий (как у Половца). Шапка странная: зимняя, но с козырьком. Толины глаза, ни на миг не отпуская эту фигуру, ощупывали, оценивали другие фигуры. Он жадно искал в них партизанское. У некоторых кубанки. Правда, без ленточек, но ведь и Толя спорол ленточку (Половец велел). На одном (он стоит возле того, что в полушубке) желтоватая итальянская или мадьярская шинель (Носков такую таскал). Повернул голову, что-то сказал себе за спину, блеснули – как выстрел! – очки.

И тогда Толя понял, что над ним, за спиной у него (но нельзя посмотреть) уже открылось солнце. Теперь поле далеко смотрится, яркое, аж глаза болят, и только эти люди – темное на нем.

Толя горячечно решал, кто они, как быть, и все туже, с каждым его шагом, поворачивалась и напрягалась пружина: вот-вот с громом дернется назад, расшвыряет всех. Только бы удержать! Пока все сразу станет на место: „Вот вы кто, а мы уже чуть не...” Останавливаться опасно, иначе пойдет назад, рванет, отбросит. Толя это ощущал почти физически.

– Толя... – послышалось сзади.

– Да свои! – крикнул он громко, чтобы слышали те, что его поджидают. Как бы спрашивая, крикнул. Кого-то умоляя, чтобы так было. Всех. Себя самого.

– Па-дай... Па...дай...

Кто-то переламывает слова (это, кажется, Коля-Коленик), надеясь, что их не поймут незнакомцы. Рванется все назад, и тогда... Сейчас, сейчас!..

– Свои! – как можно беззаботнее крикнул Толя. Если удерживать еще и еще, страшное мгновение проскочит мимо, уйдет навсегда. „А мы чуть было не ударили. Ведете себя, как бобики или власовцы какие!..”

Он уже различает лица, глаза, замечает, как люди, не поворачивая голов, о чем-то сговариваются. И вдруг самого себя увидел чьими-то чужими и безжалостными глазами: барахтающегося в снегу, с нелепой поверх ушанки каской.

– Почему пароля не знаете? – услышал он свой голос. Неужели это он здесь, с ним это происходит, сейчас?.. Вот только проснуться, вот только...

– Вы – кто? – донеслось до него. Крикнул человек в желтоватой шинели. И снова солнце – как выстрел! – блеснуло в стеклах его очков. – Из какого...

Запнулся. А голос не чистый, с акцентом. Что он не договорил: „гарнизона”... „отряда”?

Толя быстренько посмотрел назад. И те, что сзади, и те, что перед ним, повторяли, как в зеркале, движения друг друга. Расступаются, точно пропуская из-за спины невидимого кого-то, грозного, безжалостного.

– А вы не узнаете? – чтобы только не молчать, отозвался Толя. Подчеркнуто деловито вытащил ногу из снега, стал ровно, взялся сбивать льдышки с мокрого колена. А в нем все неслось, как с горы: крутнуться вместе с автоматом, нажать и одновременно падать! – Не узнаете? – уже что-то бессмысленное говорил Толя. Пружина давила страшно – сейчас, сейчас! А люди все расступаются, повторяя друг

друга, как в зеркале, и точно искра разряда проскакивает – даже треск слышен. Или это затворами клацают?

Люди сознательно оттягивают страшное мгновение. Сейчас – или будет поздно. Все зависит от тебя!

– Мы – партизаны! – выкрикнул Толя, делая последнее, что он мог.

Он успел, он точно рассчитал и успел упасть до того, как человек в темно-белом полушубке дернулся вместе со своим загремевшим автоматом. Толя это успел.

Но он не успел упасть до того, как брызнула очередь человека в очках. Он даже увидел, как сверкнуло…

С последним облегчением Толя отпустил пружину, которую с таким трудом удерживал. Она с широким огненным размахом больно ударила по каске, оглушив, эхо понеслось высоко над полем, сразу почерневшим.

Все исчезло, кроме оглушающего звона, который поднимается, поднимает, уносит куда-то. Открыл глаза, боясь и ожидая увидеть себя высоко над полем. Не понимая, смотрел на гудящий колокол… Ага, вот что гудит, не переставая, – большая зеленая каска. Сорвало с головы. И тут увидел дыру в каске – страшную, неровную, огромную. Секунды, пока он еще слышал, были долгие, как вся прожитая и вся не прожитая им жизнь…

– Толю убили, – прорвалось сквозь звон, – мальчишку убили.

МЕНЯ? МЕНЯ УБИЛИ? ОНИ ВСЕ ТАМ… ВОТ КАК ЭТО БЫВАЕТ! ЗНАЧИТ, ЭТО ТАК БЫВАЕТ? ЧЬЯ ЭТО КАСКА, ТАКАЯ ОГРОМНАЯ? ДЫРА… В МОЕЙ НЕ БЫЛО… НЕТ, ЭТО МОЯ… ЧЕРЕЗ НЕЕ… ЧЕРЕЗ ЭТУ ДЫРУ!.. ЕСЛИ БЫ НЕ ЭТО, ЗА РУКУ ПОПРОЩАЛСЯ, НЕНАДОЛГО…

– Коленик, автомат подбери!

Это еще услышал Толя. Но это там, где они все, где нет его, НАВСЕГДА НЕТ, и где еще что-то происходит…

Значит, я дома, мы никуда не уходили из Лесной Селибы, и война и все – только почудилось мне. Я дома. Но почему я одна? Темно, я не вижу кровати, детей, но я хорошо знаю, что Алеши и Толи там нет. Но где они? Что это? Окна, все окна, двери распахнулись! В темноту, одним стуком! Весь дом пустой, я одна…

…Боже, все такие сны! А я в землянке, в санчасти, и уже утро, а кто-то спускается по ступенькам. Светозаров! С перевязанной головой. И он вернулся, и он оттуда. Сколько их уже пришло: обмороженные, израненные! Как мало их вернулось! Не вернулись мои дети. И никто ничего не знает, только успокаивают меня. Хочу

спросить Светозарова и боюсь. Рана у Светозарова не опасная. Он говорит, а я слушаю и страшусь дослушать: „Тяжело, конечно, Анна Михайловна, ваши сразу оба не вернулись. Ничего не поделаешь, всем трудно, я был, вот как до вас, когда танк на Алешу наехал. Вам уже сказали, конечно…”

… Зачем вы держите меня, я должна пойти… Вот почему пустой дом, и я одна, и так распахнулись окна! Не трогайте вы меня и не пугайте больных, что вы меня уговариваете! Я знаю все, я знаю, что мне делать…

… Опять тут Светозаров. Я всегда опасалась этого человека, но он один сказал мне правду. Ну, зачем он теперь другое говорит! И Бойко здесь, это он заставил снова прийти Светозарова и обманывать меня, будто он не так сказал, будто я не так поняла.

Вот, Пашенька, раньше я тебя жалела…

…Я все еще живу. А они следят за мной, не дают побыть одной, побыть с моими детьми. Вчера отмороженные кисти рук отняли Круглику, такой он молодой и тоже пришел оттуда. Федор Иванович увидел, что я не могу больше: „Анна Михайловна, мы без вас сделаем”. Не знаю, как я смогла додержаться до конца. И все вот так: держусь, чтобы не заметили больные, а потом ухожу, бегу в лес – плакать. А раненые зовут медсестру Верочку и посылают вслед за мной. Вот она сидит передо мной на корточках, маленькая, как девочка: „Анна Михайловна, разве так можно, вот – снег растаял от слез…”

… Как изменилось все с той минуты, когда появились первые раненые, стали идти обмороженные, рассказали про бой в Сосновке. Совсем, совсем другим стало все. Но, может, это только для меня? Отряд и теперь не меньший, чем был, много молодежи приходит. Командует отрядом Сырокваш вместо убитого Петровского. Ходят на железную дорогу, как Алеша когда-то, и всякие веселые истории рассказывают. Бои беспрерывно, а когда тихо – песни поют, как и раньше. А мне все странно. Присягу принимали. Комиссар заставил меня стоять рядом с командованием. А я смотрела, слушала, слушала и все думала, что было, было же: мои дети вот так же стояли и обещали мстить за смерть чужих сыновей и слезы матерей. Теперь слова партизанской клятвы произносят чужие сыновья, обещая мстить и за мои слезы. А мне хочется, чтобы скорее кончилась и война эта, и месть. Все говорят, что это последняя война. Когда-нибудь матери не будут понимать, как это дети наши убивали, а мы были рядом. Какие они счастливые, что им это будет непонятно.

… Вчера подозвал меня Коля Дубовик, у него колено пулей раздроблено. Мальчишка, как мой Толя. „Анна Михайловна, ей-богу, Толя перешел фронт. Он с Волжаком был, я же говорил, а Волжак, знаете, какой смелый и везучий”. А потом быстренько подал мне листок из тетрадки, И шепотом, чтобы не слышали: „Это я своей маме писал, но ее нет, возьмите вы. У Толи лучшие, он лучше писал… он у вас настоящий поэт будет. Ей-богу!..”

… О какая я счастливая сегодня. Видели моего Толю, за фронтом видели. В армию его даже не взяли. Вернулся оттуда Сергей Коренной, прислали его для связи, Коренной не умеет обманывать, я ему верю, так хорошо, что я ему верю. И сон мне виделся. Мы как старухи теперь, сны все разгадываем. Будто шла я через поле, а на снегу каски, каски, и вдруг увидела хлеба кусок. Потом еще кусок подняла. На снегу, а теплый! „Ну вот, ну вот, – радуется Верочка, – про Толю уже узнали, найдется и Алеша, вот посмотрите, скажете тогда, что я врунья”.

… Куда ни приду, все про Толю, особенно Коля радуется. А я все хожу, и все меня останавливают…

… Тревожное началось время. Раненых вывозить надо, бомбили уже лагерь, блокада ожидается. Броневики обстреляли нашу разведку. Пилатова ранило. А он как раз ехал из деревни, где мать Лины живет. Девочка наша тоже вернулась из Сосновки, добралась до своего дома и слегла – больна тифом. Я ей посылала через Пилатова лекарства. Говорит Пилатов, что Лина очень просится в отряд, но и стесняется: остригли ее наголо. Рассказала про Толю, она его где-то потеряла… Я ничего не могу понять: как, когда это было?

… Немцы теснят бригаду, заняли Костричник, Зубаревку. Говорят, их целые дивизии. Партизаны и население уходят в болота. Но уходить уже некуда, замерзло все, а впереди, кругом – немцы. Много партизанских семей осталось в Зубаревском лесу. Другие отряды переправили детишек и женщин за фронт, пока „ворота” были, а наши Мохарь с Колесовым все списки надежных семей уточняли. Нинку и Надиных девочек я все-таки отослала с первой группой. А дедушка заупрямился: „Помру и тут, хай хоть малые…” Но осталось и детишек много, теперь вот думай. Всех это мучит.

…Раненых все больше, те, что приносят их, приводят, сами еле на ногах держатся. И все ближе стрельба, даже лай овчарок иногда слышим. А когда обстрел, деревьев больше боимся, чем осколков: так они страшно падают! И снова вытаскиваем и опять перевязываем раненых. Убитых только снегом присыпают. А все-таки ни одного больного не бросили, хотя такое творилось: одна женщина

собственного ребенка забыла. Со сна вскочила и побежала, а когда опомнилась, там уже были немцы.

По ночам горит небо: немцы уничтожают деревни, которые еще уцелели. Кто-то из поселков прибежал, которые возле шоссе. И там все жгут немцы, выжигают. Раненые замерзают. Иногда стану среди лежащих в снегу, отупев от бессилия, плачу и сама уже не знаю, о ком, о чем. И совсем не так уже думаю, что вот не вернулись сыновья, что нет их здесь…

… В Костричнике каратели сожгли партизанские семьи, И дедушку нашего. Заперли в гумне и подожгли. Спаслась Фрося, жена Разванюши: немцы приоткрыли дверь, а она стояла крайняя, и ее взяли, чтобы помогала гнать коров. Коренной все повторяет: „За это можно будет спросить…” Я как услышала про случившееся, что-то со мной стало, а что, и сама не знаю. Верочка одно твердит: „Ой, Анна Михайловна, глаза у вас такие сделались!..”

… Весь отряд сгрудился на „острове”. Пока не замерзло, может быть, это был и остров. Теперь тут все лес. Много партизан, потерявших свои отряды, баб, детишек. Все думают про тех, кого сожгли. Другие командиры отправили семьи, детишек за фронт. Я все-таки заставила Веру рассказать, что со мной было. Так боюсь, что совсем помешаюсь и даже о детях своих забуду. „Ой, Анна Михайловна, плохо вам сделалось, а как раз Колесов подошел и стал говорить, как это он всегда, а у вас глаза большие стали… И вы как плюнете ему!” Теперь и я что-то припоминаю. Но разве это было Колесова лицо и не Мохаря голос? Я точно помню, что видела Мохаря. Когда-то Бакенщиков говорил: „Они – близнецы. Командир наш без Мохаря не может, этим он только и плох”. За Сергея боюсь: трудно таким, как он, но сейчас, когда Сырокваш и Бойко командуют, легче и ему.

…Сегодня один старик сказал мне: „Доктор, ноги все равно не живые, дайте мне весь кожух на руки, на глаза”.

… Коренного ранило, весь посечен осколками, лицо обожгло. Крови много потерял, нашли только днем, а с ночи обстрела не было, давно, значит, лежит, Заглянул к нам Сырокваш, у него у самого рука подвязана. Все теперь такие худые, черные, глаза воспалены. Показала я осколки, а Сырокваш удивился и насторожился: „Это не снаряд. По-моему, граната”. И даже пошел смотреть место, где нашли Коренного. Мохар тоже приходил. „О, санчасть как надо!” А у нас от санчасти только и есть что сладкий запах, даже мороз не съедает его. И удивился: „Кто это? Коренной? Ранен!”

Чем лучше этот человек относится ко мне, тем он неприятнее. Кажется, внушил себе, что после того, как я лечила его оцарапанную ногу, я – человек, достойный доверия. Очень удивляется, когда замечает, что я не ценю этого. Пришел как-то и предложил выделить „первоочередных” раненых – кого спасать, выносить обязательно, если прорвутся немцы. Я сказала, чтобы он ушел. И ничего. Пришел через два дня, как будто этого и не было. Такой же, как сейчас: говорит, улыбается, а сам о чем-то другом думает. Вот все добивается: приходит ли в себя Коренной, разговаривает ли в бреду, будет ли жить? А я знаю, какой Мохар друг Сереже, и не хочется мне отвечать. Ушел Мохар, сутулясь, втягивая голову, заплетаясь короткими ногами. Всех пришибла эта блокада.

Потом и я пошла к штабу просить, требовать для раненых хоть чего-нибудь. Раньше муки было немножко: разогревали руками снег и делали какую-то жижу, кормили раненых. Теперь, кроме снега, – ничего. Штаб – вроде нашей санчасти: две елки и втоптанный снег.

– Ничего нет, Анна Михайловна, – сказал Сырокваш, – вы же знаете. Будем прорываться, готовьте раненых.

Сказал мне это Сырокваш, и тут же Мохарю:

– Так вот, поведем следствие. Коренного хотели убить, это для меня – ясный день. А он теперь не просто Коренной, он связной от армии.

– Немцы хотели убить, если не ошибаюсь, – ухмыляется Мохар, но как-то очень неуверенно.

Смотрят друг на друга, один бледный, но все же ухмыляясь, другой – с бешеными глазами.

– Займется Кучугура, – вмешался Бойко, не поднимаясь с пня, – он, возможно, не ошибется.

– Вы что! – закричал Мохар, перестав притворяться– улыбающимся. – Ага, поня-ятно! Не очень забывайтесь. Я не вам подчинен. А Кучугуру вашего, хоть он контрразведка, самого проверить не мешало бы. Тоже окруженец, если не ошибаюсь. Всех потом на рентген! Партиза-аны!

– Ах, ты меня потом! – Здоровой рукой Сырокваш схватился за автомат. – Ну, так я теперь!..

Я стою, а Мохар за мной.

– Отойдите же! – кричит мне Сырокваш. Но Бойко стал между ним и Мохарем.

– Прекратите сейчас же! Дисциплину совсем развалить хотите? Разберемся потом.

– Разбере-емся, – пообещал Мохар.

… Непонятное что-то произошло. Боимся поверить. Ушли вдруг немцы. Кажется, и радоваться не осталось у людей сил. Костры разожгли, отогреваем раненых, детишек. А хлопцы уже видели наших, кричат, рассказывают. Ушла одна чернота, и на меня снова навалилась дума о моих детях.

Мы уже выбрались на дорогу. Наши, наша армия. Смеются все, плачут. И я. Хлопцы уже лошадей, розвальни добыли – для раненых. Идем вслед за машинами, ищем уцелевшую деревню, где можно было бы разместить больных. Пилатов увидел меня, приподнялся на санях: „Ничего, Анна Михайловна, все будет хорошо”. А Сережа Коренной без сознания. Тяжело бредит, горит весь. Он еще там, откуда вышли все. И я с ним. Так больно за него. И за себя. Слышу, как офицер, остановив машину, спрашивает: „Партизаны? А почему женщина плачет? Сын ее?” А Верочка снова прибежала ко мне, глаза счастливые, спрашивает: „Помочь вам?” Девочка, чем ты можешь мне помочь?

Подошел к подводе Мохар. Говорит о каких-то пустяках, а убежала Верочка, он сразу:

– Мне надо знать, как высказывается Коренной в бреду. Это вам, так сказать, задание, Анна Михайловна.

– Да вы что, очумели?

– Должен вас предупредить, товарищ Корзун, что нам все известно. Вот вы скрыли, что отец ваш раскулаченный. Конечно, конечно, вы хорошо повели себя в трудный для Родины час. И сыновья ваши хорошо воевали. Но все-таки факт, а факты, как известно, упрямая…

– Я вам и еще не сказала.

Вот сейчас выскажу – и пусть! И пусть!

– Что?

– Что вы неисправимый и вредный дурак.

– Это мы теперь посмотрим, кто какой.

И пошагал. Как вышли из блокады, он даже распрямился. Весь вид будто и говорит: „Посмотрим теперь!”

…Пятый день мы отдыхаем. Так непривычно это – улица, колодец. Под раненых почти все дома заняли. Варим, жарим для них. К колодцу мне нравится ходить. Но, видно, слабею я от отдыха: вначале полведра воды для меня легче было.

А как смотрели на меня красноармейцы и хозяйка, когда я столовой ложкой соль ела!

Что-то Верочка догоняет меня. Подбежала, чуть ведро не опрокинула. „Смотрите, кто идет, Анна Михайловна! Это не муж ваш?” На кого она показывает? Бойко идет и какой-то высокий солдат в короткой шинели и обмотках. Но сердце так заколотилось от слов Верочки: муж, Ваня! А что я сказала бы ему? Он сразу спросил бы о детях. Почему так улыбается комиссар? И знакомое что-то в солдате. Федор, брат!.. Подошел, стал, ищет что-то в карманах: „Сейчас, Аня, сейчас, письмо от Алеши…”

Мне нельзя шевелиться, я ничего не должна делать, а то все изменится и будет неправда. Нет, я не сплю, боже, как это будет жестоко, если мне и это только снится! Но почему он не показывает письмо? „Ну, вот, забыл, что мне его не дали, только прочел. Был в Лесной Селибе, письмо на почте от Алеши. А зачем плакать? Пишет Алеша, что Толя за фронтом… Ну, ничего, ничего, все уже позади”.

А Бойко заспешил: „Сейчас пошлю хлопцев, привезут”.

…Читаю стертые карандашные строчки, каждая торопливая буковка – это Алеша, это возвращение всего. А в хате полно партизан, за столом сидят, но больше стоят, угощаются и все до одного кричат. Федора заставляют пить, и он пьет, хотя до войны в рот не брал. А разведчики все рассказывают, как примчались в Лесную Селибу, как им не давали письмо и как они схватили его. „Одна старуха, такая к земле пригнутая, очень радовалась, что вы живы, Анна Михайловна. Медку, говорит, ей приготовила”. Медку! Знали бы они каким „медком” едва не накормили эти Жигоцкие! Но об этом, о них не хочется ни думать, ни говорить. Ведь письмо от сына у меня.

„Здравствуй, мама!

Хотел не писать, пока война не кончится. Чтобы не хоронила меня два раза. Поплакала раз, успокоилась, и ладно. Но меня в ногу легко ранили, теперь я в госпитале и потому пишу. И еще встретил тут Головченю, а он про Толю знает, видел его за фронтом. Малечу даже в армию не взяли, только осенью призовут.

Про себя писать особенно нечего. Немного поутюжили нас танками и взяли, но мы не признались, что партизаны, выдали себя за мобилизованных. Я и фамилию себе другую выдумал. И хорошо, а то дошел до бургомистра Хвойницкого слух, что твой сын в лагере, специально примчался в город. Всех построили, искали, но мне повезло: лежал в тифозном бараке. Да, мама, помнишь военнопленных, которых ты в аптеке кормила? Узнали они меня и, когда я после тифа поднялся, принесли мою пайку хлеба за целый месяц. Прятали. А очень хотелось есть. Потом мы убежали,

пристали к партизанам, потом влились в армию. Расскажу все, когда встретимся. Получишь от Толи письмо, пошли ему мой адрес. А может, и папа напишет. Будь здорова!

Алексей”.

Какая я счастливая, мне даже страшно…

1950, 1960–1963

Об авторе и его книгах

Александр Михайлович Адамович родился в 1927 году в деревне Конюхи Слуцкого района Минской области. Когда началась Великая Отечественная война, ему было четырнадцать лет, и он, как большинство его ровесников, закончил семь классов школы. В первые же дни войны рабочий поселок Глуша, где жил тогда с родителями Александр Адамович, был занят гитлеровцами. Началась жизнь в оккупации. Жизнь такая страшная, что вряд ли могла привидеться даже в кошмарном сне. В эти дни кончилось беззаботное, радостное детство белорусского паренька Алеся. „Новый порядок”, который установили оккупанты, не оставлял места ни для любимых занятий поэзией и чтения книг, ни для ребяческих забав: жить можно было, лишь стиснув зубы, мечтая о мщении, надеясь на победу Красной Армии и скорое освобождение.

Советские люди, оставшиеся на временно оккупированной врагом территории, не хотели быть в стороне от борьбы. Вскоре мать Александра Адамовича установила связь с партизанами, стала снабжать их медикаментами. Потом получили задание партизанского командования и ее сыновья.

В начале 1943 года, когда полиция и немцы начали подозревать их в связи с партизанами, они все ушли в лес, в отряд и оставались там до соединения с передовыми частями Красной Армии, освобождавшей Белоруссию.

В отряде Александр Адамович познал жизнь и быт партизан, испытал холод и голод, участвовал в налетах на немецкие гарнизоны, в прорывах из вражеского окружения, выходил из леса, подожженного карателями, пережил смерть товарищей, павших в бою или замученных врагом.

События войны, людские судьбы глубоко запали в душу подростка. Обо всем этом он расскажет в своих произведениях. Но это будет позже, после войны, да и то не сразу. Не сразу потому, что надо было завершить образование, осмыслить увиденное и пережитое.

Александр Михайлович Адамович поступает на филологический факультет Белорусского государственного университета имени В. И. Ленина, заканчивает его, а в 1953 году защищает кандидатскую диссертацию и начинает работать в Институте литературы имени Янки Купалы АН БССР. В это время он много занимается литературоведением, выступает с критическими статьями. Его книги „Путь к мастерству” и „Культура творчества” посвящены изучению

мастерства и стиля классических произведений белорусской литературы, творческого метода и художественных индивидуальностей белорусских писателей. И сегодня доктор филологических наук, профессор А. М. Адамович продолжает заниматься исследованием белорусской литературы.

Шли годы. Страна залечила раны войны. Однако память о пережитом, о погибших друзьях не давала покоя.

„После, войны, – рассказывает А. М. Адамович, – преследовал меня – в двадцатый, в тридцатый раз! – один и тот же сон.

Будто уже снова война – то ли та еще не кончилась, то ли новая – и надо идти в лес, в партизаны. Сдвоенное, как бывает во снах, ощущение: ты уже партизан (еще *с тех пор), они* знают, а потому надо уходить в партизаны… И не хочется, тоска в душе. А когда-то, в реальное время войны, оккупации рвался туда, как в 15, в 16 лет рвутся в легенду, которую творят взрослые, храбрые, *настоящие.*

А тут, в снах, такое правдивое, реальное, тоскливое чувство, убьют же обязательно на этот раз, не минет, не обойдешь, как тогда обошел, а ты ведь не успел… Не успел написать. О той, о первой твоей войне. Убьют – и вроде ничего, ничего не было: и тебя не было, и всего пережитого, и хлопцев во второй раз убьют, о которых ты *должен был* рассказать, а теперь не расскажешь. Они ведь там остались, а тебя послали жить – для этого.

„Материал”, пережитое – вот что понуждало, вело, звало, гнало. Вон, даже в снах”.

И в 1955 году Александр Адамович начал писать первую свою художественную книгу – „Война под крышами” (потом она станет первой частью дилогии „Партизаны”, вторая ее часть – „Сыновья уходят в бой” – выйдет в 1963 году).

В основе своей дилогия автобиографична. Она вобрала в себя многое из того, что увидел, пережил в войну А. М. Адамович. Поэтому и героями своего произведения он сделал пятнадцатилетнего белорусского паренька из рабочего поселка Лесная Селиба и его мать. И хотя Толя Корзун очень похож на автора, каким он был в годы войны, все-таки он не тождествен писателю, как нельзя ставить знак равенства между остальными героями произведения и людьми, окружавшими Александра Адамовича в партизанском отряде. Они, персонажи произведения, отделились от своих прототипов и живут уже самостоятельно, по законам искусства.

Главная задача, которую поставил перед собой писатель, – показать партизанскую войну как войну народную. Поэтому в романе так много героев. Их, этих героев, можно назвать одним словом –

народ. А мы знаем, если народ воюет за свою свободу, за независимость Родины, если он защищает свой дом, свою семью, отстаивает правое дело, одолеть, победить его нельзя.

Все дальше уходят годы войны, но не забываются сожженные фашистами белорусские деревни. Работая над документальным фильмом о „белорусских Лидице", А. М. Адамович записывает рассказы очевидцев о гитлеровских злодеяниях. А в мыслях уже складывается новая книга. „Из боли тех материнских рассказов, из заново пережитой войны, из мыслей сегодняшних о вчерашнем и завтрашнем и возникла „Хатынская повесть", – говорит писатель. И если в дилогии „Партизаны" Александр Адамович рассказал о „своей" войне, рассказал просто, без прикрас, так, как это было, то теперь писателя тревожат думы о сегодняшнем мире, о будущем человечества. В его повой книге война служит уроком, предостережением современникам.

Потом появились документальные повести „Я из огненной деревни", написанная вместе с Я. Брылем и В. Колесником, и „Блокадная повесть", в соавторстве с Д. Граниным. А недавно Александр Адамович закончил новую повесть „Каратели". И в ней писатель ведет беспощадную войну с фашизмом, который „мало уничтожить на поле брани, нужно уничтожить его в сознании". Эту войну А. М. Адамович ведет всеми своими книгами.